Г. Р. ХАГГАРД



Annotation

В четвертый том Собрания сочинений известного английского романиста Генри Райдера Хаггарда (1856-1925) входят исторические романы «Хозяйка Блосхолма» и «Лейденская красавица»

-
  -
  - ХОЗЯЙКА БЛОСХОЛМА
  - Глава II . Убийство у заводи
  - Глава III . Свадьба
  - Глава IV . Клятва аббата
  - Глава V . Что произошло в Крануэле
  - Глава VI . Проклятье Эмлин
  - Глава VII . Предложение аббата
  - Глава VIII. Эмлин призывает своего человека
  - Глава IX . Блосхолмское колдовство
  - Глава X . Бабка Меггс и призрак
  - Глава XI . Суд и приговор
  - Глава XII . Костер
  - Глава XIII . Посланец
  - Глава XIV . Джекоб и драгоценности
  - Глава XV . Черт при дворе
  - Глава XVI . Голос в лесу
  - Глава XVII . Жизнь или честь
  - Глава XVIII. Из тьмы к свету
  - ЛЕЙДЕНСКАЯ КРАСАВИЦА
  - II. Долг платежом красен
  - III. Монтальво выигрывает
  - IV. Три пробуждения
  - V. Сон Дирка
  - VI. Лизбета выходит замуж
  - VII. К Хендрику Бранту приходит гостья
  - VIII. Стойло Кобылы
  - КНИГА ВТОРАЯ
  - X. Адриан отправляется на соколиную охоту
  - XI. Адриан выручает красавицу из опасности

- XII. Предупреждение
- XIII. Подарок матери — хороший подарок
- XIV. Меч «Молчание» получает тайну на хранение
- XV. Сеньор Рамиро
- XVI. Маг
- XVII. Обручение
- XVIII. Фоя посещает видение
- XIX. Борьба на башне литейного завода
- XX. В «Гевангенгоозе»
- XXI. Мартин трусит
- XXII. Встреча и разлука
- КНИГА ТРЕТЬЯ
- XXIV. Марта произносит проповедь и открывает тайну
- XXV. Красная мельница
- XXVI. Жених и невеста
- XXVII. Что Эльза увидала при лунном свете
- XXVIII. Возмездие
- XXIX. Адриан возвращается домой
- XXX. Две сцены. Сцена первая
- Вторая сцена

- notes
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Р. ХАГГАРД

собрание сочинений
в десяти томах





МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1993

Р. ХАГГАРД

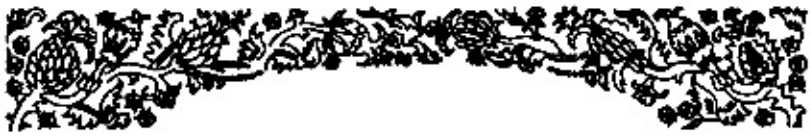
собрание сочинений
в десяти томах

том
4

Хозяйка Блосхолма

Лейденская
красавица

МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1993



Хозяйка Блосхолма





ХОЗЯЙКА БЛОСХОЛМА

Глава I . Сэр Джон Фотрел

Кто хоть раз видел развалины Блосхолмского аббатства, никогда не сможет забыть их. Аббатство расположено на холме, с севера его окаймляет полноводное устье реки, по которому поднимается прилив; с востока и юга оно граничит с богатейшими поместьями, лесами и заболоченными пастбищами, а с запада окружено холмами, постепенно переходящими в пурпурные торфяные земли; гораздо дальше за ними виднеются бесконечные мрачные вершины. Вероятно, пейзаж не очень изменился со времен Генриха VIII[1], когда произошло то, о чем мы собираемся рассказать; здесь не появилось большого города, не были вырыты шахты или построены фабрики, оскорбляющие землю и оскверняющие воздух ужасным, удушливым дымом.

Мы знаем, что население деревни почти не менялось — об этом говорят старые переписи, — а так как здесь не проложили железной дороги, то облик Блосхолма, вероятно, остался почти таким же. Дома, построенные из местного серого камня, долго не поддавались разрушению.

Люди многих поколений входили и выходили все из тех же дверей, хотя теперь крыши большинства домов покрыты черепицей или грубыми плитами сланца, вместо тростника, нарубленного у плотины. Железные помпы, заменившие в колодцах деревни прежние ведра на валиках, все еще снабжают деревню питьевой водой, как во времена Эдуарда Первого[2], а может быть, существовали много веков до него.

Недалеко от ворот аббатства, посредине монастырского луга, все еще можно било увидеть колодки и позорный столб, несмотря на то что ими не пользуются и надобность в них отпала. На позорном столбе красуются три набора железных скоб разного диаметра, прикрепленные на разной высоте и приспособленные для рук мужчины, женщины и ребенка.

Все это, помнится, находилось под странной старой крышей, которую поддерживали необтесанные дубовые столбы; над крышей виднелся флюгер, изображавший архангела, возвещающего о страшном суде, — фантазия монастырского художника: труба, или каретный рожок, или какой-то другой музыкальный инструмент, в который он трубил, исчез.

Приходская книга говорит, что во времена Георга I[3] какой-то мальчишка отбил его и расплавил, за что был публично высечен; именно тогда, по всей вероятности, и воспользовались этим столбом в последний раз. Но Гавриил все еще вертится так же решительно, как и тогда, когда известный кузнец, старик Питер, сделал его и собственноручно установил в последний год царствования короля Генриха VIII; говорят, он поставил архангела в память того, что здесь были прикованы Сайсели Харфлит, леди Блосхолма, и ее кормилица Эмлин, осужденные на сожжение как ведьмы.

Время коснулось Блосхолма лишь слегка. Почти все луга носят те же названия и сохранили ту же самую форму и границы. Старые фермы и несколько помещичьих домов, где жила местная знать, стоят там же, где стояли всегда. Прославленная башня аббатства все еще стремится к небу, хотя у нее уже нет колоколов и крыши, в то время как в полумиле от нее по-прежнему стоит среди древних вязов приходская церковь, перестроенная при Вильгельме Рыжем[4] на заложенном еще во времена саксов[5] фундаменте. Дальше, на склоне долины, куда по полям сбегает ручеек, находились развалины совершенно разрушенного женского монастыря, когда-то подчинявшегося величавому аббатству на холме; часть развалин была покрыта листами оцинкованного железа и использовалась под коровники.

Об этом аббатстве, об этом женском монастыре и о тех, которые жили в тех местах в давно прошедшие времена, и в особенности о подвергшейся преследованиям прекрасной женщине, которая была известна как леди Блосхолма, и пойдет наш рассказ.

Это было в середине зимы, 31 декабря 1535 года. Старый, седобородый и краснощекий Фотрел, человек лет шестидесяти, сидел перед камином в столовой своего большого дома в Шефтоне и читал письмо, только что принесенное из Блосхолмского аббатства. Сэр Фотрел наконец одолел его, и если бы кому-нибудь довелось быть при этом, он мог бы увидеть рыцаря, хозяина обширного поместья, в ярости, необычной даже для времени Генриха VIII. Сэр Джон швырнул бумагу на землю, выпил подряд три кубка крепкого эля — и до того выпитого в изрядном количестве, — разразился градом отборнейших ругательств, бывших в ходу в то время и, наконец, в самых пылких выражениях послал тело блосхолмского аббата на виселицу, а его душу в ад.

— Он притязает на мои земли, вот как! — воскликнул он, грозя кулаком в сторону Блосхолма. — Что говорит этот негодяй? Что прежний

аббат разделил их с моим дедушкой не полюбовно, а под угрозами и страхом. Теперь, пишет он, этот государственный секретарь Кромуэл[6], прозывающийся главным викарием, заявил, что вышеупомянутая передача была незаконной и что я должен вручить вышеупомянутые земли Блосхолмскому аббатству до сретения или в самый день праздника. Интересно, сколько заплатили Кромуэлу за то, чтобы он подписал этот приказ без всякого расследования?

Сэр Джон налил и выпил четвертый кубок эля, затем принялся ходить взад и вперед по залу. Наконец он остановился перед камином и заговорил с ним, как если бы это был его враг:

— Вы умный парень, Клемент Мэлдон, мне говорили, что все испанцы таковы, вас научили вашему ремеслу в Риме и нарочно прислали сюда. Вначале вы были никто, а теперь вы аббат Блосхолма и, может, достигли еще большего, если бы король не поссорился с папой[7]. Но иногда вы забываетесь — ведь южная кровь горяча, и что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не прошло и года с тех пор, как вы сказали при мне и при других свидетелях кое-какие слова, о которых я вам теперь напомню. Может быть, когда о них узнает секретарь Кромуэл, он откажется отдать вам мои земли, а вашу голову, голову заговорщика, поднимет, пожалуй, еще выше. Придется напомнить вам об этих словах.

Большими шагами сэр Джон подошел к двери и закричал; не будет преувеличением сказать, что он заревел, как бык. Немного спустя дверь распахнулась, и появился слуга — кривоногий, коренастый парень, с копной черных волос на голове.

— Ты не торопишься, Джефри Стоукс? Неужели должен я ждать, когда вашей милости угодно будет пожаловать? — сказал сэр Джон.

— Как можно прийти быстрее, хозяин? За что вы меня браните?

— Ты еще поспорь со мной, парень. Повтори-ка еще раз и я прикажу тебя привязать к столбу и отхлестать.

— Вы бы сами себя отхлестали, хозяин! Вышла бы из вас желчь и пары доброго эля — вот что вам нужно! — хриплым голосом ответил Джефри. — Бывают люди, не умеющие ценить настоящих слуг, но такие часто умирают в одиночку. Что вам нужно? Если могу, сделаю, а нет, так делайте сами.

Сэр Джон поднял руку, точно собираясь ударить его, затем снова опустил ее.

— Люблю, когда человек умеет дать отпор, — сказал он более мягко, — и у тебя как раз такой характер. Не обижайся на меня, малый. Я злюсь, и

не без причины.

— Злость-то я вижу, а причины не знаю, хотя, может, и отгадаю: ведь только что из аббатства приходил монах.

— Увы! В том-то и дело, в том-то и дело, Джефри. Послушай-ка! Я немедленно поеду в это воронье гнездо. Оседлай мне лошадь.

— Хорошо, хозяин. Я оседлаю двух лошадей.

— Двух? Я сказал одну, дурак; разве я скоморох, чтобы ехать на двух сразу?

— Этого я не знаю, но вы поедете на одной, а я на другой. Блосхолмский аббат приезжает к сэру Джону Фотрелу из Шефтона с соколом на руке, с капелланами и пажами и с десятком недавно нанятых здоровенных вооруженных людей. Это больше, чем подобает священнику. Когда сэр Джон Фотрел едет в Блосхолмское аббатство, его должен сопровождать слуга, который мог бы держать его лошадь и служить свидетелем.

Сэр Джон испытующе посмотрел на него.

— Я обозвал тебя дураком, — сказал он, — но ты дурак только по виду. Делай как хочешь, Джефри, только поскорее. Стой! Где моя дочь?

— Леди Сайсели у себя в гостиной. Я видел ее нежное личико в окне; она так смотрела на снег, будто видит привидение.

— Хм, — проворчал сэр Джон, — привидение, о котором она думает, шести футов роста и ездит на большой серой кобыле; у него веселое лицо и пара рук, прекрасно приспособленных для меча и для того, чтобы крепко обнять девушку. Надо выдумать заклинание, чтобы привидение не появилось, Джефри. — Очень жаль, хозяин. А вам, может быть, это и не удастся? Заставить исчезнуть приведение — это дело священника. Мужские руки найдут что обнять, раз девичьи сами к нему тянутся.

— Эй ты, иди! — заревел сэр Джон, и Джефри вышел.

Через десять минут они уже ехали по направлению к находившемуся в трех милях аббатству, а еще через полчаса сэр Джон не слишком скромно стучался в ворота; услышав стук, монахи, как испуганные муравьи, забегали взад и вперед, так как времена были тяжелые и никто не мог знать, что ему угрожает.

Узнав наконец гостя, они принялись отодвигать засовы огромных дверей, опускать поднятый на закате подъемный мост.

Вскоре сэр Джон стоял в комнате аббата, греясь у большого камина; за ним стоял слуга Джефри, держа в руках его длинный плащ.

Это была красивая комната с потолком из благородного резного орехового дерева, с каменными стенами, увешанными дорогими

гобеленами, на которых были вытканы сцены из священного писания. Пол бы покрыт роскошными коврами из цветной восточной шерсти. Так же великолепна была и чужеземная мебель с инкрустациями из слоновой кости и серебра; на столе стояло золотое распятие чудесной работы, на мольберте, повернутом так, что свет от серебряной висячей лампы падал прямо на него, — картина какого-то великого итальянского художника. На ней изображалась в человеческий рост кающаяся Магдалина; прекрасные глаза женщины были обращены к небу, она била себя кулаком в грудь.

Сэр Джон огляделся и презрительно фыркнул.

— Ну, Джефри, как ты думаешь, где мы находимся? В келье монаха или в гостиной какой-нибудь придворной дамы? Посмотри под стол, парень, наверняка ты там найдешь ее лютню и вышивание. Чей это портрет, как тебе кажется? — И он указал на Магдалину.

— Я думаю, что это кающаяся грешница, хозяин. Она была приятна для мирян, пока была грешницей, а теперь стала святой и потому приятна для священника. А что касается всего остального, здесь неплохо можно было бы выспаться после кубка красного вина. — И он ткнул большим пальцем в сторону бутылки с узким и длинным горлышком, стоявшей на краю стола.

— А что камин ярко пылает, в этом нет ничего удивительного, ведь его топят сухим дубом из вашего Стикслейского леса.

— Откуда ты это знаешь, Джефри? — спросил сэр Джон.

— По его прожилкам, хозяин, по его прожилкам. Я перевел там слишком много леса, чтобы не знать. Только стикслейские глины делают кольца извилистей и темнее к сердцевине. Посмотрите.

Сэр Джон посмотрел и злобно выругался.

— Ты прав, парень, теперь я вспомнил. Когда я был еще мальчишкой, мой дед показал мне именно эту особенность стикслейских дубов. Эти проклятые монахи истребляют мои леса прямо у меня под носом. Мой лесничий — негодяй. Они напугали или подкупили его, и я его за это повешу.

— Сначала докажите преступление, хозяин, а это не так-то легко, а потом уж говорите о виселице. Только короли да аббаты, имеющие «право виселицы»[8], могут сделать это, если захотят. Ох, это правда, — добавил он изменившимся голосом, — прекрасная комната, хотя недостаточно хороша для того святого, что в ней живет; такому святому подобало бы иметь серебряную раку[9], вроде той, что стоит перед алтарем, и он безусловно заслужит ее еще до того, как состарится. — И Джефри, точно случайно,

наступил на побаливающую подагрическую ногу хозяина.

Сэр Джон круто обернулся, как блосхолмский флюгер в ненастный день.

— Неуклюжая жаба! — заревел он и сразу замолчал, потому что среди бесшумно раздвинувшихся гобеленов появился одетый в дорогие меха высокий человек с тонзурой[10] и за ним двое других тоже с тонзурами, но в простых черных одеждах. Это был аббат со своими капелланами.

— Благослови господь — мягко сказал аббат с иностранным акцентом, поднимая два пальца правой руки для благословения.

— Добрый день, — ответил сэр Джон, в то время как его слуга поклонился и перекрестился. — Почему вы подкрадываетесь к людям, как вор по ночам, святой отец? — раздраженно добавил он.

— Сказано, что именно так грядет страшный суд, сын мой, — ответил аббат, улыбаясь. — И по правде говоря, в нем чувствуется некоторая необходимость. Мы слышали громкие споры и разговор о том, чтобы кого-то повесить. Основательно ли ваше обвинение?

— Оно крепче дуба, — угрюмо ответил старый сэр Джон. — Мой слуга сказал, что эти дрова в камине взяты из моего Стикслейского леса, а я ответил ему, что если это так, то, значит, они украдены и мой лесничий должен быть за это повешен.

— Достойный человек прав, сын мой, и все же ваш лесничий не заслуживает наказания. Я купил у него скудный запас топлива, и, если говорить правду, счет еще не оплачен. Деньги, которые следовало внести, отправлены в Лондон, потому я попросил отложить плату до получения летней ренты. Не вините его, сэр Джон, если по дружбе к нам и зная, что это не причинит вам ущерба, он не потерпел скудости нашей скромной обители.

Сэр Джон окинул взглядом роскошную комнату.

— Разве это скудность скромной обители заставила вас послать мне письмо, в котором говорится, что у вас есть предписание Кромуэла захватить мои земли? — спросил сэр Джон, набрасываясь, как бык, на своего обидчика и бросая на стол письмо. — Или вы хотите сказать, что заплатите за них, когда получите свою летнюю ренту?

— Нет, сын мой. Долг заставляет меня начать это дело. Двадцать лет мы оспариваем эти поместья, которые, как вы знаете, ваш дед в трудную минуту отобрал у нас, разделив их пополам, несмотря на протест того, кто был в то время аббатом. Поэтому я, наконец, изложил дело главному викарию, который, как я слышал, решил вопрос в пользу аббатства.

— Удовлетворить иск, о котором ответчик и понятия не имеет! —

воскликнул сэр Джон. — Милорд аббат, это нельзя назвать правосудием; это мошенничество, и я не потерплю этого. Помилуйте, может быть, он еще что-нибудь решил?

— Раз уж вы спрашиваете об этом — кое-что еще, сын мой! Чтобы избежать лишних расходов, я изложил ему некоторые не решенные между нами вопросы; вот вкратце его решение: ваше право на владение блосхолмскими землями и прилегающими землями, в общей сложности достигающими 8 тысяч акров[11], не аннулируется, но оно не считается безусловным и остается под сомнением.

— Помилуй бог! Почему? — спросил сэр Джон.

— Я скажу вам, сын мой, — мягко ответил аббат. — В течение столетия земли принадлежали этому аббатству как дар короны, и нет никаких документов, указывающих на то, что корона согласилась на их отчуждение.

— Никаких документов, — воскликнул сэр Джон, — но у меня в секретном ящике есть договор, подписанный моим прадедушкой и аббатом Франком Ингхэмом! Никаких документов, но мой вышеупомянутый прадедушка дал вам вместо них другие земли, и вы ими сейчас владеете! Прекрасно, продолжайте, святой отец.

— Мой сын, я повинуюсь вам. Ваше право, хотя и является сомнительным, не аннулировано полностью; считается все еще, что вы будете владеть этими землями как арендатор аббатства, но они перейдут к нему, если вы умрете, не оставив потомства. Если же вы умрете, имея несовершеннолетних детей, то они будут переданы под опеку блосхолмского аббата, если таковой будет существовать, а если нет — то есть не будет ни аббата, ни аббатства, — то под опеку короны.

Сэр Джон выслушал это, затем откинулся на спинку стула, а его красное лицо посерело, как зола.

— Покажите мне это решение, — медленно сказал он.

— Оно еще не написано, сын мой. В течение десяти дней или около того, я надеюсь… Но вам, кажется, плохо. Быть может, после наружного холода подействовало тепло этой комнаты. Выпейте бокал нашего скромного вина.

И по его знаку один из капелланов шагнул к буфету, наполнил бокал из стоявшей там бутылки с длинным горлышком и поднес ее сэру Джону.

Тот взял его, не сознавая, что делает, затем внезапно бросил серебряный бокал вместе с содержимым в огонь, откуда капеллан и извлек его щипцами.

— Выходит, что вы монахи, оказываетесь моими наследниками, —

сказал сэр Джон совсем другим, спокойным голосом, — по крайней мере вы так говорите, а если это так, то, вероятно, мне осталось недолго жить. Я не буду пить вашего вина, оно может быть отравлено. Теперь послушайте меня, сэр аббат. Я мало верю в эту сказку, хотя, без сомнения, взятками и другими способами вы сделали все от вас зависящее, чтобы за моей спиной навредить мне там, в Лондоне. Но завтра на рассвете, будет ли хорошая погода или ненастье, я поскачу сквозь снега в Лондон, где у меня тоже есть друзья, и мы еще посмотрим… мы еще посмотрим. Вы умны, аббат Мэлдон, и я знаю, что вам нужны деньги или что-нибудь взамен, чтобы платить вашим оруженосцам и чтобы удовлетворить ваши громадные потребности — да, да, старинные драгоценности времен крестовых походов. Из-за них вы ищете способа ограбить меня — ведь вы всегда меня ненавидели, и, может быть, Кромуэл поверил вашей басне. Быть может, безумный монах, — добавил он медленно, — он хотел откормить на моих хлебах такого церковного гуся, как вы, перед тем как свернуть ему шею и сварить его.

При этих словах бесстрашный аббат содрогнулся и даже два бесстрастных капеллана переглянулись.

— Ах! Это вас волнует? — спросил сэр Джон Фотрел. — Хорошо, тогда вот что заставит вас содрогнуться по-настоящему. Вы думаете, что к вам благоволят при дворе, не так ли? Потому что вы принесли присягу на счет престолонаследия[12], от которой люди храбрее вас, например братья картезианского монастыря[13], отказались и погибли из-за этого. Но вы забыли слова, сказанные вами мне в моем доме, когда любимое ваше вино повлияло на вас, что…

— Замолчите! Ради самого себя замолчите, сэр Джон Фотрел! — перебил аббат. — Вы заходите слишком далеко.

— Не так далеко, как отправитесь вы, милорд аббат, прежде даже, чем я сам рассчитаюсь с вами. А вы попадете в Тауэр Хилл[14] или на площадь Тайберн[15], где вас повесят и четвертуют как изменника его величеству. Говорю вам, вы забыли сказанные вами слова, но я вам их напомню. Разве вы мне не сказали, когда ушли гости, что король Генрих — еретик, тиран и безбожник, и папа хорошо сделал, если отлучит его от церкви и лишит престола? Разве вы не спросили меня, когда я пошел вас провожать, не мог ли бы я вызвать в этой местности, где пользуюсь влиянием, восстание простолюдинов, а также знающих и любящих меня дворян, чтобы свергнуть короля, а на его место посадить некоего кардинала Пола, и за это обещали мне прощение и отпущение всех грехов и великие почести —

именем папы и испанского императора[16].

— Никогда этого не было, — отвечал аббат.

— И разве я, — продолжал сэр Джон, не обращая внимания на его слова, — разве я не отказался слушать вас и не сказал вам, что ваши слова предательство, и будь они сказаны где-нибудь в другом месте, а не в моем доме, я, как повелевает мой долг верноподданного, доложил бы о них? Да, да и разве не с этой минуты вы стремитесь погубить меня, потому что вы меня боитесь?

— Я все это отрицаю, — снова сказал аббат. — Все это пустая ложь, вымышленная вашей злобой, сэр Джон Фотрел.

— Вот как! Пустые слова, милорд аббат? Ну, так я говорю вам, они все записаны и подписаны, как полагается по форме. Говорю вам, что у меня есть свидетели, о которых вы и не подозревали и которые слышали их собственными ушами. Здесь, за моим столом, стоит один из них. Не так ли, Джефри?

— Так точно, хозяин, — ответил слуга. — Я вместе с другими случайно оказался в маленькой комнате с деревянной панелью, где мы ждали аббата, чтобы проводить его домой, и слышали все, а потом я и они поставили свои подписи на документе. Это так же верно, как то, что я христианин, но, несмотря на это, хозяин, как бы несправедливо со мной не обошлись в этом доме, я не стал бы об этом распространяться.

— А мне так нравится, — ответил рассвирепевший рыцарь, — и я стану говорить об этом еще громче в любом другом месте, например перед Королевским советом. Завтра, милорд аббат, я с этим документом отправлюсь в Лондон, и тогда вы узнаете, чего вам будет стоить попытка лишить Фотрела его состояния.

Теперь, в свою очередь, испугался аббат. Его гладкие оливковые щеки побледнели и впали, как будто он уже почувствовал, как веревки обвиваются вокруг его шеи. Его руки, все в драгоценных кольцах, дрожали, и он, схватив руку одного из капелланов, оперся на нее.

— Человек, — прошипел он, — неужели ты думаешь, что, произнеся подобные лживые угрозы, ты выйдешь отсюда, чтобы погубить меня, священнослужителя? У меня здесь есть темницы; я облечен властью. Будет доказано, что ты напал на меня и я всего лишь защищался; не ты один, сэр Джон, можешь давать показания. — И он прошептал какие-то слова по-латыни или по-испански на ухо одному из капелланов, после чего священник повернулся, чтобы уйти.

— Кажется, теперь мы попали в историю, — сказал Джефри Стоукс, кладя руку на кинжал у пояса и проскользнув между дверью и монахом.

— Вот именно, Джефри! — воскликнул сэр Джон. — Держись, крысиная нора. Смотри, испанец, вот мой меч. Проводите меня к воротам, или, в силу королевских полномочий, мне данных, я буду немедленно судить тебя как предателя и, если добьюсь своей цели, отвечу за все.

Аббат с минуту подумал, как бы измеряя мысленно ярость стоящего перед ним рыцаря. Затем сказал:

— Идите как пришли, с миром, о раб ярости и зла, но знайте, что проклятие церкви последует за вами. Я говорю вам, что вы стоите на краю гибели.

Сэр Джон посмотрел на него. Злоба исчезла с его лица, на нем появилось какое-то странное выражение — пророческое или вдохновенное, можно назвать это как угодно.

— Во имя неба и всех святых! Я думаю, что вы правы, Клемент Мэлдон, — пробормотал он. — Под этой черной рясой вы такой же человек, как и мы все, — не правда ли? У вас есть сердце, есть руки и ноги, есть мозг, чтобы думать. Для бога вы всего лишь скрипка, на которой он играет, и как бы сильно ваш религиозный фанатизм ни искажал ее звуков, струны порой говорят правду. Ну, а я — другая, может быть, более честная скрипка, хоть я и не поднимаю двух пальцев правой руки и не говорю: «Благословляю, сын мой» или: «Отпускаются вам грехи ваши», и вот сейчас наш единый бог играет во мне свою мелодию, и я скажу вам, что она говорит. Я стою у порога смерти, но и вы стоите недалеко от виселицы. Я умру как честный человек; вы умрете, как пес, предавший все, и после этого пусть ваши молитвы, ваши обедни и ваши святые помогут вам, если им это удастся. Мы поговорим об этом еще раз, когда снова встретимся где-нибудь в другом месте. А теперь, милорд аббат, ведите меня к воротам, помня, что я с мечом следую за вами. Джефри, поставь перед собой этих мерзких воронов и следи за ними как следует. Милорд аббат, я ваш слуга. Вперед!

Глава II . Убийство у заводи

Некоторое время сэр Джон и его слуга ехали молча. Потом сэр Джон громко рассмеялся.

— Джефри, — позвал он, — это было опасным испытанием. Сэр священник намеревался воткнуть нам между ребер испанскую зубочистку, а потом для успокоения совести дать предсмертное отпущение грехов.

— Да, хозяин, но он благоразумно вспомнил, что у английских мечей лезвие длиннее и что его головорезы провожают старый новый год в харчевне у брода, и отказался от своего замысла. Я всегда говорил вам, хозяин, что ваше старое октябрьское вино слишком крепко для употребления днем. Его следовало бы приберечь, чтобы пить перед сном.

— Что ты хочешь сказать парень?

— Я хочу сказать, что вашими устами говорит эль, а не мудрость. Вы раскрыли ваши карты и сваляли дурака.

— Как ты смеешь учить меня! — сердито сказал сэр Джон. — Мне хотелось, чтобы этот льстивый предатель хоть раз в жизни услышал правду.

— Так-так, но для правды и для тех, кто ее почитает, наступили плохие дни. Разве было необходимо говорить ему о том, что завтра вы отправляетесь в Лондон по этому делу?

— Почему нет? Я приеду туда раньше его.

— Приедете ли вы туда когда-нибудь, хозяин? Дорога идет мимо аббатства, а у этого священника достаточно головорезов, умеющих держать язык за зубами.

— Ты хочешь мне сказать, что он подставит мне ловушку. Не посмеет, я тебе говорю. Но для твоего успокоения мы поедем дальней тропинкой через лес.

— Дорога там трудная, хозяин; а кто ж будет сопровождать вас? Большинство отправилось в извоз, другие — отдыхают. В доме только трое, вы не можете оставить без охраны леди Сайсели или взять ее с собой в такой холод. — И он прибавил многозначительно: — Помните, что в доме есть богатство, которое кое-кому нужнее ваших земель. Лучше подождите немного, ваши люди вернутся или вам удастся созвать арендаторов и поехать в Лондон, как подобает человеку вашего звания, в сопровождении двадцати славных молодчиков.

— И дать нашему другу аббату время нашептать на ухо Кромуэлу, а через него и королю. Нет, нет, я поеду завтра на рассвете с тобой или, если

ты боишься, без тебя, как я ездил раньше и возвращался целым и невредимым.

— Никто не посмеет сказать, что Джефри Стоукс боится человека, священника или дьявола, — покраснев, ответил старый солдат. — Тридцать лет ваш путь был хорош для меня и теперь хорош. Я предупредил вас не ради себя — мне-то безразлично, что будет, — а ради вас и вашего дома.

— Я это знаю, — сказал сэр Джон, смягчаясь. — Не принимай моих слов близко к сердцу, я сегодня не в себе. Во имя всех святых! Наконец-то мы дома. О! Чья это лошадь проскакала в ворота до нас?

Джефри взглянул на следы, отчетливо выделявшиеся при лунном свете на только что выпавшем снегу.

— Серая кобыла сэра Кристофера Харфлита, — сказал он. — Я узнаю ее подковы и круглую форму копыт. Без сомнения, он приехал навестить госпожу Сайсели.

— Я запретил ему это, — пробормотал сэр Джон, выскакивая из седла.

— Не запрещайте, — ответил Джефри, забирая его лошадь. — Кристофер Харфлит может быть хорошим другом для девушки, когда понадобится, а мне кажется, что это время близко.

— Делай свое дело, мошенник! — закричал сэр Джон. — Чтобы в моем собственном доме какая-то девчонка и щеголь, желающий поправить свои пошатнувшиеся дела, не ставили меня ни во что?

— Раз уж вы меня спрашиваете, то, по-моему, они правы, — невозмутимо ответил Джефри, уводя лошадей.

Сэр Джон большими шагами направился к дому через заднюю дверь, выходившую в конюшню. Взяв фонарь, стоявший около двери, он прошел по галереям наверх в гостиную, расположенную перед залом, которым после смерти матери пользовалась его дочь; тут он предполагал найти ее. Поставив фонарь на столик в коридоре, он толкнул незапертую дверь и вошел.

Вся передняя часть большой комнаты тонула во мраке. Задняя была освещена только ярким светом топившегося камина и двумя свечами. Все же около глубокой оконной ниши мрак рассеивался и озарял ярким светом сидящую на дубовом кресле с высокой спинкой Сайсели Фотрел, единственное оставшееся в живых дитя сэра Джона. Это была высокая грациозная девушка с голубыми глазами, каштановыми волосами и белоснежной кожей, с круглым ребячьим личиком, какие большинство людей считают красивыми. В эту минуту это лицо, обычно радостное и лукавое, казалось обычным. И для этого, видимо, были причины, так как рядом с ней на стуле сидел молодой человек и что-то горячо говорил ей.

Это был здоровенный молодец, очень широкий в плечах, с правильными чертами лица, длинным прямым носом, черными волосами и веселыми черными глазами. Как и подобает влюбленным, он, по всей вероятности, пылко и очень искренне объяснялся ей в любви; сидя лицом к Сайсели, он о чем-то умолял ее, а она откинулась на спинку кресла и ничего не отвечала.

Как раз в эту минуту обильный поток слов иссяк: то ли высказавшись до конца, то ли по какой-нибудь другой причине, но молодой человек перешел к иному, более действенному способу наступления. Вдруг, соскользнув со стула, он опустился на колени, взял руку Сайсели и, не встретив сопротивления, поцеловал ее несколько раз; затем вдохновленный успехом, раньше чем сэр Джон, задыхавшийся от негодования, смог найти слова, чтобы остановить его, он обнял девушку своими длинными руками, прижал к себе и стал целовать ее алые губы, как прежде целовал руки.

Эта дерзость, казалось, разрушила сковывающие ее чары, так как, оттолкнув назад кресло и высвободившись из его объятий, она поднялась и сказала дрогнувшим голосом:

— О! Кристофер, дорогой Кристофер, так ведь нельзя!



— Может быть, — ответил он. — Раз вы меня любите, мне все остальное безразлично.

— Уже два года, как вы знаете это, Кристофер. Да я люблю вас, но увы! — мой отец не согласен. Теперь уходите, пока он не вернулся, или нам

обоим придется поплатиться за это, а меня, быть может, отправят в монастырь, куда ни один мужчина не может проникнуть.

— Нет, моя голубка. Я пришел сюда, чтобы просить его согласия.

Тогда наконец сэр Джон не выдержал.

— Просить моего согласия, бесчестный мошенник! — проревел он из темноты; при этом Сайсели упала обратно в кресло почти в обмороке, а дюжий Кристофер зашатался, словно пронзенный стрелой. — Сначала обнимаешь мою дочь у меня на глазах, а потом, позволив себе такую дерзость, просишь моего согласия! — И он бросился к ним, как бык, готовый к нападению.

Сайсели поднялась, стремясь убежать, но, увидев, что бегство невозможно, бросилась в объятия своего возлюбленного. Взбешенный отец, надеясь вырвать девушку из объятий молодого человека, схватил первое, что попалось ему под руку — одну из ее длинных каштановых кос, — и изо всех сил стал тянуть ее, пока Сайсели не закричала от боли. При звуке ее голоса Кристофер тоже вышел из себя.

— Оставьте в покое девушку, сэр, — сказал он тихо и зловеще, — или, да простит меня господь, я заставлю вас сделать это!

— Оставить девушку в покое? — задохнулся сэр Джон. — А кто держит ее крепче — ты или я? Это ты должен отпустить ее.

— Да, да Кристофер, — прошептала она, — а то вы меня разорвете пополам.

Он повиновался и посадил ее в кресло, хотя отец все еще не отпускал каштановой косы.

— Теперь, сэр Кристофер, — сказал он, — я уж проткну тебя своим мечом.

— И пронзите сердце вашей дочери вместе с моим. Что ж, пусть будет по-вашему, а когда мы умрем и вы лишитесь детей, слезы сведут вас в могилу.

— О! Отец, отец! — воскликнула Сайсели, знавшая характер старика и опасавшаяся самого худшего. — Во имя справедливости и милосердия, выслушайте меня. Мое сердце принадлежит Кристоферу и принадлежало с самого детства. С ним я буду счастлива, без него будет только мрак и отчаяние, и он клянется в том же. Зачем вам разлучать нас? Разве он не подходит мне, плох его род или запятнано имя? До недавних пор разве он не пользовался вашим расположением и вы не разрешали нам быть все время вместе? А теперь слишком поздно отказывать ему. О! Почему, почему?

— Ты знаешь достаточно хорошо почему, дочь! Потому то я выбрал

тебе другого мужа. Лорду Деспарду понравилось твое детское личико, и он хочет жениться на тебе. Не далее как сегодня утром мы ударили по рукам.

— Лорд Деспард? — вырвалось у Сайсели. — Но он только в прошлом месяце похоронил свою вторую жену! Отец, он вашего возраста, пьяница, и его внуки почти ровесники мне. Я покорна вам во всем, но никогда он не возьмет меня живой.

— И сам не останется в живых, если попробует взять вас, — пробормотал Кристофер.

— Какое значение имеет его возраст, дочь? Он очень крепкий человек, у него нет сына, а если он у него родится, то будет самым богатым наследником наших трех графств. Главное же — мне нужна его дружба, потому что у меня есть заклятые враги. Но довольно. Уходи, Кристофер, пока с тобой не случилось ничего плохого.

— Пусть будет так, сэр, я пойду; но прежде, как честный человек, как друг моего отца и, как я всегда думал, мой друг, ответьте мне на один вопрос. Почему вы с некоторых пор изменили отношение ко мне? Разве я ни тот самый Кристофер Харфлит, что и год или два назад? И разве я что-нибудь сделал унижающее меня в ваших глазах или в глазах общества?

— Нет, парень, — прямодушно ответил старый рыцарь, — но раз ты хочешь знать, слушай. Год или два назад твой дядя, чьим наследником ты был, женился, родил сына, и теперь ты только джентльмен с хорошим именем, не имеющим средств достойно поддерживать его. Твой большой дом будет продан с торгов, Кристофер. И ты никогда не введешь в него свою жену.

— Ах! Я так и думал. Кристофер Харфлит — наследник земель Лесборо — один человек; Кристофер Харфлит без этих земель — в ваших глазах другой человек. Однако, сэр, вы плохо рассчитали. Я люблю вашу дочь, и она любит меня, а земли Лесборо, и не только они, еще могут ко мне вернуться, да и я не так глуп, чтобы не добыть себе других. В скором времени очень много земель отойдет к короне, а при дворе меня знают. Кроме того, я должен сказать вам: я уверен, что женюсь на Сайсели раньше, чем вы думаете, но я бы хотел получить вместе с ней ваше благословение.

— Что! Неужели ты хочешь похитить девочку? — яростно спросил сэр Джон.

— Ни в коем случае, сэр. Но мы живем в такое время, когда ежечасно тот, кто был вверху, оказывается внизу, и наоборот, так что надеюсь, я все-таки женюсь на ней. Во всяком случае, я уверен, — пьяница Деспард никогда ее не получит, ибо раньше я убью его, если даже меня за это

повесят. Сэр, сэр, не бросите же вы вашу жемчужину в эту навозную кучу! Лучше раздавить ее сразу каблуком. Посмотрите на нее и скажите, что вы не в силах это сделать! — И он указал на трогательную фигурку Сайсели, которая стояла около них, сжав руки, прерывисто дыша, с выражением муки на лице.

Старый рыцарь взглянул на нее искоса уголком глаза и почувствовал жалость, так как в глубине души был порядочным человеком; хотя он обращался с дочерью грубо, как это было в обычае той эпохи, но любил ее больше всего на свете.

— Как ты смеешь говорить мне о долге по отношению к моей плоти и крови? — пробурчал он. Затем, немного подумав, добавил: — Выслушай же меня, Кристофер Харфлит. Завтра на рассвете я еду в Лондон с Джефри Стоуксом по одному рискованному делу.

— По какому делу, сэр?

— Если хочешь знать — по поводу ссоры с этим испанским негодяем аббатом, который притязает на лучшую часть моих земель и много чего нашептал этому выскочке, главному викарию Кромуэлу. Я еду, чтобы рассказать о тех его делах, которые Кромуэл не знает, и постараюсь доказать, что он лжец и предатель. Скажи, будет ли мой дом избавлен от твоих посещений в мое отсутствие? Дай мне слово, и я поверю тебе, так как ты все же честный джентльмен, и если ты незаконно сорвал один или два поцелуя, то это можно простить. Еще до твоего рождения люди делали то же самое. Дай мне слово, или мне придется тащить эту девчонку за собой в Лондон через все снежные заносы.

— Я даю вам его, сэр, — ответил Кристофер. — Если ей понадобится мое общество, то для этого ей придется приехать в Крануэл Тауэрс, так как я не буду надоедать ей в ваше отсутствие.

— Хорошо. Тогда одолжение за одолжение. Я не буду отвечать на письмо лорда Деспарда, пока не вернусь обратно, — не для того, чтобы доставить тебе удовольствие, а потому что я терпеть не могу писать. Это для меня труд, и я не могу тратить на него время сегодня вечером. А теперь выпей кубок вина и уходи. Любовь — работа, вызывающая жажду.

— Охотно сэр; но послушайтесь меня, послушайтесь. Не ездите в Лондон почти без спутников после ссоры с аббатом Мэлдоном. Разрешите мне охранять вас. Хотя мое имущество не велико, я все-таки могу взять человека или двух, даже, быть может, человек шесть — восемь, пока ваши разъехались.

— Ни за что, Кристофер. Я сам охраняю свою голову все шесть лет, смогу сохранить ее и сейчас. Кроме того, — добавил он, внезапно как бы

охваченный предчувствием, — как ты сказал, путешествие опасно, и кто знает?… Если что-нибудь случится, может быть, ты будешь тут гораздо нужнее. Кристофер, ты никогда не получишь мою дочь, она не для тебя. Однако возможно, возникнет необходимость заступиться за нее даже ценой отлучения от церкви. Уходи отсюда, девушка! Что ты стоишь здесь и глазеешь на нас, как сова при солнечном свете? И запомни, что, если я еще раз поймаю тебя за подобными штучками, ты будешь проводить свои дни в монастыре, что принесет тебе немалую пользу.

— По крайней мере, я найду там покой и ласку, — ответила Сайсели с чувством, так как она знала своего отца и ее самые худшие опасения исчезли. — Только, сэр, я не знала, что вы хотите увеличить богатство блосхолмских аббатств.

— Увеличить их богатство! — заревел отец. — Нет, я повешу их всех. Иди в свою комнату и пришли Джефри с водкой.

Сайсели не оставалось ничего другого, как сделать реверанс сначала отцу, потом Кристоферу, которому она взглядом сказала то, чего не смели произнести губы, потом исчезла в темноте, и только слышно было, как она ударилась о какую-то мебель.

— Посвети, девочке, Кристофер, — сказал сэр Джон, который смотрел в огонь, погрузившись в свои мысли.

Схватив одну из двух свечей, Кристофер бросился за Сайсели, как гончая за кроликом, и вскоре они оба вышли в дверь и пошли по начинающемуся за ней длинному коридору. На повороте они остановились, и еще раз он безмолвно обнял ее своими длинными руками.

— Вы не забудете меня, даже если нам придется расстаться? — всхлипывала Сайсели.

— Нет, голубка, — ответил он. — Мы расстаемся ненадолго, так как господь отдал нас друг другу. Ваш отец не думает того, что говорит, а сегодня он расстроен, но потом смягчится. Если же нет, мы сами подумаем о самих себе. У меня одна-две быстрых лошади. Смогли бы вы поехать на одной из них?

— Я всегда любила ездить верхом, — ответила она многозначительно.

— Хорошо. Тогда вы никогда не попадете в хлев к этой свинье, так как сперва я ее заколю. У меня есть друзья и в Шотландии и во Франции. Что вы предпочитаете?

— Говорят, что воздух Франции мягче. Теперь уходите от меня, а то он пойдет искать нас.

И они оторвались друг от друга.

— Вашей кормилице Эмлин можно доверять, — быстро сказал он. —

И она очень любит меня. Если будет нужно, дайте мне знать через нее.

— Ах, — ответила она, — непременно. — И ускользнула от него как призрак.

— Ты ждал восхода луны? — спросил сэр Джон, взглянув из под мохнатых бровей на Кристофера, когда он вернулся.

— Нет, сэр, но коридоры в вашем старом доме удивительно длинны, и я повернул не в ту сторону, проходя по ним.

— О! — сказал сэр Джон. — У тебя изумительная способность поворачивать не в ту сторону; впрочем, расставаться, конечно, не легко. Теперь ты понимаешь, что вы виделись в последний раз?

— Я понимаю, что вы это говорите, сэр.

— Надеюсь, что я могу и думать так. Послушай, Кристофер, — добавил он строго, но ласково, — поверь мне, ты мне нравишься, и я бы не стал огорчать ни тебя, ни девушку, если бы мог. Но у меня нет выбора. Мне угрожают со всех сторон и священник и король, а ты потерял свое наследство. Она единственное сокровище, которое я могу дать в залог; и ради ее собственного блага и ради ее будущих детей она должна как следует выйти замуж. Этот Деспард долго не протянет, он слишком много пьет; тогда, быть может, придет твой день, если ты все еще будешь неравнодушен к его наследству. Случится это года через два, а то и меньше, она скоро проводит его в другой мир. А теперь не будем больше говорить об этом, но если что-нибудь случится со мной, будь ей другом. Вот и водка — выпей и уходи. Пусть тебе кажется, что я суров с тобой, я все же надеюсь, ты осушишь в Шефтоне еще не один кубок.

Было семь часов утра следующего дня, когда сэр Джон, позавтракав, опоясывался мечом, так как Джефри уже пошел за лошадьми; дверь в большой зал отворилась, и вошла его дочь со свечой в руках, закутанная в меховой плащ, поверх которого ниспадали ее длинные волосы. Взглянув на нее, сэр Джон заметил в ее широко открытых глазах ужас.

— Что с тобой, девочка? — спросил он. — Ты умрешь от простуды на сквозняке.

— О отец! — воскликнула она, целуя его. — Я пришла проститься с вами и… и просить вас не ехать.

— Не ехать? Но почему?

— Потому что, отец, я видела плохой сон.

— Я не боюсь снов, все эти глупости от плохого пищеварения.

— Может быть, отец, но вы должны остаться дома и послать кого-нибудь другого по этому делу. Например, сэра Кристофера.

— Зачем мне бояться твоего сна, правдив ли он или ложен? Если он правдив, то ничего не поделаешь, он должен исполниться; если ложен, с какой стати придавать ему значение? Сайсели, я простой человек и не обращаю внимания на такие фантазии. Но у меня есть враги, и вполне возможно, что мой час настал. Если так, то полагайся на свой здравый смысл, дочка, остерегайся Мэлдона; будь осторожна, спрячь драгоценности твоей матери. — И он повернулся, чтобы уйти.

Она схватила его за руку.

— Отец, что я должна делать, если с вами что-нибудь случится? — пылко спросила она.

Он остановился и смерил ее взором от головы до пят.

— Я вижу, что ты веришь в свой сон, — сказал он. — И хотя это и не остановит Фотрела, я начинаю верить в него тоже. Если это случится, у тебя будет возлюбленный, которому я отказал. Он и мне по сердцу и будет крепко бороться за тебя. Если я умру, моя игра кончена. Тогда начинай свою сначала, милая Сайсели, и начни ее скорее, прежде чем аббат станет тебя преследовать. Хоть я был и груб, не поминай меня лихом, и пусть будет с тобой божие и мое благословение. А вот и Джефри зовет; если лошади будут стоять, они замерзнут. Ну прощай. Не бойся за меня, у меня надета под плащом кольчуга. Ложись опять в постель и согрейся. — Он поцеловал ее в лоб, отстранил от себя и ушел.

Так Сайсели и рассталась с отцом навсегда.

Весь этот день сэр Джон и его слуга Джефри скакали вперед по снегу. Но иногда они были вынуждены идти пешком по глубоким сугробам. Они ехали лесной тропой и хотели добраться до одной фермы в прогалине среди лесов за два часа до заката, переночевать в ней и на рассвете направиться в Фенс и Кембридж. Это, однако, оказалось невозможным: дорога была уж очень плоха. И получилось так, что немногим ранее пяти часов, когда темнота сомкнулась над ними, принеся с собой холод, и стонущий ветер, и неожиданный снегопад, они были вынуждены укрыться в хижине лесничего, построенной из прутьев, и дождаться, пока луна не выйдет из-за облаков. Там они накормили лошадей захваченным с собой зерном, поели сами сухого мяса и ячменных лепешек, запас которых нес Джефри в сумке на плече. Трапеза была убогая, в полной темноте, но она помогла хоть немного утолить голод и провести время.

Наконец луч света проник через дверь в хижину.

— Луна взошла, — сказал сэр Джон. — Поедем, пока лошади не замерзли.

Ничего не ответив, Джефри взнуздал лошадей и вывел их из хижины. В это время появилась полная луна, как огромный белый глаз между двумя черными грядами облаков, и покрыла серебром весь мир. Она осветила печальную картину; сверкающая равнина снега, местами поросшая кустарником боярышника, и то тут, то там мрачные очертания подстриженных дубов; это была опушка леса, и люди приходили сюда обрубать верхушки деревьев для топлива.

На расстоянии примерно ста пятидесяти ярдов[17], на гребне склона возвышался округлой формы холм, созданный не природой, а рукой человека. Никто точно не знал, но существовало предание, что однажды, сотни или тысячи лет назад, здесь произошла великая битва, в которой был убит король, и его победоносная армия, чтобы увековечить его память, насыпала над его останками этот холм.

В этой легенде говорилось, что это был морской король, поэтому для него построили или принесли сюда с берега реки лодку со всеми приспособлениями для гребли и усадили его в нее; также говорили, что по ночам можно видеть, как он в доспехах верхом на лошади объезжает окрестности, будто все еще руководит битвой. Во всяком случае холм назывался Королевским курганом, и люди боялись проходить мимо него после захода солнца.

Держа стремя своего хозяина, чтобы помочь ему сесть на лошадь, Джефри Стоукс вдруг вскрикнул и указал на что-то. Взглянув по направлению его вытянутой руки, сэр Джон в ясном лунном свете увидел всадника, неподвижного, как статуя, на самой вершине Королевского кургана. Казалось, он был закутан в длинный плащ, но его шлем сверкал на голове, как серебро. В следующую минуту край черной тучи скрыл диск луны, и, когда туча прошла, человека на лошади уже не было.

— Что этот парень там делал? — спросил сэр Джон.

— Парень? — дрожащим голосом ответил Джефри. — Я не видел никакого парня. Это был могильный призрак. Мой дедушка, вероятно, встретил его, потому что погиб в лесу неизвестно какой смертью; волки, которых было очень много в те дни, обглодали дочиста его кости; за сотни лет его встречали и многие другие и всегда как раз перед смертью. Плохой вестник — этот могильный призрак, и тот, кому он попался на глаза, поступит мудро, если повернет своих лошадей к дому; я бы тоже так сделал сегодня вечером, если бы мог поступить по-своему, хозяин.

— Какой в этом смысл, Джефри? Если он предрекает смерть, пусть придет смерть. Да я и не верю этим сказкам. Твое привидение просто лесной сторож или пастух.

— Лесной сторож или пастух не слоняются в метель в стальном шлеме на прекрасной лошади, когда нет скота для охраны и нельзя рубить деревья. Думайте, как хотите, хозяин, только упаси меня боже от таких сторожей и пастухов. Они, я полагаю, вестники ада.

— Значит, это был шпион, следивший за тем, куда мы едем, — ответил сэр Джон.

— Если так, то кто послал его? Блосхолмский аббат? В таком случае я бы лучше предпочел встретить дьявола, потому что с аббатом беды-то уж наверно не миновать. Я думаю, что нам лучше вернуться в Шефтон.

— Если тебе страшно, ты так и сделай, Джефри, а я для честного дела не побоюсь ни сатаны, ни аббата и поеду дальше один.

— Нет, хозяин. Много лет назад, когда мы были моложе, я сражался около вас на Флодденском поле, и сэр Эдуард, отец Кристофера Харфлита, был убит рядом с нами, а голоштанные рыжебородые шотландцы крепко нас нажимали, однако мне ни разу не захотелось удрать, даже когда детина с топором свалил вас и мы думали, что все погибло. Так зачем мне удирать сейчас? Хотя, по правде сказать, я боюсь этой нечисти больше, чем всех горцев по ту сторону Твида[18]. Едем; человек умирает только раз, и не все ли равно, когда это случится, потому что мне нечего терять в этом паршивом мире.

И так, без лишних слов, они отправились дальше, все время оглядываясь по сторонам. Вскоре лес стал гуще, и дорога, по которой они ехали, вилась то между огромными стволами первобытных дубов, то по краям болот, то сквозь колючий кустарник. Иногда дорогу очень трудно было различить, так как снег засыпал ее и под дубами было очень темно. Но Джефри родился в лесах и с детства различал по виду каждое дерево в тех местах, поэтому они благополучно ехали по правильной дороге. Но лучше было бы им никуда не ехать!

Когда они достигли перекрестка, где три другие дороги пересекали их путь, Джефри Стоукс, ехавший впереди, поднял руку.

— Что такое? — спросил сэр Джон.

— Следы десятка или доброй дюжины подкованных лошадей, проехавших часа через два после того, как снег выпал в последний раз. Интересно — кто бы это мог быть?

— Должно быть, путешественники, как и мы. Едем дальше, парень; до фермы осталось не больше мили.

Но Джефри Стоукс возразил:

— Хозяин, не нравится мне все это. Здесь скакали воины, а не странствующие торговцы или фермеры, и мне думается… мне думается, я

узнаю их следы. Я говорю вам, нам лучше повернуть, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку.

— Поворачивай тогда ты, — равнодушно пробурчал сэр Джон. — Я замерз, устал и хочу покоя.

— Молите господа, чтобы вы не нашли его навсегда, — пробормотал Джефри, пришпорив лошадь.

Они поехали дальше через мертвую зимнюю тишину, прерывавшуюся лишь криками голодной совы, ищущей и не находящей пищи, или шорохом лисьих шагов, когда лиса петляя, пробиралась по снегу мимо них.

Наконец они выехали на окаймленную лесом и такую сырую поляну, что только болотные деревья могли там расти. Направо от них была небольшая, покрытая льдом заводь, с высохшим коричневым тростником, торчавшим тут и там на ее поверхности, а на противоположной стороне заводи росла группа совершенно обстриженных ив; их верхушки были срублены для столбов жителями расположенной недалеко отсюда лесной фермы. Усталая лошадь понюхала воздух и заржала, и в ответ ей совсем близко тоже послышалось ржание.

— Слава богу! Мы находимся ближе к ферме, чем я думал, — сказал сэр Джон.

— Когда он произнес эти слова, из-за колючего кустарника, служившего укрытием, появилось несколько человек, мчавшихся на них галопом, и лунный свет осветил обнаженные клинки в их руках.

— Воры! — закричал сэр Джон. — А ну-ка на них, Джефри, и пробьемся к ферме.

Слуга помедлил; он видел, что врагов было много и они не были просто грабителями, но его хозяин вытащил свой меч, пришпорил лошадь, и Джефри должен был последовать его примеру. Через двадцать секунд они уже были среди них, и кто-то предложил им сдаться. Сэр Джон бросился на этого парня и, поднявшись на стременах, ударил его. Тот мешком свалился на землю и теперь неподвижно лежал на снегу, окрасившемся алым цветом вокруг него. Один из всадников напал на Джефри, но тот повернул свою лошадь, и удар просвистел мимо, а затем Джефри острием меча отшвырнул его так, что всадник тоже упал и, чуть вздрагивая, остался лежать на снегу. Остальные, решив, что встреча была чересчур горячей, круто повернули и опять исчезли среди колючего кустарника.

— Теперь едем к ферме, — сказал Джефри.

— Не могу, — ответил сэр Джон. — Один из этих мошенников ранил мою кобылу. — И он указал на кровь бежавшую из глубокой раны в передней ноге лошади, которую она поднимала с жалобным видом.

— Возьмите мою, — сказал Джефри. — Я ускользну от них и пешком.

— Ни за что! К ивам! Мы будем защищаться там. — И, спрыгнув на землю, он побежал под прикрытие деревьев, а следом за ним верхом ехал Джефри.

Раненая лошадь попыталась, прихрамывая, последовать за ними, но не смогла, так как у нее были разорваны сухожилия.

— Кто эти негодяи? — спросил сэр Джон.

— Оруженосцы аббата, — ответил Джефри. — Я видел лицо того которого я заколол.

Лицо сэра Джона омрачилось.

— Тогда нам конец, друг; они не посмеют нас выпустить.

В то время как он говорил, около них просвистела стрела.

— Джефри, — продолжал он, — у меня с собой есть документы; их нельзя потерять, с ними будет потеряно наследство моей девочки. Возьми их. — И он сунул пакет ему в руки. — И этот кошелек тоже. В нем порядочно денег. Беги отсюда куда угодно и спрячься на время в каком-нибудь потайном убежище. Не то они заставят тебя молчать. А потом, я поручаю это твоей совести, вернись с подмогой и повесь этого мошенника-аббата — ради твоей, Джефри. Она и господь вознаградят тебя за это.

Слуга сунул кошелек и бумаги в какой-то глубокий карман.

— Как я могу оставить вас, когда вам грозит смерть? — пробормотал он, скрипя зубами.

Не успели эти слова слететь с его губ, как он услышал, что в горле хозяина что-то заклокотало, и увидел стрелу, выпущенную откуда-то сзади и пронзившую ему горло. Опытный воин, он сразу понял, что рана была смертельна. Тогда он больше не колебался.

— Христос да успокоит вас! — сказал он. — Я выполню ваше приказание или умру. — И, повернув лошадь, он вонзил в нее шпоры, и та помчалась быстрее оленя.

Несколько мгновений сэр Джон наблюдал за тем, как он удалялся. Потом он выбежал из-за прикрытия, потрясая мечом над головой, — выбежал на открытое место, освещенное лунным светом, чтобы привлечь стрелы на себя. И они быстро посыпались на него, но прежде чем он упал — ибо его кольчуга была достаточно крепкой, — Джефри, припав к шее лошади, был уже в безопасности. Хотя убийцы упорно преследовали его, им не удалось его поймать.

Они искали его несколько дней в Шефтоне, ни в каком-либо другом месте. Джефри хорошо знал, что все дороги оцеплены, поэтому, не смея пробраться к дому, скакал как заяц, пока не добрался до моря; там стоял

корабль, направляющийся в чужие страны, и на рассвете Джефри был уже в открытом море.

Глава III . Свадьба

На следующий день после гибели сэра Джона Сайсели Фотрел около полудня завтракала в Шефтон Холле. Она едва притронулась к грубой зимней пище, так как на душе у нее было неспокойно. Ее разлучили с любимым человеком, потому что он был накануне разорения, а ее отец отправился в путешествие, и она скорее догадывалась, чем знала, что оно было очень опасным. Молодая девушка, без друзей поблизости, в большом старом зале чувствовала себя покинутой. Сидя в этой огромной комнате, она вспоминала, до какой степени все было иным в годы ее детства, пока какая-то заразная болезнь, название и происхождение которой ей не было известно, не унесла ее мать, двух братьев и сестру — всех в одну неделю, не тронув только ее. Тогда в доме звучали веселые голоса, а теперь воцарилась тишина; и она одна, с нею только ее спаниель.

Кроме того, большая часть челяди уехала на повозках, нагруженных годовым запасом остриженной шерсти, которую отец берег до того момента, когда цены на нее вздорожали. И по такому глубокому снегу они вернутся не раньше чем через неделю, а то и позже.

О! Тревога, как зимние облака, давила ее сердце, и она, хотя была молода и красива, почти жалела о том, что не умерла тогда со своими братьями и не обрела наконец покой.

Чтобы подбодрить себя, она отпила из кубка пряного эля, поставленного около нее слугой и накрытого салфеткой, и была рада, что он согрел и немного успокоил ее. Как раз в эту минуту отворилась дверь и вошла ее кормилица, миссис Стоуэр. Она была красавицей в расцвете лет; ее мужа и ребенка унесла лихорадка, когда ей не было еще и девятнадцати, после чего ее привезли в Холл, чтобы нянчить Сайсели ибо мать девочки была очень больна после родов. Эмлин была высокой и смуглой, свои черные сверкающие глаза она унаследовала от отца, испанца благородного происхождения; ходили слухи, что в жилах ее матери текла цыганская кровь.

Во всем мире Эмлин Стоуэр любила только двоих людей: свою воспитанницу Сайсели да одного друга детства, некоего Томаса Болла, теперь брата-мирянина[19], скотника при аббатстве. Рассказывали, что в ранней юности он ухаживал за ней и она не противилась этому, но, когда трагически погибли ее родители, она, повинуясь воле опекуна, бывшего блосхолмского настоятеля, вышла замуж против своего желания; Томас же

облекся в одежды брата-мирянина, так как был йоменом[20] из хорошей семьи, хотя и малообразованным.

Сайсели почувствовала в поведении кормилицы нечто странное, предвещавшее беду. Та остановилась около двери, повертела задвижку, чего никогда раньше не делала, потом повернулась и, выпрямившись, встала прямо против Сайсели, как картина в раме.

— Что случилось, няня? — спросила Сайсели дрожащим голосом. — Судя по твоему виду, у тебя есть новости.

Эмлин Стоуэр прошла вперед, оперлась рукой о дубовый стол и ответила:

— Вести недобрые, если это правда. Будь готова, моя голубка!

— Скорее, Эмлин, — тяжело дыша спросила Сайсели. — Кто погиб? Кристофер?

Эмлин покачала головой, и Сайсели с облегчением вздохнула, добавив:

— Тогда кто же?

— Ах, дорогая, ты теперь сирота.

Голова девушки склонилась на грудь. Потом она подняла ее и спросила:

— Кто сказал тебе? Скажи мне всю правду, или я умру.

— Мой друг, — имеющий связь с аббатством; не спрашивай его имени.

— Я его знаю, Эмлин. Томас Болл, — прошептала в ответ Сайсели.

— Мой друг, — повторила высокая смуглая женщина, — рассказал мне, что сэр Джон Фотрел, наш господин, был убит бандой вооруженных людей и он сам убил двоих.

— Из аббатства? — спросила Сайсели так же шепотом.

— Кто знает? Я думаю, ими. Говорят, что стрела в его горле была как раз такой, какие они там делают. Джефри Стоукса преследовали, но он спасся бегством на каком-то тотчас же отплывшем корабле.

— Смерть ему за это, трусу! — воскликнула Сайсели.

— Не вини его пока. Он встретил другого моего друга и просил передать: он уехал, повинуясь последней воле своего хозяина; он слишком много видел, и для него бродить в окрестностях значило идти на верную смерть; но если он будет жив, то вернется с документами из-за моря, когда наступят лучшие времена. Он просит, чтобы вы в нем не сомневались.

— Документы? Какие документы, Эмлин?

Та пожала плечами.

— Откуда мне знать? Наверное, те, которые ваш отец повез с собой в

Лондон и боялся потерять. Несгораемый ящик в его комнате открыт.

Теперь бедная Сайсели вспомнила, что ее отец говорил о каких-то документах, которые он собирался взять с собой, и начала плакать.

— Не плачь, дорогая, — сказала ее кормилица, гладя своей сильной рукой каштановые волосы Сайсели. — Так суждено богом, и с этим покончено. Теперь ты должна позаботиться о себе. Твоего отца нет, но кое-кто у тебя остался.

Сайсели подняла заплаканное лицо.

— Да, у меня есть ты, — сказала она.

— Я! — ответила Эмлин с беглой улыбкой. — Нет, какая от меня польза? Прошли те дни, когда тебе нужна была нянька. Ты мне что-то говорила о своем разговоре с отцом перед его отъездом, что-то насчет сэра Кристофера? Молчи! На разговоры нет времени; ты должна ехать в Крануэл Тауэрс.

— Зачем? — спросила Сайсели. — Он не может вернуть моего отца к жизни, право, показалось бы странным, что в такое время я посещаю мужчину в его собственном доме. Пошли к нему с этими вестями. Я останусь, чтобы похоронить моего отца и, — добавила она гордо, — чтобы отомстить за него.

— Если так, голубка, ты останешься здесь, пока тебя тоже не похоронят в том же монастыре. Слушай! Я еще не рассказала тебе всех новостей. Аббат Мэлдон претендует на земли Блосхолма на основании какого-то хитрого закона. Из-за этого твой отец поссорился с аббатом в тот вечер. Вместе с землями ты попадешь под его опеку, как когда-то я была отдана под власть этого монастыря. До захода солнца сюда со своими оруженосцами приедет аббат, чтобы забрать все, а тебя для безопасности посадить в монастырь, где твоим мужем станет святая церковь.

— Господи боже мой! Неужели это так? — сказала Сайсели, вскакивая. — А большинство наших людей уехало! Я не смогу защитить дом от этого иноземного аббата, а осиротевшая наследница может продать только движимое имущество! О! Теперь я понимаю, что хотел сказать мой отец. Прикажи готовить лошадей. Я поеду к Кристоферу. Однако постой, няня. Что ему со мной делать? Это может показаться ему бесстыдным и оскорбить его.

— Думаю, что он жениться на тебе. Думаю, что сегодня ночью ты будешь его женой. Если же он не захочет, я узнаю почему, — гневно добавила она.

— Женой! Вечером! — воскликнула девушка, покраснев до корней волос. — А отец только что умер! Как это можно?

— Мы поговорим об этом с Харфлитом. Может быть, он, как и ты, захочет подождать и попросить оглашения в церкви или изложит дело перед лондонским юристом. Но я приказала приготовить лошадей и послала одну записку аббату с уведомлением, что ты приедешь узнать об участи отца, поэтому он не тронется с места до вечера; и другую в Крануэл Тауэрс, чтобы мы смогли найти нам кров и пищу. А теперь живо бери твой плащ и капюшон. Драгоценности в шкатулке у меня, потому что Мэлдон добивается их больше, чем даже ваших земель, и с ними все деньги, какие я нашла. Кроме того, я велела швее уложить кое-какие платья. Аббат голоден и скоро зашевелится. У нас нет времени для разговоров.

Через три часа при красном зареве заката Кристофер Харфлит, стоявший у дверей, увидел, что к нему по снегу едут верхом две женщины. Он узнал их еще тогда, когда они были довольно далеко.

— Значит, это правда, — сказал он отцу Роджеру Нектону, старому священнику Крануэла, вызванному им из прихода. — Я думал, этот дурак посыльный был пьян. Что же могло случиться, святой отец?

— Думаю, что сэр Джон погиб, сын мой, потому что, наверное, ничто иное не привело бы сюда леди Сайсели без свиты, с одной только служанкой. Весь вопрос с том — что произойдет дальше? — И он искоса взглянул на него.

— Я-то знаю что, если бы все исполнилось по моему желанию, — ответил Кристофер с веселым смехом. — Скажите, отец, если бы вышло так, что эта леди захотела бы этого, смогли бы вы нас обвенчать?

— Без сомнения, сын мой, с согласия родителей. — И снова он взглянул на него.

— А если бы не было родителей?

— Тогда с согласия опекуна, так как невеста несовершеннолетняя.

— А если бы опекун не был объявлен или признан?

— Тогда такой брак, совершенный должным порядком, как всякое церковное таинство, будет нерушим, пока не велит судьба и пока папа его не отменит. Но ты знаешь, в этой стране папу не любят именно из-за брачного вопроса[21]. Разреши мне объяснить тебе закон, церковный и гражданский…

Но Кристофер уже бежал к воротам, и наставление старого проповедника осталось недосказанным…

Они встретились в снежной метели; Эмлин Стоуэр поехала вперед, оставив их наедине.

— Что случилось, дорогая? — спросил он. — Что случилось?

— О Кристофер! — ответила Сайсели, всхлипывая. — Мой бедный отец умер — убит, по словам Эмлин.

— Убит! Кем?

— Воинами блосхолмского аббата, сказала мне Эмлин. Там, в лесу, вчера ночью. И по словам той же Эмлин, аббат собирается приехать в Шефтон, чтобы взять меня под опеку и заточить в монастырь. И потому, хоть и странно поступать так, но, оставшись беззащитной, я убежала к вам, — мне так велела Эмлин.

— Мудрая женщина эта Эмлин, — прервал Кристофер. — Я всегда ценил ее советы. Но неужели вы приехали ко мне только потому, что так велела Эмлин?

— Не только поэтому, Кристофер. Я приехала от отчаяния: лучше быть с другом, чем одной. Куда еще я могла поехать? Кроме того, мой бедный отец, хотя и был очень сердит на вас, велел мне — это были его последние слова, — если возникнет необходимость, просить вашей помощи и… о! Кристофер, я приехала, потому что вы клялись любить меня — я верила этому. Если бы я попала в монастырь, мать Матильда, настоятельница, хоть она добра и друг мне, может быть, и не выпустила бы меня оттуда, ведь ее начальник аббат, а он-то мне не друг. Он хочет отнять наши земли и знаменитые драгоценности. Эмлин захватила их с собой.

За это время они переехали ров и очутились у крыльца дома, и поэтому, не ответив, Кристофер, нежно снимая ее с седла, крепко прижал к груди; это, ему казалось, было самым лучшим ответом.

Подошел грум, чтобы увести лошадей: он притронулся в знак почтения к шапке и с любопытством посмотрел на них, а Сайсели, опершись на плечо своего возлюбленного, прошла сквозь сводчатую дверь Крануэл Тауэрса и попала в зал, где полыхал яркий огонь. Перед камином, грея тонкие руки, стоял отец Нектон и оживленно беседовал с Эмлин Стоуэр. При приближении молодых людей разговор оборвался — очевидно, речь шла о них.

— Госпожа Сайсели, — несколько возбужденно сказал добрый старик, — боюсь, что печальные обстоятельства привели вас сюда. — И он замолчал, не зная, что добавить.

— Да, действительно, — ответила она, — если все, что я слышала, правда. Говорят, что мой отец убит злодеями, но я точно не знаю, за что и кем, и что аббат Блосхолма собирается взять меня под свою опеку и заточить меня в Блосхолмский женский монастырь, а я не хочу туда идти. Я убежала сюда от него, потому что у меня нет другого убежища, хотя вы дурно можете истолковать мой поступок…

— Только не я, дитя мое. Я не буду выступать против аббата, потому что по церковному уставу он выше меня, но, примите во внимание, я ему не присягал в верности, так как этот приход ему не принадлежит, и я не бенедиктинец[22]. Все же скажу вам правду. Я считаю этого человека бесчестным. Руки у него загребущие; мало того, он не англичанин, а испанец, которого кто-то подослал сюда вредить нашему королевству, высасывать его богатства, устраивать бунты и доносить обо всем происходящем на пользу врагов Англии.

— Однако у него при дворе есть друзья. Так, по крайней мере, сказал мой отец.

— Да, да, у таких людей всегда бывают друзья — деньги покупают их, хотя, может быть, для него и ему подобных черный день недалек. Да, ваш бедный отец погиб бог знает как, хотя я давно думал, что ему несдобровать, ибо он всегда говорил правду, да и вы с вашим богатством — лакомый кусочек для Мэлдона. А теперь, что нам дальше делать? Это тяжелый случай. Хотите ли вы укрыться в каком-нибудь другом монастыре?

— Нет, — ответила Сайсели, искоса взглянув на своего возлюбленного.

— Тогда, что же делать?

— О! Я не знаю, — сказала она и разрыдалась. — Что мне сказать вам, когда я в таком смятении и печали? У меня был единственный друг — мой отец, хотя временами он бывал груб. Однако по-своему он любил меня, и я послушалась его последнего совета. — И, потеряв остатки мужества, она опустилась на стул и, схватившись за голову, стала раскачиваться из стороны в сторону.

— Это неправда, — смело сказала Эмлин. — Разве я, вскормившая тебя, не друг тебе и разве отец Нектон не друг, и сэр Кристофер не друг? Уж если все вы потеряли разум, то я его сохранила, и вот мой совет! Там, на расстоянии не далее двух выстрелов из лука, есть церковь, а перед собой я вижу священника и пару, которая сойдет за жениха и невесту. И мы можем найти свидетелей и кубок вина, чтобы выпить за ваше здоровье, а после этого пусть блосхолмский аббат беснуется. Что скажете вы, сэр Кристофер?

— Вы знаете, что я думаю, няня Эмлин; но что скажет Сайсели? О! Сайсели, что скажете вы? — И он наклонился над ней.

Она поднялась, все еще всхлипывая, обхватила его шею руками и положила ему голову на плечо.

— Я думаю, что это воля божья, — прошептала она, — и зачем сопротивляться ей мне — его рабе и вашей, Крис?

— А теперь, что скажете вы, святой отец? — спросила Эмлин, указывая на молодых людей.

— Что еще можно сказать? — ответил старый священник, отворачиваясь. — Если вы потрудитесь прийти в церковь минут через десять, то найдете там свечу на алтаре, священника на амвоне и дьячка с открытой книгой. Большего мы не можем сделать за такое короткое время.

Затем он замолк, словно ожидая ответа, но, не услышав возражений, прошел через зал и вышел в дверь.

Эмлин взяла Сайсели под руку, повела ее в отведенную им комнату и там, как могла лучше, подготовила ее к свадебному торжеству. Не было красивого платья, чтобы ее нарядить, да, по правде говоря, и времени, чтобы наряжаться.

Но она причесала ее красивые каштановые волосы и, открыв шкатулку с восточными драгоценностями — великой гордостью Фотрелов, самым редкостным и древними в округе, украсила ее ими. Она надела на ее высокий лоб обруч с ниспадающими с него сверкающими бриллиантами, привезенными, как рассказывала легенда, предком ее матери — Карфаксом — из Святой земли[23], где когда-то они были личной собственностью языческой королевы, а на шею ожерелье из больших жемчужин. Для ее груди и пальцев нашлись броши и кольца, а для талии — драгоценный пояс с золотой пряжкой; а в ее уши она вдела две лучшие драгоценности: две большие розовые жемчужины, похожих на цветущий боярышник, когда он начинает вянуть. Наконец, она накинула ей на голову вуаль из диковинно сплетенных кружев и с гордостью отступила назад, чтобы взглянуть на нее.

Теперь Сайсели, все время молчавшая и не сопротивлявшаяся, в первый раз заговорила:

— Как они попали сюда, няня?

— Твоя мать надела их, когда венчалась, и ее мать тоже, так мне говорили. И однажды я уже надевала их на тебя, когда тебя крестили, голубка!

— Может быть; но как ты привезла их сюда?

— Под платьем на груди. Не зная, когда мы снова вернемся домой, я привезла их, думая что когда-нибудь ты выйдешь замуж и тогда они тебе пригодятся. А теперь, как это не странно, наступил час свадьбы.

— Эмлин, Эмлин, я уверена, что ты заранее задумала все это, и один бог знает, чем это кончится.

— Потому и бывает начало, дорогая, чтобы в предначертанное время наступил конец.

— О, но каким будет этот конец? Может быть, ты надела на меня

саван. По правде говоря, я чувствую себя так, будто рядом со мной смерть.

— Она всегда рядом, — беззаботно ответила Эмлин. — Но пока она не трогает, — какое это имеет значение? Слушай, моя голубка; во мне течет испанская и цыганская кровь, а я верю предчувствиям и скажу тебе кое-что для твоего успокоения. Как бы часто не протягивала смерть к тебе свою руку, она не тронет тебя долгие, долгие годы, пока ты со временем не станешь почти такой же худой, как она! О! У тебя будут горести, как и у всех нас, может, хуже, чем у большинства, но ты дитя Счастья, ты выжила, когда все остальные погибли, и ты победишь и поддержишь других, как кит поддерживает морских уток. Поэтому дай, как и я, щелчок смерти, — и она сделала соответствующий жест, — и будь счастлива, пока можешь, а когда будешь несчастна, жди, пока наступят счастливые дни. А теперь иди за мной и, хотя твой отец убит, улыбайся, как должно улыбаться в подобный час, потому что какой мужчина захочет печальную невесту?

Они спустились в зал по широкой дубовой лестнице, где ожидал их Кристофер. Смущенно взглянув на него, Сайсели увидела, что под плащом у него была надета кольчуга и меч был привешен сбоку к поясу; с ним было несколько вооруженных людей. С минуту он не отрываясь, в смятении смотрел на ее сверкающую красоту, потом произнес:

— Не бойся напоминания о войне в час любви. — И он дотронулся до своих блестящих доспехов. — Сайсели, наша свадьба столь же странная, как и счастливая, и кто-нибудь может попытаться помешать ей. Теперь пойдем, моя дорогая леди. — И, низко поклонившись, он взял ее за руку и повел из дома; за ними следовала Эмлин, а вокруг, спереди и сзади, — слуги с факелами.

Был сильный мороз, и снег хрустел под ногами. На западе, на сумрачном небе все еще горели последние красные отблески заката, а над ними, из-за выпуклого края земли, поднималась огромная луна. В саду, среди кустов и на тополях, окаймлявших ров, черные дрозды и дрозды-рябинники пели свою зимнюю вечернюю песню, в то время как вокруг серой башни соседней церкви все еще вились галки.

Эта картина, которая в ту минуту Сайсели, казалось, и не заметила, навсегда запечатлелась в ее памяти: холодные снега, чернильные деревья, тяжелое небо, сверкающий лик луны, дымный свет факелов, подхваченный и отраженный ее драгоценностями и кольчугой жениха, крики зимних птиц, лай собаки вдалеке, чужое крыльцо церкви, приближавшаяся с каждым шагом, продолговатые могильные камни, скрывавшие кости сотен людей; в свое время эти люди детьми проходили мимо них, потом женихами и невестами, и, наконец, тут пронесли окоченевшие белые тела тех, кто был

раньше мужчинами и женщинами.

Теперь Сайсели и Кристофер оказались в крыле старого храма, где их, словно мечом, ударило холодом. При дымном свете факелов было видно, что, несмотря на короткий промежуток времени, вести об этой удивительной свадьбе распространились в округе, так как повсюду стояли группами, по крайней мере, десятка два людей, а некоторые из них сидели на дубовых скамьях около алтаря.

Все они повернулись и с любопытством смотрели, как жених и невеста прошли к алтарю, где стоял священник в облачении, а так как зрение у священника было неважное, то за ним стоял старый дьячок, высоко державший конюшенный фонарь, чтобы тот мог читать по книге.

Они дошли до резной перегородки и, по знаку священника, встали на колени. Отчетливым голосом он начал службу; вскоре, по вторичному знаку, молодая пара поднялась, подошла к перилам алтаря и снова встала на колени.

Лунный свет, льющийся через западное окно, освещал их обоих, придавая им сходство с холодными белыми мраморными статуями, коленопреклоненными на могильной плите рядом с ними.

В течение всего обряда Сайсели, как зачарованная, смотрела на эти статуи, и ей казалось, что они и Харфлиты, крестоносцы давно прошедших дней, лежавшие совсем рядом, ласково и задумчиво следили за ней. Она дала нужные ответы; кольцо, хотя и слишком узкое, было надето ей на палец (в течение всей последующей жизни это кольцо временами причиняло ей боль, но она ни за что не хотела снять его), а потом кто-то поцеловал ее. Сначала она подумала, что это, должно быть, ее отец, и затем, вспомнив, чуть не заплакала, но услышала, как голос Кристофера называет ее женой, и поняла, что она была обвенчана.

Пока старый дьячок все еще держал фонарь над отцом Роджером, тот записал что-то в маленькой книге с пергаментным переплетом, спросив год ее рождения и полное имя; это показалось ей странным, — ведь он был на ее крестинах. Затем ее муж, пользуясь алтарем вместо стола, расписался в книге не очень-то быстро, так как он был плохой грамотей, и она тоже расписалась в последний раз своей девичьей фамилией; расписался и священник, и по его приказанию расписалась также и Эмлин Стоукс, умевшая хорошо писать. Потом, как бы спохватившись, отец Роджер вызвал некоторых прихожан, и они тоже хотя довольно неохотно, подписались как свидетели. Пока они это делали, он объяснил им, что ввиду особых обстоятельств лучше, чтобы были свидетельские показания, и что он собирается послать экземпляры этой записи разным сановникам и

даже самому святому отцу в Рим.

Узнав это, они, казалось, пожалели, что связались с таким делом, и один за другим исчезли в темноте церковного крыла и из памяти Сайсели.

Наконец все было кончено. Отец Нектон дул на маленькую книжку, пока не высохли чернила, потом спрятал ее под платьем. Старый дьячок, положив в карман полученное от Кристофера щедрое вознаграждение, осветил молодым путь через крыло церкви к выходу, затем запер за ними дубовую дверь, погасил свой фонарь и потащился по снегу к трактиру, чтобы там поболтать об этой свадьбе и выпить горячего пива.

В сопровождении факелоносцев Сайсели и Кристофер молча шли рука об руку к Тауэрсу, куда Эмлин, поцеловав невесту, ушла раньше. Добавив к своим бесчисленным летописям еще одну, быть может самую странную из всех церемонию, древняя церковь, оставшаяся позади, погрузилась в такое же безмолвие, как покойники в своих могилах.

Придя в Тауэрс, новобрачные вместе с Эмлин и отцом Роджером уселись за превосходнейший ужин, какой только мог быть приготовлен в столь короткий срок. Это был очень странный свадебный пир. Несмотря на малое число сотрапезников, сердечности хватало, так как старый священник произнес заздравную речь, пересыпанную латинскими словами, которых они не поняли; и все домашние, собравшиеся послушать его, выпили за них по кубку вина. Потом прекрасную невесту, которая то краснела, то бледнела, увели в лучшую комнату, наспех приготовленную для нее. Но Эмлин слегка задержалась, так как ей надо было кое-что сказать новобрачному.

— Сэр Кристофер, — сказала она, — вы очень быстро обвенчались с самой прекрасной леди, какую когда-либо освещало солнце или луна, вы можете считать себя счастливым. Однако такие большие радости редко достаются без горестей, и я думаю, горести эти близки. Найдутся люди, которые позавидуют вашему счастью, сэр Кристофер.

— Но ведь им не изменить случившегося, Эмлин, — ответил он с беспокойством. — Узел, завязанный сегодня вечером, не может быть развязан.

— Никогда, — вставил отец Роджер. — Хотя, может быть, обстоятельства и внезапность этого союза необычны, но таинство совершено перед лицом всего мира с полного согласия обеих сторон и святой церкви. Мало того, еще до рассвета запись об этом я пошлю в регистратуру епископа и еще кое-куда, чтобы в последующие дни его не смогли оспаривать, и дам копии вам и кормилице вашей леди, ее ближайшему другу.

— Этот союз не может быть разорван ни на земле, ни на небе, — торжественно ответила Эмлин, — однако возможно, что его разрубит меч. Сэр Кристофер, я думаю, что правильнее всего как можно скорее уехать отсюда.

— Только, конечно, не сегодня вечером, няня! — воскликнул он.

— Нет, не сегодня вечером, — ответила она с еле заметной улыбкой. — Ваша жена пережила утомительный день, и у нее не хватило бы сил. Кроме того, нужно сделать приготовления, а сейчас это невозможно. Но завтра, если для вас будут открыты дороги, я думаю, мы должны отправиться в Лондон, где она сможет попросить защиты закона, потребовать свое наследство и попросить расследовать смерть отца.

— Это хороший совет, — сказал священник, и Кристофер, не отличавшийся разговорчивостью, кивнул головой.

— Как бы то ни было, — продолжала Эмлин, — у вас в доме есть шесть человек, а вокруг него имеются и другие. Отправьте посланца и соберите их всех здесь на рассвете, прикажите им захватить с собой провизии и какое у них есть оружие и луки. Поставьте также часового и, после того как отец и посланные уйдут, прикажите поднять подъемный мост.

— Чего вы боитесь? — спросил Кристофер, очнувшись от задумчивости.

— Я боюсь блосхолмского аббата и его наемных головорезов; для них закон не писан — об этом теперь знает душа погибшего сэра Джона; или же они используют законы, чтобы скрыть свои гнусные дела. Аббат уж постарается не допустить, чтобы такое сокровище проскользнуло у него между пальцев, а времена настали беспокойные.

— Увы! Увы! Это правда, — сказал отец Роджер, — этот аббат безжалостный человек, который ни с чем не считается, потому что он очень богат и у него много друзей как здесь, так и за морями. Однако он безусловно не посмеет…

— Это мы узнаем, — прервала Эмлин. — Тем временем, сэр Кристофер, встряхнитесь и отдайте приказание.

Кристофер созвал своих людей, поговорил с ними, после чего они очень помрачнели, но, будучи верными слугами и любя его, обещали выполнить все, как он велел.

Немного позже, сделав копию брачного свидетельства и подписав его, отец Роджер ушел вместе с посланцем. Подъемный мост подняли над рвом, двери заперли, и в башне у ворот поставили часового; тогда Кристофер, забыв обо всем, даже об опасности, угрожавшей им, пошел к той, что

ждала его.

Глава IV . Клятва аббата

На следующее утро, вскоре после того как рассвело, Эмлин вызвала Кристофера и дала ему письмо.

— Когда оно пришло? — спросил он, подозрительно поворачивая его.

— Посыльный принес его из Блосхолмского аббатства, — ответила она.

— Жена, Сайсели, — позвал он через дверь, — будь добра, пойди сюда.

Она пришла очень скоро в длинном меховом плаще, необычайно хорошенькая, и, обняв свою кормилицу, спросила, что случилось.

— Вот, моя дорогая, — ответил он, протягивая ей бумагу. — Я никогда особенно не любил науки, а сегодня утром я, кажется, ненавижу ее; ты же больше училась, прочти ее.

— Мне не нравится эта большая печать, Крис; она не предвещает ничего хорошего, — слегка побледнев, с беспокойством ответила Сайсели.

— Послание, находящееся внутри, не мушмула[24], делающаяся мягче от хранения, — сказала Эмлин. — Дайте его мне. Меня обучили в монастыре, я смогу прочесть их каракули.

Сайсели, не возражая, вручила Эмлин письмо; та взяла его своими сильными пальцами, сломала печать, вытащила шелк, развернула и прочла. Послание гласило:

Сэру Кристоферу Харфлиту, госпоже Сайсели Фотрел, Эмлин Стоуэр, служанке, и всем другим, кого это может касаться.

Я, Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма, услышав о смерти сэра Джона Фотрела, рыцаря, от жестоких рук лесных воров и бродяг, в соответствии с исключительным правом, установленным законом и обычаем, вчера вечером принял на себя обязанности опекуна над вашей личностью и собственностью Сайсели, единственным оставшимся в живых его потомком. Мои посланцы вернулись с сообщением, что вы бежали из вашего дома в Шефтон Холле. Далее они сообщили, что, по слухам, вы отправились с вашей кормилицей, Эмлин Стоуэр, в Крануэл Тауэрс, в дом сэра Кристофера Харфлита. Если это так, то, ради вашего доброго имени, необходимо, чтобы вы немедленно покинули его, так как о вас и выше упомянутом сэре Кристофер Харфлите уже ходят сплетни. Поэтому я намереваюсь, если позволит господь, отправиться сегодня в Крануэл

Тауэрс и если вы окажетесь там, то в качестве вашего законного опекуна и духовного отца приказать вам, несовершеннолетнему подростку, отправиться со мной в монастырь Блосхолма. Там я решил, во исполнение моей воли, оставить вас до тех пор, пока не найдется подходящий для вас муж, если только бог не обратит ваше сердце к себе и вы не останетесь в его стенах как одна из Христовых невест.

Клемент, аббат.

Прочитав письмо, все трое поняли, что на них надвигается беда, и несколько мгновений стояли неподвижно, глядя друг на друга, затем Сайсели заговорила:

— Принеси мне бумагу и чернила, няня. Я отвечу аббату.

Все было принесено, Сайсели написала круглым девическим почерком:

Милорд аббат,

В ответ на ваше письмо я ставлю вас в известность о том, что мой благородный отец (причину жестокой смерти которого необходимо расследовать и отомстить за нее) приказал мне, прощаясь, искать убежища, как Вы и предположили, в этом доме, из опасения, что меня постигнет такая же судьба от рук его убийц. Здесь, вчера, я обвенчалась перед лицом бога и людей в церкви Крануэла, как вы можете узнать из прилагаемой бумаги. Вам теперь незачем искать мне мужа, так как мой дорогой супруг сэр Кристофер Харфлит и я соединены до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Заявляю также, что я не признавала и не признаю за Вами права теперь, или когда-либо раньше, опекать мою особу или унаследованные мною земли и богатства, коими я обладаю.

Ваша покорная слуга

Сайсели Харфлит.

Это письмо Сайсели переписала начисто, запечатала и затем оно было отдано посланцу аббата, который положил его в сумку и ускакал так быстро, как только возможно было по глубокому снегу.

Они следили из окна за его отъездом.

— Теперь, — сказал Кристофер, обернувшись к жене, — я думаю, дорогая, что чем быстрее мы тоже уедем, тем лучше. Этот аббат здорово проголодался, и я сомневаюсь, чтобы письмо удовлетворило его аппетиты.

— Я тоже так думаю, — сказала Эмлин. — Вы оба приготовьтесь и поешьте. Я пойду и прикажу оседлать лошадей.

Часом позже все было готово. Три лошади стояли у двери, а с ними охрана из четырех всадников. За такое короткое время Кристофер мог собрать немногих арендаторов и слуг — и в ответ на его призыв их собралось в Тауэрсе двенадцать человек; из них четверо имели оружие и коней. Хотя Сайсели пыталась показаться бодрой и счастливой, она вздрогнула, увидев их через открытую дверь. Снег шел не переставая.

— Странный медовый месяц предстоит нам, моя голубка, — тревожно сказал Кристофер.

— Это все неважно, пока мы едем вместе, — весело ответила она, но ее слова прозвучали неискренне, — хотя, — добавила она, и что-то словно сдавило ей горло, — хотя я бы хотела остаться здесь, пока не будет найдено и похоронено тело моего отца. Меня все время преследует мысль, что он лежит где-то в снегу, точно зарезанный бык.

— А я хочу похоронить его убийц! — воскликнул Кристофер. — Клянусь именем господа, я не оставлю этого дела, пока все не будет кончено. Не думай, дорогая, что я забыл о твоем горе, потому что я мало говорю о нем, но свадьба и похороны плохо вяжутся друг с другом. Поэтому будем радоваться, пока можно, ведь горести прошлого не избавляют нас от горестей будущего. Пойдем сядем на лошадей — и прочь отсюда, в Лондон, поищем там друзей и справедливости.

Потом, сказав несколько слов своим домашним, он посадил Сайсели на лошадь, и они поехали сквозь медленно падающий снег, думая, что в последний раз видят Тауэрс и расстаются с ним на долгие дни. Но этому не суждено было осуществиться. Когда они проезжали по большой блосхолмской дороге, намереваясь оставить аббатство слева, и были уже в трех милях от Крануэла, внезапно какой-то высокий человек, одетый в серую шубу из овчины, с монашеским капюшоном на голове и толстым посохом в руках, выскочил из-за забора и остановился перед ними.

— Кто ты? — спросил Кристофер, кладя руку на меч.

— Вы бы меня отлично узнали, если бы капюшон был откинут, — ответил он хрипло, — но если вы хотите знать мое имя, меня зовут Томас Болл, пастух, вон из того аббатства.

— Твой голос мне знаком, — сказал Кристофер, смеясь. — А теперь какое у тебя дело, брат Болл?

— Хочу найти стадо годовалых бычков, убежавших на опушку леса; они питаются, как и все мы, тем, что ухитряются найти, а погода наступает такая плохая, что они, того гляди, умрут с голоду. Вот какое у меня дело, сэр Кристофер. Но я вижу с вами моего старого друга, — и он кивнул в сторону Эмлин, которая следила за ним, не слезая с лошади, — так, с

вашего разрешения, я спрошу ее, не хочет ли она исповедаться, так как отправляется, по-моему, в опасное путешествие.

Кристофер хотел показать жестом, что спешит, так как ему совсем не хотелось болтать с пастухом. Но Эмлин, следившая за ним, позвала:

— Поди сюда, Томас. Я сама отвечу тебе. У меня всегда найдутся грешки, чтоб наполнить кошелек священника, да и благословение получить неплохо, чтобы согреться.

Он зашагал вперед и, взяв ее лошадь под уздцы, отвел немного в сторону, где их не могли слышать, и тотчас же начал с всадницей оживленную беседу. Через одну-две минуты Сайсели, тихим шагом ехавшая впереди, оглянулась и увидела, как Томас Болл проскочил через забор по другую сторону дороги и исчез в падающем снегу, а Эмлин пришпорила лошадь, чтобы догнать их.

— Стойте, — сказала она Кристоферу, — у меня есть новости. Аббат со всеми своими оруженосцами и слугами, а их сорок человек или даже больше, ждет нас там, под прикрытием Блосхолмской рощи, намереваясь силой захватить леди Сайсели. Какой-то шпион донес ему о нашем отъезде!

— Я никого не вижу, — сказал Кристофер, вглядываясь в расположенную в низине рощу, так как они находились примерно в четверти мили от нее и на самом подъеме дороги. — Но это не так трудно проверить. — И он позвал двух лучших ездоков, приказал им ехать вперед и доложить, если кто-нибудь скрывается за лесом.

Всадники уехали, а они остались на месте и, сильно встревоженные, молча ждали.

Минут через десять, еще до того, как разглядели что-либо сквозь густо падающий снег, они услышали стук копыт множества скачущих лошадей. Затем появились два всадника, которые, приблизившись, закричали:

— Аббат и все его люди преследуют нас. Назад, в Крануэл, пока вас не захватили!

Кристофер помедлил одно мгновение, но, поняв, что с четырьмя мужчинами и двумя требующими охраны женщинами невозможно прорваться сквозь такой большой отряд, и, уже совсем ясно слыша приближающийся стук копыт, быстро дал приказание.

Они развернулись, и как раз вовремя, потому что в ту же минуту, не более чем в двухстах ярдах от них, появились первые всадники аббата, мчавшиеся по склону холма. Началась погоня; к счастью, лошади у них были хорошие и свежие, и все-таки, прежде чем они увидели Крануэл Тауэрс, преследователи уже были только в девяноста ярдах от них. Но

здесь, на равнине, их лошади, почуяв стойло, должным образом ответили на хлысты и шпоры и вырвались немного вперед. Оставшиеся увидели их и побежали к подъемному мосту. Когда они были в пятидесяти ярдах от рва, лошадь Сайсели споткнулась и упала, сбросив ее в снег, затем поднялась и поскакала одна. Кристофер остановился около Сайсели и, когда она встала испуганная, но невредимая, протянул свою руку и, посадив на седло перед собой, помчался вперед, в то время как сзади них кричали ему: «Сдавайся!»

Под двойной тяжестью его лошадь бежала медленнее. Все же они достигли моста, прежде чем их догнали, и прогрохотали по нему.

— Поднять! — крикнул Кристофер, и все, кто там был, даже женщины, взялись руками за рычаги.

Мост начал подниматься, но тут пять или шесть воинов аббата, оставив лошадей, прыгнули на него и, ухватившись руками за его край, когда он был всего в шести футах[25] от земли, продолжали висеть на нем, поэтому его не могли сдвинуть, и он остановился, не поднимаясь вверх и не опускаясь вниз.

— Отпустите, вы, негодяи! — закричал Кристофер, но в ответ на это один из них с помощью своих товарищей вскарабкался на край моста и встал там, повиснув на цепях.

Тогда Кристофер выхватил у одного из слуг лук со стрелой в тетиве и снова закричал:

— Слушай, твоя жизнь в опасности!

В ответ человек прокричал что-то о приказаниях лорда аббата.

Кристофер посмотрел и увидел, что остальные сошли с лошадей и бежали к мосту. Он прекрасно понимал, что, если они достигнут моста, игра проиграна. Поэтому он больше не колебался, а, нацелившись, быстро натянул и отпустил тетиву. На этом расстоянии он не мог промахнуться. Стрела ударила человека туда, где его шлем соединялся с кольчугой, и, пройдя через горло, поразила его насмерть. Остальные, испугавшись, что их ждет такая же судьба, выпустили мост из рук, и, освобожденный от тяжести, он медленно поднялся и опустился со стороны дома, где был прочно закреплен.

Впоследствии стало известно — об этом можно сказать и сейчас, — что этот человек был капитаном охраны аббата. Больше того, это он пронзил стрелой горло сэра Джона Фотрела и убил его каких-нибудь сорок часов назад. Так и случилось, что он умер подобной же смертью, а значит, один из убийц доброго рыцаря получил справедливое возмездие.

Теперь люди бежали назад, боясь, что за этой стрелой последуют другие, а Кристофер молча наблюдал за их бегством. Сайсели, стоявшая

рядом с ним, закрыв лицо руками, чтобы не видеть зрелища смерти, вдруг опустила их и, повернувшись к своему мужу, сказала, указывая на труп, лежавший на снегу в луже крови:

— Как знать, сколько еще последует за ним? Думаю, что это лишь первый тур долгой игры, супруг мой.

— Нет, дорогая, — ответил он, — второй; первый был сыгран два дня назад у Королевского кургана, там в лесу, а кровь всегда призывает кровь.

— Ах, — ответила она, — кровь призывает кровь. — Затем, подумав о том, что она осиротела, о том, каким будет ее медовый месяц, она повернулась, и, плача, пошла в свою комнату.

Пока Кристофер все еще стоял в нерешительности, подавленный совершенным убийством, не зная, что ему делать дальше, он увидел, как три человека отделились от группы воинов и поехали по направлению к Тауэрсу; один из них держал над головой белую ткань, как посланный для переговоров.

Тогда Кристофер поднялся на маленькую орудийную башню около ворот, а следом за ним пошла Эмлин; спрятавшись за зубчатой кирпичной стеной, она могла все видеть и слышать, но оставаться незамеченной. Достигнув дальнего конца рва, тот, кто держал белое полотно, откинул капюшон своего длинного плаща, и они увидели, что это был сам блосхолмский аббат, — его темные глаза сверкали, а оливкового цвета лицо побелело от ярости.



— По какому праву вы охотитесь за мной на моих же землях и так бесцеремонно стучитесь в мои двери, милорд аббат? — спросил Кристофер, облокотившись на парапет ворот.

— По какому праву вы убиваете моего слугу, Кристофер Харфлит? —

спросил аббат, указывая на труп, лежавший на снегу. — Разве вы не знаете, что проливший кровь заплатит своей кровью, что по нашим древним хартиям я имею право восстанавливать справедливость? И, клянусь святым именем господним, я это сделаю! — добавил он сдавленным голосом.

— Вот как, — задумчиво повторил Кристофер, — «заплатит своей кровью». Может быть, поэтому и умер этот парень. Скажите мне, аббат, не был ли он среди тех, которые недавно проезжали при лунном свете около Королевского кургана и встретили там случайно сэра Джона Фотрела?

Удар был сделан наугад, однако казалось, он попал в цель, по крайней мере челюсть аббата отвисла и слова, которые он собирался произнести, так и замерли на его губах.

— Я не понимаю значения ваших слов, — немного более спокойным голосом сказал он, — не знаю как погиб мой покойный друг и сосед, сэр Джон, да упокоит господь его душу! Однако о нем, вернее, о том, что он оставил, мы должны сейчас поговорить. Вы, говорят, похитили его дочь, несовершеннолетнюю девушку и, я боюсь, прикрываясь фальшивым браком, довели ее до позора — преступление более отвратительное, чем это убийство.

— Нет, лишь посредством законного брака я доставил ей ничтожную честь стать законной женой Кристофера Харфлита. Если есть сила в обрядах святой церкви, тогда рука самого господа так крепко связала нас, как только мужчина может быть связан с женщиной, и смерть единственный священник, могущий развязать этот узел.

— Смерть! — повторил аббат медленно, с любопытством глядя вверх на него.

Некоторое время он молчал, потом продолжил:

— Пусть будет так; суд божий совершается постоянно, и у него есть много проницательных и быстрых посланцев, таких как этот. — Однако я мирный человек, и хотя вы убили моего слугу, я хотел бы решить наше дело полюбовно, если это возможно. Послушайте теперь, сэр Кристофер, вот мое предложение. Уступите мне Сайсели Фотрел…

— Сайсели Харфлит, — перебил Кристофер.

— Сайсели Фотрел, и я клянусь вам, над ней не будет совершено никакого насилия, и она не будет выдана замуж до тех пор, пока король, или главный викарий, или какой-либо суд, назначенный королем, вынесет решение по этому смехотворному делу и не объявит ваш смехотворный брак потерявшим силу.

— Что! — прервал Кристофер насмешливо. — Неужели аббат Блосхолма объявляет, что светская власть нашего королевства обладает

правом развода?[26] Раньше, когда дело шло о королеве Екатерине, я слышал, как он, а также и другие утверждали иное.

Аббат закусил губу, но продолжал, не обращая внимания:

— Я так же не подам на вас жалобы по поводу убийства моего слуги, за что бы при иных обстоятельствах вас бы следовало повесить. Я напишу об этом как о несчастном случае, а потом выдам вознаграждение его семье. Теперь вы слышали мое предложение, — отвечайте.

— А что, если я откажусь от великодушного предложения выдать ту, что для меня дороже тысячи жизней?

— Тогда, в силу моих прав и власти, я возьму ее силой, Кристофер Харфлит, и, если случится несчастье, вы ответите за это головой.

Тут Кристофер не смог сдержать своей ярости.

— Вы осмеливаетесь угрожать мне, верному англичанину, вы, лжесвященник и иностранец-предатель, — закричал он, — находящийся, как все знают, на жалованье у Испании[27] и под покровом монашеской одежды строящий козни против страны, на землях которой вы разжирели, как конская пиявка? Почему Джон Фотрел был убит два дня тому в лесу? Вы не хотите отвечать? Тогда я отвечу. Потому, что он ехал ко двору, чтобы показать правду о вас и вашем предательстве, и за это вы убили его. Почему вы заявляете право на мою жену как на вашу подопечную? Потому, что вы хотите присвоить ее земли и богатство, чтобы оплачивать свои интриги и излишества. Вы думаете, что при дворе вы купили себе друзей и что ради денег те, в чьих руках власть, закроют глаза на ваши преступления? Может быть, и так, но это временно. Подождите, подождите! Не все глаза там слепы, не все уши глухи. И ваша голова будет поднята выше, чем вы думаете, — так высоко, что попадет на верхушку Блосхолмской башни для предупреждения всем тем, кто попытается продать Англию ее врагам. Джон Фотрел лежит мертвый, в горле у него стрела вашего головореза, но Джефри Стоукс с бумагами уехал. А теперь совершайте последнюю подлость, Клемент Мэлдон. Вам нужна моя жена — попробуйте взять ее.

Аббат слушал, слушал внимательно, впитывая каждое зловещее слово. Его смуглое лицо побелело от страха, потом потемнело от гнева. Вены на лбу вздулись, даже на таком расстоянии Кристофер мог это видеть. Он был так зол, что его лицо смешно исказилось, и Кристофер, заметив это, разразился искренним смехом.

Аббат, не привыкший к насмешкам, прошептал что-то двум людям, которые были с ним, после чего они одновременно подняли принесенные с

собой самострелы и дернули спусковые крючки. Одна стрела, описав широкую дугу, ударилась о стену дома сзади и крепко вонзилась в сплетение украшений из гвоздей. Но другая, нацеленная лучше, ударила Кристофера повыше сердца; он пошатнулся, но стрела, пущенная снизу, ударившись о кольчугу, надетую на нем, проскользнула над его левым плечом. Люди, увидев, что он не был ранен, развернули лошадей и поскакали прочь, а Кристофер, положив другую стрелу на тетиву лука, оттянул ее к уху, целясь в аббата.

— Отпускай и покончи с ним, — пробормотала Эмлин из своего убежища за парапетом.

Но Кристофер с минуту подумал, потом закричал:

— Подождите немного, сэр аббат, мне надо сказать вам еще кое-что.

Аббат тоже поворачивал коня и не обратил на его слова никакого внимания.

— Подождите! — прогремел Кристофер. — Или убью вашу прекрасную кобылу.

А так как аббат все еще тянул за удила, он выпустил стрелу. Цель была настигнута точно. Стрела прошла как раз через изгиб шеи, разорвав связки между костями так, что бедное животное, выпрямившись, встало на дыбы и рухнуло наземь, сбросив своего седока в снег.

— Теперь, Клемент Мэлдон, — закричал Кристофер, — будете ли вы слушать или останетесь в снегу вместе с вашей лошадью и слугой и не услышите ничего больше до дня страшного суда? Если вы еще не догадались, то знайте, что я с юности упражнялся в стрельбе из лука. Если вы сомневаетесь, подымите руку, и я пропущу стрелу у вас между пальцев.

Аббат, сбитый с ног, но не пострадавший, медленно поднялся и стоял теперь между трупами лошади и человека.

— Говорите, — сказал он глухим голосом.

— Милорд аббат, — продолжал Кристофер, — минуту назад вы пытались убить меня, и, если бы моя кольчуга была ненадежной, вам удалось бы это. Сейчас ваша жизнь в моих руках, ибо вы видели, что я не промахнусь. Ваши слуги идут вам на помощь; прикажите им остановиться или… — И он поднял лук.

Аббат повиновался, и люди, поняв его знак, остановились там, где были, на таком расстоянии, что не могли ничего слышать.

— У вас на груди распятие, — продолжал Кристофер. — Возьмите его в правую руку и дайте клятву.

Аббат опять повиновался.

— Клянитесь так, — говорил Кристофер, повторяя слова

спрятавшейся за парапетом Эмлин. — Я, Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма, перед ликом всемогущего бога на небесах, в присутствии Кристофера Харфлита и других на земле, — и резким кивком головы он указал на окна дома, где собрались и слушали все, кто в нем был, — даю клятву на распятии. Клянусь, что оставлю все притязания на опекунство над душой и телом Сайсели Харфлит, урожденной Сайсели Фотрел, законной жены Кристофера Харфлита, и все притязания на земли и богатства, которыми она владеет или которыми владел ее отец Джон Фотрел, рыцарь, или ее мать, покойная госпожа Фотрел. Клянусь, что не буду поднимать никакого дела ни в каком суде, ни в церковном, ни в светском, при этом или другом царствовании против вышеупомянутой Сайсели Харфлит или против вышеупомянутого Кристофера Харфлита, ее мужа, также не буду искать случая нанести оскорбление ни их душе, ни их телу или телам и душам тех, кто им верен, и с этой минуты они могут жить и умереть, не опасаясь ни меня, ни тех, кто мне подчинен. Поцелуйте распятие и принесите клятву, Клемент Мэлдон.

Аббат выслушал; его сердце никогда не отличалось мягкостью, а гнев был так велик, что он, казалось, раздулся, как обозленная жаба.

— Кто дал вам право диктовать мне клятвы? — спросил он наконец. — Я не буду клясться. — И он бросил распятие на снег.

— Тогда я буду стрелять, — ответил Кристофер. — Ну поднимите крест.

Но Мэлдон молча стоял со сложенными на груди руками. Кристофер нацелился и выстрелил; мало нашлось бы в Англии таких стрелков как он, — его стрела проткнула меховую шапку Мэлдона и сбила ее, не задев бритого лба аббата.

— Следующая попадет на два дюйма ниже, — сказал он, вставляя в тетиву новую стрелу. — Я не буду больше тратить зря хорошие стрелы.

Тогда, чтобы спасти свою жизнь, которой он весьма дорожил, Мэлдон очень медленно наклонился и, подняв распятие со снега, поднес его к своим губам, поцеловал и пробормотал:

— Клянусь.

Но клятва, данная им, сильно отличалась от повторенной Кристофером, потому что, как преследуемая лиса, он умел ответить хитростью на хитрость.

— Теперь, когда я — рукоположенный аббат[28] — сделал по вашему, считая, что должен был уступить для того, чтобы, оставшись в живых, исполнять свой долг на земле, волен я отправиться по своим делам, Кристофер Харфлит? — спросил он с горькой иронией.

— Почему же нет? — спросил Кристофер. — Только, будьте любезны, с этого времени не вмешивайтесь в мои дела. Завтра мы с моей супругой собираемся ехать в Лондон, и нам не хотелось бы встретиться с вами на дороге.

Подняв свою шапку и вытащив из нее стрелу, аббат повернулся, пошел назад к своим людям, и вскоре они, поднявшись на горку, ускакали к Блосхолму.

— Теперь все хорошо кончилось; он дал мне клятву, которую едва ли осмелится нарушить, — сказал вскоре Кристофер. — А что скажешь ты, няня?

— Я скажу, что вы даже больший простак, чем я считала, — сердито ответила Эмлин, поднимаясь с места и потягиваясь, так как у нее свело все члены. — Клятва? Тьфу! Он уже освобожден от нее, так как она была дана под угрозой смерти. Разве вы не слышали, как я вам шепотом советовала пронзить стрелой его сердце вместо того, чтобы откалывать мальчишеские шутки с его шапкой?

— Я не хотел убивать аббата, няня.

— Глупец! Какая разница между ним и его слугами? А он еще скажет, что вы покушались на его жизнь, но промахнулись, и покажет шапку и стрелу в качестве вещественных доказательств. Но мои слова теперь уже не помогут, и скоро вы услышите об этом прямо от него самого. Идите, приготовьте свой дом к обороне и не осмеливайтесь ступить ногой за порог. Там вас ждет смерть.

Эмлин была права. Через три часа безоружный монах пришел, несмотря на метель, в Крануэл Тауэрс и бросил через ров письмо, привязанное к камню. Потом он прибил бумагу к одному из дубовых столбов наружных ворот и без единого слова ушел так же, как и пришел. В присутствии Кристофера и Сайсели Эмлин распечатал и прочитала второе письмо так же, как она прочитала первое.

Оно было коротким и гласило:

Запомните, сэр Кристофер Харфлит и все остальные, к кому это может иметь отношение, что клятва, которую я, Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма, дал вам сегодня, совершенно недействительна и не может иметь последствий, так как она была вырвана у меня под угрозой немедленной смерти. Запомните дальше, что доклад о совершенном вами убийстве направлен его величеству королю, шерифу[29] и другим представителям власти этого графства и что в силу моих прав и власти, церковной и гражданской, я буду продолжать дело о возвращении ко мне

моей подопечной, по имени Сайсели Фотрел, со всеми землями и другой собственностью, бывшей в руках его отца, покойного сэра Джона Фотрела. От ее имени я уже вступил во владение имуществом и воспользуюсь всеми средствами, какие понадобятся, чтобы схватить вас, Кристофер Харфлит, и передать в руки закона. Кроме того, посредством уведомления, посланного при сем, предупреждаю всех, кто примыкает к вам и содействует в совершаемых вами преступлениях, что и телам их и душам грозит гибель.

Клемент Мэлдон,
аббат Блосхолма.

Глава V . Что произошло в Крануэле

Прошла неделя. В течение первых трех дней в Крануэл Тауэрсе ничего или почти ничего не произошло: нападения никто не предпринимал. Однако Кристофер с помощью дюжины домашних слуг и мелких арендаторов обнаружил, что они окружены со всех сторон. Раза два кое-кто пытался выехать на недалекое расстояние, но тотчас вынужден был вернуться обратно, так как из близлежащих рощиц, из деревенских коттеджей и даже из дверей церкви появлялись превосходящие по численности группы людей. Они нигде не подъезжали к ним близко, и поэтому жертв не было. Отчасти это было даже плохо: не хватало радостного возбуждения настоящей борьбы, оставался только страх перед постоянной опасностью.

В других отношениях дела тоже шли плохо. Так, прежде всего, у них кончилось пиво, а затем израсходовали и весь запас остальных возбуждающих напитков, и им приходилось пить одну воду. Затем кончилось топливо, потому что почти все заготовленное находилось на ферме на расстоянии четверти мили от замка; на второй день осады эту ферму подожгли, и она сгорела со всем, что в ней было, а скот и лошади были уведены неизвестно куда.

Дошло до того, что они могли поддерживать огонь только в кухне, и то не очень жаркий, лишь для приготовления пищи, сжигая двери надворных строений и половицы чердака. Да и пищи было немного: только запас солонины, свинины в уксусе, копченой грудинки да немного овсянки и муки, из которых спекли лепешки и хлеб.

На четвертый день кончилось и это, и им пришлось довольствоваться вяленым мясом, несколькими яблоками, вместо овощей, и горячей водой, которую они пили, чтобы согреться. Наконец топить стало нечем; они вынуждены были есть сырое мясо и болели от этого. Мало того, наступила оттепель, и дом заледенел; поэтому днем у них зуб на зуб не попадал, а по ночам, из-за постоянного недоедания, им едва хватало силы протянуть до утра под всеми одеялами, какие были.

Ах, какими длинными казались эти ночи, без единого огонька в камине, без такого пустяка, как зажженная свеча! В четыре часа темнело, и темнота была беспросветна, так как луна поднималась невысоко, а туман не рассеивался до тех пор, пока около семи часов следующего утра не становилось светло. Боясь атаки, они все время прислушивались в темноте,

так что не имели возможности спокойно выспаться.

Некоторое время все мужественно переносили эти лишения, даже арендаторы, хотя до них дошли слухи, что их фермы опустошены, а жены и дети выгнаны и нашли приют, где кому удалось.

Сайсели и Эмлин не роптали. Действительно, новобрачная, не хмурясь, переживала свой страшный медовый месяц. Она с мужем медленно прогуливалась вдоль рва или от окна к окну в пустых комнатах, пока, наконец, усталость не осиливала их, и они, передав дозор другим, не падали в изнеможении на какую-нибудь кровать, чтобы поспать хоть немного. Только одна Эмлин, казалось, никогда не спала. Но, в конце концов, их сотоварищи стали выражать недовольство.

Однажды утром на рассвете, после очень тяжелой ночи, они дождались Кристофера и сказали ему, что были готовы бороться за него и его супругу, но так как нет никакой надежды на помощь, они больше не могут мерзнуть и ждать голодной смерти, — короче говоря, они должны или покинуть этот дом, или сдаться. Он терпеливо выслушал их, понимая, что они правы, и затем посовещался с Сайсели и Эмлин.

— Наше положение безвыходно, дорогая жена. Что теперь делать, раз для нас нет надежды на подкрепление? Ибо никто ведь не знает, в каком мы состоянии! Сдаться или попытаться бежать под покровом тьмы?

— Только не сдаваться, — ответила Сайсели, заглушив рыдания. — Если мы сдадимся, они, конечно, нас разлучат, и безжалостный аббат отправит тебя на тот свет, а меня в монастырь.

— Это может случиться в любом случае, — пробормотал Кристофер, отворачиваясь. — А что скажешь ты, няня?

— Я думаю, надо бороться, — храбро ответила Эмлин. — Здесь нам, конечно, нельзя оставаться; откровенно говоря, сэр Кристофер, кое-кому здесь я не доверяю. Но что поделаешь? У них желудки пусты, руки заледенели, их жены и дети неизвестно где, и, вдобавок ко всему, над ними нависло тяжкое проклятье церкви. И всего этого не было бы, если бы они вас предали. Давайте возьмем оставшихся лошадей и ускользнем в ночной тишине, если сможем; если же не сможем, то умрем, как умирали люди и получше нас.

Так они решили испытать судьбу, полагая, что хуже, чем сейчас, быть не может, и провели весь остаток дня, готовясь, кто как умел. Семь лошадей все еще находились в конюшне, и, хотя они застоялись без движения, их накормили сеном и напоили.

На них они предполагали ехать, но сначала хотели откровенно объясниться с верными им людьми.

Поэтому около трех часов дня Кристофер созвал всех людей под воротами и с грустью поведал им все. Он объяснил им, что здесь больше нельзя оставаться, а сдаться означало бы обречь новобрачную на вдовство.

Они должны бежать, взяв с собой столько спутников, сколько у них лошадей, если, разумеется, кто-нибудь рискнет отправиться в такое путешествие. Если нет, то он и обе женщины поедут одни.

Тогда четверо самых верных людей, долгие годы служивших Кристоферу и его отцу, вышли вперед, говоря, что, как бы опасно это ни оказалось, они разделят его судьбу до конца. Он коротко поблагодарил их; тогда один из оставшихся спросил, что же им теперь делать, раз он собирается покинуть их, доведя до такого положения.

— Один бог знает, что я предпочел бы умереть, — ответил Кристофер от всей души. — Но, друзья мои, подумайте, в каком мы положении. Если я останусь здесь, — что будет с моей женой? Увы! Дело дошло до того, что вам приходится выбирать: или уйти с нами и рассеяться по лесу, где вас, я думаю, не будут преследовать, потому что этот аббат с вами не враждует; или вы останетесь здесь, а завтра на рассвете сдадитесь. В том и другом случае вы можете сказать, что я заставил вас остаться и что вы не пролили ничьей крови; об этом я дам вам бумагу.

Так они мрачно беседовали все вместе и, наконец, решили, что, когда сэр Кристофер и его супруга уедут, они тоже разойдутся и спрячутся как можно лучше. Но среди них был один мелкий фермер, по имени Джонатан Дикси, рассуждавший иначе. Этот Джонатан был арендатором Кристофера, но его втянули в дело защиты Крануэл Тауэрса почти что против его воли, по настоянию самого крупного из арендаторов Кристофера, с дочерью которого он был обручен. Это был ловкий молодой человек, и даже во время осады он, применив способ, который нет необходимости описывать, ухитрился переправить послание блосхолмскому аббату, где говорил, что, будь это в его власти, он был бы рад оказаться в любом другом месте. Поэтому он был уверен, что его ферма останется нетронутой, какова бы ни была судьба всех остальных.

Теперь он решил выпутаться из этой печальной истории как можно скорее, ибо Джонатан принадлежал к числу людей, предпочитающих всегда находиться на стороне победителя.

Поэтому хотя он и сказал: «Так! Так!» — громче своих товарищей, как только стало темно, пока другие готовили лошадей и сменяли караул, он перебросил через ров позади конюшни лестницу и убежал, карабкаясь по ее ступенькам, под прикрытием находившегося на лугу коровника.

Полчаса спустя, постаравшись натолкнуться на людей аббата и

попасть в плен, он стоял перед ним в коттедже, служившем штабом. Сначала Джонатан ничего не хотел говорить, но когда они в конце концов пригрозили вытащить его на улицу и повесить, он, по его словам, для спасения жизни развязал язык и все рассказал.

— Так, так, — сказал аббат, когда тот кончил. — Господь благоволит к нам. Эти птички в наших сетях, и, значит, день святого Илария я буду справлять у себя в Блосхолме. За твою услугу, мастер Дикси, ты станешь моим управляющим в Крануэл Тауэрсе, когда он будет принадлежать мне.

Но можно сразу сказать, что все кончилось совсем не так, и он не только не получил места управляющего в Крануэле, но когда вся правда стала известна, невеста Джонатана не пожелала иметь с ним ничего общего, а люди тех мест разграбили его ферму и выгнали его из графства, и о нем с тех пор не было ни слуху ни духу.

Тем временем все было приготовлено к отъезду, и Кристофер, оставшись в Тауэрсе наедине с Сайсели, попрощался с ней в темноте, так как им нечем было осветить комнату.

— Это отчаянная попытка, — сказал он ей, — и я не могу сказать, чем она кончится и увижу ли я когда-нибудь снова твое милое личико. И все же, дорогая, мы провели вместе несколько счастливых часов; и если я погибну, а ты останешься жить, я уверен, что ты всегда будешь меня помнить, пока, как нас учили, мы не встретимся снова там, где никакой враг не сможет мучить нас и где нет холода, голода и темноты. Сайсели, если так суждено и у тебя будет ребенок, научи его любить отца, даже если он никогда его не увидит.

Тут она обвила его руками и плакала, плакала, плакала.

— Если ты умрешь, — рыдала она, — то, наверное, умру и я. Хоть я еще молода, но этот мир для меня полон скорби, а теперь, когда мой отец умер, без тебя, супруг мой, он превратится в ад.

— Нет, нет, — ответил он, — живи, пока хватит сил, потому что — кто знает? — часто самое худшее приводит к лучшему. Ведь и у нас были свои радости. Поклянись, что будешь жить, голубка!

— Хорошо, если ты тоже в этом поклянешься, потому что, может быть, умру я, а ты останешься жить. Мечи в темноте не выбирают цели. Давай пообещаем друг другу, что мы оба будем жить, вместе или врозь, пока господь не призовет нас.

Так, в ледяном мраке, дали они эту клятву, скрепив ее поцелуями. Время наконец наступило, и они, рука об руку, ощупью, пошли во двор, немного успокоившись оттого, что ночь была очень благоприятной для выполнения их плана. Снег растаял, и сильный ветер, очень бурный, но не

холодный, дул с юго-запада, раскачивая высокие вязы, которые скрипели и стонали, как живые существа. Кристофер и Сайсели были уверены, что при таком ветре, как этот, их никто не услышит и не увидит под мрачным и беззвездным небом, а дождь, ливший между порывами ветра, смоет следы их коней.

Они молча оседлали лошадей и с четырьмя людьми — к этому времени все остальные ушли — переехали через подъемный мост, опущенный, чтобы они могли бежать. На расстоянии примерно трехсот ярдов их путь проходил через старый известковый карьер, вырытый много поколений назад; по обе стороны тропинки густо проросли деревья.

Когда они приближались к карьеру, в ночной тишине внезапно впереди заржала лошадь, и одно из их животных ответило ржанием.

— Стойте, — пролепетала Сайсели, слух которой обострился от страха. — Я слышу, как движутся люди.

Они натянули поводья и прислушались. Да, между порывами ветра слышался едва уловимый звук, как будто бряцали оружием. Они вперили взор в темноту, но ничего не смогли разглядеть.

Опять заржала лошадь, и ей ответило ржанье. Один из слуг выругал про себя животное и грубо ударил его плашмя мечом, и тогда отдохнувшая лошадь понеслась, закусив удила. В следующую минуту в известковом карьере перед ними поднялся невообразимый шум — шум окриков, удары меча, а потом тяжелый стон, словно сорвавшийся с губ умирающего человека.

— Засада! — воскликнул Кристофер.

— Можем мы объехать ее? — спросила Сайсели, и в ее голосе прозвучал ужас.

— Нет, — ответил он — ручей разлился; мы увязнем. Чу! они атакуют нас. Обратно в Тауэрс, другого выхода нет.

Так они повернули и помчались, преследуемые криками и стуком копыт множества скачущих лошадей. Через две минуты они были уже там, — женщины, Кристофер и трое мужчин проскакали через мост.

— Поднять мост! — закричал Кристофер, и они спрыгнули с лошадей и, спотыкаясь, побежали к рычагам; слишком поздно, так как всадники аббата уже вступили на него.

Тогда началась битва. Лошади врагов шарахались назад от дрожавшего моста, поэтому ездоки спешились и ринулись вперед, но были встречены Кристофером и его тремя союзниками: в этом узком месте они могли заменить сотню.

Жестокие удары наносились в темноте наугад; двое из людей аббата

упали, после чего низкий голос скомандовал:

— Вернитесь и подождите рассвета.

Когда они ушли, таща с собой раненых, а Кристофер и его слуги снова попытались поднять мост, они увидели, что он не двигается.

— Какой-то предатель испортил цепи, — сказал Кристофер тихим от отчаяния голосом. — Сайсели и Эмлин, идите в дом. Я и каждый, кто захочет, останемся здесь, чтобы покончить с этим делом. Когда меня убьют, сдайтесь. Я думаю, что впоследствии король рассудит нас по справедливости, если вы сможете до него добраться.

— Я не пойду, — застонала Сайсели. — Я умру с тобой.

— Нет, ты пойдешь, — сказал он, топая ногой, и, когда он произносил эти слова, стрела просвистела между ними. — Эмлин, тащи ее туда, пока ее не убили. Скорее, говорю я, скорее, или проклятье господа и мое обрушится на вас. Разожми руки, жена; как я могу сражаться, если ты висишь у меня на шее? Что! Неужели я должен ударить тебя? Ну что ж, вот и вот!

Она разжала руки и со стоном упала на грудь Эмлин, которая полунесла, полувела ее через двор, где скакали на свободе испуганные лошади.

— Куда мы идем? — всхлипнула Сайсели.

— В центральную башню, — ответила Эмлин, — там, кажется, безопаснее.

К этой башне, которая дала название всему замку[30], они шли ощупью. В отличие от остальной части дома, построенного главным образом из дерева, башня была каменной, ибо являлась частью старой постройки времен норманнов. Спотыкаясь, они медленно поднимались по ступенькам, пока наконец не достигли крыши, так как инстинктивно искали места, откуда могли что-нибудь видеть, если бы появились звезды. Здесь, на этом возвышении, они укрылись и ждали конца, каким бы он ни был, — ждали молча.

Сколько времени прошло, они не знали, пока наконец из-под крыши кухни, позади дома, не вырвалось пламя, которое подхватил ветер и понес на стены основного здания, так что вскоре оно тоже заполыхало. Дом подожгли; кто — неизвестно, хотя, говорили, что предатель Джонатан Дикси вернулся и сделал это то ли за плату, то ли для того, чтобы в этой ужасной катастрофе было забыто его собственное преступление.

— Дом горит, — сказала Эмлин спокойно. — Теперь, если ты хочешь спасти свою жизнь, иди за мной. Под этой башней есть погреб, где нас не тронет пламя.

Но Сайсели даже не двинулась, потому что при свете яростного, все разгорающегося пламени она могла видеть то, что происходило внизу, и как раз случилось так, что ветер относил дым в другую сторону. Там, за мостом, собралась стража аббата, а в воротах стоял Кристофер и трое его людей с обнаженными мечами, во дворе же, как ошалелые, метались и ржали от страха лошади.

Один из солдат взглянул наверх и увидел, что две женщины стоят на вершине башни, затем крикнул что-то аббату, сидевшему на лошади рядом с ним. Он посмотрел и тоже увидел их.

— Сдавайтесь, сэр Кристофер, — закричал он, — леди Сайсели горит. Сдавайтесь, чтобы мы могли спасти ее.

С минуту Кристофер колебался, потом повернулся и решил побежать через двор. Слишком поздно; ибо, когда он подошел, пламя вырвалось через крышу главного строения, и передняя стена, яростно полыхая, упала во двор и забаррикадировала дверь, так что дом превратился в пылающий очаг, куда нельзя было войти и где никто не мог бы выжить.

Тогда, казалось, им овладело безумие. С минуту он пристально смотрел вверх на фигуры двух женщин, стоящих высоко над клубящимся дымом и все охватывавшим пламенем. Потом вместе со своими тремя людьми он с ревом бросился в гущу солдат, последовавших за ним во двор, словно пытаясь проложить дорогу к аббату, скрывавшемуся сзади. Это было ужасное зрелище, потому что он и те, кто был с ним, сражались яростно и убили многих врагов. Вскоре из четверых в живых остался только Кристофер. Мечи и копья ударялись о его доспехи, но он не падал, а падали те, кто с ним сражался. Огромный детина с топором очутился позади него и со всей силы ударил по его шлему. Меч выпал из рук Харфлита; он медленно повернулся, посмотрел наверх, потом, вытянув руки, тяжело рухнул на землю.

Аббат спрыгнул с лошади и побежал к нему, встав около него на колени. — Погиб! — воскликнул он и начал отходную его отлетевшей душе — так, по крайней мере, показалось всем.

— Погиб, — повторила Эмлин, — и какой доблестной смертью!

— Погиб, — простонала Сайсели таким страшным голосом, что все внизу услышали ее. — Погиб, погиб! — и без чувств упала на грудь Эмлин.

В эту минуту оставшаяся часть крыши провалилась, скрыв башню столбами пламени и пеленой дыма. Оставаться здесь означало неминуемую гибель. Подняв сильными руками свою хозяйку, как она обычно делала, когда Сайсели была маленькой, Эмлин нашла верхнюю ступеньку лестницы, и, когда ветер на минуту рассеял дым, все бывшие внизу

увидели, что обе женщины исчезли, и решили, что они погибли в огне.

— Теперь вы можете вступить на Шефтонские земли, аббат! — воскликнул голос во тьме ворот, ибо в этой суматохе нельзя было различить, кто говорит. — Но если бы мне посулили все земли Англии, я не хотел бы отвечать за эту невинную кровь!

Лицо аббата мертвенно побледнело и, хотя было достаточно жарко, его зубы застучали.

— Кровь падет на голову этого похитителя женщин, — с усилием воскликнул он, глядя вниз на Кристофера, лежавшего у его ног. — Поднимите его, чтобы над ним, погибшим при совершении убийства, мог свершиться суд. Неужели никто не может войти в дом? Кто спасет леди Сайсели, получит полный карман золота!

— Неужели кто-нибудь может остаться в живых, войдя в ад? — ответил тот же голос из мрака и дыма. — Ищите ее чистую душу в раю, если вам удастся попасть туда, аббат.

Страх был на лицах тех, кто поднял Кристофера и других убитых и раненых и понес их прочь, предоставив Крануэл Тауэрсу догорать дотла, ибо воздух там так раскалился, что никто не мог вынести этого жара.

Прошло два часа. Аббат сидел в маленькой комнате Крануэлского коттеджа, где он жил во время осады Тауэрса. Было около полуночи; однако, несмотря на усталость, он не мог отдыхать; конечно, если бы ночь не была такой темной и ненастной, он провел бы время в пути, возвращаясь в Блосхолм. На душе у него было неспокойно. Правда, все шло хорошо. Сэр Джон Фотрел был мертв — убитый «преступниками»; сэр Кристофер был мертв — разве его тело не лежало там, в коровнике? Сайсели, дочь одного из них и жена другого, тоже была мертва, сгорев в пожаре Тауэрса, и потому драгоценности и огромные земли, которых он домогался, безусловно попадут к нему в руки без всяких дальнейших хлопот. Ибо Кромуэл был подкуплен, а кто другой посмел бы попытаться вырвать их у могущественного блосхолмского аббата, который имеет на них известные права?

И все же он чувствовал себя очень неспокойно, потому что, как говорил тот голос (чей это был голос, он не знал, но голос казался знакомым): «Кровь этих людей падет на твою голову», — и тут он вспомнил текст святого писания, им же процитированный Кристоферу: «Кровь пролитая взывает о крови». Кроме того, хотя он и заплатил генеральному викарию, чтобы тот поддерживал его, монахи не были в большом почете при английском дворе, и если эта история дойдет до него — а это могло случиться, так как даже бессильные мертвецы находят

друзей, — то не исключена возможность, что ему зададут вопросы, на которые будет трудно ответить. Перед небом он мог оправдаться во всем, что сделал, но перед королем Генрихом, если правда дойдет до его королевских ушей (король ведь присвоил себе права самого папы), — это будет не так-то легко.

В комнате было холодно после зноя, который они испытали на пожаре. В жилах аббата текла южная, горячая кровь; он стал зябнуть; его охватило уныние и тоска; он начал задумываться — насколько же в глазах бога цель оправдывает средства? Он открыл дверь дома и, держась за нее, чтобы сильный зимний ветер не сорвал ее со слабых петель, громко позвал брата Мартина, одного из своих капелланов. Вскоре пришел Мартин, появившись из коровника с фонарем в руках, — высокий, тонкий человек с тревожным и грустным взглядом, длинным носом и умным ликом. Поклонившись, он спросил, что угодно его начальнику.

— Мне угодно, брат, — ответил аббат, — чтобы ты закрыл дверь от ветра, потому что этот проклятый климат убивает меня. Да, если сможешь, затопи камин, но дрова слишком сырые, они не горят, а дымят. Видишь, я был прав: если так будет продолжаться, к утру мы превратимся в окорока. Ну хватит, не надо, растопим завтра утром, сегодня вечером мы видели достаточно огня; садись, выпей кубок вина, — нет, я забыл, ты пьешь только воду; тогда съешь кусок хлеба с мясом.

— Спасибо, милорд аббат, — ответил Мартин, — но я не могу притрагиваться к мясному: сегодня пятница.

— Пятница или нет, мы ведь уже притрагивались к мясу — к плоти людей — там, в Тауэрсе, сегодня вечером, — ответил аббат с принужденным смехом. — Однако делай, что велит тебе совесть, брат, и ешь хлеб. Скоро полночь и можно будет заесть мясом.

Тощий монах поклонился и, взяв ломоть хлеба, начал жевать его, потому что и вправду чуть ли не умирал от голода.

— Ты молился у трупа этого кровожадного мятежника, причинившего нам столько вреда и потерь? — спросил вскоре аббат.

Секретарь кивнул и, проглотив корку, сказал:

— Да, я молился над ним и над другими. Во всяком случае он был храбр, и, должно быть, ему тяжело было видеть, как его молодую жену сожгли, словно ведьму. Кроме того, я обдумал это дело и не понимаю, в чем заключался его грех, — ведь он только храбро сражался, когда на него напали. Брак его без сомнения вполне законный, а должен ли он был испросить вашего разрешения на него — это вопрос, о котором судебные инстанции христианского мира могли бы спорить.

Аббат нахмурился; он не любил столь откровенного и беспристрастного тона, когда вопрос так близко касался его.

— Недавно вы удостоили меня чести, выбрав меня одним из своих исповедников, хотя я думаю, что вы мне всего не говорите, милорд аббат; потому я и поверяю вам свои мысли, — продолжал, как бы извиняясь, брат Мартин.

— Тогда продолжай. Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что мне не нравится это дело, — медленно отвечал он в промежутках, когда переставал жевать хлеб. — Вы поссорились с сэром Джоном Фотрелом из-за земель, принадлежавших аббатству, как вы говорите. Бог знает, кто прав, я не разбираюсь в законах, но ведь он отрицал это, — я сам слышал его слова там, в вашей комнате, в Блосхолме. Он отрицал это и обвинил вас в предательстве, достаточном для того, чтобы отправить на виселицу весь Блосхолм, о чем опять-таки правду знает один бог. Вы в гневе угрожали ему, но он и его слуга были вооружены и поэтому победили, а на следующий день они оба поехали в Лондон с какими-то документами. Да, в ту ночь сэр Джон Фотрел был убит в лесу, хотя его слуге Стоуксу удалось бежать с документами. Так кто же убил его?

Аббат взглянул на него, затем, казалось, принял внезапное решение.

— Наши люди, оруженосцы, собранные мной для защиты нашего монастыря и церкви. Я приказал схватить его живым, но старый английский бык не сдавался и боролся так яростно, что все кончилось иначе, к моему сожалению.

Монах положил хлеб — казалось, он больше не мог есть.

— Ужасное злодеяние, — сказал он. — За него вам придется когда-нибудь ответить перед богом и людьми.

— За него нам всем придется отвечать, — поправил аббат, — вплоть до самого последнего монаха и солдата, и тебе не меньше, чем всем нам, брат, потому что разве ты не присутствовал при нашей ссоре?

— Да будет так, аббат. Я невинен и готов отвечать.

Но это не все. Леди Сайсели, услышав об этом убийстве — нет, нечего вам гневаться, иначе этого не назвать — и узнав, что вы претендуете на опеку над ней, бежала к своему жениху, сэру Кристоферу Харфлиту и в тот же день была обвенчана с ним приходским священником этой церкви.

— Это был незаконный брак. Не было сделано должного оглашения. Мало того, как могла моя подопечная обручиться без моего разрешения?

— Ей не принесли извещения о назначении опеки, если даже она установлена, по крайней мере так она заявила, — спокойно и упрямо ответил Мартин. — Я думаю, что во всей Европе не найдется суда, который

не признал бы этого открыто совершенного брака, когда станет известно, что они оба некоторое время жили как муж и жена и мужем и женой были признаны окружающими, — даже сам папа этого не сделает.

— Ты заявил, что не законовед, а законы толкуешь, — вставил саркастически Мэлдон. — Ну, какое это имеет значение, если брак разрушен смертью? Муж и жена, даже если их брак действителен, оба умерли: все кончено.

— Нет, ибо теперь их жалоба — в небесном суде, а там придется отвечать каждому из нас; и небо может побудить к действию свои орудия на земле. Нет, не нравится, не нравится мне это; и я скорблю о них, таких любящих, храбрых и молодых. Их кровью и кровью многих других запятнаны наши руки — из-за чего? Из-за полоски плоскогорья и болота, которые король или кто-нибудь другой могут завтра же у нас отнять.

Аббат, казалось, съежился под тяжестью этих печальных и серьезных слов, и некоторое время они молчали. Потом он собрался с мужеством и сказал:

— Я рад, что ты помнишь, что их кровью запятнаны не только мои, но и твои руки; может быть, теперь ты будешь их прятать.

Он встал и пошел к двери, потом к окну — убедиться, что снаружи никого нет, затем, вернувшись, вскричал яростно:

— Дурак! Неужели ты думаешь, что все это совершено было ради нового поместья? Правда, эти земли принадлежат нам по праву и нам нужен доход, который можно с них получать, по за этим кроется нечто большее. Всей церкви в нашем королевстве угрожает проклятый сын Велиала[31], сидящий на троне. Но что это с тобой, сын?

— Я англичанин и не люблю слушать, когда английского короля называют сыном велиала. Я знаю, грехи его велики и черны, как, впрочем, и грехи других людей, но все же — сын велиала! Одних этих слов достаточно, чтобы вас повесить, если бы король их услышал!

— Хорошо, пусть он будет ангелом благородства, если тебе это больше нравится. Во всяком случае, нам грозит беда. Вопреки законам божеским и человеческим наша благословенная королева, Екатерина Испанская, отвергнута в угоду какой-то девке, занявшей ее место[32]. Даже и теперь у меня есть сведения из Кимболтона[33], что она умирает там от медленно действующего яда; так говорят, и я этому верю. У меня есть и другие вести. Фишер[34] и Мор[35] умерщвлены, а в следующем месяце в парламенте будет поставлен вопрос об уничтожении малых монастырей и присвоении их богатств[36], а затем наступит и наша очередь. Но мы не будем покорно

терпеть все это: прежде чем окончится этот год, вся Англия будет в огне, и я, Клемент Мэлдон, я — я зажгу его. Теперь ты знаешь правду, Мартин. Предашь ли ты меня, как сделал бы этот мертвый рыцарь?

— Нет, милорд аббат, ваши тайны в безопасности. Я ведь ваш капеллан, а своенравный и мстительный король и вправду причинил много вреда богу и его слугам. И все же я говорю, что мне это не нравится, и я не знаю, чем все это окончится. Мы, англичане, — люди упорные, и вам — испанцам — нас не понять и не сломить, а Генрих силен и хитер, да и народ стоит за него.

— Я знал, что могу тебе доверять, Мартин, и недаром так открыто говорил с тобой, — продолжал Мэлдон более мягким тоном. — Хорошо, ты узнаешь все. Великий император Германии и Испании на нашей стороне, как и должно быть, если принять во внимание его кровь и веру. Он отомстит за несправедливости, причиненные церкви и его тетке — королеве. Я знаю его, являюсь здесь его посланцем, и то, что я делаю, сделано по его приказанию. Но мне нужно больше денег, чем он может дать мне, вот почему я поднял дело о Шефтонских землях. У леди Сайсели есть огромной ценности украшения, хотя боюсь, они погибли в огне сегодня вечером.

— Грязные деньги — корень всех зол, — пробормотал брат Мартин.

— Да, но также источник всякого блага. Деньги, деньги. Мне нужно много денег, чтобы покупать людей и оружие, чтобы защищать небесную твердыню — церковь. Никаких жизней не жаль во славу и утверждение бессмертной церкви. Пусть погибают! Мой друг, ты боишься; гибель этих людей тяготит твою совесть, — увы, мне тоже тяжко. Я любил эту девушку, которую ребенком держал на руках, и я любил даже ее грубого отца, я любил его за честное сердце, хотя он всегда не доверял мне — испанцу — и имел на то основания. Любил я и Харфлита, лежащего там; он был храбрец, но не из тех, кто бы стал служить нашему делу. Они погибли, и за их пролитую кровь мы должны просить отпущения.

— Если сможем его получить.

— О, сможем, сможем. Оно уже лежит у меня в сумке под знакомой тебе печатью. Не бойся и за нашу бренную оболочку. В Англии подымается такой ветер, что все случившееся сегодня — перед ним только легкое дуновение. Какое значение имеют несколько выпущенных стрел, пожар, погибшие жизни, когда дело идет о столкновении между светской и духовной властью, когда решается вопрос, кто из них будет обладать скипетром в великой Британии? Мартин, у меня есть для тебя поручение, и оно может привести тебя к епископству, прежде чем все будет окончено, и

если таковы твои мысли и цели, и ты преодолеешь свои сомнения и колебания, у тебя хватит ума, чтобы управлять. Корабль «Большой Ярмут», отплывший несколько дней назад в Испанию, прибит обратно к берегу и завтра утром должен снова поднять якорь. У меня есть письма для испанского двора; ты повезешь их, а также передашь кому следует мои устные объяснения, которые не могут быть доверены бумаге: за них нам грозила бы виселица. Корабль направляется в Севилью, но ты последуешь за императором, где бы он ни был. Ты поедешь, не правда ли? — И он взглянул на него искоса.

— Я повинуюсь приказанию, — ответил Мартин, — хотя я мало знаю испанцев и испанский язык.

— В каждом городе есть бенедиктинский монастырь, а в каждом монастыре — переводчик, и ты будешь официально направлен к ним, образующим великое братство. Значит, решено. Иди и подготовься как можно лучше. Мне надо писать письма. Стой! Чем скорее похоронят этого Харфлита, тем лучше. Прикажи этому здоровому парню, Боллу, найти церковного сторожа и помочь вырыть могилу, потому что на рассвете мы его похороним. Теперь иди, иди; я сказал тебе, что должен писать. Возвращайся через час, и я вручу тебе деньги на поездку, а также сообщу все, что ты должен будешь передать устно.

Брат Мартин поклонился и вышел.

— Опасный человек, — пробормотал аббат, когда за ним закрылась дверь, — слишком честный для нашей игры и слишком уж англичанин. Патриотизм так и пробивается сквозь его рясу. У монаха не должно быть ни родины, ни родни. Но в Испании его кое-чему научат, и я уж постараюсь, чтобы его задержали там на достаточно долгий срок. Теперь пора приняться за письма. — И он сел за грубо сколоченный стол и начал писать.

Полчаса спустя дверь отворилась, и вошел Мартин.

— Что еще? — спросил раздраженно аббат. — Я сказал: «Возвращайся через час».

— Да, вы это сказали, но у меня хорошие новости, и я думал, что вам было бы интересно их услышать.

— Тогда выкладывай. В наши дни это редкость. Нашли драгоценности? Нет, это невозможно. Дом все еще горит. — И он взглянул через окно. — Какие новости?

— Лучше, чем драгоценности, — Кристофер Харфлит жив. Когда я молился над ним, он повернул голову и пробормотал что-то. Думаю, что его только оглушили. Вы искусны в медицине, пойдите и посмотрите на

него.

Через минуту аббат склонился над бесчувственным телом Кристофера, лежавшим на грязном полу коровника. При свете фонарей он пощупал искусными пальцами его раненую голову, с которой сняли разбитый шлем, в после этого дослушал его сердце и пульс.

— Череп рассечен, но не разбит, — сказал он. — Я думаю, что он может пролежать без сознания много дней, но если за ним ухаживать и кормить его, то этот молодой и сильный человек будет жить. Если же его оставить одного в этом холоде, он умрет к утру; и может быть, лучше, если он умрет. — И он взглянул на Мартина.

— Это было бы настоящим убийством, — ответил секретарь. — Пойдемте отнесем его к огню и вольем молока ему в горло. Мы еще можем его спасти. Поднимайте его за ноги, а я возьму за голову.

Аббат сделал это не особенно охотно, как показалось Мартину, скорее, как человек, у которого нет выбора.

Полчаса спустя, когда раны Кристофера были смазаны мазью и ему в горло было влито молоко, которое он проглотил, хотя и был без чувств, аббат, глядя на него, сказал Мартину:

— Ты отдал приказания насчет похорон Харфлита, не так ли?

Монах кивнул.

— А ты сказал кому-нибудь, что в настоящее время ему могила не нужна?

— Никому, кроме вас.

Аббат некоторое время раздумывал, потирая бритый подбородок.

— Я думаю, что похороны должны состояться, — сказал он вскоре. — Не пугайся: я не собираюсь хоронить его живым. Но в коровнике лежит еще один мертвец — Эндрью Вудс, мой слуга, шотландский солдат, убитый Харфлитом. У него здесь нет друзей, и никто не потребует его тела, а они примерно одного роста и объема. Завернутый в одеяло труп никто не распознает, а люди будут думать, что Эндрью похоронили вместе с остальными. Пусть он хотя бы после смерти поднимется выше своего звания и займет могилу рыцаря.

— С какой целью вы хотите сыграть такую безбожную шутку, тем более, что через день все разъяснится? — спросил Мартин, пристально глядя на него. — Ведь все увидят, что сэр Кристофер жив.

— С весьма благой целью, мой друг. Пусть лучше все считают сэра Кристофера Харфлита мертвым; ибо, если узнают, что он жив, его могущественный родственник, живущий на юге, может навлечь на нас много неприятностей.

— Вы думаете?… Если так, то, клянусь богом, я не стану в этом участвовать!

— Я сказал — считать мертвым. Куда девалась сегодня твоя сообразительность? — раздраженно ответил аббат. — Сэр Кристофер поедет с тобой в Испанию под именем больного брата Луиса; он, как и я, родом оттуда и хотел, как мы все знаем, вернуться домой, но слишком тяжело болен, чтобы осуществить это. Ты будешь ухаживать за Харфлитом, и на корабле он или умрет или выздоровеет, в зависимости от божьей воли. Если он выздоровеет, то наше братство окажет ему в Севилье гостеприимство, несмотря на его преступления, а к тому времени, когда он опять вернется в Англию, что будет не скоро, люди забудут эту нашу схватку, переживая надвигающиеся более грандиозные события. Никто ему не повредит, поскольку леди, на которой он якобы женился, без сомнения умерла. Кстати, пусть он узнает об этом от тебя, если вновь обретет сознание.

— Странная игра, — пробормотал Мартин.

— Странная или нет, это моя игра, и я ее должен сыграть. Поэтому не задавай вопросов, а подчиняйся и дай клятву молчать, — холодно и жестко ответил аббат. — Крытые носилки, принесенные сюда для раненых, находятся в соседней комнате. Закутаем этого человека в одеяло и в монашескую рясу и положим его на них. Потом пусть братья, умеющие не задавать вопросов, отнесут его в Блосхолм, как одного из мертвецов, а перед рассветом, если он еще будет жив, на корабль «Большой Ярмут». Корабль будет стоять у причала в полумили от ворот аббатства. Торопись и помоги мне. Я догоню тебя с письмами и прослежу, чтобы тебе выдали все нужные вещи из нашей кладовой. Я еще должен поговорить с капитаном, прежде чем он поднимет якорь. Не трать больше времени на разговоры, а подчиняйся и храни все в тайне.

— Я подчинюсь и сохраню все в тайне, как велит мне долг, — ответил брат Мартин, смиренно поклонившись. — Но чем кончится все это дело, знают только бог и его ангелы. Повторяю — мне оно не нравится.

— Очень опасный человек, — пробормотал аббат, глядя вслед Мартину. — Ему тоже следует побыть в Испании. И подольше. Я позабочусь об этом!

Глава VI . Проклятье Эмлин

На следующее утро после сожжения Тауэрса, как раз перед самым рассветом, труп, небрежно завернутый в саван, был перенесен из деревни на Крануэлское кладбище, где была вырыта неглубокая могила — его последний приют.

— Кого мы так спешно хороним? — спросил высоченный Томас Болл, один в темноте вырывший могилу, так как велено было сделать это срочно, а перепуганный суматохой могильщик убежал.

— Злодея этого, сэра Кристофера Харфлита, нанесшего нам такие потери, — сказал старый монах; ему приказали совершить обряд погребения, так как священник, отец Нектон, тоже уехал, боясь мести аббата за свое участие в бракосочетании Сайсели. — Печальная история, очень печальная история. Ночью они венчались и ночью же погребены: она — в пламени, он — в земле. Поистине, о господи, неисповедимы пути твои, и горе тому, кто подымает руку против твоих помазанников!

— Верно, что неисповедимы, — ответил Болл. Стоя в могиле, он взял труп за голову и положил его между своими широко расставленными ногами. — Настолько неисповедимы, что простой человек задумывается, каков будет неисповедимый конец всего этого и почему этот благородный молодой рыцарь стал неисповедимым образом намного легче, чем был. Наверное, из-за всех постигших его бед и голодухи в сожженном Тауэрсе. Почему не положить его в склеп вместе с предками? Это бы избавило меня от работы в обществе привидений, часто посещающих это место. Что вы говорите, отец? Потому что плита замурована, а вход заложен кирпичами и не найти каменщика? Тогда почему бы не подождать, пока он не найдется? Да, неисповедимо, поистине неисповедимо! Но как я осмеливаюсь задавать вопросы? Если милорд аббат приказывает, монах повинуется, ибо у настоятеля нашего пути тоже неисповедимы.

— Теперь все в порядке — лежит прямо на спине, ногами на восток, по крайней мере, я так думаю, потому что в темноте я не мог как следует разобраться, и вся неисповедимая история неисповедимо заканчивается. Дайте-ка мне вашу руку, чтобы выбраться из ямы, отец, и читайте скорее молитвы над грешным телом этого безбожного парня, осмелившегося жениться на любимой девушке и освободить от уз плоти души нескольких святых монахов или, вернее, нанятых ими головорезов (монахи-то ведь не дерутся), за то, что они хотели разлучить тех, кого сочетал бог — то есть, я

хочу сказать дьявол, и присоединить их доходы к поместьям матери церкви.

Затем старый священник, дрожавший от холода и мало что разбиравший в путаной речи Болла, начал бормотать заупокойные молитвы, пропуская все, что не помнил наизусть. Так еще одно зерно было посажено на поле смерти и бессмертия, хотя, когда и где оно прорастет и что оно принесет, монах не знал и не стремился узнать: ему хотелось только поскорее убежать обратно от всех этих страхов и схваток назад, в свою привычную келью.

Все было кончено. Монах и носильщики ушли, прорываясь сквозь резкий сырой ветер и предоставив Томасу Боллу зарывать могилу, что он усердно делал до тех пор, пока они не скрылись из виду или, вернее, пока их уже не было слышно.

Когда они ушли, он спустился в яму как бы для того, чтобы утоптать рыхлую почву, и там, защищенный от ветра, уселся на ноги трупа и, раздумывая, стал отдыхать.

— Сэр Кристофер мертв, — пробормотал он сам себе. — Когда я был мальчишкой, я знал его деда, а мой дед говорил мне, что знал его деда, а что его дед знал прадеда его деда — и так было триста лет сряду, а теперь я сижу на оцепеневших пальцах последнего из них, зарубленного, подобно бешеному быку, в своем собственном дворе испанским священником и его наемниками, чтобы захватить богатство его жены. О! Да, это неисповедимо, воистину неисповедимо; и леди Сайсели мертва, сожженная, как обыкновенная ведьма. И Эмлин мертва — Эмлин, которую я столько раз обнимал на этом самом кладбище до того, как они силой заставили ее выйти замуж за старого жирного управляющего, а из меня сделали монаха.

Но мне она дала свой первый поцелуй, и — святые угодники! — как она проклинала старого Стауэра, возвращаясь по той вон тропинке! Я стоял там, за деревом, и слышал ее. Она сказала, что будет плясать на его могиле и плясала; я видел, как она это делала при лунном свете на следующую же ночь после того, как его похоронили: одетая в белое, она танцевала на его могиле. Да, Эмлин всегда выполняла свои обещания. Это у нее в крови. Мать ее была цыганской ведьмой, иначе она никогда не вышла бы замуж за испанца, — ведь все мужчины ее племени влюблены были в ее прекрасные глаза. Эмлин тоже ведьма или была ведьмой; ведь говорят, что она умерла, но мне как-то не верится — не из тех она, кто так просто умирает. Все же она, пожалуй, умерла, и для спасения моей души это к лучшему. О несчастный человек! О чем ты думаешь? Отыди от меня, сатана, если найдешь, куда отойти. Могила для тебя не место, сатана, но я хотел бы,

чтобы ты сейчас находилась со мной, Эмлин. Ты, должно быть, была ведьма, потому что после тебя мне никогда не нравилась никакая другая женщина, а это противоестественно, — ведь на безрыбье и рак — рыба. Ясно — ведьма, и самая вредная, но, моя любимая, ведьма ты или нет, я хотел бы, чтобы ты была жива, и ради тебя я сломаю шею этому аббату, даже если погублю свою душу. О Эмлин, моя любимая, моя любимая! Помнишь, как мы целовались в рощице у реки?… Разве может какая-нибудь женщина любить так, как ты?

И он продолжал стонать, раскачиваясь взад и вперед на ногах трупа, пока, наконец, алый яркий луч восходящего солнца не забрался в темную яму, осветив прежде всего полусгнивший череп, не замеченный Боллом в разрыхленной земле. Болл поднялся и выкинул его оттуда со словами, которые неуместны на устах монаха, но ведь и мысли, которым он только что предавался, тоже не должны были возникать в его голове. Затем он принялся за дело, задуманное им в те мгновения, когда он отвлекался от своих любовных мечтаний, — в некотором роде темное дело.

Вытащив нож из ножен, он разрезал грубые швы савана и онемевшими руками стащил его с головы трупа.

Солнце скрылось за тучей, и, чтобы не терять времени, он начал ощупывать лицо трупа.

— У сэра Кристофера нос не был перебит, — бормотал он про себя, — если только это не произошло в последней схватке; но тогда кости не могли бы еще срастись, а тут кость крепкая. Нет, нет, у него был очень красивый нос.

Солнечный луч появился снова, и Томас, вглядевшись в мертвое лицо, разразился вдруг хриплым смехом:

— Именем всех святых! Вот еще один фокус нашего испанца. Это пьяница Эндрью — шотландец, превратившийся в мертвого английского рыцаря. Кристофер убил его, а теперь он стал Кристофером. Но где же сам Кристофер?

Он немного подумал, потом, выскочив из могилы, начал торопливо ее зарывать.

— Ты Кристофер, — сказал он, — хорошо, оставайся Кристофером, пока я не смогу доказать, что ты Эндрью. Прощай, сэр Эндрью-Кристофер; я пойду искать тех, кто получше тебя. Если ты мертв, то мертвые, может быть, живы. После этого и Эмлин, возможно, не померла. О, нынче дьявол разыгрывает веселые шутки вокруг Крануэл Тауэрса, и Томас Болл хочет принять в них участие.

Он был прав. Дьявол разыгрывал веселую шутку. По крайней мере, так

думал не один только Томас. Например, те же мысли приходили в голову заблуждавшегося, но честного фанатика Мартина, когда он смотрел на все еще бесчувственное тело сэра Кристофера, названного братом Луисом и благополучно доставленного на борт «Большого Ярмута»; теперь, мертвый или живой — Мартин и сам не знал этого, — Кристофер лежал в маленькой каюте, предназначенной для них двоих.

Глядя на него и качая своей лысой головой, Мартин чуть ли не ощущал в этой тесной каюте запах серы, который, как он хорошо знал, был любимым запахом дьявола.

Сам капитан, косоглазый, угрюмый моряк, хорошо известный в Данвиче, где его прозвали Загребущим Ханжой за пылкое стремление приобретать, где только можно, деньги и искусно прятать их, казалось, ощущал нечистое влияние его величества сатаны. Плавание до сих пор было неудачно: отъезд задержался на шесть недель, то есть до самого плохого времени года, — пришлось ожидать каких-то таинственных писем и груза, который его хозяева велели ему везти в Севилью. Затем он вышел из реки с попутным ветром только для того, чтобы его вернула назад ужасающая буря, чуть не потопившая корабль.

Кроме того, шестеро его лучших людей сбежали, боясь путешествия в Испанию в такое время года, и он был вынужден взять наудачу других. Среди них был чернобородый широкоплечий парень, одетый в кожаную куртку; на каблуках у него были шпоры, притом окровавленные, — видимо, он не успел их снять. Этот столь яростно гнавший своего коня всадник добрался до корабля на лодке, когда якорь был уже поднят и, бросив лодку на произвол судьбы предложил хорошие деньги за проезд к Испанию или в любой другой иностранный порт и немедленно расплатился наличными. Загребущий взял деньги, хотя и с сомнением в душе, и выдал квитанцию на имя Чарльза Смита, не задавая вопросов, так как за это золото ему не надо было отчитываться перед хозяевами. Впоследствии этот человек, сняв шпоры и солдатскую куртку, принялся работать вместе с командой, — кое-кто из матросов, казалось, знал его, а во время случившейся потом бури он показал себя человеком сильным и полезным, хотя и не опытным моряком.

Все же этот Чарльз Смит и его окровавленные шпоры вызывали у капитана недоверие, и, если бы у него хватало рабочих рук и он не взял с негодяя солидные деньги, он бы с удовольствием высадил его на берег, когда они опять вошли в реку, особенно теперь, когда он услышал, что в Блосхолме было совершено убийство, что сэр Джон Фотрел лежит убитый в лесу. Может быть, этот Чарльз Смит и убил его. Ну что ж, даже если так, это ведь не его дело, а он не мог пренебречь рабочими руками.

Теперь же, когда наконец погода установилась, в самый момент подъема якоря является вдруг блосхолмский настоятель, чье распоряжение и заставило его задержаться, с каким-то худолицым монахом и другим пассажиром — по словам аббата, то был больной из его братии, — завернутым в одеяла и, по всей видимости, бездыханным.

Почему, удивлялся проницательный Загребущий Ханжа, больной монах носит кольчугу? Ведь он нащупал ее сквозь одеяло, когда помогал поднять больного по лестнице, хотя, правда, сапоги на ногах у этого человека были монашеские. И почему голова монаха, как он заметил, когда покрывало на минуту соскользнуло, была обвязана окровавленным полотном?

Но когда он осмелился спросить аббата, что означает это таинственное обстоятельство, его милость, как раз отсчитывавший плату за проезд, дал ему весьма резкий ответ:

— Вам ведь приказано во всем мне подчиняться, капитан, и подчинение вряд ли совместимо с вмешательством в мои дела. Еще слово — и я сообщу о вас некоторым лицам в Испании, умеющим обращаться с интриганами. Если вы хотите снова увидеть Данвич, то придержите язык.

— Прошу прощения, милорд аббат, — сказал Загребущий, — но на корабле творятся такие дела, что мне становится страшно. Не может плаванье быть удачным, если дважды поднимают якорь в одном и том же порту.

— Вы не улучшите положения, капитан, вынюхивая мои дела и дела церкви. Или вы хотите, чтобы я наложил на вас ее проклятие?

— Нет, ваша милость, наоборот, я хочу, чтобы вы сняли проклятие, — ответил Загребущий Ханжа, который был крайне суеверен. — Сделайте это, и я повезу дюжину больных священников в Испанию, даже если им нравится носить кольчугу для умерщвления плоти.

Аббат улыбнулся и затем, подняв руку, произнес какие-то слова по-латыни, и так как Загребущий их не понял, то счел весьма благотворными. Как раз, когда они слетали с губ настоятеля, «Большой Ярмут» начал двигаться, так как моряки поднимали якорь.

— Я не стану сопровождать вас в этом плавании, а потому прощайте, — сказал аббат. — Святые будут с вами, как и мои молитвы. Поскольку вы не пойдете через Гибралтарский пролив, где, я слышал, скрывается много язычников-пиратов, при хорошей погоде ваше путешествие окончится вполне благополучно. Еще раз прощайте. Я поручаю вашему попечению брата Мартина и нашего больного друга и потребую отчета о них, когда мы встретимся снова.

«Надеюсь, это случится не здесь, по сю сторону ада: не нравится мне этот испанский аббат и его пассажиры, мертвые или живые», — думал про себя Загребущий, когда он с поклоном провожал его из каюты.

Минутой позже аббат, торопливо и озабоченно сказав Мартину несколько слов, начал спускаться по трапу в лодку, где на веслах сидели его люди, медленно ведя ее в уровень с кораблем. Спускаясь, он оглянулся и в липком утреннем тумане, почти таком же плотном, как шерсть, увидел лицо человека, которому было приказано держать лестницу, и узнал в нем Джефри Стоукса, спасшегося бегством во время убийства сэра Джона — спасшегося бегством с проклятыми бумагами, стоившими жизни его хозяину. Да, это Джефри Стоукс, никто иной. Аббат намеревался что-то сказать, но, прежде чем одно слово слетело с его губ, произошел несчастный случай.

Аббату показалось, что будто весь корабль яростно ударил его сзади, так яростно, что он полетел головой вперед, упал в лодку между гребцами и лежал там, будучи не в силах пошевелиться и вздохнуть.

— Что случилось? — спросил капитан, услышав шум.

— Аббат поскользнулся или трап соскользнул, уж не знаю, что там произошло, — ответил Джефри сердито, уставившись на носок своего морского сапога. — Во всяком случае, он теперь в лодке, в полной безопасности.

Повернувшись, он прошел к носовой части судна и исчез в тумане, бормоча себе под нос:

— Очень хороший удар, хотя немного высоковато. Но я хотел бы, чтобы он соскользнул с лестницы, предназначенной для другой цели. Этот мерзкий убийца хорошо бы выглядел с веревкой на шее. Не решился я на большее, хотя и это помогло заткнуть его лживую глотку, прежде чем он меня выдал. О, мой бедный хозяин, мой бедный старый хозяин!

Тяжко страдая от ушибов и ссадин, чувствуя себя очень плохо, через час с небольшим аббат Мэлдон вернулся к развалинам Крануэл Тауэрса. Могло показаться странным, что он направился туда, но, сказать правду, его смятенное сердце не давало ему покоя. Все планы настоятеля до сих пор осуществлялись великолепно. Сэр Джон Фотрел был мертв — конечно, это преступление, но преступление необходимое, так как если бы рыцарь остался жив и приехал в Лондон с документами в кармане, аббату пришлось бы поплатиться своей собственной жизнью и жизнью многих других, ибо кто знает, какие истины могут быть вырваны у жертвы, пытаемой на дыбе. Мэлдон всегда боялся дыбы; этот кошмар преследовал его по ночам, хотя честолюбивое коварство его натуры и дело, которому он

служил душой и сердцем, постоянно подвергали аббата опасности изведать подобную участь.

В момент, когда он не был настороже, когда у него от вина развязался язык, он отдал себя во власть сэра Джона Фотрела, надеясь привлечь его на сторону Испании, а потом, забыв об этом, сделал его своим самым злейшим врагом. Этот враг должен был погибнуть, ибо, если бы он остался в живых, не только сам аббат мог погибнуть, но рухнули бы и все планы о восстании церкви против короны. Да, да, это было законно, и ему наверняка простят в случае, если правда обнаружится. До сегодняшнего утра он надеялся, что ее никто не узнает, но теперь выяснилось, что Джефри Стоукс бежал на корабле «Большой Ярмут».

О, если бы только он увидел его минутой раньше; если бы только что-то — а может быть, это был сам нечестивый негодяй Джефри? — что-то не ударило его так сильно в спину и не швырнуло в лодку, где он лежал почти без сознания, пока судно уплывало от них вниз по реке. Итак, оно ушло, и с ним Джефри. Но в конце-то концов он был всего лишь простым слугой, и даже если ему что-нибудь известно, у него никогда не хватит ума воспользоваться своим знанием, хотя, правда, он оказался достаточно умным, чтобы бежать из Англии.

На теле сэра Джона не нашли никаких бумаг. Без сомнения, старый рыцарь успел передать их Джефри, покинувшему теперь королевство в одежде моряка. О! Какой злой случай привел его на борт одного и того же судна с сэром Кристофером Харфлитом!

Да, сэр Кристофер Харфлит, возможно, умер бы; если бы брат Мартин не был таким дураком, он наверняка бы умер; но факт оставался фактом — этот монах, вообще способный, в таких делах был дураком, его совестливость в данных обстоятельствах становилась помехой. Если Кристофера можно будет спасти, то Мартин спасет его, как он уже спас его в коровнике, даже если и передаст его потом в руки инквизиции[37]. Все же умереть он еще может, несмотря на уход; судно тоже может погибнуть, особенно в такое время года, о чем следует пламенно молиться. Нужно также при первой оказии отправить в Испанию кое-какие письма, благодаря которым действия брата Мартина и сэра Кристофера Харфлита, если он выживет и попадет туда, встретятся со всевозможными препятствиями.

Тем временем, размышлял Мэлдон, и в других отношениях все шло не так, как нужно бы. Он хотел объявить себя опекуном Сайсели и заточить ее в монастырь, чтобы овладеть ее огромными землями, необходимыми ему для святого дела, но он не желал ее смерти. Право, он любил эту девушку, зная ее с детства, и ее невинная кровь легла тяжелым грузом на его душу,

ведь в глубине сердца он никогда не стремился к кровопролитию. Все же не он, а само небо умертвило ее, и теперь этого нельзя было исправить. А раз она мертва, ее наследство, думал он, перейдет к нему в руки без дальнейших неприятностей, ибо у него — аббата с правами епископа, занимающего место в палате лордов, — были люди в Лондоне, которые за плату могли замять расследование этого темного дела.

Нет, нет, он не должен быть мягкосердечным. Потому что, в конце концов, он достиг многого, за что нужно быть благодарным. Дело их продолжается — великое дело церкви, которой угрожают и которой он посвятил свою жизнь. Генрих — еретик — падет. Испанский император — он любит аббата, своего шпиона, — вторгнется и захватит Англию. И Мэлдон еще доживет до того дня, когда святая инквизиция начнет работать в Вестминстере[38], а он сам — да, он сам — разве ему на это не намекнули? — сядет в долгожданной кардинальской красной шапке[39] на престол епископа Кентерберийского[40], а затем — о великая мечта! — затем, может быть окажется и в Риме с тройной папской тиарой[41] на голове!

Шел сильный дождь, когда аббат в сопровождении двух монахов и полдюжины оруженосцев подъехал к Кранузлу. Дом превратился в кучу дымящегося пепла, обуглившихся балок и обожженной глины, и среди них сквозь дождь, превращавшийся в облака пара, чуть виднелась угрюмая старая Нормандская башня; языки пламени напрасно лизали ее каменные стены.

— Зачем мы пришли сюда? — спросил один из монахов, с трепетом глядя на эту ужасную картину.

— Чтобы найти тела леди Сайсели и ее служанки и предать их земле по христианскому обряду, — ответил аббат.

— После того как их убили самым нехристианским способом, — пробормотал про себя монах, затем добавил вслух: — Вы всегда были милосердны, милорд аббат, и хотя она не послушалась вас, с благородной леди нельзя поступить иначе. А кормилица Эмлин была ведьмой и кончила тем, чего заслуживала, если, конечно, она действительно умерла.

— Что ты хочешь сказать? — резко спросил аббат.

— Я хочу сказать, что раз она была ведьмой, то огонь мог и не тронуть ее.

— Дал бы тогда господь, чтобы он не тронул и ее хозяйки. Но этого не может быть. Только дьявол мог выжить в пекле этой печи. Посмотрите, даже башня выжжена.

— Да, этого не может быть, — ответил монах, — поэтому, раз мы их никогда не найдем, давайте отслужим погребальную службу над этой огромной мрачной могилой и уйдем — чем скорее, тем лучше, потому что в этом месте наверно гнездятся привидения.

— Сперва мы должны разыскать их кости, там, под этой башней; на ней мы их видели в последний раз, — ответил аббат, добавив тихо: — Помни, брат, у леди Сайсели были драгоценные украшения, составляющие часть ее наследства; если они были завернуты в кожу, пламя могло пощадить их. В Шефтоне их не удалось найти. Значит, они здесь, но нельзя поручать поиски простому народу. Вот почему я поторопился прийти сюда сам. Понимаешь?

Монах кивнул головой. Сойдя с лошадей, они отдали их слугам и начали осматривать развалины, причем аббат опирался на руку своего подчиненного; он чувствовал сильную боль от удара, который Джефри нанес ему в спину своим матросским сапогом, и от синяков, полученных при падении в лодку.

Сначала они прошли под не тронутой огнем сторожевой башней у ворот и попали во двор, где их окутал удушливый дым тлеющего хлама, так что дальше они идти не могли: следует помнить, что стены дома обрушились не внутрь его, а во двор. Здесь они обнаружили лежащее под трупом лошади тело одного из людей, убитых Кристофером в последней схватке, и велели его вынести.

Затем, оставив мертвеца под воротами, они в сопровождении своих людей обошли вокруг развалин, придерживаясь внутренней стороны рва, пока не дошли до маленького садика для прогулок с задней стороны дома.

— Посмотрите, — испуганно сказал монах, указывая на опаленные кусты, бывшие когда-то беседкой.

Аббат посмотрел туда, но сперва ничего не мог различить из-за клубов дыма. Вскоре дуновение ветра отогнало их в сторону, и там он увидел фигуры двух женщин, стоявших рука об руку. Его люди тоже увидели их и громко закричали, что это призраки Сайсели и Эмлин. Пока они кричали, эти фигуры, по-прежнему держась за руки, стали двигаться к ним, и они увидели, что это действительно были Сайсели и Эмлин, но живые и совершенно невредимые.

С минуту царило глубокое молчание; потом аббат спросил:

— Откуда вы появились, мисс Сайсели?

— Из огня, — ответила она тихим невозмутимым голосом.

— Из огня! Как вы выжили в этом огне?

— Бог послал своего ангела, чтобы спасти нас, — ответила она так же

тихо.

— Чудо, — пробормотал монах, — настоящее чудо!

— Или, может быть, колдовство Эмлин Стоуэр, — воскликнул один из стоявших позади, и Мэлдон вздрогнул при этих словах.

— Отведите меня к моему мужу, милорд аббат, чтобы его сердце не разбилось при мысли, что я мертва, — сказала Сайсели.

И опять наступила такая глубокая тишина, что можно было услышать стук каждой капли падающего дождя. Дважды аббат безуспешно пытался заговорить, но все же наконец произнес:

— Человек, которого ты называешь своим мужем, но который был не мужем твоим, а похитителем, погиб прошлой ночью в схватке, Сайсели Фотрел.

Она стояла с минуту неподвижно, как бы обдумывая его слова, потом сказала тем же неестественным голосом:

— Вы лжете, милорд аббат. Вы всегда были лжецом, как отец ваш дьявол. Хотя я видела, как Кристофер упал, он на самом деле жив — да, я знаю это и еще многое другое. — И она закрыла рукой глаза, словно для того, чтобы не видеть лица своего врага.

Теперь аббат задрожал от ужаса — ведь он-то знал, что лжет, хотя никто из присутствовавших тогда и не подозревал об этом. Ему казалось, что его внезапно призвали на Страшный суд, где все тайное должно стать явным.

— Злой дух вселился в тебя, — сказал он хрипло.

Она опустила руку, указывая на него:

— Нет, нет; я знала только одного злого духа, и вот он стоит передо мной.

— Сайсели, — продолжал он, — перестань богохульствовать! Увы! Я должен сказать тебе правду. Сэр Кристофер Харфлит мертв, и его похоронили на этом кладбище.

— Что! Благородного рыцаря зарыли так быстро, даже не положив в гроб? Значит, вы похоронили его живым, и настанет день, когда он, живой, выступит против вас. Слушайте все мои слова. Кристофер Харфлит появится живой и невредимый и даст показания против этого дьявола в монашеской одежде, а потом, а потом… — Тут она дико захохотала, затем вдруг упала и осталась лежать неподвижно.

Тогда красивая и смуглая от своей испанской или, может быть, цыганской крови Эмлин, все время стоявшая молча, сложив руки на высокой груди, наклонилась и посмотрела на нее. Потом выпрямилась, и ее лицо казалось лицом прекрасного демона.

— Она умерла! — воскликнула она. — Моя голубка умерла. Она, вскормленная моей грудью, знатнейшая леди всей нашей округи, владетельница Блосхолма, Крануэла и Шефтона, в чьих жилах текла кровь славных рыцарей и даже древних королей, умерла, убитая жалким иноземным монахом, умертвившим всего десять дней назад ее отца, там, у Королевского кургана, там, у заводи. О! Стрела в его горле! Стрела в его горле! Я прокляла руки, выпустившие ее, и сегодня эти руки, посиневшие руки мертвеца, уже в могиле. И так же я проклинаю тебя, Мальдонадо, злодей-настоятель, рукоположенный самим сатаной, тебя и всю твою шайку палачей! — И она разразилась потоком испанских ругательств, которые аббат отлично понимал.

Но вот Эмлин остановилась и посмотрела назад, на тлеющие развалины.

— Этот дом сожгли! — воскликнула она. — Так запомни слова Эмлин: точно так же будет гореть твой дом, и твои монахи разбегутся, визжа, как крысы, из горящего стога. Ты присвоил чужую землю — она будет отнята у тебя, и отняты будут твои собственные земли, все до последнего акра. Не останется даже клочка, чтобы зарыть тебя, потому что, монах, тебя и не придется хоронить: птицы обчистят твои кости, а на небо тебе суждено попасть только в их зобах. Убийца, если Кристофер Харфлит умер, он все же оживет, как поклялась его супруга, потому что его потомство восстанет против тебя. О! Я забыла; как может это случиться, как может это случиться, раз и она умерла вместе с ним, а их брачное покрывало превратилось в саван, сотканный черными монахами? И все же так будет, так будет! Каким образом, я не знаю, но потомство Кристофера Харфлита восстанет, оно будет хозяином там, где хозяйничали блосхолмские аббаты, и от отца к сыну станет передаваться повесть о последнем из них — испанце, устраивавшем заговоры против английского короля и погубившем себя самого.

Ярость Эмлин, как штормовой ветер, меняла направление. Забыв аббата, она повернулась к монаху, стоявшему рядом с ним, и прокляла его. Потом она прокляла наемных оруженосцев, находившихся тут же и отсутствовавших, — многих из них поименно, и, наконец, — самое страшное преступление — она прокляла папу и короля Испании и призвала бога на небесах и Генриха Английского на земле отомстить за несправедливости, причиненные леди Сайсели, за убийство сэра Джона Фотрела и за убийство сэра Кристофера Харфлита, отомстить каждому из них в отдельности и всем вместе.

Такими яростными и страшными были ее неистовые речи, что все, кто

их слышал, стояли оторопев. Аббат и монах прижались друг к другу, солдаты крестились и бормотали молитвы, а один из них, подбежав к Эмлин, упал на колени и стал уверять ее, что он не принимал никакого участия в этом деле, потому что вернулся только накануне вечером из поездки и только утром был вызван сюда.

Эмлин, которая на мгновение смолкла, чтобы передохнуть, выслушав его, сказала:

— Тогда я снимаю проклятие с тебя и твоих близких, Джон Эти. Теперь подними мою леди и отнеси ее в церковь, там она будет лежать, как подобает ее званию, хотя и без своих украшений, великолепных, бесценных украшений, из-за которых за ней охотились, как за кроликом. Ей придется лежать без своих драгоценностей, без жемчугов и диадемы, без колец, пояса и ожерелья из сверкающих жемчужин, стоившего гораздо больше, чем все эти жалкие земли; ожерелье, которое некогда носила жена султана. Они погибли, хотя, может быть, этот аббат нашел их. Сэр Джон Фотрел для сохранности повез их в Лондон, а добрый сэр Джон мертв; бродяги в лесу напали на него, и стрела пущенная сзади, пронзила ему горло. Те, кто убил его, захватили эти драгоценности, и мертвая невеста должна лежать без них, украшенная лишь своей собственной красой, данной ей богом. Подними ее, Джон Эти, а вы, монахи, начинайте погребальное пение, мы пойдем в церковь. Невеста, лишь на днях стоявшая перед алтарем, теперь будет лежать перед ним, как последняя жертва богу от Клемента Мальдонадо. Сначала отец, потом муж, а теперь жена — милая, молодая жена!

Так бушевала она, и все, как громом пораженные, стояли перед ней, а Джон Эти поднимал Сайсели. И вдруг Сайсели, которую все считали умершей, открыла глаза, высвободилась из его рук и встала на ноги.

— Смотрите, — вскрикнула Эмлин, — разве я вам не говорила, что потомство Харфлита должно жить, чтобы отомстить всему вашему племени? Вот уже встала та, кто сохранит его семя. Где же мы теперь найдем убежище, пока вся Англия не узнает эту историю? Кануэл разрушен, хотя он поднимется снова, а Шефтон присвоен врагом. Где же нам укрыться?

— Оттащите прочь эту женщину, — сказал аббат хриплым голосом, — ее колдовство отравляет воздух. Посадите леди Сайсели на лошадь и отвезите ее в Блосхолмскую женскую обитель, где о ней позаботятся.

Люди, хотя и очень неуверенно, двинулись вперед, чтобы исполнить его приказание. Но Эмлин, услышав то, что он сказал, подбежала к аббату и прошептала ему что-то на ухо на чужом языке; он отшатнулся от нее,

перекрестился.

— Я передумал, — сказал он слугам. — Миссис Эмлин напомнила мне, что вскормила леди своей грудью, заменяя ей мать. Пока они должны остаться вместе. Отведите их обеих в монастырь, где они будут жить, и забудьте слова этой женщины, потому что она сошла с ума от страха и горя и сама не понимала того, что говорила. Пусть бог и его святые простят ей, как прощаю я.

Глава VII . Предложение аббата

В Блосхолмской женской обители — длинном сером доме, расположенном под тенью холма и огороженном высокой стеной, — все было спокойно. За стеной при доме был также большой, довольно запущенный сад и часовня — все еще красивая, хотя и начавшая разрушаться.

Когда-то Блосхолмский женский монастырь, построенный ранее аббатства, был богатым и знаменитым. Во времена Эдуарда I его основательница, некая леди Матильда из рода Плантагенетов[42], удалившаяся от света после того, как ее муж был убит в крестовом походе, не имея детей, принесла в дар ему все свои земли. Другие знатные леди, сопровождавшие ее туда или искавшие там приюта в последующие времена, поступали таким же образом, поэтому монастырь стал могущественным и богатым, так что в момент наивысшего процветания в его стенах перебирали четки более двадцати монахинь.

Потом на противоположном холме выросло гордое аббатство, получившее королевскую грамоту, утвержденную папой, по которой Блосхолмский монастырь был присоединен к Блосхолмскому аббатству, и блосхолмский аббат стал духовным руководителем всех его монахинь. С этого времени богатство монастыря пошло на убыль, так как под тем или иным предлогом аббаты растаскивали по кусочкам его земли, чтобы расширять свои собственные владения.

Ко дню, когда начинается наша повесть, весь доход женской обители снизился до 130 фунтов в год на тогдашние деньги, и даже с этой суммы аббат взимал церковную десятину. Теперь в этом большом доме, когда-то густо населенном, жило всего шесть монахинь, одна из которых фактически была служанкой, а старый монах из аббатства служил мессу в красивой часовне, где лежали останки всех умерших до этого инокинь. В некоторые праздники служил сам аббат, исповедовал монахинь, отпуская им грехи, и давал свое святое благословение. В эти дни он просматривал счета обители и, если в ней имелись наличные деньги, брал часть из них для своих нужд, почему настоятельница и не очень радовалась его появлению.

Именно в этот древний и мирный дом, наутро после великого пожарища были препровождены обезумевшая Сайсели и ее служанка Эмлин. Сайсели и раньше уже хорошо его знала, так как в течение трех лет,

еще ребенком, она каждый день ходила сюда учиться у матери Матильды; каждая настоятельница принимала это имя в честь его основательницы и в соответствии с ее завещанием.

Это были счастливые годы, потому что старые монахини любили ее, когда она была юной и невинной, и она тоже любила каждую из них. Теперь волею судьбы ее привезли обратно в ту же тихую комнату, где она играла и училась, — ее, молодую жену и молодую вдову.

Но обо всем этом бедная Сайсели узнала лишь спустя три недели, когда наконец ее блуждающий ум прояснился и глаза опять увидели мир. В ту минуту при ней никого не было; лежа, оглянулась она вокруг себя. Место было ей знакомо. Она узнала глубокие окна, выцветшие гобелены, изображающие Авраама, ножом мясника разрезающего горло Исааку и Иону, выскочившего из глотки гигантского карпа с выпученными глазами (модель для своего «кита» бесхитростный художник нашел в кастрюле) и очутившегося прямо у ворот своего замка, где его ждала семья.

Да, она помнила эти забавные картины, помнила, как часто размышляла, сможет ли тяжело раненный Исаак выжить, сможет ли простершая руки жена Ионы выдержать внезапное потрясение, увидев мужа, выскочившего из чрева «кита».

Там был и великолепный камин из обтесанного камня, а над ним, в искусном обрамлении из золоченого дуба, сверкало много щитов с гербами, но без шлемов, потому что они принадлежали разным высокородным настоятельницам.

Да, конечно, это была большая комната для гостей Блосхолмского монастыря, а так как теперь у монахинь бывало мало гостей, а комнат для их размещения было много, эта комната была отдана ей, наследнице сэра Джона Фотрела, в качестве классной. И там она лежала, думая, что опять стала ребенком, счастливым, беззаботным ребенком, или что, может быть, это ей снится, пока, наконец, не открылась дверь и не появилась мать Матильда, а следом за ней Эмлин с подносом, на котором стояла дымящаяся серебряная миска. Да, это была мать Матильда в черном монашеском платье и в белом платке, с серебряным распятием на груди, символом ее должности, и золотым кольцом с большим изумрудом, на котором было вырезано изображение святой Екатерины во время пытки на колесе. Это старинное кольцо с самого основания носила каждая настоятельница Блосхолма. Да и без того нельзя было не узнать мать Матильду; кто хоть раз ее видел, не мог забыть ласкового старческого благородного лица с красивыми губами, орлиным носом и живыми добрыми серыми глазами.

Сайсели попыталась подняться, чтоб поклониться, по обычаю детских лет, но тотчас поняла, что не в силах сделать это, и, увы, опять тяжело упала на подушку. После этого Эмлин, с грохотом поставив поднос на стол, подбежала к Сайсели и, обвив ее руками, начала по своему обыкновению бранить ее, хотя и очень мягким голосом; а мать Матильда, опустившись на колени у кровати, возблагодарила Иисуса и всех его благословенных святых, хотя сначала Сайсели не поняла, за что она, собственно, благодарит его.

— Разве я больна, преподобная мать? — спросила она.

— Теперь уж нет, дочь моя, но ты была очень больна, — ответила настоятельница приятным тихим голосом. — Теперь мы думаем, что бог вылечил тебя.

— Сколько времени я здесь? — спросила она.

Настоятельница начала вспоминать, пересчитывая свои четки, отбрасывая по зерну на день — ибо в таких местах времени не замечают, — но задолго до того, как она кончила, Эмлин быстро ответила:

— Вчера вечером исполнилось три недели, как сгорел Крануэл Тауэрс. Тогда Сайсели вспомнила и с горестным стоном отвернулась к стене, а настоятельница стала упрекать Эмлин, говоря, что она убила ее.

— Не думаю, — ответила няня тихим голосом. — Думаю, у нее есть то, что не даст ей умереть. — И этих слов настоятельница тогда не поняла.

Эмлин была права. Сайсели не умерла. Напротив, она стала здоровее телом, и ей стало лучше, хотя прошло много времени, прежде чем к ней вернулся рассудок. И действительно, она как привидение скользила по дому в своем черном траурном платье, ибо теперь она больше не сомневалась, что Кристофер умер и что она, всего неделю побыв женой, теперь овдовела так же, как и осиротела.

В этом бескрайнем отчаянии к ней вернулся покой; свет пролился на мрак ее души, как луна в полночь над истомленным морем. Она больше не была одна: убитый Кристофер оставил ей свой образ. Если она выживет, она родит ему ребенка, и поэтому она, конечно, должна жить. Однажды вечером, на коленях во время молитвы, она шепотом сообщила о своей тайне настоятельнице Матильде, отчего старая монахиня зарделась, как девочка, однако, помолившись про себя, положила тонкую руку ей на голову в знак благословения.

— Лорд аббат заявляет, что твой брак не был законным, дочь моя, хотя почему, я не понимаю, раз мужем стал тот, кого выбрало твое сердце и ты была обвенчана с ним рукоположенным в духовный сан священником перед алтарем господа и в присутствии прихожан.

— Мне все равно, что он говорит, — упрямо ответила Сайсели. — Если я незаконная жена, то, значит, никогда ни одна женщина не была законной.

— Дорогая дочь, — ответила мать Матильда, — не нам, неученым женщинам, оспаривать мудрость святого аббата, без сомнения вдохновленного свыше.

— Если он вдохновлен, то уж никак не свыше, мать. Разве бог и его святые повелели бы ему убить моего отца и моего мужа, чтобы захватить мое наследство или чтобы держать меня здесь в заключении — правда, не очень тяжком? Такое вдохновение свыше не приходит.

— Тише, тише! — сказала настоятельница, боязливо оглядываясь вокруг. — Горе лишило тебя рассудка. Кроме того, у тебя нет доказательств. В этом мире столько для нас непонятных вещей. Раз он аббат, то не может поступать неправильно, хотя нам его поступки и могут казаться несправедливыми. Но давай больше не будем говорить об этом; я ведь узнала обо всем лишь от злоязычной твоей Эмлин, не побоявшейся, как мне сказали, проклясть его самым страшным проклятием. Я же собиралась сказать тебе, что каким бы ни был закон, я считаю твой брак истинным и законным, а его последствия, если они будут, чистыми и неопороченными, и каждую ночь буду молиться, чтобы на будущего твоего отпрыска сошло самое щедрое небесное благословение.

— Благодарю вас, дорогая матушка, — ответила Сайсели, вставая и уходя.

Когда она ушла, настоятельница тоже встала и в беспокойстве начала расхаживать взад и вперед по трапезной, где происходил этот разговор. Ее терзали сомнения: если все это не клевета (но не могло же оно все быть клеветой), значит, аббат, которому она, англичанка, в глубине души всегда не доверяла, — этот смуглый ловкий испанский монах — был не святой, а гнусный негодяй? Но как же мог рукоположенный аббат оказаться негодяем? Должно быть какое-то объяснение, только она почему-то не в состоянии его найти.

Вскоре новость распространилась по монастырю, и если сестры любили Сайсели и до этого, то теперь они полюбили ее вдвойне. Сомнениям относительно законности ее брака они, как и настоятельница, не придавали никакого значения, потому что разве он не был совершен в церкви? Но то, что в их монастыре должен был родиться ребенок — ах! это было радостным событием, событием, не случавшимся здесь уже две сотни лет, когда — увы! (так говорили легенды и записи) — произошел ужасный скандал, о котором говорят только шепотом. Ибо — да будет это всем

известно! — их обитель (что бы там ни бывало в других) — одна из тех, о которых ничего худого сказать нельзя.

Одетые в черные платья, эти старые монахини все еще оставались такими же женщинами, как и их матери, выносившие их, и новость о ребенке взбудоражила их до глубины души. Между собой, в часы отдыха, они почти ни о чем другом не говорили, и даже их молитвы в большинстве своем были посвящены тому же самому. А бедная, слабоумная старая сестра Бриджет, на которую до сих пор смотрели сверху вниз, потому что она была единственная из семьи не благородного происхождения, теперь стала очень популярной. Потому что сестра Бриджет в молодости была замужем и родила двух детей; после того как она овдовела, они оба умерли от оспы, и ее лицо осталось изрытым той же болезнью; оттого ли, что у нее не было надежды на другого мужа, как утверждали ее соседи, или потому, что ее сердце было разбито, как говорила она, но она приняла пострижение.

Теперь она назначила себя главным помощником Сайсели и, хотя эта леди была совершенно здорова и крепка, преследовала ее своими советами и ядовитыми микстурами собственного изготовления, пока Эмлин, налетев на старуху Бриджет, как буря, не выставила ее из комнаты и не выбросила все лекарства через окно.

В том, что сестры так заинтересовались столь незначительным вопросом, в самом деле не было ничего удивительного; надо представить себе, что если они и до этого вели жизнь отшельниц, то, с тех пор как среди них появилась леди Сайсели, эта жизнь стала еще в десять раз более замкнутой. Вскоре они узнали, что она и ее служанка, Эмлин Стоуэр, фактически находились здесь в заключении, а это означало, что и они, ее хозяева, тоже были заключенными. Никому не разрешалось входить в монастырь, кроме молчаливого монаха, исповедовавшего их и служившего мессу, и по приказанию аббата, сестрам не разрешали выходить за пределы монастыря по какому бы то ни было поводу.

Так как единственным для них средством: общения с теми, кто жил за стенами обители, был угрюмый глухой садовник, назначенный на эту должность, чтобы шпионить за ними, до них доходило извне очень немного новостей. Они были почти что умершими для мира, который, хотя они этого и не знали, как раз тогда был занят вопросами, близко касающимися всех церковных учреждений, в том числе и их монастыря.

Наконец однажды, когда Сайсели и Эмлин сидели с саду под цветущим деревом боярышника, ибо теперь наступила теплая июньская погода, к ним вдруг торопливо подошла сестра Бриджет с известием, что

блосхолмский аббат желает их видеть. От этого Сайсели почувствовала себя худо, а Эмлин выругала Бриджет, спрашивая, не покинули ли ее остатки ума, если она считает это имя настолько приятным для ее хозяйки, что выкрикнула его ей прямо в уши.

Бедная старушка, не отличавшаяся умом и страшно боявшаяся Эмлин, после того как та выбросила в окно ее лекарства, начала всхлипывать, уверяя, что не хотела сделать ничего плохого. Но Сайсели очнувшись, успокоила ее и отослала обратно — передать лорду настоятелю, что сейчас она к нему явится.

— Ты боишься его, госпожа? — спросила Эмлин, когда они собрались идти.

— Побаиваюсь, няня. Он вел себя как человек, которого надо бояться, — не правда ли? Мой отец и мой муж попали в его сети, и разве он пощадит последнюю рыбу в своем пруду — очень тесном пруду? — И она взглянула на высокие стены вокруг нее. — Я боюсь, чтобы он нас с тобой не разлучил и удивляюсь, как он этого еще не сделал.

— Дело в том, что мой отец был испанцем, и от него я знаю вещи, которые могут погубить аббата вместе с его друзьями — папой и императором. Кроме того, он верит, что у меня дурной глаз, и боится моего проклятия. Все же когда-нибудь он может попытаться умертвить меня — кто знает? Но тогда я унесу с собой тайну драгоценностей, потому что это лишь моя тайна; даже не твоя — ведь, если бы ты ее знала, они бы вытянули ее из тебя. Он захочет сделать тебя монахиней, но ты отвергни это, только без резкости. Скажи, что ты подумаешь об этом после рождения ребенка. До тех пор он ничего не сможет сделать, а если последние новости матери Матильды верны, к тому времени, может быть, в Англии не будет больше монахинь.

В старый приемный зал, которым пользовались только когда приезжали гости или в других торжественных случаях, они вошли через боковую дверь совсем тихо и потому сразу же близко от себя увидели сидящего в кресле аббата; перед ним стояла настоятельница и отдавала отчет в своих расходах.

— Можете вы без него обходиться или нет, — услышали они его резкий голос, — но я должен получать ваш полугодовой доход. Времена сейчас плохие; нам, служителям бога, угрожает король-прелюбодей и его гордые министры, поклявшиеся ободрать нас до нитки и довести до голодной смерти. Я только что из Лондона и, хотя нашему врагу, Анне Болейн, отрубили ее капризную голову[43], говорю вам — опасность велика. Нужны деньги, чтобы поднять восстание, ибо без них вооружаться нельзя,

а из Испании поступают гроши. Я договорился продать земли Фотрелов за ту цену, какую дадут, но до сих пор не могу предъявить на них документы. Или эта упрямая девчонка должна дать расписку в передаче мне прав, или постричься, иначе, пока она жива, какой-нибудь юрист или родственник сможет опротестовать продажу. Но готова ли она дать первые обеты? Если нет, я буду считать, что в этом большая доля вашей вины.

— Нет, — ответила настоятельница, — на это есть причины. Вы уезжали и не слышали. — Она поколебалась и, нервно оглянувшись, увидела Сайсели и Эмлин, стоящих позади нее. — Что ты здесь делаешь, дочь моя? — спросила она с такой строгостью, какой еще никогда не проявляла.

— Право, не знаю, матушка, — ответила Сайсели. — Сестра Бриджет сказала нам, что лорд аббат желал нас видеть.

— Я же велела ей сказать, чтобы вы ждали его в моей комнате… — сказала настоятельница раздраженным голосом.

— Ну, — прервал аббат, — похоже, что ваша посланная просто дура; если это та изрытая оспой ведьма, то у нее не осталось мозгов уже много лет назад. Опекаемая Сайсели, здравствуй. После горестей, постигших тебя, о которых, с твоего разрешения, мы не будем говорить, потому что бесполезно тревожить подобные воспоминания, я надеялся, что ты сменишь свою мирскую одежду на лучшую, и очень жалею, что это не так. Но, перед тем как ты вошла, святая мать говорила о каком-то препятствии, стоящем между тобой и господом. Что это? Может, мой совет поможет тебе? Надеюсь, не эта женщина сбивает тебя с толку. — И он хмуро взглянул в сторону Эмлин, которая тотчас же спокойно ответила:

— Нет, милорд аббат, я не стою между ней и господом с его святыней; я защищаю ее от человека и его несправедливости. Все же, если желаете, могу сказать вам об этом препятствии — оно послано самим богом.

Тут старая настоятельница, покраснев до корней седых волос, наклонилась вперед и прошептала на ухо аббату слова, от которых он вскочил, как будто его ужалила оса.

— Порази его чума! Не может быть, — сказал он. — Что ж, если так, придется проглотить и эту пилюлю. Жаль, впрочем, что так случилось, — добавил он с усмешкой на смуглом лице. — Много лет прошло с тех пор, как в этих стенах родился внебрачный ребенок, а теперь дело обстоит так, что это может расшатать их и наделать вам бед…

— Я знаю, что такое потомство опасно, — прервала Эмлин, глядя Мэлдону прямо в глаза. — Мой отец говорил мне об одном молодом монахе в Испании, — я забыла его имя, — из-за которого некие дамы по

такому же поводу были подвергнуты пытке. Но кто смеет говорить о незаконности ребенка госпожи Сайсели Харфлит, вдовы сэра Кристофера Харфлита, убитого блосхолмским аббатом?

— Молчи, женщина! Где нет законного брака, там не может быть законного ребенка…

— Который смог бы получить законно унаследованное имущество. Скажите, милорд аббат, разве сэр Кристофер тоже сделал вас своим наследником?

Тогда, не дав ему ответить, Сайсели, молчавшая все это время, вдруг заговорила:

— Осыпайте меня какими вам угодно оскорблениями. Милорд аббат, вы отняли у меня отца, мужа, сердце вырвали мне из груди, отнимите у меня также и мое богатство, если сможете. Мне это все равно. Но не клевещите на моего ребенка, если он у меня родится, и не смейте затрагивать его права. Не думайте, что вы сможете сломить мать так же, как сломили девушку: перед вами окажется разъяренная волчица.

Он смотрел на нее да и все смотрели на нее, потому что в глазах Сайсели было что-то, заставившее их отвести взгляд. Клемент Мэлдон, знавший жизнь и понимавший, как волчицы могут бороться за своих волчат, прочел в них предостережение, принудившее его изменить тон.

— Ну, ну, ну, дочь моя, — сказал он, — какой смысл говорить попусту о ребенке, которого нет и, может, никогда не будет? Когда он родится, я его окрещу, и мы поговорим.

— Когда он родится, вы не коснетесь его и пальцем. Я бы предпочла, чтобы он лучше сошел в могилу некрещеным, чем отмеченным вашим кровавым крестом.

Он махнул рукой.

— Есть другой вопрос или скорее два, о которых я должен поговорить с тобой, дочь моя. Когда ты дашь свои первые обеты?

— Мы поговорим об этом после того, как родится мой ребенок. Это дитя греха, вы говорите, а я, неисправимая, безнравственная женщина, не готова для того, чтобы дать святой обет, и вы не можете меня к нему принудить, — ответила она с горькой насмешкой.

Опять он махнул рукой, потому что волчица показала зубы.

— Второй вопрос, — продолжал он, — заключается в том, что мне нужна ваша подпись под документом. Это всего лишь формальный документ, и я боюсь, вы не сможете его прочесть, как и я, по правде сказать. — И с какой-то лицемерной улыбкой он вытащил неразборчивый документ и развернул его перед ней на столе.

— Что? — засмеялась она, отшвыривая пергамент в сторону. — Вы забыли, что вчера я стала совершеннолетней и поэтому не нахожусь больше под вашей опекой, если даже когда-либо и была? Вам следовало продать мое наследство поскорее, потому что теперь ваши права стоят не больше, чем прошлогодние гнилые яблоки, а я ничего не подпишу. Будьте свидетелями, мать Матильда и ты, Эмлин Стоуэр, что я ничего не подписала и ничего не подпишу. Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма, я свободная совершеннолетняя женщина, даже если, как вы утверждаете, распутница. Какое вы имеете право заковывать в цепи распутницу, не являющуюся монахиней? Отоприте ворота и дайте мне уйти.

Теперь он почувствовал всю остроту ее волчьих клыков.

— Куда бы ты пошла? — спросил он.

— Прямо к королю, чтобы изложить перед ним мое дело, как собирался сделать мой отец в прошедшее рождество.

Речь эта была смелой, но безрассудной. Волчица не сдержалась и зарычала — зарычала на охотника с окровавленным мечом.

— Кажется, твой отец не добрался до короля со своим лживым доносом, не доберешься, пожалуй, и ты, Сайсели Фотрел. Времена сейчас жестокие, пахнет восстанием, в лесах и на дорогах бродит много отчаянных людей. Нет, нет, ради своей безопасности оставайся здесь, пока…

— Пока вы не умертвите меня. О! Это у вас на уме. Знайте, я просила у бога помощи, милорд аббат. И какой бы тяжкой ни была моя судьба, какой бы близкой ни представлялась мне смерть, я не боюсь вас — и я и мой ребенок, — ибо господь уже приготовил камень, который упадет на вашу голову. Этот камень похож на топор.

Тут старая настоятельница воздела руки к небу и открыла от ужаса рот, но аббат вскочил со своего места в ярости или, может быть, в страхе?

— Ты назвала себя распутницей, — воскликнул он, — но я назову тебя еще и ведьмой, и если ты заслуживала снисхождения, то теперь должна погибнуть в огне как ведьма. Мать Матильда, я приказываю вам, во имя данных вами обетов, хорошенько стеречь эту ведьму и докладывать мне о ее колдовстве. Не годится, чтобы подобная тварь ходила повсюду и причиняла зло невинным. Ведьма и распутница, уходи к себе!

Сайсели выслушала, потом без единого слова рассмеялась презрительным смехом и, повернувшись, вышла из комнаты, а следом за ней пошла настоятельница.

Но Эмлин не двинулась с места. Она осталась, и на ее смуглом красивом лице играла улыбка.

— Не повезло вам, хоть вы и бросали кости, налитые свинцом, — сказала она смело.

Аббат набросился на нее с ругательствами.

— Женщина, — сказал он, — если она ведьма, ты — демон-искуситель, и ты наверняка сгоришь, даже если она избежит этого. Именно ты научила ее вызывать дьявола.

— Тогда вам лучше оставить меня в живых, милорд аббат, чтобы я могла научить ее, как обуздать его. Нет, не угрожайте мне: ведь на дыбе я, чего доброго, заговорю, а птицы небесные разнесут повсюду то, что я расскажу. Его лицо побледнело; потом он вдруг спросил:

— Где драгоценности? Мне они нужны. Отдай мне драгоценности, и ты будешь свободна, и, возможно, твоя проклятая хозяйка тоже.

— Я сказала вам, — ответила она. — Сэр Джон взял их с собой в Лондон, и если они не были найдены на его теле, значит, он или выбросил их или Джефри Стоукс увез их туда, куда он уехал. Обшарьте болото, обыщите лес, найдите Джефри и спросите его.

— Ты лжешь, женщина! Когда ты и твоя хозяйка бежали из Шефтона, слуга видел у тебя в руках шкатулку.

— Правильно, милорд аббат, но драгоценностей уже там не было; там были только любовные письма моей хозяйки, а их она не хотела оставлять.

— Тогда где шкатулка и где эти письма?

— Нам не хватало топлива во время осады, и мы сожгли и то и другое. Когда у женщины есть муж, ей не нужны его письма. Уж вы, Мальдонадо, — многозначительно добавила она, — вы-то должны знать, что не всегда благоразумно хранить старые письма. Хотела бы я знать, что бы вы дали за кое-какие письма, которые я видела и которые не сожжены!

— Проклятое отродье сатаны, — прошипел аббат, — как смеешь ты издеваться надо мною? Когда Сайсели венчалась с Кристофером, она надела те самые жемчужины. Я слышал об этом от тех, кто видел ее с ожерельем на груди, с бесценными жемчужинами и ушах, похожими на розовые бутоны.

— Ого! Ого! — сказала Эмлин. — Значит, вы признаете, что она была обвенчана, а сами только что обозвали ее, чистую душу, распутницей! Ладно, милорд аббат, не будем больше кривить душой: да, на ней были драгоценности. Джефри ничего с собой не увез, кроме вашего смертного приговора.

— Тогда где же они? — спросил он, ударив кулаком по столу.

— Где? О, там, где вы их никогда не найдете, — взвились в небо, когда бушевал пожар. Боясь, чтобы нас не ограбили, я спрятала их за секретной

панелью в ее комнате, в надежде вернуться за ними позже. Идите выгребайте золу; вы, может быть, найдете один или два треснутых бриллианта, но не жемчужины: они в огне испаряются. Вот вам, наконец, правда, и много она принесет вам пользы.

Аббат застонал. Как большинство испанцев, он легко возбуждался и ничего не мог с этим поделать; вся горечь, скопившаяся у него в сердце, прорвалась наружу.

Эмлин потешалась над ним.

— Видите, как мудрым и могущественным мира сего случается самих себя перехитрить. Клемент Мальдонадо, я знаю вас около двадцати лет. Когда меня называли блосхолмской красавицей и старый аббат, ваш предшественник, взял меня под опеку церкви, вы находили для меня более нежные слова, чем те, которыми обзываете сегодня, хотя я-то всегда ненавидела вас — ведь вы затравили моего отца. Да, я следила за вашим возвышением и увижу ваше падение, и я знаю ваше сердце и все его желания. Деньги — вот чего вы домогаетесь и что хотите получить, иначе вам не добиться своей цели. Вам нужны были драгоценности, а не Шефтонские земли, которые теперь невысоко ценятся, а скоро совсем потеряют цену. Да, на одну из этих розовых жемчужин, если их продать евреям, можно закупить три прихода — и людей и дома. Ради этих драгоценностей вы послали на смерть одних, причинили горе другим, а свою собственную душу навеки погубили, хотя, если бы вы были благоразумны и посоветовались со мной, все эти драгоценности или по меньшей мере некоторые из них перешли бы к вам. Сэр Джон был не дурак. Он охотно расстался бы с одной или двумя жемчужинами, цены которых не знал, чтобы прекратить непримиримую вражду с церковью и отстоять права свои и своей дочери. А теперь, ослепленный безумием, вы сожгли их — сожгли драгоценности, которыми можно было бы заплатить выкуп за короля или, вернее, с помощью которых его можно было бы свергнуть. О! Если бы вы только об этом догадывались, вы бы отрубили руку, поднесшую факел к стенам Крануэл Тауэрса, потому что теперь вам не хватит золота, и все ваши грандиозные планы провалятся и погребут вас под собою, как вы хотели похоронить нас в Крануэле.

Аббат, терпеливо слушавший эту длинную и горькую речь, снова застонал.

— Ты умная женщина, — сказал он. — Мы понимаем друг друга, потому что мы одной крови. Ты знаешь, в чем дело; какой совет ты бы мне дала?

— Тот, которого вы не примете, будучи заранее обречены за свои

грехи. Все же вот он — мой искренний совет. Освободите леди Сайсели, верните ей земли, сознайтесь в ваших злодеяниях. Уезжайте из королевства, прежде чем Кромуэл отвернется от вас, а Генриху станет все известно, уезжайте, взяв с собой все золото, какое вы сможете собрать, подкупите императора Карла, чтобы он дал вам епархию[44] в Гренаде или еще где-нибудь, но не близ Севильи, по причинам, вам известным. Там вы будете жить в почете, и наступит день, немало времени спустя после вашей смерти, когда многое забудется, и вас, возможно, канонизируют, как святого Клемента Блосхолмского.

Аббат посмотрел на нее задумчиво.

— Если бы я искал только покоя в старости, твой совет мог бы мне пригодиться, но я играю по более высокой ставке…

— А проиграть можете свою голову, — прервала его Эмлин.

— Не совсем, женщина, потому что в любом случае эта голова выиграет игру. Если она останется у меня на плечах, то будет носить архиепископскую митру или шапку кардинала, а может быть, и еще более гордую тиару; если же она упадет с плеч, то — небесный венец мученика!

— Ваша голова? Ваша голова? — воскликнула Эмлин с презрительным смехом.

— Почему же нет? — ответил он угрюмо. — Тебе случилось узнать о некоторых ошибках моей юности, но в них я давным-давно раскаялся, и эти грехи отпущены мне полностью. — И он перекрестился. — Если бы это было не так, кто избежал бы адских мук?

Эмлин, стоявшая все это время, уселась, облокотившись на стол и положив подбородок на сложенные руки.

— Верно, — сказала она, глядя ему в глаза, — никто из нас не избежал бы их. Но, Клемент Мэлдон, как насчет грехов, в которых вы не покаялись и которые совершили уже в зрелом возрасте? Сэр Джон Фотрел, например, сэр Кристофер Харфлит, например, леди Сайсели, например; не говоря уже о черной измене и еще кое о чем.

— Даже если бы все эти обвинения были справедливы, что я отрицаю, это не грехи, — ведь все они вместе и каждый в отдельности совершены были мною не ради себя, а ради церкви, ради того, чтобы одолеть ее врагов, воздвигнуть вновь ее разрушающиеся стены, навеки укрепить ее в этом королевстве.

— И вознести вас, Клемент Мэлдон, на самый высокий шпиль ее храма, откуда сатана покажет вам все царства земные, клятвенно обещая, что они будут ваши.

Очевидно, аббат не обиделся на эту смелую речь; действительно,

искусно нарисованная Эмлин картина, казалось, понравилась ему. Он только мягко поправил ее, сказав:

— Не сатана, а господь — властитель сатаны. — С минуту он помолчал, оглядел комнату, чтобы убедиться, что двери закрыты и они одни, и продолжал: — Эмлин Стоуэр, ты умнее и мужественнее любой женщины из тех, кого я знал. Ты знаешь жизнь и ее тайны, почему суеверные дураки и называют тебя ведьмой, а я считаю пророчицей или ясновидящей. Это все у тебя в крови, я полагаю, — ведь твоя мать была из цыганского племени, а отец — высокородный испанский дворянин, очень образованный и умный, хотя и мерзкий еретик, поэтому ему и пришлось для спасения жизни бежать из Испании.

— Чтобы умереть в Англии при весьма странных обстоятельствах. Святая инквизиция терпелива, и у нее длинные руки. Если я верно припоминаю, именно это дело о ереси моего отца впервые привело вас в Блосхолм, где, после его гибели и публичного сожжения его книги, вы многого достигли.

— Ты всегда права, Эмлин, и потому нет необходимости напоминать тебе о том, что мы с ним были давнишними врагами в Испании; вот почему меня выбрали, чтобы выследить его, и почему тебе довелось узнать кое-что обо мне.

Она кивнула, и он продолжал:

— Достаточно об отце-еретике — теперь о матери-цыганке. Говорят, она сама наложила на себя руки, чтобы избежать казни.

— Нечего ходить вокруг да около, аббат, давайте, как старые друзья, говорить правду. Вы хотите сказать — она покончила с собой, чтобы не быть сожженной вами, как ведьма: ведь у нее имелись кое-какие несожженные письма, и она угрожала вам пустить их в ход, как и я.

— Зачем вспоминать все это, Эмлин? — сказал он мягко. — Она умерла, но перед смертью научила тебя всему, что знала. Конец истории немногословен. Ты влюбилась в сына старого йомена Болла или говорила, что влюбилась в него — долговязого глупого Томаса, который теперь брат-мирянин в аббатстве…

— Или говорила, что влюбилась, — повторила она. — Во всяком случае, он-то влюбился в меня и, может быть, я хотела, чтобы меня защищал честный человек, в те дни еще молодой и красивый. К тому же тогда он не был глуп. Это с ним сталось после того, как он попал к вам в руки. О! Довольно об этом, — продолжала она, подавляя готовый прорваться гнев. — Красивая дочь ведьмы была под опекой церкви, а вы вертели тогдашним аббатом, и он заставил меня выйти замуж за старого

Питера Стоуэра и стать его третьей женой. Я прокляла его, и он умер; я и предупредила его, что он умрет, а я родила ребенка, и он тоже умер. Тогда со всем, что у меня осталось, я нашла приют у сэра Джона Фотрела, которого всегда был мне другом, и стала кормилицей его дочери, единственного существа, если не считать еще одного человека, которое я люблю в этом большом и жестоком мире. Вот вся история; а теперь, что еще вы от меня хотите, Клемент Мальдонадо — злонамеренный человек.

— Эмлин, я хочу того, чего всегда хотел и в чем ты всегда мне отказывала, — твоей помощи, твоего соучастия. Я имею в виду соучастие твоего ума и знаний, которыми ты обладаешь, — ничего больше. В Крануэл Тауэрсе ты накликала на меня беду. Сними это проклятие, потому что, сказать по правде, оно тяжким грузом давит мне душу. Давай похороним прошлое, подадим друг другу руки и будем друзьями. Ты умеешь угадывать будущее. Помнишь, когда ты думала, что Сайсели умерла, ты сказала, что ее потомство все равно поднимется против меня, а теперь похоже на то, что так и будет.

— Что бы вы мне дали? — спросила Эмлин с любопытством.

— Я дам тебе богатство, я дам тебе то, что ты любишь еще больше, — власть, а также и высокое положение, если захочешь. Вся церковь прислушается к твоим словам. В этом королевстве да и во всем мире все твои желания будут удовлетворены. Я говорю правду; я даю в залог душу свою и честь тех, кому я служу, ибо мне дано такое право. Взамен я прошу от тебя твою мудрость; предсказывай мне будущее, указывай путь, каким я должен идти.

— Больше ничего?

— Еще две вещи: во-первых, ты должна найти для меня эти сожженные драгоценности, а с ними и старые несожженные письма; во-вторых, ребенок леди Сайсели не должен остаться в живых и сделать то, что ты мне предсказала. Ее жизнь я дарю тебе: одной монахиней больше или меньше — значения не имеет.

— Благородное предложение; и в данном случае я уверена, что вы заплатите обещанную цену, если останетесь живы. Но что, если я откажусь?

— Тогда, — ответил аббат, ударив кулаком по столу, — тогда смерть для вас обеих — умрете, как ведьмы, потому что я не позволю вам погубить меня. Помни: я здесь хозяин, а вы — пленницы. Очень немногие знают, что вы живете здесь, если не считать горсточки слабоумных женщин, боящихся даже слово вымолвить, — марионеток, которые танцуют, когда я дергаю за веревочку; и уж я прослежу, чтобы ни единая душа не приблизилась к этим

стенам. Выбирай же между смертью, со всеми ее ужасами, и жизнью, со всеми ее надеждами.

На столе стояла деревянная чаша с большим букетом роз. Эмлин придвинула ее к себе и, взяв розы, бросила их на пол. Потом она подождала, пока вода успокоится, и сказала:

— Трудная задача, но если у меня на самом деле есть колдовская сила, здесь я найду решение.

Он не отрываясь глядел на нее, как зачарованный; она же дунула на воду и долгое время смотрела на нее. Наконец подняла глаза и сказала:

— Смерть или жизнь — такой выбор вы предложили мне. Хорошо, Клемент Мальдонадо, от своего имени и от имени леди Сайсели и ее мужа сэра Кристофера и ребенка, который должен родиться, и во имя бога, властителя наших судеб, я выбираю смерть.

Наступило торжественное молчание. Потом аббат поднялся и сказал:

— Хорошо! Да падет это на твою голову.

Опять наступило молчание, и так как она не отвечала, он повернулся и направился к двери; она же продолжала смотреть в чашу.

— Хорошо, — повторила она, когда он положил руку на щеколду. — Я сказала вам, что выбрала смерть, но я не сказала, чью смерть я выбрала. Играйте вашу игру, милорд аббат, а я буду играть свою, помня, что бог назначает ставки. И я подтверждаю гневные слова, сказанные мною в Крануэле. Ждите беды, ибо теперь я знаю — она постигнет вас и всех, кто будет вместе с вами.

Потом, глядя ему вслед, она неожиданным резким движением опрокинула чашу на стол.

Глава VIII. Эмлин призывает своего человека

Одна за другой протекали для Сайсели и Эмлин недели их заключения, не принося им ни надежд, ни вестей. И действительно, хотя они не могли видеть нитей зловещей сети, в которой их держали, они чувствовали, как она стягивается все туже. В глазах матери Матильды, когда она смотрела на Сайсели, думая, что никто этого не замечает, отражались страх, жалость и любовь. Остальные монахини тоже боялись, хотя было ясно, что они сами не знали чего. Однажды вечером Эмлин, застав настоятельницу одну, засыпала ее вопросами: она спрашивала, что именно для них готовится и почему ее леди, свободную совершеннолетнюю женщину, удерживают здесь против ее воли.

На лице старой монахини появилось выражение замкнутости. Она ответила, что ничего особенного не знает, а насчет заключения — что ж, она должна подчиняться приказаниям своего духовного начальства.

— Тогда, — выпалила Эмлин, — знайте: вам же будет хуже. Говорю вам, что умрет моя леди или будет жить, найдутся люди, чтобы призвать вас к строгому ответу: да, найдутся люди, чтобы выслушать мольбы беспомощных. Мать Матильда, Англия уже не та, какой она была, когда вас еще девочкой похоронили в этих заплесневелых стенах. Где сказано, что бог позволяет свободную и ни в чем не повинную женщину держать в тюрьме, как преступницу? Отвечайте.

— Я не могу, — простонала мать Матильда, ломая свои тонкие руки. — Правды добиться трудно, здесь повсюду охрана; и, что бы я ни думала, я должна делать то, что мне приказано, чтобы не погибла моя душа.

— Ваша душа! Вы, затворницы, всегда думаете с своей жалкой душонке. Что вам до других людей и до их души! Значит, вы не поможете мне?

— Я не могу, не могу, ведь я и сама в оковах, — снова ответила она.

— Пусть будет так, мать Матильда; тогда я сама помогу себе; и когда я это сделаю, да поможет вам всем господь. — И, презрительно пожав широкими плечами, она вышла, оставив бедную старую настоятельницу чуть ли не в слезах.

Угрозы Эмлин были такими же смелыми, как и ее сердце, но могла ли она исполнить хотя бы десятую их долю? Конечно, право было на их

стороне, но, как известно заключенным во все времена, право — это не труба иерихонская и ему не сокрушить высоких стен. Да и Сайсели не могла помочь ей. Теперь, когда погиб ее муж, она была занята только одним — мыслями о своем будущем ребенке.

До всего остального ей, казалось, не было никакого дела. У нее не было друзей, с которыми она могла бы повидаться; она понимала, что имущество у нее отнято; значит, думала она, эта тихая обитель — самое подходящее место для рождения ребенка.

Когда он родится и она поправится, можно будет подумать о другом. А пока она ощущала бесконечную усталость и не понимала, зачем Эмлин напрасно говорит с ней о свободе. Если бы она была свободна, что бы она делала, куда бы пошла? Монахини были очень добры к ней; они любили ее так же, как и она их.

Так они беседовали, и Эмлин, слушая ее, не решалась сказать ей правду: что здесь можно опасаться за жизнь ребенка. Она боялась, что это известие, пожалуй, убьет и мать и дитя. Поэтому она перестала ее тревожить и решила рассчитывать только на себя.

Сначала она думала о побеге, но оставила эту мысль, потому что положение Сайсели не позволяло подвергнуть ее опасности. Да и куда им было идти? Тогда ей пришла в голову мысль об избавителе, но — увы! — кто может спасти их? Влиятельные люди в Лондоне, может быть, могли вмешаться в это дело как политическое, но к влиятельным людям трудно добиться даже свободному. Однако, если бы она была на свободе, то нашла бы способ заставить их выслушать ее, но она была пленницей, да и не могла в такое время покинуть свою госпожу. Что же тогда оставалось делать? Придумать для освобождения какую-нибудь хитрость.

Вероятно, это можно было бы сделать за деньги — ценой украшений Сайсели; потайное место, где они находились, знала только она одна, — и ими же откупиться от преследователей? Но Эмлин не собиралась делать ни того ни другого: она считала, что это не было выходом. Очутись они за этими стенами, их все равно не оставили бы в живых: слишком уж много они знали. Однако же здесь, в монастыре, ребенка Сайсели наверняка погубят — он ведь будет наследником всего имущества. Что же может вернуть им свободу и обеспечить безопасность?

Страх, пожалуй, тот самый страх, благодаря которому израильтяне избавились от рабства. О! Если бы только она могла найти Моисея, способного навлечь египетскую чуму на этого аббата-фараона — ту самую чуму, которой она ему угрожала. Но хотя она твердо верила, что чума поразит его (она сама удивлялась тому, что так верила в это), все же не

могла выполнить свое проклятие.

Оставался Томас Болл! Если бы она могла поговорить с верным Томасом Боллом, неистовым и хитрым человеком, которого все считали придурковатым!

Томас Болл заполнил все мысли Эмлин — Томас Болл, любивший ее всю жизнь, готовый погибнуть, чтобы услужить ей. Тщетно пыталась она как-нибудь снестись с ним. Старый садовник настолько глух, что не сможет или не захочет понять. Глупая Бриджет по ошибке отдала письмо, написанное ему, настоятельнице, которая, ничего не говоря, сожгла его у нее на глазах.

Монахов, приносивших в монастырь продукты, всегда принимали три сестры, поставленные для того, чтобы шпионить друг за другом и за ними, так что она не могла даже приблизиться к этим монахам. Священник, служивший мессу, был старым ее врагом; с ним она ничего не могла сделать, а больше никому не разрешалось подходить к монастырю; только раз или два появлялся сам аббат, который в течение нескольких часов разговаривал взаперти с настоятельницей, но с ней больше не говорил.

Почему, думала Эмлин, пространство меньше полумили между ней и Томасом Боллом непреодолимо? Если бы он стоял на расстоянии двадцати ярдов от нее, она могла бы заставить его уразуметь, что ей нужно. Почему же этого нельзя сделать, когда он находится на расстоянии пятисот ярдов?

Эта мысль овладела ею; естественные препятствия сводили ее с ума.

Она отказывалась считаться с ними. Все ночи напролет размышляла она, лежа в постели, пока Сайсели спокойно спала рядом с ней; ее сильная душа рвалась к душе ее давнишнего возлюбленного, Томаса Болла, приказывая ему слушать, подчиниться, прийти.

Сначала ничего не произошло. Потом через некоторое время у нее появилось смутное чувство, что ей ответили; хотя она не могла ни видеть, ни слышать Томаса, она как-то ощущала его близость. Потом однажды, в полдень, выглянув из верхнего слухового окна, она увидела, как за воротами происходит свалка, и услышала сердитые голоса. Томас Болл пытался силой пробить себе путь к двери, но его выталкивали люди аббата, всегда стоявшие там на страже.

Вечером она узнала правду от монахинь, не подозревавших, что она подслушивает их разговор. Оказалось, что Томас, показавшийся им не то сумасшедшим, не то пьяным, пытался ворваться в монастырь. Когда его спросили, чего он хочет, он сказал, что сам хорошенько не знает, но ему надо поговорить с Эмлин Стоуэр. Услышав это, она улыбнулась про себя, ибо теперь знала: он услышал ее и найдет какой-нибудь способ выполнить

ее волю и прийти.

Два дня спустя Томас действительно пришел, и вот каким способом.

Кончался сентябрьский вечер, наступали сумерки, а Эмлин, оставив Сайсели отдыхать на постели (теперь она зачастую ложилась ненадолго перед ужином), ушла в сад, чтобы подышать вечерней прохладой. Там она ходила до тех пор, пока сад ей не надоел, потом вошла через боковую дверь в старую часовню и уселась, чтобы поразмыслить, около алтаря, недалеко от раскрашенной деревянной статуи святой девы в человеческий рост, стоявшей против стены. На эту статую она часто смотрела, так как ей казалось странным, что она как бы наполовину вделана в кирпичную кладку. Глазные орбиты ее были пустыми, и наблюдательной Эмлин казалось, что в них когда-то были вделаны драгоценные камни, или же это был образ не богоматери, а скорее слепой святой Люции.

Пока Эмлин размышляла, сидя в одиночестве, потому что в такое время никто не заходил в часовню и она пустовала до утра, ей показалось, что она услышала по соседству со статуей странные звуки, словно там кто-то шевелился. Тут многие, но только не Эмлин, испугались бы и ушли, а она сидела, не двигаясь, и слушала. Не поворачивая головы, она стала наблюдать. Лучи заходящего солнца, проникавшие через западное окно, почти полностью освещали фигуру, и благодаря им она увидела — или ей показалось, — что глазные орбиты уже не пустые: в них были двигавшиеся и сверкавшие глаза.

Тут на мгновение стало страшно даже Эмлин. Потом ей пришло в голову, что, может быть, священник или одна из монахинь следили за ней из-за статуи, а это ее нисколько не беспокоило. Или, может быть, произошло одно из тех чудес, о которых она так много слышала, но никогда не переживала. А зачем ей бояться чудес или соглядатаев? Она будет сидеть на том же месте и посмотрит, что случится. Но долго ждать ей не пришлось, потому что вскоре голос, хриплый мужской голос прошептал:

— Эмлин! Эмлин Стоуэр!

— Да, — ответила она тоже шепотом. — Кто говорит?

— А кто, ты думаешь? — спросил голос с усмешкой. — Может быть, черт?

— Если черт дружественный, то, кажется, я не стану возражать; мне в этом уединенном месте скучновато. Появись, кто бы ты ни был, человек или дьявол, — ответила Эмлин решительно. Однако же она незаметно перекрестилась под плащом: в те времена народ верил, что черти являются людям, чтобы причинять им вред.

Статуя начала скрипеть, потом открылась, как дверь, хотя с большим

трудом, словно ее петли долго не двигались, как на самом деле и оказалось. Внутри, подобно трупу в поставленном вертикально гробу, появилась фигура, крупная сильная фигура, одетая в рваную монашескую рясу, увенчанная огромной головой с огненно-рыжими волосами и нависшими бровями, под которыми сверкали безумные серые глаза. Сердце Эмлин замерло, — сатана все же не подходящее общество для смертной женщины, — но затем словно подскочило в ее груди и потом стало биться ровно, как обычно. И она спокойно сказала:

— Что ты там делаешь, Томас Болл?

— Вот это я и хотел бы знать, Эмлин. Днем и ночью в течение долгих недель ты звала меня, и потому я пришел.

— Да, я звала тебя; но как ты пришел?

— Старой дорогой монахов. Они давно забыли о ней, но мой дед говорил мне про нее, когда я был мальчишкой, и, наконец, лиса показала мне, где она проходит. Это мрачная дорога; и когда я впервые попробовал по ней пойти, я думал, что задохнусь, но теперь воздух не такой уж плохой. Когда-то она доходила до аббатства и, может быть, и теперь доходит, но моя дверь и дверь госпожи лисы находится в рощице около стены парка, где никто не стал бы ее искать. Если ты хочешь лисенка, чтобы поиграть с ним, я могу принести его тебе. Или, может быть, ты хочешь чего-нибудь посущественнее? — добавил он, усмехаясь.

— Да, Томас, я хочу гораздо большего. Слушай, — горячо воскликнула она, — сделаешь ли ты то, что я тебе скажу?

— Там видно будет, миссис Эмлин. Ведь я всю свою жизнь исполнял твои приказания и не получал награды.

Она прошла через алтарь и уселась против него, почти совсем прикрыв дверь и разговаривая с ним сквозь щель.

— Если ты не получил награды, Томас, — сказала она мягко, — то кто виноват в этом? Кажется, не я. Я любила тебя, когда мы были молоды, — не правда ли? Я бы отдалась тебе душой и телом — ведь так? Но кто встал между нами и погубил нашу жизнь?

— Монахи, — простонал Томас, — проклятые монахи, выдавшие тебя замуж за Стоуэра, потому что он заплатил им.

— Да, проклятые монахи. А теперь твоя молодость прошла, и любовь — любовь молодости — уже позади нас. Я была женой другого человека, Томас, а могла быть твоей. Подумай об этом: твоей любящей женой, матерью твоих детей. А тебя — тебя они покорили и превратили в слугу, в пастуха, использовали твою силу, сделали тебя носильщиком, полоумным, как они тебя называют; однако они считают, что тебе все-таки можно

давать поручения, потому что ты умеешь держать язык за зубами; они сделали тебя вьючным мулом аббатства, не смеющим брыкаться, батраком на твоей же собственной, захваченной ими земле — тебя, чей отец был свободный йомен. Вот что они сделали с тобой, Томас, а со мной, находившейся под опекой церкви… Ну хватит, мне не хочется говорить об этом. Скажи, как бы ты отплатил им, если бы дать тебе волю?

— Как бы я отплатил? Как бы отплатил? — задохнулся Томас, доведенный до бешенства рассказом о всех причиненных ему обидах. — Ну, если бы я осмелился, я бы перерезал каждому из них глотку и выпотрошил их, как оленей, — и он заскрипел своими белыми зубами. — Но я боюсь. Они владеют моей душой, и каждый месяц я должен исповедоваться. Ты помнишь, Эмлин, я предупредил тебя, когда ты и твоя леди собрались ехать в Лондон перед осадой. Ну, потом — я должен был покаяться в этом — аббат сам выслушал мою исповедь. Мучительную наложил он на меня епитимью![45] Я еще не закончил ее, а у меня уже ребра проступили сквозь кожу, спина же стала похожа на корзину из красных ивовых прутьев. Только об одном я им не рассказал — ведь это, в конце концов, не грех, — о том, что отвернул саван и поглядел на труп.

— Ах! — сказала Эмлин, глядя на него. — Тебе нельзя доверять. Ну, я так и думала. Прощай, Томас Болл, трус. Я найду себе другого друга, настоящего мужчину, а не хнычущую, загнанную монахами гончую, ставящую непонятное для него латинское благословение выше своей чести. Господи боже! Подумать только, что я когда-то любила подобного человека! О! Мне стыдно! Мне стыдно! Пойду вымою руки. Закрой свою ловушку и убирайся прочь по крысиной тропе, Томас Болл, и живым или мертвым никогда не осмеливайся заговаривать со мной. Не забудь также рассказать своим монахам, как я призывала тебя к себе — потому что это колдовство, ты сам знаешь, — и меня сожгут, зато спасешь свою душу. Господи боже! Подумать только, что ты был когда-то Томасом Боллом! — И она сделала вид, что собирается уходить.

Он протянул свою ручищу и поймал ее за платье.

— Что же ты прикажешь мне, Эмлин? Я не могу переносить твоего презрения. Сними его с меня, или я убью себя.

— Самое лучшее, что ты можешь сделать, И дьявол будет тебе лучшим хозяином, чем чужеземный аббат. Прощай навсегда.

— Нет, нет; скажи — чего ты хочешь? Пусть погибает моя душа, я сделаю все.

— Сделаешь? Правда, сделаешь? Если так подожди минуту! — она побежала на другой конец часовни, закрыла двери, потом, вернувшись к

нему, сказала: — Теперь подойди, Томас, и, раз ты снова мужчина, поцелуй меня, как ты обычно делал более двадцати лет тому назад. Ты не будешь исповедоваться в этом, не правда ли? Ну, вот. Теперь встань на колени перед алтарем и дай клятву. Нет, выслушай сначала, потому что это великая клятва.

Эмлин сказала ему, в чем он должен поклясться. Это была действительно великая и ужасная клятва. Принеся ее, он должен был стать рабом Эмлин, объединиться с ней в борьбе против монахов Блосхолма и в особенности против аббата Клемента Мэлдона, в отплату за все обиды, нанесенные им обоим; в отплату за убийство сэра Джона Фотрела и сэра Кристофера Харфлита; за то, что он обокрал и держит в тюрьме Сайсели Харфлит, дочь первого и жену второго. Связав себя клятвой, он должен был делать все, что она ему прикажет.

Он должен был поклясться, что ни во время исповеди, если бы до этого дошло дело, ни на ложе пыток или на эшафоте он не скажет ни слова об их тайном сговоре. Он должен был просить у бога, чтобы, в случае, если он изменит этой клятве, душа его обречена была бы на вечные муки; и он должен был призвать небо в свидетели всех данных им обещаний.

— Теперь, — сказала Эмлин, произнеся все слова этой ужасной клятвы, — будешь ли ты мужчиной, поклянешься ли и тем самым отомстишь за мертвых и спасешь невинных от смерти? Или ты, знающий мою тайну, будешь по-прежнему пресмыкаться перед настоятелем и, вернувшись в Блосхолмское аббатство, предашь меня?

С минуту он подумал, почесывая свою рыжую голову, ибо клятва страшила его, что, впрочем, было понятно. В его душе, где он все это взвешивал, чашки весов стояли вровень, и Эмлин не знала, какая из них перетянет. И тут она употребила всю свою женскую силу: положив руку на его плечо, она наклонилась вперед и прошептала ему на ухо:

— Ты помнишь, Томас, как в первый раз мы признались друг другу в нашей юной любви? Это было в весенний день в рощице у ручья, когда у наших ног цвели душистые нарциссы — нарциссы и дикие лилии. Помнишь, как мы поклялись друг другу всей жизнью, да, настоящей и будущей жизнью, и для нас обоих земля превратилась в рай? А потом, ты помнишь, как мимо нас прошел монах — это был Клемент Мэлдон, — и он оледенил нас взглядом своих жестоких глаз и сказал: «Что ты делаешь с дочерью ведьмы? Она тебе не пара». И тогда… О Томас, я больше не могу. — И она разрыдалась, а потом добавила: — Не клянись ни в чем, уходи и предай меня, если хочешь. Я не буду питать к тебе злобы, даже если ты предашь меня на смерть, ибо как можно было надеяться, что ты после

двадцати лет монашества останешься мужчиной? Уходи, скорее уходи, пока нас не застали вместе и твоя добрая слава ничем не опорочена. Уходи, не медли и предоставь меня и мою леди и ее еще не родившегося ребенка той участи, которую нам готовит Мэлдон. Забудь рощицу у реки! Забудь увядшие лилии!

Томас слушал; большие синие жилы выступали у него на лбу, его широкая грудь вздымалась, слова застряли в горле. Затем они полились обильным потоком.

— Я не уйду, дорогая; я поклянусь в чем хочешь, твоими глазами и твоими губами, цветами, по которым мы шли, всеми прошедшими годами жгучих страданий, горя и позора, богом, восседающим на небесном престоле, и дьяволом в адском огне. Пойдем, пойдем! — он побежал к алтарю и схватил стоявшее там распятие. — Произнеси снова эти слова или любые другие, и я повторю их и дам клятву, и пусть огненные черви заживо грызут меня во вехи веков, если я нарушу хоть одно ее слово. — В темных глазах Эмлин вспыхнул огонек торжества, она наклонилась над коленопреклоненным мужчиной и в сгустившемся мраке зашептала-зашептала, а он шепотом же повторял ее слова и в подтверждение целовал распятие.

Когда все было кончено, они отошли от алтаря обратно к раскрашенной статуе.

— Значит, ты все же мужчина, — сказала она с громким смехом. — Теперь слушай, мужчина — мой мужчина: если мы переживем все это и ты тогда пожелаешь, я стану твоей женой, да, твоей женой — это будет моей платой тебе и моей гордостью; слушай же мои приказания. Видишь, я Моисей, а там в аббатстве сидит фараон с очерствевшим сердцем, а ты ангел, ангел разрушения, держащий меч чумы египетской. Вечером в аббатстве будет пожар — такой же пожар, какой был в Крануэл Тауэрсе. Нет, нет, я знаю: церковь не сгорит и каменные строения тоже. Но дортуары, и кладовые, и стога сена, и коровьи хлева — они здорово запылают после такой засухи, а если телеги превратятся в золу, то на чем они привезут свой урожай? Сделаешь ли ты это, мой мужчина?

— Конечно. Разве я не поклялся?

— Тогда за работу, а потом — завтра или на следующий день — возвращайся с докладом. Теперь меня часто будут привлекать одиночество и молитва; поэтому жди, пока опять не увидишь меня здесь одну, стоящую на коленях у алтаря. Стой! Оденься в саван, чтобы тебя сочли за призрак, если увидят, — они ведь считают, что в часовне появляются призраки. Не сомневайся, к тому времени я найду тебе немало работы. Ты меня понял?

Он кивнул головой.

— Все, все понял, особенно твое обещание. О! Теперь-то я не умру; я буду жить для того, чтобы потребовать его исполнения.

— Хорошо. Получай в счет будущего. — И она снова поцеловала его. — Иди.

Он шатался, опьяненный радостью; потом сказал:

— Еще одно слово: у меня кружится голова, я забыл тебе сказать. Сэр Кристофер жив или же был жив…

— Что ты хочешь сказать? — произнесла она свистящим шепотом. — Именем Христа, торопись: я слышу снаружи голоса!

— Вместо Кристофера они похоронили другого человека. Я разрезал полотно и посмотрел. Кристофера отправили за границу, тяжело раненного, на корабле — черт возьми, я забыл его название, — на том же корабле, на котором уехал Джефри Стоукс.

— Благослови тебя господь за эти вести! — воскликнула Эмлин странным, тихим голосом. — Уходи, кто-то подходит к двери!

Деревянная фигура со скрипом захлопнулась и теперь смотрела на нее так же спокойно, как смотрела уже в течение ряда поколений. С минуту Эмлин стояла неподвижно, держась рукой за сердце. Потом она быстро пошла через часовню, открыла дверь и на крыльце встретила входящую мать Матильду, другую монахиню и старуху Бриджет, шептавшихся между собой.

— О! Это вы, миссис Стоуэр, — сказала мать Матильда с явным облегчением. — Сестра Бриджет клялась, что слышала в часовне мужской голос, когда приходила на закате солнца закрывать ставни.

— Неужели? — равнодушно ответила Эмлин. — Тогда ей повезло больше, чем мне: я ведь стосковалась по звукам мужского голоса в доме, где болтают одни женщины. Не возмущайтесь, матушка, я не монахиня, и господь сотворил для этого мира не одних только женщин, иначе нас с вами здесь бы не было. Но раз уж вы заговорили об этом, значит, в часовне и вправду происходит что-то странное. Не всякий решился бы оставаться здесь в одиночестве: дважды во время молитвы я слышала странные звуки, а однажды, когда не было солнца, на меня упала какая-то холодная тень. Наверно, призрак того мертвеца, о котором столько врали. Ну, я-то никогда не боялась привидений. А теперь мне надо идти и взять ужин для моей леди — сегодня вечером она будет ужинать в своей комнате.

Когда она ушла, настоятельница покачала головой и, как обычно, ласково сказала:

— Странная женщина и резкая, но, сестры мои, мы не должны ее

строго судить, ведь она из чуждого нам мира и, боюсь, пережила много горя, от которого мы защищены нашими священными обетами.

— Да, — ответила сестра, — но я думаю, что она видела призрак, появляющийся в этой часовне, многие утверждают, что он являлся им, и я сама видела его однажды, еще когда была послушницей. Настоятельница Матильда, я имею в виду четвертую, ту, что якшалась с монахом Эдуардом Хромым и внезапно умерла после…

— Тише, сестра; не будем злословить о покойнице, покинувшей землю около двухсот лет назад. Даже если ее неспокойный дух все еще приходит сюда, как говорят многие, я не понимаю, почему бы он стал говорить мужским голосом.

— Возможно, то был голос монаха Эдуарда, — ответила сестра. — Видно, он все еще не оставляет ее в покое, как и при жизни, если легенда говорит правду. Миссис Эмлин сказала, что ей призраки нипочем, и я вполне этому верю, она ведь дочь ведьмы, и взгляд у нее какой-то странный. Вы видели у кого-нибудь такие смелые глаза, матушка? Как бы то ни было, я терпеть не могу привидений и лучше месяц проведу на хлебе и на воде, чем останусь одна в этой часовне, на закате или после заката солнца. У меня мурашки бегут по спине, когда я думаю об этом; говорят, что некрещеное дитя тоже тут бродит и что-то невнятно лепечет около купели, надеясь получить святое крещение — ух! — И она содрогнулась.

— Довольно, сестра, довольно нечестивых речей! — сказала опять мать Матильда. — Будем думать о святых вещах, чтобы враг рода человеческого не мог к нам подойти.

Но в ту же ночь, около часу, враг этот очень близко подошел к Блосхолму, явившись к облике пожара. Внезапно монахини были подняты с постелей отчаянным набатом. Подбежав к окнам, они увидели огромные языки пламени, плясавшие на крышах аббатства. Они раскрыли оконные створки и в ужасе смотрели на пожар. Сестру Бриджет даже послали разбудить глухого садовника и его жену, живших около ворот, чтобы они пошли и узнали, в чем дело, почему слышатся крики и не напало ли на Блосхолм какое-нибудь войско.

Прошло много времени, прежде чем Бриджет вернулась; путаный рассказ слабоумной, переданный со слов глухого садовника, понять было нелегко. Крики доносились по-прежнему, и пожар в аббатстве разгорался все яростнее. Монахини уже думали, что наступил их последний час; они опустились на колени у открытых окон и принялись молиться.

Как раз в эту минуту среди них появились Сайсели и Эмлин и стали смотреть на великое пожарище.

Вдруг Сайсели повернулась и, устремив большие голубые глаза на Эмлин, сказала громко, так что услышали все.

— Аббатство горит. Ой, няня, мне рассказывали, будто там, среди развалин Крануэла Тауэрса, ты говорила, что это так будет! Ты, конечно, пророчица.

— Огонь призывает огонь, — ответила Эмлин угрюмо, а стоявшие тут же монахини подозрительно посмотрели на нее.

Пожар был ужасен; он, казалось, начался в дортуарах, даже на расстоянии были видны полуодетые монахи, спасавшиеся через окна: некоторые — с помощью связанных постельных принадлежностей, некоторые — выпрыгивая из окон, несмотря на высоту.

Вскоре крыша здания провалилась и град горящих углей посыпался на соломенные крыши хлевов и сараев, на сметанные стога, на постройки гумна; так пламя перекинулось и на них, и еще до рассвета все сгорело.

Одна за другой монахини, наблюдавшие пожар из монастыря, устав от горестного зрелища и в страхе бормоча молитвы, отправились спать. Но Эмлин продолжала сидеть у открытого окна, пока край чудесного сентябрьского солнца не показался над холмами. Так сидела она, подпирая голову рукой, и ее строгое лицо было неподвижно, как у статуи. Только в темных глазах, отражавших языки пламени, казалось, мелькала жестокая радость.

— Томас хорошее оружие, — наконец пробормотала она про себя, — славно нанес первый удар. И это еще цветочки. Подожди, Клемент Мальдонадо, ты запросишь пощады у Эмлин.

Глава IX . Блосхолмское колдовство

В тот же день в полдень аббат снова явился в монастырь и послал за Сайсели и Эмлин. Они застали его одного в приемной; лицо у него было встревоженное, и он шагал взад и вперед по комнате.

— Сайсели Фотрел, — сказал он без всякого приветствия, — когда мы в последний раз виделись, ты отказалась подписать принесенный мною документ. Это ничего не значит, потому что тот покупатель уехал по своему делу.

— Сказав, что его не удовлетворяют доказательства ваших прав? — спросила Сайсели.

— Да! Но кто научил тебя рассуждать о правах и о тонкостях закона? Впрочем, зачем спрашивать?… — И он бросил сверкающий взор в сторону Эмлин. — Ладно, бог с ним сейчас… У меня с собой документ, который ты должна подписать. Прочти его, если хочешь. Он тебе ущерба не причинит — это всего лишь предписание арендаторам земель, принадлежавших твоему отцу, уплатить мне как лицу, осуществляющему опеку.

— Значит, они отказываются, видя, что вы все захватили, милорд аббат?

— Да, кто-то их подстрекает, и эти упрямые скоты не хотят платить без указания, подписанного твоей рукой и скрепленного печатью. На фермах, обрабатывавшихся твоим отцом, я собрал урожай, но вчера вечером при пожаре сгорело все до последнего зернышка, до последней шерстинки.

— В таком случае я прошу вас все это точно учесть, милорд, чтобы я могла получить от вас должное возмещение, когда мы начнем сводить счеты: я ведь никогда не разрешала вам стричь моих овец и собирать мой хлеб.

— Тебе нравится дерзить мне, девчонка, — ответил он, кусая губы. — У меня нет времени для перебранки. Подписывай, а ты будь свидетельницей, Эмлин Стоуэр.

Сайсели взяла документ, взглянула на него, потом медленно разорвала его на четыре части и бросила их на пол.

— Грабьте меня и моего еще не рожденного ребенка, если хотите и можете, но я, во всяком случае, не буду соучастницей вора, — сказала она спокойно. — Если вам нужна подпись, можете подделать ее, потому что я ничего не подпишу.

На лице аббата отразилась вся его злость.

— А ты забыла, несчастная, — спросил он, — что здесь ты в моей власти? Известно тебе, что таких непокорных грешников запирают в мрачную темницу и налагают на них покаяние — дают только хлеб и воду и хлещут прутьями? Исполнишь ты мое приказание или подвергнешь себя всему этому?

Красивое лицо Сайсели вспыхнуло, и на минуту ее голубые глаза наполнились слезами стыда и ужаса. Затем они снова прояснились; она смело взглянула на него и ответила:

— Я знаю, что убийца может быть также и мучителем. Тому, кто погубил отца, ничего не стоит подвергнуть истязаниям дочь. Но я знаю также, что существует бог, защищающий невинных, хотя иногда он не сразу протягивает им руку помощи, и к нему я обращаюсь, милорд аббат. И я знаю, что принадлежу к роду Фотрелов и Карфаксов, и что ни одна женщина и ни один мужчина моей крови никогда еще не покорялись страху и страданию. Я ничего не подпишу. — И, повернувшись, она вышла из комнаты.

Аббат и Эмлин остались одни. Прежде чем она смогла заговорить, потому что у нее от ярости не поворачивался язык, он начал бранить и проклинать ее и угрожать ей и ее хозяйке ужаснейшими пытками, какие только мог вообразить испанский инквизитор. Наконец он остановился, чтобы передохнуть, и она перебила ого:

— Молчите, злодей, чтобы крыша над вами не обрушилась; я уверена, что каждое ваше жестокое слово превратится в змею, которая вас ужалит. Разве то, что случилось вчера ночью, не является для вас предостережением или вам нужны другие уроки?

— Ого! — ответил он. — Значит, ты знаешь об этом, не правда ли? Я так и думал — всему виной твое колдовство.

— Как я могла не знать об этом, когда все небо полыхало? Жирным монахам Блосхолма зимой придется потуже затянуть пояса. Присвоенные земли как будто не приносят счастья, и кровь Джона Фотрела превратилась в огонь. Берегитесь, говорю я, берегитесь! Нет, я больше не хочу слушать ваших безумных речей. Только троньте хоть пальцем эту несчастную леди, если посмеете, и вы поплатитесь за все! — И она тоже повернулась и ушла.

Прежде чем уйти из монастыря, аббат переговорил с матерью Матильдой. — Сайсели, ради спасения ее души, надо заставить вести себя как следует, — сказал он. — Сначала лаской, потом суровостью и даже, если придется, бичеванием. Также ради спасения ее души, нельзя подпускать к ней служанку Эмлин, так как, без сомнения, Эмлин опасная ведьма.

А когда наступит время родов, аббат пришлет подходящую женщину ухаживать за нею, женщину, опытную в таких делах, ради спасения жизни матери и жизни ее ребенка. Теперь, когда на них свалилось это страшное несчастье — пожар в аббатстве, нанесший им такие ужасные убытки, не говоря даже о смерти двух слуг и о других людях, обожженных и искалеченных, — у него нет времени распространяться о подобных мелочах, но он надеется, что она его поняла.

И тут-то мягкая и кроткая мать Матильда до глубины души огорчила и удивила аббата, своего духовного начальника.

Она решительно ничего не поняла. Предложенные им меры воздействия, какими бы ни были недостатки и слабости леди Сайсели, энергично заявила настоятельница, не могут быть к ней применены: по ее мнению, Сайсели уже и так много выстрадала за пустяки, а теперь еще ждет ребенка; потому с нею надо обращаться как можно бережнее. Что касается ее, то в этом деле она умывает руки и скорее обратится к генеральному викарию в Лондоне, который, насколько ей известно, рассматривает такие дела, чем подчинится подобным приказаниям. Или, на худой конец, она выпустит леди Харфлит и ее служанку за ворота и призовет милосердных людей оказать им помощь. Тем не менее, если его милость захочет прислать искусную женщину, чтобы ухаживать за Сайсели в ее положении, она не будет возражать при условии, что эта женщина пользуется доброй славой. Но, как бы то ни было, в данных обстоятельствах с ней бесполезно говорить о хлебе и воде, и мрачной темнице, и бичевании. Ничего подобного не произойдет, пока она является настоятельницей. Прежде чем кто-либо на это решится, она и сестры уйдут из монастыря и призовут королевский двор решать это дело.

Теперь аббат оказался в положении сторожевого пса, который привык пугать и мучить какую-нибудь овечку, а затем вдруг, после того как она отъягнилась, столкнулся с совершенно другим существом; овечка уже не боится, не бежит, но, обретя силу барана, отталкивает его, борется, прыгает, бьет головой и копытами. Может ли пес справиться с неистовой, неожиданно прорвавшейся яростью овцы, казалось рожденной для того, чтобы быть им растерзанной? Что ему остается делать, как не бежать в полном смятении, задыхаясь, в свою конуру? То же самое было с аббатом, когда мать Матильда яростно обрушилась на него в защиту своего ягненка — Сайсели. С Эмлин он мог сцепиться зубами — но мать Матильда!… Его собственная прирученная добыча! Это было уж слишком! Он мог только уйти, проклиная всех женщин и их вечные прихоти, из-за которых мужчины никогда не знают, чего от них ждать.

Во всяком случае, из всех людей на земле меньше всего можно было ожидать чего-либо подобного от матери Матильды.

Так и получилось, что в монастыре, несмотря на все эти страшные угрозы, все шло по-прежнему. Такие уж наступили времена, что даже всемогущий лорд аббат, имевший «право виселицы», не мог довести дело до крайности. Сайсели не заперли в темницу на хлеб и воду и, тем более, не бичевали. Не разлучили ее и с няней Эмлин. Правда, настоятельница отчитала Сайсели за сопротивление установленным властям, однако, выговорившись до конца, она поцеловала ее, благословила и назвала «своей милой девочкой, своей голубкой и своей радостью».

Но если все было по-прежнему в обители, то в аббатстве все постоянно менялось и царило крайнее возбуждение. Не прошло и трех дней после пожара, как целое стадо в восемьсот овец ринулось на Красный утес и свалилось с него, а все пастухи тех мест знают, что там — отвесный обрыв высотой в сорок футов. Никогда еще баранина не была такой дешевой в Блосхолме и в его окрестностях, как наутро после той ночи, и каждый батрак на десять миль в окружности мог приобрести зимний тулуп, потратив только время на то, чтобы содрать шкуру с мертвой овцы. Кроме того, пастухи клялись, что они видели как сам дьявол с рогами и копытами верхом на осле гнал этих овец.

Потом стал являться призрак сэра Джона Фотрела, одетый в доспехи, иногда верхом, иногда пеший, но всегда ночью. Сначала этот ужасный дух был замечен в садах Шефтон Холла, где он встретил назначенного аббатом сторожа (ведь теперь дом был заперт), когда тот шел ставить силки для кроликов. Сторож был уже в преклонном возрасте, однако немногие лошади могли бы покрыть расстояние между Шефтоном и Блосхолмским аббатством так быстро, как он это сделал в ту ночь. С тех пор ни он, ни кто другой не соглашались сторожить Шефтон, ставший жилищем привидения, которое, как все могли видеть, иногда горело в окнах, словно свеча. Более того, вышеупомянутый призрак бродил по всей округе; в темные и бурные ночи он стучался в двери тех, кто при его жизни брал у него в аренду землю, и загробным голосом вещал, что он был убит блосхолмским аббатом и его присными и что аббат держит его дочь в заточении. При этом, угрожая ужасной местью, призрак требовал от всех людей, чтобы они привлекли аббата к ответу, не присягали и не платили ему аренды.

Призрак нагнал на всех такой ужас, что проворного Томаса Болла послали выследить, что же это, собственно, такое. Томас вернулся и объявил, что он видел его, что призрак назвал его по имени, но что он, будучи храбрым малым и не сомневаясь, что имеет дело с человеком,

выстрелил в него из лука. Однако стрела прошла насквозь через его тело, призрак же рассмеялся и сразу исчез. В доказательство этому Томас привел аббата и его монахов на то самое место и показал им, где стоял он и где стоял призрак, показал и стрелу, глубоко вонзившуюся в стоявшее неподалеку дерево, точно опаленную огнем, потому что все перья на ней странным образом обгорели. Потом, дабы рассеять страхи и во избежание соблазна, аббат в полном облачении наложил торжественное заклятие на то место, где, по словам Томаса Болла, прошел призрак.

После того как на духа было наложено такое строгое заклятие (вроде как на первый камень фундамента), аббат и его монахи возвращались домой лесом, но по дороге ужасный голос, принадлежавший, как все признали, сэру Джону Фотрелу, произнес из чащи, в полной темноте, так как уже наступила ночь, следующие слова:

— Клемент Мальдонадо, аббат Блосхолма, я, убитый тобою, призываю тебя встретиться со мной не позже чем через год перед престолом господним.

Тут все обратились в бегство. Бежал и аббат — впрочем, он утверждал, что его понесла лошадь; отставший от них Томас Болл, как выяснилось, перегнал их всех и вернулся домой первым, потому что по дороге читал «Ave».

После этого призрака сэра Джона больше не видели, хотя вся округа искала его. Без сомнения, призрак сделал свое дело, хотя аббат объяснял это иначе. Однако стали твориться другие дела — еще, пожалуй, похуже.

Однажды в лунную ночь среди коров поднялось страшное смятение; они мычали и носились по полю, куда их пригнали после дойки. Думая, что к ним забежали собаки, пастух и сторож — теперь после захода солнца никто в Блосхолме не соглашался выходить один — пошли посмотреть, что случилось, и вскоре повалились наземь полумертвые от страха. Они увидели, что там, прислонившись к воротам и смеясь, стоял сам мерзкий дьявол — черт с рогами и хвостом и с чем-то похожим на вилы в руках.

Сами не зная как, добрались они до дому, но только после этой ночи коров этих никто доить не мог; мало того, некоторые коровы преждевременно отелились и стали такими буйными, что их пришлось зарезать.

Потом пошли слухи, что даже в монастыре, и особенно в часовне, стали являться призраки. Оттуда слышались голоса, и Эмлин Стоуэр, молившаяся там, вышла из часовни, клянясь, что она видела, как огненный шар катался вдоль и поперек бокового крыла; человеческая голова в центре этого шара пыталась заговорить с ней, но не могла.

Это дело расследовал сам аббат, спросив Эмлин, узнала ли она лицо, находившееся в огненном шаре. Она ответила, что, кажется, узнала. Оно показалось ей очень похожим на лицо одного человека из собственной охраны аббата, по имени Эндрью Вудс и по прозванью пьяница Эндрью — шотландца, убитого, как говорят, сэром Кристофером Харфлитом в ночь великого пожарища. Но, очевидно, после смерти Эндрью очень изменился, поэтому она и не совсем уверена, что то был он. Одно только ей стало ясно: он несомненно пытался сообщить ей что-то.

Вспомнив о том, что было проделано с телом вышеупомянутого Эндрью, аббат замолчал. Он лишь многозначительно спросил Эмлин, как могло случиться, что, видя такие ужасы, она не боится бывать в часовне одна: ему сообщили, что она часто туда ходит. Эмлин же со смехом ответила, что боится людей, а не духов, добрые они или злые.

— Да, — воскликнул он в припадке ярости, — ты их не боишься, женщина, потому что ты — ведьма и вызываешь их сама, и мы не избавимся от этого колдовства, пока ты и вся твоя шатия не сгорят в огне.

— Если так, — холодно ответила Эмлин, — в следующий раз, когда мы увидимся, я спрошу у мертвого Эндрью, что он хотел мне сообщить, если он не предпочтет сообщить это лично вам.

Так они и расстались. Но в ту ночь произошло самое худшее. Было около часу пополуночи, когда аббата, спавшего с открытым окном, разбудил голос, говоривший с шотландским акцентом и несколько раз назвавший его по имени, призывая выглянуть и посмотреть. Аббат и другие монахи поднялись и посмотрели, но ничего не смогли увидеть, потому что ночь была темная и шел дождь. Тем не менее, когда рассвело, их поиски увенчались успехом: на расстоянии всего лишь нескольких ярдов от спальни лорда аббата, уставив глаза прямо в окна этой комнаты, торчала насаженная на шпиль монастырской церкви страшная голова Эндрью Вудса!

Разгневанный аббат спрашивал, кто совершил это ужасное дело, но монахи, уверенные, что это штуки того же, кто околдовал коров, только пожали плечами и предложили разрыть могилу Эндрью, чтобы посмотреть, потерял ли он свою голову.

Это, в конце концов, было сделано, хотя, по особым соображениям, аббат запретил нарушать покой мертвеца.

Итак, могила была вскрыта, когда Мэлдон уезжал в одно из своих таинственных путешествий. И — о ужас! — там не было Эндрью, а лишь дубовая балка, зашитая в одеяло, набитое соломой в форме человеческого тела. Ведь настоящий Эндрью или, вернее, его останки находились, как вы

помните, в другой могиле, в которой, как все полагали, лежал сэр Кристофер Харфлит.

С этого дня повсюду на пятьдесят миль в окружности стали передавать сказки о так называемом блосхолмском колдовстве: полным основанием для подобных разговоров служила высохшая голова Эндрью, насаженная на шпиль, откуда никто не решался ее снять ни из жалости к покойнику, ни за деньги. Все отметили, что аббат перешел в другую спальню, после чего, если не считать болезни монахов, возникшей, как полагают, от выпитого ими кислого пива, вся эта сумятица улеглась.

Действительно, в то время люди думали о другом, так как воздух был насыщен слухами о надвигающихся переменах. Король угрожал церкви, а церковь готовилась противостоять королю. Говорили об упразднении монастырей — некоторые фактически уже были упразднены — и еще больше говорили о восстании католиков в графствах Йорк и Линкольн; все это были важные дела, заставлявшие аббата Мэлдона часто отлучаться из дома.

Однажды он вернулся из долгого путешествия усталый, но удовлетворенный, и наряду с другими новостями, ожидавшими его тут, он нашел записку от настоятельницы, над которой размышлял, пока завтракал. Было также письмо из Испании, которое он тотчас же внимательно прочитал.

Прошло девять месяцев с тех пор, как отплыл корабль «Большой Ярмут». В течение этого времени стало известно только, что он не достиг Севильи; поэтому, как и все другие, аббат считал, что он пошел ко дну где-нибудь в открытом море. Это печальное событие он перенес со смирением, хотя оно и означало потерю очень важных писем: зато на борту было несколько лиц, которых он не желал более видеть, в особенности сэра Кристофера Харфлита и слугу сэра Джона Фотрела, Джефри Стоукса, захватившего с собой, по слухам, некие неприятные документы. Даже секретаря и капеллана, брата Мартина, не стоило жалеть как человека, по мнению аббата, более подходившего для неба, чем для земли, где лучшие люди должны порою идти на сделки со своей совестью.

Короче говоря, исчезновение «Большого Ярмута» было мудрым решением дальновидного провидения, убравшего некоторые камни преткновения из-под ног аббата, которым последнее время приходилось ступать по неровной и тернистой дороге. Ведь мертвые не могут говорить, хотя призрак сэра Джона Фотрела и оскалившаяся голова пьяницы Эндрью на шпиле, казалось, доказывали обратное. Кристофер Харфлит и Джефри Стоукс на дне Бискайского залива не могли выдвинуть против него

неприятных обвинений, и ему не придется больше иметь дела ни с кем, кроме забытой в заточении женщины и еще не родившегося ребенка.

Теперь обстоятельства опять изменились: письмо из Испании говорило ему, что «Большой Ярмут» не утонул, так как двое из экипажа спаслись, — каким образом, об этом ничего не говорилось. Спасшиеся заявляли, что корабль был захвачен в плен турецкими или другими язычниками-пиратами и был уведен в какое-то неизвестное место через узкий пролив Гибралтар. Поэтому, если сэр Кристофер перенес это путешествие, он все еще мог быть жив, так же как Джефри Стоукс и брат Мартин. Но вряд ли это было возможно. Вернее всего, они погибли в бою, ибо все трое были неистовые вояки-англичане, или, в лучшем случае, были приговорены к турецким галерам, откуда никогда не возвращался даже один из тысячи.

Значит, в общем, у него почти не было причин опасаться тех, кто умер или все равно что умер, особенно теперь, когда грозили другие, более непосредственные опасности.

Все, чего он боялся и что стояло между ним или, вернее, между церковью и очень богатым наследством, была девушка в монастыре, неродившийся ребенок и, конечно, Эмлин Стоуэр. Ну, он был уверен, что ребенок не выживет да и мать, может быть, тоже. Что касается Эмлин — ее сожгут за колдовство, как она того заслуживает; теперь уже скоро, так как у него есть время проследить за этим; если не Сайсели поправится, то хотя ему и жаль ее, она — соучастница ведьмы, должна по справедливости вместе с ней отправиться на костер. Пока же насчет ребенка надо принять меры — мать Матильда сообщала ему, что сроки наступают.

Аббат позвал монаха, служившего ему, и велел передать женщине, известной под именем Меггс-Камбалы, чтобы она немедленно явилась в аббатство. Через десять минут она вошла: оказывается, ее уже предупредили, что она должна быть все время под рукой.

Эта Меггс-Камбала, слывшая в той местности повивальной бабкой, была особой лет пятидесяти, невероятно толстой, с плоским лицом, маленькими продолговатыми глазками и маленьким изогнутым ртом, за что ее и прозвали Камбалой. Она почтительно приветствовала аббата, приседая до тех пор, пока ему не показалось, что она валится назад, и, получив его отеческое благословение, опустилась в кресло, которое совсем исчезло под ее объемистым телом.

— Вам любопытно, наверное, почему я призвал вас сюда, друг мой, — ведь здесь ваши услуги никому не могут понадобиться, — начал с улыбкой аббат.

— О нет, милорд, — ответила женщина. — Я слышала, что нужно

ухаживать за супругой сэра Кристофера Харфлита в ее положении.

— Я бы хотел называть ее благородным словом «супруга», — вздохнув, сказал аббат. — Но мнимый брак не дает права так называться, миссис Меггс, и — увы! — бедное дитя, если ему суждено родиться, будет лишь незаконнорожденным, заклейменным позором с момента появления на свет.

Теперь Камбала — отнюдь не дура — начинала понимать его намеки.

— Грустно это, ваше святейшество, весьма грустно, и даже, можно сказать, вовсе худо. Ну, да ничего, поправим дело еще до того, как все произойдет. Такое внезапное, случайное появление приносит счастье — я имею в виду приезд вашей милости, — а здесь таких ребят очень много, как всегда поблизости от монастырей… то есть, я хочу сказать, повсюду вообще. К тому же они обычно вырастают дурными и неблагодарными, как я хорошо могу судить по своим трем — хотя, правда, меня успели сразу же выдать замуж. Ну, словом, я хотела сказать, если уже такое случается, то иногда истинное благословение, если бедный невинный младенец умрет с самого начала и, таким образом, избегнет позорного клейма и насмешек. — И она замолчала.

— Да, миссис Меггс. По крайней мере, в подобных случаях мы не должны роптать на волю божию — при условии, конечно, если младенец проживет достаточно долго, чтобы его окрестить, — добавил он поспешно.

— Нет, ваше кардинальское святейшество, нет. Именно это я говорила прошлой весной дочери Смита. Сон у меня очень крепкий — ну, я случайно заспала ее отродье, а проснувшись, смотрю — ребенок уже посинел и не двигается. Она, как увидела, расстроилась, разревелась, словно корова, потерявшая своего первого теленка, а я ей и говорю: «Мари, это не я, это сам господь бог. Мари, ты должка радоваться, что моя тяжесть избавила тебя от твоего бремени, и ты можешь похоронить малютку почти даром. Мари, поплачь немного, если хочешь, все-таки ведь первый твой ребенок, не хули господа и не грози небу кулаком — не любит этого господь бог».

— А! — протянул аббат и без особого интереса спросил: — Что же Мари тогда сделала?

— Что она сделала, бесстыдная тварь? Она мне тогда говорит: «Ты кулака боишься, старая свинья, и душишь поросят. Так я тебя по-другому двину», — и она оттолкнула верхнюю перекладину с моего забора (мы разговаривали стоя у ворот); перекладина-то дубовая, размером три на два, как хватит меня, до сих пор на голове шрам, а Мари еще крикнула: «Довольно тебе, или, может, столб из ворот вывернуть?» Уж если я чего не

люблю, так это кольев, особенно дубовых и острием к тебе.

Так болтала, по своему обыкновению, гнусная старая карга; аббат же молча смотрел в потолок. Когда наконец она остановилась, чтобы передохнуть, он сказал:

— Хватит мне слушать о пороках и насилиях. Такие несчастные случаи возможны, и вас винить нельзя. Теперь, добрая миссис Меггс, возьметесь ли вы за это дело? Монахини о нем ведь понятия не имеют. Хотя сейчас времена тяжелые и в последнее время наш дом понес много потерь, за ваше искусство будет хорошо заплачено.

Женщина поерзала своими большими ногами и уставилась на пол, потом внезапно подняла глаза и впилась в настоятеля взглядом, сверлившим, как шило.

— А если случится так, что невинный младенец из моих рук отправится прямо на небо, как, бывало, многие отправлялись, плату я все же получу?

— Тогда, — ответил аббат с какой-то вымученной улыбкой, — тогда, я думаю, миссис, вам следует заплатить вдвое, чтобы утешить вас и вознаградить за то, что люди, пожалуй, усомнятся в вашем искусстве.

— Вот это благородная сделка, — ответила она, и глаза ее загорелись жадностью. — Такую только с аббатом и заключишь. Но, милорд, говорят, в обители появляется призрак, а призраков я боюсь. Мужчина или женщина, с кольями или без них, матушке Камбале все равно, но призраков не хочу ни за что. Да и миссис Стоуэр — ведьма и может околдовать меня, а монашки полны всяких причуд и могут своими молитвами свести честную душу в могилу.

— Ну, ну, у меня мало времени. Чего вам нужно? Выкладывайте.

— Постоялый двор у брода — вашей милости в следующем месяце понадобится съемщик. Это хороший, доходный дом для тех, кто умеет держать язык за зубами и не смотреть куда не надо, а после страшного скандала и злостной клеветы, которая пошла из-за ребенка Смитовой дочки, мои дела идут не так, как раньше. Так вот, если бы мне получить его и не платить арендной платы первые два года, чтобы у меня хватило времени наладить дело…

Аббат больше не мог выносить этой особы; он поднялся со стула и резко сказал:

— Я буду помнить. Да, обещаю. А теперь ступайте; преподобная мать извещена о том, что вы к ней явитесь. И докладывайте мне каждое утро и вечер об этом деле. Послушайте, что это вы делаете? — вскричал он, потому что она вдруг упала на колени и вцепилась в его одежды своими

толстыми и грязными пальцами.

— Отпущения, святой отец: я прошу отпущения и благословения — рах Meggiscum[46] и так далее.

— Отпущения? Нечего отпускать.

— Нет, милорд, есть что отпускать, но хотелось бы знать, вам-то кто отпустит вашу долю греха? Мне иногда по ночам не дают спать сонмы ангелочков, вот почему я не выношу призраков. Я уж лучше зимой буду пить за ужином слабый холодный эль и есть непрожаренную свинину, только бы мне не встретиться с призраком даже мертворожденного ребенка.

— Вон отсюда! — произнес аббат таким голосом, что она поднялась на ноги и ушла, не получив отпущения и благословения.

Когда за ней закрылась дверь, он подошел к окну и, хотя ночь была бурной, распахнул его настежь.

— Святые угодники! — пробормотал он. — Эта гнусная убийца отравляет воздух. Как это господь терпит на земле подобные существа? Разве она не может заниматься своим адским ремеслом не так нагло? О! Клемент Мальдонадо, как низко ты пал, если вынужден пользоваться подобным орудием и для таких дел! Однако другого выхода нет. Не для меня, а ради церкви, о господи! Великий заговор разрастается, и все люди обращаются ко мне, его вдохновителю и организатору, за деньгами. Денег, только денег — и не пройдет и шести месяцев, как поднимется Йоркшир и Северные графства, не пройдет и года, как антихрист Генрих погибнет, а принцесса Мария[47] будет прочно сидеть на троне с императором и папой в качестве сторожевых псов. Упрямая Сайсели должна умереть, и ее ребенок должен умереть, а потом я вырву тайну драгоценностей из уст этой ведьмы Эмлин — даже на дыбе, если понадобится. Не один раз видел я эти драгоценности; на них можно прокормить целую армию; но, пока жива Сайсели и ее отродье, как мне их получить? Поэтому — увы! — они должны умереть, но — горе! — старая карга права. Кто даст мне отпущение за дело, которое мне самому мерзко? Не для себя, не для себя, о мой заступник, а ради церкви! — И, распростершись на полу перед изображением святого, которого он считал своим покровителем, уткнувшись головой ему в ноги, аббат зарыдал.

Глава X . Бабка Меггс и призрак

Меггс-Камбала водворилась со всеми принадлежностями своего ремесла в обители, в качестве повивальной бабки при Сайсели. Устроилось это, правда, не без труда, ибо Эмлин, которой хорошо известна была печальная слава этой женщины и которая подозревала, что от нее можно ожидать самого худшего, изо всех сил противилась ее водворению; однако тут мягко, но решительно вмешалась настоятельница. Она признала, что и ей не особенно по сердцу эта особа, которая так странно выглядит, так быстро говорит и пьет столько пива. Однако по наведенным справкам выяснилось, что она очень искусна в подобного рода делах. Уверяли, что она достигла полного успеха в исключительно трудных случаях, от которых лекарь отказывался, как от безнадежных, хотя, конечно, бывали и такие, когда ей ничего не удавалось сделать. Но обычно — так передавали настоятельнице — это происходило с бедняками, не имевшими возможности хорошо заплатить. В данном же случае вознаграждение будет щедрое, ибо мать Матильда обещала ей большую сумму из своих личных средств; а кроме того, раз врач-мужчина не мог быть допущен сюда, где было искать другого знающего человека? Ни она сама, настоятельница, ни другие монахини для этого не годились, ибо никто из них не был замужем, кроме старой Бриджет, полоумной и уже давным-давно обо всем этом позабывшей. Не могла помочь и Эмлин, которая была почти девочкой, когда у нее родился ребенок, а с той поры уже не решала. Так что и выбора-то не было.

Эмлин пришлось сдаться на эти доводы, хотя она и не доверяла толстой противной бабке, которая с первого же взгляда не понравилась и бедняжке Сайсели. Однако страх заставил Эмлин смириться и обращаться со старухой вежливо: не то она, пожалуй, не захочет постараться ради ее госпожи. Поэтому Эмлин, как раба, выполняла все ее прихоти, сдабривала ей пряностями пиво, стелила постель и даже безропотно выслушивала ее гнусные шуточки и болтовню.

Наконец все совершилось, и ребенок, красивый и крепкий мальчуган, появился на свет. И Камбала торжественно выставила его напоказ в корзинке, прикрытой овечьей шкурой, а Эмлин, и мать Матильда, и все монахини целовали и благословляли его. И сразу же во избежание какой-либо случайности (вот она, отеческая предусмотрительность аббата!) он был окрещен поджидавшим уже священником и наречен Джоном

Кристофером Фотрелом: Джоном по деду, Кристофером по отцу, а фамилия Фотрел дана ему была потому, что аббат, считая его незаконнорожденным, не желал, чтобы он именовался Харфлитом.

Итак, ребенок родился, и матушка Меггс божилась, что из двухсот трех ребят, появившихся с ее помощью на свет божий, он был самый лучший — по меньшей мере девяти с половиной фунтов весом. Судя по тому, как он кричал и двигался, мальчуган был здоровый и жизнеспособный: когда он ухватился ручонками за толстые указательные пальцы Камбалы, она на глазах изумленных монашек приподняла его на этих своих пальцах, а затем выпила целую четверть сдобренного пряностями эля за его здоровье и долголетие.

Но если ребенок отличался жизнеспособностью, то Сайсели близка была к смерти. Она чувствовала себя очень, очень худо и, возможно, не выжила бы, но Эмлин пришла в голову хорошая мысль. Ибо, когда Сайсели стало совсем плохо, а Камбала, качая головой и заявляя, что она уже ничего сделать не может, ушла выпить неизменного эля и подремать, Эмлин подкралась к своей госпоже и взяла в свои руки ее холодную руку.

— Дорогая, — произнесла она, — послушай, что я скажу. (Но Сайсели не шелохнулась.) Дорогая, — повторила она, — выслушай меня: я кое-что слышала о твоем муже.

Бледное лицо Сайсели слегка шевельнулось на подушке, и синие глаза ее открылись.

— О моем муже? — прошептала она. — Ведь его нет в живых, да и меня скоро не будет. Что ты могла о нем слышать?

— Он не умер, он жив, по крайней мере я так думаю, хотя доселе скрывала это от тебя.

Голова Сайсели на мгновение приподнялась, а глаза уставились на Эмлин с радостным удивлением.

— Ты морочишь меня, няня? Нет, ты бы этого никогда не сделала. Дай мне молока, теперь я буду пить. Послушаю, что ты скажешь, и обещаю, что не умру, пока ты не поведаешь всего. Если Кристофер жив, то и мне незачем умирать. Ведь я только одного хотела — соединиться с ним.

И Эмлин шепотом рассказала ей все, что знала. Это было немного, только то, что Кристофер не был погребен в могиле, куда его якобы положили, что он, раненный, был перенесен на корабль «Большой Ярмут». Об участи этого корабля Эмлин, к счастью, ничего не слыхала. Как ни скудны были эти известия, на Сайсели они подействовали, как волшебное лекарство, ибо разве не означали они возвращение надежды — надежды, которая девять долгих месяцев была мертва и, казалось, погребена вместе с

Кристофером? С этого мгновения Сайсели стала поправляться.

Когда Камбала, отоспавшись после пьянства, вернулась к постели больной, она изумленно уставилась на нее и пробормотала что-то насчет колдовства, так уверена была она, что Сайсели умрет: в те времена подобным образом погибали многие женщины, попавшие в такие же руки. По правде сказать, для нее это было горьким разочарованием, ибо она знала, что тот, кому она служила, хотел этой смерти; теперь он, чего доброго, сдаст постоялый двор у брода кому-нибудь другому. Да к тому же еще и ребенок был не заморыш, а существо вполне жизнеспособное. Ну, тут уж она сумеет поправить дело, а если все произойдет быстро, то и мать, пожалуй, помрет с горя. Однако сделать это будет труднее, чем кажется на первый взгляд: за ребенком-то следит много любящих глаз.

Когда она заявила, что возьмет его на ночь к себе в постель, Эмлин яростно воспротивилась. Обратилась к настоятельнице, и та, зная, что бабка пьет, и наслышавшись об участи ребенка Смитов и многих других, приказала не отдавать ей мальчика. Так как мать была еще слишком слаба, чтобы взять его к себе, ребенка уложили рядом с нею, в колыбельке. И постоянно днем и ночью одна, а то и несколько ласковых монахинь стояли у изголовья колыбельки, словно ангелы-хранители. И питала его сама природа, ибо с первого же дня Сайсели давала ему грудь, так что бабка не могла примешать к молоку ничего такого, что заставило бы мальчика заснуть навеки.

Так и шли день за днем, и сердце бабки Меггс разрывалось от ярости и, можно сказать, отчаяния, пока наконец не выпал случай, которого она ждала. В один прекрасный вечер, когда монахини ушли к вечерне (но не в часовню, ибо с тех пор, как распространились слухи о привидении, они избегали этого места в сумерки), Сайсели, к которой возвращались силы, попросила Эмлин переодеть ее и перестелить ей постель. А ребенка поручили сестре Бриджет, души в нем не чаявшей, и велели ей погулять с ним по саду, ибо дождь прошел и вечер был приятный и теплый. Она и пошла в сад, но по дороге ее перехватила Камбала. Все думали, что бабка спит, на самом же деле она пошла следом за Бриджет, а придурковатая монашка ее очень боялась.

— Ты что делаешь с моим младенчиком, дура старая? — закричала она, почти вплотную приблизив лицо к лицу Бриджет. — Уронишь его, а ругать станут меня. Отдавай-ка мне ангелочка, не то я перешибу тебе нос. Давай, говорю, и убирайся подобру-поздорову.

Старая Бриджет, растерянная и перепуганная, отдала ей ребенка и побежала прочь. Но затем, немного успокоившись или повинуясь какому-то

безотчетному чувству, возвратилась, спряталась за кустами сирени и стала наблюдать.

Увидела она, что Камбала оглянулась по сторонам, желая убедиться, что за ней не следят, и зашла с ребенком в часовню. Послышался звук задвигаемого засова. Бриджет, как она впоследствии рассказывала, очень испугалась, сама не зная чего, и какое-то внезапное побуждение заставило ее подбежать к окну алтаря, взобраться на стоявшую под ним тачку и заглянуть в часовню. И вот что ей довелось увидеть.

Бабка Меггс стояла на коленях в алтаре, и монахиня сперва подумала, что она молится. Но тут луч заходящего солнца осветил часовню, и Бриджет заметила, что на плиточном полу перед бабкой лежит ребенок и что чертовка засовывает свой толстый указательный палец ему в горло, так что личико у него уже почернело, а бабка при этом что-то дико бормочет. Застыв на месте от ужаса, Бриджет не смогла ни двинуться, ни крикнуть.

И вот, пока она стояла, словно окаменевшая, внезапно появилась какая-то мужская фигура в ржавых доспехах. Камбала подпила глаза, увидела ее и, вытащив палец из горла ребенка, принялась отчаянным голосом вопить.

Человек, не говоря ни слова, вынул из ножен меч и поднял его, а детоубийца между тем кричала:

— Призрак! Призрак! Пощадите меня, сэр Джон, я бедная женщина, а он мне заплатил. Пощадите меня Христа ради!

С этими словами она без сознания упала на пол, стала корчиться, извиваться и наконец затихла.

Тогда человек или же призрак взглянул на нее, вложил меч в ножны и, подняв с полу ребенка, который теперь снова стал дышать и кричать, направился с ним вон из часовни. Затем до сознания Бриджет дошло, что он стоит перед ней и протягивает ей ребенка. Лица его она видеть не могла, так как забрало было опущено, но услышала глухой голос, говоривший:

— Это дар небес леди Харфлит. Скажи ей, чтобы она не ведала страха, ибо одного дьявола я уже скосил, а другие созрели дли жатвы.

Бриджет взяла ребенка и упала наземь, и в то же мгновение: монашки, встревоженные отчаянными воплями Меггс, ворвались во главе с матерью Матильдой через боковой проход. Они тоже увидели мужскую фигуру и узнали на шлеме и щите герб Фотрелов. Но призрак не заговорил с ними, а скрылся за деревьями и исчез.

Прежде всего они позаботились о ребенке, которого, как они думали, этот человек намеревался похитить. Затем, убедившись, что ничего худого с ним не случилось, стали расспрашивать старуху Бриджет, но от нее

невозможно было добиться толку: она только бормотала что-то, указывая сперва на тачку, а затем на окно алтаря. Под конец мать Матильда поняла, в чем дело, и, взобравшись на тачку, заглянула по примеру Бриджет в окно. Заглянула, увидела и без чувств упала навзничь.

Прошел час. У ребенка не оказалось серьезных повреждений: — только незначительные царапины и кровоподтеки вокруг нежного ротика, — и он заснул на материнской груди. Бриджет пришла в себя и наконец рассказала всю историю всем, кроме Сайсели, которая так ничего еще и не знала, ибо ее и Эмлин комната находилась в противоположном конце здания, и они не слышали криков.

Послали за аббатом, и он явился в сопровождении своих монахов, как раз когда разразилась гроза и полил ливень. Он тоже выслушал рассказ — лицо его было бледно; монахи в ужасе творили крестное знамение. Под конец он спросил о Меггс. Ему ответили, что, живая или мертвая, она еще, видимо, в часовне, куда никто пока не решился войти.

— Пойдем поглядим, — сказал аббат.

Когда подошли к часовне, дверь, как и передавала Бриджет, оказалась запертой изнутри.

Послали за кузнецами, которые принялись ломать засов. Все прочие стояли под дождем и ждали. Наконец дверь была открыта, и все во главе с аббатом вошли в часовню с факелами и свечами, так как теперь уже совсем стемнело. На полу у алтаря что-то лежало. Когда это место было освещено факелами, все увидели нечто такое, от чего бросились бежать прочь, призывая на помощь всех святых. И при жизни бабка Меггс не отличалась привлекательностью, но после того как ее постигла такая смерть…

Наступило утро. Лорд аббат со своими монахами собрались в приемной, а против них сидели леди, настоятельница и монахини. Тут же находилась и Эмлин.

— Колдовство! — закричал аббат, стуча кулаком по столу. — Черное колдовство! Сам сатана и злейшие его демоны блуждают по округе и ютятся в вашей обители. Минувшей ночью они себя показали…

— Тем, что спасли ребенка от жестокой смерти и покарали мерзкую убийцу, — прервала его Эмлин.

— Молчи, ведьма! — закричал аббат. — Отыди от меня, сатана. Знаю я тебя и твоих присных! — При этих словах он взглянул на настоятельницу.

— Что вы имеете в виду, милорд аббат? — вызывающе спросила мать Матильда. — Я и мои сестры вас не понимаем. Эмлин Стоуэр права. Можно ли называть колдовством то, что завершилось ко благу? Да, призрак

сэра Джона Фотрела появился здесь, и мы все его видели. Но что он сделал? Уничтожил злодейку, которую вы к нам подослали, и спас невинного младенца, когда она уже засунула ему в горло палец, чтобы прервать его невинную жизнь. Если это колдовство, так я тоже ведьма. Скажите-ка, на что эта негодяйка намекала, когда молила призрак пощадить ее, вопя, что она бедная женщина, которую подкупили совершить злодеяние? Кто подкупил ее, милорд аббат? Даю клятву, что у нас в обители — никто. А кто превратил сэра Джона Фотрела из живого человека в духа? Почему он теперь призрак?

— Я здесь не для того, чтобы загадки разгадывать, женщина. А ты кто такая, чтобы задавать мне подобные вопросы? Тебя я смещаю, а на всю твою обитель налагаю отлучение. Приговор церкви решит вашу участь. Не осмеливайтесь переступать за порог вашего дома, пока не соберется трибунал, который будет вас судить. И не рассчитывайте, что вам удастся спастись. Англия ваша прогнила, и повсюду растекается ересь, но, — добавил он, понизив голос, — огонь еще жжет, а в лесу много хвороста. Пусть души ваши приготовятся к суду. Теперь же мне пора идти.

— Делайте, что вам угодно, — ответила разъяренная мать Матильда. — Когда нам предъявят обвинение, мы будем держать ответ. А пока просим вас забрать останки вашей наймитки; мы не желаем находиться в ее обществе, и у нас она не обретет погребения. Милорд аббат, хоть вы и ваши предшественники присвоили себе не принадлежащие вам права, но грамота на основание нашей обители дана королем Англии. Утверждена она Эдуардом Первым, и с того дня только сам король, и никто другой, может подписывать назначение настоятельницы. А мое подписано собственноручно Генрихом Восьмым. Вы меня сместить не можете, на аббата я пожалуюсь королю. Прощайте, милорд. — С этими словами она в сопровождении своей свиты из пожилых монахинь выплыла из комнаты, как оскорбленная королева.

Когда после ужасной гибели детоубийцы ребенка передали матери невредимым, Сайсели быстро поправилась. Через неделю она уже встала и начала ходить, а через десять дней была уже совсем здорова, здоровее, чем когда-либо. Насчет аббата ничего не было слышно, и хотя все знали, что с его стороны по-прежнему грозит опасность, радовались краткой передышке до нового громового удара.

Однако в пробудившемся уме Сайсели возникло острое желание побольше узнать о том, на что намекнула ее кормилица, когда она лежала на смертном одре. День за днем донимала она Эмлин расспросами, пока не выпытала все, а именно, что новость исходила от Томаса Болла и что это

он, облаченный в доспехи ее отца, спас ребенка от гибели. Теперь она во что бы то ни стало пожелала сама увидеть Томаса, уверяя, что хочет поблагодарить его. Но Эмлин хорошо понимала, что Сайсели надо услышать из его собственных уст все обстоятельства и все подробности того, что можно узнать насчет Кристофера.

Некоторое время Эмлин противилась этому, ибо хорошо понимала, какую опасность представила бы подобная встреча. Но она не в состоянии была отказать в чем-либо своей госпоже и под конец уступила.

В назначенный час, на закате солнца, Эмлин и Сайсели зашли в часовню. Сайсели сказала монахиням, что хочет поблагодарить бога за избавление от стольких опасностей. Они преклонили колени перед алтарем и, делая вид, что молятся, услышали стуки — сигнал, означавший, что Томас Болл прибыл. Эмлин постучала в ответ — это значило, что все в порядке, после чего деревянная фигура повернулась, и перед ними предстал Томас, одетый, как и раньше, в доспехи сэра Джона Фотрела. На мгновение Сайсели показалось, что она видит покойного отца — так похож был на него Томас в этой столь знакомой ей броне, — и ноги ее подкосились.

Но Томас преклонил пред ней колено, поцеловал ей руку, осведомился о здоровье ее мальчика и спросил, довольна ли она тем, как он ей служит.

— Да, тысячу раз да, — ответила она. — О друг мой, теперь я нищая пленница, но если ко мне вернется мое достояние, все, что я имею, будет принадлежать тебе. А пока я благословляю тебя, и да будет над тобою благословение божие, благородный человек!

— Не благодарите меня, леди, — ответил честный Томас. — По правде-то говоря, служил я Эмлин, ибо мы много лет были друзьями, хотя монахи и разлучили нас. А что касается ребенка и этого чертова отродья, Камбалы, то благодарите бога, а не меня, ведь я вовсе не собирался появиться в тот вечер и оказался в часовне лишь случайно. Я намеревался идти за скотом, и тут мне что-то словно шепнуло, чтобы я надел доспехи и появился в часовне. Меня словно какая-то рука толкала, а остальное вы сами знаете. Полагаю, что теперь бабка Меггс тоже знает, — мрачно добавил он.

— Да, да, Томас, я благодарю бога, чей перст вижу во всем этом деле, как благодарю тебя, его орудие. Но есть и другие вещи, о которых мне говорила Эмлин. Она сказала, ах, она сказала, что мой муж, которого я считала убитым и погребенным, на самом деле был только ранен, и его не похоронили, а отправили за море. Расскажи мне все об этом, ничего не опуская, но побыстрее, — времени у нас мало. Я хочу все узнать из твоих

собственных уст.

И вот, путаясь и запинаясь по своему обыкновению, он поведал ей слово в слово все, что сам видел и что узнал от других. Сводилось же это к тому, что сэра Кристофера увезли за границу на «Большом Ярмуте», тяжело раненного, но не мертвого, и что вместе с ним отправились Джефри Стоукс и монах Мартин.

— С тех пор прошло десять месяцев, — сказала Сайсели. — Неужто о корабле не было никаких известий? Он ведь мог бы уже возвратиться обратно.

Немного поколебавшись, Томас ответил:

— Из Испании никаких известий не приходило. Затем, хотя я даже Эмлин ничего об этом не говорил, прошел слух, что корабль погиб со всем своим экипажем. А потом рассказывали другое…

— Что же именно?

— Леди, двое из его команды прибыли в Уош. Я сам их не видел, и они опять пошли в плаванье — в Марсель во Францию. Но я беседовал с пастухом, сводным братом одного из них, и тот рассказал мне, что слыхал от него, будто на «Большой Ярмут» напали два турецких пиратских корабля и захватили его после славного боя, в котором капитан и многие другие были убиты. Этот человек с товарищем сумели бежать в шлюпке и дрейфовали по морю туда и сюда, пока идущая на родину каравелла не подобрала их и не доставила в Гулль. Вот все, что я знаю, кроме еще одного.

— Еще одного? Чего же, Томас? Что мой муж погиб?

— Нет, нет, как раз наоборот, что он жив или был жив, ибо эти люди видели, как он, и Джефри Стоукс, и священник Мартин — он, я хорошо знаю, не трус — дрались как черти, пока турки не одолели их численностью, не связали им рук и не перетащили всех троих невредимыми на свои корабли, намереваясь, видимо, превратить таких храбрых парней в рабов.

Хотя Эмлин и старалась остановить Сайсели, та стала забрасывать Томаса вопросами, на которые он отвечал, как мог, пока, наконец, до его ушей не долетел какой-то необычайный звук.

— Взгляните на окно! — вскричал он.

Они взглянули, и кровь застыла у них в жилах: сквозь стекло смотрело на них темное лицо аббата, а рядом с ним виднелись и другие лица.

— Не выдавайте меня, не то я буду сожжен, — прошептал Томас. — Скажите им только, что вам привиделся призрак. — Неслышно, как тень, он скользнул в свою нишу и исчез.

— Что теперь делать, Эмлин?

— Только одно — Томаса надо спасти. Держаться смело и стоять на своем. Не твоя вина, что дух твоего отца появляется в часовне. Помни, только дух его, и ничего больше. А, вот и они!

При этих ее словах дверь широко распахнулась, и в часовню ворвались аббат и с ним вся толпа его служителей. В двух шагах от обеих женщин они остановились, тесно прижавшись друг к другу, словно роящиеся пчелы, — так им было страшно, и только один голос крикнул: «Хватайте ведьм!»

У Сайсели прошел всякий страх, и она смело обратила к ним лицо.

— Что вам от нас нужно, милорд аббат? — спросила она.

— Мы хотим знать, колдунья, что за существо сейчас говорило с тобой и куда оно девалось?

— Это был тот же, кто спас мое дитя и призвал меч господень на голову убийцы. На нем были доспехи моего отца, но лицо его осталось скрытым. Он исчез, как и появился, куда — я не знаю. Узнайте это сами, если можете.

— Женщина, ты над нами смеешься! Что это существо говорило тебе?

— Оно говорило об убийстве сэра Джона Фотрела у Королевского кургана и о тех, кто совершил это злодеяние. — И она пристально посмотрела на аббата, так что тот опустил глаза.

— А еще что?

— Оно сообщило мне, что муж мой жив и что вы не похоронили его, как уверяли меня, а отправили его в Испанию. И оно предрекло, что он возвратится оттуда, чтобы отомстить вам. Оно поведало мне, что моего мужа взяли в плен мавры, а с ним Джефри Стоукса, слугу моего отца, и священника Мартина, вашего секретаря. Затем оно подняло взор и исчезло, или же нам показалось, что оно исчезло, хотя, может быть, оно еще находится среди нас.

— Да, — ответил аббат, — сатана, с которым вы тут беседовали, всегда среди нас. Сайсели Фотрел и Эмлин Стоуэр, вы обе зловредные ведьмы, в чем сами признались. Слишком долго терпел мир божий ваши колдовские дела; теперь же вы ответите за них перед богом и людьми, ибо мне, лорду настоятелю Блосхолмского аббатства, даны право и власть заставить вас это сделать. Схватите этих ведьм и заточите их в комнате, где они живут, пока я не соберу церковный трибунал, который будет их судить.

Сайсели и Эмлин схватили и повели в обитель. Когда они шли через сад, им повстречались мать Матильда с монахинями; те уже второй раз в этом месяце выбегали узнать, что за шум поднялся в часовне.

— Что еще случилось, Сайсели? — спросила настоятельница.

— Теперь мы, оказывается, ведьмы, матушка, — ответила она с грустной улыбкой.

— Да, — вмешалась Эмлин, — и обвиняют нас в том, что дух убитого сэра Джона Фотрела будто бы говорил с нами.

— Что, что? — вскричала настоятельница. — Разве можно объявлять ведьмой женщину только за то, что ей явился дух ее отца? Может быть, и бедная сестра Бриджет ведьма? Ведь тот же призрак передал ей ребенка!

— Верно, — сказал аббат. — Я об ней забыл. Она из той же шайки, ее тоже надо схватить и заточить. Надеюсь всей душой, что, когда наступит час суда, других ведьм обнаружить не придется. — И он угрожающе взглянул на бедных монашек.

Итак, Сайсели и Эмлин заточены в своей комнате, и монахи бдительно стерегли их, но дурному обращению они не подвергались. В их положении мало что изменилось, за исключением того, что теперь они сидели под замком. Ребенок находился при Сайсели, и монахиням разрешено было навещать пленниц.

И все же над ними обеими нависла мрачная тень тяжкой беды. Они хорошо сознавали — и казалось, им даже все время стараются напоминать об этом, — что их ожидает суд и смертная казнь по чудовищному и гнусному обвинению, будто они общались с неким темным и страшным созданием, именовавшимся врагом рода человеческого, ибо все верили, что люди наделены властью вызывать его к себе, чтобы он давал им советы и помогал во всех делах. Но они-то сами хорошо знали, что то был Томас Болл, и все случившееся казалось им нелепостью. Однако не приходилось отрицать, что означенный Томас, по наущению Эмлин, причинил блосхолмским монахам немало зла, отплатив им или, вернее, их настоятелю его же монетой. Но что было делать? Раскрыть правду означало предать Томаса жестокой участи, которую и им самим, вероятно, пришлось бы разделить, хотя, может быть, они очистились бы от обвинения в колдовстве.

Эмлин изложила все эти соображения Сайсели, не высказавшись ни «за» ни «против», и ждала ее решения. Оно и последовало — скорое и окончательное.

— Этого узла нам все равно не развязать, — сказала Сайсели. — Не станем никого выдавать и доверимся воле божьей. Я уверена, — добавила она, — что бог нам поможет, как помог, когда бабка Меггс едва не удавила моего мальчика. Не хочу я защищаться за счет других. Пускай бог решает.

— Со многими, кто вверялся богу, случались странные вещи: все зло мира тому свидетельство, — неуверенно промолвила Эмлин.

— Может быть, — ответила с обычным своим спокойствием Сайсели, — потому только, что верили недостаточно и не так, как нужно. Как бы то ни было, но этот путь я избираю и пойду по нему — хоть в огонь, если придется.

— В тебе как будто заложены семена душевного величия, но что из них вырастет? — ответила Эмлин, пожимая плечами.

На следующий же день вера Сайсели подверглась жестокому испытанию. Аббат явился поговорить наедине с Эмлин. Пел он все ту же песню.

— Отдайте мне драгоценности, и тогда с тобой и с твоей госпожой все еще может обойтись по-хорошему. А не то пойдете на костер.

Как и раньше, она стала уверять, что ничего о них не знает.

— Найдите драгоценности, или вы будете сожжены, — ответил он. — Неужели какие-то жалкие камешки вам дороже жизни?

Тут Эмлин поколебалась, хоть и не ради себя, и сказала, что поговорит со своей госпожой.

Он велел ей сделать это поскорее.

— Я думала, драгоценности погибли в огне. Эмлин, разве ты знаешь, где они находится? — спросила Сайсели.

— Да, тебе я ничего не говорила, но знаю. Скажи только слово, и я отдам их, чтобы тебя спасти.

Сайсели призадумалась, поцеловала ребенка, которого держала на руках, потом громко рассмеялась и ответила:

— Нет, не будет так. Не разбогатеет этот аббат от моего добра. Я уже сказала тебе, что не на драгоценности я надеюсь. Сожгут меня или я буду спасена, только ему их не видеть.

— Хорошо, — сказала Эмлин, — я сама так думаю; я ведь говорила об этом лишь ради тебя. — И она пошла сообщить решение Сайсели аббату.

Он явился в комнату к Сайсели разъяренный и пригрозил обеим женщинам, что они будут отлучены от церкви, подвергнуты пытке, а затем сожжены. Но Сайсели, которую он пытался запугать, даже бровью не повела.

— Что ж, пусть так и будет, — ответила она, — постараюсь все перенести, насколько хватит сил. Ничего об этих драгоценностях я не знаю, но если они и существуют, то принадлежат мне, а не вам, в колдовстве же я неповинна. Делайте свое дело, ибо я уверена, что конец ему будет совсем не такой, как вы думаете.

— Что! — вскричал аббат. — Значит, дух зла опять у тебя побывал, что ты так уверенно говоришь! Ладно, колдунья, скоро ты у меня запоешь по-

другому!

И, подойдя к двери, он велел вызвать настоятельницу.

— Посадить этих женщин на хлеб и на воду, — сказал он, — и подготовить их к дыбе, чтобы они выдали своих сообщников.

Но доброе лицо матери Матильды приняло непреклонное выражение.

— У нас в обители этого не будет, милорд аббат. Закон мне известен, вам такая власть не дана. И более того, если вы их отсюда возьмете — они ведь мои гостьи, — я обращусь с жалобой к королю, а пока что подниму против вас всю округу.

— Разве я не прав, что у них имеются сообщники? — злобно усмехнулся аббат и ушел восвояси.

Но о пытке разговор больше не поднимался. Угроза пожаловаться королю пришлась аббату не по вкусу.

Глава XI . Суд и приговор

Настал день суда. Еще с рассвета Сайсели и Эмлин видели, как через ворота обители снует народ, и слышали, как рабочие устраивают все, что нужно, в парадном зале под самой их комнатой. Около восьми часов одна из монашек принесла им завтрак. Лицо у нее было бледное, испуганное. Говорила она шепотом и все время оглядывалась, словно думая, что за ней следят.

Эмлин спросила, кто будет их судить, и монахиня ответила:

— Аббат, какой-то чужой темнолицый приор[48] и старый епископ. О сестры мои, да поможет вам бог, да защитит он всех нас! — И с этими словами она скрылась.

Тут мужество на миг оставило Эмлин, ибо на что они могли рассчитывать перед таким трибуналом? Аббат был их самым беспощадным врагом и обвинителем, чужой приор — кто-нибудь из его друзей — одного с ним поля ягода. Что же касается духовного лица, прозванного Старым епископом, то он был известен как самый, может быть, жестокий человек в Англии, бич еретиков — до того времени, как ересь вошла в моду[49], — охотник за ведьмами и колдунами. К тому же все знали, что ради своей выгоды он готов был пойти на что угодно. Но Сайсели она ничего не сказала — да и зачем? Та и сама все скоро узнает.

Они поели, хорошо сознавая, что силы им понадобятся. Затем Сайсели покормила ребенка и, передав его Эмлин, преклонила колени, чтобы помолиться. Она еще не кончила, когда дверь распахнулась и появилось целое шествие. Сперва шли два монаха, потом шесть вооруженных людей из стражи аббата, потом настоятельница с тремя монахинями. При виде юной красавицы, преклонившей колени для молитвы, даже стражники, эти грубые люди, остановились, словно не решаясь помешать ей. Но один из монахов беззастенчиво закричал:

— Хватайте эту проклятую лицемерку, а если она не пойдет по доброй воле, тащите ее насильно. — И он протянул руку, словно намереваясь схватить ее за плечо.

Но Сайсели поднялась и, глядя ему прямо в лицо, сказала:

— Не дотрагивайтесь до меня. Я следую за вами. Эмлин, передай мне ребенка, и пойдем.

И так они двинулись, окруженные стражей; впереди шли монахи, а позади — опустив головы — монахини. Вот вступили они в парадный зал,

но у порога им велели остановиться, пока не освободят проход.

Сайсели никогда потом не забывала, каким пришлось ей увидеть этот зал. Высокий сводчатый потолок из орехового дерева, наведенный сотни лет назад руками, не жалевшими ни труда, ни материала, и между балками потолка лучи утреннего солнца, игравшие так ярко, что она могла различить даже паутину с угодившей в нее вялой осенней осой. Она помнила и толпу собравшихся поглядеть, как она публично предстанет перед судом, а ведь многих из этих людей она знала еще с детства.

Как смотрели они на нее, стоящую у подножия лестницы с уснувшим ребенком на руках! Все это были нарочно подобранные люди, подготовленные к тому, чтобы осудить ее, — это она могла и видеть и слышать! Ведь кое-кто из них указывал на нее пальцами, хмурился, пытался кричать: «Ведьма!» — как им было велено. Но криков этих никто не подхватил. Когда они увидели ее, дочь Фотрела, жену Харфлита, знатных людей округи, стоящую перед ними во всем блеске своей прелести и невинности, с дремлющим у ее груди младенцем, их это словно сразило: даже на самых суровых лицах проступила жалость, а на некоторых и гнев, только не против нее.

Затем ей бросились в глаза трое судей за большим столом, у которого устроились и секретари из монахов. Посредине Старый епископ с жестоким лицом и крючковатым носом, в пышном облачении и митре; пастырский посох его стоял позади, прислоненный к деревянным панелям стены, а сам он глядел прямо перед собой маленькими, похожими на бусины, глазками. Слева от него — угрюмого вида, с тяжелой нижней челюстью приор из какого-нибудь отдаленного графства, одетый в простую черную рясу с поясом вокруг талии. А справа Клемент Мэлдон, блосхолмский настоятель и враг ее дома; его чужеземное, оливково-смуглое лицо казалось любезным, черные быстрые глаза внимательно следили за всем, обостренный слух схватывал каждое слово, даже произнесенное шепотом; он что-то тихо сказал епископу, и тот мрачно улыбнулся в ответ. Наконец, на огороженном веревкой месте под охраной стражника — несчастная, полубезумная старуха Бриджет, бормотавшая какие-то слова, на которые никто не обращал внимания.

Теперь проход расчистился, и им велели идти вперед. На полпути какое-то яркое пятно привлекло внимание Сайсели — это была рыжая борода Томаса Болла. Глаза их встретились, и в его взгляде она увидела страх. Ей сразу же стало понятно: он боится, что будет выдан и обречен на страшную пытку.

— Не бойся ничего, — шепнула она, проходя мимо.

Он услышал или, может быть, по взгляду Эмлин понял, что ему ничего не угрожает; во всяком случае, у него вырвался вздох облегчения.

Теперь они тоже вступили в огороженное веревкой пространство и там остановились.

— Ваше имя? — спросил один из секретарей, указывая на Сайсели своим гусиным пером.

— Всем известно, что меня зовут Сайсели Харфлит, — спокойно ответила она; писец грубо возразил, что она лжет, и тут опять разгорелся старый спор о законности ее брака, причем аббат настаивал на том, что она по-прежнему Сайсели Фотрел, мать незаконнорожденного ребенка.

Епископ проявил к этому некоторый интерес, стал задавать вопросы и даже склонялся, скорее, на ее сторону, ибо, когда дело касалось религии, он хорошо разбирался в законах и старался быть справедливым. Впрочем, под конец он от этого вопроса отмахнулся, довольно грубо заметив, что если хоть половина того, что он о ней слышал, — правда, для нее вскоре уже не будет иметь значения, каким именем она звалась при жизни, и велел писцам именовать ее Сайсели Харфлит или Фотрел.

Затем сказала свое имя Эмлин, а сестру Бриджет записали безо всяких вопросов. Потом прочитали обвинительное заключение, очень длинное, полное технических терминов, отдельных слов и целых фраз по-латыни. И из всего этого Сайсели поняла, что их обвиняют в разных ужасающих преступлениях, в том, что они вызывали дьявола и он являлся к ним в образе чудовища с рогами и копытами, а также в образе ее покойного отца. Когда обвинительное заключение было прочитано, им велели отвечать, и они заявили о своей невиновности. Вернее, заявили только Сайсели и Эмлин, ибо Бриджет начала что-то очень длинно рассказывать, и понять ее было невозможно. Ей велели умолкнуть, после чего на речи ее уже никакого внимания не обращали.

Тут епископ спросил, были ли эти женщины подвергнуты пытке, и, получив отрицательный ответ, выразил по этому поводу сожаление: ведьмы, сказал он, явно очень упорные, и, подвергнув их некому дисциплинарному воздействию, можно было бы избежать лишней возни. Спросил он также, были ли обнаружены у них на теле колдовские знаки, то есть места, где дьявол поставил свою печать и где, как известно, избранники его не ощущают боли. Он даже поднял вопрос о том, чтобы судебное разбирательство было отложено, пока ведьм не исколют булавками, чтобы найти колдовские знаки, но в конце концов отказался от своего предложения, дабы не терять времени.

Последний вопрос был поднят хмурым приором, который высказал

мнение, что ребенка тоже следует обвинить, ибо и он ведь, по-видимому, общался с дьяволом: говорят же, что от смерти его спас дьявол, который взял его на руки и передал монахине Бриджет, — это к тому же единственное свидетельство против означенной Бриджет. Если она виновна, то как может быть невинным ребенок? Не следует ли их сжечь вместе, ибо очевидно же, что младенец, которого нянчил сам дух зла, проклят богом.

Законник-епископ признал этот довод интересным, но в конце концов решил, что безопаснее будет пренебречь им, приняв во внимание младенческий возраст преступника. Он добавил, что значения это не имеет, ибо можно не сомневаться, что гнусный враг рода человеческого вскоре сам предъявит права на свое добро.

Под конец, перед вызовом свидетелей, Эмлин потребовала адвоката, который бы взял на себя их защиту, но епископ, усмехнувшись, ответил, что в этом нет никакой нужды, ибо у них и так имеется лучший из адвокатов — сам сатана.

— Верно, милорд, — сказала, подняв глаза, Сайсели, — у нас лучший из адвокатов; только вы его неправильно назвали. Бог, защитник невинных, — наш адвокат, и на него я полагаюсь.

— Не кощунствуй, колдунья! — закричал старик; и начался допрос свидетелей.

Передавать его во всех подробностях не стоит, да это и заняло бы слишком много времени — он тянулся несколько часов. Прежде всего обсуждались молодые годы Эмлин и очень подчеркивалось, что мать ее была цыганка, покончившая самоубийством, а отец осужден инквизицией после того, как публично сожгли написанный им еретический труд. Затем давал показания сам аббат; хотя таким образом он оказался одновременно и судьей и главным свидетелем, никому это не показалось странным, ведь речь шла об обвинении в колдовстве. Он сообщил об исступленных речах Сайсели после сожжения Крануэл Тауэрса, добавив, что она и ее сообщница Эмлин спаслись от пожара явно благодаря волшебству, иначе они никак не могли бы остаться в живых. Он рассказал о том, как Эмлин угрожала ему, после того как поглядела в сосуд с водой, и обо всех ужасных делах, которые совершались в Блосхолме и были несомненно вызваны этими ведьмами. В этом он был прав, хотя и не знал, как все это происходило на самом деле. Он поведал о гибели повивальной бабки, о том, какой у нее был вид после смерти — при этом все присутствующие содрогнулись от ужаса, — и, наконец, о появлении призрака сэра Джона Фотрела, который общался с обвиняемыми в часовне обители, а затем

бесследно исчез.

Когда он кончил свою речь, Эмлин попросила разрешения в свою очередь задать ему вопросы, но в этом ей было отказано на том основании, что лица, обвиненные в таких ужасных преступлениях, не имеют права на перекрестный допрос.

После этого заседание было прервано на обед. Обвиняемым тоже принесли пищу, но они вынуждены были есть там, где стояли. А хуже всего было то, что Сайсели пришлось и ребенка кормить при всей собравшейся толпе, которая глазела на нее, грубо издевалась и злилась, когда Эмлин и несколько монахинь окружили и заслонили Сайсели как бы живой ширмой.

Судьи возвратились, и снова начались показания свидетелей. Хотя большая часть этих показаний была совершенно несущественна, их набралось столько, что под конец Старый епископ устал и заявил, что больше он ничего слышать не хочет. Тут судьи принялись задавать сперва Сайсели, а затем Эмлин вопросы такого гнусного рода, что, с негодованием отрицательно ответив на первые из них, они потом уже просто замолчали, отказываясь что бы то ни было отвечать, — явное доказательство их вины, как с торжеством отметил хмурый приор. Наконец запас этих омерзительных вопросов иссяк, и Сайсели задали последний — хочет ли она что-нибудь сказать в свою защиту.

— Да, я имею что сказать, — ответила она, — но я устала и вынуждена говорить кратко. Я не ведьма и не понимаю, в чем меня обвиняют. Блосхолмский аббат, выступающий в качестве судьи, мой злейший враг. Он притязал на земли моего отца — теперь он наверно захватил их — и зверски умертвил у Королевского кургана в лесу упомянутого отца моего, когда тот ехал в Лондон, чтобы подать на него жалобу и раскрыть его измену перед его милостью королем и королевским советом…

— Лжешь, ведьма! — крикнул аббат, но Сайсели, не обратив на это внимания, продолжала:

— Потом он и его вооруженные наемники напали на дом моего мужа, сэра Кристофера Харфлита, и сожгли его, умертвив или попытавшись умертвить — я не знаю точно его участи, — означенного супруга моего, который так и пропал без вести. Потом он заточил меня и мою служанку Эмлин Стоуэр в этой обители и пытался принудить меня подписать бумаги, по которым к нему перешло бы мое и моего сына имущество. Я отказалась пойти на это, и именно потому он предал меня суду: говорят, что у осужденных за колдовство отнимают все их достояние, а завладевают им те, у кого хватит силы его удержать. Заявляю, наконец, что не признаю

власти этого трибунала, и обращаюсь с жалобой к королю, который рано или поздно услышит мой вопль и отомстит за нанесенные мне обиды, а может быть и за мою смерть, тем, кто в них повинен. Услышьте эти слова мои, добрые люди! Я обращаюсь к королю и ему одному, после бога, вверяю свое дело, а если мне суждено погибнуть, то и опекунство над моим осиротевшим сыном, которого аббат тоже пытался убить, подослав свою наймитку, гнусную тварь, — да настигнет ее суд божий, как настигнет он и вас, убийцы ни в чем не повинных людей!

Так говорила Сайсели. И, кончив говорить, она, измученная усталостью и горем, упала на пол — ибо в течение всех этих долгих часов ей приходилось стоять на ногах, — да так и осталась лежать с ребенком на руках; жалостное это было зрелище, и тронуло оно даже суеверные души собравшихся здесь людей.

Однако ее слова о том, что она обращается с жалобой к королю, видимо, испугали злобного Старого епископа. Он повернулся к аббату и затеял с ним какой-то спор. Сайсели прислушалась и уловила кое-что из его речей:

— Тогда пусть вся ответственность ложится на вас. Я сужу это дело лишь с церковной точки зрения и прикажу, чтобы в протоколах так и было записано. Что же касается приведения приговора в исполнение и вопроса об имуществе осужденной, то здесь я умываю руки. Занимайтесь этим сами.

— Так говорил Пилат! — крикнула Сайсели, подняв голову и глядя ему прямо в глаза. Потом голова ее снова упала, и она замолкла.

Тут открыла рот Эмлин, и из него полился целый поток слов.

— А известно ли вам, — начала она, — кто такой и что из себя представляет этот испанский священник, который судит нас за колдовство? Послушайте-ка, я вам скажу. Много лет назад он бежал из Испании, потому что натворил там гнусных дел. Спросите-ка его о монахине Изабелле, двоюродной сестре моего отца, о том, какой конец постиг ее и других, что были с нею. Спросите-ка его…

В это время один монах, которому аббат что-то шепнул, подкрался к Эмлин сзади и накинул ей на голову покрывало. Но своими сильными руками она сорвала его и закричала:

— Он убийца и предатель! Он замышляет убить короля. Я могу доказать это, Фотрел потому и погиб, что знал…

Аббат что-то крикнул, и снова монах, здоровенный парень, по имени Амброз, закрыл ей рот покрывалом. Она опять освободилась и, повернувшись к народу, закричала:

— Многим из вас я в свое время помогала. Неужто у меня друга не осталось? Неужто в Блосхолме нет никого, кто отомстит за меня этой скотине Амброзу. Кое-кто, верно, найдется!

Но тут Амброз, с помощью других монахов, набросился на нее, ударил по голове и стал трясти, пока она, задыхаясь, почти лишившись сознания, не упала на пол.

Быстро обменявшись несколькими словами со своими коллегами, епископ вскочил с места и в сумерках, сгущающихся в зале — ибо солнце уже зашло, — прочитал приговор суда.

Прежде всего он заявил, что обвиняемые найдены виновными в злостнейшем колдовстве. Затем он со всей подобающей торжественностью отлучил преступниц от церкви и отдал их души во власть сатаны, их господина. Под конец, как бы между прочим, он приговорил их тела к сожжению, не указав, однако, когда, кто и каким образом должен совершить казнь. В это мгновение из темноты раздался чей-то громкий голос:

— Ты превышаешь свою власть, поп, и посягаешь на права короля. Берегись!

Начался шум; одни кричали «верно», другие — «нет». Когда же все утихло, епископ или, может быть, аббат — разглядеть было невозможно — воскликнул:

— Церковь защищает свои права! Пускай король заботится о своих.

— Да он и позаботится, — ответил тот же голос. — Он уже показал это римскому папе. Монахи, ваша песенка спета.

Опять поднялся ужасающий шум. И правда, вся эта сцена или, вернее, шум, царивший кругом, кому угодно могли показаться странными. Епископ со своего места вопил от ярости, словно курица, потревоженная ночью на насесте; хмурый приор мычал, точно бык; народ волновался и кричал то одно, то другое; секретарь требовал, чтобы ему дали свечу, а когда, наконец, ее принесли и она, как слабая звездочка, замерцала в густом мраке, он трубкой приставил руку ко рту и заорал:

— А как насчет этой Бриджет? Оправдать ее?

Епископ ничего не ответил. Казалось, он испугался тех сил, которые сам же развязал; но аббат крикнул секретарю:

— На костер старую ведьму вместе с другими! — И тот записал это решение в протокол.

Когда стража окружила трех осужденных, чтобы увести их, у перепуганного ребенка вырвался тонкий жалобный крик. А епископ и его спутники, предшествуемые монахом со свечкой в руке — это как раз был

Амброз, ударивший Эмлин, — целой процессией двинулись через зал к парадной двери.

Но не успели они дойти до нее, как свеча была вырвана из руки Амброза, воцарился полнейший мрак, а во мраке поднялась страшная суматоха. Раздавались вопли, шум борьбы, крики о помощи. Понемногу все стихло, зал начал пустеть, ибо ни у кого, по-видимому, не было желания там задерживаться. Зажгли факелы, и глазам оставшихся в зале предстало необычайное зрелище.

Епископ, аббат, чужой приор лежали в разных местах, избитые, окровавленные, одежды с них были сорваны, так что они оказались полуголыми; рядом с епископом валялся его разломанный пополам посох: похоже было, что и обломали его о голову самого епископа. Но хуже всего пришлось монаху Амброзу: он лежал, прислоненный к одному из столбов, поддерживающих свод; ноги его обращены были носками вперед, а лицо смотрело назад, ибо кто-то свернул ему шею, как гусю в Михайлов день.

Епископ огляделся по сторонам и почувствовал, как болят его раны. Потом он позвал свою свиту:

— Принесите мне плащ и подайте лошадь; хватит с меня Блосхолма и всех этих колдовских штук. Теперь вы уж сами распутывайте свои дела, аббат Мэлдон; мне в них что-то не везет. — При этих словах он взглянул на свой сломанный посох.

Так закончился большой процесс блосхолмских ведьм.

Сайсели наконец заснула, и Эмлин оберегала ее сон. Так как никакого другого подходящего помещения не было, их опять отвели в прежнюю комнату, но теперь они находились там под вооруженной стражей, чтобы им не вздумалось бежать. Однако Эмлин хорошо сознавала, что на бегство рассчитывать нечего: даже если бы им и удалось выбраться из стен обители, как смогли бы они скрыться, не имея друзей себе в помощь, пищи, чтобы не умереть с голоду, и лошадей для дальнейшего путешествия? Не пройдя и мили, они оказались бы настигнутыми погоней. К тому же Сайсели не пожелала бы расстаться с ребенком, да и вряд ли была в состоянии куда-либо двинуться после всего, что перенесла. Так Эмлин и сидела без сна, и сердце ее полно было горечи, гнева и страха, ибо она не видела впереди ни малейшего луча надежды. Тьма окружала их со всех сторон.

Дверь открылась, потом ее снова закрыли и заперли на ключ. Из-за занавески выступила высокая фигура настоятельницы со свечой в руках, сверкнувшей во мраке, как звезда. Она стояла и осматривалась, подняв

свечу; и у Эмлин, когда она ее увидела, мелькнула одна мысль: может быть, она, так любившая Сайсели, поможет им? Разве сейчас образ ее — ласковое лицо, свеча во мраке — не представился ей воплощением самой надежды? Эмлин встала навстречу настоятельнице, приложив палец к губам.

— Она спит, не будите ее, — прошептала она. — Вы пришли сказать нам, что завтра мы будем сожжены?

— Нет, Эмлин. Старый епископ велел, чтобы это совершилось не ранее как через неделю: ему надо время, чтобы, проехав через всю Англию, возвратиться домой. По правде говоря если бы не то, что его избили в темноте и свернули шею брату Амброзу, я думаю, он вообще не довел бы дела до казни, чтобы не иметь потом неприятностей. Но сейчас он взбешен, клянется, что в зале на него набросились злые духи и что те, кто их вызвал, должны умереть. Эмлин, кто же убил брата Амброза? Люди или…

— Думаю, что люди, матушка. Дьявол никому шеи не сворачивает — это только монахам такое снится. Кого может удивить, если у моей госпожи сохранились верные друзья? Она ведь самая знатная леди в наших местах, и с ней поступили так жестоко. Наши люди просто перетрусили, а то бы они уже давно камня на камне в этом аббатстве не оставили и глотки бы перегрызли всем, кто скрывается за его стенами.

— Эмлин, — снова начала настоятельница, — во имя Христово и ради спасения своей души, скажи ты мне правду, — есть во всем этом деле колдовство или нет? А если нет, то что же оно все означает?

— Не больше в нем колдовства, чем в вашем добром сердце. Все это сделал человек. Имени его я вам не назову, чтобы вы его как-нибудь не подвели. Человек надел на себя доспехи Фотрелов и потайным ходом пришел в часовню посоветоваться с нами. Человек спалил кельи и скирды аббатства, разогнал скот, надев себе на голову козью шкуру, и вытащил из могилы череп пьяницы Эндрью. Не сомневаюсь, что его же рука свернула шею Амброзу, который меня ударил.

— А! — сказала настоятельница. — Кажется, я теперь догадываюсь; только очень уж у тебя грубое орудие, Эмлин. Ну, не бойся, тайны твоей я никому не выдам. — Она помолчала, потом заговорила опять: — Ох, и рада же я, что вражья сила тут ни при чем! А вот все в это верят. Теперь мне ясно виден мой путь, и я пойду по нему хоть до смерти, если придется. Да, да, я вас спасу или сама погибну.

— Какой путь, матушка?

— Эмлин, в течение всех этих месяцев вы никаких новостей не слышали, но я многое знаю. Слушай, сейчас происходят важные события.

Король, или лорд Кромуэл, или оба они вместе ведут войну против монастырей послабее, уничтожают их, захватывают их владения, прогоняют оттуда монахов и пускают нищими по миру. Его милость посылает в монастыри королевских комиссаров; они там творят суд и расправу. Они и сюда намеревались явиться, но у меня есть друзья и кое-какие свои личные средства — я ведь из хорошего и небедного рода, — и мне удалось их подкупить. Один из этих комиссаров, Томас Ли, как я недавно узнала, ведет расследование в Бэйфлитском монастыре в Йоркшире. А настоятель там мой двоюродный брат Альфред Стакли; от него я нынче утром получила письмо. Эмлин, я отправлюсь к этому жестокому человеку, — все говорят, что он жесток. Я старая и слабая женщина, но я проникну к нему и предложу ему эту древнюю обитель, которой управляю, только бы спасти твою жизнь и Сайсели, а также старой Бриджет.

— Вы поедете, матушка? О, да благословит вас бог! Но как вы это сделаете? Они ведь не дадут вам уехать.

Старая монахиня выпрямилась и ответила:

— А кто имеет право запретить блосхолмской настоятельнице отправиться туда, куда ей нужно? Уж, наверно, не какой-то там испанский аббат. Слуги этого надменного монаха тоже хотели помешать мне в моем собственном доме зайти сюда, в вашу комнату, но я дала им такую отповедь, что они ее не забудут. В моем распоряжении имеются лошади, но что правда, то правда — я не могу ехать одна: сил у меня мало, да и трудно мне будет за пределами монастыря, — я ведь не была в миру уже много лет. Вот мне и вспомнился этот рыжеволосый монастырский батрак, Томас Болл. Говорили мне, что он хоть и чудаковат, но человек смелый, с которым мало кто решается потягаться, и что к тому же он умеет обращаться с лошадьми и знает все дороги. Как ты думаешь, Эмлин Стоуэр, согласится этот Томас Болл стать моим спутником, с разрешения ли аббата или без него? — И она снова посмотрела прямо в глаза Эмлин.

— Может быть, очень может быть; он риска не побоится, по крайней мере таким он мне помнится с моих молодых лет, — ответила та. — Да и предки его в течение ряда поколений служили Фотрелам и Харфлитам и в мирное время и на войне, так что он, без сомнения, любит мою госпожу. Но как с ним сговориться?

— Это не трудно было бы, Эмлин. Он как раз стоит на страже за воротами. Но надо передать ему какой-нибудь условный знак.

Эмлин на миг задумалась, потом сняла с пальца сердоликовый перстень в виде сердца.

— Отдайте ему и скажите, что та, кто носила этот перстень, велит ему сопровождать ту, у кого он в руках сейчас, повсюду, до смерти, если придется. И что это нужно для спасения жизни той, что носила кольцо, и еще другой. Он — человек простой души, и, если аббат не перехватит его, я думаю, он поедет с вами.

Мать Матильда взяла кольцо и надела себе на палец. Затем она подошла к ложу Сайсели и посмотрела на нее и на мальчика, спавшего на ее груди. Протянув над ними свои тонкие руки, она призвала на них обоих благословение божие и пошла к выходу.

Но Эмлин удержала ее за платье.

— Постойте, — сказала она. — Вы думаете, я не понимаю, но ошибаетесь. Вы все отдаете ради нас. Даже если вы останетесь живой и невредимой, эта обитель, которой вы руководили столько лет, будет закрыта, овцам вашим придется разбрестись по свету и голодать на старости лет, а в загоне овечьем, что стоял четыреста лет, поселятся волки. Я очень хорошо это понимаю, и она, — тут Эмлин указала на спящую Сайсели, — тоже поймет.

— Ей ты ничего не говори, — прошептала мать Матильда, — меня может постичь неудача.

— Может, конечно, а может быть, дело и выйдет. Если будет неудача и нас сожгут, бог воздаст вам за ваши старания. Если удача и мы будем спасены, клянусь вам от ее имени, вы не пострадаете. Есть у нас припрятанное богатство; стоит оно многих обителей. Вы и ваши сестры получите свою долю, и комиссар этот не останется внакладе. Пусть он знает, что у нас имеется малая толика заплатить ему за труды и что только блосхолмский аббат может нам в этом помешать. А теперь, миледи Маргарет — кажется, так звали вас раньше и будут звать после, когда вы порвете с попами и монашками, — благословите меня тоже и знайте, что, живая или мертвая, я считаю вас человеком великой и святой души.

Настоятельница благословила ее, удалилась величавой своей походкой, и дубовая дверь сперва открылась, а потом закрылась за нею.

Через три дня аббат навестил их один, без спутников.

— Гнусные и проклятые ведьмы, — сказал он, — я пришел объявить вам, что в следующий понедельник в полдень вы будете сожжены на лужайке против ворот аббатства. И лишь благодаря милосердию церкви не предали вас пытке, чтобы обнаружить сообщников, а я полагаю, у вас их было немало.

— Покажите мне королевский указ на это убийство, — сказала

Сайсели.

— Ничего я тебе не покажу, кроме костра, ведьма. Покайся, покайся, пока не поздно. Адский огонь уже ждет тебя.

— И моего ребенка тоже, милорд аббат?

— Отродье твое возьмут у тебя перед тем, как ты взойдешь на костер, и положат на землю, — он ведь окрещен и слишком юн, чтобы его сжечь. Если кто сжалится над ним — ладно, а нет — на том же самом месте его и похоронят.

— Да будет так, — ответила Сайсели. — Бог мне его дал, он пусть его и спасает. Оставь меня, убийца, наедине с ним. — Тут она повернулась и ушла.

Аббат и Эмлин остались вдвоем.

— Правда, что в понедельник нас сожгут? — спросила она.

— Можешь не сомневаться. Разве что хворост не зажжется. Однако, — медленно произнес он, — если некие драгоценности найдутся и будут вручены мне, дело, возможно, удастся передать на рассмотрение другого трибунала.

— А наши мучения только оттянутся. Боюсь, милорд аббат, что эти драгоценности так и не будут найдены.

— Что ж, тогда вы сгорите, и, может быть, на медленном огне, так как недавно прошли дожди и дрова сырые. Говорят, это ужасная смерть.

— Не сомневаюсь, что вы сами ее испытаете, Клемент Мэлдон, теперь или впоследствии. Но об этом мы поговорим, когда все кончится, — об этом и многом другом. Я имею в виду суд божий. Нет, нет, я не угрожаю, как вы, но так оно и будет. А пока у меня к вам последняя, предсмертная просьба. Я хочу повидать двух человек — настоятельницу Матильду, которой мне надо поведать одну тайну, и Томаса Болла, монастырского слугу у вас в аббатстве, с которым я некогда была помолвлена. Ради себя самого не вздумайте мне отказать.

— Я бы охотно согласился, если бы это от меня зависело, но тут я бессилен, — ответил аббат, с любопытством глядя на нее. Он подумал, что им она, возможно, сообщила бы то, что отказывается открыть ему, — место, где спрятаны драгоценности, — он уж потом заставил бы их сказать, где оно.

— Почему же, милорд аббат?

— Потому что настоятельница куда-то тайно уехала по своим делам, а Томас Болл исчез тоже неизвестно куда. Если они или кто-нибудь из них возвратится до понедельника, ты их увидишь.

— Если же они не вернутся, я увижу их впоследствии, — ответила

Эмлин, пожав плечами. — Это неважно. Прощайте, милорд аббат, пока мы не встретимся у костра.

В воскресенье, то есть накануне казни, аббат явился снова.

— Три дня тому назад, — сказал он, обращаясь к ним обеим, — я предлагал вам на известных условиях возможность сохранить жизнь, но вы, упорствующие в своем злодействе ведьмы, не захотели слушать. Теперь я предлагаю вам единственное, что еще в моей власти, — не жизнь, конечно, для этого уже слишком поздно, но смерть без мучений. Если вы отдадите мне то, чего я домогаюсь, палач отправит вас на тот свет прежде, чем вас коснется пламя, — неважно, как он это сделает. Если же нет, — я уже сказал вам: прошли сильные дожди и, говорят, хворост довольно сырой.

Сайсели слегка побледнела — кто бы не побледнел даже в те жестокие времена! — а затем спросила:

— А что вам нужно такое, что мы можем вам дать? Признание своей вины, чтобы обелить вас в глазах людей? Если так, то этого вы не добьетесь, хотя бы тела наши горели понемножку, дюйм за дюймом.

— Да, я хочу этого, но ради вас самих, а не ради себя, ибо кто признает свою вину и покается, тот может получить отпущение. Однако мне и другое нужно — великолепные драгоценности, которые вы спрятали и которые можно употребить ко благу церкви.

Тогда Сайсели проявила все мужество, которое было у нее в крови.

— Никогда, никогда! — закричала она, обратив на него горящий взор. — Пытайте и убивайте меня, если хотите, но достояния моего вам не похитить. Я не знаю, где находятся эти драгоценности, но, где бы они ни были, пусть там и лежат, пока их не найдут мои наследники или пока они не рассыплются прахом.

Лицо аббата приняло злобное выражение.

— Это твое последнее слово, Сайсели Фотрел?

Она наклонила голову, он же повторил свой вопрос Эмлин, которая ответила:

— Что говорит моя госпожа, то и я скажу.

— Пусть же будет так! — вскричал он. — Наверно, вы, колдуньи, надеетесь на дьявола. Что ж, посмотрим, поможет ли он вам завтра.

— Бог нам поможет, — спокойно ответила Сайсели. — Придет время, и вы вспомните мои слова.

С тем он и ушел.

Глава XII . Костер

Последняя ночь была ужасна. Пусть те, кто следил за этим рассказом, представят себе, в каком состоянии находились эти две женщины — одна из них почти девочка, — которые завтра, под глумленье и проклятия суеверной толпы, должны были безвинно претерпеть мучительную смерть, если, конечно, не считать преступлением затеи Эмлин и Томаса Болла, к которым Сайсели почти не имела отношения. Однако тысячам других, тоже ни в чем не повинным, приходилось претерпевать подобную же, а то и еще худшую участь в те времена, кое-кем именуемые «добрыми, старыми», времена рыцарей и любезных кавалеров, когда даже малых детей пытали и сжигали «святые» и «ученые» мужи, трепетавшие перед дьяволом и его деяниями: ведь считалось, что дьявола можно видеть или хотя бы ощущать его присутствие.

Жестокость их была жестокостью страха. Несомненно, что хотя аббат Мэлдон преследовал и другие священные для него цели, он верил в то, что Сайсели и Эмлин занимались мерзостным колдовством, что они общались с сатаной ради мщения ему, аббату, и потому были слишком большими злодейками, чтобы оставаться в живых. Старый епископ тоже в это верил, верили и хмурый приор и большая часть невежественных людей, что жили в округе и знали об ужасных вещах, творившихся в Блосхолме. Разве некоторые из них не видели взаправду, как злой дух с рогами, копытами и хвостом угонял монастырский скот, а другим разве не встретился призрак сэра Джона Фотрела, который, без сомнения, был также чертом, только в другом облике? О, эти женщины были виновны, несомненно виновны и заслуживали костра! Какое значение имело то, что мужа и отца одной из них убили, а другая тоже претерпела в прошлом горькие, но позабытые уже обиды? По сравнению с колдовством убийство было вещью для всех привычной, незначительным, вполне обычным преступлением, которое всегда может совершиться там, где замешаны человеческие страсти и нужды.

Ужасная это была ночь. Иногда Сайсели ненадолго засыпала, но большую часть времени она молилась. Ожесточившаяся Эмлин не спала и не молилась, лишь раз или два вознесла она мольбу о том, чтобы мщение поразило аббата, ибо вся душа ее возмущалась и гнев душил при мысли о том, что она со своей любимой госпожой должна погибнуть позорной смертью, а враг их будет жить, торжествуя, окруженный почетом. Далее

ребенок, видимо, нервничал и беспокоился, словно некое неосознанное чувство предупреждало его о неминуемой ужасной беде, он не был болен, но, вопреки своему обыкновению, беспрестанно просыпался и плакал.

— Эмлин, — сказала Сайсели уже под утро, но еще до рассвета, когда наконец ей удалось успокоить ребенка и он уснул, — как ты думаешь, сможет мать Матильда помочь нами?

— Нет, нет, и не помышляй об этом, родная. Она стара и слаба, дорога трудная и длинная; ей даже, может быть, и вовсе не удалось добраться до места. Наугад пустилась она в путь, и даже если и попала куда нужно, то, может быть, этот самый комиссар уже уехал, или не пожелал ее выслушать, или, возможно, почему-либо не в состоянии приехать сюда. Чего ему тревожиться о том, что каких-то двух ведьм собираются спечь за сотню миль от него? Это же пиявка, присосавшаяся к какому-нибудь жирному монастырю! Нет, нет, не рассчитывай на нее!

— Во всяком случае, она смелая и верная, Эмлин, и сделала все, что могла. Да будет над нею всегда милость божия! Ну, а что ты скажешь насчет Томаса Болла?

— Ничего, кроме того, что он рыжий осел, который кричать умеет, а лягнуть не смеет, — со злобой ответила Эмлин. — Не говори мне о Томасе Болле. Если бы он был мужчиной, так давно уже свернул бы шею этому мерзавцу аббату, вместо того, чтобы наряжаться козлом и охотиться за его коровами.

— Если то, что говорят, правда, он же свернул шею отцу Амброзу, — слегка улыбнувшись, возразила Сайсели. — Может быть, он просто ошибся в темноте.

— Если так, то это очень похоже на Томаса Болла: он всегда хотел того, что нужно, а делал обратное. Не говори о нем больше, я не хочу встретить свой смертный час с горечью в сердце. Мы теперь погибаем из-за веселых проказ Томаса Болла. Чума на него, безмозглого труса, вот что! А ведь я еще его поцеловала!

Сайсели слегка удивилась ее последним словам, но, решив, что расспрашивать не стоит, сказала:

— Нет, нет, спасибо ему говорю я — он ведь спас моего мальчика от этой гнусной ведьмы.

На некоторое время опять воцарилось молчание, ибо о бедном Томасе Болле и его поведении говорить было уже нечего. Да и не хотелось им спорить о людях, с которыми им уже никогда не придется увидеться. Под конец Сайсели опять заговорила в темноте:

— Эмлин, я постараюсь быть мужественной. Но помнишь, как-то

ребенком я хотела стащить только что сваренные и еще не застывшие леденцы и обожглась. Как мне было больно! Я буду стараться принять эту смерть так, как приняли бы ее мои предки, но, если не устою, ты не подумай обо мне плохо: дух ведь может быть силен, даже когда плоть слаба.

Эмлин молча скрипнула зубами, а Сайсели продолжала:

— Но это не самое худшее, Эмлин. Несколько мучительных минут — и все пройдет, и я усну, чтобы, надеюсь, проснуться в ином мире. Но вот если Кристофер действительно жив, как он будет страдать, когда узнает…

— Молю бога, чтоб он был жив, — перебила ее Эмлин, — ибо тогда уж наверно одним испанским попом станет меньше на земле и больше в аду.

— А ребенок, Эмлин, ребенок! — продолжала Сайсели дрожащим голосом, не обращая внимания на то, что Эмлин прервала ее. — Что будет с моим сыном? Он унаследовал бы все наше родовое достояние, если бы за ним сохранились его права, но кто за него заступится? Они и его убьют, Эмлин, или сделают все, чтобы он погиб, а это одно и то же: ведь иначе им не завладеть землями и имуществом.

— Если так, то все его страдания окончатся, и с тобою в небесах ему будет лучше, — вздохнув, сухо произнесла Эмлин. — Мне ничего больше не нужно: только чтобы ты с мальчиком попала в рай, где все святые и блаженные, а мы с аббатом в ад — там-то, среди чертей, мы и сведем счеты. Да, да, я кощунствую, но несправедливость доводит меня до безумия. Тяжко лежит она у меня на сердце, и тяжесть эту я сбрасываю, говоря горькие слова, но тяжело мне не за себя, а за тебя и за него. Родная моя, ты добрая, милая, господь услышит таких, как ты. Призови же бога, а если он не станет внимать, послушай, что скажу тебе я. У меня есть один способ легкой смерти. Не спрашивай какой, но если в последнюю минуту я нанесу тебе удар, не осуждай меня ни здесь, ни на том свете, ибо то будет удар, нанесенный любящей рукой, оказывающей тебе последнюю услугу.

Казалось, Сайсели не уразумела этих горьких слов, во всяком случае, она не обратила на них внимания.

— Я опять помолюсь, — прошептала она, — хотя боюсь, что врата неба закрыты для меня: ни луча света я не вижу. — И она опустилась на колени.

Долго она молилась, но под конец усталость взяла свое, и Эмлин услышала, что она дышит ровно, как спящая.

«Пусть себе спит, — подумала она. — О, если бы у меня не оставалось сомнений, она бы не проснулась на рассвете! Я почти готова это сделать, но

— что поделаешь? — нет у меня полной уверенности. Я бы отдала драгоценности, но какой смысл отдавать? Эти люди все равно убили бы ее, иначе им не завладеть имуществом. Нет, сердце мое велит мне ждать».

Сайсели проснулась.

— Эмлин, — произнесла она тихим, дрожащим голосом, — слышишь меня, Эмлин? Мне снился сон.

Она замолкла.

— Ладно, ладно, что же тебе снилось?

— Сама не знаю, Эмлин, — смущенно ответила она, — все сразу исчезло. Но ты не бойся, Эмлин; с нами все будет хорошо, и не только с нами, но также и с Кристофером и с ребенком. Да, да, и с Кристофером и с ребенком. — Тут она уронила голову на свое ложе и залилась счастливыми слезами. Потом опять поднялась, взяла на руки мальчика, поцеловала его, улеглась и спокойно уснула.

Тотчас же после этого наступил рассвет, ясное утро, и Эмлин протянул руки навстречу солнцу, полная восторга и благодарности. Ужас исчез из ее сердца так же, как рассеялся ночной мрак. Она тоже поверила, что сам бог внушил надежду Сайсели, и на некоторое время душа ее обрела покой.

Когда около восьми часов утра дверь открылась, чтобы впустить монахиню, принесшую им поесть, та увидела зрелище, преисполнившее ее изумлением. У нее самой, бедняжки, глаза покраснели от слез, ибо, подобно всем в обители, она любила Сайсели, которую ей случалось нянчить, когда та была ребенком, а потому она вместе с другими сестрами провела бессонную ночь, молясь за нее, за Эмлин и за Бриджет — ведь и Бриджет предстояло погибнуть на костре. Она ожидала, что увидит несчастных жертв лежащими на полу и, может быть, потерявшими сознание от страха, а что же было на самом деле? Они сидели у окна, одетые в лучшие свои одежды, и спокойно разговаривали. Право же, когда она вошла в комнату, одна из них — это была Сайсели — даже слегка рассмеялась в ответ на что-то, сказанное другой.

— Доброе утро, сестра Мэри, — произнесла Сайсели. — Скажите мне, вернулась ли настоятельница?

— Нет, нет, и мы не знаем, где она. От нее не было ни одной весточки! Что ж, ей, по крайней мере, не придется увидеть этого ужасного зрелища. Вы хотите что-нибудь передать? Если да, то говорите скорей, пока стража меня не отозвала.

— Спасибо, — сказала Сайсели, — но я думаю, что сама передам ей все, что мне нужно.

— Что? Значит, по-вашему, матушки нашей нет в живых? Неужто нас

постигнет еще и это горе? О, кто мог сообщить вам такую печальную новость?

— Нет, сестра, я думаю, что она жива и что я, тоже еще живая, сама буду с ней говорить.

Сестра Мэри была, видимо, крайне удивлена. Каким образом, спрашивала она себя, заключенные, которых так строго охраняли, могли знать что-либо подобное? Оглядевшись, чтобы убедиться, что никто ее не видит, она сунула в руку Сайсели два каких-то пакетика.

— Храните это на себе до конца вы обе, — шепнула она. — Что бы они там ни говорили, но мы считаем вас ни в чем не повинными и не побоялись совершить ради вас великий грех. Да, мы открыли ковчежец с реликвиями и извлекли оттуда наше самое драгоценное сокровище — кусочек веревки, которой святая Екатерина была привязана к колесу. Мы разделили ее на три части — по одной прядке на каждую из вас. Если вы и вправду не виновны, он, может быть, совершит чудо: или огонь не загорится, или дождь погасит его, или аббат смягчится и пощадит вас…

— Вот уж это будет величайшее чудо, — перебила ее Эмлин с мрачной усмешкой. — Впрочем, мы вам от всего сердца благодарны и сохраним реликвии, если их у нас не отнимут. Но — слышите? — вас зовут обратно. Прощайте, и да благословит вас небо, добрые души.

Снова раздался громкий голос стражника. Сестра Мэри повернулась и убежала прочь, недоумевая: а может быть, обе эти женщины все-таки ведьмы? Иначе как они могли сохранить столько мужества, вести себя так не похоже на бедняжку Бриджет, которая плакала и стонала в своей келье внизу?

Сайсели и Эмлин поели довольно охотно, зная, что в этот день им понадобятся все их силы, и, кончив еду, снова сели у окна, из которого могли видеть, как сотни людей на лошадях и пешком спускались с холма по дороге, ведшей к лужайке против ворот аббатства, хотя сама лужайка скрыта была за деревьями.

— Слушай, — сказала Эмлин. — Тяжело мне это говорить, но очень возможно, что ты видела всего только приятный сон и что, если это так, нас через несколько часов уже не будет в живых. А ведь мне известно, где спрятаны драгоценности, и без меня их никто никогда не найдет. Сообщить мне эту тайну какому-нибудь верному человеку, если представится возможность? Найдется ведь добрая душа — может быть, из числа монашек, которая позаботится о твоем мальчике; ему же драгоценности в будущем очень пригодились бы.

Сайсели немного подумала, потом ответила так:

— Нет, не надо, Эмлин. Я верю, что господь послал во сне своего ангела. А сделать, как ты говоришь, означало бы испытывать его, показать наше маловерие. Пусть тайна эта останется там, где она находится, — у тебя в сердце.

— Велика же твоя вера, — сказала Эмлин, с восхищением глядя на нее. — Ладно, пусть и меня она либо спасет, либо погубит. У тебя ее хватит на двоих.

Монастырский колокол пробил десять, и снизу до них донесся шум шагов и голоса.

— За нами идут, — сказала Эмлин. — Сожжение назначили на одиннадцать, чтобы после этого зрелища народ мог спокойно разойтись на обед. Ну, призови на помощь эту свою великую веру и храни ее крепко ради нас обеих, ибо моя что-то очень слабеет.

Дверь открылась, вошли монахи и вооруженная стража. Командир ее велел им встать и следовать за ними. Они молча повиновались. Сайсели накинула себе на плечи плащ.

— Тебе и без этого будет жарко, ведьма, — сказал этот человек с гнусной усмешкой.

— Сэр, — ответила она, — плащ мне понадобится, чтобы завернуть в него ребенка, когда мы с ним расстанемся. Передай мне мальчика, Эмлин. Вот теперь мы готовы. Нет, незачем нас вести. Убежать мы не можем и не станем усложнять вам дело.

— Бог свидетель, она храбрая девка! — пробормотал офицер своим товарищам, но один из монахов покачал головой и ответил:

— Колдовство! Скоро сатана оставит их на произвол судьбы.

Прошло еще несколько минут, и впервые за столько месяцев они вышли за ворота обители. Здесь их поджидала третья жертва, несчастная, старая, полубезумная Бриджет, завернутая в какую-то простыню, ибо монашеская одежда была с нее сорвана. Глаза у нее дико блуждали, седые пряди волос свисали по плечам; она трясла своей старой головой и с криком молила о пощаде. При виде ее Сайсели вздрогнула, ибо зрелище и впрямь было ужасное.

— Успокойся, добрая моя Бриджет, — сказала она, когда они шли мимо нее, — ты же невиновна. Что тебе бояться?

— Огня, огня! — закричала несчастная старуха. — Я боюсь огня.

Потом им пришлось занять предназначенные для них в этом шествии места, и некоторое время они не видели Бриджет, хотя и не могли не слышать позади себя ее громких жалоб.

Процессия была длинная. Впереди шли монахи и певчие, затянувшие

унылую похоронную песнь на латинском языке. За ними под конвоем двенадцати вооруженных стражников — жертвы, потом монахини, которых заставили присутствовать, а позади и вокруг шествия двигался народ, бесчисленная толпа людей, хотя многие из них жили миль за двадцать отсюда. Перешли через пешеходный мост, у которого находился постоялый двор, тот, что Камбала должна была получить за убийство ребенка. Поднялись на косогор по дороге, грязной от осенних дождей, через рощу, куда открывался потайной ход Томаса Болла, и наконец добрались до лужайки перед высоким порталом аббатства.

Здесь их ожидало ужасное зрелище. В землю вбиты были три только что срубленных дубовых столба толщиной в четырнадцать дюймов, высотой побольше шести футов, таких, что уж наверное не сразу сгорят, а вокруг каждого из них уложены были одна на другую большие связки хвороста, с проходом между ними. Со столбов свисали новые тележные цепи, а поблизости стояли деревенский кузнец и его подмастерье с переносной наковальней и молотом для холодной заклепки этих цепей.

На некотором расстоянии от столбов шествие остановилось. Из ворот аббатства вышел настоятель в облачении и митре, впереди него церковные служки, а позади монахи. Он приблизился к месту, где стояли осужденные, и остановился. Один из монахов вышел вперед и прочел им приговор, которого они так и не поняли, ибо состоял он из латинских фраз и сложных юридических терминов. Затем аббат громким голосом призвал осужденных ради спасения их грешных душ признать свою вину и тем самым заслужить отпущение, прежде чем плоть их пострадает за гнусное преступление — колдовство.

В ответ на это Сайсели и Эмлин только покачали головой, заявляя, что в колдовстве они не повинны и потому каяться им не в чем. Но старая Бриджет дала другой ответ. Громким жалобным голосом объявила она, что она — ведьма, так же как до нее ведьмами были и мать ее и бабка. И собравшаяся толпа с увлечением выслушала рассказ о том, как Эмлин Стоуэр представила ее черту — он был в красных штанах, горбатый, лицом чернявый, с пучком рыжих волос под носом, — а также множество самых невероятных подробностей ее встреч с означенным врагом рода человеческого.

Когда ее спросили, что ей говорил черт, она ответила, что он велел ей околдовать блосхолмского аббата, так как тот был весьма святой человек, очень нужный богу, и делал на земле слишком много добра, а также препятствовал Эмлин Стоуэр и Сайсели Фотрел творить его, дьявола, волю, но дал им возможность сохранить в живых ребенка, которому предстоит

сделаться страшным колдуном. Он сказал ей, кроме того, что бабка Меггс была ангелом (тут в толпе раздался смех), посланным убить означенного ребенка, который был на самом деле его, дьявола, сыном, о чем свидетельствуют черные брови, раздвоенный язык ребенка и соединенные перепонкой пальцы ног. Он также пообещал явиться в образе сэра Джона Фотрела, чтобы спасти ребенка и передать его ей, что он и сделал, прочитав наоборот «Отче наш» и велев ей воспитать ребенка «верным пятиугольнику».

Так бредила несчастная, обезумевшая старуха, а писец тем временем записывал фразу за фразой всю эту чепуху; под конец ей велели поставить под протоколом отпечаток своего пальца, и все это заняло очень много времени. Затем она попросила, чтобы ей даровали прощение и не сжигали, но получила ответ, что это невозможно. Тогда она пришла в ярость и спросила, зачем же ее вынудили нагородить столько лжи, раз все равно сожгут. Услышав этот вопрос, толпа разразилась хохотом, а священник, уже готовый дать Бриджет отпущение, передумал и велел приковать ее к столбу, что кузнец и сделал с помощью своего подмастерья и переносной наковальни.

Тем не менее ее «исповедь» торжественно прочитали Сайсели и Эмлин, после чего их спросили, упорствуют ли они в отрицании своей вины даже теперь, после того как все это выслушали. Вместо ответа Сайсели откинула капюшон с лица своего мальчика и показала, что брови у него вовсе не черные, а золотистые. Она также открыла его ножки, просунула мизинец ему между пальчиками и спросила, есть ли здесь перепонка. Кто-то ответил «нет», но один монах заорал: «Что из того? Сатана может сделать перепонку и снять ее!» Затем он вырвал ребенка из рук Сайсели, положил его на дубовый пенек, принесенный сюда именно для этого, и закричал:

— Пусть ребенок живет или умрет, как богу будет угодно.

Какой-то негодяй, стоявший тут же, ударил мальчика палкой, завопив: «Смерть ведьмину отродью!» Но высокого роста человек, в котором Сайсели узнала одного из арендаторов сэра Джона, подхватил оброненную палку и нанес негодяю такой удар, что тот камнем упал на землю, а потом всю жизнь ходил без одного глаза и с перебитым носом.

С этого момента уже никто не пытался повредить ребенку, который, как известно, по причине всего случившегося с ним в этот день, впоследствии носил прозвище Кристофер Дубовый Пенек.

Люди аббата подошли, чтобы привязать Сайсели к ее столбу, но, прежде чем они прикоснулись к ней, она сняла с себя плащ на шерстяной

подкладке, бросила его йомену, который ударил того парня его же палкой, и сказала:

— Друг, заверни в это моего мальчика и побереги его, пока я не возьму его у тебя.

— Хорошо, леди, — ответил высокий человек, преклонив колено, — я служил твоему деду и отцу, послужу теперь сыну. — И, отбросив палку, он вынул из ножен меч и стал перед дубовым пеньком, на котором лежал ребенок. Никто и не попытался помешать ему, ибо все видели, что другие такие же люди собираются вокруг него.

Теперь кузнец принялся, хотя и довольно медленно, приковывать Сайсели цепью к столбу.

— Слушай, — сказала она ему, — немало лошадей подковал ты у моего отца. Кто бы мог подумать, что ты доживешь до того дня, когда свое честное ремесло обратишь против его дочери!

Услышав эти слова, тот заплакал, отшвырнул свои инструменты и побежал прочь, проклиная аббата. Подмастерье намеревался сделать то же самое, но его поймали и заставили довершить начатое. Потом приковали и Эмлин, так что, в конце концов, все уже было готово для ужасной развязки.

Главный палач — то был повар аббата — положил для растопки несколько сосновых щепок на стоявшую тут же жаровню и, ожидая последнего приказания, громко сказал своему помощнику, что ветер поднялся свежий и колдуньи живо сгорят.



Зрителям велели отойти подальше, и в конце концов они отошли, но многие из них при этом угрюмо перешептывались. Ибо здесь монахам нельзя было собрать только нужных людей, как во время суда, и аббат с тревогой подметил, что среди них его жертвы имеют немало друзей.

«Пора кончать, — подумал он, — пока сочувствие и жалость еще только в зародыше, пока они не превратились в буйный мятеж». И вот он быстро подошел к столбам, встал прямо против Эмлин и, понизив голос, спросил ее, отказывается ли она, как прежде, открыть ему, где спрятаны драгоценности; сейчас он еще может приказать, чтобы их умертвили легким способом, не предавая живыми огню.

— Пусть решает хозяйка, а не слуга, — твердо ответила Эмлин.

Он повернулся к Сайсели и задал ей тот же вопрос, но она промолвила:

— Я уже сказала вам: никогда. Прочь от меня, злодей, ступайте, покайтесь в грехах своих, покуда еще не поздно.

Аббат изумленно взглянул на нее, сознавая, что в таком постоянстве и мужестве есть нечто почти сверхчеловеческое. Он был человек острого ума, наделенный сильным воображением, и мог представить себе, как он сам повел бы себя, находясь в подобном же положении. И хотя он торопился поскорее покончить с этим делом, им овладело величайшее любопытство — откуда у нее берутся такие силы, — и он даже теперь попытался его утолить.

— Обезумела ты, Сайсели Фотрел, или тебя опоили? — спросил он. — Разве тебе не известно, что ты почувствуешь, когда огонь начнет пожирать твое нежное тело?

— Не известно и никогда не будет известно, — спокойно ответила она.

— Ты что, по обещанию сатаны, твоего владыки, умрешь до того, как огонь коснется тебя?

— Да, я верю, что умру до того, как меня коснется огонь, но не здесь и не теперь.

Аббат рассмеялся резким, нервным смехом и громко обратился ко всем собравшимся:

— Эта ведьма говорит, что не будет сожжена, ибо такова воля неба. Правда, ведьма?

— Да, я так сказала. Будьте свидетелями моих слов, добрые люди, — ответила Сайсели ясным голосом.

— Хорошо, посмотрим! — крикнул аббат. — Эй ты, поджигай, и пусть небо или преисподняя спасут ее, если смогут!

Повар-палач подул на свою растопку, но либо он нервничал, либо не наловчился, только прошла минута, а то и больше, пока щепки вспыхнули. Наконец одна разгорелась, и он довольно неохотно наклонился, чтобы взять ее.

И вот тогда, посреди глубокой тишины, ибо весь собравшийся народ,

казалось, затаил дыхание, а старуха Бриджет замолкла, лишившись чувств, за склоном холма послышался чей-то громовой голос:

«Именем короля, остановитесь! Именем короля, остановитесь!»

Все повернулись в ту сторону, и между деревьями показалась белая лошадь: с боков ее, израненных шпорами, струилась кровь, она уже не мчалась галопом, а тащилась, шатаясь от изнеможения, и сидел на ней богатырского вида человек с рыжей бородой. Одет он был в кольчугу и держал в руке топор лесоруба.

— Поджигай хворост! — закричал аббат, но повар, не отличавшийся храбростью, уронил горящие щепки, которые и затухли на мокрой земле.

Теперь лошадь прорвалась сквозь собравшуюся толпу, подминая под себя людей. Длинными судорожными прыжками достигла она кольца, образовавшегося вокруг столбов, и в то мгновение, когда всадник соскакивал с нее, упала на землю, да так и осталась лежать, тяжело дыша, — силы оставили ее.

— Это же Томас Болл! — крикнул кто-то, а аббат продолжал взывать:

— Поджигайте хворост! Поджигайте хворост!

Один из стражников бросился вперед, чтобы снова запалить растопку. Но Томас поспел раньше. Схватив за ножки жаровню, он с такой силой ударил ею стражника, что на того посыпались горячие уголья, а железная клетка жаровни плотно села ему на голову. Томас же крикнул:

— Ты потянулся к огню — ну и получай!

Стражник покатился по земле и вопил от ужаса и боли до тех пор, пока кто-то не сорвал у него с головы раскаленную жаровню. Лицо его оказалось все в полосах, как жареная селедка. Но никто уже не обращал на него внимания, ибо теперь Томас Болл стоял перед столбами, размахивая своим топором и повторяя:

— Именем короля, остановитесь! Именем короля, остановитесь!

— Что это значит, негодяй?

— А то, что я сказал, поп. Ни шагу дальше, не то я раскрою тебе башку.

Аббат откинулся назад, а Томас продолжал:

— Фотрел! Фотрел! Харфлит! Харфлит! Вы все, кто ели их хлеб, живей сюда, разбросайте хворост, спасайте их кровь и плоть. Кто поднимется вместе со мной против Мэлдона и его палачей?

— Я! — ответили ему из толпы. — И я, и я!

— И я тоже! — закричал йомен, стоявший у дубового пенька. — Только я стерегу ребенка. Ну ладно, я заберу его с собой! — и, схватив под мышку кричащего младенца, он побежал к Томасу.

Другие тоже бросились вперед, разбрасывая во все стороны хворост.

— Разбивайте цепи! — снова загремел Болл, и в конце концов сильным мужским рукам удалось это сделать.

Единственные повреждения, которые в этот день оказались у Сайсели, были ссадины, полученные ею, когда рубили цепи. Теперь обе женщины были свободны. Сайсели вырвала ребенка из рук у йомена, который был очень рад, что избавился от него: сейчас предстояла другая работа, ибо стражники аббата уже бросились на них.

— Окружайте женщин, — гремел Болл, — и бей без промаха за Фотрелов, бей без промаха за Харфлитов! Ах ты, поповская собака, вот тебе, именем короля! — И топор его по рукоятку вошел в грудь командира — того самого, который сказал Сайсели, что ей и без плаща будет жарко.

Тут закипел жаркий бой. Сторонники Фотрелов — их было человек двадцать — обступили три дубовых столба кольцом, внутри которого стояли Сайсели, Эмлин и старуха Бриджет, все еще прикованная к своему столбу, так как никто не подумал — да и времени не было — освободить ее. На них напали стражники аббата — свыше тридцати человек, — которых подстегивал сам Мэлдон, взбешенный тем, что жертвы от него ускользнули, больше же всего боявшийся, чтобы слова Сайсели не оправдались и она оказалась бы уже не ведьмой, а пророчицей, вдохновленной свыше.

Трижды отступали нападавшие, но и треть оборонявшихся выбыла из строя, и теперь аббат придумал новый способ покончить с ними.

— Принесите луки, — крикнул он, — и перестреляйте их, луков у них нет!

И стражники побежали за оружием.

Теперь оборонявшимся пришла на помощь сообразительность Эмлин. Болл уже покачал своей рыжей головой и пробормотал, что похоже, будто им всем приходит конец, ибо против стрел ничего не поделаешь, но она ответила:

— А если так, зачем же стоять и ждать, пока нас не раздавят, дурень ты этакий? Надо прорваться, пока стрелы еще не посыпались, и укрыться за деревьями либо в обители.

— Женщина иногда может неплохо придумать, — сказал Болл. — Стройся, фотрелцы, и марш вперед.

— Нет, — вмешалась Сайсели, — сперва освободите Бриджет, а то они, чего доброго, все-таки сожгут ее. Иначе я не пойду.

Бриджет расковали и вместе с несколькими ранеными, поддерживая, потащили прочь оттуда. Началось отступление с боем, довольно, впрочем,

успешное. И все же под конец бойцы не смогли бы устоять, так как женщины и раненые задерживали их, но, к счастью, подоспела помощь. Когда они отходили к роще, теснимые с двух сторон разъяренными стражниками аббата, среди которых было много французов и испанцев, внезапно из-под склона холма, где проходила дорога, показалась мчавшаяся галопом лошадь, на которой сидела верхом женщина, вцепившись обеими руками в гриву, а позади этой всадницы — множество вооруженных людей.

— Смотри, Эмлин, смотри! — вскричала Сайсели. — Кто это? — Она не верила своим глазам.

— Да это же мать Матильда, — ответила Эмлин. — И, клянусь всеми святыми, странный у нее вид!

Вид и вправду был необычный, ибо монашеского покрывала на ней не было, волосы, всегда так заботливо уложенные, разлетались во все стороны, юбка поднялась и спуталась у колен, четки и крест, которые она носила на груди, болтались теперь сзади и били ее по спине, а платье было спереди разорвано. Словом, почтенная пожилая настоятельница никогда еще не появлялась в подобном виде. Она налетела на них, как вихрь, ибо ее испуганная лошадь уже почуяла блосхолмское стойло и, мрачно косясь на своего необычного всадника, ржала вовсю.

— Во имя божие, остановите эту ошалелую скотину!

Болл схватил лошадь под уздцы и так резко осадил ее, что всадница, не удержавшись, перелетела через ее голову и попала прямо в объятия того йомена, который стерег ребенка, и блаженно замерла у него на груди. Впоследствии мать Матильда с обычной своей милой улыбкой говорила, что раньше она и не знала, как приятна может быть близость мужчины.

Когда она наконец сняла руки с его шеи, йомен поставил ее на ноги, заявив, что это потруднее, чем держать под мышкой ребенка. Блуждающий взгляд настоятельницы упал на Сайсели.

— Итак, я поспела вовремя! Ну, никогда и слова теперь не скажу против этой лошади! — вскричала она и, тут же упав на колени, пробормотала благодарственную молитву.

Тем временем следовавшие за нею всадники осадили своих коней и задержались, а стражники аббата и сопровождавшая их толпа тоже остановились, не зная, как поведут себя эти чужие воины, так что Болл и его отряд вместе с женщинами оказались между ними.

Среди вновь прибывших был один толстый неуклюжий человек весьма спесивого вида, видимо привыкший ко всеобщему повиновению. Он выехал вперед и прерывающимся голосом — ибо он задыхался от быстрой езды — спросил, что означает весь этот беспорядок.

— Спросите у блосхолмского настоятеля, — ответил ему кто-то, — это все он натворил.

— Блосхолмский настоятель? Он-то мне и нужен, — надуваясь от важности, произнес толстяк. — Подойдите-ка сюда, настоятель Блосхолмского аббатства, и отдайте отчет во всем, что здесь происходит. А вы, ребята, — обратился он к своей охране, — постройтесь и будьте наготове на случай, если этот священник попытается сопротивляться.

Аббат в сопровождении нескольких монахов тоже выступил вперед и, смерив всадника взглядом, спросил:

— А кто это так грубо требует отчета от рукоположенного настоятеля?

— Рукоположенный настоятель? Рукоположенный павлин, беспокойный, мятежный, предатель-поп, чванливый испанский бродяга, который, говорят, набрал себе шайку наемных головорезов, чтобы нарушать спокойствие в королевстве и убивать добропорядочных англичан. Ладно, рукоположенный аббат, я скажу тебе, кто я такой. Я Томас Ли, посланец его милостивого величества и королевский комиссар, которому поручено обследовать так называемые духовные обители, и прибыл я сюда потому, что присутствующая здесь настоятельница Блосхолмского женского монастыря жаловалась мне на то, как поступаешь ты с некоторыми подданными его величества, коих, заявила она, ты из личной мести и ради присвоения их имущества обвинил в колдовстве. Вот кто я такой, мой преподобный расфуфыренный павлин-аббат.

Едва Мэлдон дослушал до конца эту напыщенную речь, как ярость на его лице сменилась страхом. Он уже знал, что представляет собой этот доктор Ли и какая миссия на него возложена, и понял теперь, что означал крик Томаса Болла: «Именем короля!»

Глава XIII . Посланец

— Кто тут поднял всю эту суматоху? — заорал комиссар. — Почему здесь кровь, раненые и убитые люди? И что вы намеревались сделать с этими женщинами, из коих одна, по всей видимости, не низкого звания? — И он уставился на Сайсели.

— Суматоху поднял вон тот болван, Томас Болл, батрак моего монастыря; он ворвался к нам вооруженный, с криком: «Именем короля, остановитесь!»

— Почему же вы не остановились, сэр аббат? Разве с именем короля шутят? Знайте, что я послал этого человека.

— У него не было никакой грамоты, сэр комиссар, разве что его бычий голос и большой топор заменяли грамоту; я же не остановился, так как мы вершили суд и расправу над тремя зловреднейшими ведьмами.

— Вершили суд и расправу? Что за суд и чей? А у вас-то имеется грамота, разрешающая вам приводить в исполнение приговоры?[50] Если есть, предъявите мне ее.

— Ведьмы эти осуждены были духовным трибуналом, членами которого являлись епископ, приор и я, и во исполнение нашего приговора они должны были на костре искупить свой грех, — ответил Мэлдон.

— «Духовный трибунал»! — загремел доктор Ли. — А разве духовные трибуналы имеют право поджаривать до смерти свободных людей Англии? Если не желаете идти под суд за покушение на убийство, предъявите мне грамоту, подписанную его милостивым величеством королем или членами его королевского суда. Что? Вы не отвечаете? У вас никакой грамоты нет. Я так и думал. Ого, Клемент Мэлдон, испанская собака, висельник, знайте, что за вами давно уже наблюдают, а теперь вы еще, по всей видимости, присваиваете себе королевские полномочия. — Тут он на миг остановился, затем продолжал: — Задержать это духовное лицо и зорко стеречь его, пока я не разберусь в этом деле.

Солдаты из охраны комиссара окружили Мэлдона, его же люди не осмелились помешать им: сражаться они больше не хотели, а разговор о королевской грамоте внушил им страх.

Затем комиссар обратился к Сайсели:

— Вы единственная дочь сэра Джона Фотрела, не правда ли, и утверждаете, что являетесь супругой сэра Кристофера Харфлита? Так, по крайней мере, показала присутствующая здесь настоятельница. Что тут с

вами происходило и почему?

— Сэр, — ответила Сайсели, — я и моя служанка, а также старая монахиня Бриджет были обвинены в колдовстве и приговорены к сожжению вон у тех столбов. Правда, — добавила она, — я-то верила, что мы не погибнем.

— А почему вы верили, леди? Похоже, что пламя едва не добралось до ваших тел, — сказал он, взглянув на столбы и разбросанные связки хвороста.

— Сэр, я верила, потому что господь бог послал мне во сне видение.

— Да, стоя у столба, она клялась, что это правда! — вскричал чей-то голос. — А мы-то думали, сошла с ума.

— Станете ли вы теперь отрицать, что она ведьма? — вмешался Мэлдон. — Если бы она не была из числа слуг сатаны, то могла ли пророчествовать о своем освобождении?

— Ну, если видения и пророчества — доказательства колдовства, тогда, поп, все святое писание просто ведьмин котел, — ответил Ли. — Тогда и блаженная дева Мария и святая Елизавета были ведьмы, а апостолов Петра и Иоанна тоже следовало сжечь. Продолжайте, леди, только свои сновидения вы оставьте до более подходящего времени.

— Сэр, — продолжала Сайсели, — мы и не думали заниматься колдовством, и все мое преступление состоит в том, что я не соглашаюсь признать своего сына незаконнорожденным и передать право на мои земли и имущество этому вот аббату, убийце моего отца, а возможно, и мужа. О, выслушайте, выслушайте меня вы и весь собравшийся здесь народ, и я постараюсь как можно короче поведать вам мою историю. Разрешаете вы мне говорить?

Комиссар кивнул головой, и она стала рассказывать все с самого начала так коротко, так просто, так правдиво и серьезно, что весь народ обступил ее тесным кольцом, стараясь не упустить ни слова, и даже жесткое лицо доктора Ли смягчилось, когда он слушал. Около получаса или немного больше рассказывала она о смерти отца, о своем бегстве и замужестве, о сожжении Кануэл Тауэрс, о том, как она овдовела, если действительно муж ее погиб. О том, как ее заточили в обители и как поступил аббат с нею и Эмлин; о рождении ее ребенка и попытке повивальной бабки, нанятой аббатом, умертвить мальчика. О том, как их судили и приговорили к смерти, хотя они ни в чем не повинны и обо всем, что они претерпели в этот день.

— Если вы невиновны, — крикнул один из монахов, когда она остановилась, чтобы передохнуть, — что же это за существо в образе черта

натворило бед тут в Блосхолме? Разве мы не видели все это собственными глазами?

И тут кто-то громко вскрикнул и указал на деревья: в их тени двигалось какое-то странное существо, а спустя мгновение оно вышло на свет. Еще раз толпа рассыпалась во все стороны — кто туда, кто сюда, — даже лошади закусили удила и помчались прочь. Ибо к ним направлялся сам сатана, которого теперь все могли хорошо видеть. На голове у него торчали рога, сзади болтался хвост, тело было покрыто шерстью, как у зверей, лицо страшное и пестро размалеванное, а в руке он держал острые вилы на длинной рукояти. Люди, очертя голову, пустились наутек; только комиссар, спешившись, стоял неподвижно, может быть просто потому, что оцепенел от страха, а подле него обе женщины и кое-кто из монахинь, в том числе настоятельница, которая упала на колени и принялась бормотать молитвы.

Страшное существо продолжало идти прямо к ним, пока не дошло до королевского посланца. Тут оно отвесило ему поклон, издало бычье мычанье, затем принялось спокойно развязывать какие-то завязки — и, наконец, ужасное одеяние спало с него, и перед всеми предстал Томас Болл.

— Что означает этот маскарад, мошенник? — прохрипел доктор Ли.

— Вы говорите — маскарад, сэр? — усмехнувшись, ответил Томас. — Если так, то, значит, из-за таких маскарадов попы жгут на кострах женщин в нашей веселой Англии. Сюда, люди добрые, сюда! — загремел он во весь голос. — Поглядите-ка на сатану во плоти. Вот его рога. — И он поднял их так, чтобы все видели. — Когда-то они красовались на голове у козла вдовы Джонсон. Вот хвост; немало мух согнал он с живота одной монастырской коровы; вот страшная харя, я ее смастерил, размалевав красками кусок пергамента. Вот грозные вилы, которыми окаянных грешников загоняют туда, где пожарче; сколько угрей поймал я этим трезубцем там, в заводи! Имеется у меня в мешке и еще одна штучка — адское пламя; лучше всего оно получается из серы, смешанной с маслом, подсохшим на очаге. Живо сюда, задарма поглядите на черта в полном параде!

Толпа начала возвращаться, сперва с опаской, потом люди стали брать у него из рук вещи, которые он им протягивал, ощупывали их, пока, наконец, сперва один, другой, а затем уже все не расхохотались.

— Нечего ржать! — заорал Болл. — Что тут смешного, когда благородные леди да и другие, чья жизнь кое-кому дорога, — и он взглянул на Эмлин, — едва не изжарились, как сельди, только потому, что одному бедняге пришло в голову повалять дурака и нарядиться в шкуру, чтобы не

замерзнуть, да вдобавок нагнать страху на злодеев. Слушайте вы все: это я морочил людям голову. Это я Вельзевул[51] да заодно и призрак сэра Джона Фотрела. Я зашел в часовню обители через известный мне потайной ход, спас вот этого младенца от гибели и так напугал убийцу, что она угодила прямо в ад; да, да, ряженый черт отправил ее к настоящему. Зачем я все это сделал? Чтобы защитить невинных и покарать злодея во всей его гордыне. Но злодей схватил невинных, а те не сказали ни слова, чтобы я не пострадал вместе с ними, и… ну, бог мой, остальное все знают! Еще немного, совсем немного, и дело бы плохо кончилось. Но я вовсе не такой дурень, каким притворялся много лет. К тому же у меня был добрый конь и тяжелый топор, а тут, в блосхолмской округе еще немало верных сердец; и вот вам доказательство: славные парни, что сейчас полегли мертвыми. И по земле ходят ангелы, хоть, правда, с виду они на ангелов не похожи. Вот один из них, а вот и другой. — Тут он указал пальцем сперва на толстого, напыщенного комиссара, а затем на растрепанную настоятельницу и добавил: — А теперь, сэр комиссар, за все, что я совершил во имя справедливости, прошу прощения у вас, ибо как на мне красовались чертовы рога и копыта, так вы ныне облачены величием и милосердием самого короля. Иначе аббат и его наемные палачи, которые считают себя господами и над королем и над народом, прикончат меня за все это, как прикончили немало людей и получше. Потому простите меня, ваше всемогущество, простите! — И он бросился перед ним на колени.

— Прощаю тебя, Болл, именем короля прощаю, — ответил Ли: титулы и звания, которые так щедро расточал ему хитрый Томас, польстили ему гораздо больше, чем можно было подумать.

— Я, комиссар его милостивого величества, объявляю, что за все сделанное тобой, а также начатое, но недоделанное ты никакому взысканию не подлежишь и против тебя не может быть возбуждено уголовное или гражданское дело, о чем мой секретарь составит тебе бумагу. Ну, славный парень, вставай, но не рядись больше в перья сатаны — не то, пожалуй, он покажет тебе и когти свои и клюв — это ведь не такая птичка, которую можно дразнить. Давайте-ка сюда этого испанца Мэлдона. Мне надо сказать ему кое-что.

Стали искать и тут и там, но аббата обнаружить не удалось. Солдаты клялись, что они не спускали с него глаз, даже когда старались улепетнуть от черта, однако он, несомненно, исчез.

— Мерзавец от нас ускользнул! — прорычал комиссар, побагровев от ярости. — Разыскать его и схватить! Мой приказ дает на это право любому. Начинайте охоту. Я иду в аббатство, — может быть, лиса укрылась в свою

нору. Пять золотых крон тому, кто поймает этого лицемера и предателя.

Теперь все, ревностно стараясь показать свою преданность королю и заработать кроны, разбрелись на поиски, так что три «ведьмы», Томас Болл, мать Матильда и монахини очутились почти в полном одиночестве и стояли, глядя друг на друга и на лежащих кругом убитых и раненых.

— Пойдемте в обитель, — сказала мать Матильда. — По солнцу я вижу, что наступает время вечерней молитвы, и, видимо, никто нас трогать не станет.

Томас подошел к ее лошади, которая паслась неподалеку, и подвел ее к настоятельнице.

— Ну нет, друг мой, — решительно вскричала та, — пока я жива, видеть не хочу эту зловредную скотину. Теперь я буду ходить пешком, а там пусть меня носят. Дарю тебе этого коня. Он мой, за него заплачено. Сестра, подай мне руку.

— Хорошо я поработал, Эмлин? — спросил Болл, подтягивая подпругу.

— Не знаю, — ответила она, искоса глядя на него. — Сперва ты праздновал труса, так что нас едва не сожгли за твои дела, ну, а потом, что и говорить, обрел разум. Впрочем, если верить тебе, ты его никогда не терял. Повадки твои тоже переменились, вон тот подлец капитан узнал, что ты умеешь обращаться с топором. Так что давай, парень, об этом больше не говорить; по правде сказать, аббат и его шпионы были жестокие хозяева и сломили твой дух своими епитимьями да разговорами об адских мучениях. Ладно, помоги моей госпоже сесть на лошадь, она совсем обессилела, а мне дай опереться на твое плечо. Стоять у столба нелегкое дело.

У Сайсели сохранились лишь очень туманные и путаные воспоминания о второй половине этого дня. Помнилось ей, что в церкви служили благодарственный молебен, и хотя уста ее почти не шептали молитв, сердце зато было преисполнено благодарности. Помнилось и то, что добрая сестра, которая снабдила их прядками из веревки святой Екатерины, получая обратно сохраненные заботливо реликвии, уверяла Сайсели и Эмлин, что спаслись они исключительно благодаря им. Помнилось, что она принимала какую-то пищу и давала мальчику грудь, а затем все исчезло до следующего утра, когда она проснулась и увидела, что солнце заливает ту самую комнату, из которой их вчера вывели, чтобы предать самой мучительной смерти.

Да, она проснулась и увидела, что рядом с нею Эмлин приводит в порядок ее одежду, как она делала в течение многих лет, и тут же на ярком солнце лежит ее мальчик и радостно лепечет, в блаженной своей

невинности даже не ведая о миновавших ужасах. Сперва ей показалось, что она видела очень страшный сон, но постепенно вся правда дошла до ее сознания, и она невольно задрожала — да, теперь, когда вся тяжесть свалилась с ее сердца, она побледнела и задрожала, как осина на ветру.

О, если бы лошадь Томаса Болла обессилела на пять минут раньше, она, в чьих жилах сейчас так горячо билась алая кровь, была бы теперь лишь грудой обгорелых костей. А если бы вера оставила ее и она уступила аббату, так что ему не пришлось бы тратить время на уговоры у костра, Болл тоже явился бы слишком поздно.

Когда они позавтракали, их вызвали к настоятельнице, которая хотела поговорить с ними у себя в комнате. Они отправились к ней, с радостью ощущая, что их уже не держат под замком и они могут ходить куда угодно, и застали ее сидящей в высоком кресле; все тело у нее болело, и она не в состоянии была двинуться. Сайсели подбежала к ней, опустилась на колени и поцеловала ее, а настоятельница благословила молодую женщину левой рукой, так как правую стерла себе о поводья.

— А ведь, по правде говоря, Сайсели, — сказала она, улыбаясь, — это мне бы следовало стать перед тобой на колени, если бы у меня хватило сил. Теперь мне все рассказали, и, выходит, велика твоя вера.

— Да, правда, матушка, — коротко ответила Сайсели, ибо об этих вещах ей не хотелось распространяться, да и впоследствии она не любила много о них говорить, — все исполнилось благодаря вам.

— Дочь моя, я ведь оказалась только орудием; ну, да оставим пока разговоры обо всех этих святых делах. Может быть, потом ты мне о них расскажешь подробнее, а пока обратимся к делам мирским, которые не очень хороши. Твое освобождение куплено было довольно дорогой ценой, дочь моя: этот грубый и безбожный человек, королевский ревизор, сказал мне по дороге сюда, что наша обитель будет закрыта, ее земли и доходы перейдут в казну, а мне и моим сестрам придется на старости лет пропадать с голоду. По правде сказать, для того чтобы он согласился сюда приехать, я вынуждена была сама составить ходатайство об обследовании монастыря и подписать его. Теперь ты видишь, как сильно я люблю тебя, моя Сайсели.

— Матушка, — ответила она, — этого не должно, не может быть.

— Увы, дитя мое, что ты тут сделаешь? Эти ревизоры да и те, кто их посылает, жадный народ. Я слышала, что они повсюду отбирают земли и имущество у таких монахов и монахинь, как мы, и если уж очень повезет, кое-кто из монахов получит жалкое пособие на хлеб насущный. Когда-то у меня были свои средства, но они все ушли на выкуп фермы в долине, которую захватил аббат, и на то, чтобы удовлетворять его дальнейшие

вымогательства.

— Послушайте, матушка. У меня есть богатство, спрятанное, я сама хорошо не знаю где, но Эмлин знает. Оно принадлежит только мне — это семейные драгоценности Карфаксов, перешедшие ко мне от матери. Из-за них-то мы и попали на костер: в обмен на сокровище аббат предлагал нам жизнь, а когда было уже слишком поздно, то более легкий конец, чем смерть от огня. Но я не позволила Эмлин раскрыть ему тайну: какое-то предчувствие было у меня, и теперь я знаю, что поступила правильно. Матушка, мы продадим эти камни и выкупим вашу землю, а может быть, и добьемся у его королевской милости разрешения не закрывать вашу обитель, так чтобы вы с прочими сестрами могли жить в ней и служить богу, как это делалось на протяжении многих поколений. Даю вам клятву от своего имени, от имени моего сына, а также и мужа, если он жив.

— Но если твой муж жив, милая моя Сайсели, ему, возможно, понадобится это богатство.

— Нет, матушка, он его не получит — разве что встанет вопрос о его жизни, свободе или чести. Да и сам он, узнав, что вы сделали для меня и нашего ребенка, с радостью отдаст вам его и все, что у него самого есть; да он будет считать это своим долгом.

— Хорошо, Сайсели, во имя божие и от своего собственного имени — благодарю тебя. Посмотрим еще, посмотрим! Только берегись, чтобы доктор Ли не узнал об этом сокровище. Но где оно спрятано, Эмлин? Не бойся открыть мне тайну; неплохо будет, если ее узнает кто-нибудь, кроме тебя, а я думаю, что опасность для вас миновала.

— Да, скажи, Эмлин, — сказала Сайсели. — Я раньше не расспрашивала тебя, опасаясь своей собственной слабости, но теперь мне любопытно. Здесь нас никто не услышит.

— Хорошо, госпожа, я тебе скажу. Помнишь, в тот день, когда сгорел Крануэл, мы искали убежища в центральной башне, откуда я унесла тебя, бесчувственную, в подземелье? Там мы пролежали всю ночь; и, когда ты была без сознания, я все время ощупывала пальцами стену, пока не обнаружила, что один камень от времени и сырости расшатался, — за ним оказалось пустое пространство. В этой дыре я и спрятала драгоценности; они лежали у меня на груди, завернутые в шелк. Потом я заполнила дыру мусором, собранным с полу, и положила на место камень, укрепив его кусками извести. Это третий камень, если считать от восточного угла, во втором ряду над полом. Туда я их положила, и там они лежат и поныне. Никто их в стене не обнаружит, разве что башню разрушат и сравняют с землей.

В это мгновение раздался стук в дверь.

Когда Эмлин открыла ее, вошла монахиня и сказала, что королевский ревизор хочет побеседовать с настоятельницей.

— Пусть он зайдет ко мне, — я ведь не могу двигаться, — сказала мать Матильда. — А вы, Сайсели и Эмлин, побудьте со мной, при таком разговоре не плохо иметь свидетелей.

Минуту спустя появился в сопровождении своих секретарей доктор Ли; он был пышно разодет и тяжело дышал, так как ему пришлось подняться по лестнице.

— К делу, к делу, — произнес он, не успев даже как следует ответить на приветствие настоятельницы. — Монастырь ваш секвестрирован по вашему собственному ходатайству, сударыня, поэтому мне незачем заниматься предварительным обследованием. Впрочем, я готов признать, что, по всем данным, слава у него неплохая: никаких скандальных историй о нем неизвестно — может быть, потому, что все вы уже вышли из возраста, когда занимаются шалостями. Предъявите-ка теперь все документы, акты на владение землей и данные по доходам от аренды, чтобы я мог принять их от вас по должной форме и объявить о закрытии обители.

— Сейчас я за ними пошлю, — смиренно ответила настоятельница, — а пока скажите же мне, что нам, бедным монахиням, теперь делать? Мне шестьдесят лет, и сорок из них я прожила в этом доме. Среди сестер тоже нет молодых, а некоторые еще старше меня. Куда нам деваться?

— Живите в миру, сударыня. Вы найдете, что там неплохо и для всех места хватает. Бросьте гнусавить молитвы, откажитесь от грубых суеверий — да, кстати, не забудьте передать нам все ценные ковчежцы для мощей и другие папистские эмблемы, отлитые из драгоценных металлов, которые у вас имеются, — и ступайте в широкий мир. Выходите замуж, если сможете найти мужей, занимайтесь полезными ремеслами. Делайте, что вам вздумается, и благодарите короля, который освобождает вас от бремени нелепых обетов и из плена монастырских стен.

— Вы даруете нам свободу умирать с голоду. Понимаете ли вы, сэр, что делаете? Сотни лет жили мы в Блосхолме и в течение ряда поколений молились богу о душах людей и заботились о их земных нуждах. Никому мы не делали зла, а все, что получали от своей земли или от благочестивых деятелей, раздавали щедрой рукой, ничего себе не оставляя. Множество бедняков питалось у наших ворот, мы ухаживали за больными, обучали детей. Часто мы отказывали себе во всем, чтобы побольше раздавать. Теперь вы гоните нас из обители на верную гибель. Если на то воля божия,

ничего не поделаешь; но что будет с бедняками Англии?

— Это, сударыня, дело Англии и ее бедняков. Теперь же, как я вам уже сказал, времени у меня мало. Я тороплюсь в Лондон доложить об этом вашем аббате: он настоящий мерзавец и я многое разузнал о его злодейских кознях. Поэтому прошу вас поскорее послать кого-нибудь за документами.

В этот миг вошла монахиня, неся поднос с печеньем и вином. Эмлин приняла его от нее и, налив вина в кубки, предложила ревизору и секретарям.

— Славное вино, — сказал он осушив кубок, — весьма благородное вино. Вы, монашки, приготовляете самые лучшие наливки. Пожалуйста, не забудьте включить его в инвентарь. Вы, милая моя, кажется, одна из тех, кого этот аббат намеревался сжечь? Да, да, а это ваша хозяйка, госпожа Фотрел или госпожа Харфлит? Мне как раз надо сказать ей два слова.

— Я к вашим услугам, сэр, — сказала Сайсели.

— Так вот, сударыня, вы и ваша служанка избежали костра, к которому, насколько я мог судить, вас приговорили без каких-либо оснований. Однако осудил вас компетентный духовный трибунал, и его решение остается в силе, пока король не дарует вам прощения, если ему угодно будет это сделать. Поэтому, я полагаю, что вам следует ожидать здесь его волеизъявления.

— Но сэр, — сказала Сайсели, — если добрым сестрам, приютившим меня, придется уйти отсюда, как же мы сможем жить в их доме одни? Вы, однако, говорите, что я не должна его покидать; и действительно, если бы даже мне и можно было его покинуть — куда я пойду? Дом моего мужа сожжен, мой собственный дом захвачен аббатом. С другой стороны, если я и здесь останусь, он тем или иным способом погубит меня.

— Мерзавец скрылся, — сказал доктор Ли, почесывая себе подбородок.

— Да, но он возвратится или же пришлет кого-либо из своих людей, а вы сами знаете, сэр, что эти испанцы злопамятны; я же долго с ним враждовала. О сэр, я молю короля оказать покровительство моему ребенку и мне, а также Эмлин Стоуэр.

Комиссар продолжал почесывать подбородок.

— Вы можете дать ценные показания против этого Мэлдона — не так ли?

— Да, — вмешалась Эмлин, — такие, что его можно будет десять раз повесить; и я тоже дам показания.

— И у вас имеются большие поместья, которые он захватил, — верно?

— Имеются, сэр, ибо род мой знатный и положение высокое.

— Леди, — промолвил он уже гораздо более почтительным тоном, — отойдите в сторону; мне надо с вами переговорить с глазу на глаз. — С этими словами он направился к окну, и она пошла за ним. — Скажите-ка мне, какова была стоимость вашего имения?

— Точно не знаю, сэр, но от отца слышала, что оно приносило около трехсот фунтов дохода.

Ревизор сделался еще почтительнее, ибо по тем временам это было большое состояние.

— Вот как, миледи. Большие деньги, весьма хорошее состояние, если вам удастся получить его обратно. Буду говорить с вами откровенно. Королевские комиссары не очень хорошо оплачиваются, расходы же у них большие. Если я устрою дела ваши таким образом, что вы получите обратно свое состояние и приговор за колдовство, вынесенный вам и вашей служанке, будет отменен, обещаете вы заплатить мне сумму, равную годовому доходу с вашего имущества, в возмещение тех затрат, которые мне придется сделать во время хлопот по вашему делу?

Теперь подумать надо было Сайсели.

— Разумеется, — наконец ответила она, — если вы сделаете еще одно — оставите добрых сестер спокойно доживать в их обители.

Он покачал своей большой головой.

— Сейчас это уж невозможно. Дело получило чересчур широкую огласку. Лорд Кромуэл скажет, что меня подкупили, и я, чего доброго, потеряю должность.

— Хорошо, — продолжала Сайсели, — тогда, если вы обещаете, что на один год их оставят в покое для того, чтобы они могли устроить как-нибудь свое будущее.

— Это я могу сделать, — сказам он, кивнув головой, — на том основании, что вели они здесь ничем не опороченную жизнь и защищали вас от врагов короля. Но в этом мире все непрочно. Я должен просить вас подписать одни документ; в нем вы признаете, что получили от меня заем в триста фунтов, которые будут возвращены мне с процентами после того, как вы вступите во владение своим имуществом.

— Составьте его, и я подпишу, сэр.

— Отлично, сударыня. Теперь, поскольку мы обо всем договорились, вы поедете со мной в Лондон, где будете в безопасности. Отправимся мы не сегодня, а завтра, с рассветом.

— В таком случае со мной должна поехать и моя служанка Эмлин, сэр, чтобы помогать мне с ребенком, а также Томас Болл, ибо он может доказать, что колдовство, за которое нас осудили, всего-навсего его

проделки.

— Да, да, но дорожные расходы на троих будут весьма значительны. Есть у вас какие-нибудь деньги?

— Да, сэр. У Эмлин в одном из ее платьев зашито около пятидесяти фунтов золотом.

— А! Сумма вполне достаточная. Она даже слишком крупная, чтобы в наше беспокойное время вы могли одни везти ее без риска. Не дадите ли мне на хранение половину?

— С удовольствием, сэр, я вам вполне доверяю. Выполните только свое обязательство, а я буду твердо держаться моего.

— Хорошо. Когда Томасу Ли идут навстречу, он в долгу не остается — это всякий признает. Сегодня вечером я принесу документ, а вы мне передадите на хранение двадцать пять фунтов.

Затем он в сопровождении Сайсели вернулся туда, где сидела настоятельница, и сказал:

— Мать Матильда — ведь, кажется, таково имя ваше в иночестве? — леди Харфлит просила меня за вас, и ввиду того что вы так благородно обошлись с нею, я обещал от имени короля, что вы и ваши монашки будете жить здесь еще один год, с этого дня, после чего безропотно передадите свой монастырь его величеству; я же исходатайствую для вас пенсию.

— Благодарю вас, сэр. Для старого человека год отсрочки — большое дело. За год многое может приключиться, например — моя смерть.

— Не благодарите меня, — я просто человек, поступающий, как велят ему долг и справедливость. Документы, которые вы должны подписать, готовы будут после обеда. Кстати, скажу вам, что леди Харфлит со своей служанкой, а также этот смелый и умный парень, Томас Болл, завтра утром едут со мною в Лондон. Она вам все объяснит. В три часа я буду у вас.

Ревизор и его секретари вышли из комнаты так же спесиво, как вошли. Оставшись втроем с матерью Матильдой и Эмлин, Сайсели объяснила им, что произошло.

— Думаю, что ты правильно поступила, — сказала настоятельница, выслушав все до конца. — Человек этот — жадная акула, но лучше пусть он откусит тебе палец, чем проглотит всю целиком. А насчет нас ты, конечно, хорошо поторговалась — мало ли что может случиться за год? К тому же, дорогая Сайсели, в Лондоне тебе будет безопаснее, чем здесь. В надежде на такие деньги, как триста фунтов, этот комиссар будет беречь тебя как зеницу ока и продвинет вперед твое дело.

— Если кто-нибудь не пообещает ему побольше, например тысячу фунтов, чтобы он, наоборот, ставил палки в колеса, — вмешалась Эмлин.

— Ну, да иного выхода не было, а бумажные обязательства ничего не стоят. Вот добрых двадцати пяти фунтов золотом мне жалко. Теперь же, матушка, нам надо собраться, а дела много. Прошу вас, пошлите кого-нибудь разыскать Томаса Болла; он, наверно, тут, неподалеку. Раз уж мы теперь не заключенные, я хотела бы пройти вместе с ним по одному делу, о котором вы, может быть, догадываетесь. В городе Лондоне нам могут понадобиться средства. Надо также раздобыть лошадей для нас самих и для багажа и еще о многом позаботиться.

Томаса Болла вскоре разыскали: он спал в одном из соседних домов, ибо после своих приключений и триумфа основательно выпил и долго не мог проснуться. Узнав об этом, Эмлин задала ему хорошую головомойку, заявила, что он не человек, а пивной бочонок, и наговорила много других неприятных слов. Под конец он вышел из себя и ответил, что не будь этого пивного бочонка, она сейчас была бы кучкой пепла. Тут она перевела разговор на другое и сообщила ему, в чем они нуждаются, а также о том, что ему предстоит сопровождать их в Лондон. На это он ответил, что к утру оседланы будут хорошие кони, благо он знает, где их раздобыть: в конюшне аббатства еще остались лошади, которым пробежка не повредит. Добавил он также, что рад будет на некоторое время расстаться с Блосхолмом: здесь у него со вчерашнего дня завелись враги — все те, чьи друзья лежат раненые или ждут погребения. После этого Эмлин шепнула ему что-то на ухо, и он в знак согласия кивнул головой, сказав при этом, что мешкать не станет и скоро будет готов.

В тот же вечер Эмлин отправилась куда-то верхом вместе с хорошо вооруженным Томасом, объяснив, что хочет испытать коней, на которых им предстоит завтра ехать. Вернулась она поздно — было уже совсем темно.

— Ну что, достала? — спросила Сайсели, когда они остались вдвоем у себя в комнате.

— Да, — ответила Эмлин. — Все до единой. Но кое-где каменная кладка обвалилась, и трудно было пробраться в подземелье. По правде сказать, без Томаса Болла с его бычьей силой мне самой никогда бы не справиться. К тому же аббат побывал уже там до нас и изрыл весь пол. Но, дурень такой, о стене он и не подумал так что все хорошо. Половину вещей я зашью в свою нижнюю юбку, половину в твою, чтобы риска было меньше. На случай, если нападут грабители, деньги, что нам оставил этот загребущий ревизор (я ведь половину отдала ему, когда ты подписала документ), мы будем открыто держать в кошельках на поясе. Дальше они искать не станут. О, чуть не забыла: кроме драгоценностей, у меня еще кое-

что есть, вот оно. — С этими словами Эмлин вынула из-за корсажа пакет и положила его на стол.

— Что это? — спросила Сайсели, недоверчиво глядя на грязный лоскут парусины, в который он был завернут.

— Откуда мне знать? Разрежь и посмотри. Я знаю только, что, когда я стояла у ворот обители и ждала Томаса, который отводил лошадей в конюшню, какой-то человек в широком плаще вынырнул из-за завесы дождя и спросил, не Эмлин ли я Стоуэр. Я сказала «да»; тогда он сунул мне это в руку, велел непременно отдать леди Харфлит и исчез.

— У этого пакета такой вид, точно он прибыл из-за моря, — прошептала Сайсели, дрожащими пальцами торопливо вспарывая его. Наконец парусиновая оболочка была вскрыта, внутренний запечатанный конверт тоже, и в нем, среди прочих документов, оказался небольшой сверток пергаментных листков, покрытых корявыми, неразборчивыми письменами. Однако на обороте они смогли разобрать названия «Шефтон» и «Блосхолм», начертанные более крупными буквами. Что-то написано было и каракулями сэра Джона Фотрела, а под этой записью стояло его имя и другие, среди которых были имена отца Нектона и Джефри Стоукса. Сайсели некоторое время смотрела на документы, потом сказала:

— Эмлин, я узнаю эти пергаментные листки. Их мой отец взял с собой, когда ехал в Лондон, чтобы опровергнуть домогательства аббата, а вместе с ними были показания об изменнических речах, которые аббат вел в прошлом году в Шефтоне. Да, эту внутреннюю обшивку делала я сама из полотняных тряпок, взятых в коридорном стенном шкафу. Но как они сюда попали?

Не ответив ни слова, Эмлин взяла разрезанную материю и потрясла ее. Не замеченная ими раньше полоска бумаги упала на стол.

— Может быть, тут мы найдем объяснение, — сказала она. — Прочитай, если сможешь. Тут, на внутренней стороне, что-то написано.

Сайсели схватила полоску бумаги. И так как исписана она была разборчивым почерком умелого писца, прочитала ее без труда, только голос ее дрожал. Вот что было в записке:

Миледи Харфлит!

Это бумаги, которые Джефри Стоукс спас, когда погиб ваш отец. Они были отданы на хранение тому, кто вам сейчас пишет, далеко в заморских землях, и он возвращает их, не вскрыв. Супруг ваш жив и здоров, так же как и Джефри Стоукс, и хотя их задержали в пути, сэр Кристофер, без сомнения, сумеет добраться до Англии, куда не торопился возвращаться,

думая, как и я думал, что вас нет в живых. Есть причины, мешающие мне, его и вашему другу, повидаться с вами или написать обстоятельнее, ибо долг призывает меня в другое место. Когда он будет выполнен, я разыщу вас, если буду жив. Если нет, то ждите спокойно, пока не обретете вновь свое счастье; я надеюсь, что это случится.

Некто, горячо любящий вашего супруга, а ради него — и вас.

Сайсели положила записку на стол, и из глаз ее хлынул поток слез.

— О, жестокий, жестокий, — рыдала она, — сообщить мне так много и вместе с тем так мало! Впрочем, нет, я просто неблагодарная дрянь, ведь Кристофер жив, и я дожила до того, что узнала об этом, хоть он и считает меня умершей.

— Клянусь душой, — сказала Эмлин, когда ей удалось успокоить Сайсели, — этот человек в плаще просто король всех вестников. Знай я только, что он принес, я бы у него все выпытала, даже если бы мне пришлось вцепиться в него, как жена Пентефрия вцепилась в Иосифа Прекрасного[52]. Ну что ж, Иосиф скрылся, а на безрыбье и рак рыба, да и рак-то не плохой. К тому же ты получила документы, которые сейчас тебе особенно необходимы и, что еще лучше, письменное свидетельство, по которому предатель Мэлдон угодит на эшафот.

Глава XIV . Джекоб и драгоценности

Путешествие в Лондон было для Сайсели делом необычным: никогда еще не отъезжала она больше чем на пятьдесят миль от своего дома, и лишь однажды, еще ребенком, провела месяц в городе, когда гостила у тетки в Линкольне. Правда, путешествовала она с удобствами, так как комиссар Ли не любил себя утруждать: по этой причине они пускались в дорогу поздно, а останавливались на ночлег рано, либо в какой-нибудь гостинице получше (если вообще в те времена существовали сносные гостиницы), либо в одном из монастырей, где он требовал всего самого лучшего, что только могли предложить ему перепуганные монахи. С ними, как заметила Сайсели, он обходился очень сурово: бранился, угрожал, производил тщательное обследование, зачастую обвинял их в преступлениях, которых они не совершали, и под конец вымогал большие взятки даже в тех случаях, когда в данное место ему никакого поручения не давалось, грозя, что вернется позже. Он также принимал доносчиков и записывал все скандальные сплетни и клеветнические сведения, которые они сообщали ему о тех, чей хлеб ели.

Поэтому еще задолго до того, как они увидели Черинг Кросс, Сайсели возненавидела этого спесивого, властного и жадного человека, который скрывал жестокость под личиной добродетели и, преследуя свои личные цели, произносил громкие слова о боге и короле. Однако, наученная горьким опытом, она умела скрывать свои чувства, так как боялась нажить врага в человеке, имевшем возможность погубить ее, и скрепя сердце принудила к этому Эмлин. Дело осложнялось и тем, что Сайсели была красива и некоторые из спутников ревизора заговаривали с нею так, что не понять их было невозможно. Кончилось все это тем, что, налетев на одного из них, Томас Болл задал ему такую взбучку, какой тот еще никогда не получал, после чего возникли неприятности, от которых пришлось откупаться деньгами.

Однако в целом все шло не так уж плохо. Королевскому ревизору и его спутникам никто повредить не смел; осень стояла погожая, мальчуган ничем не болел, а места, по которым они проезжали, были для Сайсели полны новизны и интереса.

Наконец однажды, выехав из Барнета, они к вечеру добрались до столицы, показавшейся ей чудесным городом, — никогда еще не видала она такого множества домов и людей, деловито сновавших взад и вперед по

узким улицам, которые с наступлением темноты освещались фонарями. Тут произошел оживленный спор, где им остановиться. Доктор Ли сказал, что он знает один дом, который им вполне подошел бы, но Эмлин и слышать об этом не хотела: она уверена была, что там их обворуют; мысль о драгоценностях, которые они втайне от всех хранили на себе, не давала ей покоя. Вспомнив о двоюродном брате своей матери, золотых дел мастере, по имени Смит, который еще года два тому назад был жив и обитал в Чипсайде, она заявила, что непременно его разыщет.

Они отправились в Чипсайд, взяв в качестве провожатого одного из писцов ревизора — не того, которого поколотил Болл, а другого, — и, наконец, поискав немного, обнаружили в глубине одного двора довольно невзрачный дом Джекоба Смита с тремя шарами вместо вывески. Эмлин спешилась и, так как дверь оказалась не запертой, вошла в дом, где ее встретил седобородый старик в поднятых на лоб роговых очках и с такими же, как у нее самой, черными глазами — ведь у них обоих текла в жилах цыганская кровь.

Разговора их Сайсели не слышала, но старик вышел к ней вместе с Эмлин и довольно долго осматривал ее и Болла с ног до головы, словно снимал с них мерку. Наконец он сказал, что от своей родственницы, которой не видел уже лет тридцать, он узнал, что обе они и их слуга хотят снять помещение; свободные комнаты у него есть, и они могут получить их за соответствующую плату.

Сайсели спросила, сколько это будет стоить, и, когда он назвал сумму — десять шиллингов серебром в неделю за всех троих и их лошадей, которые будут помещены в конюшне неподалеку, — велела Эмлин выдать ему один фунт золотом вперед. Он взял деньги, надкусил золотые монеты, чтобы убедиться в их качестве, но не спрятал в карман, а предложил жильцам сперва осмотреть помещение. Они прошли в комнаты и, найдя их чистыми и удобными, хотя и несколько темноватыми, заключили сделку с хозяином, после чего отпустили своего провожатого-писца с поручением сообщить адрес доктору Ли, пообещавшему известить их о ходе дела, как только ему удастся продвинуть его.

Когда он ушел, а Томас Болл в сопровождении подмастерья отвел в конюшню верховых и вьючную лошадь, старик стал вести себя иначе, пригласил их в комнату для посетителей, расположенную за мастерской, и послал свою домоправительницу, женщину не очень молодую, но приятной внешности, приготовить для всех еду. Сам же принялся угощать их всевозможными наливками из приземистых голландских бутылок. Он проявлял необыкновенную любезность, уверяя, что очень счастлив

повидать родственницу, ибо теперь у него совсем не осталось близких людей — жена и двое детей умерли во время одной из частых в Лондоне эпидемий. К тому же родился он в Блосхолме, хотя и уехал оттуда полвека назад, знал деда Сайсели и мальчишкой играл с ее отцом. И он, как человек веселый и разговорчивый, стал засыпать их бесконечными вопросами о том и о сем, но они сочли более осторожным на некоторые из них не отвечать.

— Ага! — сказал он. — Вы хотите испытать меня, прежде чем довериться. Да и кто вас за это осудит в нашем жестоком мире? Но, может быть, я больше знаю о вас, чем вы думаете; ведь у меня такое ремесло, что мне приходится многое узнавать. Вот, например, слышал я о том, что в Блосхолме недавно был суд над ведьмами, довольно плохо окончившийся для некоего аббата, а также об исчезновении знаменитых драгоценностей Карфаксов, что весьма огорчило этого святого человека. Да, драгоценности, говорят, были самые настоящие: я, по крайней мере, слышал, что среди них имелись две розовые жемчужины, достойные королевской сокровищницы. Жалко, что они утеряны: ведь их владелицей была бы миледи, а мне, скромному золотых дел мастеру, очень хотелось бы на них взглянуть. Ну ладно, ладно; может быть, я их все-таки увижу: утерянное иногда снова находят. А вот и обед наш поспел; кушайте, кушайте, потом побеседуем.

Так прошла первая из многих приятных трапез, которые они разделяли со своим хозяином — Джекобом Смитом. Эмлин потихоньку навела о нем справку у всех соседей и узнала, что ее родственник пользуется самой доброй славой и всеобщим доверием.

— Так почему же и нам не довериться ему? — спросила Сайсели. — Нам ведь очень нужны друзья и люди, которым мы могли бы верить.

— Даже в отношении драгоценностей, госпожа?

— Даже и в этом отношении: ведь драгоценности — по его части; у него в железном сундуке они были бы сохраннее, чем зашитые на живую нитку в наших платьях: я из-за них ни днем ни ночью покоя не имею.

— Все-таки лучше обождем, — ответила Эмлин. — Когда они окажутся у него в сундуке, — кто знает, удастся ли нам вообще извлечь их оттуда?

На другой день после этого разговора к ним явился ревизор Ли и принес не очень приятные новости. По его словам, лорд Кромуэл заявил, что поскольку блосхолмский настоятель притязал на шефтонские земли, а теперь его права перешли или скоро перейдут к королю, король сам выступает как притязатель и от своих требований не откажется. К тому же деньги при дворе сейчас так нужны, тут доктор Ли бросал на них жесткий взгляд, что и речи не может быть об отказе от каких-либо ценностей, разве

что за соответствующее возмещение. При этих словах он взглянул еще жестче.

— А откуда у миледи средства на это возмещение? — резко вмешалась Эмлин, опасаясь, как бы Сайсели себя не выдала. — Сейчас она лишь бездомная нищая, у которой едва наберется несколько фунтов золотом; и даже если бы ей удалось получить свое имущество, вашей милости известно ведь, что доходы с него за первый год уже обещаны.

— Ах, — с грустным видом произнес доктор, — дело, разумеется, обстоит плохо. Однако, — хитро добавил он, многозначительно подчеркивая свои слова, — только недавно дошел до меня слух, будто у леди Харфлит есть припрятанное богатство, доставшееся ей от матери, — разные ценные украшения и тому подобные вещи.

Сайсели вся вспыхнула, ибо маленькие глазки доктора Ли буквально влились в нее, а притворяться она не умела. Но с Эмлин дело обстояло иначе: та умела с волками выть по-волчьи.

— Послушайте, сэр, — сказала она, напуская на себя таинственность, — вам сказали правду. Были у нас разные ценные вещи. Зачем бы нам скрывать это от вас, нашего друга? Но — увы! — они у этого жадного мерзавца аббата. Он ощипал мою бедную леди, как птичку, которую собираются изжарить. Отберите их у него, сэр, и могу поручиться, что она отдаст вам половину, — ведь правда, миледи?

— Разумеется, — ответила Сайсели. — Доктору, которому мы стольким обязаны, я с радостью отдам половину всех ценностей, которые он сможет отобрать у аббата Мэлдона. — Она замолкла, ибо ложь застряла у нее в горле. Вдобавок она чувствовала, что побагровела, как пион.

По счастью, комиссар этого не заметил, а если заметил, то приписал волнению или гневу.

— Аббат Мэлдон, — проворчал он, — вечно аббат Мэлдон! И гнусный же ворюга этот высокомерный испанец, которому нипочем оставить человека сиротой, а потом еще обобрать его. К тому же он еще злодей и изменник. Знаете ли вы, что он сейчас поднимает на севере мятеж? Ну, я еще увижу, как его вздернут на дыбу! А есть у вас список этих ценных вещей?

Сайсели дала отрицательный ответ, а Эмлин добавила, что его придется составить по памяти.

— Хорошо. Завтра или в ближайшие же дни я опять зайду, а пока не бойтесь, я с вашего дела глаз не спущу, как кошка с воробья. Ах ты, крыса поганая, испанский аббат, подожди у меня, запущу я когти в твою жирную спину! До свидания, миледи Харфлит, до свидания, госпожа Стоуэр; мне

надо идти возиться с другими попами немногим получше этого. — И он удалился, бормоча проклятия по адресу аббата.

— Ну вот, теперь, кажется, настало время довериться Джекобу Смиту, — сказала Эмлин, когда дверь за ним закрылась. — Тот еще может оказаться честным человеком, а уж этот доктор наверняка мошенник. К тому же он что-то прослышал о драгоценностях и подозревает нас. А вот и вы, кузен Смит, заходите, пожалуйста, нам с вами надо побеседовать. Заходите и, будьте добры, закройте за собой дверь.

Через каких-нибудь пять минут все до единой драгоценные вещи лежали на столе перед старым Джекобом, который смотрел на них круглыми от изумления глазами.

— Драгоценности Карфаксов, драгоценности, о которых я так часто слышал! Те самые, которые старый крестоносец отнял у одного султана на востоке, где о них доныне идет молва. Сокровище султанов, если только оно не прямо из Нового Иерусалима[53], где эти украшения носили ангелы. И вы говорите, что вы, две женщины, везли такие бесценные вещи зашитыми в ваши плащи, которые, как я сам убедился, у вас валяются где попало? Правда, у женщин вообще разума нет, но таких дур я еще никогда не видел! А ведь спутником у вас был доктор Ли, который у ребенка способен стащить игрушку!

— Дуры мы или нет, — едко возразила Эмлин, — но вот они в целости и сохранности, хотя и подвергались некоторому риску. И потому я прошу вас взять их на хранение, кузен Смит.

Старый Джекоб прикрыл драгоценности скатертью и понемногу переложил их к себе в карман.

— Мы на верхнем этаже, — объяснил он, — и дверь заперта, но кто-нибудь мог поставить лестницу и заглянуть в окно. Находись я на улице, я бы по игре отраженного в них света сообразил, что на столе лежат драгоценности. Даже у себя в кармане я и в течение часа не могу считать их сохранными. — С этими словами он подошел к стене, нащупал пальцами какое-то место в деревянной обшивке; панель отошла, открыв тайник, в котором лежали различных размеров пакеты и свертки, и среди них он разместил драгоценности, но не все. Потом он подошел к другим панелям и открыл их точно таким же способом: там тоже лежали пакеты, и за ними он разместил остальные вещи.

— Ну вот, безрассудные вы женщины, — сказал он, — раз вы мне доверились, то и я вам верю. Вы видели у меня в конторе окованные железом сундуки и, наверно, подумали, что там я и храню весь свой товар. Так думают и все лондонские воры; они там уже дважды рылись, а унесли

только немного олова. Помнится мне, что часть этого олова была потом обнаружена у придворных короля. Но за этими панелями все в безопасности, хотя ни одна женщина не придумала бы столь простого и надежного тайника.

Эмлин не сразу нашлась что ответить, может быть, оттого, что вся пылала негодованием, но Сайсели мягким голосом спросила:

— А у вас в Лондоне бывают пожары, мастер Смит? Кажется, я об этом что-то слышала, а ведь в таком случае, второпях, знаете…

Смит поднял на лоб свои роговые очки и воззрился на нее с кротким изумлением.

— Подумать только, — произнес он, — что меня будут учить уму-разуму младенцы и мамки.

— Вы хотите сказать — сосунки, — вставила Эмлин.

— Мамки, сосунки — это все одно, — с раздражением ответил он, но затем усмехнулся и добавил: — Ладно, ладно, миледи, вы правы. Поймали старого Джекоба. О пожаре-то я и не подумал, а ведь в прошлом году в соседнем доме случился пожар, и я тогда выскочил на улицу в простыне и одеяле, вовсе позабыв о золоте и каменьях. Теперь я устрою тайники в каменной кладке погреба, там-то огонь ничего не сделает. Ага! Вам, женщинам, до такого не додуматься; вы же зашиваете сокровища в ночные сорочки.

Тут уж Эмлин не могла дольше сдерживаться.

— А как же, по-вашему, нам было везти их, кузен Смит? — с негодованием спросила она. — Навесить на шею или привязать к ногам? Недаром, помнится, мне мать моя говорила, что вы всегда были простоватым парнем, и, верно, вам покровительствует весьма могущественный святой, раз он помог вам целым и невредимым добраться до Лондона и научил, как зарабатывать на жизнь. А может, на свое счастье, женились вы на очень умной женщине, хотя сейчас-то сразу видно, что ее давно нет в живых. Ну хорошо, — добавила она, смеясь, — тешьте свое мужское тщеславие вы, рожденный женщиной; и раз у вас столько ума, поделитесь с нами своей мудростью, — мы в этом крайне нуждаемся.

— Женщины всегда так: когда неправы, — начинают браниться, — сказал Джекоб, подмигнув глазом. — Ну, рожденная от мужчины, расскажи-ка, что вас обеих смущает. Может быть, мудрость, которую я унаследовал от всех моих матерей вплоть до праматери Евы, пригодится вместо той, которой не хватало всем твоим матерям. Однако довольно шуток; если тебе угодно говорить, я слушаю.

И вот, призвав предварительно проклятие божие на его голову, в

случае, если он выдаст их хоть одним словом, Эмлин с помощью Сайсели поведала ему все с самого начала; еще задолго до того, как она кончила, пришлось зажечь свечи. Все это время Джекоб Смит сидел против них и не произнес почти ни слова, — лишь иногда задавал какой-нибудь уместный вопрос. Когда наконец они кончили, он воскликнул:

— А все-таки правда, что у женщин нет разума!

— Мы это от вас уже слышали, мастер Смит, — сказала Сайсели.

— Но на этот раз — почему?

— Потому что вы не открылись мне раньше: это сберегло бы вам добрую неделю времени. Правда, дело сложилось так, что вашу историю я знаю подробнее, чем вы мне ее рассказали, и благодаря этому дни прошли не совсем даром. Ну, коротко говоря, этот доктор Ли — хищник и негодяй.

— О премудрый Соломон, это мы и без вас знали! — воскликнула Эмлин.

— Единственная его цель — устлать свое гнездо вашими перышками. Кое-что вы ему сами обещали, в данном случае, впрочем, поступив правильно. Теперь он прослышал об этих драгоценностях, что и не удивительно: подобных вещей скрыть невозможно. Даже если бы вы спрятали их в ящик и зарыли на глубину шести футов, и то они засверкали бы сквозь толщу земли и выдали свое присутствие. План его такой: обчистить вас до нитки, пока вы еще не попали в руки его хозяина — Кромуэла. А если вы явитесь к этому всемогущему министру с пустыми руками, — чего будет стоить ваше ходатайство в глазах Кромуэла? Он ведь самая жадная акула из всех, кроме еще одной.

— Понимаем, — сказала Эмлин. — Каков же ваш план, кузен Смит?

— Мой? Не могу сказать, чтобы у меня имелся план. Но вот что, по-моему, было бы целесообразно. Хотя я человек маленький и незаметный, при дворе обо мне вспоминают, когда возникает нужда в деньгах. А теперь как раз нужно очень много денег, ибо вскоре за оружие возьмется весь Йоркшир, и потому сейчас обо мне вспоминают очень часто. Если вы пожелаете расстаться с доктором Ли и поручить свое дело мне, это, может быть, обойдется вам подешевле.

— Во сколько же это нам обойдется? — выпалила Эмлин.

Старик с негодованием повернулся к ней.

— Кузина, с какой стати ты меня оскорбляешь? Разве и вымогал что-нибудь у тебя или у твоей хозяйки? Хватит, вы мне не верите. Хватит; забирайте свои драгоценности и ищите себе другого помощника! — и он подошел к панелям стены, намереваясь достать оттуда украшения.

— Нет, нет, мастер Смит, — взмолилась Сайсели, схватив его за руку,

— не сердитесь на Эмлин. Вы же знаете: мы прошли суровую школу, где учителями нашими были Мэлдон и доктор Ли. Я-то во всяком случае вам верю; не бросайте же меня на произвол судьбы, — мне ведь не к кому больше обращаться, а трудностей и забот так много! — и при этих словах из ее синих глаз скатились крупные слезы прямо на лицо мальчика; тот проснулся, и ей пришлось отвернуться, чтобы успокоить его.

— Не огорчайтесь, — смутился добрый старик. — Это мне надо огорчаться: мои грубые слова довели вас до слез. К тому же Эмлин ведь права; даже безрассудные женщины вовсе не должны доверяться первому попавшемуся человеку, у которого они поселились. Впрочем, раз вы уверяете, что говорили от чистого сердца, я постараюсь не оказаться недостойным вашего доверия, миледи Харфлит. Так вот что вам нужно от короля? Чтоб он рассудил вас с аббатом? Это вы и даром получите, если его милость доберется до аббата, каковой в настоящее время поднимает мятеж против короля. Нет, значит, необходимости напирать на его прежние злодеяния. Чтобы вам вернули ваши владения, на которые заявил притязания аббат? Вот это будет потруднее, ибо сам король явится притязателем вместо аббата. В лучшем случае тут придется раскошелиться. Чтобы ваше замужество и рождение вашего сына признаны были законными? Это не так уж трудно, хотя тоже будет стоить денег. Чтобы приговор за колдовство вам и Эмлин был отменен? Дело несложное, ведь процесс-то устроил аббат. Ну как, это все или еще что-нибудь есть?

— Да, мастер Смит. Я хотела бы, чтоб у добрых монахинь, которые так хорошо ко мне отнеслись, не отнимали их дома и их земли. Я обещала отдать эти самые драгоценности, если таким образом можно будет этого добиться.

— Это вопрос денег, леди, всего-навсего вопрос денег. Вам придется выкупить их имущество — вот и все. А теперь посмотрим, какие нам предстоят затраты; может быть, фортуна мне улыбнется. — Он достал перо, бумагу и принялся писать цифры.

Под конец он встал, вздохнув и покачав головой.

— Две тысячи фунтов, — со стоном вырвалось у него, — сумма огромная, но уменьшить ее невозможно ни на шиллинг, — слишком многих надо подкупить. Да, тысячу фунтов на взятки и тысячу — взаймы его величеству, который долгов не отдает.

— Две тысячи фунтов! — вскричала испуганная Сайсели. — О, откуда мне взять столько? Ведь даже доходы за первый год я уже обещала!

— А вы знаете стоимость своих драгоценностей? — спросил, глядя на нее, Джекоб.

— Нет. Половина того, что вы сказали?

— Если назвать цифру вдвое больше, то это будет еще довольно мало.

— Ну, а коли так, — ответила ошеломленная Сайсели, — где нам их продать? У кого наберется столько денег?

— Я постараюсь найти их или, во всяком случае, столько, сколько понадобится. Ну вот, кузина Эмлин, — добавил он саркастически, — сама видишь, в чем моя выгода: покупаю драгоценности за полцены, а остальное — мое.

— Теперь я отвечу, как вы: хватит, — сказала Эмлин, — шуточки свои попридержите до более подходящего времени.

Старик призадумался, а затем сказал:

— Поздновато уже, но вечер погожий и мне полезно подышать воздухом. Пусть этот ваш башковитый рыжий парень постережет вас, пока меня не будет дома; и, ради всего святого, будьте осторожны со свечами. Нет, нет, печей не топите — придется вам померзнуть. После того, что вы тут наговорили, мне только пожары и мерещатся. Это всего на одну ночь. К завтрашнему вечеру я подыщу такое местечко, что там даже аббата Мэлдона не опалило бы адское пламя. Но пока обходитесь теплой одеждой. У меня в закладе имеются меха, я их вам сейчас пришлю. Вы сами виноваты, а для меня в молодости в осенний день топки не требовалось. Ну ладно, ладно.

Он ушел; и в тот вечер они его больше не видели.

На следующее утро, когда они сидели за завтраком, Джекоб Смит появился и принялся говорить о чем угодно — о плохой погоде, о том, что ветчина жестковата и ни в какое сравнение не идет с той, которую приготовляли в Блосхолме, когда он был молод, о том, что мальчуган Сайсели очень похож на мать.

— Ну уж нет, — прервала его Сайсели, почувствовавшая, что он их дразнит, — он вылитый отец. Со мной у него нет ни малейшего сходства.

— Вот как? — ответил Джекоб. — Ладно, я выскажу свое мнение, когда увижу отца… А кстати, дайте-ка мне перечитать записку, которую человек в плаще передал Эмлин.

Сайсели дала ему записку, и он стал внимательно изучать ее. Потом безразличным тоном промолвил:

— На днях я видел список христианских пленников, спасенных от турок императором Карлом в Тунисе. Среди них имеется некий Хуфлит, обозначенный как английский сеньор и его слуга. Вот мне и кажется…

Сайсели так и бросилась на него.

— Жестокий, злодей! Сколько времени знали это — и слова не

проронили!

— Потише, миледи, — сказал он, отступая. — Я узнал это лишь вчера в одиннадцать часов вечера, когда вы уже спали сном праведным. Вчера ведь не сегодня, потому я и сказал: на днях.

— Можно было меня разбудить. А теперь живо говорите, где он.

— Откуда мне знать? Во всяком случае, не здесь. Но в этом документе говорилось…

— Что же в нем говорилось?

— Стараюсь припомнить, да память мне изменяет. Может, и с вами такое случится, когда вы доживете до моих лет, если небу угодно будет…

— О, хоть бы ему угодно было заставить вас рассказывать толком! Что говорилось в документе?

— А, вот, припомнил! В примечании, имевшемся среди прочих новостей. Упомянул ли я о том, что это было письмо от посла его королевской милости в Испании? Пишет он такими каракулями, что ничего не разобрать. Ну, ну, не торопите меня. Так вот, говорилось там, что означенный «сэр Хуфлит» — посол снабдил это имя вопросительным знаком — и его слуга — да, да, я уверен, что речь шла и о слуге, — что оба они, будучи очень злы на турок за то, как обходились с ними эти нехристи — нет, я забыл прибавить, что их было трое, третий — священник, который поступил иначе; так вот, будучи очень злы, они остались там, чтобы вместе с испанцами сражаться против турок до окончания военных действий. Теперь я все сказал.

— Все — и как это мало! — вскричала Сайсели. — Но все же лучше, чем ничего. И зачем это женатому человеку понадобилось плыть за море, чтобы мстить несчастным, невежественным туркам?

— А почему нет, — вмешалась Эмлин, — если он, как твой супруг, считает себя вдовцом?

— Да, я забыла. Он думает, что меня нет в живых; да и его скоро не будет в живых; может быть, и сейчас уже нет, — ведь эти безбожные, злобные турки убьют его. — И она залилась слезами.

— Я забыл добавить, — поспешно сказал Джекоб, что в другом письме, помеченном более поздним числом, посол сообщает, что поход императора против турок прерван до весны и что участвовавшие в нем англичане сражались с великой доблестью и все возвратились живы и невредимы, но на этот раз имена их не упомянуты.

— Все возвратились! Если бы мой муж умер — а он не мог умереть бесславно, как трус, — то разве говорилось бы в письме, что все возвратились? Нет, нет, он жив, но вернется ли — кто знает? Может быть,

он еще куда-нибудь отправится или останется в Испании и женится там.

— Это невозможно, — с поклоном сказал старый Джекоб. — Раз вы были его женой, это невозможно.

— Невозможно, — повторила Эмлин. — Ведь ему надо еще свести счеты с этим Мэлдоном! Мужчина может забыть свою возлюбленную, особенно если он думает, что ее нет в живых… Но раз он остался за границей, чтобы сражаться с турками, которые с ним плохо обращались, так уж наверно возвратится домой, чтобы расправиться с аббатом, который разорил его и убил его жену.

Наступило молчание. Золотых дел мастер, чувствуя, что всем невесело, поторопился прервать его.

— Да, он несомненно возвратится на родину. По тому, что нам известно, может быть, уже и возвратился. Мы тоже должны предъявить счет этому аббату. Он, конечно, негодяй, но не следует думать, что все без исключения аббаты злодеи. Теперь же, миледи, я расскажу вам, что мне удалось сделать; и, может быть, вам это понравится больше, чем мне самому. Вчера вечером я повидался с лордом Кромуэлом, с которым у меня немало своих дел, у него в доме, в Остин Фрайерс, и изложил ему ваше дело. Как я и предполагал, этот подлый обманщик Ли о нем с ним и не заговаривал, рассчитывая вытащить из пудинга все сливы, а хозяину своему передать уже объедки. Он просмотрел ваши документы, достал ходатайства аббата к сравнил то и другое. Затем он взял мою просьбу на заметку и сразу же спросил: «Сколько?»

Я сказал: «Тысячу фунтов в качестве займа королю». Заем этот возвращать не придется, а в качестве возмещения я прошу — от вашего имени — все земли аббата в добавление к вашим собственным, когда земли означенного аббата будут конфискованы, что не замедлит последовать. На это он согласился от имени его королевской милости, ибо король весьма нуждается в деньгах, но спросил — что же ему самому? Я ответил: пятьсот фунтов ему и его шакалам, в том числе доктору Ли, причем никакой расписки мы не потребуем. Он же сказал, что этого недостаточно: после того как насытятся шакалы, для него останутся только обглоданные кости; я должен предложить больше, ибо и мои требования не малые; затем он сделал вид, что прекращает разговор. Я пошел к дверям, но обернулся и сказал, что у меня есть чудеснейшая жемчужина, и ему, любителю драгоценных камней, может быть, любопытно будет взглянуть на нее: жемчужина стоит не одного аббатства. Он сказал: «Покажите!» — и вы бы только видели! — млел над нею, как девушка над первым полученным ею любовным письмом. «О, если бы таких было две!» — прошептал он.

«Две, милорд! — ответил я. — Да на всем белом свете нет другой такой жемчужины!» Правда, когда я произносил эти слова, оправа второй, приколотой к внутренней стороне моего камзола, крепко уколола меня, словно рассердившись. Затем я взял у него жемчужину и вторичноначал откланиваться.

«Джекоб, — сказал тогда Кромуэл, — вы мой старый друг, и ради вас я немного поступлюсь своим долгом. Оставьте жемчужину. Его королевская милость так нуждается в этой тысяче фунтов, что я, пожалуй, возьму ее у вас, хоть и скрепя сердце». И он протянул руку за жемчужиной, но я вовремя прикрыл ее своей рукой.

— Сперва документ, потом плата, милорд. Я тут уже сам составил бумагу, чтобы вам не беспокоиться, если только вы соизволите подписать.

Он перечитал, потом, взяв перо, вычеркнул пункт насчет отмены приговора за колдовство — по его словам, это может сделать лишь сам король или специально уполномоченные им лица, — но остальное подписал, приняв на себя обязательство после уплаты тысячи фунтов выдать документ по форме, подписанный королем и скрепленный государственной печатью. Так как ничего большего добиться было невозможно, я сказал, что это нам подходит, и оставил ему вашу жемчужину. Он же обещал со своей стороны побудить его величество принять вас; и я не сомневаюсь, что он не замедлит это сделать ради пресловутой тысячи фунтов. Правильно я поступил?

— Разумеется, конечно! — вскричала Сайсели. — Кто бы устроил все хоть вполовину так же хорошо?

Едва она успела произнести эти слова, как со двора раздался громкий стук в дверь, и Джекоб побежал открывать. Почти тотчас же он вернулся, ведя за собой посланца в роскошной одежде, который поклонился Сайсели и спросил, не она ли леди Харфлит. Услышав в ответ, что таково действительно ее имя, он сказал, что ему поручено передать ей повеление его милости короля явиться к нему сегодня в три часа пополудни в его дворец Уайтхолл и привести с собою Эмлин Стоуэр и Томаса Болла, чтобы держать перед его величеством ответ по обвинению в колдовстве, возбужденному против нее и против них; и горе ей, ежели она попытается от этого уклониться.

— Сэр, — ответила Сайсели, — я не замедлю явиться, но скажите мне: должна ли я считать себя заключенной?

— Нет, — сказал вестник, — поскольку мастер Джекоб Смит, которому его милость изволит доверять, готов поручиться за вас.

— И за тысячу фунтов, — проворчал Джекоб себе под нос, когда он с

низким поклоном провожал королевского посланца к выходу. При этом он не преминул сунуть золотую монету в руку, которой тот помахал ему на прощание.

Глава XV . Черт при дворе

Было половина третьего, когда Сайсели с ребенком на руках и в сопровождении Эмлин, Томаса Болла и Джекоба Смита очутилась на парадном дворе Уайтхоллского дворца. Кругом было много людей, пришедших по своим делам, и сквозь эту толпу беспрестанно прокладывали себе дорогу герольды и солдаты, крича: «Расступись! Именем короля, расступись!» Толкотня была такая, что некоторое время даже Джекоб не мог привлечь к себе внимания, пока наконец он не заметил герольда, который приходил к ним утром, и не кивнул ему.

— Я уже высматривал вас, мастер Смит, а также леди Харфлит, — произнес этот человек, отвешивая поклон Сайсели. — Вам назначена аудиенция у его королевской милости, не так ли? Один бог знает, удастся ли вам ее получить. В приемной полно людей, принесших известия о мятеже на севере, а также вельмож и советников, ожидающих распоряжений и денег, главным образом денег. Одним словом, король отменил на сегодня все аудиенции: он никого принять не может. Так сказал мне сам лорд Кромуэл.

Джекоб вынул из кошелька золотую монету и стал вертеть ее в пальцах.

— Понимаю, благородный герольд. Все же вы, может быть, попытались бы послать кого-нибудь к лорду Кромуэлу? Если да, то вот эта мелочь…

— Попытаюсь, мастер Смит, — ответил тот, протягивая руку за червонцем. — Но что ему передать?

— О, скажите, что Розовая жемчужина хотела бы узнать у его милости, где можно получить в долг тысячу фунтов без процентов.

— Странный вопрос, на который я сам, пожалуй, ответил бы: нигде, — сказал герольд. — Но, во всяком случае, найду кого-нибудь, кто передаст это лорду Кромуэлу. Постойте тут, в крытом проходе, чтобы не мокнуть под дождем. Не бойтесь, я мигом вернусь.

Они сделали, как он сказал, и были очень рады, ибо начало моросить, и Сайсели боялась, как бы не простудился мальчуган, на которого пребывание в Лондоне влияло не очень хорошо. Так стояли они, развлекаясь зрелищем пестрой толпы людей, шнырявших туда и сюда. Болл, для которого все это было совершенно ново, изумленно открыв рот, созерцал людскую толчею; Эмлин быстрым взглядом пронизывала

каждого, а старый Джекоб шепотом сообщал всевозможные, большей частью нелестные, сведения о всех проходящих мимо.

Что касается Сайсели, то вскоре мысли ее унеслись далеко. Она знала, что сейчас решается ее судьба, что, если нынче все обойдется хорошо, врагов ее, наверное, постигнет возмездие, а она в богатстве и чести проведет остаток своей жизни. Но не об этом она мечтала — сердце ее было с Кристофером; без него все прочее не имело смысла. Где-то он сейчас? Если то, что рассказал Джекоб, было верно, он пережил много опасностей, но еще недавно был жив и здоров. Однако в те времена смерть настигала человека внезапно, поражая его молнией из неожиданно собравшихся туч или даже с ясного неба, — так что кто мог сказать наверное? Кроме того, он думал, что ее нет в живых, и потому, быть может, не старался беречь себя или же — самая ужасная мысль — взял в жены другую, что было бы вполне естественно. О, в таком случае…

В это самое мгновение шум какой-то перебранки вернул ее к действительности; и, подняв глаза, она убедилась, что Томас Болл вовлекает их в неприятность. Какой-то толстый неотесанный парень с огненно-красным бугристым носом, несколько подвыпивший, забавлялся тем, что поднимал на смех деревенский облик и рыжие волосы Томаса, громко спрашивая, не пользуются ли им в качестве пугала на его родных полях.

Сперва Томас довольно спокойно переносил эти насмешки, задав со своей стороны другой вопрос: не помогает ли нос толстого парня лондонским хозяйкам зажигать огонь в печи? Тот, заметив, что над ним потешаются больше, чем над Томасом, указал своим приятелям на ребенка, которого Сайсели держала на руках, и спросил: не кажется ли им, что он вылитый папаша? Тут вся ярость Томаса прорвалась наружу, хотя шутка была глупая и безобидная.

— Ах ты, паршивый лондонский подонок! — вскричал он. — Вот я покажу тебе, как оскорблять леди Харфлит мерзкими шуточками! — И, протянув свой огромный кулак, он, словно железными клещами, вцепился в багровый нос своего недруга и принялся крутить его, пока пьянчуга не завопил от боли. Тут сбежалась стража и Томаса едва не схватили за нарушение мира в королевском дворце. И он, наверное, был бы задержан, несмотря на все, что Джекоб Смит делал для его вызволения, если бы в то же мгновение не появился человек, при виде которого вся собравшаяся во дворе толпа расступилась с низкими поклонами, человек средних лет с умным, проницательным лицом. На нем было богатое платье, отороченный мехом бархатный плащ и такой же берет.

Сайсели сразу же распознала в нем Кромуэла, самого могущественного в Англии, после короля, вельможу, и старалась хорошенько запомнить его, прекрасно понимая, что в руках Кромуэла и ее судьба, и судьба ее сына. Она отметила и узкий, маленький, как у женщины, рот, и маленькие карие глазки, посаженные близко друг к другу и окруженные тонкими морщинками, что придавало им хитрое выражение, и, отметив все это, испугалась: перед ней был человек, который сейчас, по всей видимости, мог считаться ее другом, но если бы ему случилось оказаться врагом — а ведь однажды его уже подкупили, чтобы он стал врагом ее отца, — он проявил бы к ней не больше жалости, чем паук к мухе.

И в этом она была права, ибо Кромуэл высосал уже немало мух, запутавшихся в расставленной им паутине; находясь в самом расцвете могущества и славы, он забывал об участи своего учителя, кардинала Уолси[54], в свое время еще более жадного паука.

— Что тут происходит? — резким голосом спросил Кромуэл. — Нашли место, где поднимать суматоху, — прямо под окнами его королевской милости! А, это вы, мастер Смит? В чем дело?

— Милорд, — с поклоном ответил Джекоб, — это слуга леди Харфлит, но он не виноват. Вот этот толстый негодяй оскорбил ее, а слуга Болл, человек вспыльчивый, вцепился ему в нос.

— Вижу, что вцепился. Смотрите, он сейчас оторвет ему этот самый нос. Дружище Болл, отпусти своего противника, не то в руке у тебя останется предмет, совершенно тебе не нужный. Стража, заберите-ка этот пивной бочонок и минут пять подержите его голову под насосом, чтобы он протрезвел, а если он после этого очнется, набейте ему колодки. Ты молчи, ни слова, это тебе поделом. Мастер Смит, следуйте за мною со своими спутниками.

Толпа снова расступилась; они пошли за Кромуэлом к боковой двери, которая находилась тут же, и очутились в маленьком помещении, где никого не было, кроме них и Кромуэла. Там он остановился и, обернувшись, стал внимательно разглядывать их, особенно же Сайсели.

— Полагаю, мастер Смит, — сказал он, указывая на Болла, вытиравшего себе руки поднятыми с полу тростниковыми метелками, — это и есть тот самый человек, который, как вы мне говорили, разыгрывал в Блосхолме черта. Я вишу, что он и дурака свалять способен: еще минута, поднялась бы всеобщая суматоха, и вы, может быть, на много месяцев упустили бы случай увидеть его королевскую милость, ибо король решил завтра утром выехать из Лондона на север, хотя, правда, к утру он еще

может изменить свое решение. Мятеж его сильно беспокоит, и, не обещай вы ему заем — а займы сейчас очень нужны, — весьма мало надежды было бы добиться дли вас аудиенции. Ну, а теперь медлить нельзя, и будьте осторожны, не рассердите короля — нынче он крайне раздражителен. По правде сказать, если бы не королева, которая сейчас с ним и которой захотелось увидеть леди Харфлит, едва не сожженную за колдовство, вам пришлось бы ждать более подходящего времени, а оно, чего доброго, и вовсе не наступило бы. Стойте! Что это у тебя в большом мешке, Болл?

— Чертово облаченье, если угодно вашей милости.

— В Лондоне многие носят чертово облаченье. Что ж, тащи его с собой; может быть, его величество посмеется; я бы тебе дал за это червонец, мне и то надоели проклятья и разносы и, — добавил он с кислой усмешкой, — даже тумаки. А теперь идемте, вы предстанете перед лицом короля; говорите только тогда, когда он к вам обратится, и не осмеливайтесь возражать, если он на вас и напустится.

Выйдя из этой комнаты, они пошли по коридору и очутились у другой двери, где двое часовых подозрительно посмотрели на Болла и его мешок, но Кромуэл что-то сказал им, и они пропустили их в просторную комнату с камином, в котором пылал огонь. В противоположном конце ее стоял высокий, надменного вида человек с плоским, жестоким лицом (которое Томас Болл сравнивал впоследствии с бычьей мордой), в богатом одеянии из темной материи и в бархатном берете. В руках он держал свиток пергамента, а против него, по другую сторону дубового стола сидел чиновник, весь в черном, и что-то писал тоже на пергаменте; кругом, на столе и на полу валялось еще много таких же пергаментных свитков.

— Негодяй! — кричал король. — Они догадались, что то был он, — ты неверно подсчитал эти цифры. И горькая же моя доля, что служат мне одни дураки!

— Прошу прощения у вашей милости, — дрожащим голосом произнес секретарь, — я их трижды проверял.

— И ты еще смеешь возражать, лживый стряпчий! — снова загремел король. — Говорю тебе, они не могут быть верными — здесь на тысячу сто фунтов меньше, чем мне было обещано. Куда девались эти тысяча сто фунтов? Не ты ли их присвоил, ворюга?

— Я присвоил, я? О ваша милость!

— А почему нет? И почище тебя люди крадут. Только ты ведь болван — ума у тебя не хватит. Попроси лорда Кромуэла дать тебе несколько уроков. Его-то обучали лучшие учителя, да к тому же и сам он из купцов. Убирайся ты вон и забирай свою писанину.

Несчастный чиновник поспешил подчиниться этому приказу. Наскоро собрав пергаменты, он откланялся разгневанному монарху. Но у двери, когда между ним и королем образовалось расстояние футов в двенадцать, он обернулся.

— Всемилостивейший государь, — снова начал он, — итог подсчитан верно. Честью клянусь: я, как верующий христианин, могу прямо смотреть в лицо вашему величеству, и в глазах у меня будет одна лишь правда…

На столе стояла массивная чернильница из бараньего рога, оправленная в серебро. Генрих схватил ее и изо всех сил швырнул в чиновника. Нацелился он отлично, ибо тяжелый рог угодил злополучному писцу прямо в нос, залил ему лицо чернилами, а его самого сбил с ног.

— Теперь у тебя в глазах будет еще кое-что, кроме правды! — крикнул король. — Поднимайся, покуда за чернильницей не последовал стул.

Две дамы, которые стояли у камина и разговаривали, не обращая внимания на эту грубую сцену, так как, по-видимому, привыкли к подобным вещам, взглянули на чиновника, засмеялись и продолжали свою беседу.

Кромуэл улыбнулся и пожал плечами. И вдруг среди наступившего затем молчания раздался громкий голос Томаса Болла, с разинутым ртом наблюдавшего за происходящим:

— Вот это удар, так удар! Я сам бы не метнул лучше!

— Молчи, дурень, — прошипела Эмлин.

— Кто говорил? — спросил король, бросив быстрый взгляд в их сторону.

— Прошу прощения, государь, это я, Томас Болл.

— Томас Болл! А умеешь ты метать камень из пращи, Томас Болл, кто бы ты там ни был?

— Так точно, государь, но, наверное, не лучше вас; замечательный был удар!

— Томас Болл, ты прав. Принимая во внимание спешку и неудобство снаряда, удар был превосходный. Пусть этот негодяй поднимется с пола, и я ставлю золотой нобль[55] против медного гвоздя, что на таком же расстоянии ты метче не ударишь. Как, этот парень скрылся? Может быть, испробовать на милорде Кромуэле? Нет, сейчас не до забав. Какое у тебя ко мне дело, Томас Болл и кто эти женщины?

Тут Кромуэл вышел вперед и с раболепными жестами стал что-то тихим голосом объяснять королю. Тем временем обеих дам внезапно заинтересовала Сайсели, и одна из них, бледная, но красивая женщина в роскошном одеянии, подошла к пей.

— Вы и есть леди Харфлит, о которой мы уже слышали, та самая, что едва не была сожжена, как ведьма? Да? А это ваш ребенок? О, какой прелестный! Держу пари, что мальчик. Ну, поди ко мне, ангелочек, и впоследствии ты сможешь рассказывать, что тебя нянчила королева.

С этими словами она протянула руки.

По счастью, ребенок не спал, и его привлек ласковый голос королевы или же, может быть, блеск драгоценных каменьев ее ожерелья. Во всяком случае, он тоже протянул к ней ручонки и охотно прильнул к ее груди. Джейн Сеймур — ибо это была она — принялась ласкать его, а затем в сопровождении своей фрейлины подошла к королю.

— Взгляните, Гарри, взгляните, какой прелестный мальчуган и как он меня полюбил. Послал бы нам бог такого сынка!

Король посмотрел на мальчика и сказал:

— Да, неплохо было бы. Это уж твоя забота, Джейн. Понянчи, понянчи его; может быть, пол ребенка передается. И я и вся Англия ждем не дождемся, когда у тебя наступят роды, дорогая моя. Что вы такое говорили, Кромуэл?

Могущественный министр продолжал объяснять, пока королю не надоело слушать его и он не позвал:

— Подойдите сюда, мастер Смит.

Джекоб приблизился, отвесил поклон и молча вытянулся перед королем.

— Итак, мастер Смит, лорд Кромуэл говорит, что, ежели я подпишу эти бумаги, вы, по поручению леди Харфлит, дадите мне взаймы без процентов тысячу фунтов, в которых я в настоящее время нуждаюсь. Так где же эта тысяча фунтов? Обещаний мне не надо, даже от вас, мастер Смит, хотя известно, что вы свое слово держите.

Джекоб сунул руку под свой камзол, извлек из многочисленных внутренних карманов мешочки с золотыми монетами и разложил их в ряд на столе.

— Вот она, ваша милость, — спокойно сказал он. — Если вам угодно, золото можно взвесить и сосчитать.

— Клянусь богом! Пожалуй, пусть уж оно лучше останется здесь у меня: не ровен час, с вами на обратном пути что-нибудь приключится, мастер Смит. Чего доброго, упадете в Темзу и утонете.

— Ваша милость изволите говорить правду; пергаменты нести куда легче, даже если, — добавил он многозначительно, — на них стоит подпись вашего величества.

— Я не могу ничего подписать, — нерешительно заметил король. —

Все чернила пролились.

Джекоб достал маленькую роговую чернильницу, которая, как у большинства купцов того времени, подвешена была у него к поясу, вынул втулочку и с поклоном поставил на стол.

— Вы и правда деловой человек, мастер Смит, слишком уж деловой для меня, простого короля. Вы так ко всему подготовились, что мне, наоборот, хочется помедлить. Может быть, нам лучше встретиться после, когда я буду посвободнее.

Джекоб снова поклонился и, протянув руку, медленным движением приподнял первый мешочек с золотом, словно собирался вновь спрятать его в карман.

— Кромуэл, подите-ка сюда, — произнес король, после чего Джекоб, словно по рассеянности, опять положил мешочек на стол.

— Перечислите еще раз все пункты этого дела, Кромуэл.

— Государь, леди Харфлит жалуется на испанца Мэлдона, настоятеля Блосхолмского монастыря, который, по всем данным, умертвил ее отца, сэра Джона Фотрела, и ее супруга, сэра Кристофера Харфлита, хотя прошел слух, будто последнему удалось вырваться из его когтей и он в настоящее время находится в Испании. Еще: означенный аббат захватил земли, которые присутствующая здесь госпожа Сайсели должна была унаследовать от отца, и она ходатайствует о том, чтобы они были ей возвращены.

— Клянусь страстями господними, правосудие над Мэлдоном мы совершим и даром, если только сможем, — ответил король, хватив своим мощным кулаком по столу. — Незачем терять время на перечисление обид, которые он нанес леди Харфлит. Это ведь тот же самый негодяй испанец Мэлдон, который заварил нам чертову кашу на севере. Ладно, он сварится в своем же собственном котле, мы тоже можем предъявить ему порядочный счет. Что еще?

— Леди Харфлит, урожденной Сайсели Фотрел, необходимо официальное признание законности ее брака с Кристофером Харфлитом. Бракосочетание было, без сомнения, совершено по закону, хотя аббат оспаривает его в своих личных интересах. Есть также ходатайство о денежном возмещении за гибель тех людей, которые пали в то время, когда означенный аббат напал на дом упомянутого Кристофера Харфлита и сжег его.

— Это было бы легче всего сделать, если бы сам Мэлдон тоже пал, но я согласен. Что еще?

— Обещание вашей милости, что к леди Харфлит отойдут земли

Блосхолмского аббатства и Блосхолмской женской обители в качестве компенсации за данную агентом Сайсели Харфлит, Джекобом Смитом, взаймы вашему величеству тысячу фунтов.

— Требование немалое, милорд. Эти земли оценены?

— Так точно, государь, вашим комиссаром, каковой доложил, что стоимость их, то есть обрабатываемой земли вместе с лесными угодьями, не достигает тысячи фунтов золотом.

— Наш комиссар? Гроша медного не стоит его оценка; нет сомнения, что он подкуплен. Однако, вернув долг, мы сможем получить обратно земли. Кроме того, эта госпожа Харфлит и ее супруг тяжко потерпели от руки Мэлдона и от его вооруженных бандитов, так что я и тут готов согласиться. Ну, а теперь все? Я устал от всех этих разговоров.

— Еще одно только, ваша милость, — поспешно добавил Кромуэл, ибо Генрих уже поднялся, чтобы идти. — Госпожа Сайсели Харфлит, ее служанка Эмлин Стоуэр и одна старая полусумасшедшая монахиня были осуждены за колдовство церковным трибуналом, членом которого являлся аббат Мэлдон, по жалобе этого же самого аббата на то, что они околдовали его самого и его владения.

— Значит, он был и истцом и судьей в одном лице?

— Точно так, ваша милость. Хотя приговор не был утвержден королем, их возвели на костер, так что означенный Мэлдон тем самым присвоил себе прерогативы короны. Однако ваш комиссар Ли подоспел вовремя и освободил их, хоти и не без борьбы — оказались раненые и убитые. И теперь все три обвиняемые смиренно умоляют о даровании им вашим величеством монаршего прощения за их участие в человекоубийстве, если такое участие было; о том же молит и присутствующий здесь Томас Болл, по всей видимости и совершивший эти убийства…

— Вполне этому верю, — проворчал король.

— Ходатайствуют они также о признании суда над ними и приговора незаконными, а их самих не виновными в том, за что они были осуждены.

— Невиновными! — вскричал Генрих, который, потеряв терпение, придрался к последнему пункту. — Откуда же мы знаем, что они не были виновны, хотя правду сказать, если госпожа Харфлит ведьма, то уж, наверно, самая хорошенькая из всех, которых мы видели и о которых слыхали. Вы, Кромуэл, как всегда, требуете непомерно много.

— Умоляю вашу милость еще о минуточке терпения. Здесь имеется человек, который может доказать их невиновность: вот этот рыжеволосый Болл.

— Как? Тот, что похвалил наш удар? Хорошо, Болл: раз уж ты такой

удалец, мы тебя выслушаем. Доказывай, но покороче.

— Теперь все пропало, — шепнула Эмлин Сайсели. — Болван Томас наверняка посадит нас в лужу.

— Ваша милость, — произнес Томас своим мощным голосом. — Повинуюсь вам и скажу лишь три слова: чертом был я.

— Черта с два ты им был! Как тебя понимать?

— Ваша милость, в Блосхолме пошаливала нечистая сила, а шалости-то были мои.

— А как же иначе, раз ты там жил?

— Сейчас я покажу вашей милости. — И, без лишних слов, к величайшему ужасу Сайсели, Томас высыпал из мешка все предметы своего адского облачения и принялся одеваться. Так как в этом деле он хорошо напрактиковался, не прошло и минуты, как на нем уже была устрашающая маска вместе с рогами и шкурой козла вдовы Джонсон, в руке он вертел трехзубую острогу с укороченной рукояткой. В этом одеянии он принялся выделывать разные штуки перед изумленными королем и королевой, помахивая хвостом, в котором продета была проволока, и стуча копытами по полу.

— О, отличный черт! Замечательный черт! — вскричал его величество, хлопая в ладоши. — Повстречайся ты мне, я бы пустился наутек, что твой заяц. Слушай, Джен, загляни-ка в ту дверь и скажи мне, что за народ там собрался.

Королева повиновалась и, вернувшись, сказала:

— Там дожидаются аудиенции епископ со священником, но какой, не разобрала — становится темно, — и с капелланом, а также всякие лорды королевского Совета.

— Прекрасно. Испытаем на них черта — они же мастера укрощать дьявола. Друг сатана, подойди к этой двери, незаметно проскользни в нее, а там бросайся в самую толпу, кричи и гони их сюда, так чтобы мы увидели, у кого из них хватит храбрости усмирить тебя. Понял, Вельзевул?

Томас кивнул своими рогами и исчез бесшумно, как кошка.

— Теперь откройте двери и становитесь все на одну сторону.

Кромуэл повиновался, и долго ждать не пришлось. Из соседней залы донесся ужасающий многоголосый вопль, затем в комнату через открытую дверь ворвался задыхающийся епископ, за ним лорды, капелланы, секретари и, наконец, священник; толстый, запутавшийся в своем облачении, он не мог так быстро бежать, хотя за его спиной скакал и завывал сам сатана. Все они никакого внимания не обратили на его королевское величество или на кого-либо другого: мчась через комнату к

противоположной двери, они думали только о том, как бы поскорее улепетнуть.

— Замечательно, великолепно! — гремел король, трясясь от хохота. — Коли их вилами, черт, коли!

И Болл, получив королевский приказ, усердствовал вовсю.

В полминуты все было кончено. Толпа налетела и пронеслась, только Том в своем устрашающем одеянии стоял, склонившись перед королем.

— Спасибо, Томас Болл, — вскричал тот, — ты насмешил меня так, как я уже много лет не смеялся! Понятно, что твою хозяйку осудили как ведьму. А теперь, — добавил он другим тоном, — довольно шутовства. Вы, Кромуэл, разыщите кого-нибудь из этих болванов и растолкуйте, в чем дело, пока по всему дворцу не пошли россказни. Джен, перестань хохотать, всему свое время. Подойдите, леди Харфлит: мне надо с вами поговорить.

Сайсели приблизилась и низко присела перед королем, оставив уснувшего ребенка на руках у королевы, ибо та, видимо, и не думала с ним расставаться.

— Вы требуете от нас многого, — внезапно произнес он, испытующе глядя на нее, — и полагаетесь, несомненно, или на то, что обиды, вам причиненные, велики, или на свою привлекательную внешность, или и на то и на другое вместе. Что ж, все это, быть может, трогает королей больше, чем кого-либо другого. К тому же я знал старого сэра Джона, вашего батюшку: он был честный и храбрый человек, отлично дрался при Флоддене[56]. Да и молодой Харфлит, ваш супруг, если он еще жив, с честью носит имя своих предков. Вдобавок недруг ваш, Мэлдон, является также и нашим врагом — чужеземная змея, предатель, из тех, кого вся Англия ненавидит, потому что они хотят видеть ее под пятой Испании.

Так вот, госпожа Харфлит, наверное, выйдя от нас, вы разнесете повсюду странные рассказы о короле Гарри[57] и его повадках. Вы станете говорить, что он валяет дурака, швыряет в своих слуг чернильницами, приходя в гнев (видит бог, у него для этого часто бывают основания), и натравливает на своих епископов ряженых чертей (а почему бы и нет, когда мир полон остолопов?). Вы также скажете, что он действует по указке своих министров и подписывает все, что ему подсовывают, не особенно заботясь о том, чтобы выяснить, где там правда, а где ложь. Что ж, такова участь властителей, ибо даже у них лишь одна голова и ровно столько времени, сколько отпущено одному человеку, ибо они вынуждены доверяться слугам, пока те не превращаются в господ, и тогда остается только одно, — тут лицо его приняло свирепое выражение, — уничтожать

их и заводить других, еще хуже. Новые слуги, новые жены, — при этих словах он взглянул на Джен, которая не слушала, — новые друзья, причем и те, и другие, и третьи изменяют, новые враги, а под конец итог всему подводит старуха смерть. Такова была участь всех владык мира, начиная с царя Давида, и так, я думаю, всегда будет.

Он замолк и ненадолго погрузился в мрачное раздумье, затем поднял глаза и продолжал:

— Не знаю, зачем я говорю все это такому ребенку, как вы. Впрочем, вы ведь, несмотря на свою молодость, хлебнули горя, и на душе у вас не легко. Да, да, о вас и о вашем деле я слышал больше, чем вы предполагаете, и память у меня хорошая — это уж моя особенность. Госпожа Харфлит, вы на самом деле богаче, чем признались, по данному вам совету, и, повторяю, просите меня о многом. Правосудие государи творить обязаны, и вы его получите. Но обширные земли аббатства и земли Блосхолмской обители, которые вы хотели бы вернуть вашим приятельницам монашкам, общее прощение тем, кто, вступившись за вас, пролил кровь, отмена без соблюдения законной формы приговора, вынесенного правомочным трибуналом, хотя бы даже этот приговор и был неправильным, — все это за один лишь заем ничтожной суммы — тысячи фунтов? Вы хорошо соблюдаете свою выгоду, леди Харфлит; мощно подумать, что отцом вашим был какой-нибудь барышник, а не суровый Джон Фотрел, так ловко вы торгуетесь со своим королем, когда он в нужде.

— Государь, государь, — прервала его вконец смущенная Сайсели, — у меня больше ничего нет; земли мои разорил аббат Мэлдон, дом моего мужа сожжен его солдатами, а целый годовой доход с моего имущества, если я его все-таки получу, обещан…

— Кому?

Она колебалась.

— Кому? — загремел он. — Отвечайте, сударыня.

— Комиссару вашего королевского величества, доктору Ли.

— А, так я и думал, хотя, рассказывая о вас, гнусный мошенник об этом умолчал.

— Драгоценности, доставшиеся мне от матери, заложены за ту самую тысячу фунтов, а больше у меня нет.

— Очевидная ложь, госпожа Харфлит, ибо чем же вы платили Кромуэлу? Даром он вас сюда не привел бы.

— О государь, государь, — вскричала Сайсели, падая на колени, — не требуйте от беспомощной женщины, чтобы она предала тех, кто помог ей в ее правом деле и в самой горькой нужде! Я сказала, что у меня ничего нет,

разве что эти драгоценности стоят дороже, чем мне самой известно.

— Верю, госпожа Харфлит. Хорошо мы все вас обчистили — не так ли? Но, может быть, в конце-то концов вы в проигрыше не останетесь. Ну, а мастер Смит работает ведь не за одно только спасибо?

— Государь, — сказал Джекоб, — это правда; я подражаю своим господам.

Драгоценности этой леди у меня в закладе, и я надеюсь кое-что заработать. Однако, ваше величество, среди них имеется розовая жемчужина редкой красоты, и, может быть, королеве было бы приятно носить ее. Вот она. — И он положил жемчужину на стол.

— О, какая прелесть! — сказала Джен. — Никогда еще я ничего подобного не видела.

— В таком случае рассматривай получше, женушка, ибо ты видишь ее в последний раз. Когда нам нечем платить своим солдатам, чтобы удерживать на голове корону и охранять свободу Англии от испанцев и римского папы, не время дарить тебе каменья, которых я не купил. Возьмите эту драгоценность, мастер Смит, и продайте ее за ту сумму, которую можно будет выручить у евреев; сумму же эту добавьте к полученной мной тысяче фунтов, удержав в свою пользу одну десятую за труды. Итак, госпожа Харфлит, вы купили благоволение короля, и это святая правда, ибо, в отличие от многих других, я никогда не лгу. А, вот и Кромуэл. Милорд, вы не торопились.

— Ваша светлость, тот священник едва не помешался от страха и воображает, что попал в ад; мне пришлось обождать, пока не явился врач.

— Теперь, когда вы ушли, он наверняка почувствует себя лучше. Бедняга, если ряженый черт так напугал его, что он будет делать, когда ему придется иметь дело с настоящими? Так вот, Кромуэл, я обдумал это дело и подпишу ваши бумаги, все до единой. Госпожа Харфлит рассказала мне, как вы постарались для нее, и притом задаром. Я очень доволен, Кромуэл, потому что порою удивлялся — как это вы богатеете, подобно вашему учителю Уолси? А он-то брал взятки, Кромуэл!

— Государь, — ответил тот тихим голосом, — с миледи поступили жестоко, и это вызвало во мне жалость!…

— Так же как и в нас, причем мы разбогатели на тысячу фунтов и на стоимость одной жемчужины. Ну как, все пять документов подписаны? Возьмите их, мастер Смит, поскольку леди Харфлит ваша клиентка, и тщательно проверьте сегодня вечером. Если окажется какая-нибудь ошибка или упущение, даю вам свое королевское слово — все будет исправлено. Вот наш приказ — заметьте себе, Кромуэл, когда наступит момент

осуществить на деле все, о чем здесь идет речь касательно прощений, пожалований и восстановлений в правах, — осуществлено это должно быть незамедлительно. Под бумагами вы и свою подпись поставьте здесь же, при мне. Никаких поборов ни в открытую, ни тайно никому больше не дозволяется изымать ни с леди Харфлит, каковую отныне, в знак особой нашей милости, мы жалуем и именуем владетельницей Блосхолма, ни с ее супруга или сына. Комиссар Ли обязан под соответственную расписку внести в нашу казну всю сумму или суммы, которые могла ему посулить указанная госпожа Харфлит. Запишите все это, милорд Кромуэл, и проследите за тем, чтобы слово мое было выполнено, я с вас спрошу.

Вельможа поспешно повиновался, ибо во взгляде короля он прочел нечто, нагнавшее на него страх. Королева же, увидев, как вожделенная жемчужина исчезла в кармане Джекоба, вернула ребенка Сайсели и, не сказав королю на прощанье ни слова и даже не поклонившись, вышла в сопровождении своей фрейлины из комнаты и хлопнула за собой дверью.

— Ее милость гневается из-за того, что эта жемчужина, ваша жемчужина, леди Харфлит, ей не досталась, — сказал Генрих, добавив с сердитым ворчанием: — Клянусь богом! Как смеет она куражиться надо мною, когда я весь поглощен куда более важными делами! Ого, Джен Сеймур нынче королева и желает, чтобы об этом знал весь свет. Ну, а что превращает женщину в королеву? Прихоть короля и золотая корона на голове, а корону может снять та же рука, которая надела ее, да еще с головой и всем прочим в придачу, если так просто не снимется. И где тогда королева? Чума на всех баб и на все, что заставляет нас к ним тянуться! Госпожа Харфлит, вы, надеюсь, со своим супругом так обращаться не станете? Вы ведь никогда не были при дворе иначе я бы вас помнил. Что ж, может быть, так для вас лучше, и именно потому-то вы и остались милой и кроткой.

— Если я кротка, государь, то этому научило меня горе; я ведь много страдала и даже теперь еще не знаю, жена я или вдова, а с мужем прожила всего одну неделю.

— Вдова? Если вы овдовели, то приходите ко мне, и я найду вам супруга еще познатнее вашего. С такой внешностью и состоянием, как у вас, это будет нетрудно. Ну, не плачьте, я верю, что этот счастливец жив и возвратится порадовать вас и послужить своему королю. И, во всяком случае, надеюсь, что он не станет орудием Испании и папистским интриганом.

— Если бог даст, он будет так же верно служить вашей милости, как служил мой убитый отец.

— Мы знаем это, леди. Вы когда-нибудь кончите марать бумагу, Кромуэл? Предстоит еще заседание совета, а потом надо поужинать и сказать на сон грядущий два слова ее милости. Ты, Томас Болл, не дурак и умеешь держать в руке меч. Посоветуй-ка: идти мне самому на север усмирить мятежников или оставаться здесь и поручить это дело другим?

— Оставайтесь здесь, ваша милость, — поспешил ответить Томас. — Между Уошем и Хомбером местность зимою дикая, стрелы там летают, как утки в ночи, и никому не ведомо, откуда они пущены. К тому же милость ваша тяжеловаты для верховой езды по лесам и болотам, а случись беда, в Испании и Риме, а то и поближе многие обрадуются; и кто будет править Англией, когда на престол сядет девочка?[58] — С этими словами он многозначительно уставился на спину Кромуэла.

— Наконец-то я из уст рыжего мужика услышал правду, — пробормотал король, тоже взглянув на невозмутимого Кромуэла, который продолжал писать, прикинувшись глухим либо действительно ничего не слыша. — Томас Болл, я сказал, что ты не дурак, хотя многие и считали тебя таковым. Может быть, ты хотел бы чего-нибудь попросить в награду за свой совет — только не денег, у нас их нет.

— Так точно, государь; освободите меня от обетов, которые я дал как батрак Блосхолмского аббатства, и разрешите мне вступить в брак.

— В брак? А с кем?

— С ней, государь. — И он указал на Эмлин.

— Что? С другой красивой ведьмой? Ты разве не видишь, что она с норовом? Молчи, молчи, баба, это по лицу твоему видно. Хорошо, получай свою свободу и ее в придачу, но почему, Томас Болл, ты не попросил чего-нибудь другого, раз представился случай? Я был о тебе лучшего мнения. Но ты оказался не умнее всех прочих. Прощай, дурачина Томас, прощайте и вы, прекрасная леди Блосхолма.

Глава XVI . Голос в лесу

После того как к документам была приложена печать, все четверо благополучно возвратились домой, в Чипсайд, в сопровождении трех солдат, которых им дали для охраны.

— Ну как, хорошо было сделано, хорошо? — спросил Джекоб, потирая руки.

— Кажется, да, мастер Смит, — ответила Сайсели. — Благодаря вам, разумеется, если все, что сказал король, действительно стоит в документах.

— Там все в полном порядке, — сказал Джекоб. — Знайте, что я сам с помощью стряпчего и трех писцов составил их сегодня в канцелярии лорда Кромуэла; и уверяю вас, я не стеснялся. Мы основательно поработали, даже обедать не пошли, вот почему я и опоздал на десять минут, за что мне так досталось от Эмлин. Однако я опять перечту документы, и, если хоть что-нибудь опущено, мы выправим, хотя вообще это те самые пергаменты, — я на них поставил никому не заметные знаки.

— Нет, нет, — возразила Сайсели, — пусть остается как есть. Может, изменится настроение его милости или же королевы из-за этой жемчужины.

— Ах, жемчужина! Жалко мне было расставаться с такой красивой жемчужиной. Но ничего не поделаешь, придется ее продать, а деньги пойдут королю — этого требует честь. А если бы я отказал, кто знает, как обернулось бы дело? Да, надо бога благодарить: хоть мы и пожертвовали большей частью ваших драгоценностей, зато нам достались земли аббатства и кое-что другое. Ничто не забыто. С Болла сняли рясу, и он может жениться; кузина Стоуэр получила мужа.

До этого момента Эмлин, ко всеобщему удивлению, молчала. Но тут ее словно прорвало.

— Что я, скотина, чтобы меня отдавать по приказу короля этому человеку? — вскричала она, указывая пальцем на Болла, стоявшего в углу комнаты. — Кто дал тебе право, Томас, свататься ко мне?

— Раз уж ты спрашиваешь Эмлин, так я отвечу: ты сама. Один раз, много лет назад, — у речки на лугу, а второй — недавно в часовне Блосхолмской обители, перед тем как я стал разыгрывать черта.

— Разыгрывать черта! Да, ты и меня здорово разыграл. Битый час, а то и больше я стояла перед лицом короля и словечка не смогла вымолвить, в то время как все кругом разговаривали, а под конец дождалась, что его

милость назвал меня бабой с норовом, а тебя дураком за то, что ты хочешь на мне жениться. О, если мы и поженимся, я уж постараюсь доказать тебе, что он был прав.

— Коли так, Эмлин, то, пожалуй, нам с тобой, так долго жившим в разлуке, лучше и не сходиться, — спокойно ответил Томас. — Но не понимаю, почему ты разъярилась: из-за того, что тебе пришлось в течение какого-то часа придержать свой язык на привязи, или из-за того, что я по-благородному попросил тебя в жены? Я как мог поработал для тебя и твоей госпожи, не щадя себя, и дело не так уж плохо обернулось: мы от всего очистились и твердо стоим на пути к миру и благоденствию. Если ты недовольна, значит, король прав: я последний дурак, и потому — до свидания, не стану больше докучать тебе ни в радости, ни в беде. Мне дано разрешение жениться, и я найду других женщин на белом свете, если захочу. \

— И червяк взъерепенится, если на него наступишь, — как бы про себя произнес Джекоб.

Эмлин же разразилась слезами.

Сайсели подбежала утешать ее, а Болл сделал вид, будто собирается уходить. В это мгновение с улицы постучали в дверь и раздался чей-то голос:

— Именем короля! Именем короля, отворите!

— Это комиссар Ли, — сказал Томас. — У него я и научился этому возгласу, очень полезному в тяжелую минуту, как, наверно, кое-кто из вас помнит.

Эмлин отерла рукавом слезы, Сайсели села, а Джекоб рассовал пергаменты по карманам, после чего в комнату ворвался комиссар, которому кто-то открыл.

— Что я слышу? — закричал он, обращаясь к Сайсели. Лицо его побагровело, как мясистые наросты на голове и шее рассерженного индюка. — Вы, оказывается, действовали за моей спиной; оклеветали меня перед его королевской милостью, и он назвал меня негодяем и вором и велел мне внести в казну все, что я должен от вас получить! Какая неблагодарность! Напрасно спасал я вас от костра, раз вы меня так опозорили.

— Вы столько пылу и жару принесли в мой убогий дом, ученейший доктор, что теперь-то мы, пожалуй, действительно сгорим, — успокоительным тоном произнес Джекоб. — Леди Харфлит сказала лишь то, что вынудил ее сказать его величество; я присутствовал при этом и могу подтвердить. К тому же вы повсюду так много набрали, что вам ничего не

стоит уделить какую-то малость казне. Ну, ну, выпейте кубок вина и успокойтесь.

Однако доктор Ли, который и без того уже осушил немало кубков вина, не в состоянии был успокоиться. Он принялся поносить всех присутствующих одного за другим, но особенно досталось Эмлин, которую он объявил главной виновницей всех своих бед; под конец он даже обозвал ее очень уж плохим словом. Тогда вперед выступил Томас Болл, до этого момента безмолвно стоявший в стороне, и схватил его за шиворот.

— Именем короля! — сказал он. — Нет, нет, теперь не взыщите, это ведь ваш возглас, и вы сами дали мне право действовать с его помощью. — С этими словами Томас хватил доктора Ли головой о дверную притолоку. — Именем короля, вон отсюда! — и он дал ему такого пинка, какого королевский комиссар дотоле еще не получал и от которого кубарем покатился к входной двери. — В третий раз именем короля! — и тут он вышвырнул доктора Ли во двор. — Убирайтесь и запомните, что если я еще раз увижу вашу дурацкую рощу, то именем короля сверну вам шею.

Таким образом ревизор Ли навсегда скрылся с глаз Сайсели, хотя в положенное время она уплатила ему сумму, равную годовому доходу с ее имущества, не поинтересовавшись, впрочем, узнать, кто этими деньгами воспользовался.

— Томас, — сказала Эмлин, когда Болл вернулся к ним, еще улыбаясь при мысли о славном прощальном ударе, — король был прав: я временами бываю норовиста, и это не плохо, так как не раз помогало мне. Забудь все, и я тоже забуду. — С этими словами она подала ему руку, которую он поцеловал, а затем пошла позаботиться об ужине.

Когда они ели, притом с большой охотой, ибо сильно проголодались, снова раздался стук в дверь.

— Пойди, Томас, — сказал Джекоб, — и скажи, что мы сегодня никого не принимаем.

Томас пошел открывать, и они услышали, как он с кем-то разговаривает. Вскоре, однако, он вернулся, а за ним шел человек, закутанный в плащ.

— Пришел посетитель, которому и не смею отказать, — сказал Томас, и все встали, вообразив ни с того ни с сего, что это сам король, а не человек в то время почти столь же могущественный, — лорд Кромуэл.

— Простите меня, — сказал Кромуэл, кланяясь с обычной своей учтивостью, — и, если на то будет ваша милость, разрешите мне сесть вместе с вами за стол и перекусить чего-нибудь; я в этом очень нуждаюсь, так как сегодня крепко поработал.

Он сел к столу, ел и пил, благодушно беседуя о том о сем, причем рассказал, что на заседании совета король изменил свое решение и не отправится на север усмирять мятежников, а пошлет герцога Норфолкского с другими лордами. По мнению Кромуэла, на короля повлияли очень запомнившиеся ему слова Томаса Болла. Кончив есть, он отодвинул кубок, тарелку, взглянул на хозяев и сказал:

— А теперь к делу. Миледи Харфлит, счастье вам нынче улыбнулось, ибо вы получили все, о чем просили, а это весьма удивительно, принимая во внимание, в каком настроении находился его королевская милость. Вдобавок должен вас поблагодарить за то, что вы не ответили на некий вопрос обо мне лично, хотя, говорят, король очень настаивал на ответе.

— Милорд, — сказала Сайсели, — вы же оказали мне большую услугу. Хотя, бог знает, как бы все обернулось, если бы он продолжал требовать ответа. Комиссар Ли не очень-то меня поблагодарил. — И она рассказала Кромуэлу об их недавнем госте и о том, как кончилось это посещение.

— Грубый и жадный человек, который теперь, без сомнения, будет для вас врагом, — ответил Кромуэл. — Впрочем, вы никак не могли поступить иначе — против рожна не попрешь. Во всяком случае, пока я нахожусь у власти, вашей верности не забуду, хотя, по правде говоря, миледи Блосхолм, держусь я на волоске, а подо мной — бездна, поглотившая уже немало людей и покрупнее меня[59]. Поэтому — не стану отрицать — я и стараюсь отложить кое-что на черный день, пока могу, хоть и не знаю, удастся ли мне самому этим воспользоваться.

Он призадумался, а затем, вздохнув, продолжал:

— Времена сейчас смутные. Так что вы, хоть вам и обещано богатство, можете умереть нищей. Земли Блосхолмского аббатства, на которые вы получили нерушимую грамоту, еще не в руках короля, и он не может передать их вам. На севере поднялась великая буря, и, говорю это не для разглашения, ярость ее может смести Генриха с престола. Если это случится, вам надо будет скрыться в такие места, где вас никто не знает, ибо после того, что сегодня произошло, единственным вашим наследством будет тогда веревка. Кроме того, нынешняя королева, в противоположность покойной Анне, сочувствует церковникам[60] и, хоть она и делает вид, что не придает значения таким вещам, из-за жемчужины сердита на короля, а также и на вас как владелицу жемчужины. Не осталось ли у вас какой-нибудь драгоценной вещи, которую вы могли бы дать мне для передачи ей? Что же касается самой жемчужины — кстати, когда мастер Смит показывал

мне другую такую же, он, помнится, клялся, что подобной нет в целом свете, — ее надо продать, согласно королевскому повелению. — И тут он не очень-то ласково взглянул на Джекоба.

Сайсели сказала Джекобу несколько слов; тот вышел и вскоре возвратился, держа в руках брошь с крупным алмазом, окруженным пятью небольшими рубинами.

— Примите это вместе с моей глубокой благодарностью, милорд, — произнесла Сайсели.

— Отлично, отлично. О, не бойтесь, королева получит брошь, — я сам в этом заинтересован не меньше вас. Вы мудро поступаете, леди Харфлит, когда даете заблаговременно. Но и у меня есть для вас подарок, который, может быть, придется вам больше по сердцу, чем драгоценные камни. Ваш супруг, Кристофер Харфлит, в сопровождении слуги, прибыл в Англию и сошел на берег где-то на севере, живой и невредимый.

— О милорд! — вскричала она. — Где же он сейчас?

— Увы! Конец моего сообщения не столь приятный, ибо, отправившись дальше, кажется из Гулля он был взят в плен мятежниками и заключен в Линкольне: он ведь знатного рода и они хотели бы завербовать его в свои ряды. Но, будучи человеком рассудительным и верным, он ухитрился переслать письмо командующему королевскими войсками, и сегодня вечером его доставили мне. Вот оно — узнаете почерк?

— Да, да, — с трудом выговорила Сайсели, не опуская глаз с клочка бумаги, покрытого каракулями, притом не очень грамотными, ибо Кристофер не отличался ученостью.

— Так я вам прочту его, а потом мы сделаем копию, и я заверю ее, чтобы вещественных доказательств у нас было больше.

Командующему королевскими войсками под Линкольном.

Пишу, дабы вы, его королевская милость, министры короля и все прочие знали, что мы — Кристофер Харфлит, дворянин, и Джефри Стоукс, его слуга, — выехав из порта, в который прибыли из Испании, были захвачены вооруженными мятежниками, восставшими против короля, и доставлены в Линкольн. Эти люди хотели бы завербовать меня в свои ряды, так как род Харфлитов — сильный и знаменитый. Они грозились нас убить, и мы вынуждены были дать им какую-то присягу. Но мое письмо пусть явится доказательством, что я сделал это лишь с целью сохранить жизнь, а сердце у меня к ним не лежит, я верен королю и плохо понимаю, чего они хотят. Да и сама по себе жизнь мне не дорога, так как я потерял свою жену и свое достояние и все вообще. Но умирать не хочу, пока не

отомстил злодею и убийце, блосхолмскому аббату, а потому стараюсь сохранить жизнь и убежать от них.

Слыхал я, что означенный аббат собрал большое войско и находится в пятидесяти милях отсюда. Молю бога, чтобы он не допустил меня снова попасть к аббату в когти, но ежели это случится, передайте королю, что Харфлит умер как человек верный.

Кристофер Харфлит.

Джефри Стоукс приложил палец.

— Милорд, — спросила Сайсели, — что же мне теперь делать, милорд?

— Ничего нельзя пока сделать, только надеяться на бога и на лучший исход. Не сомневаюсь, что ему удастся бежать, но, во всяком случае, его королевская милость завтра же утром увидит это письмо и, если окажется возможным, пошлет приказ помочь ему. Перепишите письмо, мастер Смит.

Джекоб взял письмо и принялся быстро писать, а Кромуэл сидел и думал.

— Слушайте, — произнес он наконец. — Вокруг Блосхолма мятежников нет, — все они перебрались на север. Имена Фотрел и Харфлит в Блосхолме хорошо известны. Не могли бы вы отправиться туда и набрать отряд добровольцев?

— Да, да, я могу это сделать, — вмешался Болл. — За неделю я наберу под свою команду добрую сотню человек. Дайте миледи полномочия и денег, а меня назначьте командиром и сами увидите, что будет.

— Полномочия и назначение, скрепленные королевской печатью, будут доставлены сюда завтра в девять утра, — ответил Кромуэл. — Деньги вы должны раздобыть сами — они имеются только в сундуках Джекоба Смита. Но обдумайте все хорошенько, леди Харфлит, — дело опасное, а здесь вам ничто не грозит.

— Я знаю, что дело опасное, — ответила она, — но что для меня опасность — я их уже столько пережила, — когда мой муж там и я могу помочь ему?

— Вы сильны духом, и я надеюсь, что силы эти даны вам свыше, — заметил Кромуэл.

Но старый Джекоб, заканчивая свою копию словами «с подлинным верно», под которым Кромуэлу оставалось только поставить подпись, грустно покачал головой.

Не медля ни минуты и даже не сверив оба документа, Кромуэл подписал копию, сказал на прощанье несколько любезных слов и ушел, так

как его ждали куда более важные дела.

С тех пор Сайсели его никогда не видела. Впрочем, кроме Джекоба Смита, ей так и не пришлось увидеть никого из людей, в том числе и короля, связанных с этими обстоятельствами ее жизни. Все же, несмотря на его хитрость и вымогательства, ей стало жаль Кромуэла, когда года четыре спустя герцог Суффолкский и граф Саутгэмптон грубо сорвали с него орден Подвязки и другие знаки отличия, и из Королевского совета он был отведен в Тауэр, а оттуда, после унизительных молений о пощаде, — на плаху. Во всяком случае, ей он хорошо послужил, ибо исполнил все свои обещания до последнего. Напоследок он даже отослал ей обратно розовую жемчужину, полученную от Джекоба Смита, написав при этом, что, как он уверен, владеть такой вещью ей скорее подобает, чем ему, и он надеется, что она принесет ей больше счастья.

Когда Кромуэл отбыл, Джекоб обратился к Сайсели и спросил, покинет ли она его дом завтра же.

— Разве я уже не сказала? — с раздражением спросила она. — Могу ли я оставаться в Лондоне после того, что узнала? Почему вы спрашиваете?

— Потому что мне надо свести с вами счет. Я считаю, что за помещение и харчи вы должны мне около двадцати марок золотом. К тому же нам, вероятно, понадобятся деньги на дорогу, а сегодня у меня совсем не осталось звонкой монеты.

— Нам на дорогу? — переспросила Сайсели. — Разве вы поедете с нами, мастер Смит?

— Думаю, что с вашего разрешения поеду, леди. Здесь настало неспокойное время, у меня нет ни шиллинга дли ссуд, а если я не буду ссужать, мне этого никогда не простят. К тому же я заслужил отдых и хотел бы перед смертью еще раз повидать Блосхолм, где родился, если, конечно, мы туда доберемся. Но если отправляться завтра, то у меня сегодня будет еще много дела. Так, например, надо спрятать в надежном месте ваши драгоценности, что у меня в закладе, надо сделать копии с этих документов и передать в верные руки жемчужину для продажи. В котором же часу отправимся мы в это безрассудное путешествие?

— В одиннадцать, — ответила Сайсели, — если к тому времени получим от короля пропуск и полномочия.

— Что ж, пусть так. А теперь пожелаю вам доброй ночи. Пойдем-ка со мною, достойный Болл, нам ведь спать не придется. Я сейчас позову своих писцов, а тебе надо позаботиться о лошадях. Вы же, леди Харфлит, и вы, кузина Эмлин, отправляйтесь почивать.

На следующее утро Сайсели поднялась с зарей и даже рада была этому, так как провела бессонную ночь. Долго не могла она заснуть, а когда наконец забылась, ее стало носить по морю сновидений: ей снились король, угрожающе говоривший что-то своим мощным голосом; Кромуэл, забиравший у нее все, вплоть до одежды; комиссар Ли, который тащил ее обратно на костер за то, что от него ускользнула данная ею взятка.

Но чаще всего видела она Кристофера, своего любимого мужа; теперь он был как будто бы близко, вместе с тем так же далеко, как прежде: он был пленником в руках мятежников и считал ее умершей.

От всех этих грез она очнулась заплаканная и истерзанная страхом. Неужели теперь, когда чаша радости почти у самых губ, судьба снова отнимет ее? Ничего нельзя было знать заранее, ибо помочь ей могла только вера, так хорошо послужившая ей недавно. Однако она была уверена, что если Кристофер жив, он проберется в Крануэл или Блосхолм, и ей, невзирая ни на какие опасности, надо поскорее мчаться туда же со всей скоростью, на какую способны будут их кони.

Как могли, торопились они, собираясь в путь, но все же лишь к часу пополудни удалось им выехать из Чипсайда. Надо было столько сделать, но все же многое осталось недоделанным. Все четверо ехали в самой скромной одежде, выдавая себя за людей купеческого звания, возвращающихся в Кембридж после поездки в Лондон по делам о наследстве, в котором заинтересованы были все, но особенно Сайсели, изображавшая вдову, по имени Джонсон. Эту историю они и рассказывали всюду, внося в нее те или иные изменения, смотря по обстоятельствам. На обратном пути им было легче, чем по дороге в столицу, ибо сейчас, по крайней мере, они не находились в гнусном обществе комиссара Ли и его людей, не тревожила их и мысль о том, что они везут с собой ценные вещи. Все эти украшения остались в надежных местах, равно как и документы, подписанные королем и скрепленные его печатью, — с собой они взяли только заверенные копии, а также полномочия на сбор отряда, присланные Кромуэлом и выданные на имя Сайсели и ее мужа, и грамоту, назначавшую Болла командиром. Документы были спрятаны у них в обуви и под одеждой вместе с деньгами, необходимыми на дорожные расходы.

Имея отличных, неутомленных лошадей, они ехали быстро и к концу второго дня благополучно прибыли в Кембридж, где и заночевали. Там им сообщили, что за Кембриджем повсюду очень неспокойно и путешествовать опасно. Но в тот момент, когда они пришли в полное отчаяние и даже Болл заявил, что дальше ехать нельзя, прибыл отряд королевских конников, который двигался в том же направлении, что и они,

на соединение с войсками герцога Норфолкского, действовавшими где-то в Линкольншире.

Их командиру, по имени Джефрис, Джекоб показал королевские полномочия и открыл, кто они такие. Так как в полномочиях указывалось, что все офицеры и чиновники его величества должны оказывать им содействие, капитан Джефрис согласился дать им охрану до того места, где их пути разойдутся. Поэтому на следующий же день они смогли отправиться дальше. Общество, в котором они теперь находились, было не из приятных, ибо эта сотня вооруженных людей состояла из очень грубых парней. Будучи, однако, предупреждены, что каждый, кто оскорбит или хоть пальцем тронет путешественников, будет повешен, солдаты оставили их в покое. И хорошо было, что они смогли получить охрану, ибо местность, через которую они проезжали, кишела вооруженными отрядами под предводительством священников, которые не раз угрожали им и напали бы на них, если бы осмеливались.

В течение двух дней путешественники ехали вместе с капитаном Джефрисом и к вечеру второго — добрались до Питерборо, где нашли приют в гостинице.

Но наутро, когда они встали, оказалось, что Джефрис со своими людьми уже выступил, оставив им записку, что получил спешный приказ немедленно идти в Линкольн.

Теперь им опять пришлось рассказывать старую историю, но при этом объявлять себя бостонскими горожанами, которые узнали, будто на Болотах спокойно[61], может быть, потому, что там живет так мало народу, и решили переехать туда под предводительством Болла, который не раз путешествовал в этих местах, покупая и продавая скот в монастырях. Трудно было ехать здесь, среди болот, особенно в сырую осеннюю погоду, так как во многих местах речки и ручьи вышли из берегов и проселочные дороги превратились в непроходимые топи. Первую ночь они провели в хижине местного жителя, прислушиваясь к шуму дождя и опасаясь лихорадки, особенно боялись за мальчика. На вторую ночь они, к счастью, выбрались в более возвышенную местность и переночевали в трактире.

Здесь к ним приходили суровые люди из партии церковников, чтобы выяснить, чего им нужно. Сперва положение казалось опасным, но Болл, говоривший на местном наречии, убедил мятежников, что нет причин опасаться людей, путешествовавших с двумя женщинами и ребенком. К этому он добавил, что сам является служителем Блосхолмского аббатства, переодетым в военное платье из страха перед сторонниками короля. А Джекоб Смит велел подать эль и выпил с мятежниками за успех

Благодатного паломничества, как именовалось это восстание.

Таким образом, говоря то одно, то другое, они отводили от себя подозрения. Им удалось даже разузнать, что вокруг Блосхолма все спокойно, хотя, правда, настоятель укрепил аббатство и снабдил его провиантом. Сам он находился вместе с главарями мятежа неподалеку от Линкольна, но в монастыре все подготовил, чтобы иметь крепкое убежище, которое могло бы стать опорным пунктом.

Так что под конец, наполнив животы крепким пивом, мятежники удалились, и эта опасность миновала.

На следующее утро они выехали очень рано, надеясь к заходу солнца добраться до Блосхолма, хотя дни стали теперь гораздо короче. Однако это им не удалось, так как они основательно завязли в болоте милях в двух от своего трактира, а выбравшись из него, вынуждены были сделать порядочный крюк, чтобы объехать топи. Вот почему лишь к концу дня они добрались до леса, где аббат умертвил сэра Джона Фотрела. Проезжая вдоль лесной дороги, они к заходу солнца оказались у заводи, где он был убит.

— Говорят, что тут-то и зарезали твоего отца, — сказала Эмлин, ехавшая за Сайсели с ребенком на руках. — Смотри, вон там лежат кости Мет, его кобылы; и узнаю ее черную гриву.

— Да, леди, — вмешался Болл, — сам он лежит там, где погиб. Его зарыли, даже молитвы над ним не прочитав. — С этими словами он указал на небольшой, небрежно насыпанный холмик между двумя ивами.

— Иисусе, смилуйся над его душой! — молвила Сайсели и перекрестилась. — Клянусь, если буду жива, я перенесу его останки в блосхолмскую церковь и поставлю ему хороший памятник.

И она сделала это, в чем могут убедиться все посещавшие эти места, ибо памятник сохранился до наших дней. На нем изображен старый рыцарь; он лежит с торчащей в горле стрелой на снегу, между двумя убийцами, которых он, защищаясь, прикончил, а дальше, уже почти за гробницей, виднеется удаляющаяся фигура всадника — Джефри Стоукса.

Пока Сайсели, шепча молитву за упокой души, смотрела на эту заброшенную могилу, Томас Болл услышал нечто, заставившее его насторожиться.

— Что там такое? — спросил Джекоб Смит, заметив, как изменилось выражение его лица.

— Мчатся во всю прыть кони, много коней, мастер, — ответил он. — Да, и на них всадники. Послушайте.

Все прислушались и теперь тоже услыхали конский топот и крики

людей.

— Живей, живей, — сказал Болл, — за мною! Я знаю, где мы сможем укрыться. — И он указал им дорогу к густой высокой поросли терна и бука, находившейся на расстоянии около двухсот ярдов под сенью нескольких высоких дубов у перекрестка, где сходились четыре проселочных дороги. Всякий садовод знает, что, когда буковые деревья еще молоды, листья их осенью и зимой словно присасываются к веткам. Вот почему эта поросль стала очень густой и могла совершенно укрыть их.

Едва успели они остановиться в своем укрытии, как необычное зрелище предстало им в багряном свете заката. По дороге — не той, по которой ехали они, а другой, с противоположной стороны, огибавшей Королевский курган, — то скрываясь за деревьями, то показываясь вновь, мчался на сером коне высокий всадник в доспехах и с ним другой — в кожаном камзоле на черной лошади, а за ним на расстоянии не более чем в сто ярдов показался разношерстный отряд преследователей.

— Бежавшие пленники и погоня, — пробормотал Болл, но Сайсели не обратила внимания на его слова. Во внешности всадника на сером коне почудилось ей нечто столь знакомое, что сердце едва не выпрыгнуло из ее груди.

Она нагнулась над головой своей лошади, глядя во все глаза. Теперь оба всадника почти поравнялись с их кустарником, и тот, что был в доспехах, обернувшись к своему спутнику, весело крикнул:

— Они отстают! Мы от них ускользнем, Джефри!

Сайсели увидела его лицо.

— Кристофер! — крикнула она. — Кристофер!

Еще мгновение — и они промчались бы мимо, но до Кристофера, ибо то был он, долетел звук этого голоса, который он так хорошо помнил. Взором, обостренным любовью и страхом, она увидела, что он задержал коня. Она услышала, как он что-то крикнул Джефри, и тот ответил недовольным, встревоженным тоном. Они колебались, медлили на открытом пространстве перед порослью.

Кристофер попытался повернуть, затем увидел, что преследователи приближаются, и, когда они уже почти настигали его, с громким криком устремился вперед, чтобы опередить их. Слишком поздно! Оба всадника проскакали еще сотню ярдов вверх по косогору, но их окружили, и на гребне холма, видимо, завязалась схватка, ибо мечи так и засверкали в лучах заходящего солнца. Преследователи набросились на всадников, как свора псов на загнанную лисицу. Все умчались вниз — скрылись из глаз.

Сайсели, обезумев, пыталась ринуться вслед за ними, но ее удержали.

Наконец все смолкло, и Томас Болл, спешившись, прокрался на дорогу. Минут через десять он возвратился.

— Все умчались, — сказал он.

— О, он погиб! — простонала Сайсели. — Это проклятое место отняло у меня и отца и мужа.

— А я думаю, что он жив, — ответил Болл. — Нет ни крови, ни признаков того, чтобы кого-то уносили. Он уехал верхом на своем коне. Но какое все же несчастье, что небу не угодно вразумить женщин и научить их молчать, когда следует!

Глава XVII . Жизнь или честь

День едва занимался, когда, наконец, измученные душевно и физически, Сайсели и ее спутники подъехали на своих спотыкающихся от усталости конях к воротам Блосхолмской обители.

— Дал бы бог, чтобы монашки находились еще здесь, — сказала Эмлин, державшая ребенка. — Если их выгнали и моя госпожа должна будет ехать дальше, я боюсь, что она не выдержит. Стучи сильней, Томас: старик садовник глух как пень.

Болл повиновался и стучал так добросовестно, что вскоре решетка в воротах открылась и дрожащий женский голос спросил, кто там.

— Это сама мать Матильда, — сказала Эмлин и, соскочив с коня, подбежала к решетке и стала через нее разговаривать с настоятельницей.

Подошли другие монахини и общими силами открыли одну половину огромных ворот, так как садовник не смог или не захотел встать. Путешественники въехали во двор и, когда монахини поняли, что Сайсели действительно возвратилась, ее приняли с распростертыми объятиями. Но от усталости Сайсели едва могла произнести хоть одно слово, поэтому ее заставили выпить чашку молока и отвели в их прежнюю комнату, где она тотчас уснула. Проснулась она около девяти и увидела, что Эмлин, выглядевшая немногим лучше ее, уже встала и разговаривает с матерью Матильдой.

— О, — вскричала Сайсели, когда вспомнила обо всем, — не слышно ли чего-нибудь о моем муже?

Они покачали головой, настоятельница сказала:

— Сперва, дорогая, ты должна поесть, а потом мы сообщим тебе то немногое, что удалось узнать.

Она поела, так как ей необходимо было подкрепить силы, и, пока Эмлин помогала ей одеваться, узнала все новости. Их было действительно немного — лишь подтверждение того, что сообщили жители Болот, а именно, что аббатство укреплено и охраняется пришельцами-мятежниками с севера или иностранцами, а сам настоятель, видимо, уехал.

Болл, который уже выходил разведать положение, сообщил со слов одного встречного, что ночью через деревню промчался конный отряд, но никаких подробностей узнать не удалось, ибо даже если он действительно промчался ночью, ливень смыл все следы конских копыт. К тому же в то неспокойное время люди часто ездили в разные места под покровом

темноты, и никто не мог сказать, имел ли этот отряд какое-нибудь отношение к тому, который они видели в лесу: тот ведь мог направиться совсем другой дорогой.

Когда Сайсели была готова, они сошли вниз и в комнате матери Матильды застали поджидавших их Джекоба Смита и Томаса Болла.

— Леди Харфлит, — сказал Джекоб с видом человека, не желающего терять даром времени, — положение таково. До сих пор никто еще не знает, что вы здесь, — садовника и его жену мы никуда не выпускаем. Но, как только в аббатстве об этом прослышат, можно будет опасаться нападения, а здесь обороняться невозможно. У вас же в Шефтоне дело обстоит иначе: там, говорят, имеется глубокий ров с подъемным мостом и все прочее. Поэтому вам нужно немедленно отправиться в Шефтон, если возможно — незамеченной. Томас уже ходил туда и говорил кое с кем из ваших арендаторов, кому можно было довериться; сейчас они работают вовсю, подготовляя помещение и снабжая его припасами, а также оповещают других. К ночи Томас надеется собрать человек тридцать вооруженных для защиты замка, а дня через три, когда станет известно, что вам даны полномочия набрать войско, и он назначен командиром, — даже добрую сотню. Двинемся же в путь, медлить нельзя, лошади уже оседланы.

Сайсели расцеловалась с матерью Матильдой, которая благословила и поблагодарила ее за все, что она сделала или старалась сделать для сестер, и через пять минут все опять уже сидели на своих усталых конях и под дождем двинулись к Шефтону, который, к счастью, находился лишь на расстоянии трех миль от обители. Держась под деревьями, они выехали незамеченными, ибо в такую погоду никто на улицу не выходил, а если у ворот аббатства и стояли часовые, то они укрылись в сторожке. Так удалось им благополучно добраться до окруженного лесом и валом Шефтона, который Сайсели видела в последний раз, когда бежала оттуда в Крануэл в день своей свадьбы, а с тех пор — так казалось ее измученной душе — прошли целые годы.

Странное это и печальное возвращение в отчий дом, подумалось ей, когда они ехали через подъемный мост и мокнущий под дождем, заросший сорной травой сад к знакомой двери. Но в доме все обстояло не так уж плохо, ибо предупрежденные Боллом арендаторы поработали на славу. В течение более чем двух часов несколько женщин, пришедших по своей доброй воле, мели и чистили комнаты, в каминах горел огонь, а на кухне и в кладовой было вполне достаточно разных припасов. Более того, в большом зале собралось человек двадцать, которые приветствовали хозяйку радостными возгласами и подбрасывали вверх свои колпаки.

Джекоб тотчас же прочитал им королевскую грамоту, показав подпись и печать, а также назначение Томаса Болла командиром, предоставлявшее ему большие полномочия. Ознакомившись с этими документами, собравшиеся люди, давно уже лишенные предводителя и какой-либо защиты со стороны властей, видимо, ощутили прилив бодрости. Один за другим поклялись они твердо стоить на стороне короля, своей леди, Сайсели Харфлит, и ее супруга, сэра Кристофера; если же он погиб, то их сына. Затем около половины собравшихся сели на коней и разъехались в разные стороны — именем короля собирать вооруженный отряд. Остальные же остались охранять замок и обеспечить его защиту.

На закате со всех сторон стали съезжаться люди, причем некоторые из них везли на тележках провиант, оружие и корм для животных или гнали перед собою овец и рогатый скот для забоя на случай осады. По мере того как они подходили, Джекоб записывал их имена, а Томас Болл, по праву командира, приводил к присяге. В ту ночь в замке находилось уже человек сорок и должно было собраться еще много больше.

Однако теперь тайна оказалась нарушенной, весть о возвращении Сайсели разлетелась повсюду, да и дым из труб Шефтона сам за себя говорил. Сперва на возвышенности против замка появился один разведчик и стал наблюдать. Затем он ускакал и через час возвратился в сопровождении десятка вооруженных всадников, один из которых держал в руке знамя с вышитыми на нем эмблемами Благодатного паломничества. Всадники эти подъехали на сто шагов к Шефтон Холлу, видимо с намерением напасть, но, увидев, что мост поднят, а по обе стороны его стоят стрелки с луками наготове, остановились и выслали парламентера с белым флагом.

— Кто вы там, в Шефтоне, — прокричал этот человек, — и чье дело защищаете?

— Леди Харфлит, владелица Шефтона, и капитан Томас Болл — именем короля! — крикнул Джекоб Смит.

— По чьему указу? — спросил парламентер. — Владеет Шефтоном настоятель Блосхолма, а Томас Болл всего-навсего брат-мирянин его монастыря.

— По указу его милости короля, — ответил Джекоб; и, повысив голос, он прочитал королевскую грамоту.

Выслушав, парламентер отъехал посовещаться с товарищами. Некоторое время они колебались, словно все еще собираясь атаковать, но под конец повернули обратно, и больше их не видели.

Болл намеревался преследовать их, собрав всех людей, что были у него

под рукой, но осторожный Джекоб Смит воспрепятствовал этому, спасаясь, чтобы он не попал в какую-нибудь западню и не был убит или захвачен со своими людьми, оставив замок беззащитным.

Так прошел день, а к вечеру у них уже набрались такие силы, что можно было не спасаться нападения со стороны аббатства, чей гарнизон, как они узнали, состоял из пятидесяти солдат и всего нескольких монахов, — остальные бежали.

В тот вечер Сайсели с Эмлин и старым Джекобом сидели в большой верхней комнате, где сэр Джон Фотрел однажды застал ее в обществе Кристофера, как вдруг вошел Болл, а вслед за ним какой-то человек подозрительного вида, в куртке из овчины, которая к нему не очень-то шла.

— Это еще кто, дружище? — спросил Джекоб.

— Один мой старый товарищ, ваша милость, блосхолмский монах, которому надоела и благодать и паломничество и который жаждет королевского мира и прощения. Я взял на себя смелость обещать, что они будут ему дарованы.

— Хорошо, — сказал Джекоб, — я запишу его имя, и, если он останется нам верен, твое обещание будет исполнено. Но сюда-то ты зачем его привела?

— А он с новостями.

Что-то в голосе Болла побудило Сайсели, задумчиво сидевшую в сторонке, быстро взглянуть на пришельца и молвить:

— Говори, и живей.

— Миледи, — начал этот человек негромким голосом, — имя мое в иночестве Бэзил, и хоть я и монах, но бежал из аббатства, ибо верен королю и к тому же много натерпелся от настоятеля, который только что вернулся разъяренный: у Линкольна его постигла какая-то неудача, какая именно — не ведаю. Новость же мол состоит в том, что супруг ваш сэр Кристофер Харфлит и его слуга Джефри Стоукс содержатся как пленники в подземной темнице аббатства; они захвачены были прошлой ночью отрядом мятежников, который доставил их в монастырь, а потом ускакал дальше.

— Пленники! — вскричала Сайсели. — Значит, он не убит и не ранен? Цел и невредим?

— Да, миледи, цел и невредим, как мышь в лапах у кошки, пока она еще не съедена.

Кровь отхлынула от лица Сайсели. Ей представился аббат Мэлдон в виде громадного кота с головой монаха, а в когтях у него — Кристофер.

— Это моя вина, моя! — произнесла она мрачным голосом. — О, не позови я его, он бы им не попался. Лучше мне было бы на месте лишиться

языка!

— Не думаю, — ответил брат Бэзил. — Впереди его поджидали другие, и, когда он был схвачен, они уехали, благодаря чему вам самим удалось проскочить. Как бы то ни было, но он сейчас там, и, если вы хотите спасти его, вам надо собрать все свои силы и ударить немедля.

— Известно ли ему, что я жива? — спросила Сайсели.

— Откуда мне знать, леди? В темницах аббатства не многое разведаешь. Но монах, который утром приносил пленникам еду, говорил, что сэр Кристофер сказал ему, будто попал в беду из-за некоего призрака, окликнувшего его голосом покойной жены, когда он проезжал вблизи Королевского кургана.

Услышав это, Сайсели встала и вместе с Эмлин вышла из комнаты — больше она не в силах была выдержать.

Но Джекоб Смит и Болл еще долго расспрашивали монаха о самых разнообразных вещах и, разузнав все, что он мог им сообщить, отослали его, велев держать под стражей, а сами сидели почти до полуночи, совещаясь и вырабатывая свои планы совместно с фермерами и йоменами, которых время от времени вызывали к себе.

На следующий день рано утром они явились к Сайсели и сказали, что, по их мнению, правильнее всего было бы без промедления штурмовать аббатство.

— Но ведь там мой муж, — ответила она в полном смятении. — Они тогда убьют его.

— Боюсь, что это и случится, если мы не нападем на них, — ответил Джекоб. — К тому же, леди, по правде говоря, надо подумать и о другом. Например, о деле и чести короля, которые мы обязались защищать, о жизни и имуществе всех тех, кто благодаря нам встал на его сторону. Если мы будем бездействовать, аббат Мэлдон пошлет на север за помощью, и через несколько дней на нас обрушится многочисленное войско, против которого мы окажемся бессильными. Весьма возможно, что он уже послал. Но если мятежники узнают, что аббатство пало, они вряд ли явятся сюда лишь ради отмщения. Наконец, если мы будем сидеть сложа руки, то нашими людьми, которые сейчас так и рвутся в бой, снова овладеют сомнения и страхи, они поостынут и начнут расходиться.

— Что ж, если так надо, ничего не поделаешь. Да сохранит бог его жизнь, — с тяжким вздохом сказала Сайсели.

В тот же день королевские люди под водительством Болла выступили и со всех сторон обложили аббатство, а лагерь свой раскинули в деревне Блосхолм. Сайсели, не пожелавшая остаться в замке, вышла вместе с ними

и снова обосновалась в обители, которая по ее требованию открыла перед нею ворота. Единственный страж обители — глухой садовник — сдался без сопротивления. Его отправили в лагерь чернорабочим, и никогда еще не приходилось ему так много трудиться: Эмлин, имевшая против него зуб, постаралась, чтобы работы у него хватало и чтобы она была погрязнее и потяжелее.

Томас и другие вместе с ним обследовали подступы к аббатству и вернулись, охваченные сомнением: без пушек — а их пока не было — мощное здание из тесаного камня казалось почти неприступным. Лишь в одном месте штурм представлялся возможным — с тыла, где когда-то находились сторожка и ферма, сожженные Томасом по желанию Эмлин. Развалины стояли во внутреннем кольце рва и тесно примыкали к стене аббатства, но от сильного огня каменная кладка их растрескалась и осыпалась, а балки вывалились и упали в ров.

Для обеспечения обороны образовавшаяся брешь была закрыта двойным палисадом из крепких кольев, а пространство между ними заполнено связками хвороста, балками разрушенных строений и всяким мусором. Перед палисадом находился широкий и глубокий ров, а над ним окна и угловая башня, из которых его легко было защищать, так что идти здесь на приступ аббатства означало бы потерять очень много людей, и осаждающие не могли на это решиться. Однако от монаха Бэзила и других они узнали еще одну важную вещь, а именно, что запасов продовольствия в аббатстве на весь его гарнизон было слишком мало: Бэзил полагал, что дня на три, а по мнению других, уж никак не больше, чем на четыре.

В тот же вечер состоялся второй военный совет, на котором решено было взять аббатство измором, а на приступ идти лишь в том случае, если разведка донесет, что мятежники двинулись ему на помощь.

— Но, — возразила Сайсели, — в таком случае супруг мой и Джефри Стоукс тоже умрут с голоду.

Все печально разошлись, заявив ей, что тут уж ничего не поделаешь — нельзя ради двух человек положить десятки жизней.

Началась осада, такая же, как та, которую Сайсели перенесла в Кроуэл Тауэрсе. В первый день гарнизон аббатства насмехался над ними со своих стен. Но на второй — насмешки прекратились: осажденные увидели, что силы их противников с каждым часом увеличиваются. На третий — они внезапно опустили мост и бросились к нему, словно намереваясь сделать вылазку, но, увидев перед собою десятки воинов Болла с натянутыми луками, отказались от этой мысли и снова подняли мост.

— Они начали голодать и отчаиваться, — заметил рассудительный

Джекоб. — Скоро мы получим от них известия.

Он оказался прав. Незадолго до захода солнца открылись боковые ворота, и какой-то человек, держа над головой белый флаг, бросился в ров и поплыл на противоположную сторону. Он выбрался из рва, отряхнулся и медленно двинулся туда, где на лужайке перед аббатством, на месте, куда не могли долететь стрелы осажденных, стояли Болл и обе женщины. Сайсели, ослабевшая от горя и страха за мужа, прислонилась к дубовому столбу, к которому она была в свое время прикована для сожжения на костре и который до сих пор не убрали.

— Кто этот человек? — спросила у нее Эмлин.

Сайсели вгляделась в изможденного бородатого человека, направлявшегося к ним прерывающейся походкой больного.

— Не знаю; а впрочем, да, он чем-то напоминает Джефри Стоукса!

— Это не кто иной, как Джефри, — сказала Эмлин, кивнув головой. — Что-то он нам сообщит?

Не ответив ни слова, Сайсели только теснее прижалась к столбу; на сердце у нее было не легче, чем тогда, когда повар аббатства раздувал растолку, чтобы поджечь хворост. Теперь Джефри стоял уже прямо перед ней. Взгляд его ввалившихся глаз упал на нее, и рот раскрылся от изумления, отчего лицо еще больше вытянулось и еще резче обозначились скулы.

— Ах, — пробормотал он, ни к кому не обращаясь. — От всех этих боев и путешествий и трехдневной голодовки, когда еды у меня было меньше, чем хватило бы крысе, да к тому же от холодной ванны в ноябре — не говоря уже о том, что похуже, — в уме и вправду может помутиться. Но все же, подумать только, что мне довелось увидеть призрак среди бела дня, да еще у нас дома, в Блосхолме, где такого никогда не бывало!

Не спуская глаз с Сайсели, он выжал из бороды воду и добавил:

— Брат-мирянин или капитан Томас Болл, кто бы ты теперь ни был, если ты тоже не привидение, дай мне четверть крепкого эля и краюху хлеба, ибо в нутре у меня пусто, как у выпотрошенной селедки, и я, можно сказать, сейчас вознесусь к небесам, а предпочел бы все же стоять обеими ногами на нашей грешной земле…

— Джефри, Джефри, — прервала его Сайсели, — что ты сообщишь нам о своем господине? Эмлин, скажи ему, что мы обе живы. Он не понимает.

— О, так вы живы? — медленно произнес он. — Значит, вы не погибли от пожара и Эмлин тоже? Ну, раз так, каждый может надеяться; и, пожалуй, ни голод, ни нож аббата Мэлдона не прикончат Кристофера

Харфлита.

— Значит, он жив и здоров?

— Жив и здоров, поскольку можно быть живым и здоровым и после трехдневной голодовки в подземной темнице, к тому же довольно-таки сыроватой. Вот тут имеется письмо по поводу всех этих дел к командиру вашего отряда.

Он развернул свой белый флаг и достал из складок его прикрепленное к флагу письмо, протянул его Боллу, а тот, не умея читать, передал письмо Джекобу Смиту. В это же самое время мальчик принес эль, о котором спросил Джефри, а также поднос с кусками мяса и хлеба. Джефри набросился на них, как изголодавшийся пес, поглощая огромными глотками и эль и пищу, которую не трудился даже прожевывать.

— Клянусь всеми святыми, да ты, видно, чуть не помер с голоду, Джефри, — сказал один из стоявших тут же йоменов. — Пойдем-ка со мной и сбрось свою мокрую одежду, не то тебе станет худо. — И он увел Джефри, продолжавшего жевать, в ближайшую палатку.

Тем временем Джекоб, тревожно хмуря лоб, ознакомился с письмом, а затем прочел его вслух. Оно гласило:

Командиру воинов короля от Клемента, настоятеля Блосхолмского аббатства.

Мне неведомо, по чьему указу осадили вы нас, грозя аббатству и его инокам огнем и мечом. Я прослышал, что предводительствует вами Сайсели Фотрел. Передайте же этой избежавшей костра ведьме, что в плену у меня находится человек, которого она именует своим мужем и который является отцом ее незаконнорожденного ребенка. Если в эту же ночь она не распустит свой отряд и не пришлет нам подписанный и засвидетельствованный документ, где мне и всем находящимся со мною от имени короля гарантируется прощение за все, что мы могли содеять против него и его законов, а также против нее лично, и возможность свободно уйти, куда мы пожелаем, так, что при этом нам не станут препятствовать, и не будут нас преследовать, и не отнимут наших земель и движимого имущества, знайте, что завтра на заре мы предадим смерти рыцаря Кристофера Харфлита в наказание за убийства и другие преступления, которые он против нас совершил, и в доказательство этого вы увидите его труп, повешенный на башне аббатства. Если же вы примете наши условия, мы оставим его здесь невредимым, и вы найдете его, когда мы удалимся. Об остальном спросите его слугу Джефри Стоукса, которого мы посылаем к вам с этим письмом.

Клемент, настоятель.

Джекоб кончил читать, и среди слушавших воцарилось молчание.

— Пойдемте отсюда и где-нибудь в четырех стенах обсудим это дело, — сказала Эмлин.

— Нет, — вмешалась Сайсели, — в отсутствие моего супруга я являюсь уполномоченной короля и требую, чтобы меня выслушали. Томас Болл, прежде всего пошли к аббату парламентера с заявлением, что если хоть один волос упадет с головы сэра Кристофера Харфлита, каждого находящегося в стенах аббатства человека я предам смерти от меча или веревки и лично буду отвечать за это перед королем. Напишите это, мастер Смит, и пошлите вместе с копией королевской грамоты, подтверждающей мои полномочия. Сейчас же, без промедления.

Они отправились в стоявший неподалеку домик, где Болл устроил караульное помещение. Там это суровое предупреждение было изложено на бумаге, переписано начисто, подписано Сайсели, а также Боллом, как командиром отряда, и Джекобом Смитом в качестве свидетеля.

Бумагу вместе с копией королевской грамоты Сайсели собственноручно передала смелому и верному человеку, поручив ему потребовать ответа; и он отправился в путь с белым флагом в руке и стальной кольчугой под стеганым камзолом, чтобы обезопасить себя от предательского удара.

Когда он ушел, они послали за Джефри, который явился в сухой одежде и все еще жуя, ибо голод у него был волчий.

— Расскажи нам все, — сказала Сайсели.

— Если начинать с начала, то это будет длинная история, леди. Когда ваш блаженной памяти батюшка, сэр Джон, и я с ним выехали из Шефтона в день его гибели…

— Нет, нет, — прервала Сайсели, — с этим можно обождать, сейчас не до того. Мой супруг и ты бежали из Линкольна — не так ли? — и, как мы видели, были снова захвачены в лесу.

— Так точно, леди. Какой-то дух сыграл с нами шутку, позвал его вашим голосом; он услышал и придержал коня, тогда они нас догнали и захватили благодаря своему численному превосходству, но, по счастью, мы остались целы я невредимы. Нас привезли в аббатство и бросили в это окаянное подземелье, где в течение трех дней мы почти не получали пищи, только немного хлеба и воды, и подыхали с голоду в полной темноте. Вот и весь рассказ.

— А как ты вышел оттуда, Джефри?

— Да вот как, миледи. Около часу тому назад какой-то монах и три вооруженных стражника открыли дверь нашей тюрьмы. Пока мы моргали глазами на свет его фонаря, как совы в полдень, монах стал говорить, что аббат намеревается послать меня в лагерь королевских людей с предложением обменять жизнь Кристофера Харфлита на жизнь всех, находящихся в аббатстве. Он добавил также, что принес чернила и бумагу и что, если Харфлит хочет спастись, ему следовало бы написать письмо с просьбой принять это предложение, не то он наверняка умрет на заре.

— Что же сказал мой муж? — спросила Сайсели, подавшись вперед.

— Что он сказал? Он рассмеялся им в лицо и заявил, что скорее отрубит себе руку, после чего они потащили меня из темницы, и притом довольно грубо, так как я хотел оставаться с ним до конца. Но, когда дверь уже закрывали, он успел крикнуть мне: «Скажи офицерам короля, чтобы они спалили эту крысиную нору, не помышляя о Кристофере Харфлите, который вовсе не прочь умереть».

— А почему он желает смерти? — снова спросила Сайсели.

— Потому что считает жену свою умершей, госпожа, как и я считал, и думает, что в лесу слышал ее голос, призывающий его соединиться с нею.

— О боже, боже! — простонала Сайсели. — На моей совести будет его гибель.

— Нет, — ответил Джефри. — Неужто вы так плохо знаете Кристофера Харфлита, что думаете — он предал бы дело короля ради спасения своей жизни? Да если бы вы сами пришли к нему и умоляли его об этом, он бы оттолкнул вас и сказал: «Отойди от меня, сатана!»

— Верю, что он поступил бы так, и горжусь этим, — прошептала Сайсели. — Если нельзя будет иначе, пусть Харфлит умрет. Мы спасем его честь и свою, чтобы он не проклял нас, если бы остался жив. Продолжай.

— Ну, меня привели к аббату; он передал мне это самое письмо и велел мне взять его и все рассказать тому, кто здесь у вас начальник. Потом он поднял руку и, положив ее на крест, висевший у него на груди, поклялся, что это не пустая угроза и что если его условий не примут, с зарею Харфлит будет повешен на башне, и при этом добавил, хоть я тогда и не понимал, что он имеет в виду: «Думаю, ты там найдешь человека, который прислушается к этим доводам». Он уже собирался отпустить меня, как вдруг один солдат сказал:

«А умно ли будет освободить этого Стоукса? Вы забываете, милорд настоятель, что предполагается, будто он присутствовал при одном убийстве в лесу, и что он может выступить свидетелем». — «Да, — ответил Мэлдон, — я забыл в этой спешке; я помнил только, что никому другому,

пожалуй, не поверят. Все же, может быть, и лучше будет послать кого-нибудь другого, а этого парня заставить замолчать навеки. Напишите, что Джефри Стоукс, пленник, был убит при попытке к бегству стражником, защищавшим свою жизнь. Заберите его отсюда, и чтобы я о нем больше не слышал».

Тут кровь у меня в жилах застыла, хотя я и старался держаться смело, как только может держаться человек, три дня просидевший в темноте с пустым животом, и прямо в лицо наговорил ему по-испански разных крепких слов. Когда меня уже тащили из комнаты, брат Мартин — помните его, он был нашим товарищем, когда мы попали за морем в переделку, — выступил вперед из темного угла и сказал: «Для чего, настоятель, пятнать вам свою душу столь гнусным убийством? С тех пор как умер Джон Фотрел, король может записать на ваш счет еще много других дел, и любого из них достаточно, чтобы вас повесить. Попадись вы ему в руки, он не станет добираться до обстоятельств гибели Фотрела, даже если бы вы и были к ней причастны».

«Вы наговорили резких слов, брат мой, — ответил аббат. — То, что происходит на войне, нельзя считать убийством, хотя, может быть, впоследствии, спасая свою шнуру, вы и станете говорить об этом как об убийстве, вы или кто другой. Как бы там ни было, но речь ваша разумна. Не надо трогать этого человека. Дайте ему письмо и бросьте его в ров, пусть плывет на ту сторону. Что бы он на меня ни наклеветал, участь моя хуже не станет».

Так они и сделали. Я попал сюда, как вы сами видели, и нашел вас живой. Теперь-то мне понятно, почему Мэлдон считал, что жизнь одного Харфлита так дорого стоит. — И, закончив свой рассказ, Джефри снова принялся за еду.

Сайсели смотрела на него, я все смотрели на этого измученного, ожесточившегося человека, который после многих других бедствий и мук провел три дня в мрачной темнице, полной крыс, где получал только воду да немного черного хлеба. Да, он сидел там вместе с крысами и с другим человеком, бесконечно дорогим одной из присутствующих, и тот все еще находился в этой ужасной дыре, ожидая, что на заре его повесят, словно какого-нибудь злодея. Все молчали, слышно было только, как жует Джефри; и молчание стало так тягостно, что все обрадовались, когда дверь открылась и перед ними предстал человек, посланный к настоятелю. Он задыхался, так как быстро бежал и, видимо, находился в некоем смятении, может быть потому, что в спине у него — вернее, в камзоле — торчали две стрелы: в тело они не вонзились, задержанные кольчугой.

— Говори, — сказал старый Джекоб Смит, — каков их ответ?

— Взгляните на мою спину, мастер, и сами увидите, — ответил посланец. — Они перекинули через ров лестницу, на нее положили доску, на которую вступил какой-то монах, чтобы принять от меня письмо. Я немного подождал, потом услышал, как кто-то зовет меня с башни над воротами, и, когда поднял глаза, увидел, что там стоит аббат Мэлдон, и лицо у него от злобы черное, как у дьявола.

«Слушай, ты, мошенник, — крикнул он мне, — ступай к ведьме Сайсели Фотрел и к ренегату монаху Боллу, которого я предаю анафеме и извергаю из лона святой церкви, и скажи им, чтобы при первых лучах зари они взглянули в нашу сторону, да повыше, ибо тогда смогут увидеть, как, чернея на утреннем небе, здесь болтается тело Кристофера Харфлита!»

Услышав это, я не сдержался и крикнул в ответ: «Коли так, то завтра еще дотемна вы составите ему компанию, ибо все до единого будете висеть, чернея на вечернем небе, кроме тех, кто будет впоследствии четвертован в Тауэр-холле и Тайберне». Потом я пустился наутек, и они стреляли мне вдогонку и раза два попали, но кольчуга, хоть и стара, служит хорошо, и вот я здесь невредимый, если не считать двух-трех ссадин.

Немного позже Сайсели, Джекоб Смит, Томас Болл, Джефри Стоукс и Эмлин Стоуэр сидели все вместе, держа совет — очень важный совет, ибо положение было отчаянное. Вносилось одно предложение за другим и сразу же по той или иной причине отвергалось. Под конец они молча переглянулись.

— Эмлин, — вскричала наконец Сайсели, — в прежнее время у тебя всегда находились нужные слова. Неужто теперь, в такой беде, ни одного не найдется? — Ибо, пока они совещались, Эмлин все время сидела молча.

— Томас, — сказала Эмлин, подняв глаза, — помнишь то место во рву аббатства, где мы ребятишками ловили самых крупных карпов?

— Ну да, помню, — ответил он, — но при чем тут рыбная ловля, да еще столько лет назад? Я уже говорил, — на подземный ход рассчитывать нечего. За рощей он обвалился и полностью засыпан, — я уже смотрел. Правда, будь у меня неделя времени…

— Пусть она говорит, — прервал его Джекоб, — ей, видно, есть что сказать.

— А помнишь, — продолжала Эмлин, — ты говорил мне, что карпы здесь такие крупные и жирные потому, что в этом месте, как раз под подъемным мостом, опорожняется в ров сточная труба аббатства, та, в которую спускают все помои и отбросы? И я после того в рот не могла взять этой рыбы.

— Ну помню. Так что же?

— Томас, ты, кажется, говорил, будто порох, за которым посылали, уже доставлен?

— Да, час назад пришел фургон с шестью бочонками, весом в сто фунтов каждый. Мы надеялись, что пришлют больше, но и это неплохо, хотя делать с порохом нечего, так как пушку не прислали — у королевских солдат ее не оказалось.

— Темная ночь, лестница с доской, кирпичный сводчатый сток, два, нет, лучше четыре бочонка, по сто фунтов каждый, в сток под ворота, фитиль и смелый человек, который его подожжет, — со всем этим да еще с божьим благословением в придачу многое можно сделать, — задумчиво, словно про себя, произнесла Эмлин.

Все наконец поняли, к чему она клонит.

— Да они все услышат, как кошка слышит скребущуюся мышь, — сказал Болл.

— Кажется, ветер поднялся, — ответила она, — слышно, как зашумели деревья. Думаю, что скоро начнется буря. К тому же у задней стены аббатства, где заделанная брешь, можно собрать людей, которые будут ходить взад и вперед с фонарями и кричать, словно в этом месте подготовляется штурм. Это отвлечет осажденных. А мы с Джефри Стоуксом тем временем попытаем счастья с лестницей и пороховыми бочонками — он их подкатит, а я подожгу, когда придет время. Вы же слышали, что я ведьма, — значит, сера мне нипочем[62].

Через десять минут план был выработан. А спустя два часа, под вой бури, скрытые непроглядной тьмой и дополнительным заслоном — торчащим над стеной поднятым настилом моста, — Эмлин и силач Джефри перекатили бочонки с порохом по переброшенным через ров доскам в жерло большой сточной трубы и в глубь ее футов на двадцать, пока они не оказались как раз под башнями главных ворот. Затем, лежа в зловонной грязи, Эмлин и Джефри вынули втулки из отверстий, заблаговременно просверленных в бочонках, и заложили туда фитили. Джефри выбил из кремня искру, раздул подложенный трут и передал его Эмлин.

— Теперь ты уходи, — сказала она, — а я за тобой. На это дело двух человек не нужно.

Через минуту она присоединилась к нему на противоположном краю рва.

— Беги! — сказала она. — Беги, не то погибнешь. За нами — смерть.

Он повиновался, но Эмлин обернулась и принялась кричать так громко, что стража на стенах услышала ее и, зажигая фонари, бросилась к

башням посмотреть, что случилось.

— Штурм! Штурм! — кричала она. — Ставьте лестницы! За короля и Харфлита! Штурм! Штурм!

Затем она тоже пустилась наутек.

Глава XVIII. Из тьмы к свету

Внезапно среди мрака ночи, освещая все вокруг, подобно молнии, поднялась багряная пелена пламени. Покрывая вой бури, прокатился глухой тяжкий гул, словно отдаленный грохот грома. Потом все затихло, и через мгновение с неба посыпался град камней, а с ними — разорванные на части человеческие тела.

— Ворота взорваны! — прокричал мощный голос; то был Томас Болл. — Кидай лестницы!

Люди, стоявшие наготове, бросились вперед и перекинули через мост четыре лестницы. По доскам, привязанным к перекладинам, осаждающие перебежали на другую сторону рва и, перебравшись через нагромождение камней, устремились во двор, где их никто не ждал, так как все сторожившие здесь были убиты или покалечены.

— Зажигай фонари! — снова закричал Болл. — Там, внутри, будет темно!

И какой-то человек, бежавший за ним с факелом, исполнил его приказание.

Через двор они ринулись к открытым дверям трапезной и там, в обширном зале с высоким потолком, встретились со всей массой воинов Мэлдона, примчавшихся сюда от заделанной бреши, где они ожидали нападения. У некоторых из них тоже были фонари. Несколько мгновений противники стояли неподвижно друг перед другом, а затем завязалось дикое, кровавое побоище. Люди яростно сражались, звучали проклятья и боевые крики. Тяжелые дубовые столы были перевернуты; в багровом свете фонарей на высоких шестах сцепившиеся бойцы падали на пол и лежа убивали друг друга. Один монах ударил йомена бронзовым распятием, и в следующее же мгновение обломком того же распятия ему размозжили голову.

— За Бога и благодать! — кричали одни.

— За короля и Харфлита! — отвечали другие.

— Держи строй! Держи строй! — гремел Болл. — Выметай их отсюда!

Фонари, сорванные с шестов, падали и затухали, пока не остался всего один — красноватая, тускло мерцавшая звездочка. Хриплые голоса требовали огня, ибо невозможно было уже разобрать, где друг, где враг. И огонь вспыхнул: кто-то поджег тканую обивку стен, и пламя рванулось под крышу. Тогда, опасаясь сгореть заживо, солдаты настоятеля дрогнули и

бросились к задней двери, преследуемые осаждающими. Тут и пало большинство из них, ибо они сгрудились между дверными притолоками и были перебиты там или на лестнице за дверью.

В то время как Болл продолжал яростно размахивать своей секирой, кто-то схватил его за руку и прокричал ему в ухо:

— Стой! Стой! Надо опередить негодяя!

Охваченный яростью, он повернулся, чтобы ударить говорившего, и в отблеске пламени увидел, что это Сайсели.

— Что вы тут делаете? — крикнул он. — Уходите!

— Дурень, — ответила она тихим, но каким-то исступленным голосом. — Я ищу своего мужа. Покажи, куда идти, пока еще не поздно, здесь один ты знаешь дорогу. Джефри Стоукс, скорее фонарь, скорее!

Появился Джефри с мечом в одной и фонарем в другой руке, а с ним Эмлин, у которой тоже был меч, взятый у одного из убитых; Эмлин, вся еще в грязи, так и оставшейся на ней после клоаки и рва.

— Я не могу, — пробормотал Томас Болл. — Я ищу Мэлдона.

— Веди нас в подземелье! — крикнула ему Эмлин. — Или я тебя заколю! Я слышала, как они велели убить Харфлита.

Тогда он вырвал фонарь из рук Джефри и с криком «За мной!» помчался по коридору; так добежали она до открытой двери, за которой находилась лестница. Они быстро сошли вниз, миновали еще другие переходы и лестницы, спускались все ниже, пока, повернув направо, не очутились в небольшом сводчатом помещении. Два факела пылали в железных гнездах, вделанных в стену, освещая картину необычайную и страшную. В глубине этого помещения была широко открыта тяжелая, утыканная гвоздями дверь, за которой виднелась камера или, вернее, маленький погреб, — любопытные еще и в наши дни могут его увидеть. К стене этой подземной темницы прикован был человек, который держал в руке трехногий табурет и рвался на цепи, как взбесившийся зверь. Впереди, заслоняя его и защищая проход, стоял высокий худой монах; полы его рясы были приподняты и подоткнуты за пояс. Он был ранен, ибо с его бритой головы стекала кровь, и, сжимая обеими руками рукоять тяжелого меча, яростно отбивался от четырех воинов, старавшихся повалить его на землю.

Когда появился Болл во главе своего маленького отряда, один из этих людей только что пал, сраженный монахом, но другой встал на его место, крича:

— Прочь с дороги, изменник! Мы хотим прикончить Харфлита, а не тебя.

— Вместе мы умрем или отобьемся, убийца, — ответил монах

хриплым, прерывающимся голосом.

В это мгновение один из нападающих, тот, что говорил, услышал приближающиеся шаги освободителей и обернулся. Тут же он обратился в бегство, метнувшись мимо них, словно заяц. Однако свет фонаря упал на его лицо, и Эмлин узнала аббата. Она ударила его мечом, но сталь только скользнула по кольчуге. Он тоже ударил, но попал по фонарю, свалив его на пол.

— Хватай его, — закричала Эмлин, — хватай Мэлдона, Джефри!

Стоукс бросился догонять аббата, но тотчас же вернулся, потеряв его в темных переходах. Тогда Болл, рыча, обрушился на двух оставшихся солдат, и вскоре под ударами топора и меча, которыми у них с тыла орудовал монах, они пали наземь и умерли, сражаясь до последней секунды, так как знали, что им не будет пощады.

Все было кончено, и кругом воцарилась тишина, безмолвие смерти, прерываемое лишь тяжелым дыханием тех, кто остался в живых. Раненый монах прислонился к дверной притолоке, выпустив из рук обагренный кровью меч. Харфлит, пошатываясь от изнеможения, все еще держа в руке поднятый табурет, до отказа натягивал свою цепь и изумленно глядел вперед. А на полу лежали трое убитых, один из которых еще судорожно подергивался.

Сайсели проскользнула вперед, прошла между убитыми, мимо монаха и наконец оказалась лицом к лицу с пленником.

— Подойди только ближе, и я размозжу тебе голову, — хрипло проговорил он, ибо слабый свет факела падал на нее сзади, и он думал, что перед ним находится один из убийц.

Наконец Сайсели обрела голос.

— Кристофер, — крикнула она, — Кристофер!

Он услышал, и табурет выпал из его руки.

— Опять тот же голос, — пробормотал он. — Что ж, пора. Погоди немножко, жена, сейчас я приду к тебе. — И, откинувшись на стену, он закрыл глаза. Она скользнула к нему и, обняв его обеими руками, поцеловала прямо в губы, бледные, бескровные губы. Веки его снова разомкнулись.

— Смерть могла бы быть хуже, — произнес он. — Но я ведь знал, что мы свидимся.

Тогда Эмлин, заметив, что лицо его как-то изменилось, сорвала со стены один из факелов и метнулась вперед, держа его так, чтобы свет падал на Сайсели.

— О Кристофер, — вскричала та. — Я не призрак, я жена твоя, и я

жива!

Он услышал, взглянул, взглянул еще раз, потом поднял исхудалую руку и погладил ее по волосам.

— О боже, — воскликнул он, — мертвые оживают! — И, потеряв сознание, упал к ее ногам.

Сайсели оттащили от него; она вся дрожала, думая, что снова потеряла мужа, и теперь уже навсегда. С трудом разбили цепь, которой он был прикован, как собака у конуры, и понесли, все еще бесчувственного, наверх по длинным переходам: Болл выступал впереди, взяв на себя охрану; за ним шел Джефри Стоукс, потом Эмлин, поддерживающая монаха Мартина, ибо это не кто иной, как он, спас жизнь Кристофера.

Подходя к лестнице, они услышали какое-то гудение.

— Огонь! — сказала Сайсели, хорошо знавшая этот звук; и в тот же миг их озарил отблеск пламени и со всех сторон окружил дым. Аббатство пылало, и главный зал его прямо перед ними походил на жерло ада.

— Разве я не предсказывала, что так и будет, еще тогда, в горящем Кранузле? — с каким-то жестоким смехом спросила Эмлин.

— За мной! — прокричал Болл. — Живей, не то крыша обрушится, и тогда нам не выбраться отсюда.

Они стали отчаянно пробиваться вперед, обойдя зал слева, и счастьем было для них, что Томас знал дорогу. Одна небольшая комната, через которую они проходили, была уже охвачена огнем, сверху на них ладами какие-то пылающие хлопья, клубился густой дым. Но они прошли, хоти еще минутой позже этим путем им не удалось бы выбраться живыми. Они прошли по горящему аббатству и вышли на чистый воздух через парадную дверь, которую оставили широко открытой те, кто бежал до них. Они достигли рва в том самом месте, где брешь была заделана хворостом, и, взобравшись на этот плетень, Болл кричал до тех пор, пока один из его людей не услышал и не опустил лука, собираясь пустить стрелу в Томаса, которого он принял за мятежника. Принесли доски, лестницы, и наконец все опасности миновали и нестерпимое пекло осталось позади.

И случилось так, что Сайсели, в огне потерявшая своего возлюбленного, в огне же обрела его снова.

Кристофер не умер, как опасались вначале. Его отнесли в обитель, и Эмлин, убедившись, что сердце у него бьется, хотя и слабо, послала мать Матильду за португальским вином, которое так одобрил комиссар Ли. Ложку за ложкой вливала она ему в горло это вино, пока наконец он не открыл глаза лишь для того, впрочем, чтобы тотчас же закрыть их снова; но теперь он просто уснул — так подействовало вино на его измученное тело

и ослабевший мозг. Шли часы; Сайсели все время сидела подле него, лишь время от времени поднимаясь, чтобы взглянуть, как горит большая церковь аббатства; так же она в свое время смотрела на пожар, охвативший его сторожки и службы.

Около трех часов утра растопленный свинец перестал стекать с крыши серебристым ливнем, она обрушилась, и к утру от церкви остался только закоптелый остов — почти такой, каким мы видим его в наши дни.

Перед самым рассветом Эмлин пришла к Сайсели и сказала:

— С тобой хочет говорить один человек.

— Я не могу к нему выйти, — ответила она. — Я оберегаю сон своего мужа.

— Все же тебе следовало бы пойти, — сказала Эмлин. — Не будь его, твой муж не был бы в живых. Монах Мартин, защищавший его от убийц, умирает и хочет с тобой попрощаться.

Сайсели нашла Мартина еще в сознании, но с каждой минутой он слабел, истекая кровью, которую ничем невозможно было остановить.

— Я пришла поблагодарить вас, — прошептала она, не зная, что ей сказать.

— Не надо, — ответил он слабым, прерывающимся голосом. — Я старался хоть частично возместить свой великий долг. Прошлой зимой и принял участие в совершении ужасного греха, повинуясь не голосу сердца, а данным мною обетам. Когда потом мне было поручено бодрствовать над телом вашего мужа, я обнаружил, что он жив; с моей помощью его перенесли на корабль, который был захвачен неверными, и потом нас с ним и Джефри заставили работать гребцами на галерах. Там я заболел, и ваш муж выходил меня. Это я привез вам документы и написал письмо и затем отдал все Эмлин Стоуэр. Однако, верный своим обетам, большего я не сделал. Нынче же ночью я разорвал эти узы: услышав, как отдан был приказ о его умерщвлении, я бросился вниз, оказался там раньше, чем убийцы, и, забыв о своем монашеском сане, бился с ними, как мог, пока вы не подоспели. Да послужит хоть частичным искуплением моей тяжкой вины перед родиной, королем и вами то, что в конце концов я отдал жизнь за своего друга. И я рад, что умираю, — слишком тяжело мне в этом мире.

— Я передам ему все, если он останется жив, — со вздохом молвила Сайсели.

— О, он будет, будет жить. Много страданий перенесли вы оба, но теперь вам уже ничто не грозит, кроме, конечно, старости и смерти. Я вижу, я знаю это.

Он опять смежил веки, и стоявшие вокруг подумали, что он испустил

дух, как вдруг глаза его открылись еще раз, и, с трудом произнося слова, он добавил:

— Настоятель… будьте к нему милосердны… если сможете. Он человек злой, жестокий, но я был его духовником и читал в его сердце. Шел он к благой цели, хоть и дурным путем. Королева Екатерина была законной супругой короля. Захват монастырей — бессовестный грабеж. К тому же по рождению он не англичанин. У него другие взгляды; он служит папе, как, впрочем, и я, но также Испании, которой я не слуга. Я помог вам, помогите же и вы ему. Не судите, да не судимы будете. Обещайте! — Тут он слегка приподнялся и настойчиво поглядел на Сайсели.

— Обещаю, — сказала она, и в ответ на ее слова Мартин улыбнулся.

Потом его лицо покрылось сероватой бледностью, глаза потухли, и через мгновение Эмлин покрыла его голову куском полотна. Все было кончено.

Сайсели возвратилась к Кристоферу и увидела, что он сидит на кровати и пьет из чашки бульон.

— О муж мой! — сказала она, заключая его в объятия. Затем она взяла на руки сына и положила его отцу на грудь.

Прошло еще три дня. Кристофер и Сайсели прогуливались по саду Шефтон Холла. Он уже почти совсем поправился, хотя был еще слаб; но единственной болезнью его были горе и голод, а лучшее лекарство от них — радость и изобилие. Спустился вечер; мягкие и ясные сумерки, незаметно переходящие в ночь. Они сидели на скамье; он рассказывал ей о своих приключениях, и это была волнующая повесть; потом Сайсели написала старому Джекобу Смиту (эти листки, исписанные ее тонким своеобразным почерком, сохранились доныне; из них стоило бы составить книгу, хотя сделано это, по-видимому, никогда не было).

Он рассказывал ей о жестокой битве на корабле «Большой Ярмут», когда на них напали два турецких судна, и о том, как храбро вел себя брат Мартин. После того как их посадили гребцами на галеры, Мартину, Джефри и ему посчастливилось очутиться на одной скамье. Потом Мартин схватил какую-то южную лихорадку, но так как в то время они стояли в Тунисском порту, где можно было достать фрукты, чтобы кормить больного, Кристофер и Джефри выходили его. Через четыре месяца император Карл появился под Тунисом, и, когда город пал, по милости божией они были освобождены вместе с прочими рабами-христианами, после чего Мартин возвратился в Англию с бумагами сэра Джона, которые намеревался вернуть его ближайшему наследнику, так как все они считали Сайсели погибшей.

Кристоферу же и Джефри на родине нечего было делать, и они остались, чтобы на стороне испанцев сражаться против турок, от которых так много натерпелись. Когда эта война кончилась, они тоже отправились в Англию, — больше им некуда было деваться, да и хотелось свести счеты с испанским настоятелем Блосхолма. А остальное она сама знает.

Да, ответила Сайсели, она знает и никогда не забудет; но становится холодно, и ему вредно сидеть тут на скамейке, надо уходить. В ответ Кристофер только засмеялся:

— Голубка моя, если бы ты только видела галерную скамью, на которой я сидел там, у берегов Туниса, я, едва оправившийся после раны, нанесенной мне солдатами Мэлдона в Крануэл Тауэрсе, ты бы не стала сейчас беспокоиться. В течение шести месяцев мы трое — я, Мартин и Джефри — были скованы одной цепью, ибо эти черти-язычники почему-то держали нас вместе, — может быть, чтобы легче было следить за нами. И днем, изнемогая от шары, и ночью, дрожа от сырости, мы гребли и гребли, а нехристи-надсмотрщики ходили взад и вперед между рядами скамей и подбадривали нас ременными плетьми. Да, — медленно добавил он, — они хлестали нас, словно мы были волами в ярме. Ты видела шрамы у меня на спине.

— О боже! Подумать только, — прошептала она, — тебя, англичанина из знатного рода, били, словно скотину, эти злодеи и дикари! Как мог ты перенести все это, Кристофер?

— Не знаю, жена. Думаю, что, не находись подле меня этот ангел в образе человека, монах Мартин — мир его благородной душе, — по меньшей мере трижды спасший мне жизнь, я бы или раздробил себе череп об уключины для весел, или перестал бы есть, чтобы подохнуть с голоду, или учинил бы что-нибудь такое, что вынудило бы мавров покончить со мной. Я ведь считал тебя умершей и вовсе не хотел жить. Но Мартин внушал мне другое, убеждая меня, что не напрасно я столько страдал. О своих собственных муках он никогда не говорил и уверял, что, как ни ужасна моя участь, все для меня сложится к лучшему.

— И поэтому ты решил выжить, муж мой? О, этот Мартин поистине святой, и я выстрою раку для его останков.

— Не только поэтому, дорогая. Я жил для мщения Клементу Мэлдону — человек он или сам дьявол, — который причинил мне столько горя и мук, что из-за них я преждевременно постарел, — при этом он указал на свой изборожденный морщинами лоб и волосы, где уже проступала седина, — для мщения также и этим пиратам-магометанам, державшим меня в рабстве. Да. Хотя Мартин и порицал меня, когда я ему признавался, думаю,

что ради этого я и жил. И богу известно, — мрачно добавил он, — что потом, когда мы их разгромили, я хорошо мстил туркам повсюду, где только можно было. О, видела бы ты мою и Джефри последнюю встречу с капитаном этой пиратской галеры и его помощниками, которые нас в свое время избивали! Нет, я рад, что ты этого не видела: жестокое и кровавое было зрелище, даже не очень-то мягкосердечных испанцев, и тех оно проняло.

Он замолк. Чтобы изменить ход его мыслей, ибо в течение всей своей дальнейшей жизни Кристофер, вспоминая об этих вещах, мрачнел на долгие часы и даже дни, — Сайсели быстро заговорила:

— Хотела бы я знать, что произошло с нашим врагом, аббатом. Его так тщательно разыскивали; дороги находятся под наблюдением, и мы знаем, что никого с ним нет, — все его чужеземные солдаты перебиты или захвачены. Думаю, Кристофер, что он погиб в огне.

Он покачал головой.

— Дьявол в огне не погибает. Где-нибудь он скрывается, замышляя, кого бы еще убить — может быть, нас или нашего сына. О, — добавил он с яростью, — пока руки мои не сжимают ему горло, а кинжал мой не торчит у него в груди, нет для меня покоя: я с ним не рассчитался, да и вы оба не в безопасности.

Сайсели не нашла что ответить. Когда на Кристофера находило такое настроение, с ним трудно было говорить. Тяжкие страдания выпали ему на долю, и, подобно ей, он спасся только чудом.

Внезапно воцарилась необычайная тишина. Черные дрозды перестали по-зимнему стрекотать в кустах остролистника. Стало так тихо, что слышно было, как сухой лист упал с дерева на землю. Наступала ночь. Последний багровый луч заходящего солнца сверкнул в морозном небе, и блеск его озарил все кругом. В этом свете зоркие глаза Кристофера заметили, как что-то белое мелькнуло под сенью бука, где они сидели. Как тигр прыгнул он туда и в тот же миг возвратился, таща какого-то человека.

— Гляди, — сказал он, поворачивая голову своего пленника так, чтобы на нее падал свет. — Гляди, я поймал-таки змею. А, жена, ты ничего не видела, но я его высмотрел, и наконец-то, наконец он у меня в руках!

— Аббат! — изумленно прошептала Сайсели.

Это и вправду был аббат, но как он изменился! Его некогда полное, оливково-смуглое лицо казалось теперь лицом скелета, еще обтянутым желтой кожей, а в глазницах вращались темные, налитые кровью, неестественно большие глаза. Тонзура и щеки поросли серой щетиной, все тело как-то ослабело и съежилось, мягкие холеные руки казались теперь

руками женщины, умершей от какой-то изнурительной болезни и так же, как одежда его, была покрыты грязью. Надетая на нем кольчуга болталась, одного сапога не хватало, и из продырявленного чулка торчали пальцы. Он дошел до крайнего падения.

— Бросай оружие, — проворчал Кристофер, тряся его, как терьер трясет пойманную крысу, — не то умрешь! Сдаешься? Отвечай.

— Как он может ответить, — вмешалась Сайсели, — когда ты сжал ему глотку?

Кристофер снял руки с его горла, но схватил за запястья. Аббат же сделал глубокий вдох, ибо почти лишился сознания, и упал на колени — не моля о пощаде, а просто от слабости.

— Я пришел сдаться на вашу милость, — сказал он, — но, услышав ваш разговор, понял, что мне надеяться не на что. Да и как могу я рассчитывать на милосердие, когда сам не проявлял его. К тому же дело мое, великое дело, ради которого я жил и боролся, видимо, погибло. Дайте же мне умереть вместе с ним. О большем я не прошу. Но вы благородный человек, и потому я прошу вас об одном одолжении. Не выдавайте меня вашему злодею королю, который станет меня пытать, повесит, четвертует. Убейте меня сейчас. Вы скажете, что я напал на вас и вы защищались. Оружия у меня нет, но вы можете сунуть мне в руку кинжал.

Кристофер поглядел на жалкое существо, лежащее у его ног, и засмеялся.

— А кто мне поверит? — спросил он. — Правда, никто, пожалуй, не спросит, ведь и я, и любой другой может безнаказанно лишить вас жизни. Впрочем, пусть это дело разбирает королевский трибунал.

Мэлдон вздрогнул.

— Пытки, виселица, четвертование, — повторил он, тяжело дыша. — Разве я предал того, кому никогда не служил? Почему же мне суждена участь предателя?

— А почему бы и нет? — спросил Кристофер. — Вы играли в жестокую игру — и судьба обернулась против вас.

Он не ответил. Заговорила Сайсели.

— Зачем же вы возвратились? Мы думали, что вам удалось бежать.

— Леди, — ответил он, — три дня и три ночи провел я без пищи в земляной норе, словно затравленная лисица, прячась в дренажной трубе вашего сада. Под конец я вылез наружу, чтобы умереть на вольном воздухе, услышал ваши голоса и решил сдаться на вашу милость, ибо когда человек при последнем издыхании, ему уже не до чести.

— Милость! — сказала Сайсели. — О вашей измене я говорить не

стану — вы не англичанин и служите своему королю, который много лет назад прислал вас сюда устраивать козни против нашей страны. Но посмотрите на этого человека, на моего мужа. Он разве не умирал с голоду трое суток в вашей подземной темнице, пока вы не спустились туда, чтобы его прикончить? Разве вы не сделали все для того, чтобы он сгорел в своем доме, а потом не отправили его, раненого, за море на произвол судьбы? Разве вы не подослали свою наймитку убить моего ребенка, стоявшего между вами и богатством, в котором вы нуждались для своих козней, а меня, его мать, не возвели на костер, чтобы я погибла в огне? Разве вы не подстрелили в лесу моего отца, боясь, что он обличит вас как предателя, а потом не присвоили себе мое наследство? Разве вы не заставили своих монахов совершать злодеяния и не погубили многих из них? Хватит! Змея, принявшая личину служителя божия, как посмела ты приползти сюда и просить пощады?

— Я сказал, что пришел просить о милосердии, ибо муки бессонницы и голода выгнали меня из моей норы, но теперь прошу только смерти. Не глумись над павшим, Сайсели Фотрел, но соверши мщение, на которое ты имеешь право, и убей меня, — ответил аббат, глядя на нее своими ввалившимися глазами и добавил со смехом, походившим на стон: — Кончайте, сэр Кристофер. При вас меч, и вам пора идти ужинать. К тому же становится холодно — это сказала только что ваша жена, раз уж она вам жена.

— Сайсели, — сказал Кристофер, — иди в дом и вызови Джефри Стоукса. Эмлин знает, где его найти.

— Эмлин! — простонал аббат. — Не выдавайте меня Эмлин. Она замучает меня.

— Нет, — ответил Кристофер, — тут не Блосхолмское аббатство. Но насчет того, что с вами может случиться в Лондоне, я не поручусь. Иди, жена.

Но Сайсели не шевельнулась. Она стояла и смотрела на жалкую тварь, лежащую у ее ног.

— Я сказал тебе — иди, — повторил Кристофер.

— А я не стану слушаться, — ответила она. — Помнишь, что я обещала Мартину, когда он умирал?

— Мартин умер? Так Мартин, спасший твоего мужа, умер? — вскричал аббат, подняв голову и потом снова уронив ее на грудь. — О счастливец!

— Я не был у его смертного ложа и не связан твоими обещаниями, Сайсели.

— Но я связана, а мы с тобой — одно. Я обещала быть милосердной к этому человеку, если он попадет в наши руки, и буду.

— Так ты пощадишь его нам на беду! В Англии колесо событий вертится быстро, жена.

— Пусть так. Я поклялась и сдержу клятву. Остальное — на волю божью. До сих пор он нас хранил и, думаю, — добавила она с торжествующей уверенностью, — будет хранить до конца. Аббат Мэлдон, преступник и грешник, аббат Мэлдон, вы таковы, каким созданы, а Мартин, этот святой человек, сказал, что не все в вашем сердце — зло, хотя я и мои близкие добра от вас не видели. Так вот, слушайте. Там, в саду, стоит беседка, крытая соломой; в ней тепло. Ступайте туда. Я пришлю вам вина и еды и новую одежду с человеком, который не проболтается, пришлю и пропуск в Линкольн. К завтрашнему утру вы отдохнете, подкрепитесь. Вон у того дерева будет привязана лошадь. Поезжайте в Линкольн, попытайтесь воспользоваться правом убежища в церкви, и уж если потом с вами случится беда, знайте, что не от нас она, а от какого-либо другого врага или же ее послал сам бог. Желаю вам примириться с ним. Пусть он простит вас, как я прощаю; он ведь читает в сердцах людей, а мне это не дано. Теперь прощайте. Нет, ни слова больше: нам с вами говорить не о чем. Пойдем, Кристофер. На этот раз не я должна подчиниться, а ты.

Они ушли, а злодей, приподнявшись на руках, поглядел им вслед, но что творилось в это мгновение у него в сердце, никто никогда не узнает.

Прошло несколько месяцев, и Блосхолм со всей своей округой снова шил в мире. Смута перекинулась на север, где, по слухам, опять вспыхнул мятеж. Аббата Мэлдона никто больше не видел, и все считали, что, хотя он и не воспользовался правом церковного убежища в Линкольне, ему пришел в голову более разумный выход и он бежал в Испанию. Но Эмлин, которая всюду все узнавала, принесла известие, что это не так и что он стоит во главе тех, кто возбуждал мятеж и междоусобную войну у границ Шотландии.

— Вполне этому верю, — сказала Сайсели. — Свинья не может не лезть в лужу. Он заговорщик по природе своей и до конца пойдет по той дороге, на которую влечет его сердце.

— Но на этой дороге ему, пожалуй, не сносить головы, — мрачно ответила Эмлин. — О, подумать только, что волк уже был у тебя в клетке, а ты сама выпустила его, всей Англии и нам на беду. — Я только проявила милосердие к поверженному, Эмлин.

— Милосердие? А я скажу — безумие. Когда Джефри и Томас

услышали об этом, я думала, — они задохнутся от ярости. Особенно Джефри, который очень любил твоего отца и не очень-то пиратскую галеру, — ответила непримиримая Эмлин.

— «Мне отмщение, и аз воздам», — сказал господь, — тихо прошептала Сайсели.

— Господь и другое сказал: кровь пролитая вопиет о крови. Я слышала эти слова, когда сам Мэлдон говорил их твоему мужу в Крануэл Тауэрс.

— Если так должно быть, то так и будет, Эмлин, но пусть другие прольют его жестокую кровь. Не хочу я видеть ее на своих руках и на руках тех, кто живет в моем доме. Я ведь дала обещание. И не говори ты больше об этом, чтобы не подвести нас под беду, — мы ведь не имели права отпускать его. Да и негоже тебе питать такие злобные чувства в день твоей свадьбы. Лучше пойди и надень то красивое платье, которое Джекоб Смит прислал тебе из Лондона. Священник явится в блосхолмскую церковь около четырех, и я полагаю, что Томас тебя достаточно долго ожидал.

Эмлин усмехнулась, пожав своими широкими плечами и пробормотала что-то себе под нос.

Томас, наверное, рассердился бы, услышав эти ее слова. Сайсели же вышла в другую комнату, куда ее позвал Кристофер.

Она увидела, что он записывает на бумаге какие-то цифры. Это был совсем не тот Кристофер, не тот умирающий, которого они вынесли из темницы, хотя все же он очень постарел от перенесенных ужасов и, видно было, лишь недавно обрел душевное спокойствие.

— Видишь ли, дорогая, — сказал он, — нам бы следовало выделить Эмлин приличную сумму денег в приданое, она этого заслужила более, чем кто-либо. Но откуда взять их — не знаю. Земли аббатства, выкупленные Джекобом Смитом у короля, нам еще не принадлежат да и Генриху тоже, хотя он их, без сомнения, скоро отвоюет. Дохода со своего имения ты не получила, а когда получишь, его придется, как обещано, переслать в Лондон. Что касается моей несчастной вотчины, то аббат так основательно прошелся по ней своей бритвой, что она теперь голая, как череп на кладбище. Кроме того, мы должны содержать мать Матильду и ее монашек, покуда не сможем возвратить им их земли. Может быть, настанет день, когда мы или наш сын опять разбогатеем, но, пока он не наступил, нам всем придется пережить трудные времена.

— Однако полегче, чем те, которые мы уже пережили, муженек, — со вздохом ответила она. — На худой конец, мы все-таки свободны, не голодаем, а на все остальное займем денег у Джекоба Смита под те драгоценности, что у меня еще остались. Я уже писала ему, он не откажет.

— Да, но как быть с Томасом и Эмлин?

— Устроятся они, как другие устраиваются. Томасу мы сдали за самую низкую арендную плату замковую ферму; хоть там и надо еще налаживать хозяйство, но ведь и платить он будет лишь тогда, когда сможет. Да и Джекоб Смит положил в карман подвенечного платья Эмлин хороший подарок. Более того, я думаю, он сделает ее своей наследницей, а если так, она будет очень богата, так богата, что мне придется ей низко кланяться. А теперь пойди оденься к свадьбе. Нарядного камзола у тебя нет, так пусть Джефри поможет тебе надеть кольчугу. Она тебе больше всего идет, так, по крайней мере, мне кажется, хотя для меня ты во всем одинаково хорош.

Он начал возражать, что сейчас нет необходимости разгуливать по Блосхолму в военных доспехах, что Джефри нет дома — он устраивается хозяином на постоялом дворе у брода, том самом постоялом дворе, который аббат в свое время обещал Камбале-Меггс, — но Сайсели поцеловала его, схватила ребенка, который радостно лепетал что-то и, кружась, исчезла вместе с ним из комнаты. Ибо на сердце у Сайсели было теперь легко и весело.

На свадьбу Эмлин Стоуэр и Томаса Болла собралось много народу: последнее время в Блосхолме было невесело, и это празднество явилось как бы дыханием весны, оживляющим леса и луга, залогом радости после зимнего мрака. Повсюду рассказывали историю жениха и невесты: как они были в юности помолвлены, а затем разлучены кознями людей, преследующих свои личные дела, как Эмлин выдали против ее воли замуж за ненавистного ей пожилого человека, а Томас вынужден был пойти братом-мирянином в монастырь — в качестве сильного и искусного в обращении со скотом батрака, но полупомешанного, ибо он предпочитал выдавать себя за безумца.

Люди знали и конец этой истории: Эмлин прокляла настоятеля, и проклятие ее исполнилось; а Томас Болл преодолел свой суеверный страх, восстал против монахов, получил от короля назначение и, как офицер войск его милости, показал себя отнюдь не безумцем, но человеком, полным мужества, который сумел штурмом взять аббатство и освободить из темницы сэра Кристофера Харфлита. Эмлин, вместе со своей госпожой, должна была взойти на костер, как ведьма, но от сожжения ее спас тот же Томас, участвовавший, подобно ей, во многих необычайных событиях, о которых по всей округе разносились и были и небылицы.

Теперь, после всех этих приключений, они шли под венец. Как же было не сбежаться на такое событие людям, жившим хотя бы на расстоянии десяти миль от Блосхолма!

Монахов уже не было, и отец Роджер Нектон, старый крануэлский викарий, который при столь необычных обстоятельствах совершил бракосочетание Кристофера и Сайсели (после этого, спасая свою жизнь, он вынужден был бежать, когда последний настоятель Блосхолмского аббатства сжег Крануэл Тауэрс), возвратился теперь освятить новый брачный союз перед всем собравшимся народом. Хотя и жених и невеста были уже не первой молодости, Эмлин в своем богатом свадебном платье и мускулистый рыжеволосый Томас в зеленой одежде йомена, какую он носил много лет назад, в дни своей помолвки с Эмлин, до того как напялил на себя коричневую монашескую рясу, — оба являли собою в церкви перед алтарем красивую и видную пару. Во всяком случае таково было мнение всего народа, хотя какой-то сторонник монахов, вспомнив, как Болл разгуливал ряженым чертом, а Эмлин слыла колдуньей, крякнул из темного угла, что это сам сатана женится на ведьме, но Джефри так хватил его кулаком, что едва не раздробил ему череп.

И вот седовласый добродушный отец Нектон, прочитав сперва Королевский указ, разрешающий Томаса от его обетов, по-старинному совершил свадебный обряд и благословил молодоженов.

Наконец все кончилось, и молодые двинулись из старой церкви в замковую ферму, где им предстояло поселиться, в сопровождении, согласно обычаю, всех друзей и доброжелателей. Когда они проходили через небольшую рощицу у речки, где в этот весенний вечер разносился сладкий аромат диких лилий и нарциссов, Эмлин на миг задержалась и сказала своему мужу, капитану Боллу:

— Помнишь ты это место?

— Да, жена, — ответил он, — это здесь мы с тобой в молодости пообещались друг другу и вдруг увидели, как вон под тем дубом проходит Мэлдон, и тень его холодом легла на наши сердца. Ты заговорила об этом и в часовне женской обители, когда я пришел к тебе потайным ходом, и я чуть не обезумел, припомнив все.

— Да, Томас, я об этом говорила, — ответила Эмлин глубоким, ласковым, новым для него голосом. — Ну ладно, пусть теперь это воспоминание сделает тебя счастливым. Я тоже об этом постараюсь, несмотря на все мои недостатки, если только сумею. — Тут она быстрым движением прижалась к нему, поцеловала его и прибавила: — Пойдем, муженек, за нами столько народу. Я надеюсь, что теперь все беды и козни миновали.

— Аминь, — ответил Болл. Сказав это, он заметил каких-то незнакомых людей под королевским флагом, которые шли поодаль в том же

направлении, как и они, и тащили за собой длинную приставную лестницу. Недоумевая, что нужно этим людям в Блосхолме, молодожены вышли из рощи и взобрались на холм, с которого на расстоянии пятидесяти шагов виден был мрачный остов сгоревшего аббатства. Они остановились и глядели в ту сторону, и тут их нагнали Кристофер и Сайсели, мать Матильда с монашками, Джефри Стоукс и другие. В лучах заката место это казалось угрюмым, опустошенным, и все они стояли и смотрели на него, думая каждый о своем.

— Что это там такое? — вздрогнув, спросила Сайсели и указала на какой-то круглый черный предмет, только сейчас появившийся на развалинах главной башни.

В то же самое мгновение на него упал красный луч заходящего солнца.

Это была отрубленная голова Клемента Мэлдона, испанца.

Лейденская красавица



ЛЕЙДЕНСКАЯ КРАСАВИЦА

КНИГА ПЕРВАЯ

ПОСЕВ

I. Волк и барсук

События, о которых пойдет речь, относятся примерно к 1544 году, когда в Нидерландах правил император Карл V[63]. Место действия — город Лейден. Кто побывал в этом городе, знает, что он лежит среди обширных ровных лугов и что его пересекает множество каналов, наполненных водами Рейна. Описываемые события происходили зимой, около Рождества. Луга и высокие остроконечные крыши городских строений были покрыты ослепительным снежным покровом. На каналах, вместо лодок и барок, по замерзшей поверхности скользили во всех направлениях конькобежцы. За городскими стенами, недалеко от Болотных ворот, поверхность широкого рва, окружавшего город, представляла оживленное и красивое зрелище. Именно здесь один из рейнских рукавов впадал в ров, и по нему съезжали катающиеся в санях, бежали конькобежцы, шли гуляющие. Большинство было одето в свои лучшие наряды, так как в этот день предполагалось устройство карнавала на льду с забегами на призы в санях и на коньках и другими играми.

Среди молодежи выделялась молодая особа лет двадцати трех в темно-зеленой суконной шубе, опушенной мехом и плотно обхватывающей талию. Спереди шуба раскрывалась, и можно было увидеть вышитую шерстяную юбку, но на груди она была плотно застегнута и у шеи заканчивалась плойкой из брюссельского кружева. На голове у молодой девушки была высокая войлочная шляпа с эгретом из страусовых перьев, прикрепленных пряжкой из драгоценных камней. Камни были такой ценности, что сразу указывали на принадлежность молодой девушки к богатой семье. Действительно, Лизбета была единственной дочерью корабельного капитана и собственника Каролуса ван Хаута умершего в

среднем возрасте год тому назад и оставившего своей наследнице очень значительное состояние. Это обстоятельство в соединении с хорошеньким личиком, оживленным парой глубоких, задумчивых глаз и фигурой более грациозной, чем у большинства нидерландских женщин, привлекало Лизбете ван Хаут много поклонников и ухажеров, особенно среди лейденской холостой молодежи.

На этот раз Лизбета отправлялась кататься на коньках одна, взяв с собой единственную спутницу — свою служанку Грету, которая была намного старше ее. Грета, уроженка Брюсселя, была привлекательна по наружности и крайне скромна по манерам.

Когда Лизбета скользила по каналу, направляясь ко рву, многие из известных лейденских бюргеров, особенно молодые, снимали перед ней шапки: некоторые из этих молодых людей надеялись, что она выберет их себе в кавалеры на сегодняшний праздник. Несколько бюргеров, из числа более пожилых, предложили ей присоединиться к их семьям, предполагая, что она как сирота, не имеющая близких родственников-мужчин, будет рада их покровительству. Но Лизбете удалось под разными предлогами отделиться ото всех: у нее был собственный план.

В это время жил в Лейдене молодой человек двадцати четырех лет по имени Дирк ван Гоорль, дальний родственник Лизбеты. Он происходил из небольшого городка Алкмара и был вторым сыном одного из самых влиятельных местных горожан — меднолитейщика по профессии. Так как дело должно было перейти к старшему сыну, то отец определил Дирка учеником в одну из лейденских фирм, где он после восьми или девяти лет прилежной работы сделался младшим компаньоном. Отец Лизбеты полюбил молодого человека, и последний скоро стал своим в доме, где был сначала принят как родственник. После смерти Каролуса ван Хаута Дирк продолжал бывать у его дочери, в основном по воскресеньям, когда его с подобающими церемониями принимала тетка Лизбеты, бездетная вдова по имени Клара ван Зиль, ее опекунша. Таким образом, благоприятные обстоятельства способствовали тому, что молодых людей объединяла прочная привязанность, хотя до сих пор они еще не были женихом и невестой и даже слово «любовь» не было произнесено между ними.

Эта сдержанность может показаться странной, но объяснением ей отчасти служил характер Дирка. Он был очень терпелив, не сразу принимал решения, но, приняв, уже непременно выполнял. Точно так же, как другие люди, он чувствовал порывы страсти, но не поддавался им. Уже больше двух лет Дирк любил Лизбету, но, не умея быстро читать в женском сердце, не был вполне уверен, отвечает ли она на его чувства, и больше всего на

свете боялся отказа. К тому же он знал, что девушка богата, его же собственные средства невелики, а от отца ему нельзя ожидать многого. Поэтому он не решался сделать предложение прежде, чем приобретет более обеспеченное положение. Если бы капитан ван Хаут был жив, то дело устроилось бы иначе, так как Дирк обратился бы прямо к нему. Но он умер, и молодой человек при своей чувствительности и благородной натуре содрогался от одной мысли, что могут подумать, будто он воспользовался неопытностью родственницы для приобретения ее состояния. Кроме того, в глубине души у него таилась еще более серьезная причина к сдержанности, но об этом мы скажем ниже.

Таковы были отношения между молодыми людьми. В описываемый нами день Дирк после долгого колебания, ободряемый самой молодой девушкой, попросил у Лизбеты позволения быть ее кавалером во время праздника на льду и, получив согласие, ждал ее у рва. Лизбета надеялась на несколько большее: ей хотелось, чтобы он проводил ее по городу. Но когда она намекнула на это, Дирк объяснил, что ему нельзя будет освободится раньше трех часов, так как на заводе отливался большой колокол, и он должен был дождаться, пока сплав остынет.

Итак, сопровождаемая только Гретой, Лизбета, легкая как птичка, скользила по льду рва, направляясь к замерзшему озеру, где должен был происходить праздник.

Здесь открывалась красивая картина. Позади виднелись живописные остроконечные, покрытые слоем снега крыши Лейдена с возвышающимися над ними куполами двух больших церквей — святого Петра и святого Панкратия — и круглой башней «бургом», стоящей на холме и выстроенной, как предполагают, римлянами. Впереди простирались покрытые белым покровом луга, над ними возвышались ветряные мельницы с узкими корпусами и тонкими длинными крыльями, а вдали виднелись церковные башни других селений и городов.

В самой непосредственной близости, составляя резкий контраст с безжизненным пейзажем, расстилалось окруженное по краям каймой высохших камышей озерко, на льду которого кишел народ. На этом озерке собралась едва ли не половина всего населения Лейдена, тысячные толпы народа двигались взад и вперед с веселыми возгласами и смехом, напоминая своими яркими нарядами стаи пестрых птиц. Среди конькобежцев скользили плетеные и деревянные сани на железных полозьях с передками, вырезанными в форме собачьих, бычьих или тритоновых голов, запряженные лошадьми в сбруе, увешанной бубенчиками. Тут же сновали продавцы пирогов, сладостей и спиртных

напитков, хорошо торговавшие в этот день. Немало нищих, которых в наше время призревали бы в приютах, сидело в деревянных ящиках, медленно передвигая их костылями. Многие конькобежцы запаслись стульями и предлагали их дамам на то время, пока они привяжут коньки к своим хорошеньким ножкам. Тут же сновали торговцы с коньками и ремнями для их крепления. Картину завершал огненный шар солнца, спускавшийся на западе, между тем как на противоположной стороне начинал вырисовываться бледный облик полного месяца.

Зрелище было так красиво и оживленно, что Лизбета, которая была молода и теперь, оправившись от своего горя по умершему отцу весело смотрела на жизнь, невольно остановилась на минуту в своем беге, любуясь картиной. В тот момент, когда она стояла несколько поодаль, от толпы отделилась женщина и подошла к ней, будто не нарочно, а скорее случайно, как игрушечный кораблик, вертящийся на поверхности пруда.

Это была замечательная по своей наружности женщина лет тридцати пяти, высокая и широкоплечая, с глубоко сидящими серыми глазами, временами вспыхивавшими, а затем снова потухавшими как бы при воспоминании о большом страхе. Из-под грубого шерстяного капора прядь седых волос спускалась на лоб, как будто челка у лошади, а выдающиеся скулы, все в шрамах, точно от ожогов, широкие ноздри и белые зубы, странно выступавшие из-под губ, придавали всей ее физиономии удивительное сходство с лошадиной мордой. Костюм женщины состоял из черной шерстяной юбки, запачканной и разорванной, и деревянных башмаков с привязанными к ним непарными коньками, из которых один был гораздо длиннее другого. Поравнявшись с Лизбетой, странная личность остановилась, задумчиво глядя на нее. Вдруг, будто узнав девушку, она заговорила быстрым шепотом, как человек, живущий в постоянном страхе, что его подслушивают:

— Какая ты нарядная, дочь ван Хаута! О, я знаю тебя. Твой отец играл со мной, когда я была еще ребенком, и раз, на таком же празднике, как сегодня, он поцеловал меня. Подумать только! Поцеловал меня, Марту-Кобылу! — Она захохотала хриплым смехом и продолжала:

— Да, ты тепло одета и сыта и, конечно, ждешь возлюбленного, который поцелует тебя. — При этих словах она обернулась к толпе и указала на нее жестом. — И все они тепло одеты и сыты, у всех у них есть возлюбленные и мужья, и дети, которых они целуют. Но я скажу тебе, дочь ван Хаута, я отважилась вылезти из своей норы на большом озере, чтобы предупредить всех, кто захочет слушать, что если они не прогонят проклятых испанцев, то наступит день, когда жители Лейдена будут

гибнуть тысячами от голода в стенах города. Да, если не прогонят проклятого испанца и его инквизицию! Да, я знаю его! Не они ли заставили меня нести мужа на своих плечах к костру? А слышала ли ты, дочь ван Хаута, почему? Потому что все пытки, которые я перенесла, сделали мое красивое лицо похожим на лошадиную морду, и они объявили, что «лошадь создана для того, чтобы на ней ездили верхом».

В то время как бедная взволнованная женщина — одна из целого класса тех несчастных, что бродили в это печальное время по всем Нидерландам, подавленных своим горем и страданиями, не имея другой мысли, кроме мысли о мести, — говорила все это, Лизбета в ужасе пятилась от нее. Но женщина придвинулась к ней, и Лизбета увидала, что выражение ненависти и злобы вдруг сменилось на ее лице выражением ужаса, и в следующую минуту, пробормотав что-то о милостыне, которую она может прозевать, женщина повернулась и побежала прочь так скоро, как позволяли ей коньки.



Обернувшись, чтобы посмотреть, что испугало Марту, Лизбета увидела за оголенным кустом на берегу пруда, но так близко от себя, что каждое ее слово могло быть слышно, высокую женщину несимпатичной наружности, державшую в руках несколько шитых шапок, будто для

продажи. Она начала медленно перебирать эти шапки и укладывать в мешок, висевший у нее за плечами. Все это время она не спускала проницательного взгляда с Лизбеты, отводя его только затем, чтобы следить за быстро удалявшейся Мартой.

— Плохие у вас знакомства, сударыня, — заговорила торговка хриплым голосом.

— Это была вовсе не моя знакомая, — отвечала Лизбета, сама удивляясь, что вступает в разговор.

— Тем лучше, хотя, по-видимому, она знает вас и знает, что вы станете слушать ее песни. Если только мои глаза не обманывают меня — а это бывает не часто, — эта женщина злодейка и колдунья, как и ее умерший муж ван Мейден, еретик, хулитель святой Церкви, изменник императору. И, насколько я знаю, она одна из тех, чьи головы оценены, и скоро денежки попадут в мешок Черной Мег.

Сказав это, черноглазая торговка медленным твердым шагом направилась к толстяку, по-видимому ожидавшему ее, и вместе с ним смешалась с толпой, где Лизбета потеряла их из виду.

Смотря им вслед, Лизбета содрогнулась. Насколько она помнила, ей никогда не приходилось встречаться с этой женщиной прежде, но она была достаточно хорошо знакома с временем, в которое жила, и сразу узнала в ней шпионку инквизиции. Подобные личности, которым платили за указание на подозрительных еретиков, постоянно смешивались с толпой и даже втирались в частные дома.

Что же касается другой женщины, прозванной Кобылой, то, без сомнения, она была из тех отверженных, проклятых Богом и людьми созданий, называемых еретиками, из тех, что говорят ужасные вещи про Церковь и ее служителей, введенные в заблуждение и подстрекаемые дьяволом в образе человеческом — неким Лютером[64]. При этой мысли Лизбета содрогнулась и перекрестилась, так как в то время она была еще ревностной католичкой. Бродяга сказала ей, что знала ее отца, следовательно, она была такого же благородного происхождения, как сама Лизбета, — и вдруг такой ужас… Молодой девушке страшно было вспомнить об этом. Но, конечно, еретики заслуживают такого отношения к себе — в этом не могло быть сомнения; ведь ее духовник сказал ей, что только таким образом их души можно вырвать из когтей дьявола.

В этой мысли было много утешительного, однако Лизбета чувствовала себя расстроенной и очень обрадовалась, увидев Дирка ван Гоорля, бежавшего ей навстречу вместе с другим молодым человеком, также ее родственником с материнской стороны, Питером ван де Верфом, которому

впоследствии суждено было стяжать себе бессмертную славу. Оба поклонились, сняв шапки, причем оказалось, что ван Дирк — блондин с густыми волосами, на его спокойном лице с немного грубоватыми чертами светились голубые глаза. Лизбета, всегда несколько несдержанная, была недовольна и высказала это.

— Мне казалось, что мы договорились встретиться в три, а часы уже пробили половину четвертого, — сказала она, обращаясь к обоим молодым людям, но смотря (не особенно нежно) на ван Гоорля.

— Я не виноват, — отвечал ей Дирк медленным, тягучим говором, — у меня были дела. Я обещал дождаться, пока металл достаточно остынет, а горячей бронзе дела нет до катания на коньках и санных бегов.

— Стало быть, вы остались, чтобы дуть на нее? Прекрасно, а результат тот, что мне пришлось идти одной и выслушивать такие вещи, каких я вовсе не желала бы слышать.

— Что вы хотите сказать этим? — спросил Дирк, сразу изменяя своему хладнокровному тону.

Лизбета сообщила, что ей сказала женщина по прозвищу Кобыла, и прибавила:

— Вероятно, бедняга еретичка и заслужила то, что произошло с ней, но все же это очень грустно. Я же пришла сюда, чтобы веселиться, а не печалиться.

Молодые люди обменялись многозначительными взглядами. Заговорил же Дирк, между тем как Питер, более осторожный, молчал.

— Почему вы говорите это, кузина Лизбета? Почему вы думаете, что она заслужила все случившееся с ней? Я слыхал об этой несчастной Марте, хотя сам не видал ее. Она благородного происхождения, гораздо более знатного, чем мы трое, и была очень красива, так что ее звали Лилией Брюсселя, когда она была фроу[65] ван Мейден. Она перенесла ужасные страдания только за то, что не молится Богу так, как молитесь Ему вы.

— Вы не зябнете, стоя на одном месте? — прервал Питер ван де Верф, не дав Лизбете ответить. — Смотрите, начинается бег в санях. Кузина, дайте руку. — И, взяв девушку под руку, он побежал с ней по рву. Дирк и Грета последовали на некотором расстоянии.

— Я занял не свое место, — шепотом заговорил Питер, не останавливаясь, — но прошу вас, если вы любите его… простите, — если вы жалеете преданного родственника, то не входите с ним в рассуждения о религии здесь, в общественном месте, где даже у льда и неба есть уши. Надо быть осторожной, милая кузина! Уверяю вас, надо остерегаться.

В центре озера начиналось главное событие дня — бег в санях. Так как

желающих принять участие было много, то они разделились на партии, и победители каждой партии становились на одну сторону, ожидая решающего состязания. Этим победителям предоставлялось преимущество, похожее на то, которое иногда предоставляется танцорам в современном котильоне. Каждый правивший санями должен был везти кого-нибудь на маленьком плетеном сиденье впереди себя, между тем как сам стоял на запятках позади, откуда и управлял лошадьми. Пассажира себе победитель мог выбирать из числа дам, присутствовавших на бегах, если только сопровождавшие их кавалеры не выражали формального протеста.

Среди победителей был молодой испанский офицер, граф Хуан де Монтальво, исполнявший в настоящее время обязанности находившегося в отпуску начальника лейденского гарнизона. Это был молодой человек лет тридцати, знатный по происхождению, красивого кастильского типа, то есть высокий, грациозный, с темными глазами, резкими чертами лица, имевшими несколько насмешливое выражение, и хорошими, хотя немного натянутыми манерами. Он совсем недавно приехал в Лейден, и потому об этом привлекательном кавалере знали мало. Известно было лишь, что духовенство отзывалось о нем хорошо и называло его любимцем императора. Все дамы восхищались им.

Как и можно было ожидать от человека столь богатого и знатного, все принадлежавшее графу носило отпечаток такого же изящества, как и он сам.

Так, сани его по форме и окраске изображали черного волка, готового броситься на добычу. Деревянную голову покрывала волчья шкура, и украшали ее желтые стеклянные глаза и клыки из слоновой кости, между тем как на шее был надет золоченый ошейник с серебряной бляхой. На бляхе был изображен герб владельца — рыцарь, снимающий цепи с плененного христианского святого, и девиз рода Монтальво: «Вверься Богу и мне». Вороной конь, вывезенный из Испании, лоснился под золоченой сбруей, а на голове его возвышался роскошный панаш из разноцветных перьев.

Лизбета случайно оказалась около того места, где кавалер остановился после своей первой победы. Она была одна с Дирком ван Гоорлем, так как Питера ван де Верфа, принимавшего участие в беге отозвали в эту минуту. От нечего делать она подошла поближе и, весьма естественно, залюбовалась блестящей упряжью, хотя, правда, ее интересовали гораздо больше сани и лошадь, чем возница. Графа она знала в лицо: он был из городских вельмож. Граф при первой встрече отнесся к ней с любезностью на испанский лад — по ее мнению, преувеличенной. Но поскольку все

кастильские кавалеры держали себя так с бюргерскими девушками, она оставила это без особого внимания.

Капитан Монтальво увидал Лизбету на льду и, узнав ее, приподнял шляпу, кланяясь с тем оттенком снисхождения, с каким относились к людям, которых считали ниже себя. В шестнадцатом столетии все, не имевшие счастья родиться в Испании, считались низшими. Исключение делалось только для англичан, умевших заставить признать свое достоинство.

Около часу спустя, когда окончился бег последней партии, распорядитель громко объявил оставшимся соперникам, чтобы они выбирали себе дам и готовились к последнему состязанию. Каждый из кавалеров, передав лошадь конюху, подходил к молодой особе, очевидно ожидавшей его, и, взяв ее за руку, подводил к саням. Лизбета с любопытством следила за этой церемонией, так как само собой разумелось, что выбор обусловливался предпочтением, оказываемым избираемой. Вдруг с удивлением она услышала свое имя. Подняв голову, она увидела перед собой дона Хуана де Монтальво, который кланялся ей чуть не до самого льда.

— Сеньорита, — сказал он на кастильском наречии, которое Лизбета понимала, хотя сама говорила на нем только в случаях крайней необходимости, — если мои уши не обманули меня, я слышал, как вы похвалили мою лошадь и сани. С разрешения вашего кавалера, — и он вежливо поклонился Дирку, — я приглашаю вас быть моей дамой в решающем беге, зная, что это принесет мне счастье. Вы разрешаете, сеньор?

Если и существовал народ, ненавистный Дирку, то это были испанцы, и если и существовал кто-либо, с кем он не желал бы отпустить Лизбету на катание вдвоем, то это был граф Хуан де Монтальво. Но Дирк обладал замечательной скромностью и так легко конфузился, что ловкому человеку ничего не стоило заставить его сказать то, чего он вовсе не намеревался. Так и теперь, видя как этот знатный испанец раскланивается перед ним, скромным голландским купцом, он совершенно растерялся и пробормотал:

— Конечно, конечно.

Если бы взгляд мог уничтожить человека, то Дирк моментально превратился бы в ничто, так как сказать, что Лизбета рассердилась, было бы мало: она буквально была взбешена. Она не любила этого испанца, и ей невыносима была мысль о долгом пребывании с ним наедине. Кроме того, она знала, что ее сограждане вовсе не желают, чтобы в этом состязании, составлявшем чуть ли не главное событие года, победа осталась за графом,

и ее появление в его санях могло быть истолковано, как желание с ее стороны видеть его победителем. Наконец, — и это причиняло больше всего досады, — хотя соревнующиеся и имели право приглашать в свои сани кого им вздумается, но обыкновенно их выбор останавливался на дамах, с которыми они были близко знакомы и которых заранее предупреждали о своем намерении.

В минуту эти мысли пронеслись в уме молодой девушки, но она только проговорила что-то о господине ван Гоорле.

— Он совершенно бескорыстно дал свое согласие, — прервал ее капитан Хуан, предлагая ей руку.

Не устраивая сцены, — что дамы считали неприличным тогда, как считают и теперь, — не было возможности отказать графу на глазах у половины жителей Лейдена, собравшихся посмотреть на «выбор». Скрепя сердце, Лизбета взяла предлагаемую руку и пошла к саням, уловив по дороге не один косой взгляд со стороны мужчин и не одно восклицание действительного или притворного удивления со стороны знакомых дам…

Эти выражения враждебности заставили ее овладеть собой. Решившись, по крайней мере, не казаться надутой и смешной, она сама мало-помалу начала входить в роль и милостиво улыбнулась, когда капитан Монтальво стал окутывать ей ноги великолепной медвежьей полостью.

Когда все было готово, Монтальво взял вожжи и сел на маленькое сиденье позади, а слуга-солдат вывел лошадь под уздцы на линию.

— Сеньор, где назначен забег? — спросила Лизбета, надеясь в душе, что дистанция назначена небольшая.

Но ей пришлось разочароваться, так как Монтальво ответил:

— Сначала к Малому Кваркельскому озеру, вокруг острова на нем, потом обратно сюда, всего около четырех миль[66]. А теперь, сеньорита, прошу вас не говорить со мной. Держитесь крепко и не бойтесь: я хорошо правлю, у моей лошади нога твердая, и она подкована для льда. Я дал бы сотню золотых, чтобы выиграть на этот раз, так как ваши соотечественники клялись, что я проиграю, и, поверьте мне, сеньорита, борьба с этим серым рысаком будет нелегкая.

Следуя за направлением взгляда испанца, глаза Лизбеты остановились на санях, стоявших рядом. Это были маленькие саночки, по форме и окраске представлявшие серого барсука — это молчаливое, упрямое и, при случае, свирепое животное, не выпускающее свою добычу прежде, чем голова отделится от туловища. Лошадь, подходившая по цвету к экипажу, была фламандской породы, широкая в кости, с широким задом и некрасивой головой, но известная в Лейдене своей смелостью и

выносливостью. Особенный же интерес пробудило в Лизбете открытие, что возница был не кто иной, как Питер ван де Верф, и она теперь вспомнила, что он называл свои сани «барсуком». Не без улыбки она заметила также, что он выказал свой осторожный характер в выборе дамы, пренебрегая каким бы то ни было мимолетным успехом, пока не достигнута главная цель: в его санях сидела не изящная, нарядная дама, про которую можно бы сказать, что она смотрит на него нежными глазами, но белокурая девятилетняя девочка — его сестра. Как он объяснил после, правилами предписывалось, чтобы в санях сидела женщина, но ничего не упоминалось о ее возрасте и весе.

Все соперники, их было девять, выстроились в одну линию, и распорядитель бега, выйдя вперед, громким голосом провозгласил условия забега и награду — великолепный хрустальный кубок, украшенный гербом Лейдена. После этого, спросив, все ли готовы, он опустил маленький флаг, и лошади понеслись.

В первую минуту Лизбета, забыв свои сомнения и досаду, вся предалась волнению минуты. Рассекая, как птица, холодный застывший воздух, они скользили по гладкому льду. Веселая толпа осталась позади, сухие камыши и оголенные кусты, казалось, убегали от них. Единственными звуками, отдававшимися в ушах, были свист ветра, визг железных полозьев и глухой стук лошадиных копыт. Некоторые сани выдвинулись вперед, но «волка» и «барсука» не было между ними. Граф Монтальво сдерживал своего вороного, а серый фламандец бежал растянутой некрасивой рысью. Выехав из небольшого озерка на канал, их сани занимали четвертое и пятое место. Они ехали по пустынной снежной равнине, миновав село Алькемаде с его церковью. В полумиле впереди виднелось Кваркельское озеро, а посередине его — остров, который надо было обогнуть. Они доехали до него, обогнули, и, когда снова повернули к городу, Лизбета заметила, что «волк» и «барсук» заняли уже третье и четвертое места в забеге, а прочие сани отстали. Еще через полмили они выдвинулись на второе и третье места, а когда до цели оставалась всего миля, они были уже первыми и вторыми. Тут началась борьба.

С каждым ярдом скорость увеличивалась, и все больше и больше выдвигался вперед вороной жеребец. Теперь соперникам предстояло преодолеть пространство, покрытое неровным льдом и глыбами замерзшего снега. Сани прыгали и качались из стороны в сторону.

Лизбета оглянулась.

— «Барсук» нагоняет нас, — сказала она. Монтальво слышал и в первый раз коснулся бичом коня. Тот рванулся вперед, но «барсук» не

отставал. Серый рысак был силен и напрягал свои силы. Его некрасивая голова пододвинулась вплотную к саням, в которых сидела Лизбета. Девушка чувствовала его горячее дыхание и видела пар, выходивший из ноздрей.

В следующую минуту серый начал обгонять их. Пар уже несся Лизбете в лицо и она увидела широко раскрытые глаза девочки сидевшей в серых санях. Когда кончилось неровное пространство, обе лошади шли голова в голову. До цели оставалось не более шестисот ярдов, и кругом, за линией бега, уже теснилась толпа конькобежцев спешивших за санями.

Ван де Верф крикнул на своего серого, и он начал забирать вперед, Монтальво снова обжег ударом бича вороного и опять обогнал «барсука». Но вороной, видимо, слабел, и это не укрылось от его хозяина — Лизбета услыхала, что он выругался по-испански. Затем вдруг, бросив искоса взгляд на своего противника, граф тронул левую вожжу, и в воздухе раздался резкий голос маленькой девочки из других саней:

— Братец, берегись! Он опрокинет нас.

Действительно, еще секунда, и вороной толкнул бы боком серого… Лизбета увидела, как Ван де Верф поднялся со своего сиденья и, откинувшись назад, осадил свою лошадь. «Волк» пролетел мимо не больше чем в нескольких дюймах[67], однако оглобля вороного задела за передок «барсука», и отскочивший кусок дерева порезал ему ноздрю.

— Сумасшедший! — раздался крик из толпы конькобежцев, но сани уже неслись дальше. Теперь вороной был ярдов на десять в выигрыше, так как серому понадобилось несколько секунд, чтобы выехать на прямую дорогу. Сотни глаз следили за бегом, и у всех присутствующих как у одного вырвался крик:

— Испанец побеждает!

В ответ раздался глухой ропот, прокатившийся по толпе:

— Нет, голландец! Голландец забирает вперед!

Среди этого крайнего возбуждения, — может быть, как следствие этого самого возбуждения — в уме Лизбеты произошло нечто странное. Бег, его подробности, все окружающее исчезли. Действительность сменилась сном, видением, в котором Лизбета жила. Что она видела в эту минуту?

Она видела, что испанец и голландец борются из-за победы, но не из-за победы в беге. Она видела, как черный испанский «волк» обходит нидерландского «барсука», но «барсук», упрямый «барсук» еще держится.

Кто победит? Горячее или терпеливое животное?

Борьба ведется смертельная. Весь снег кругом покраснел, крыши

Лейдена все были красные, так же, как небо. При густом свете заката все казалось залитым кровью, между тем как крики окружающей толпы превратились в яростные крики сражающихся. В этих криках слилось все: надежда, отчаяние, агония, но Лизбета не могла понять их значения. Что-то подсказывало ей, что объяснение и исход всего этого знал один Бог.

Быть может, она на минуту потеряла сознание от резкого ветра, свистевшего у нее в ушах, быть может, заснула и видела сон. Как бы то ни было, ее глаза сомкнулись, и она забылась. Когда она пришла в себя и оглянулась, сани их уже были близки к призовому столбу; но впереди неслись другие сани, запряженные некрасивым серым рысаком, скакавшим так, что его брюхо, казалось, задевало землю, а в санях стоял молодой человек с лицом, будто отлитым из стали, и плотно сжатыми губами.

Неужели это лицо ее двоюродного брата Питера ван де Верфа, и если это он, то какая страсть наложила на него такую печать?

Лизбета повернулась и взглянула на того, в чьих санях ехала.

Был ли это человек, или дух, вырвавшийся из преисподней? Матерь Божья!… Какое у него было лицо! Глаза остановились и выкатились из орбит, так что видны были одни белки; губы полуоткрылись, и между ними сверкали два ряда ослепительных зубов; приподнявшиеся кончики усов касались выдавшихся скул. Нет, то был не дух, не человек. То было живое воплощение испанского «волка».

Ей показалось, что она опять готова лишиться чувств, когда в ее ушах раздались крики: «Голландец перегнал! Проклятый испанец побежден!»

Тут Лизбета поняла, что все кончено, и вновь потеряла сознание.

II. Долг платежом красен

Когда Лизбета пришла в себя, она увидала, что все еще сидит в санях, немного отъехавших от толпы, продолжавшей неистово приветствовать победителя. Рядом с «волком» стояли простые сани, запряженные неуклюжей фламандской лошадью. За кучера в них был испанский солдат, а другой испанец, по-видимому сержант, сидел в санях. Кроме них никого не было поблизости: народ в Голландии уже научился держаться в почтительном отдалении от испанских солдат.

— Если вашему сиятельству угодно будет поехать туда теперь, то все можно уладить без излишних хлопот, — сказал сержант.

— Где она? — спросил Монтальво.

— Не дальше мили отсюда.

— Привяжите ее на снегу до завтрашнего утра. Лошадь моя устала, и мы не станем утомлять ее больше, — начал было граф, но оглянувшись на толпу позади, а потом на Лизбету, прибавил: — Впрочем, нет, я приеду.

Может быть, граф не желал слышать соболезнований по поводу постигшей его неудачи или хотел продолжить катание со своей красивой дамой. Как бы то ни было, он без малейшего колебания хлестнул свою лошадь бичом, и она пошла, хотя не совсем свободно, но все же порядочной рысью.

— Сеньор, куда мы едем? — спросила Лизбета в испуге. — Бег кончен, я должна вернуться к своим.

— Ваши заняты поздравлением победителя, — отвечал Монтальво своим вкрадчивым голосом, — и я не могу оставить вас одну на льду. Не беспокойтесь, мне надо съездить по одному делу, которое займет у меня не больше четверти часа. — И он снова хлестнул коня, побуждая его идти скорее.

Лизбета собралась протестовать, даже думала было выпрыгнуть из саней, но в конце концов ничего не сделала. Она рассудила, что покажется гораздо естественнее и менее странно, если она будет продолжать катание со своим кавалером, чем если станет пытаться бежать от него. Лизбета была уверена, что Монтальво не выпустит ее по одной только ее просьбе: что-то в его манере предсказывало ей это. И хотя ей вовсе не хотелось оставаться в его обществе, все же это было лучше, чем стать смешной в глазах половины лейденского населения. К тому же она не была виновата, что попала в такое положение, — виной всему был Дирк ван Гоорль,

который должен был бы подойти, чтобы высадить ее из саней.

Когда они поехали по замерзшему крепостному рву, Монтальво наклонился вперед и начал вспоминать о беге, выражая сожаление, что проиграл, но без заметного озлобления. Неужели это тот самый человек, который пытался так хладнокровно опрокинуть противника, не рассуждая, что это нечестно, и не думая о том, что так можно было человека убить? Неужели это тот самый человек, у которого лицо сейчас было, как у дьявола? И случилось ли все это в действительности или, быть может, это только плод ее воображения, смущенного быстротой и возбуждением бега? Без сомнения, она не все время была в полном сознании, так как никак не могла припомнить, чем действительно окончился бег и как они выехали из окружавшей их кричавшей толпы.

Пока она раздумывала обо всем этом, время от времени односложно отвечая Монтальво, сани, ехавшие впереди, завернув за один из восточных бастионов, остановились. Местность кругом была пустынная и унылая: по случаю мирного времени на крепостных стенах не было часовых, и на всей обширной снежной равнине за крепостным рвом не видно было ни одной живой души. Сначала Лизбета вообще не могла ничего разглядеть, так как солнце зашло и ее глаза еще не привыкли к лунному свету. Но через несколько минут она увидела кучку людей на льду одного из изгибов рва, полускрытую засохшим камышом.

Монтальво также увидел людей и остановил лошадь в трех шагах от них. Людей было всего пятеро — три испанских солдата и две женщины. Лизбета взглянула и с трудом сдержала крик ужаса, так как узнала женщин. Высокая темная фигура с пронзительными глазами была не кто иная, как торговка шапками, испанская шпионка Черная Мег. А в той, которая скорчившись лежала на льду с руками, связанными назад, с седыми волосами, распущенными чьей-нибудь грубой рукой и разметавшимися по снегу, Лизбета узнала женщину, называвшую себя Мартой-Кобылой, сказавшую ей давеча, что знала ее отца, и проклинавшую испанцев с их инквизицией. Зачем она здесь? Тотчас же у нее в голове нашелся ответ: она вспомнила слова Черной Мег, что голова этой еретички оценена в известную сумму, которая сегодня же будет у нее в кармане. Зачем это перед арестованной во льду прорубили четырехугольную прорубь? Неужели… Нет, это было бы слишком ужасно.

— Ну, в чем дело? Объясните, — обратился Монтальво к сержанту спокойным, утомленным голосом.

— Дело очень простое, ваше сиятельство, — отвечал сержант. — Эта женщина, — он указал на Черную Мег, — готова присягнуть, что эта тварь

— уличная еретичка, приговоренная к смерти святым судилищем. Муж ее, занимавшийся рисованием картин и наблюдениями за звездами, два года тому назад был обвинен в ереси и колдовстве и сожжен в Брюсселе. Ей же удалось избегнуть костра, и она с тех пор живет бродягой, скрываясь на островах Харлемского озера и, как подозревают, убивая и грабя всякого испанца, который попадается ей под руку. Теперь ее изловили и уличили, и так как приговор, произнесенный над ней, сохраняет свою силу, то он может быть приведен в исполнение тотчас же, если ваше сиятельство даст на это приказание. Правда, вас вовсе не пришлось бы беспокоить, если бы эта почтенная женщина, — он снова указал на Черную Мег, — которая выследила ее и задержала до нашего прихода, не пожелала иметь вашего удостоверения, чтобы получить награду от казначея святой инквизиции. Поэтому просим вас удостоверить, что это та самая еретичка, известная под прозвищем Марты-Кобылы, — фамилию ее я забыл. После этого, если вам будет угодно удалиться, мы исполним остальное.

— То есть отправите ее в тюрьму и передадите святой инквизиции? — спросил Монтальво.

— Нет, не совсем так, ваше сиятельство, — возразил сержант со сдержанной улыбкой и покашливанием. — Тюрьма, как мне сказали, полна. Однако, если мы поведем еретичку в тюрьму, она дорогой может случайно провалиться в прорубь, — ведь сатана направляет шаги таких тварей, — или может нарочно броситься в воду.

— Какие улики? — спросил Монтальво.

Тут выступила вперед Черная Мег и с быстротой и плавностью, свойственной шпионам, начала свой рассказ. Она подтвердила, что знает эту женщину и знает, что, будучи приговоренной к смерти, она бежала. В заключение Мег повторила разговор Марты с Лизбетой, подслушанный ею утром.

— Вы в счастливый час согласились сопровождать меня, сеньорита ван Хаут, — весело сказал Монтальво, — потому что теперь, для моего собственного удовлетворения, я хочу быть справедлив и не основываться на свидетельстве этой продажной личности. Я прощу вас ответить как перед Богом, подтверждаете ли вы рассказ этой женщины и правда ли, что эта уродина по прозвищу Кобыла проклинала мой народ и святое судилище? Отвечайте, и, прошу вас, поскорее, сеньорита: становится холодно, и лошадь моя начинает дрожать. Тут Марта в первый раз подняла голову, схватившись за волосы и стараясь оторвать их от льда, к которому они примерзли.

— Лизбета ван Хаут! — закричала она. — Неужели ради того, чтобы

понравиться твоему возлюбленному испанцу, ты обречешь на смерть подругу детства твоего отца? Испанский конь озяб и не может стоять на месте, а бедную нидерландскую кобылу собираются спустить под голубой лед и держать там, пока ее кости не примерзнут к дну рва. Ты выбрала себе испанца, между тем как сама кровь твоя должна была возмутиться против этого. Но дорого тебе придется поплатиться! Если ты произнесешь слово, которого они от тебя добиваются, то погубишь себя и погубишь не только свое тело, но и душу. Горе тебе, Лизбета ван Хаут, если ты станешь мне поперек дороги, прежде чем мое дело будет окончено. Смерть не страшна мне, я даже обрадуюсь ей, но, говорю тебе, я должна еще кончить дело до моей смерти.

Совершенно растерявшаяся Лизбета взглянула на Монтальво.

Граф был проницателен и тотчас понял все. Нагнувшись вперед, опираясь рукой о спинку саней, будто желая ближе взглянуть на арестованную, он шепнул Лизбете на ухо так тихо, что никто не мог слышать его слов:

— Сеньорита, я в данном случае не имею никакого желания добиться смерти несчастной помешанной, но если вы подтвердите слова доносчицы, то ее придется утопить. Пока еще ничего не доказано, все зависит от вашего свидетельства. Я не знаю, что произошло между вами сегодня утром, и меня мало интересует это, но только, если окажется, что вы не вполне ясно помните случившееся, мне придется поставить вам одно или два маленьких, совсем пустячных условия: вы должны будете провести остальной вечер со мной и, кроме того, ваша дверь должна быть открыта для меня, когда бы я ни вздумал постучать в нее. При этом не могу не напомнить, что, три раза являясь к вам, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение, я находил ее запертой.

Лизбета слышала и поняла. Если она захочет спасти жизнь этой женщины, ей придется выносить ухаживания этого испанца, чего она желала меньше всего на свете. Произнося же клятву перед Богом, ей, никогда в жизни не лгавшей, придется произнести ужасную ложь. Больше полминуты она раздумывала, обводя вокруг взглядом, полным ужаса, и зрелище, представлявшееся ей, так глубоко запечатлелось в ее душе, что она до самой смерти не могла забыть его.

Марта не говорила больше ничего. Она стояла на коленях, не сводя с лица Лизбеты отчаянного, вопросительного взгляда. Несколько правее стояла Черная Мег, смотря на нее сумрачно, так как деньгам, которые она надеялась получить, грозила опасность. Позади арестованной стояли два солдата: один из них поднес руку к лицу, стараясь скрыть зевоту, а другой

бил себя в грудь, чтобы согреться. Третий солдат, находившийся несколько впереди, расчищал рукояткой своей алебарды поверхность проруби от затягивавшего ее тонкого льда. Между тем Монтальво, продолжавший наклоняться то вперед, то в сторону, не сводил с Лизбеты насмешливого и циничного взгляда. И на все: на бесконечную снежную пелену, на остроконечные крыши города вдали, на красивые сани и сидевшую в них закутанную в меховую полость девушку — падал спокойный свет месяца при полной тишине, нарушаемой только биением ее сердца и шелестом морозного ветра в засохших камышах.

— Ну что же, сеньорита, — спросил Монтальво, — обдумали ли вы все и должен ли я произнести обычную форму клятвы?

— Говорите! — ответила она хриплым голосом.

Он вышел из саней, стал против Лизбеты и, сняв берет, произнес формулу клятвы, клятвы, способной смутить Лизбету, если в душе она сознавала, что говорит неправду.

— Во имя Отца и Сына и Его Блаженной Матери, вы клянетесь? — спросил граф.

— Клянусь, — отвечала Лизбета.

— Хорошо. Выслушайте же меня, сеньорита. Встретились вы с этой женщиной сегодня после полудня?

— Да, я встретилась с ней на катке.

— Проклинала она при вас правительство[68] и святую Церковь и уговаривала ли вас помочь изгнанию испанцев из страны, как свидетельствует доносчица по имени, если не ошибаюсь, Черная Мег?

— Нет, — отвечала Лизбета.

— Я боюсь, что этого заявления недостаточно, сеньорита. Может быть, я употребил не те выражения… Говорила ли женщина вообще что-нибудь в этом роде?

Одну секунду Лизбета колебалась. Но, увидев снова перед собой лицо жертвы, смотревшей на нее задумчивыми глазами, полными ожидания, вспомнив, что это грязное, искалеченное существо было некогда ребенком, подругой ее отца, которую он целовал, и преступление которой заключалось лишь в том, что она избегла костра, Лизбета приняла решение.

— Холодно умирать в воде, — сказала Марта тихо, будто думая вслух.

— Так зачем же ты, колдунья, еретичка, убежала от огня? — усмехнулась Черная Мег.

Лизбета, не колеблясь, опять односложно отвечала на вопрос Монтальво:

— Нет.

— Что же она делала или говорила, сеньорита?

— Она говорила, что знала моего отца, игравшего с ней, когда она была ребенком, и просила милостыню — вот и все. Тут подошла эта женщина, и она убежала, после чего женщина сказала, что ее голова оценена и что она получит деньги за то, что укажет на нее.

— Это ложь! — яростно, пронзительным голосом закричала Мег.

— Если она не замолчит сама, заставьте ее замолчать, — приказал Монтальво, обращаясь к сержанту. — Я вижу, что против арестованной нет других улик, кроме показания доносчицы, утверждающей, что она преступница, еретичка, бежавшая от сожжения несколько лет тому назад из окрестностей Брюсселя, куда вряд ли стоит посылать за справками. Подобное обвинение может быть оставлено без внимания. Остается вопрос, произносила или нет эта женщина некоторые слова, за которые положена казнь, на которую я, как исполняющий обязанности коменданта этого города, имею власть осудить ее. Я предвидел этот вопрос и поэтому попросил сеньориту, к которой, как утверждают, женщина обратилась со своими словами, сопровождать меня сюда, чтобы дать показание. Она исполнила мою просьбу, и ее клятвенное показание, опровергая не подтвержденное клятвой показание доносчицы, гласит, что обвиняемая не произносила подобных слов. Сеньорита — усердная католичка, и не поверить ей я не имею причины. Поэтому я приказываю отпустить арестованную, которую, со своей стороны, считаю никому не опасной бродяжкой.

— По крайней мере, вы продержите ее в тюрьме, пока я не докажу, что она еретичка, бежавшая от костра в Брюсселе, — закричала Черная Мег.

— И не подумаю: тюрьмы и так полны. Развяжите ее и отпустите.

Несколько удивленные солдаты повиновались, и Марта с трудом поднялась на ноги. С минуту она стояла, смотря на свою избавительницу, затем, крикнув: «Лизбета ван Хаут, мы еще увидимся!» — бросилась бежать с неимоверной быстротой. Через несколько секунд она виднелась вдали только черной точкой на белом ландшафте и скоро совсем исчезла.

— Скачи как хочешь, Кобыла, — крикнула ей вдогонку Черная Мег, — а все же я поймаю тебя. И тебе не уйти от меня, красавица-лгунья, лишившая меня дюжины флоринов[69]. Погоди, и тебе придется иметь дело со святой инквизицией, этим ты обязательно кончишь! Не спасет тебя твой красивый любовник-испанец. Так ты перешла на сторону испанцев и отреклась от своих толсторожих бюргеров?! Ну, узнаешь ты еще испанцев, помяни мое слово!

Два раза Монтальво тщетно пытался прервать поток ее яростной

брани, которая задевала его и могла невыгодно отразиться на его планах, и наконец прибегнул к другому средству.

— Схватить ее! — приказал он двум солдатам. — А теперь окунуть ее в прорубь и держать, пока я не прикажу отпустить.

Они повиновались, но в выполнении приказа пришлось принимать участие всем троим, так как Черная Мег отбивалась и кусалась, как дикая кошка, пока ее не бросили головой вниз в прорубь. Когда наконец ее вытащили оттуда, она, вся дрожащая и мокрая, молча поплелась прочь, но взгляд, брошенный ею на Лизбету и на капитана, заставил последнего сделать замечание, что, быть может, следовало продержать ее под водой двумя минутами дольше.

— Холодно сегодня, да еще вам пришлось провозиться с этой историей, так вот вам и вашим людям на что погреться, когда сменитесь, — обратился Монтальво к сержанту, подавая ему довольно значительную для тех времен сумму. — Кстати, быть может, вы захотите сделать мне одолжение и отвести моего вороного в конюшню, а на его место запрячь в мои сани этого серого скакуна: мне еще хочется прокатиться по крепостному рву, а моя лошадь устала.

Солдаты отдали честь и принялись перепрягать лошадей, между тем как Лизбета, предугадывая намерения своего кавалера, подумывала было бежать, воспользовавшись коньками, еще бывшими у нее на ногах. Но Монтальво не выпускал ее из виду.

— Сеньорита, — сказал он спокойным тоном, — мне кажется, вы обещали провести со мной остальной вечер, и я уверен, что никто не может заставить вас сказать неправду, — добавил он с вежливым поклоном. — Если бы я не был уверен в этом, я вряд ли так легко принял бы ваше свидетельство несколько минут тому назад.

Лизбета, видимо, смутилась.

— Я думала, сеньор, что вы вернетесь на праздник.

— Мне что-то не помнится, чтобы я говорил это. Мне надо осмотреть, в порядке ли караулы. Не бойтесь, прогулка при лунном свете будет прелестная, а потом вы, может быть, доведете свое гостеприимство до того, что позовете меня отужинать у себя.

Она все еще колебалась, и неудовольствие отражалось у нее на лице.

— Ювфроу[70] Лизбета, — заговорил тогда Монтальво, изменив тон, — У меня на родине есть пословица: *долг платежом красен*. Вы покупали и… получили товар. Понимаете вы меня?! Позвольте потеплее укрыть вас… Я знаю, что в душе вы намерены честно расплатиться, вы… только дразните меня… Если бы вы в самом деле хотели избавиться от меня, то могли бы

воспользоваться случаем и убежать. Поэтому я сам предоставил вам этот случай, не желая удерживать вас против воли.

Лизбета слушала и кипела досадой: этот человек перехитрил ее. На каждом шагу он старался показать ей ее несостоятельность, и еще больше ее сердило, что он был прав. Она покупала, она должна и платить. Зачем она покупала? Не ради собственной выгоды, но побуждаемая чувством человеческой жалости, ради спасения жизни себе подобного существа. Но почему она решилась на ложную клятву ради спасения этой жизни? Она была верующая католичка и не симпатизировала таким людям. По всей вероятности, эта женщина была анабаптисткой[71], одним из членов этой отвратительной секты, не имевших имени, позволявших себе безнравственные поступки и бегавших нагими по улицам, объявляя, что они «голая правда». Не подействовало ли на нее заявление этой женщины, что она в детстве знала ее отца? Может быть, отчасти. Но не было ли еще другой причины? Не произвели ли на нее впечатление слова женщины об испанцах, смысл которых она уяснила себе во время катания — именно в ту минуту, когда она увидела сатанинское выражение лица Монтальво. Ей казалось, что именно это и было причиной, хотя тогда она и не сознавала этого. Ей казалось также, что она действовала не по собственной воле, но будто побуждаемая какой-то непонятной силой, которой она не могла противостоять.

А главным, и самым худшим, было сознание, что ее самоотверженность не принесет пользы — или, если и принесет, то во всяком случае не ей и ее домашним. Она была теперь как рыба в сетях. Одного только она не могла понять: что побуждало этого блестящего испанца издеваться над ней. Она забыла, что красива и богата. Ради спасения ближнего она решила вступить в торг, и расплачиваться, наверное, придется собственной кровью и кровью дорогих ей людей, как бы ни высока была требуемая цена.

Таковы были мысли, пронесшиеся в голове Лизбеты в то время, как сильный фламандский ломовик вез сани, не изменяя неторопливого шага и на гладком, и на неровном льду. И все это время Монтальво, сидя позади нее, продолжал занимать ее разговорами на разные темы, рассказывая то об апельсиновых рощах Испании, то о дворе императора Карла, то о приключениях во время французской войны и о многих других вещах. На все это Лизбета отвечала не более, чем требовала от нее вежливость. Она думала про себя: что скажут Дирк и Питер ван де Верф, мнением которых она дорожила, и все лейденские сплетники? Она только молила Бога, чтобы ее отсутствие осталось незамеченным или чтобы подумали, будто она

уехала прямо домой.

Однако ей скоро пришлось отказаться от этой надежды: они повстречались с молодым человеком, шедшим по покрытому снегом полю и несшим коньки в руках, и Лизбета узнала в нем одного из товарищей Дирка. Он стал перед санями, так что лошадь остановилась сама собой.

— Ювфроу Лизбета ван Хаут здесь? — спросил он озабоченным тоном.

— Да, — отвечала она, но прежде чем она могла сказать что-нибудь дальше, Монтальво перебил ее, спросив, что случилось.

— Ничего, — ответил молодой человек, — только ювфроу исчезла, и друг мой Дирк ван Гоорль попросил меня поискать ее здесь, между тем как сам он ищет ее в другой стороне.

— В самом деле? В таком случае вы, милостивый государь, может быть, найдете господина ван Гоорля и передадите ему, что сеньорита, его кузина, просто поехала покататься и вернется домой через час здоровой и невредимой, а вместе с ней приеду и я, граф Хуан де Монтальво, которого сеньорита почтила приглашением на ужин.

Прежде чем изумленный посланец собрался с ответом, а Лизбета могла дать какое-нибудь объяснение, Монтальво стегнул коня и промчался мимо молодого человека, стоявшего совершенно растерянным с шапкой в руке, почесывая затылок.

После этого они продолжали поездку, показавшуюся Лизбете бесконечной. Объехав всю крепость кругом, Монтальво остановился у одних из запертых ворот и, вызвав караул, приказал отпереть. Произошло замешательство, так как сначала сержант, командовавший караулом, не поверил, что его действительно вызывает сам комендант.

— Простите, ваше сиятельство, — сказал он, осветив фонарем лицо графа, — но я никак не думал, что вы сделаете объезд с молодой дамой в санях.

Подняв фонарь, сержант пристально взглянул на Лизбету и, узнав ее, не скрыл насмешливой улыбки.

— Весельчак наш капитан, большой весельчак, и хорошенькую голландскую индюшку он учит теперь петь, — донеслось до Лизбеты его замечание, обращенное к товарищу, когда они вдвоем запирали тяжелые ворота.

Затем граф проверил еще несколько караульных постов, и везде были такие же объяснения. За все это время граф Монтальво не произнес ни одного слова кроме обычных комплиментов и не позволил себе никакой фамильярности, сохраняя в разговоре и манерах полную вежливость и

почтительность. Все пока, кажется, шло удовлетворительно, однако настала минута, когда Лизбета почувствовала, что она не в силах дольше переносить такое положение.

— Сеньор, — сказала она коротко, — отвезите меня домой, мне дурно…

— Вероятно, от голода, — объяснил Монтальво. — И я страшно проголодался. Но, дорогая ювфроу, вы сами знаете, долг прежде всего, и, в конце концов, вы не без пользы сопровождали меня в моем вечернем объезде. Я знаю, ваши соотечественники дурно отзываются о нас, испанских солдатах, но я надеюсь, что теперь вы можете засвидетельствовать их дисциплинированность. Хотя сегодня день праздника, однако, как вы сами убедились, мы нашли всех на своих местах и не видели ни одного выпившего.

— Эй ты! — обратился он к одному из солдат, отдававшему ему честь. — Ступай за мной к дому ювфроу Лизбеты ван Хаут, где я буду ужинать, и доставь сани ко мне на квартиру.

III. Монтальво выигрывает

Повернув на Брее-страат, — тогда, так же как и теперь, самую красивую из лейденских улиц, — Монтальво остановил лошадь перед большим домом с тремя выступами под круглыми крышами, из которых средний, над главным входом, был украшен двумя окнами с балконами. Это был дом Лизбеты, оставленный ей отцом, где она должна была жить, пока ей не вздумается выйти замуж, со своей теткой Кларой ван Зиль. Солдат взял лошадь под уздцы, а Монтальво, соскочив со своего места, направился помочь даме выйти из саней. В эту минуту Лизбета вся ушла в мысли, как ей убежать, но, даже если бы она решилась на это, возникало препятствие, на которое предусмотрительный кавалер обратил ее внимание.

— Ювфроу ван Хаут, — обратился он к ней, — вы помните, что вы еще в коньках?

Действительно, в своем волнении она забыла об этом обстоятельстве, которое делало бегство невозможным. Не могла же она войти в дом, переваливаясь на вывернутых ногах, как ручной тюлень, которого рыбак Ханс привез с собой с Северного моря. Это было бы слишком смешно, и слуги рассказывали бы всему городу. Лучше уж еще некоторое время переносить общество ненавистного испанца, чем сделаться смешной, пытаясь бежать. Кроме того, если бы даже ей удалось попасть в дом прежде него, разве она могла бы захлопнуть дверь перед его носом?

— Да, — отвечала она односложно, — я позову слугу.

Тут граф в первый раз выказал чисто испанскую, исполненную достоинства, любезность:

— Не дозволяйте наемнику низкого происхождения держать в своих руках ножку, прикоснуться к которой честь для испанского идальго[72]. Я ваш слуга, — сказал он и ждал, преклонив одно колено на покрытой снегом ступеньке.

Делать было нечего, Лизбете пришлось протянуть свою ножку, с которой Монтальво осторожно и ловко снял конек.

«Снявши голову, по волосам не плачут», — подумала Лизбета, протягивая другую ногу.

В эту самую минуту кто-то приотворил дверь за ними.

— Долг… — начал Монтальво, принимаясь за второй конек. Дверь в это время распахнулась настежь, и послышался голос

Дирка ван Гоорля, говорившего довольным тоном:

— Конечно, тетя Клара, это она, и кто-то снимает с нее башмаки…

— Коньки, сеньор, коньки, — перебил его Монтальво, оглядываясь через плечо, и затем добавил шепотом, снова принимаясь за дело:

— Гм… платежом красен. Вы представите меня, не правда ли? Мне кажется, так будет удобнее для вас.

Бегство было невозможно, так как граф держал ее за ногу, и кроме того, инстинкт подсказывал Лизбете, что единственный выход для нее — объяснить все, особенно для любимого ею человека, и она сказала:

— Дирк, кузен Дирк, вы, кажется, знакомы, это… капитан граф Хуан де Монтальво.

— А, сеньор ван Гоорль! — произнес Монтальво, снимая коньки и поднимаясь с колен, которые от избытка вежливости оказались совершенно мокрыми. — Позвольте представить вам здоровой и невредимой прекрасную даму, которую я похитил у вас на минуту.

— На минуту, капитан? — пробормотал Дирк. — С начала забега прошло около четырех часов, и мы немало беспокоились о ней.

— Все объяснится, сеньор, за ужином, на который ювфроу была так любезна пригласить меня, — отвечал граф и вслед за тем тихо повторил напоминание: — Долг платежом красен.

— Вашей кузине своим присутствием удалось спасти жизнь себе подобной, — продолжал он опять вслух, — но, как я уже сказал вам, это длинная история. Позвольте, сеньорита…

И через минуту Лизбета очутилась в зале собственного дома под руку с испанцем, между тем как Дирк, его тетка и несколько гостей покорно следовали за ними.

Теперь Монтальво знал, что затруднение, по крайней мере на этот вечер, устранено, раз он переступил порог дома, как гость.

Наполовину бессознательно Лизбета направила своего кавалера к *sit-kamer* в виде балкона на первом этаже — комнате, соответствующей нашей гостиной. Здесь собралось еще несколько знакомых, так как было решено, что праздник на льду окончится самым роскошным ужином, какой только могла предложить хозяйка дома. Лизбета должна была представить всем своего кавалера, который вежливо раскланялся с каждым из гостей по очереди, после чего ей удалось освободиться. Но проходя мимо него, она явственно видела, как его губы шептали: «долг платежом красен».

Когда Лизбета пришла к себе в комнату, ее негодование и гнев были так велики, что она вся дрожала. Но мало-помалу она овладела собой, и вместе с хладнокровием появилось желание выпутаться как можно более ловко из всей этой истории. Она приказала Грете подать лучшее платье и

надеть себе на шею знаменитое жемчужное ожерелье, купленное ее отцом на востоке и составляющее предмет зависти половины лейденских дам. На голову она надела красивый кружевной убор, подаренный еще на свадьбу ее матери бабушкой, которая сама плела кружево для него. Дополнив свой наряд золотыми украшениями, как было принято у женщин ее круга, она спустилась в приемную.

Между тем Монтальво не терял времени понапрасну. Отведя Дирка в сторону, он, под предлогом необходимости привести в порядок свой костюм, попросил указать ему комнату, где бы он мог заняться своим туалетом. Дирк, хотя и не совсем охотно, исполнил его просьбу. Монтальво держал себя так любезно в эти несколько минут, что, прежде чем они вернулись к гостям, Дирк должен был сознаться себе, что не согласен с молвой, считавшей этого странного испанца «таким же черным, как его усы». Хотя граф еще не успел объясниться с ним, Дирк уже почти уверился, что у Монтальво были какие-то уважительные причины, заставившие его увезти с собой прелестную Лизбету на все время после обеда и на часть вечера.

Правда, еще оставалась невыясненной попытка опрокинуть сани ван де Верфа во время бега, но как знать, не найдется ли объяснения и этому? Это случилось, — если вообще верить, что случилось, — на достаточно большом расстоянии от призового столба, где было мало зрителей, которые видели бы все происходившее. Теперь, когда Дирк стал припоминать, единственной обвинительницей оставалась маленькая девочка, сидевшая в санях, сам же ван де Верф ничего не заявлял.

Вскоре после возвращения молодых людей к гостям доложили, что ужин подан, и наступила минутная тишина. Ее нарушил Монтальво, выступивший вперед и во всеуслышание предложивший свою руку Лизбете.

— Ювфроу, моя спутница во время бега, окажите честь скромному представителю величайшего в мире монарха, — честь, которой, без сомнения, он сам воспользовался бы с радостью.

Таким образом все уладилось, так как, ввиду указания коменданта лейденского гарнизона на его официальное положение, его право первенства перед присутствующими, хотя и именитыми, но, в конце концов, все же не более, чем простыми лейденскими бюргерами не дворянского происхождения, уже не подлежало сомнению.

У Лизбеты, однако, хватило смелости указать на несколько взволнованную седую даму, обмахивавшуюся веером, будто на дворе стоял июль, и целиком поглощенную мыслью о том, окажется ли повар на высоте

ожиданий благородного испанца, и проговорить:

— Моя тетушка!… — но дальше ей не пришлось продолжать, так как Монтальво тотчас же прибавил тихо:

— Конечно, тотчас последует за нами. Меня воспитывали в тех правилах, что наследница дома идет впереди всех прочих, каков бы ни был их возраст.

В это время они уже прошли в дверь, и было бы бесполезно протестовать. Вновь Лизбета почувствовала, что ей остается только покориться ловкому противнику. Еще через минуту они спустились с лестницы, вошли в столовую и очутились рядом во главе стола, на противоположном конце которого сели Дирк ван Гоорль и тетка Лизбеты, Клара ван Зиль, также родственница Дирка.

Пока слуги разносили кушанья, царила тишина, и Монтальво воспользовался ею, чтобы окинуть взглядом комнату, сервировку и гостей. Столовая оказалась красивой комнатой со стенами, выложенными германским дубом и, если не блестяще, то все же достаточно освещенной двумя висячими медными люстрами знаменитой фламандской работы, в каждой из которых горело по двенадцать свечей лучшего сорта. На буфетах стояли такие же медные канделябры. Этот свет дополнялся огнем большого камина, выложенного голубыми изразцами. Отражение огня играло и сверкало на многочисленных серебряных кувшинах и кубках искусной чеканки, украшавших столы и буфеты.

Общество носило такой же характер, как обстановка, — все было красиво и солидно: все, и мужчины и женщины, были люди богатые, получившие свое богатство от отцов или сами нажившие его честной и прибыльной торговлей, которая в то время постепенно сосредоточивалась в руках голландцев.

«Я не ошибся, — подумал Монтальво, рассматривая комнату и находившихся в ней. — Одно ожерелье моей маленькой соседки стоит больше, чем у меня когда-либо бывало в руках, и сервировка чего-нибудь да стоит. Ну, надеюсь, скоро, я получу возможность поближе познакомиться с их ценностью…»

После этого, набожно перекрестившись, граф с аппетитом принялся за ужин, вполне достойный его внимания даже в стране, известной роскошью яств и вин, а также аппетитом их потребителей.

Однако любезный капитан за едой не забыл разговора: напротив, увидав, что его соседка не в разговорчивом настроении, он обратился к другим гостям — мужчинам, касаясь различных подходящих тем. Среди гостей был также и Питер ван де Верф, победитель в беге, и против его

подозрительной, осторожной сдержанности графу пришлось направить огонь всех своих батарей.

Прежде всего он поздравил Питера и очень серьезно пожалел себя так как действительно бег стоил ему такую сумму, которую он едва ли мог бы выплатить. Затем он похвалил серого рысака и спросил, не продается ли он, предлагая как часть уплаты своего вороного.

— Добрый конь, — сказал он, — однако имеет кое-какие пороки которых я не стал бы скрывать, если бы пришлось назначать ему цену. Например, менеер[73] ван де Верф, вы, может быть, заметили, в какое неловкое положение он поставил меня к концу бега? Есть вещи которых он всегда пугается, и в том числе он боится красного плаща. Не знаю, видели ли вы, что на валу около рва вдруг показалась девушка в красной шубе. Лошадь сейчас же шарахнулась в сторону, и можете представить, что я испытал в эту минуту, когда того и ждал, что сани мои опрокинутся, а в них ведь сидела ваша прелестная родственница. Кроме того, я таким образом чуть не лишился всех своих шансов на выигрыш, потому что обыкновенно, испугавшись, вороной начинает упрямиться и не хочет идти дальше.

У Лизбеты захватило дух, когда она услышала это объяснение. И действительно, ей вспомнилось, что возле них показалась девочка в красной шубе и лошадь отшатнулась, как будто в самом деле испугалась. Неужели капитан действительно не намеревался опрокинуть «барсука»?

Между тем ван де Верф отвечал, как всегда не спеша. Он, по-видимому, принимал объяснение Монтальво. По крайней мере, он сказал, что также видел девушку в красном, и выразил удовольствие, что все обошлось благополучно. Что же касается предлагаемой сделки, то он с удовольствием принял бы ее, так как серый, хотя и хороший конь, но стареет, а вороной — одна из самых красивых лошадей, каких ему приходилось видеть. Но тут Монтальво, в действительности не имевший ни малейшего желания расстаться со своим ценным бегуном, по крайней мере на таких условиях, переменил разговор.

Наконец, когда мужчины — а женщины и подавно — насытились, а прекрасные фламандские кубки уже не в первый раз искрились лучшими рейнскими и испанскими винами, Монтальво, воспользовавшись наступившей паузой, встал и заявил, что просит позволения воспользоваться привилегией иностранца между гостями, чтобы предложить тост за своего соперника в сегодняшнем беге Питера ван де Верфа.

Все присутствовавшие с радостью приняли предложение, так как все очень гордились успехом молодого человека и многие выиграли, держа

пари за него. Выражения одобрения еще более усилились, когда испанец начал свою речь с предмета, в котором все присутствовавшие были компетентными судьями, — с красноречивой похвалы выдающимся качествам ужина. Редко ему приходилось, — уверял он всех, и особенно почтенную вдову ван Зиль, кулинарная слава которой, по его словам, долетела до самой Гааги (при этом комплименте вдова вспыхнула и принялась так усердно обмахиваться веером, что опрокинула кубок Дирка, облив его новый камзол брюссельского покроя), — редко приходилось есть столь вкусно приготовленные кушанья и пить такие изысканные вина даже при дворах королей и императоров, папы и его архиепископов.

Затем, переходя к главному предмету своего спича, ван де Верфу, он поднял бокал за него, за его сестру и лошадь, выражаясь самыми подходящими изысканными оборотами, не впадая в преувеличение. Он откровенно признался, что поражение было для него горько, так как все солдаты гарнизона надеялись видеть его победителем и могли держать пари за него на суммы, превышающие их средства. Также, при случае, он во всеуслышание повторил историю девушки в красной шубе. Затем, понизив голос, более спокойным тоном он обратился к «тетушке Кларе» и «дорогому хееру[74] Дирку», говоря, что должен извиниться перед ними обоими за то, что так безрассудно долго задерживал ювфроу Лизбету сегодня после бега. Когда они узнают, в чем дело, они, безусловно, не станут больше порицать его, особенно если он скажет им, что это отступление от общепринятых правил было вызвано желанием спасти человеческую жизнь.

Он рассказал, как тотчас после гонки один из его сержантов разыскал его и сообщил, что задержана женщина, предполагаемая колдунья и еретичка, заподозренная в покушении на убийство и воровство, и просил его по причинам, которыми он не хочет утомлять своих слушателей, немедленно заняться этим делом. Кроме того, — так говорил сержант, — эта женщина, по свидетельству некой Черной Мег, в тот день после обеда обратилась с самыми богохульными и предательскими речами к ювфроу Лизбете ван Хаут.

Конечно, каждый из присутствующих разделит его отвращение к еретикам и предателям — продолжал Монтальво, и тут большинство из гостей, особенно тайные приверженцы новой религии, перекрестились. — Но и еретики имеют право на беспристрастное рассмотрение своего дела. По крайней мере, он лично придерживается такого мнения, и хотя является солдатом по профессии, но от души ненавидит бесполезное пролитие крови.

Большой опыт научил его также недоверчиво относиться к свидетельству доносчиков, имеющих денежные выгоды в уличении обвиняемого. Наконец, ему казалось неудобным, чтобы имя молодой девушки хорошего происхождения было замешано в подобной истории. Как известно из последних эдиктов, ему в таких случаях дана неограниченная власть, и он получил приказание всех подозреваемых в принадлежности к секте анабаптистов или другой форме ереси немедленно отправлять в суды, а в случае поимки бежавших еретиков и удостоверения их личности немедленно казнить их без дальнейшего допроса. При подобных обстоятельствах, боясь, что молодая девушка испугается, если узнает его намерение, а с другой стороны, желая иметь ее свидетельство, он решился прибегнуть к хитрости. Он попросил ее сопровождать его в поездке по небольшому делу, и она любезно согласилась.

— Друзья, — продолжал он все более и более торжественным тоном, — конец моего рассказа короток. Я должен поздравить себя с принятым мною решением, так как при очной ставке с задержанной наша любезная хозяйка клятвенно опровергла выдумку доносчицы. И я, следовательно, мог спасти несчастное, как мне кажется, полоумное существо от неминуемой ужасной смерти. Не правда ли, ювфроу?

Лизбете, опутанной сетями обстоятельств, совершенно не знавшей, что предпринять, оставалось только утвердительно кивнуть головой.

— Мне кажется, что после моего объяснения нарушение общепринятых правил может найти себе извинение, — заключил Монтальво. — И мне остается прибавить только несколько слов: мое положение здесь совершенно особенное. Я — официальное лицо, но, между тем, смело говорю среди друзей, подвергая себя опасности, что кто-нибудь из присутствующих может направить мои слова против меня же. Впрочем, я этого не думаю. Хотя нет в Нидерландах более ревностного католика и более преданного своей родине испанца, чем я, меня обвинили в том, что я выказываю слишком большую симпатию к вашему народу и поступаю слишком мягко с теми, кто навлек на себя неудовольствие святой Церкви. Что касается применения моих прав и правосудия, я согласен сносить подобные обвинения. Но на свете не всегда правда берет верх. Поэтому, хотя я рассказал вам только истину, я должен сказать, что в интересах нашей хозяйки, в моих собственных интересах и в интересах всех сидящих за этим столом лучше было бы не распространяться особенно о подробностях этого происшествия. Пусть оно умрет в этих стенах. Согласны ли вы, друзья?

Побуждаемые одним общим порывом, а также общим, хотя и

бессознательным страхом, все присутствующие, даже осторожный и дальновидный ван де Верф, отвечали в один голос:

— Согласны!

— Друзья! — сказал Монтальво. — Это простое слово дает мне такую же глубокую уверенность, как какая-нибудь торжественная клятва, такую же уверенность, какую дала клятва нашей хозяйки, на основании которой я счел себя вправе отпустить несчастную, хотя в ней подозревали бежавшую еретичку.

Монтальво закончил свою речь вежливым общим поклоном и сел.

— Что за добрый, что за восхитительный человек, — проговорила Клара, обращаясь к Дирку среди шума поднявшихся разговоров.

— Да, только…

— Какая наблюдательность и какой вкус! Ты слышал, что он сказал о нашем ужине?…

— Слышал что-то мельком.

— Правда, все говорят, что мой тушенный в молоке каплун, какой у нас был сегодня… Что это с твоим камзолом? Ты раздражаешь меня, не переставая тереть его…

— Ты облила его красным вином, вот и все, — недовольным тоном отвечал Дирк, — он испорчен.

— Не велика потеря: по правде говоря, Дирк, я не видала камзола, хуже сшитого. Вам, молодым людям, следовало бы поучиться одеваться у испанских дворян. Взгляни, например, на его сиятельство графа Монтальво…

— Мне кажется, тетушка, я сегодня уже достаточно слышал об испанцах и капитане Монтальво, — перебил свою родственницу

Дирк, едва сдерживая себя. — Сначала он увозит Лизбету и пропадает с ней целых четыре часа, затем сам напрашивается на ужин и садится с ней на почетный конец стола, предоставляя мне скучать на противоположном конце…

— Ты сердишься и становишься невежлив, — сказала тетка Клара. — Тебе не мешало бы поучиться у испанского идальго и коменданта не только умению одеваться, но и умению держать себя.

Почтенная дама при этих словах поднялась, обращаясь к Лизбете:

— Если ты закончила, Лизбета, пойдем, а наши гости еще займутся вином.

Когда дамы удалились, в столовой стало еще оживленнее.

В те времена почти все пили очень много спиртных напитков, по крайней мере на праздниках, и этот вечер не составлял исключения. Даже

Монтальво, чувствовавший, что выиграл игру, и поэтому несколько успокоившийся, не отставал от других, и по мере того как кубок осушался за кубком, становился все разговорчивее. Но он был настолько хитер, что даже тут остался верен своему плану, и в разговоре выказал такое сочувствие к невзгодам, переживаемым Нидерландами, и такую религиозную терпимость, какие редко можно было встретить в испанце.

Затем разговор перешел к военным вопросам, и Монтальво, подстрекаемый ван де Верфом, который, не в пример прочим, пил немного, стал объяснять, как бы он, если бы был главнокомандующим, стал защищать Лейден от нападения войск, превосходящих численностью его гарнизон. Скоро ван де Верф понял, что граф был искусным офицером, изучившим свое дело, и будучи сам любознательным штатским, начал предлагать своему собеседнику вопрос за вопросом.

— Предположите, — спросил он наконец, — что город погибает от голода, а все еще не взят, так что жителям предстоит или попасть в руки неприятеля, или сжечь самим свои жилища. Что бы вы сделали в таком случае?

— Тогда, менеер, если бы я был обыкновенный человек, я внял бы голосу умирающего от голода населения и сдался.

— А если бы вы были великим человеком?

— Если бы я был великим человеком… Тогда я открыл бы плотины и снова допустил бы морские волны биться о стены Лейдена. Армия не может жить в соленой воде, менеер.

— Но при этом вы потопили бы фермеров и разорили страну на двадцать лет.

— Совершенно верно. Но когда надо спасти зерно, кто думает о спасении соломы?

— Слушаю вас, сеньор. Ваша пословица хороша, хотя мне никогда не приходилось слышать ее.

— Немало хороших вещей идет из Испании, менеер, в том числе и это красное вино. Позвольте выпить еще стакан с вами, и, если не возражаете, я скажу вам: вы — человек, с которым приятно встретится и со стаканом в руке, и с мечом.

— Надеюсь, что вы всегда будете обо мне такого мнения, — отвечал ван де Верф, осушая свой кубок, — встретимся ли мы с вами за столом или на поле битвы.

После этого Питер отправился домой и, прежде чем лечь спать, тщательно записал все, что слышал от испанца о военных диспозициях как атакующих, так и осажденных, а под своими заметками написал пословицу

о зерне и соломе. Не было видимой причины, почему ван де Верфу, простому гражданину, занятому торговлей, пришло в голову сделать это, но он оказался предусмотрительным молодым человеком. Он как будто знал, что может произойти многое, чего никак нельзя предвидеть в данную минуту. Случилось так, что через много лет ему пришлось воспользоваться советами Монтальво. Все, знакомые с историей Нидерландов, знают, как бургомистр Питер ван де Верф спас Лейден от испанцев.

Что касается Дирка ван Гоорля, он добрел до своей квартиры, опираясь на руку дона Хуана де Монтальво.

IV. Три пробуждения

На другое утро после санного бега в Лейдене было три человека, с мыслями которых при их пробуждении небезынтересно познакомиться читателю. Первый из них — Дирк ван Гоорль, которому всегда приходилось рано вставать по своим обязанностям и которого в это утро отчаянная головная боль разбудила как раз в ту минуту, когда часы на городской башне пробили половину пятого. Ничто не оказывает такого неприятного влияния на расположение духа, как пробуждение от сильной головной боли в половине пятого, среди холодного мрака зимнего утра. Однако, лежа и раздумывая, Дирк пришел к убеждению, что его дурное расположение духа происходит не только от головной боли или холода.

Одно за другим ему вспомнились события предыдущего дня. Прежде всего он опоздал ко времени, назначенному для встречи с Лизбетой, что очевидно рассердило ее. Затем появился капитан Монтальво и увез ее, как коршун уносит цыпленка из-под носа у наседки, между тем как он сам, Дирк, осел этакий, даже не нашел слова протеста. После этого, считая себя обязанным держать пари за сани, в которых сидела Лизбета, несмотря на то что ими правил испанец, он проиграл десять флоринов, и это было вовсе не по душе такому расчетливому молодому человеку, как он. Остальное время праздника на льду он провел в поисках Лизбеты, таинственно исчезнувшей с испанцем, причем не только скучал, но еще и беспокоился. Наконец, настал ужин, где опять граф выхватил у него из-под носа Лизбету, предоставив ему стать кавалером тети Клары, которую он не любил, считая за старую дуру, и которая, испортив его новый камзол, в конце концов объявила, что он не умеет одеваться. И это еще не все: Дирк чувствовал, что выпил больше, чем следовало, так как об этом ему докладывала его голова. А в довершение всего он вернулся домой под руку с этим самым испанцем и, ей Богу, на пороге своего дома клялся ему в верной дружбе.

Без сомнения, граф оказался необычайно добрым малым для испанца. Что же касается поступка на бегах, он дал ему вполне удовлетворительное объяснение и принял свое поражение как джентльмен. Что могло быть любезнее и тактичнее упоминания о Питере в его застольной речи? Также и в своем отношении к несчастной Марте, историю которой Дирк знал хорошо, — и это было важнее всего остального, — Монтальво выказал себя терпимым и добрым человеком.

Надо сказать сразу, что Дирк был лютеранин: он был принят в эту

секту два года тому назад[75]. Быть лютеранином в те дни в Нидерландах значило — это едва ли нуждается в объяснении — жить, вечно чувствуя у себя на шее железный ошейник и имея перед глазами колесо или костер. Это обстоятельство заставляло смотреть на религию более серьезно, чем большинство смотрит на нее в нашем столетии. Однако и в то время страшные казни, которыми каралось вероотступничество, не удерживали многих бюргеров и людей низшего класса от поклонения Богу по-своему. Из всех присутствовавших на ужине у Лизбеты большинство, в том числе и Питер ван де Верф, были тайными приверженцами новой веры. Но, оставляя в стороне религиозные соображения, Дирк не мог не пожалеть в душе, что добродушный испанец так красив и что он так умеет ценить красоту лейденских дам, особенно Лизбеты, которая, как ему признался сам Монтальво, произвела на него сильное впечатление. Больше всего Дирк опасался, что подобное восхищение могло оказаться обоюдным. В конце концов, испанский идальго и комендант крепости — лицо незаурядное и, к несчастью Лизбета также была католичка. Дирк любил Лизбету. Он любил ее с терпеливой искренностью, характерной для его национальности и его собственного темперамента. Но, кроме уже упомянутых выше причин, разница религий воздвигала стену между ними. Лизбета, конечно, и не подозревала ничего подобного. Она даже не знала, что Дирк принадлежит к новой вере. Он же без разрешения старейшин своей секты он не мог открыться ей — слишком опасно было вверить молодой девушке жизнь многих людей и их семей.

В этом заключалась причина, почему он, при всей своей преданности Лизбете, даже думая, что она неравнодушна к нему, ни одним словом не намекнул ей на свое чувство и не сватался к ней. Как мог он, лютеранин, предлагать католичке стать его женой, не сказав ей всей правды? А если бы он открыл ей все и она решилась бы рисковать собой, какое право имел он завлекать ее в эти ужасные сети? Предположив даже, что она не изменила бы своей вере, имея на то полное право, он, в свою очередь, обязан был бы стараться обратить ее, а детей их, если бы они появились у них, пришлось бы воспитать в вере отца. Рано или поздно явился бы доносчик — один из тех ужасных доносчиков, тень которых нависала над тысячами нидерландских семей, а за ним офицер, потом монах, судья и, наконец, палач и костер.

Что стало бы в таком случае с Лизбетой? Она могла бы доказать свою невиновность в ереси, если к тому времени действительно не была бы еще виновна в ней, но какова стала бы жизнь любящей женщины, муж и дети которой томились бы в тюрьмах папской инквизиции? В этом заключалась

главная причина, почему Дирк молчал даже в те минуты, когда испытывал сильнейшее искушение заговорить, хотя внутреннее чувство и подсказывало ему, что его молчание истолковывалось иначе — приписывалось избытку осторожности, равнодушию или излишней щепетильности.

Вторым человеком, мысли которого, безусловно, интересны читателю, была Лизбета. У нее хоть и не болела голова (а этим и в ее время часто страдали женщины ее класса), но были другие огорчения, с которыми ей предстояло справиться.

Когда она стала разбираться в них и раздумывать, все они разрешались чувством негодования на Дирка ван Гоорля. Дирк опоздал на свидание, приводя смешное оправдание про остывающий колокол, как будто ей было до этого дело. Результатом была встреча с этой ужасной женщиной, Мартой-Кобылой, затем с Черной Мег, и, наконец, с испанцем. Здесь опять Дирк выказал непростительное равнодушие и недогадливость, допустив Лизбету принять против воли приглашение испанца. Дирк даже высказал свое согласие на это. Затем одно за другим следовали события этого злополучного карнавала — бег, покушение на соперника, кошмар, о котором в продолжение вечера ей постоянно напоминало лицо Монтальво: допрос Марты, ее собственная не преднамеренная, но несомненная ложь, катание наедине с человеком, принудившим ее произнести ложную клятву, появление перед всеми с ним как с добровольно выбранным ею спутником, наконец, ужин, во время которого испанец явился ее кавалером, между тем как простодушная компания гостей ухаживала за ним, как за существом высшего порядка, случайно попавшим в их среду.

Какие намерения были у Монтальво? Без сомнения, Лизбета была в этом уверена, он намеревался показать, что ухаживает за ней, иначе нельзя было истолковать его поступки. И теперь — это было самое ужасное — она в сущности была у него в руках, потому что при желании ему ничего не стоило доказать, что она произнесла ложную клятву. Самая ложь также тяготила Лизбету, хотя и была произнесена с добрым намерением, если только действительно хорошо было спасать фанатичку от ее судьбы.

Без сомнения, испанец был дурной человек, хотя и привлекательный, и поступил дурно, при всем своем умении держать себя и при всех своих блестящих манерах. Но чего можно было ожидать от испанца, преследовавшего свои собственные цели? Дирк один… один он во всем виноват… и не столько своей вчерашней ненаходчивостью, сколько своим поведением вообще. Почему он не устроил так, чтобы обезопасить ее от подобных случаев, на которые всегда рискует наткнуться женщина ее

красоты и положения? Святым известно, что со своей стороны она сделала все, чтобы дать ему случай высказаться. Она дошла до пределов того, что может позволить себе девушка, и ни один Дирк на свете не заставит ее сделать ни одного шага дальше. И что ей так понравилось его глупое лицо? Почему она отказала такому-то и такому-то, все приличным женихам, и стала в такое положение, что молодые люди уже не подходят к ней, как бы подозревая, что она дала слово своему родственнику? Прежде она уверяла себя, что ее привлекает в Дирке что-то такое, что она чувствует, но не видит: скрытое благородство характера, слабо проявляющееся внешне. Но где же оно, это благородство? Без сомнения, настоящий мужчина должен был бы вступиться и не ставить ее в такое ложное положение. Средства к жизни не могли служить препятствием, она не пришла бы к нему с пустыми руками и даже, напротив, принесла бы с собой кое-что. К несчастью, к своей досаде, она продолжала любить его. Если бы не это, она никогда, никогда не сказала бы ему больше ни одного слова.

Последним из наших героев, проснувшимся в это знаменательное утро между девятью и десятью часами, когда Дирк уже успел два часа просидеть у себя в конторе, а Лизбета — побывать на рынке, был блестящий офицер, граф дон Хуан де Монтальво. Открыв свои темные глаза, он несколько секунд смотрел в потолок, собираясь с мыслями. Затем, сев в постели, он залился хохотом. Вся эта история была слишком потешна, чтоб веселому человеку не посмеяться ей. Этот простофиля Дирк ван Гоорль, взбешенная, но беспомощная Лизбета, надутые крепкоголовые нидерландцы, которых он всех заставил играть в нужной ему тональности, как струны на скрипке, — да, все это было восхитительно.

Как читатель мог уже догадаться, Монтальво не был типичным испанцем — героем романа или историческим лицом. Он не был ни мрачен или сосредоточен, ни особенно мстителен или кровожаден. Напротив, он был веселого характера, без всяких правил, остроумный и добрый малый, за что пользовался всеобщим расположением. Кроме того, он был храбрый, хороший солдат, симпатичный в некотором смысле и, странно сказать, не ханжа. Говоря по правде, в те времена это было редкостью. Его религиозные взгляды так расширились, что в конце концов у него их вовсе не осталось. Поэтому он только изредка поддавался какому-нибудь мимолетному суеверию, вообще же не питал никаких духовных надежд или страхов, что, по его мнению, доставляло ему много преимуществ в жизни. В действительности, если бы того требовали его планы, Монтальво готов был стать кальвинистом, лютеранином, магометанином или даже анабаптистом — смотря по требованиям минуты. Он объяснил бы это тем,

что артисту удобно нарисовать какую угодно картину на чистом полотне.

Между тем эта способность приспосабливаться, это отсутствие убеждений и нравственного чувства, которые должны были бы облегчить графу житейские сношения, были главной причиной его слабости. Судьба сделала его солдатом, и он нес эту судьбу, как нес бы всякую другую. Но по природе он был актер, и изо дня в день он играл в жизни то одну, то другую роль, но никогда не был самим собой, потому что не имел определенного характера. Однако где-то глубоко в душе Монтальво скрывалось что-то постоянное и самостоятельное, и это что-то было и не доброе, и не злое. Оно очень редко проявлялось наружу, рука обстоятельств должна была глубоко погрузиться в душу графа, чтобы извлечь это нечто. Но несомненно, непреклонный, жестокий испанский дух, готовый всем пожертвовать ради того, чтобы спастись или даже выдвинуться, жил в нем. Лизбета видела именно этот дух в глазах Монтальво накануне, когда, не надеясь больше на победу, граф пытался убить своего противника, рискуя быть убитым самому. И не в последний раз она видела эту скрытую черту характера Монтальво — еще два раза ей суждено было натолкнуться на нее и дрожать перед ней.

Хотя Монтальво вообще не любил жестокости, но при случае мог сам быть жесток до крайней степени. Хотя он ценил друзей и желал иметь их, однако мог сделаться самым низким предателем. Без причины он не тронул бы ни одно живое существо, однако, найдя причину достаточной, он мог спокойно обречь на смерть целый город. И при этом ему было бы нелегко: он стал бы сожалеть об обреченных и впоследствии вспоминал бы о них с грустью и даже с участием. Этим он отличался от большинства своих соотечественников и современников, которые сделали бы то же, но гораздо жестче, руководствуясь честными принципами, и впоследствии радовались бы всю жизнь при воспоминании о своем деле.

У Монтальво была одна господствующая страсть: не война и не женщины, но деньги. Однако он любил не сами деньги, так как не был скуп и, будучи игроком, никогда не мог отложить ни гроша, — он любил тратить деньги, сорить ими.

В отличие от многих своих соотечественников, он мало обращал внимания на женщин, даже не любил их общества и увлечение ими считал обузой. Но он любил вызывать их восхищение, так что за неимением лучшего готов был выбиваться из сил, чтобы приобрести себе поклонницу в лице какой-нибудь служанки или рыбной торговки.

Все его усилия были направлены на то, чтобы всюду, где бы он ни показался, затмить в глазах городских красавиц всех остальных, и ради

этого он поддерживал многочисленные любовные интриги, в сущности, вовсе не забавлявшие его. Удовлетворение тщеславия влекло за собой расходы, так как красавицы требовали денег и подарков, ему самому необходимы были наряды, лошади и все прочее, удовлетворяющее самому утонченному вкусу. Знакомых надо было принимать у себя, и притом так, чтобы у них являлось, чувство, что их угощал испанский гранд.

Считаться грандом никогда не обходится дешево: и в наше время не один обедневший пэр знает, какая обуза титул без состояния. Монтальво носил титул — он был дворянин, но единственным его достоянием была башня, выстроенная одним из его воинственных предков в местности, прекрасно приспособленной для целей этого предка — ограбления проезжих во время их пути по узкому ущелью. Когда же путешественники перестали ездить этим путем или каким-то другим причинам разбойничество перестало составлять прибыльный промысел, доходы семьи Монтальво уменьшились и, наконец, совсем иссякли. Таким образом последний представитель древнего рода оказался в положении заурядного военного, но, к несчастью для себя, обладающего разнообразными наклонностями, роковой страстью к игре и неимоверно гордящегося своим происхождением.

Быть может, Хуан де Монтальво сам не отдавал себя ясного отчета в этом, но у него было две цели в жизни: во-первых, удовлетворять все свои капризы и прихоти, а во-вторых, — и эта цель была второстепенной и несколько туманной, — восстановить свое родовое богатство. Обе цели сами по себе были вполне законны, и в те времена, когда можно было с успехом ловить рыбу в мутной воде, а человеку способному и настойчивому нетрудно было добиться блестящего положения, не представлялось причины сомневаться в том, что Монтальво добьется осуществления своих планов. Однако пока ему, несмотря на несколько представившихся случаев, ничего не удалось, хотя Монтальво было уже за тридцать. Причины неудач были различные, но в основании их лежал недостаток постоянства и изобретательности.

Человек, постоянно играющий роль, занимает многих, но не убеждает никого. Монтальво не мог убедить никого. Когда он разговаривал с монахами о тайнах религии, то даже монахи, в те времена большей частью люди недалекие, чувствовали, что присутствуют только при умственном упражнении. Когда он говорил о войне, его слушателям казалось, что в душе он только и думает что о любви. Когда он пел о любви, то особа, к которой он обращал свои речи, инстинктивно чувствовала, что он любит только самого себя, а не ее. И в этом женщины подходили ближе всего к

истине: Монтальво действительно любил только самого себя. Ради самого себя он нуждался в больших деньгах, и целью его жизни стало так или иначе добыть эти деньги.

Но и в шестнадцатом столетии богатство не давалось само собой в руки каждому искателю приключений. Жалованье военные получали маленькое, и не всегда аккуратно, посторонний заработок был редок и быстро тратился. Даже выкуп за одного или двух богатых пленников скоро исчерпывался уплатой таких долгов чести, от которых нельзя было увернуться. Оставалась, конечно, возможность женитьбы. И в такой стране, как Нидерланды, где было много богатых невест, это не представлялось затруднительным для знатного, красивого, любезного испанца. Действительно, настало время, когда Монтальво должен был или жениться, или разориться: его долги, особенно карточные, возросли до громадной суммы, и он не мог ступить шагу, не встретив кредитора. К несчастью для него, многие из этих кредиторов имели доступ к властям, и таким образом произошло, что Монтальво получил извещение о необходимости предотвратить скандал из-за долгов вместе с угрозой, что в противном случае ему придется вернуться в Испанию, куда, правду сказать, его вовсе не тянуло. Одним словом, роковой час расплаты, который он всеми силами старался отдалить, настал, и женитьба, богатая женитьба являлась единственным выходом. Это был грустный итог для человека, имевшего свои причины, чтобы не желать вступать в брак. Но приходилось покориться.

Так случилось, что граф Монтальво, остановив свое внимание на красивой и богатой Лизбете ван Хаут как на единственной подходящей ему партии в Лейдене, пригласил молодую девушку в свои сани во время бега и очень старался быть приятным гостем в ее доме.

Пока все шло удачно, и более того, начало охоты было даже занимательным. Местное же общество после того, как Лизбета приняла приглашение быть его дамой во время бега и потом так долго каталась с ним наедине в лунную ночь, что, без сомнения, составляло теперь предмет бесконечных сплетен, было вполне подготовлено ко всякого рода вниманию, какое графу вздумалось бы оказать ей. И почему ему не поухаживать за девушкой свободной, по происхождению стоявшей ниже, но по богатству выше его? Правда, он знал, что ее имя соединялось с именем Дирка ван Гоорля. Он знал также, что молодые люди привязаны друг к другу, так как возвращаясь прошлой ночью, Дирк, может быть, имея на то причины, почтил его конфиденциальным полупризнанием. Но какое ему до этого дело, если они еще не помолвлены? А если б даже были

помолвлены, то и тогда, разве не все равно? Но все же Дирк ван Гоорль являлся препятствием и, несмотря на то что он казался добрым малым и Монтальво было жаль его, необходимо было убрать его с дороги. Граф был убежден, что Лизбета — одно из тех упорных созданий, которые отказались бы от брака с ним, пока молодой лейденец не исчезнет с горизонта. А между тем Монтальво не желал дуэли хотя бы потому, что в дуэли всегда может произойти какая-нибудь неожиданность, а это был бы плохой исход. Точно так же не желал он быть замешанным в убийстве: во-первых, потому, что ему чрезвычайно неприятна была сама мысль об убийстве кого-либо без крайней на то необходимости, а во-вторых, потому, что убийство — не лучший путь, чтобы решить свои проблемы. Кроме того, нельзя было заранее предсказать, как взглянут власти на исчезновение молодого нидерландца почтенной фамилии.

Надо было подумать о другом средстве. Если этот молодой человек умрет, нельзя заранее сказать, как Лизбета отнесется к его смерти. Ей, может, вдруг вздумается отказаться от замужества или оплакивать своего жениха лет пять. Оба решения оказались бы одинаково невыгодными для планов Монтальво. А между тем, пока Дирк жив, есть ли возможность заставить Лизбету перенести на другого ее расположение? Таким образом, получалось, что Дирку необходимо умереть. С четверть часа Монтальво раздумывал над этим вопросом и, наконец, когда он уже готов был предоставить все дело случаю, в его голове блеснула блестящая, гениальная мысль.

Дирк не умрет, он будет жить, но его жизнь будет куплена ценою руки Лизбеты ван Хаут. Если она любит Дирка только вполовину того, как предполагает Монтальво, то, вероятно, согласится выйти замуж за кого угодно ради спасения дорогой головы: ведь девять десятых женщин способны на такой сентиментальный идиотизм. Кроме того, этот план имел и другие хорошие стороны, он был выгоден для всех. Дирк спасется от смерти, за что должен быть благодарен. Лизбета, кроме чести союза с графом, хотя, быть может, и временного, будет чувствовать небесное сияние добродетели, происходящее из сознания, что она сделала нечто весьма прекрасное и трагическое. Между тем как сам Монтальво, благодаря которому все получат такие выгоды, также воспользуется кое-чем.

Затруднение было в одном: как создать такое положение вещей? Как поставить Дирка в такое безвыходное положение, чтобы Лизбета проявила свое благородство ради его спасения? Вот если бы Дирк был еретиком! А не окажется ли он им и в самом деле? Трудно себе представить фигуру,

более подходящую для роли еретика: плосколицый, с манерами святоши и носящий темные чулки. Монтальво заметил, что все еретики, мужчины и женщины, носили чулки темного цвета, может быть, имея в виду умерщвление плоти. Одно только несколько противоречило предположению Монтальво: молодой человек пил слишком много за ужином накануне. Впрочем, и между еретиками попадались такие, которые не прочь были выпить. И лучшие люди иногда спотыкаются. Еще старый монах-кастилец, учивший графа латыни, говорил: «Humanum est» etc[76].

Таким образом, размышления Монтальво сводились к следующему: для того чтобы выпутаться из затруднительного положения, необходимо, во-первых, чтобы Лизбета ван Хаут через три месяца стала его женой. Во-вторых, если окажется невозможным устранить с дороги Дирка ван Гоорля, отбив у него привязанность молодой девушки или возбудив ее ревность (вопрос: возможно ли заставить женщину так приревновать этого пентюха, чтобы она с досады решилась выйти за другого?), надо принять более суровые меры. В-третьих, эти более суровые меры должны состоять в том, чтобы принудить Лизбету спасти ее возлюбленного от костра, соединившись браком с человеком, ради нее вошедшим в сделку со своей совестью и подстроившим это спасение. В-четвертых, самый лучший способ приведения всего этого в исполнение — доказать, что возлюбленный — еретик, а если, к несчастью, этого нельзя будет доказать, то все же выставить его еретиком. И в-пятых, пока как можно чаще видеться с менеером ван Гоорлем, потому что, вообще, при существующих обстоятельствах, сближение необходимо, а кроме того, у него при случае можно и денег перехватить.

Розыски еретиков тоже стоят денег, так как придется прибегнуть к услугам шпионов. Само собой разумеется, что друг Дирк, голландский каплун, должен сам доставить масло, на котором его станут жарить. И Монтальво закончил свое размышление так же, как начал его, громким раскатом смеха, после чего он встал и принялся за вкусный завтрак.

Был уже шестой час пополудни, когда капитан и исполняющий должность коменданта Монтальво вернулся со службы домой. Надо сказать, что он был усердный и дельный служака. Его встретил солдат-денщик, выбранный им за молчаливость и скрытность, ожидая приказаний.

— Женщина здесь? — спросил Монтальво.

— Здесь, ваше сиятельство, хоть и нелегко ее было доставить сюда: я застал ее в постели, больной.

— Какое мне дело, что было трудно? Где она?

— В вашей комнате, ваше сиятельство!

— Хорошо. Смотри, чтоб никто не помешал нам, а когда она выйдет отсюда, следи за ней, пока она не дойдет до дома.

Солдат снова взял под козырек, а Монтальво вошел в комнату, тщательно заперев дверь за собой. Комната была не освещена, но через большое сводчатое окно лился яркий лунный свет, и при нем Монтальво увидел сидящую на стуле с прямой спинкой темную закутанную фигуру. Было что-то странное, почти сверхъестественное в этой фигуре, сидевшей в молчаливом ожидании. Она напомнила ему — иногда фантазия его разыгрывалась совершенно некстати — хищную птицу, сидящую на обрубке высохшего дерева в ожидании рассвета, когда она собирается слететь на ожидающую ее добычу.

— Это ты, тетушка Мег? — спросил он совершенно серьезно. — Совсем как в старое время, в Халле, не правда ли?

Освещенная луной фигура повернула голову. Монтальво увидел, как свет отразился на белках ее глаз.



— Кто же как не я, ваше сиятельство, — отвечал охрипший от простуды голос, напоминавший карканье ворона, — хотя, правду сказать, не вашими молитвами жива. Крепкое надо иметь здоровье, чтобы не захворать, выкупавшись в проруби.

— Не ворчи: мне некогда слушать твою воркотню. Что тебя выкупали вчера, так поделом, за твою проклятую недогадливость. Разве ты не видела, что я веду свою линию, а ты портишь мне все. Я сделался бы посмешищем для своих людей, если б стал слушать, как ты предостерегаешь меня против девицы, расположение которой я желаю сохранить.

— У вас всегда ведется какая-нибудь игра, ваше сиятельство, только если она кончается тем, что тетку Мег сначала ограбили, а потом чуть не потопили подо льдом, то тетка Мег этого не забывает.

— Не у тебя одной есть память. Какая тебе была назначена награда? Двенадцать флоринов? Получишь их, и еще пять вдобавок — это хорошая плата за нырок в холодную воду. Будет с тебя?

— Нет, ваше сиятельство, мне нужна была жизнь этой еретички. Мне надо было видеть, как она будет жариться на костре, или топтать ее ногами, когда бы ее стали зарывать в землю. Я гонюсь за этой женщиной, зная, — в ее голосе слышалась ярость, — что, если я не убью ее, она постарается убить меня. Ее мужа и сына сожгли потому, что я показала на них, а она уж третий раз уходит от меня.

— Потерпи, потерпи, в конце концов все устроится. Ты словила двух: самого папеньку и его наследника. И нечего ворчать, что маменька не сразу дается тебе в руки и недолюбливает тебя. Теперь слушай. Ты знаешь девицу, которой мне надо было угодить вчера. Она богата?

— Да, я знаю ее и знала ее отца. Он оставил ей полный дом, много брильянтов и тридцать тысяч крон[77], помещенных под хорошие проценты. Хорошее приданое. Только получит его Дирк ван Гоорль, а не вы.

— Вот в том-то и дело. Что ты знаешь о Дирке ван Гоорле?

— Почтенный, работящий бюргер, сын зажиточных родителей, медников из Алкмара. Он честен, не особенно умен. Он из тех людей, что богатеют, становятся бургомистрами, основывают приюты для бедных, а после смерти им ставят памятники.

— Ты отупела от холодной ванны. Когда я спрашиваю тебя о человеке, я хочу знать, что тебе известно против него.

— Понимаю, ваше сиятельство, только про этого ничего не скажешь. Ни любовных дел за ним нет, ни играет он, ни пьет, разве что стаканчик после обеда. Весь день он работает у себя в конторе, ложится рано, встает рано, а в воскресенье ходит к ювфроу ван Хаут. Вот и все.

— В какой церкви он бывает?

— Раз в неделю в соборе, но не причащается и не ходит к исповеди.

— Это плохо, очень плохо. Ведь ты не хочешь сказать этим, что он еретик?

— Очень вероятно, здесь их развелось много.

— Ужасно! Знаешь ли, мне бы не хотелось, чтобы эта прекрасная девушка, хорошая католичка, как мы с тобой, сблизилась с еретиком, который может подвергнуть ее разным опасностям. Кто может дотронуться до смолы и не запачкаться?

— Вы тратите попусту время, ваше сиятельство, — ответила посетительница с усмешкой. — Что вам от меня надо?

— В интересах этой девушки мне надо доказать, что этот человек еретик, и мне пришло на ум, что ты, как особа, привычная к таким делам, можешь найти подходящие улики.

— Да, ваше сиятельство. А не приходило вам в голову, на что будет похоже мое лицо, если я ради вашей забавы всуну свою голову в осиное гнездо? Знаете ли, что ждет меня, если я стану подглядывать за лейденскими еретиками? Они убьют меня. Их много, и все люди решительные: пока их не трогаешь, они тебя тоже не тронут, но только коснись их, и прощай. Мне хорошо известны законы о Церкви и императоре, но император не может сжечь целый народ, и как я ни ненавижу их, все же я должна сказать… — она вскочила и продолжала страстным, убежденным голосом — что в конце концов и законам, и монахам придется уступить. Да, эти голландцы перебьют всех священников и перережут вас, испанцев. Тех же, которые останутся в живых, вытолкают в шею. Они станут плевать при воспоминании о вас и будут служить Богу по-своему. Они сделаются гордым, свободным народом, а вы, как собаки, станете глодать кости, оставшиеся от вашего прежнего величия: вас загонят в вашу конуру и вы — околеете в ней!… Вот что я скажу вам, — закончила Мег изменившимся голосом, опускаясь на стул. — Я слышала, как Марта-Кобыла, этот дьявол, говорила так на катке, и мне кажется, что ее слова сбудутся, вот почему я так запомнила их.

— Кажется, действительно, госпожа Кобыла более интересная особа, чем я думал, и если она говорит такие речи, то следовало бы утопить ее. А пока оставим пророчества: пусть наши потомки выпутываются как хотят, мы же приступим к делу. Сколько тебе надо за показания, которых было бы достаточно, чтобы уличить ван Гоорля?

— Пятьсот флоринов, ни одним стивером[78] меньше, ваше сиятельство, и не тратьте время попусту, торгуясь со мной. Вам нужны веские улики, улики, которые могли бы удовлетворить Совет или того, кому будет поручено рассмотрение дела. А это значит, что надо доставить двух надежных свидетелей. Говорю вам, дело нелегкое подобраться к этим еретикам. Для честного человека, который возьмется за это дело, в нем

много опасного: еретики — народ отчаянный, и если они заметят, что за ними кто-то подсматривает, когда они справляют свою дьявольскую службу, то не задумаются убить этого человека.

— Все это я знаю, тетушка. Чего ты разглагольствуешь! Ведь для тебя это дело привычное. Вот тебе сказ: получишь деньги, когда добудешь улики. А теперь, если мы с тобой будем оставаться здесь долго, пойдут толки… Кто тут спрячется от сплетников? Так прощай же, тетушка, спокойной ночи!

Он повернулся, собираясь выйти из комнаты.

— Нет, ваше сиятельство, как же так, без задатка, — закаркала она с негодованием. — Я не могу работать только за ваше слово.

— Сколько? — спросил он.

— Сто флоринов чистоганом.

Несколько минут они ожесточенно торговались, близко нагнувшись друг к другу в полосе лунных лучей, и лица их имели такое отвратительное выражение, так ясно был написан на них злодейский замысел, что при этом слабом свете их можно было принять за выходцев из преисподней, торгующихся из-за человеческой души. Наконец они сошлись на пятидесяти флоринах и, получив задаток на руки, Черная Мег удалилась.

— Всего шестьдесят семь, — ворчала Мег, выходя на улицу. — Нечего было требовать больше, ведь у него нет денег, он беден, как Лазарь[79], а жить желает богачом. К тому же, как говорили в Гааге, еще играет. Да и в прошлом его не все чисто, я кое-что слыхала про это. Надо разнюхать, быть может, удастся узнать кое-что из пачки бумаг, которую я стянула из его письменного стола, пока дожидалась, — она ощупала, действительно ли бумага у нее за пазухой, — хотя очень может оказаться, что это только неоплаченные счета. Ну, мой любезный капитан, прежде чем ты развяжешься с Черной Мег, она покажет тебе, как платят горячей ванной за холодную.

V. Сон Дирка

На следующий день после свидания Монтальво с Черной Мег Дирк получил послание, принесенное денщиком, с напоминанием об обещании пообедать с графом в этот вечер. Дирк не помнил, чтобы он давал подобное обещание, но вспомнив со стыдом, что многое из случившегося за ужином весьма неясно у него в памяти, он решил, что и обещание относится к числу этих вещей.

И таким образом Дирку, против воли, пришлось отвечать, что в условленный час он будет у графа.

Это было уже третье, что раздосадовало Дирка в тот день. Во-первых, он встретил Питера ван де Верфа, который сообщил ему, что весь Лейден толкует о Лизбете и капитане Монтальво, который, говорят, ей очень нравится. Потом, когда Дирк отправился к Лизбете ван Хаут, ему сказали, что она поехала кататься в санях с теткой, чему он не поверил, так как наступила оттепель и испортила дорогу. Он мог бы еще усомниться в своем предположении, если бы, переходя через дорогу, не увидал красивого лица тетушки Клары, выглядывавшего из-за гардин верхнего этажа. Он так и сказал Грете, отворившей ему дверь.

— Очень жаль, если менееру чудятся вещи, которых нет, — невозмутимо заявила служанка. — Я уже сказала менееру, что барышня и тетушка уехали кататься.

— Знаю, Грета, только что им за охота кататься в такую слякоть?

— Не знаю, менеер. Они делают, что им вздумается. Не мое дело спрашивать, почему им так угодно.

Дирк посмотрел на Грету и убедился, что она лжет. Опустив руку в карман, он, к своей досаде, заметил, что забыл кошелек. Тогда ему пришла было мысль поцеловать девушку и таким образом вытянуть у нее правду, но, подумав, что она может рассказать это Лизбете и испортить все дело, он покорился своей участи и, ограничившись словами: «В самом деле!», ушел.

— Глупый! — рассуждала про себя Грета, глядя ему вслед. — Он знал, что я лгу, почему же он прямо не вошел, отстранив меня? Ах, менеер Дирк, смотрите, как бы этот испанец не выхватил у вас дичь из-под носу. Конечно, он гораздо интереснее вас. Надоели мне эти лапчатые лейденцы, которые не решаются даже осла позвать, боясь, как бы он не закричал. Между такими святыми приятно, ради разнообразия, встретить человека позлее.

После этого Грета, у которой, как у уроженки Брюсселя, в жилах текла французская кровь, пошла наверх доложить своей госпоже о происшедшем.

— Я не просила тебя говорить неправду, будто я уехала кататься. Я приказала только ответить, что меня нет дома, и прошу передать то же капитану Монтальво, если он придет, — сказала Лизбета с некоторым раздражением, отпуская Грету.

В действительности ей было грустно, досадно и совестно перед собой за это. Все так не ладится, а несноснее Дирка нет человека на этом свете. Из-за его недогадливости и неповоротливости теперь ее имя произносится вместе с именем Монтальво за всеми столами Лейдена. И вдруг еще ко всему она узнает из записки, присланной Монтальво с извинением, что он не сделал ей визита после вчерашнего ужина, будто Дирк обедает с ним сегодня. Отлично, пускай себе! Она сумеет отплатить ему и готова действовать сообразно его поступкам.

Так думала Лизбета, в досаде топая ножкой. На душе же у нее было тяжело. Она очень хорошо сознавала, что любит Дирка, и, как ни странна была его сдержанность, видела, что он любит ее. А между тем она чувствовала, что их как будто разделяет широкая река. Сначала это был ручеек, но теперь он превратился в поток. И что хуже всего, испанец был на одном берегу с ней.

Несколько преодолев свою досаду и застенчивость, Дирк заметил, что ему очень приятно обедать у Монтальво. Кроме него было еще трое гостей: два испанских офицера и один голландец, сверстник Дирка по годам и положению, по фамилии Брант. Его отец был почтенным и богатым золотых дел мастером из Гааги, отправившим сына в Лейден, чтобы тот изучил некоторые секреты у одного из ювелиров, знаменитого изяществом своих произведений. Обед и сервировка были безукоризненны. Но лучше всего оказалась беседа, ведшаяся в таком тоне, какого Дирк никогда не слыхал за столом у людей своего класса. Нельзя сказать, чтобы разговор был особенно свободный, нет, но это был разговор очень образованных людей, много путешествовавших, видевших многое и лично принимавших участие во многих трагических событиях времени, — людей, не зараженных религиозными предрассудками и старавшихся прежде всего сделать свое общество приятным и полезным для гостя. Хеер Брант, недавно приехавший из Гааги, оказался умным и воспитанным человеком, получившим более глубокое образование, чем большинство людей его круга, и привыкшим встречаться за столом своего отца, гаагского бургомистра, с людьми самых различных классов и состояний. Там же он познакомился и с Монтальво, который теперь, встретившись с ним на

улице, пригласил его к обеду.

Когда убрали со стола, один из испанских офицеров поднялся, прося извинить его, так как ему необходимо было уйти по делам службы.

После его ухода Монтальво предложил сыграть партию в кости. Дирку хотелось бы отказаться, но он не решился, боясь показаться смешным в глазах блестящих светских людей.

Игра началась и, так как она оказалась очень незамысловатой, Дирк скоро усвоил все ее приемы и даже стал находить в ней удовольствие. Сначала ставки были невысокие, но постепенно они удваивались. Наконец Дирк заметил с удивлением, что он ставит значительные суммы и выигрывает. Потом счастье несколько изменило ему, но, когда игра закончилась, он оказался в выигрыше на триста пятьдесят флоринов.

— Что мне с ними делать? — спросил он, видя, как проигравшие с весьма понятными вздохами подвигают ему деньги.

— Что делать? — со смехом переспросил Монтальво. — Вот так младенец! Ну, купите вашей или чужой даме сердца подарок. Нет, я вам посоветую лучшее употребление: угостите нас завтра у себя самым изысканным обедом, какой можно изготовить в Лейдене, а потом дайте случай вернуть часть нашего проигрыша. Идет?

— Если вам будет угодно, господа, — скромно согласился Дирк. — Хотя мой дом недостоин такого общества.

— Конечно, угодно! — в один голос заявили все трое, и, назначив час встречи, собеседники разошлись. Брант дошел с Дирком до порога его дома.

— Я собирался к вам завтра, — сказал он, — с рекомендательным письмом от отца, хотя вряд ли в нем была нужда. Ведь мы троюродные братья: наши матери были двоюродными сестрами.

— Да, правда. Мать часто говорила о сестре из Гааги, которой очень гордилась, хотя почти не знала ее. Очень рад, надеюсь, мы подружимся.

— Уверен, что так, — отвечал Брант и, взяв Дирка за руку, пожал ее особенным образом, так что Дирк вздрогнул и оглянулся.

— Тихо! — продолжал Брант. — Не здесь! — и они продолжали разговор о знакомых», с которыми только что расстались, и о сегодняшней игре, причем Дирк высказал сомнение о бесполезности подобного развлечения.

Молодой Брант пожал плечами.

— Мы живем в мире, — сказал он, — поэтому должны научиться понимать мирское. Если, рискуя несколькими золотыми, потеря которых не разорит нас, мы получаем возможность лучше познакомиться со светом, то

я готов пожертвовать деньгами, особенно если это поможет нам наладить хорошие отношения с теми, с кем при существующих обстоятельствах благоразумие велит вести дружбу. Только, если вы позволите мне сказать вам это, не пейте больше, чем можете переносить. Лучше проиграть тысячу флоринов, чем обронить одно слово, которое не в состоянии будешь потом припомнить.

— Знаю, знаю, — отвечал Дирк, вспомнив об ужине у Лизбеты, и простился с Брантом у дверей своей квартиры.

Подобно большинству голландцев, Дирк, задумав сделать что-нибудь, стараться сделать это как можно лучше. Теперь, обещав дать обед, он желал дать вполне хороший обед. При обычных условиях он, конечно, прежде всего посоветовался бы с кузиной Лизбетой и тетушкой Кларой. Но после истории с катанием, чистейшей выдумкой, как удостоверился Дирк, расспросив кучера, которого встретил случайно, самолюбивому молодому человеку не хотелось идти к своим родственницам. Поэтому он сначала обратился к своей квартирной хозяйке, почтенной даме, а потом, по ее совету, к хозяину лучшей гостиницы в Лейдене, человеку находчивому и опытному. Хозяин гостиницы, зная, что такой заказчик заплатит хорошо, охотно взялся за дело, и к пяти часам следующего дня целый отряд поваров и других слуг взбирался на лестницу квартиры Дирка, неся всевозможные кушанья, способные, как предполагалось, возбудить своим видом аппетит высокопоставленных гостей.

Квартира Дирка состояла из двух комнат на втором этаже старого дома на улице, переставшей считаться аристократической. Некогда это был роскошный дом и, по понятиям того времени, комнаты были красивы, особенно гостиная — низкая, большая, обитая дубом, с изящным камином, украшенным гербом владельца, выстроившего дом. Прямо из нее дверь вела в спальню, не имевшую другого выхода, также обитую дубом, с высокими стенными шкафами и великолепной резной кроватью, по виду несколько напоминавшей катафалк.

В назначенный час явились гости. Празднество началось, повара засуетились, ставя перемены кушаний, изготовленных в гостинице. Над столом спускалась люстра из шести подсвечников, в каждом из которых оплывала сальная свеча, освещая сидевших за столом, но оставляя прочую часть комнаты в большей или меньшей темноте. К концу ужина часть обгоревшей свечи упала в медный соусник, стоявший под люстрой, и жир загорелся. При свете внезапно вспыхнувшего пламени Монтальво, сидевшему напротив двери и случайно поднявшему глаза, показалось, будто вдоль стены в спальню скользнула темная фигура. Одну только

секунду капитан видел ее, затем она исчезла.

— Caramba![80] Друг мой, — обратился он к Дирку, сидевшему к фигуре спиной, — в вашей мрачной квартире, кажется, водятся приведения? Мне почудилось, будто сейчас одно скользнуло мимо нас.

— Привидения? — отвечал Дирк. — Не слыхал. Я не верю в привидения. Не угодно ли еще паштета?

Монтальво взял еще паштета и запил стаканом вина. Он не продолжал разговора о приведениях: быть может, ему пришло в голову объяснение виденного. Как бы то ни было, он не сказал ничего больше.

После обеда стали играть, и на этот раз ставки начались с той суммы, на какой остановились накануне. Сначала Дирк проигрывал, но потом счастье вернулось к нему, и он стал выигрывать.

— Друг мой, — воскликнул наконец капитан, бросая кости, — вы, без сомнения, обречены на несчастье в супружеской жизни, потому что дьявол сидит в вашем игорном стакане, а его высочество всего не даст одному человеку. Я — пас! — И он встал.

— И я тоже, — заявил Дирк, следуя за ним к окну и не желая брать больше денег. — Вам очень не везло, граф, — сказал он.

— Да, — отвечал Монтальво, зевая, — мне теперь целых шесть месяцев придется жить… воспоминанием о вашем прекрасном обеде.

— Все очень досадно, — сконфужено проговорил Дирк, — мне не хотелось бы брать ваших денег. Проклятые кости сыграли со мной такую шутку. Не станем больше говорить об этом.

— Офицер и дворянин не может так относиться к долгу чести, — сказал Монтальво, вдруг став серьезным. — Но, — прибавил он с коротким внезапным смехом, — если другой дворянин будет настолько добр, что согласится покрыть долг чести другим долгом чести, то дело примет иной оборот. Если бы, например, вы могли одолжить мне четыреста флоринов, которые вместе с проигранными мною шестьюстами составят тысячу, то это было бы очень кстати для меня. Только, прошу вас, если это почему-либо неудобно для вас, забудьте о моих словах.

— Я здесь, за своим собственным столом, выиграл такую сумму, — отвечал Дирк, — и прошу вас взять ее.

Собрав стопку золота, он пересчитал ее на ладони с ловкостью купца и протянул деньги Монтальво.

Монтальво колебался, но затем взял золотые и небрежно опустил их в карман.

— Вы не пересчитали, — заметил Дирк.

— Совершенно излишне, — отвечал его гость, — ваше слово лучшее

ручательство. — Он снова зевнул, сказав, что уже поздно.

Дирк подождал несколько секунд, думая в своей простоте делового человека, что благородный испанец упомянет о каком-нибудь письменном обязательстве. Но видя, что это и в голову не приходит его гостю, он направился к столу, где двое других гостей показывали различные фокусы с картами.

Несколько минут спустя испанцы попрощались, и Дирк остался наедине с Брантом.

— Очень удачный вечер! — сказал Брант. — И вы много выиграли.

— Да, — отвечал Дирк, — и тем не менее я беднее, чем был вчера. Брант засмеялся и спросил:

— Он занял у вас? Я так и знал, и скажу вам: не рассчитывайте на эти деньги. Монтальво по-своему добрый малый, но он взбалмошен и отчаянный игрок. Прошлое его, как мне кажется, тоже не безупречно, по крайне мере, никто не знает о нем ничего, даже его сослуживцы-офицеры. На ваш вопрос они пожимают плечами и говорят, что Испания большой котел, в котором довольно всякой рыбы. Одно я только знаю достоверно: он по уши в долгах. В Гааге у него по этому поводу возникли затруднения. Советую вам больше не играть с ним, а на эти тысячу флоринов не рассчитывать. Для меня тайна, как он перебивается, но мне говорили, что какая-то старая дура из Амстердама снабжала его деньгами, пока не узнала… однако, я начинаю сплетничать. А теперь скажите, — спросил он, изменяя голос, — здесь никого нет, кроме нас?

— Посмотрим, — отвечал Дирк, — со стола убрали, и старая экономка уже приготовила мне постель. Никто не заходит сюда после десяти часов. В чем дело?

Брант дотронулся до его руки, и, поняв прикосновение, Дирк отошел к нише у окна. Здесь, обратившись спиной к комнате и сложив руки на груди особенным образом, он произнес слово «*Иисус*» и остановился. Брант так же сложил руки и отвечал или, скорее, докончил: «*плакал*». Это был пароль последователей новой религии.

— Вы один из наших? — спросил Дирк.

— Я и вся моя семья: отец, мать, сестра и девушка, на которой я женюсь. Мне сказали в Гааге, что от вас или молодого Питера ван де Верфа я получу те сведения, которые нужны нам, последователям веры: кому мы можем и кому не должны доверять, где удобно собираться для молитвы и где мы можем причаститься.

Дирк взял руку родственника и пожал ее. Брант отвечал пожатием, и с этой минуты между молодыми людьми установилось полное доверие, как

между родными братьями, ибо их теперь связывали узы общей горячей веры.

И теперь подобная связь существует между людьми в девяноста случаях из ста, но она не порождает уже такого взаимного доверия. Это зависит от изменившихся обстоятельств. Благодаря в значительной степени Дирку ван Гоорлю и его современникам-последователям, особенно же одному из них, Вильгельму Оранскому[81], набожные и богобоязненные люди уже не принуждены теперь для поклонения Всемогущему в чистом и простом служении прятаться по углам и дырам, подобно скрывающимся от закона злодеям, зная, что если их застанут, то всех вместе с женами и детьми ожидает костер. Теперь тиски для пальцев и всякие орудия пытки, служившие для уличения еретиков, валяются по пыльным шкафам музеев, но несколькими поколениями раньше было совсем иное дело: тогда с человеком, осмелившимся не согласиться с некоторыми учениями, обращались гораздо бесчеловечнее, чем с собакой на столе вивисектора.

Неудивительно поэтому, что те, над которыми тяготело такое проклятие, которые постоянно должны были жить в ожидании подобного исхода, сплачивались теснее, сильнее любили и поддерживали друг друга до последней минуты, часто рука об руку переходя сквозь огненные ворота в ту страну, где нет больше страданий. Быть приверженцем новой религии в Нидерландах в ужасные времена царствования императоров Карла и Филиппа — значило принадлежать к одной обширной семье. Не существовало обращения «*менеер*» или «*мейнфроу*»[82], но только «*батюшка*» и «*матушка*», «*сестра*» или «*брат*», даже между людьми, стоявшими на весьма различных ступенях общества и совершенно чужими между собой — чужими по плоти, но родными по духу.

Понятно, что при подобных обстоятельствах Брант и Дирк, и без того уже почувствовавшие взаимную симпатию и состоявшие в кровном родстве, скоро вполне сошлись и сдружились.

Они сидели в нише окна, рассказывая друг другу о своих семьях, делясь своими надеждами и опасениями и даже открываясь в своей любви. В последнем отношении Хендрику Бранту улыбнулось счастье. Он был женихом единственной дочери богатого гаагского виноторговца, по его рассказам, красавицы, такой же доброй, как богатой. И свадьба их должна была состояться весной. Когда же Дирк сообщил ему о своем деле, Брант покачал своей благоразумной молодой головой.

— Ты говоришь, что и она, и ее тетка католички? — спросил он.

— Да, в этом-то и беда. Мне кажется, я нравлюсь ей, или, по крайней

мере, нравился несколько дней тому назад, — прибавил Дирк грустно. — Но как я, еретик, могу сделать ей предложение, не открывшись? А это, ты сам знаешь, не согласно с правилами, и я не смею нарушить их.

— Не лучше ли тебе посоветоваться с кем-нибудь из старших, кто молитвой и словами мог бы тронуть ее сердце, чтобы свет истины засиял для нее? — спросил Брант.

— Я уже пытался, но тут мешает эта красноносая тетушка Клара, ярая католичка. Да еще служанка Грета, которую я считаю прямо за шпионку. Стоя между ними, Лизбета вряд ли до замужества познает истину. И как я осмелюсь жениться на ней? Смею ли я женитьбой навлечь на нее ту ужасную судьбу, какая, быть может, ожидает нас с тобой? А кроме того, с тех пор как этот Монтальво перешел мне дорогу, между мной и Лизбетой все как-то не ладится. Не далее как вчера она не велела пускать меня к себе.

— У женщин бывают свои фантазии, — медленно отвечал Брант, — может быть, она капризничает и, может быть, сердится на тебя, что ты до сих пор не объяснился; не зная, каков ты, как ей читать у тебя в сердце?

— Может быть, может быть, — сказал Дирк, — но я не знаю, что делать. — И в отчаянии он ударил себя рукой по лбу.

— Что же мешает нам, брат, в таком случае обратиться к тому, кто может научить нас? — спокойно предложил Брант.

Дирк сразу понял, что он хотел сказать.

— Это умная мысль, хорошая мысль! — одобрил он. — У меня есть святая книга: сначала помолимся, а затем поищем в ней мудрости.

— Какой ты счастливый! — воскликнул Брант. — Расскажи мне как-нибудь, каким образом ты достал ее?

— Здесь, в Лейдене, такие книги нетрудно достать, если имеешь, чем заплатить, — отвечал Дирк, а вот что трудно, так это сохранить их в тайне, потому что попасться с Библией в кармане — значит, нести в кармане свой смертный приговор.

Брант кивнул утвердительно головой.

— Ты можешь показать мне ее сейчас? — спросил он.

— Могу, здесь мы, по-видимому, в безопасности: ставни закрыты, дверь мы запрем, если она еще не заперта. Однако кто может считать себя в безопасности в стране, где крысы и мыши разносят новости, а ветер служит свидетелем? Пойдем, я покажу тебе, где храню ее.

Подойдя к камину, Дирк снял один из медных подсвечников с массивной подставкой из опала, украшенной двумя массивными же медными змеями, и зажег свечу. — Нравится тебе эта вещь? Она исполнена по рисунку, который я набросал в свободное время, — спросил он, смотря

на подсвечник с любовью артиста. Затем, не ожидая ответа, он направился к двери в спальню и остановился.

— Что такое? — спросил Брант.

— Мне показалось, что я слышу шум: вероятно, хозяйка ходит у себя наверху.

Они вошли в спальню и, обойдя комнату, чтобы убедиться, что никого нет, Дирк подошел к изголовью массивной дубовой постели, украшенному таким же гербом великолепной резной работы, как и камин в гостиной, и, отодвинув одну из досок, из потайного шкафчика, скрывавшегося в спинке постели, вынул книгу в кожаном переплете. Снова задвинув дверцу тайника, молодые люди вернулись в гостиную и положили книгу на дубовый стол, рядом с подсвечником.

— Прежде всего помолимся, — предложил Брант.

Не странно ли, что этим двум молодым людям, имевшим, без сомнения, каждый свои слабости, — один, как мы видели, мог, например, при случае выпить лишнее, да и другой, вероятно, имел общечеловеческие недостатки, — после веселого обеда и крупной игры пришла мысль помолиться, стоя рядом на коленях, перед тем как приступить к чтению Священного Писания? Но в те времена молитва — теперь столь обычная и столь часто забываемая — была настоящей роскошью. Для этих несчастных, гонимых людей было истинной радостью молить и благодарить Господа тогда, когда они думали, что им не грозит меч тех, кто поклонялся Богу иначе. Религия, исповедовать которую запрещалось, стала для ее последователей жизненным вопросом, отрадой, которой они старались пользоваться при каждом случае, совершая молитву торжественно и с благодарностью в сердце. Так и теперь, при свете оплывающих свечей друзья опустились на колени, и Брант произнес вслух за обоих молитву — трогательное и прекрасное обращение к Богу.

Подлинные слова молитвы имеют мало значения, но важен их смысл: Брант молился о своей Церкви и об освобождении и укреплении своей родины, молился даже об императоре, этом чувственном, жадном, эгоистичном, обезображенном заячьей губой отпрыске Габсбургов. Потом он стал молиться о себе и своем товарище и обо всех, кто был дорог им. Наконец, о том, чтобы Господь просветил Дирка в его теперешнем затруднении. Молитву заключило прошение о прощении всех врагов, даже мучивших и сжигавших последователей другой веры на кострах, ибо они не знают, что творят. Невозможно представить себе людскую молитву, более проникнутую истинным христианским духом.

Когда, наконец, Брант замолк и оба молящиеся поднялись с колен,

Дирк предложил:

— Не раскрыть ли нам Библию и не прочесть ли то место, которое первым бросится в глаза?

— Нет, — отвечал Брант, — это будет похоже на суеверие: так поступали древние с сочинениями поэта Вергилия. Нам же, носителям светоча, неприлично следовать примеру этих слепых язычником. Какую книгу Библии ты изучаешь теперь, брат?

— Первое письмо апостола Павла к коринфянам[83], которое я прежде никогда не читал, — отвечал Дирк.

— Начни же с того места, где остановился, и дочитай главу до конца. Быть может, мы найдем в ней совет. Если нет, то значит, нам не суждено получить ответ сегодня.

Дирк начал читать седьмую главу, в которой великий апостол как раз касается вопроса о браке. Он читал спокойным ровным голосом, пока не дошел до двадцатого и четырех последующих стихов, в последнем из которых говорится: «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится: брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?…»

Голос Дирка задрожал, и он остановился.

— Читай до конца главы, — сказал Брант, и чтец продолжал.

Сзади них послышался какой-то звук. Они не заметили, как дверь спальни чуть-чуть приотворилась, и не видели, как в отверстии мелькнуло что-то белое: женское лицо, обрамленное черными волосами над парой неподвижных злых глаз. Сатана, впервые поднявший голову в раю, наверное, имел такое выражение. Вытянув длинную шею, фигура подалась вперед, но вдруг шорох или движение испугали ее, и она поспешно отодвинулась назад, как испуганная змея, извивающая свой хребет. Дверь снова затворилась.

Глава окончена, молитва прочитана. И недолго, может быть, придется ждать на нее ответа этим нетерпеливым людям, не знающим, что, подобно тому как свет далекой звезды не скоро достигнет нас, так и ответ на молитву, обращенную к Божеству, может прийти не скоро — не сегодня, не завтра. Его может узнать не настоящее поколение и не текущее столетие: молитва может исполниться тогда, когда дети детей тех, чьи уста произносили эту молитву, в свою очередь, уже превратятся в прах. Однако никогда подобная молитва не останется без ответа. Так и нашей

теперешней свободой мы, может быть, обязаны тем, кто уже умер в то время, когда жили Дирк ван Гоорль и Хендрик Брант; так и отмщение, постигшее теперь Испанию, может быть возмездием за те позорные поступки, которые позволяли себе испанцы в давно прошедшие времена. Божество — всегда Божество, подобно тому как звезда — всегда звезда: от первого изливается правосудие, как от второй свет, и для них время и пространство — ничто. Дирк, дочитав главу до конца, закрыл Библию.

— Брат, ты, кажется, получил ответ, — спокойно сказал Брант.

— Да, — отвечал Дирк, — он ясен: «Неверующий муж освящается женою… Почему ты знаешь, муж, не спасешь ли ты жену?» Если бы апостол предвидел случай со мной, он не мог бы дать более определенного ответа.

— Он, — или Дух, говорящий через него, — знал все случаи и писал для всех людей, когда бы они ни родились, — отвечал Брант. — Это урок для нас. Если бы ты заглянул сюда раньше, то раньше бы и получил ответ и, может быть, не испытал бы многих огорчений. Теперь, без сомнения, ты должен поспешить переговорить с ней, предоставив все остальное Богу.

— Да, — отвечал Дирк, — как можно скорее. Но есть еще один вопрос: должен я сказать ей всю правду?

— Я бы не стал скрывать, друг. А теперь — спокойной ночи. Не провожай меня до дверей. Кто знает, может быть, на улице кто-нибудь и подсматривает. Не следует, чтобы нас видели вместе так поздно.

После ухода своего родственника и нового друга Дирк еще сидел, пока оплывшие сальные свечи в люстре не догорели до самого конца. Затем, вынув свечу из подсвечника, украшенного змеей, он зажег ее, загасив люстру, и, войдя в спальню, стал раздеваться. Библию он снова спрятал в тайник и взобрался на свою высокую постель.

Обыкновенно Дирк спал превосходно: как только голова его касалась подушки, глаза смыкались и раскрывались только в привычное время, утром. Но в эту ночь он не мог заснуть. Было ли то следствием обеда и вина или игры в карты, или молитвы и отыскивания текста в писании, только сон бежал, и это раздражало Дирка. Он лежал не смыкая глаз и думал, глядя, как лунный свет широкими снопами врывался в окно и заливал комнату.

Вдруг Дирку стало страшно: ему показалось, будто в комнате находится еще кто-то кроме него, кто-то недоброжелательный и злой.

Никогда прежде он не думал о духах и не боялся их, но теперь ему вспомнился вопрос Монтальво о привидении, и ему положительно казалось, что оно где-то рядом. В этой страшной новой тревоге он искал

себе опоры и не находил иной, кроме той, к которой старый простой священник советовал ему прибегать в минуты затруднения и смятения, а именно: взять Библию и, прижав ее к себе, помолиться.

Исполнить это было нетрудно. Приподнявшись на постели, Дирк достал Библию из шкафчика и задвинул дверку. Затем, положив книгу между собой и периной, он снова лег, и это как будто подействовало: он скоро уснул.

Но тут Дирку приснился страшный сон. Ему снилось, что над ним наклонилось какая-то высокая, темная фигура, и длинная белая рука шарила у его изголовья, пока он не услыхал, как дверца потайного шкафчика со скрипом затворилась.

Тогда ему показалось, что он проснулся и что его глаза встретились с двумя другими глазами, смотревшими на него так пристально, будто желали прочесть его самые сокровенные мысли. Он не встал и не мог пошевельнуться, но тут он увидел во сне, как фигура выпрямилась и стала скользить прочь, то появляясь, то снова исчезая по мере того, как она проходила через полосы лунного света, пока окончательно не скрылась за дверью.

Через секунду после этого Дирк проснулся и почувствовал, что, несмотря на довольно холодную ночь, пот крупными каплями выступил у него на лбу и на всем теле. Но, странно, страх его теперь совершенно рассеялся: зная, что ему приснилось все это во сне, он перевернулся, дотронулся до Библии на груди и заснул, как дитя, чтобы проснуться только утром, когда луч восходящего зимнего солнца упал ему прямо на лицо.

Дирк припомнил сон прошедшей ночи, и у него на душе стало тяжело: ему казалось, что привидение черной женщины, впившейся в его лицо своими страшными глазами, было предзнаменованием какой-то близкой беды.

VI. Лизбета выходит замуж

На следующее утро, когда Монтальво вошел к себе в кабинет после завтрака, он нашел там ожидавшую его даму, в которой, несмотря на длинный плащ и вуаль, без труда узнал Черную Мег. Действительно, Мег ждала его уже довольно долго и, по свойственной ей любознательности, не теряла времени даром.

Читатель, вероятно, помнит, что в свое предыдущее посещение жилища капитана Монтальво она успела захватить бумаги, которые нашла в незапертом столе. При ближайшем рассмотрении эти бумаги оказались, как она того опасалась, не имеющими никакого значения, — неоплаченными счетами, военными рапортами, записками отдам и так далее. Однако, раздумывая, Черная Мег припомнила, что в столе был еще внутренний ящик, который, казалось, был заперт. И поэтому она на всякий случай захватила с собой связку ключей вместе с двумя маленькими стальными отмычками и явилась к капитану в такое время, когда знала наверное, что Монтальво завтракал в другой комнате. Все шло хорошо: Монтальво завтракал, а Мег осталась одна в комнате, где стоял стол. Об остальном можно догадаться. Положив принесенную с собой пачку бумаг на место, Мег с помощью своих ключей и отмычек отперла внутренний ящик. Здесь действительно оказались письма и в маленьком футляре, оправленном золотом, две миниатюры, одна — портрет молодой красивой женщины с темными глазами, другая — двух детей, мальчика и девочки пяти или шести лет. Тут же лежал локон волос в бумажке с надписью рукою Монтальво:

Волосы Хуаниты, данные мне на память.

Это была драгоценная находка, и Мег поспешила завладеть ею. Спрятав все за пазуху, чтобы рассмотреть на досуге, она предусмотрительно сделала из разных бумажек пакетик наподобие взятого, который положила в ящик, прежде чем запереть его.

Устроив все по своему желанию, Мег вышла на крыльцо, где проболтала с часовым, и снова вернулась в кабинет в ту самую минуту, когда через противоположную дверь туда входил Монтальво.

— Ну, любезнейшая, — обратился он к Мег, — достала доказательства?

— Кое-что добыла, ваше сиятельство, — отвечала она. — Я была в доме во время обеда, который вам давали, хотя никто не видел меня, и оставалась еще после вас.

— В самом деле? Мне показалось, что ты проскользнула мимо, и я похвалил тебя за догадливость: ты прекрасно придумала пробраться туда, пока народ двигался взад и вперед. Отправляясь домой, я, кажется, узнал также одного человека, которого ты почтила своей дружбой, — лысого низенького толстяка, в Гааге его, кажется, звали Мясником. Ну, не гримасничай, меня не волнуют женские тайны, но мое положение здесь обязывает меня знать некоторые вещи. Что же ты видела?

— Ваше сиятельство, я видела, как молодой человек, за которым я должна была наблюдать, и Хендрик Брант, сын богатого гаагского золотых дел мастера, стоя на коленях, молились.

— Это дурно, — сказал Монтальво, покачивая головой, — но…

— Я видела, — продолжала она своим хриплым голосом, — как они вместе читали Библию.

— Возмутительно! — произнес Монтальво с притворным содроганием. — На самом деле возмутительно, если только я могу верить тебе, моей набожной приятельнице, что два человека, считавшихся до сих пор почтенными людьми, попались в том, что читали книгу, на которой основывается наша вера. Действительно, люди, способные углубляться в такую скуку, «недостойны жизни», говоря словами эдикта[84]. Ну, а доказательства есть? Книга, конечно, у тебя?

Тут Черная Мег рассказала все по порядку: как она подсматривала и увидела кое-что, как подслушивала, но слышала мало, как открыла потайной шкафчик, нагнувшись над спящим, и не нашла ничего.

— Плохой же ты шпион, тетушка, — заметил капитан, когда она замолкла, — и, клянусь, я не думаю, чтобы папский инквизитор мог повесить молодого человека, основываясь только на твоем свидетельстве. Вернись и добывай новые доказательства.

— Нет, — решительно заявила Мег, — если хотите добывать улики, добывайте их сами. Так как я намереваюсь продолжать жить здесь, то не хочу впутываться в такие дела. Я доказала вам, что этот молодой человек еретик. Давайте же следуемое мне вознаграждение.

— Твое вознаграждение?… За что? Вознаграждение дается за услугу, а я не вижу таковой с твоей стороны.

Черная Мег вышла из себя.

— Молчи, — сказал Монтальво, оставляя шутливый тон. — Я стану говорить с тобой откровенно. Я не желаю жечь кого бы то ни было. Мне

надоела вся эта бессмыслица из-за религии и, по-моему, пусть себе лейденцы читают Библию до одурения. Я хочу жениться на ювфроу Лизбете ван Хаут и для этого должен доказать, что человек, которого она любит, Дирк ван Гоорль, еретик. Того, что ты сказала мне, может быть достаточно или недостаточно для моих целей. Если окажется достаточно, я тебе щедро заплачу после свадьбы, если нет, так с тебя будет довольно того, что ты уже получила.

Сказав это, Монтальво позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и, прежде чем Мег собралась ответить, в дверях показался солдат.

— Проводите эту женщину, — приказал капитан и затем прибавил: — Я постараюсь передать вашу просьбу куда следует, а пока возьмите от меня, — он сунул Мег в руку флорин. — А теперь скорей веди сюда арестованных: не будем терять времени… — приказал капитан солдату. — Да гляди, чтобы мне не мешали всякие нищие, а не то смотри у меня…

*** * ***

В этот день после обеда Дирк, одетый в свое лучшее платье, отправился в дом Лизбеты, где дверь ему опять отворила Грета и в ожидании смотрела на него.



— Дома барышня? — запинаясь спросил он. — Мне надо видеть ее.

— Какое несчастье, менеер, — отвечала девушка, — вы опять опоздали. Барышня и фроу Клара уехали на неделю или дней на десять: здоровье фроу Клары требовало перемены климата.

— В самом деле? — спросил совершенно растерявшийся Дирк. — Куда же они уехали?

— Не знаю, менеер, они не сказали мне.

Больше ничего Дирк не мог добиться от служанки. Так он и ушел совершенно сконфуженный и не зная, что думать.

Час спустя явился с визитом Монтальво и, как ни удивительно, оказался счастливее.

Он добился того, что узнал адрес хозяек, уехавших в приморское селение на расстоянии одного переезда. По странной случайности в тот же самый вечер Монтальво, также ища покоя и перемены климата, появился в гостинице этого селения, где заявил, что намеревается прожить некоторое время.

Гуляя на следующее утро по взморью, он встретил фроу Клару ван Зиль, и никогда еще почтенной даме не приходилось проводить более приятного утра. Так, по крайней мере, она заявила Лизбете, вернувшись со своим кавалером к обеду.

Читатель может догадаться об остальном. Монтальво сделал предложение и получил отказ. Он перенес удар с покорностью судьбе.

— Сознайтесь, — сказал он вкрадчиво, — что есть другой, кто счастливей меня.

Лизбета не созналась, но и не отрицала.

— Если он даст вам счастье, я буду рад, — проговорил граф, — но, при моей любви к вам, я не желал бы видеть вас замужем за еретиком.

— Что вы хотите сказать этим, сеньор? — спросила Лизбета, вспыхнув.

— Я хочу сказать, что, к несчастью, опасаюсь, как бы почтенный хеер Дирк ван Гоорль, один из моих друзей, которого я очень уважаю, хотя он и одержал победу надо мной в ваших глазах, не попал в эти злые сети.

— Подобное обвинение нельзя взводить на человека, пока оно не доказано, — серьезно сказала Лизбета. — Даже и тогда… — она запнулась.

— Я буду наводить дальнейшие справки, — отвечал капитан. — Сейчас же, пока мне не удастся приобрести ваше расположение, я покоряюсь своей участи. А до тех пор прошу вас смотреть на меня как на друга, на преданного друга, готового пожертвовать жизнью, чтобы услужить вам.

С тяжелым вздохом Монтальво сел на своего вороного и вернулся в Лейден, но перед тем он имел маленький разговор наедине с фроу Кларой.

— Вот если б дело шло о старушке, то нетрудно было бы все устроить, — рассуждал он во время обратного пути, — а для меня, клянусь всеми

святыми, было бы все одно. Но, к несчастью, все деньги у этой упорной свиньи — голландки. Чего только не заставляет делать необходимость поддержать свое достоинство и положение человека, по своим наклонностям расположенного только к покою и миру! Ну, мой новый друг Лизбета, не пройдет и двух месяцев, как ты мне заплатишь за все мои беспокойства, или я не буду Хуан де Монтальво.

*** * ***

Три дня спустя тетка и племянница вернулись в Лейден. Через час после их приезда явился граф и был принят.

— Останьтесь со мной, — обратилась Лизбета к тетушке Кларе, когда доложили о посетителе. И тетка некоторое время пробыла с ними, но затем под каким-то предлогом исчезла, и Лизбета осталась с глазу на глаз со своим мучителем.

— Зачем вы пришли сюда? — спросила она. — Я ведь уже ответила вам.

— Я пришел в ваших собственных интересах, — отвечал Монтальво, — и этим объясняется мое поведение, которое вы находите странным. Вы помните наш разговор?…

— Отлично, — прервала его Лизбета.

— Мне кажется, вы слегка ошибаетесь, ювфроу Лизбета, я говорю о разговоре, касавшемся одного из ваших друзей, которым вы, кажется, интересуетесь в религиозном отношении…

— И что же, сеньор?

— Я навел справки, и…

Лизбета подняла глаза, не будучи в состоянии скрыть своего беспокойства.

— О, ювфроу, позвольте мне посоветовать вам научиться несколько больше владеть собой: открытое детское выражение лица так опасно в наши дни.

— Он мне двоюродный брат…

— Знаю, будь он вам чем-либо большим, я бы очень огорчился. Но большинство из нас довольно равнодушно относится к судьбе своих двоюродных братьев…

— Перестанете ли вы шутить, сеньор?…

— И заговорю о деле? Сию минуту. Итак, наведенные мною справки убедили меня, что этот почтенный господин — еретик, и самый завзятый. Я сказал «справки», но мне даже не было надобности их наводить… На него…

— Донесли? — прервала Лизбета.

— Ах, ювфроу, опять это волнение, из которого можно вывести всевозможные заключения. Да, на него донесли как на отступника, но, к счастью, донесли только мне одному. Моя обязанность, к моему большому сожалению, арестовать его сегодня вечером… вы хотите сесть, позвольте предложить вам стул… но я не сделаю этого лично. Я предполагаю передать его почтенному Рюарду Тапнеру, папскому инквизитору. Вы, вероятно, слыхали о нем: его все знают. Он приедет в Лейден на будущей неделе и, вероятно, не станет долго возиться с этим делом.

— Что сделал Дирк? — спросила Лизбета тихо, опустив голову, чтобы скрыть свое волнение, отразившееся на лице.

— Что сделал? Мне просто страшно выговорить: несчастный заблуждающийся молодой человек с одним товарищем, личность которого свидетель не мог удостоверить, в полночь читал Библию…

— Что же в этом дурного?

— Ба-а! Разве и вы еретичка? Разве вы не знаете, что вся ересь проистекает из чтения Библии? Видите ли, Библия очень странная книга. Непосвященные люди не всегда правильно понимают ее. Совсем иное дело, когда ее читают лица духовные. Точно так же есть много церковных догматов, которых человек светский не найдет в Библии и которые для посвященного ясны как солнце…

— Вы, кажется, хотите убедить меня… — начала было с горечью Лизбета.

— Хочу убедить вас быть ангелом…

Наступила пауза.

— Что с ним будет? — спросила Лизбета.

— После мучительного предварительного следствия с целью открытия его сообщников, я думаю, его сожгут на костре, а может быть, как лицо, пользующееся привилегиями города Лейдена, он отделается тем, что его повесят.

— И нет спасения?

Монтальво отошел к окну и, взглянув на улицу, заметил, что кажется, будет снег. Затем он вдруг круто повернулся и, глядя в лицо Лизбеты, спросил:

— Вы в самом деле принимаете участие в этом еретике и желаете

спасти его?

Лизбета сразу поняла, что теперь Монтальво не шутит. Шутливый, насмешливый тон исчез. Голос ее мучителя звучал серьезно и холодно: это был голос человека, сделавшего большую ставку и намеревающегося выиграть партию.

Она тоже оставила всякие уловки.

— Да, я принимаю в нем участие и желаю спасти его, — отвечала она.

— Это можно сделать… но заплатить придется…

— Чем? Сколько…

— Вашим замужеством со мною через три недели.

Лизбета слегка вздрогнула, затем затихла.

— Не достаточно ли было бы одного моего состояния? — спросила она.

— Какое скудное вознаграждение вы предлагаете мне, — сказал Монтальво, возвращаясь к своему насмешливому тону, и прибавил: — я мог бы принять во внимание это предложение, если бы не существовало бессмысленного закона вашей страны, по которому для вас почти невозможно передать крупную сумму, заключающуюся главным образом в недвижимом имуществе, иначе как вашему мужу. Вследствие этого мне, к моему сожалению, приходится настаивать на вашем замужестве со мной.

Лизбета молчала. Монтальво, наблюдавший за ней, снова видел признаки возмущения и отчаяния. Он видел, что нравственное и физическое отвращение к нему готово взять верх над ее страхом за Дирка. Если его расчеты неверны, Лизбета была готова отвергнуть его, что само по себе, разумеется, было бы ему крайне неприятно, так как его денежные ресурсы совершенно иссякли. На основании же тех недостаточных улик, которые имелись у него, он не осмелился бы действовать против Дирка, опасаясь нажить себе множество влиятельных врагов.

— Какая странная ирония обстоятельств, что мне приходится являться ходатаем соперника, — сказал капитан. — Но, Лизбета ван Хаут, прежде чем отвечать мне, прошу вас подумать. От следующего движения ваших губ будет зависеть, придется ли этим глазам, которые вам так нравятся, слепнуть в ужасном мраке темницы, придется ли этому телу, которое вы так любите, быть поднятым на дыбу или жариться и трещать на костре или, наоборот, ничего подобного не случится и молодой человек уедет отсюда свободным, унося в сердце на месяц или на два горечь и некоторое озлобление на женское непостоянство, что не помешает ему впоследствии жениться на какой-нибудь богатой невесте и почтенной еретичке. Вряд ли вы сможете колебаться в своем выборе. Где же тот дух женского

самоотречения, о котором мы так много слышим? Выбирайте же…

Ответа все еще не было. Монтальво решил пустить в ход свой козырь и вынул из бокового кармана какой-то официальный документ, скрепленный подписью и печатью.

— Это сообщение неподкупному Рюарду Трапнеру. Смотрите, здесь написано имя вашего кузена… Мой слуга ждет моего приказания у вас на кухне. Если вы будете продолжать колебаться, я позову его и в вашем присутствии поручу ему передать эту бумагу курьеру, отправляющемуся сегодня вечером в Брюссель. Раз отдав приказание, я уже не смогу вернуть его, и приговор будет подписан.

Лизбета начала сдаваться.

— Что мне делать? — сказала она. — До сих пор я еще не невеста Дирка, и причина этому может быть именно та, которую я сейчас узнала. Но он любит меня и знает, что я люблю его. Неужели, потеряв его, я должна к тому же примириться с мыслью, что он будет считать меня не более чем легкомысленной ветреницей, которую ослепили ваши ухищрения и наружный блеск? Нет, я скорее убью себя!

Снова Монтальво направился к окну, так как этот намек на самоубийство был ему не по вкусу. Жениться на мертвой нельзя, и вряд ли Лизбета вздумает оставить завещание в его пользу. Казалось, что больше всего ее беспокоило, как бы молодой человек не нашел ее поведение легкомысленным. Почему бы ей не объяснить Дирку причину ее отказа, которую он первый должен был бы признать вполне уважительной? Может ли она, католичка, выйти замуж за еретика, и нельзя ли довести Дирка до того, чтобы он сам сказал Лизбете, что он еретик?

И вдруг сам собой явился ответ на этот вопрос. Сами святые, желая сохранить драгоценную жемчужину в лоне истинной Церкви, решили помочь Монтальво: на улице показался Дирк ван Гоорль, направлявшийся к дому Лизбеты. Он шел одетый в свое лучшее бюргерское платье, задумчивый, несмелыми шагами — олицетворение робкого, нерешительного кавалера.

— Лизбета ван Хаут, — обратился Монтальво к хозяйке, — случайно Дирк ван Гоорль в настоящую минуту у вашей двери. Вы примете его и так или иначе уладите дело. Я хочу указать вам, что напрасно было бы оставлять молодого человека в убеждении, что вы дурно поступили с ним. Необходимо лишь спросить его, нашей он веры или нет. Насколько я знаю, он не станет лгать вам. Тогда вам останется только сказать ему, что как это для вас ни прискорбно, но вы не можете выйти замуж за еретика. Вы понимаете меня?

Лизбета наклонила голову.

— В таком случае, слушайте. Вы примете вашего кавалера, выслушаете его предложение — он несомненно направляется сюда, чтобы сделать его. Но прежде чем дать ему ответ, спросите его о вере. Если он сознается, что еретик, вы откажете ему в такой мягкой форме, в какой только вам угодно. Если же он ответит, что он верный слуга Церкви, вы скажете, что до вас дошли иные слухи и что вы должны навести справки. Помните также, что если вы хоть на йоту отступите от моих предписаний, вы никогда больше не увидите Дирка — разве что вам вздумается присутствовать при его казни. Если же вы послушаетесь и окончательно откажете ему, то, как только дверь затворится за ним, я брошу эту бумагу в огонь и пообещаю вам, что свидетельство, на котором она основывается, навеки лишилось значения, и делу конец.

Лизбета вопросительно взглянула на него.

— Я вижу, вы недоумеваете, как я узнаю, что вы сделаете или чего вы не сделаете. Но я буду внимательным, хотя и немым свидетелем вашего свидания. Эта дверь закрыта портьерой; вы разрешите мне — будущий муж может воспользоваться этим небольшим одолжением с вашей стороны — постоять за ней.

— Никогда! — воскликнула Лизбета. — Я не могу поступить так низко. Я запрещаю вам делать это.

В эту минуту послышался стук у двери на улицу. Взглянув на Монтальво, Лизбета во второй раз увидела тот же взгляд, как в решительную минуту бега. Вся веселость капитана, все беззаботное добродушие исчезли. На их место выступило отражение самых сокровенных сторон характера этого человека — основание, на котором зиждилось ложное, изукрашенное здание, которое он показывал свету. Лизбета снова увидела сверкающие глаза и оскаленные зубы испанского волка — дикого зверя, готового грызть и терзать, если только представится случай насытиться мясом, которого жаждала его душа.

— Не вздумайте играть со мной шутки или торговаться, — сказал он, — теперь некогда. Делайте, как я вам сказал, иначе на вашей голове будет кровь этого псалмопевца. И не вздумайте натравить его на меня: у меня есть шпага, а он безоружен. В случае необходимости еретик, как вам известно, может быть убит на глазах у всех должностным лицом. Когда доложат о нем, подойдите к двери и прикажите принять его.

С этими словами, взяв свою шляпу с плюмажем, которая могла выдать его, Монтальво скрылся за портьерой.

С минуту Лизбета простояла раздумывая. Но увы! Она не видела

выхода: она была в тисках, с веревкой на шее. Ей предстояло или повиноваться, или обречь любимого человека на ужасную смерть. Она решилась ради него уступить, прося у Бога прощения и отмщения за себя и Дирка.

Раздался стук у двери, Лизбета отворила.

— Хеер ван Гоорль внизу и желает видеть вас, барышня, — послышался голос Греты.

— Просите, — отвечала Лизбета и, отойдя к стулу почти на середине комнаты, села.

Вскоре на лестнице раздались шаги Дирка, эти знакомые, дорогие шаги, к которым она часто так жадно прислушивалась. Дверь снова отворилась, и Грета доложила:

— Хеер ван Гоорль!

Исчезновение капитана Монтальво, по-видимому, удивило служанку, потому что она изумленно обводила комнату глазами, но выдержка или хороший подарок со стороны испанца заставили ее удержаться от выражения своих чувств. Грета знала, что господа, подобные графу, имеют способность исчезать при случае.

Таким образом, Дирк вошел в роковую комнату как ничего не подозревающее создание, идущее в западню. Ему и в голову не могло прийти, чтобы девушка, которую он любил и к которой пришел теперь свататься, могла служить приманкой, чтобы погубить его.

— Садитесь, кузен, — сказала Лизбета таким странным и натянутым тоном, что Дирк невольно взглянул на нее.

Но он ничего не увидел, так как она сидела, отвернувшись в сторону, да и сам он был слишком занят своими мыслями, чтобы быть зорким наблюдателем. Очень много потребовалось бы, чтобы пробудить в простодушном и открытом по своему характеру Дирке подозрения в этом доме и в присутствии любимой им девушки.

— Здравствуйте, Лизбета, — проговорил он застенчиво. — Отчего ваша рука так холодна?… Я уже несколько раз заходил к вам, но вы уехали, не оставив адреса.

— Мы с тетушкой Кларой ездили к морю, — прозвучало в ответ.

На некоторое время, минут на пять или даже больше, завязался натянутый, отрывистый разговор.

«Неужели этот хомяк никогда не доберется до главного? — рассуждал Монтальво, наблюдая через щель. — Боже мой, какой у него глупый вид!»

— Лизбета, — сказал наконец Дирк, — мне надо переговорить с вами.

— Говорите, кузен, — отвечала Лизбета.

— Лизбета!… Я… я люблю вас давно и пришел теперь просить вас выйти за меня. Я откладывал это предложение в продолжение года или больше по причинам, которые вы узнаете впоследствии, но я не могу молчать дольше, особенно теперь, когда я вижу, что вашу благосклонность старается приобрести гораздо более изящный господин, чем я. Я говорю об испанском графе Монтальво, — добавил он с ударением.

Лизбета ничего не отвечала, и Дирк продолжал изливать свою страсть в словах, становившихся все убедительнее и сильнее и, наконец, дошедших до настоящего красноречия. Он говорил, как с самой первой встречи полюбил ее, и теперь имеет одно желание в жизни: сделать ее счастливой и быть самому счастливым с ней. Далее он начал было развивать свои планы на будущее, но Лизбета остановила его.

— Простите, Дирк, но я должна задать вам один вопрос, — начала она.

Голос ее прерывался от сдерживаемых рыданий, однако, сделав усилие, она продолжала:

— До меня дошли слухи, которые нуждаются в разъяснении. Я слышала, Дирк, что вы по своей вере принадлежите к так называемым еретикам. Правда это?

Он колебался, прежде чем ответить, сознавая, как много зависит от этого его ответа. Но колебание продолжалось всего минуту, так как Дирк был слишком честен, чтобы солгать.

— Лизбета, — сказал он, — я скажу вам то, чего не сказал бы ни одному живому существу на свете, даже брату. Примете ли вы мое предложение или отвергнете его, говоря с вами, я уверен, что нахожусь в такой же безопасности, как тогда, когда преклонив колени, беседую с Господом, которому служу. Да, я действительно, как вы называете, еретик. Я приверженец этой истинной веры, в которую надеюсь обратить вас, но которую насильно никогда не стану навязывать вам. Именно это обстоятельство так долго удерживало меня от объяснения с вами: я не знал, имею ли я право просить вас связать вашу судьбу с моей и могу ли я жениться на вас, если вы будете согласны, сохранив свою тайну в себе. Только вчера вечером мне дал совет… — кто, это все равно, -… и мы, помолившись вместе, вместе стали искать ответа на мой вопрос в слове Божьем. По неисповедимому милосердию Господа я нашел этот ответ и разрешение всех моих сомнений: великий святой Павел предвидел подобный случай, — в его писаниях все случаи предвидены, — и я прочел, как неверующая жена освящается мужем, а неверующий муж — женою. После того все стало для меня ясно, и я решился говорить с вами. Теперь, дорогая, я высказался, и ваша очередь ответить мне.

— Дирк, дорогой Дирк! — вырвалось у Лизбеты почти с криком. — Ужасен ответ, который я должна дать вам. Откажитесь от своего заблуждения, покайтесь, примиритесь с Церковью, и я выйду за вас. Иначе это невозможно, хотя я люблю вас, и никого другого, всем своим сердцем…

Тут в ее голосе зазвучала страстная энергия.

— Но иначе я не могу, не могу быть вашей.

Дирк слушал и побледнел как полотно.

— Вы требуете от меня единственного, чего я не могу дать, — сказал он. — Даже ради вас я не могу отречься от своего обета и поклонения Богу по моему разумению. Хотя прощание с вами убивает меня, но я отвечаю вам вашими же словами: «Не могу, не могу!»

Лизбета взглянула на него и была поражена: до чего преобразились, приобретя почти сверхчеловеческое просветление, его честные грубые черты и коренастая массивная фигура при этом страстном отречении. В эту минуту некрасивый голландец походил на ангела, по крайней мере на ее взгляд. Она стиснула зубы и прижала руки к сердцу. «Ради него, ради его спасения», — прошептала она и потом сказала вслух:

— Я вас уважаю и люблю за это признание еще больше, но, Дирк, между нами все кончено. Когда-нибудь здесь, на земле или в другой жизни вы поймете все и простите.

— Пусть будет так, — глухо проговорил Дирк, отыскивая рукой шляпу, так как не видел ничего. — Странный ответ на мою просьбу, очень странный, но, конечно, вы имеете полное право следовать своим убеждениям так же, как я имею право следовать моим. Мы должны нести свой крест, дорогая Лизбета, вы сами видите, что должны. Об одном прошу вас, я говорю не как человек, ревнующий вас, потому что во мне затронуто нечто высшее, чем ревность, но как друг, каким, что бы ни случилось в жизни, я всегда останусь для вас: остерегайтесь этого испанца, Монтальво. Я знаю, он хочет жениться на вас. Он человек злой, хотя вначале и очаровал меня. Я чувствую это: его присутствие как бы отравляет воздух, которым я дышу. И я был бы рад, если б он услыхал это, так как убежден, что все это дело его рук. Но и его час настанет: за все ему придется отплатить в здешней жизни или в будущей. А теперь прощайте, да благословит и защитит вас Бог, дорогая Лизбета. Если вы считаете замужество со мной грехом, то вы правы, отказывая мне, и я убежден, что вы никому не выдадите мою тайну. Еще раз прощайте!

Взяв руку Лизбеты, Дирк поцеловал ее и шатаясь вышел из комнаты.

Лизбета же бросилась ниц и в отчаянии билась головой о пол.

Когда дверь затворилась за Дирком, но не раньше этого, Монтальво

вышел из-за занавеси и остановился над лежащей на полу Лизбетой. Он пытался принять свой прежний легкий, саркастический тон, но подслушанная им сцена потрясла его и даже несколько испугала, так как он чувствовал, что вызвал к жизни страсти, силу и последствия которых нельзя было заранее предвидеть.

— Браво, моя актрисочка, — начал было он, но тотчас же перешел на другой тон и заговорил естественным голосом. — Теперь лучше встаньте и посмотрите, как я сожгу эту бумагу.

Лизбета с трудом приподнялась на колени и видела, как он бросил документы в пылающий камин.

— Я исполнил свое обещание, — сказал Монтальво, — это показание уничтожено, но на тот случай, если б вы вздумали провести меня и не сдержать своего слова, помните, что у меня есть новые и более веские доказательства, ради получения которых мне, правда, пришлось прибегнуть к способу, не вполне согласному с моим обыкновенным поведением. Я собственными ушами слышал, как этот господин, имеющий такое дурное мнение обо мне, признался, что он еретик. Этого достаточно, чтобы сжечь его когда угодно, и я клянусь если через три недели вы не будете моей женой, он умрет на костре. В то время как он говорил, Лизбета медленно поднялась на ноги. Теперь она смотрела на Монтальво, но это была уже не прежняя Лизбета, а совершенно новое существо, как чаша, до краев переполненная злобой, тем более ужасной, что она была совершенно покойна.

— Хуан де Монтальво, — заговорила Лизбета тихим голосом, — ваша злость победила, и ради Дирка я должна пожертвовать собой и своим состоянием. Пусть будет так, если суждено. Но слушайте, я не предсказываю вам, не говорю, что с вами случится то-то или то-то, но я призываю на вас проклятие Божье и презрение людское.

Подняв руки, она начала молиться.

— Господи, Тебе угодно было наложить на меня судьбу худшую, чем смерть, но помрачи душу и разум этого чудовища. Пусть он живет в тяжелой работе и умрет в нищете кровавой смертью также через меня. А если я рожу ему детей, пусть и они будут прокляты!

Она замолчала. Монтальво смотрел на нее и пытался заговорить, но не мог произнести ни слова. И вдруг он почувствовал страх перед Лизбетой ван Хаут, тот страх, который уже не покидал его всю последующую жизнь. Он обернулся и крадучись вышел из комнаты. Лицо его вдруг постарело, и, несмотря на весь успех, он никогда не чувствовал такой тяжести на сердце, будто Лизбета была демоном, посланным свыше, чтобы возвестить ему его

проклятие.

VII. К Хендрику Бранту приходит гостья

Прошло девять месяцев, и уже больше восьми из них с тех пор, как Лизбета ван Хаут стала именоваться графиней Хуан де Монтальво. В ее титуле не могло быть сомнения, так как она была обвенчана с некоторой пышностью в присутствии многочисленных зрителей епископом в Гроотекирк. Все очень дивились этой поспешной свадьбе, хотя кое-кто из доброжелателей пожимали плечами, говоря, что для девушки, скомпрометировавшей себя прогулками наедине с испанцем и брошенной женихом, самым лучшим было поспешить выйти замуж.

Таким образом, эта пара, составившая довольно красивую группу пред алтарем, была обвенчана и наслаждалась выпавшим ей на долю супружеским счастьем в роскошном доме Лизбеты на Брее-страат. Здесь молодые люди были почти одни, потому что соотечественники и соотечественницы Лизбеты высказывали свое неодобрение ее поведению, сторонясь ее, а Монтальво, по своим соображениям, неособенно радушно приглашал к себе испанцев. Слуги были наняты заново, тетушка Клара и Грета также исчезли. Убедившись в их коварном поведении по отношению к ней, Лизбета еще до замужества попросила их обеих оставить ее дом.

Понятно, что после событий, повлекших за собой этот брак, Лизбета не находила особенного удовольствия в обществе своего мужа. Она была не из тех женщин, которые в состоянии покориться браку, заключенному насильно или обманом и даже способны полюбить руку, лишившую их свободы. С Монтальво она говорила редко, даже после первых недель замужества редко виделась с ним. Он скоро понял, что его присутствие ненавистно жене, и со своей обычной находчивостью сумел извлечь из этого выгоду. Другими словами, Лизбета ценой своего богатства покупала себе свободу; была даже установлена такса: столько-то за неделю свободы, столько-то за месяц.

Монтальво был доволен подобным соглашением, потому что в душе он боялся этой женщины, красивое лицо которой застыло в выражении вечной ненависти. Он не мог забыть того ужасного проклятия, которое глубоко запечатлелось в его суеверном уме и жило там, не знал ни одного часа покоя. День и ночь его преследовал страх, что его убьет жена.

И действительно, если когда-либо смерть смотрела из глаз женщины, то она смотрела из глаз Лизбеты. Монтальво казалось, что ее совесть не смутится подобным делом, что она увидит в нем возмездие, а не убийство.

Ему становилось страшно при этой мысли. Каково будет в один прекрасный день, выпив вина, почувствовать, что огненная рука терзает твои внутренности, потому что в кубке был яд, или, еще хуже того, проснуться ночью и ощутить стилет, вонзившийся тебе в хребет. Не удивительно поэтому, что Монтальво спал один и всегда тщательно запирал дверь.

Однако он напрасно принимал подобные предосторожности: что бы ни говорили глаза Лизбеты, она не имела намерения убивать этого человека. В своей молитве она передала это дело в руки Высшей власти, и была вполне уверена, что возмездие может быть отсрочено, но в конце концов постигнет виновного. Что же касается денег, то она беспрепятственно отдавала их. С самого начала она инстинктивно почувствовала, что ее мужем руководила нелюбовь, а исключительно коммерческий расчет, в чем скоро вполне убедилась, и ее надеждой, величайшей надеждой стало, что когда ее богатство иссякнет, муж не станет удерживать ее.

Речной бобр не любит жить в сухой норе, — говорит голландская пословица.

Но какие то были месяцы, какие ужасные месяцы! Время от времени Лизбета видела мужа, когда ему бывали нужны деньги, и каждую ночь слышала, как он возвращается домой, иногда нетвердыми шагами. Два или три раза в неделю она получала приказания приготовить роскошный обед для мужа и человек шести или восьми его товарищей, а затем начиналась крупная игра. После таких вечеров в дом являлись странные люди, между которыми часто бывали евреи, и ждали, пока Монтальво не встанет, и иногда ловили его, когда он пытался проскользнуть из дома задним ходом. Лизбета узнала, что то были ростовщики, желавшие получить деньги по старым долгам. При таких обстоятельствах ее значительное, но не громадное состояние быстро таяло. Скоро денег уже не стало, затем были проданы паи в некоторых кораблях, наконец, имение и дом заложены. Время, между тем, шло…

*** * ***

Почти тотчас после отказа Лизбеты Дирк ван Гоорль уехал из Лейдена и вернулся в Алкмар, где жил его отец. Двоюродный брат его и друг, Хендрик Брант, остался в Лейдене для изучения золотых дел мастерства

под руководством знаменитого мастера по филигранным работам, известного под именем Петруса.

Однажды утром, когда Хендрик сидел у себя в комнате, ему сказали, что его спрашивает женщина, не желавшая назвать своего имени. Побуждаемый более любопытством, чем другими мотивами, он приказал впустить посетительницу. Когда она вошла, он, к своему огорчению, узнал в этой костлявой черноглазой женщине одну из тех, против которых его предостерегали старшие его единоверцы, как против шпионки, используемой папскими инквизиторами для получения улик против еретиков и известной под именем Черной Мег.

— Что вам нужно от меня? — мрачно спросил Брант.

— Ничего, что могло бы повредить вам, почтенный господин. О, я знаю, какие сказки рассказывают про меня, хотя я честным образом зарабатываю пропитание себе и своему несчастному полоумному мужу. Он имел несчастье последовать однажды за этим сумасшедшим анабаптистом, Иоанном Лейденским, провозглашенным королем и проповедовавшим, что человек может иметь столько жен, сколько ему вздумается[85]. Вот на этом-то и помешался мой муж, но, благодарение святым, он потом раскаялся в своих заблуждениях и примирился с Церковью и христианским браком, а я, от природы незлопамятная, должна поддерживать его.

— Зачем вы пришли? — снова спросил Брант.

— Менеер, — заговорила она, понизив свой хриплый голос, — вы друг графини Монтальво, прежней Лизбеты ван Хаут?

— Нет, я только знаком с ней, не больше.

— По крайней мере, вы были другом хеера Дирка ван Гоорля, уехавшего из этого города в Алкмар, ее бывшего любовника.

— Да, я ему двоюродный брат, но он не был любовником ни одной замужней женщины.

— Нет, конечно, но разве любовь не может проглядывать через подвенечную вуаль? Ну, одним словом, вы его друг, стало быть, вероятно, и ее, а она несчастлива.

— В самом деле? Я не знаю ничего о ее теперешней жизни. Она пожинает то, что посеяла. Тут уж ничего не поделаешь.

— Может быть, найдется и еще кое-что. Я думала, что Дирка ван Гоорля может это заинтересовать.

— Почему? Торговцам сельдями нет дела до сгнивших сельдей: они списывают убытки и посылают за свежим запасом.

— Первая рыба, которую мы поймаем, для нас всегда самая лучшая, менеер, а если нам не вполне удалось изловить ее, то какой чудной она нам

кажется!

— Мне некогда отгадывать ваши загадки. Что вам от меня надо? Говорите или убирайтесь, только поскорее.

Черная Мег наклонилась вперед и зашептала:

— Что бы вы мне дали, если бы я вам доказала, что капитан Монтальво вовсе не женат на Лизбете ван Хаут?

— Для вас неинтересно, что бы я дал, потому что я сам видел, как ее венчали.

— То, что как будто делается на наших глазах, не всегда происходит на самом деле.

— Довольно с меня. Убирайтесь!

Брант показал на дверь.

Черная Мег не шевельнулась, но только вынула из-за пазухи небольшой сверток и положила его на стол.

— Может иметь человек двух живых жен зараз? — спросила она.

— По закону — нет.

— Сколько дадите, если я докажу, что у капитана Монтальво две жены?

Брант заинтересовался словами Мег. Он ненавидел Монтальво, догадываясь, даже кое-что зная о его роли в этой постыдной истории, и знал также, что окажет Лизбете истинную услугу, освободив ее от мужа.

— Положим, двести флоринов, если вы докажете это.

— Мало, менеер.

— Больше я не могу дать, но помните: раз обещав, я плачу.

— Да, правда, другие обещают и не платят, мошенники! — прибавила Мег, ударяя костлявым кулаком по столу. — Хорошо, я согласна и не прошу задатка, потому что вы, купцы, не то что дворяне: ваше слово все равно что расписка. Ну, прочтите это.

Она развернула сверток и подала его содержимое Бранту.

За исключением двух миниатюр, которые Хендрик отложил в сторону, это были письма, написанные по-испански очень изящным почерком. Брант хорошо знал испанский язык, и за двадцать минут прочел все. Письма оказались посланиями женщины, подписавшейся «Хуанита де Монтальво», к мужу. Это были грустные документы, повествовавшие о тяжелой истории бессердечно покинутой женщины, полные мольбы о возвращении мужа и отца или, по крайней мере, о предоставлении им средств к существованию, так как семья находилась в крайней бедности.

— Все это очень печально, — сказал Брант, с грустью смотря на портрет женщины и детей, — но еще не доказывает, что она жена этого

человека?

Черная Мег снова сунула руку за пазуху и вынула письмо, помеченное не больше как тремя месяцами тому назад. Оно было написано священником того селения, где жила графиня, и адресовано графу дону Хуану де Монтальво, капитану в Лейдене. Это письмо заключало в себе серьезное обращение к благородному графу от человека, имевшего право говорить, потому что он крестил, учил и, наконец, венчал графа. Священник просил выслать вспомоществование графине на его имя.

«До нас здесь, в Испании, дошел возмутительный слух, — заканчивал он свое письмо, — будто вы женились на нидерландке из Лейдена по фамилии ван Хаут. Но я не верю этому. Никогда бы вы не решились на такое преступление перед Богом и людьми. Напишите же скорее, сын мой, и рассейте черное облако сплетен, собирающееся над вашим почтенным, древним именем».

— Откуда у вас эти бумаги? — спросил Брант.

— Последнее письмо я получила от священника, привезшего его из Испании. Я встретилась с ним в Гааге и предложила передать письмо в Лейден. Другие бумаги я украла из комнаты Монтальво.

— В самом деле, честная работница! А как вы попали в комнату его сиятельства?

— Я скажу вам это, — отвечала она, — ведь он не заплатил мне, стало быть, мой язык развязан. Он желал иметь доказательства, что хеер Дирк ван Гоорль еретик, и поручил мне добыть их.

Лицо Бранта приняло жесткое выражение, и он насторожился.

— Зачем ему были эти доказательства?

— Чтобы, воспользовавшись ими, помешать ювфроу Лизбете ван Хаут выйти замуж за Дирка ван Гоорля.

— Каким образом?

Мег пожала плечами.

— Должно быть, он надеялся, что Лизбета, узнав секрет ван Гоорля, откажет ему, или, что еще вероятнее, намеревался пустить в ход угрозу предать ее возлюбленного в руки инквизиции, если девица станет упорствовать.

— Понимаю. Что же, вы добыли доказательства?

— Я однажды ночью спряталась в спальне Дирка и через щель в двери подсмотрела, как он и еще другой молодой человек, которого я не знаю, вместе читали Библию и молились.

— Вот как? Немалому риску вы подвергали себя, ведь, если бы Дирк или его товарищ увидали вас, вам вряд ли удалось бы живой уйти из дома.

Вы знаете, еретики считают себя вправе убить шпиона, попавшегося на месте преступления, и, правду говоря, я не осуждаю их. Будь я в таком положении… — он нагнулся вперед и пристально взглянул ей в глаза, — я не задумался бы размозжить вам голову, как какой-нибудь крысе.

Черная Мег отшатнулась, и губы ее посинели.

— Правда, менеер, рискованное это дело, и бедные слуги Божий подвергаются большим опасностям. Другому-то молодому человеку нечего было бояться: мне не платили, чтобы я следила за ним, и, как я уже сказала, я даже не знаю, кто он, и не собираюсь узнавать.

— Кто знает, может быть, это счастье для вас, особенно если бы ему вдруг пришло в голову узнать, кто вы. Но это ведь нас не касается теперь! Давайте бумаги! Хорошо!

Брант подошел к шкафу и, вынув маленький стальной ящичек, отпер его. Взяв из него условленную сумму, он снова запер его.

— Напрасно вы так всматриваетесь в этот ящичек, — сказал он, — его уже завтра не будет здесь и вообще в этом доме. Насколько я мог понять, Монтальво не заплатил вам.

— Ни одного стивера! — отвечала она с внезапным приступом бешенства. — Низкий вор обещался заплатить мне после женитьбы, но вместо того чтобы наградить ту, которая помогла ему сесть в теплое гнездо, он теперь уже промотал все состояние жены до последнего флорина, играя и уплачивая неотложные долги, так что в настоящее время она, я думаю, почти нищая.

— Хорошо, — отвечал Брант, — а теперь прощайте, и если мы встретимся в городе, то заметьте себе, я вас не знаю. Понимаете?

— Понимаю, менеер, — отвечала Черная Мег с усмешкой и исчезла.

Когда она ушла, Брант встал и отворил окно.

— Отравлен весь воздух, — проговорил он. — Но, кажется, я напугал ее, и мне нечего бояться. Впрочем, кто знает? Она видела, как я читал Библию, и Монтальво знает это. Но с тех пор прошло уже довольно много времени. Я должен воспользоваться тем, что у меня в руках.

Действительно, кто знает?

Взяв с собою портреты и документы, Брант отправился к своему другу и единоверцу Питеру ван де Верфу, который был также другом Дирка и двоюродным братом Лизбеты, молодому человеку, об уме и способностях которого Хендрик был очень высокого мнения. Следствием этого свидания было то, что тем же вечером молодые люди уехали в Брюссель, резиденцию правительства, где у них были очень влиятельные друзья.

Достаточно вкратце сообщить о результате их путешествия. Как раз в

это время нидерландское правительство по особым причинам желало жить в мире с горожанами, и власти, узнав о возмутительном обмане, жертвой которого сделалась знатная девица, известная как хорошая католичка, воспылали негодованием. Немедленно был отдан приказ, подписанный рукой, которой никто не мог противиться, — так глубоко несчастье одной женщины потрясло другую[86], — приказ об аресте и строгом допросе графа Монтальво, как если б он был простой преступник-нидерландец. Так как у капитана было много врагов, то и не нашлось никого, кто бы стал хлопотать об отмене королевского указа…

*** * ***

Три дня спустя после этих событий Монтальво велел сказать жене, что будет ужинать один дома и желает, чтобы она присутствовала за ужином. Лизбета повиновалась, и, сидя на противоположном конце стола, время от времени, поднималась, сама прислуживая ему. Наблюдая за ним спокойным взглядом, она заметила, что ему не по себе.

— Что же ты все молчишь? — спросил он наконец раздраженно. — Ты вероятно, воображаешь, что чрезвычайно весело ужинать с женой, у которой вид, как у трупа в гробу? Невольно пожелаешь, чтобы это сталось на самом деле.

— Я уже давно желаю, — отвечала Лизбета.

И снова водворилось молчание. Однако его нарушила Лизбета, спросив:

— Чего тебе надо, денег?

— Конечно, денег, — ответил он яростно.

— Денег больше нет, все истрачены, и нотариус говорит, что никто не дает больше ни одного стивера под дом. Все мои брильянты также проданы.

Он взглянул на ее руку и сказал:

— У тебя есть еще это кольцо.

Лизбета также взглянула на кольцо. То был золотой перстень, украшенный довольно ценными брильянтами, подаренный ей мужем перед свадьбой. Монтальво постоянно настаивал, чтобы она носила его. В действительности кольцо было куплено на деньги, занятые графом у Дирка.

— Возьми его, — отвечала Лизбета, улыбаясь в первый раз, и, сняв перстень с пальца, подала его мужу.

Протянув руку, чтобы взять его, Монтальво отвернулся, желая скрыть отразившийся на его лице стыд, который даже он не мог не почувствовать.

— Если у тебя родится сын, — заговорил он, — то скажи ему, что отец его ничего не мог оставить ему, кроме совета никогда не прикасаться к игральным костям.

— Ты уезжаешь? — спросила она.

— Да, надо уехать недели на две. Меня предупредили, что против меня выдвинуто обвинение, которым я не хочу беспокоить тебя. Ты, вероятно, скоро услышишь о нем, и хотя оно несправедливо, но я должен уехать из Лейдена, пока все не уляжется… Я действительно уезжаю.

— Я благодарю Бога за это, — ответила Лизбета, — и желала бы только, чтобы ты мог унести с собой самую память о себе вместе со всем, что твое.

Монтальво сидел отвернувшись, делая вид, что не слышит.

Она договаривала эти горькие слова, когда дверь отворилась и вошли один из субалтерн-офицеров[87] в сопровождении нескольких солдат и человек в костюме нотариуса.

— Что такое? — в бешенстве закричал Монтальво.

Субалтерн-офицер, входя, отдал честь.

— Капитан, простите, но я действую по приказанию. Мне предписано арестовать вас живого или мертвого, — добавил он с ударением.

— По какому обвинению? — спросил Монтальво.

— Господин нотариус, прочтите обвинение, — сказал офицер, — но, может быть, графине угодно будет удалиться? — спросил он, конфузясь.

— Нет, — сказала Лизбета, — дело может касаться меня.

— К несчастью, я боюсь, что это так, сеньора, — заговорил нотариус.

Затем он приступил к чтению документа, длинного и написанного канцелярским слогом. Но Лизбета быстро все поняла. Ей с самого начала стало ясно, что она незаконная жена графа Хуана де Монтальво и что против него возбуждено преследование за обман ее и за преступление против Церкви. Следовательно — она свободна, свободна! Под наплывом этого чувства она зашаталась и лишилась чувств.

Когда ее глаза снова открылись, Монтальво, офицер, нотариус, солдаты — все исчезли.

VIII. Стойло Кобылы

Когда Лизбета очнулась в этой пустой комнате, первое, что она почувствовала, была необузданная радость. Она свободна, она уже не жена Монтальво, никогда больше она не будет принуждена сносить его прикосновение. Таковы были ее первые мысли Она не сомневалась, что все услышанное ею правда. Иначе, что могло бы побудить власти к преследованию Монтальво? Теперь Лизбета получила ключ к объяснению тысячи вещей, незначительных сами по себе, но во всей массе образовавших несомненную улику виновности капитана. Не упоминал ли он сам об обязательствах, существующих у него в Испании, и о детях? Не случалась ли ему во сне… Впрочем, бесполезно припоминать все это. Она свободна, вот еще до сих пор лежит на столе символ их союза: изумрудное кольцо, которое должно было дать Монтальво возможность бежать, скрыться от преследования, грозившего ему. Лизбета схватила перстень, бросила его на пол и топнула ногами. После того, упав на колени, она молилась и благодарила Бога и, наконец, совершенно изможденная, легла отдохнуть.

Настало утро, чудное, тихое осеннее утро. Но теперь, когда вчерашнее возбуждение улеглось, у Лизбеты было тяжело на сердце. Она встала и помогла единственной оставшейся в доме служанке приготовить завтрак, не обращая внимания на взгляды, которые девушка искоса бросала на нее. После того она пошла на рынок, чтобы истратить на все необходимое несколько из последних оставшихся у нее флоринов.

На улице она заметила, что служит предметом внимания, так как встречавшиеся с ней толкали друг друга, указывая на нее. Когда, смущенная, она поспешила домой, до ее тонкого слуха долетел разговор двух простых женщин, шедших за нею.

— Попалась, — говорила одна из женщин.

— Поделом ей, — отвечала другая, — зачем гонялась за испанским доном и женила его на себе!

— Еще хорошо, что удалось. Ей ничего не оставалось делать, — перебила первая, — концы надо хоронить скорее.

Оглянувшись, Лизбета увидела, как они пальцами зажимали себе нос, будто стараясь предохранить себя от дурного запаха.

Тут Лизбета уже не могла дольше выдержать и обратилась к женщинам.

— Злые сплетницы, — бросила она им в лицо и быстро пошла вперед, преследуемая их громким, обидным смехом.

Дома ей сказали, что ее ожидают двое мужчин. Они оказались кредиторами, требовавшими больших денежных сумм, которых Лизбета не в состоянии заплатить. Она сказала им, что ничего не знает о всех этих делах. Тогда они показали ей ее собственную подпись на ее заемных письмах, и она вспомнила, что была принуждена подписывать много подобных документов, — все, что ей подавал человек, называвшийся ее мужем, — ради хотя бы кратковременного освобождения от его присутствия. Наконец ростовщики ушли, заявив, что получат свои деньги, хотя бы для этого им пришлось вытащить постель из-под Лизбеты.

После того наступили одиночество и тишина. Ни один друг не пришел утешить бедную женщину. Правда, у нее уже не оставалось друзей, так как по приказанию мужа она прекратила знакомство даже с теми, кто после странных обстоятельств, сопровождавших ее замужество, все еще не чуждались ее. Монтальво говорил, что не желает терпеть в своем доме сплетниц-голландок, а последние думали, что Лизбета из гордости прервала всякие сношения с соотечественниками своего круга.

Наступил полдень, а Лизбета не могла проглотить ни куска. Уже целые сутки она ничего не ела, судорога сжимала ей горло, а между тем в ее положении необходимо было есть. Теперь она начинала чувствовать позор, обрушившийся на нее. Она была замужем и не имела мужа. Скоро ей предстояло сделаться матерью, но каков будет этот ребенок? И что станет с ней самой? Что подумает о ней Дирк, Дирк, ради которого она сделала и перенесла все это? Такие мысли роились в ее голове, когда она весь долгий вечер пролежала в постели, пока у нее не закружилась голова и сознание не покинуло ее. В голове ее водворился полный хаос, целый ад беспорядочных грез.

Наконец из всей массы неясных представлений выступило одно видение, одно желание: желание успокоения и полного мира. Но где она могла найти себе успокоение, кроме смерти? Что ж, почему бы и не умереть! Бог простит ей, Матерь Божья будет заступницей за опозоренную несчастную, неспособную дольше жить. Даже Дирк отнесется к ней с добротой, когда она умрет, хотя теперь, встреться он с ней, без сомнения, закрыл бы глаза рукой. Ей было страшно жарко, и ее мучила жажда. Как прохладна должна быть теперь вода! Что может быть лучше, как медленно спуститься в нее и предоставить ей сомкнуться над бедной больной головой. Лизбета решила выйти из дому и взглянуть на воду; в этом, во всяком случае, не могло быть ничего дурного.

Она закуталась в длинный плащ, надев капюшон на голову, и вышла тихонько из дому, скользя, как привидение, по темнеющим улицам, направляясь к порту, куда стража пропустила ее, приняв за крестьянку, возвращающуюся к себе в деревню. Взошла луна, и при ее свете Лизбета узнала местность. Это было то самое место, где она стояла в день карнавала, когда с ней заговорила женщина, прозванная Мартой-Кобылой, и сказала ей, что знала ее отца. По этому льду она неслась в санях Монтальво во время бега. Лизбета пошла вдоль крепостного вала, вспомнив о заросших тростниковых островках, лежавших в нескольких милях оттуда и только изредка посещаемых рыбаками и охотниками, о большом Харлемском озере, занимавшем многие тысячи акров пространства. Как прохладно и красиво оно должно быть в такую ночь, и как нежно шелестит ветер в камышах, которыми поросли берега озера. Лизбета шла все дальше и дальше, до озера было не близко, но наконец она достигла его, и как хорошо, просторно и тихо было там! Насколько мог охватить глаз, не было видно ничего, кроме сверкающей воды с чернеющими, заросшими тростником островками. Только лягушки квакали в тростнике, да кричала выпь. А на озере плавали дикие утки, оставляя за собой длинные серебряные полосы.

На одном из островков, на расстоянии не дальше выстрела из лука, Лизбета увидела кусты похожих на гвоздику белых болотных цветов, которые ей, бывало, случалось собирать в детстве. Ей захотелось сорвать их теперь. Место было неглубокое, она думала, что сможет перейти вброд на островок, а если и нет, то что за беда. Она, в таком случае, или вернется на берег, или, может быть, навеки уснет под водой. Не все ли равно! Лизбета ступила в воду. Как прохладно и приятно было прикосновение влаги к ногам. Но вот вода дошла до колен, вот уже легкая рябь разбивается о грудь Лизбеты, но она не думала возвращаться: перед ней лежал остров, и белые цветы были уже так близко, что она могла пересчитать их — восемь на одном кусте и двенадцать на другом. Еще шаг, и вода, смочив ей лицо, сомкнулась над ее головой. Она приподнялась, и у нее вырвался легкий крик.

Затем, будто во сне, Лизбета увидала, как из тростника, рядом с ней, выскользнул челнок. Она видала также, как странное, обезображенное лицо, которое она смутно помнила, нагнулось над бортом челнока, и загорелая рука схватила ее, между тем как хриплый голос уговаривал не отбиваться и ничего не бояться.

Когда Лизбета опомнилась, она уже лежала на земле, или, скорее, на толстой подстилке из сухого тростника и пахучих трав. Оглядевшись, она

увидела, что находится в избушке, слепленной из грязи и крытой соломой. Один угол избушки занимал очаг с навесом, искусно сделанным из глины, и на огне кипел глиняный котелок. С потолка, на веревке, свитой из травы, спускалась свежепойманная рыба, чудный лосось, а рядом висела связка копченых угрей. Одеялом Лизбете служил великолепный мех из шкурок речных бобров. Из всего этого она заключила, что находится, вероятно, в жилище какого-нибудь рыбака.

Мало-помалу прошедшее встало в памяти Лизбеты, и она вспомнила, как рассталась с человеком, называвшимся ее мужем, она вспомнила также свое бегство в лунный вечер и свою попытку перейти вброд на остров за белыми цветами, и загорелую руку, протянувшуюся, чтобы спасти ее. Лизбета вспомнила все это, и воспоминание вызвало у нее вздох. Звук этого вздоха, по-видимому, привлек внимание кого-то, кто прислушивался извне. Дверь отворилась, и этот кто-то вошел в комнату.

— Вы проснулись, мейнфроу? — спросил хриплый голос.

— Да, — отвечала Лизбета. — Скажите мне, как я попала сюда и кто вы?

Вошедшая отступила, так что свет из двери упал прямо на нее.

— Смотри, дочь ван Хаута и жена Монтальво. Тот, кто раз видел меня, уже не забудет.

Лизбета приподнялась и взглянула на высокую, могучую фигуру, впавшие серые глаза, широко раскрытые ноздри, покрытые шрамами выдававшиеся скулы, зубы, выдвинутые каким-то дьявольским насилием вперед из-под губ, и седеющие пряди волос, спускающиеся на лоб. Она сразу узнала, кто перед ней.

— Вы Марта-Кобыла? — спросила Лизбета.

— Да, не кто иная, — отвечала Марта, — и вы в стойле Кобылы. Что сделал с вами этот испанский пес, что вы пришли к озеру, чтобы оно скрыло вас и ваш позор?

Лизбета не отвечала, ей тяжело было начать рассказывать свою историю этой странной женщине. Марта между тем продолжала:

— Что я говорила вам, Лизбета ван Хаут? Разве я не предупреждала вас, что ваша кровь должна предостеречь вас против испанца? Ну вот, вы спасли меня из воды, и я вытащила вас из воды. И почему мне вздумалось объехать именно этот остров вчерашней ночью, когда мне не спалось? Но не все ли равно! На то была воля Божья, и вот вы теперь в стойле Кобылы. Не отвечайте мне, прежде поешьте.

Подойдя к очагу, она сняла котелок и вылила его содержимое в глиняную чашку. От распространившегося запаха Лизбета в первый раз

почувствовала, что голодна. Из чего состояло поданное ей кушанье, она никогда не узнала, но съела его до последней ложки и была благодарна за это, между тем Марта, сидя на полу возле нее, с удовольствием следила за ней, время от времени вытягивая длинную худую руку, чтобы дотронуться до каштановых кудрей, спускавшихся на плечи Лизбеты. Когда Лизбета кончила еду, Марта сказала ей:

— Пойдемте посмотрим.

Она вывела свою гостью за дверь мазанки.

Лизбета взглянула кругом, но из-за зарослей тростника ничего не было видно. Саму мазанку скрывала небольшая группа болотного кустарника, росшего на кочках среди болотистой равнины вперемежку с камышом и тростником.

Пройдя шагов сто или около того, Марта и Лизбета подошли к густой камышовой заросли, в которой оказалась лодка. Марта пригласила Лизбету сесть в лодку и повезла ее сначала к ближайшему островку, потом, обогнув его, ко второму, затем — к третьему.

— Ну, теперь скажите, — спросила она, — на котором из этих островов мое стойло?

Лизбета покачала головой, не зная, куда указать.

— Ни вы, ни один человек не в состоянии сказать мне этого. Никто не может найти моего дома, кроме меня самой — я же найду туда дорогу и днем и ночью. Посмотрите, — и она указала на обширную водную поверхность. — На этом озере тысячи таких островков, и, прежде чем найти меня, испанцам пришлось бы обшарить их все, потому что здесь ни шпионы, ни собаки не могли бы помочь им.

Она снова начала грести, даже не смотря по сторонам, и через несколько минут они опять очутились в том месте в зарослях, откуда отчалили.

— Мне пора домой, — слабо поговорила Лизбета.

— Нет, — отвечала Марта, — уже слишком поздно. — Вы долго проспали. Посмотрите: солнце быстро садится. Эту ночь вы должны провести у меня. Не пугайтесь! Пища у меня грубая, но свежая, вкусная и в изобилии. Кто умеет лучше меня ловить рыбу в этом озере? Водяную птицу я тоже ловлю в силки, а яйца ее собираю. Вяленую же говядину и ветчину мне доставляют друзья, с которыми я иногда вижусь по ночам.

Лизбета уступила, так как тишина, господствовавшая на озере, нравилась ей. После всего пережитого она чувствовала себя как на небе, следя за солнцем, скрывавшимся в тихой воде, слушая крик дикой водяной птицы, видя плещущуюся рыбу, а главное, зная, что ничто не нарушит

этого мира, кроме голоса природы, и не раздастся возле нее ненавистный голос человека, погубившего и обманувшего ее. Она чувствовала, что страшно устала, ею овладела непривычная, странная слабость, и она решила отдохнуть здесь еще ночь.

Марта вернулась с ней в дом, и они вместе принялись за приготовление ужина. И поджаривая рыбу на огне, Лизбета уже смеялась, как, бывало, в дни своего девичества. Они поужинали с аппетитом, и, убрав все, Марта громко прочла молитву, а после того достала свое сокровище — Библию и, не боясь ничего, хотя знала, что Лизбета католичка, приготовилась читать, присев на корточки перед горящим очагом.

— Видите, мейнфроу, какое здесь удобное место для житья еретички. Где еще женщина могла бы читать Библию, не боясь ни шпионов, ни монахов?

Вспомнив историю Марты, Лизбета содрогнулась…

— Ну, теперь, — снова заговорила Марта, окончив чтение, — скажите мне, прежде чем лечь спать, что привело вас на Харлемское озеро и что с вами сделал этот испанец. Не бойтесь, хотя я и полоумная, — так, по крайней мере, они называют меня, — но я могу дать совет. Нас с вами, дочь ван Хаута, связывает многое: кое-что вы знаете и видите, а кое-что не можете знать и видеть, но Бог все взвесит в свое время.

Лизбета смотрела на истощенную, обезображенную почти до потери человеческого образа долгой физической и нравственной мукой женщину и проникалась все большим доверием к Марте. Чувствуя, что к ней относятся с участием, в чем она очень нуждалась, она рассказала свою историю с начала до конца.

Марта слушала молча, ее, по-видимому, не могло уже удивить ничто со стороны испанца, и только, когда Лизбета кончила, сказала:

— Ах, дитя, если б вы знали обо мне и умели меня найти, вы бы попросили меня о помощи.

— Что бы вы могли сделать, матушка? — спросила Лизбета.

— Сделать? Я бы стала следить за ним день и ночь, пока не подкараулила бы его в каком-нибудь уединенном месте и там… — Марта протянула руку, и Лизбета увидела, как при красном свете огня в руке сверкнул нож.

Она в страхе отшатнулась.

— Чего же вы испугались, моя красавица? — спросила Марта. — Я говорю вам, что живу теперь только для того, чтобы убивать испанцев, да прежде всего монахов, а потом — прочих. За мной еще много долгов: за каждую пытку мужа — жизнь, за каждый его стон на костре — жизнь, да

столько жизней за отца и половину их за сына. Я буду долго жить, я это знаю, и долг будет оплачен… до последнего стивера.

Говоря это, она встала, и свет от огня осветил ее всю. Ужасное лицо увидала перед собой Лизбета, страстное и энергичное, лицо вдохновенной мстительницы, сухое и нечеловеческое, но не отталкивающее. Испуганная и пораженная, молодая женщина молчала.

— Я пугаю вас, — продолжала Марта, — вы, несмотря на все свои страдания, еще питаетесь молоком человеческой доброты. Подождите, подождите, когда они умертвят любимого вами человека, тогда ваше сердце станет таким же, как мое, и тогда вы станете жить не ради любви, не ради самой жизни, но чтобы быть мечом — мечом в руках Господа.

— Перестаньте, прошу вас, — проговорила Лизбета слабым голосом, — мне дурно, я нездорова.

Действительно, она почувствовала себя дурно, и к утру в этом логовище, на пустынном острове озера у нее родился сын… Когда она несколько оправилась, ее сиделка сказала:

— Хотите вы сохранить мальчишку или убить его?

— Как я могла бы убить своего ребенка? — отвечала Лизбета.

— Он сын испанца. Вспомните проклятье, о котором вы рассказали мне, — проклятие, произнесенное вами еще до вашего замужества. Если он останется в живых, проклятие будет тяготеть над ним, и через него падет и на вас. Лучше поручите мне убить его — и всему конец.

— Разве я могу убить собственного ребенка? Не трогайте его, — сказала Лизбета.

Таким образом, черноглазый мальчик остался в живых и вырос.

*** * ***

Мало-помалу силы стали возвращаться к Лизбете, лежавшей в мазанке на острове.

Кобыла или «матушка Марта», как теперь звала ее Лизбета, ходила за больной лучше всякой сиделки.

В пище недостатка не было, так как Марта ловила сетями дичь и рыбу, а иногда ходила на берег и приносила оттуда молоко, яйца и мясо, которых, по ее словам, местные крестьяне давали ей сколько угодно. Коротая время, Марта вслух читала Лизбете Библию, и из этого чтения Лизбета узнала

многое, что до тех пор было ей неизвестно.

Действительно, все еще будучи католичкой, она теперь начала спрашивать себя, в чем собственно вина этих еретиков и за что их осуждать на мучения и смерть, если в этой книге она не могла найти ничего такого, что нарушалось бы их учением и жизнью.

Таким образом Марта, озлобленная, полусумасшедшая обитательница озера, посеяла в сердце Лизбеты семя, которое должно было принести плод в свое время.

Когда по прошествии нескольких недель Лизбета встала, но еще не была достаточно сильна, чтобы идти домой, Марта сказала однажды, что ей надо отлучиться из дому на целые сутки, но не объяснила, по какому делу. Оставив хорошие запасы всего необходимого, она одна после обеда уехала в своем челноке и вернулась только к вечеру следующего дня. Лизбета начала говорить, что ей пора уезжать с острова, но Марта не позволяла ей этого, говоря, что для этого придется пуститься вплавь. И действительно, выйдя посмотреть, Лизбета не нашла челнока. Нечего делать, ей пришлось остаться, и на свежем осеннем воздухе прежняя сила и красота вернулись к ней. Она снова стала такой, какой была в день своего катания с Хуаном де Монтальво.

В одно ноябрьское утро, оставив ребенка на попечение Марты, поклявшейся на Библии, что она не тронет его, Лизбета пошла на берег острова. Ночью был первый осенний заморозок, и поверхность озера покрылась тонким, прозрачным слоем льда, быстро таявшего в лучах поднимающегося все выше солнца.

Воздух был чист и прозрачен. В тростнике, верхушки которого пожелтели, перелетали зяблики, чирикая и забывая, что зима на носу. Все было так мирно и красиво, что Лизбета, также забыв многое, залюбовалась этой картиной. Она сама не знала почему, но чувствовала себя счастливой в это утро. Будто темное облако сбежало с ее жизни, и над ней снова расстилалось мирное, радостное небо.

Конечно, другие облака могли явиться на горизонте, они, вероятно, и явятся в свое время, но Лизбета чувствовала, что теперь, пока этот горизонт очень удален и над ее головой лишь нежное, чистое, радостное небо.

Вдруг она услышала позади себя на сухой траве шаги — не знакомые, осторожные, медленные шаги Марты, а чьи-то чужие. Лизбета обернулась.

Боже! Что это такое? Перед ней, если она только не грезила, стоял Дирк ван Гоорль, не кто иной, как Дирк, со своим добрым, весело улыбающимся лицом, и протягивал ей руки.

Лизбета не сказала ничего: она не могла говорить и только стояла,

смотря на него, пока он не подошел и не обнял ее. Тогда она отскочила назад.

— Не прикасайтесь ко мне! — закричала она. — Вспомните, кто я и почему я здесь.

— Я хорошо знаю, кто вы, Лизбета, — медленно отвечал он, — вы самая чистая и святая женщина, когда-либо жившая на земле, вы ангел во плоти, вы женщина, пожертвовавшая честью ради спасения любимого человека. Не возражайте! Я слышал всю историю, я все знаю и преклоняю колени перед вами. Я молюсь на вас!

— А ребенок? — спросила Лизбета. — Он жив. Он мой сын и сын того человека.

Лицо Дирка приняло несколько более суровое выражение, но он ограничился тем, что сказал:

— Мы должны нести свой крест. Вы свой несли, теперь я должен нести свой.

Он схватил ее руки и целовал их; схватил полу ее одежды и также целовал.

Так состоялось их обручение.

Впоследствии Лизбета услыхала всю историю. Монтальво был привлечен к допросу, и случилось, что обстоятельства сложились не в его пользу. Среди судей был очень важный нидерландский вельможа, желавший поддержать права своих соотечественников, другой — высокопоставленное духовное лицо; их возмущал обман, в который была введена Церковь совершением противозаконного брака. Третий же судья, испанский гранд, случайно был знаком с семьей покинутой первой жены Монтальво.

Таким образом, к несчастному капитану, вина которого была вполне доказана свидетельством монаха, принесшего письмо, самими письмами и злопамятной Черной Мег, обещавшей отплатить «горячей водой за холодную», отнеслись без всякого снисхождения. Репутация у него была плохая, и, кроме того, говорили, что его жестокость и позор Лизбеты ван Хаут, виной которого был он, побудили ее к самоубийству.

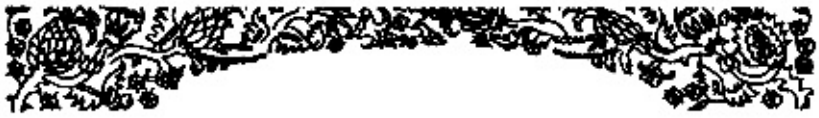
Всем было известно, что она ночью бежала по направлению к Харлемскому озеру, и после этого все усилия друзей отыскать ее не привели ни к чему: она исчезла.

И вот, несмотря на все усилия графа Хуана Монтальво оправдаться письменно и устно, его, благородного капитана, ради спасительного примера, осудили, как простого раба, к четырнадцати годам каторжных работ на галерах. И там пока он и находится…

* * *

Так окончился трагический роман Дирка ван Гоорля и Лизбеты ван Хаут. Через полгода они отпраздновали свою свадьбу и, по желанию Дирка, взяли к себе сына Лизбеты, нареченного при крещении Адрианом. Несколько месяцев спустя Лизбета вступила в общину последователей новой веры, а спустя два года после свадьбы у нее родился еще один сын, герой нашего рассказа, которому дали имя Фой.

Больше детей у Лизбеты не было.



КНИГА ВТОРАЯ

ЖАЖДА ЗРЕЕТ

IX. Адриан, Фой и Красный Мартин

Много лет прошло после того, как Лизбета встретилась с любимым человеком на берегу Харлемского озера. Сын, родившийся у нее там, так же, как и второй ее сын, уже выросли, и ее волосы поседели под лопастями чепца.

Быстро ткал Божий челнок в эти роковые годы, и вытканная ткань была историей народа, замученного до смерти, и окрашена она была его кровью.

Эдикт следовал за эдиктом, преступление за преступлением. Альба[88], как воплощение бесчеловечной мести, двинул свою армию спокойно и беззаботно, как тигр, выслеживающий свою добычу, через границы Франции. Теперь он подошел к Версалю, и головы графов Эгмонта и Горна[89] уже пали. Уже учреждено было Кровавое Судилище[90] и начало свое дело. Закон перестал существовать в Нидерландах, и любые несправедливости и жестокости стали возможны там. Одним эдиктом Кровавого Судилища все нидерландцы, числом до трех миллионов, были осуждены на смерть. Все были объяты ужасом, потому что со всех сторон возвышались костры, виселицы, орудия пыток. Извне велась война, внутри господствовал страх, и никто не знал, кому доверять, так как сегодняшний друг мог завтра превратиться в доносчика или судью. И все это за то, что нидерландцы решились поклоняться Богу, не признавая католических обрядов и монахов.

* * *

Хотя прошло уже много времени, но те личности, с которыми мы

познакомились в начале этого рассказа, еще были живы. Начнем же наше повествование с двух из них: одного — уже хорошо знакомого нам Дирка ван Гоорля, и другого, про которого еще надо сказать несколько слов, — его сына Фоя.

*** * ***

Место действия — небольшая комната с узкими окнами над товарным складом, выходящим на лейденский рынок. Ход в комнату по двум лестницам. Время — летние сумерки. При слабом свете, проникавшем через незанавешенные окна (завесить их значило бы возбудить подозрения), можно было видеть, что в комнате собралось человек двенадцать, между ними одна или две женщины. Большей частью это были люди, принадлежавшие к высшему классу, — средних лет почтенные бюргеры. Они или стояли группами, или сидели на стульях и скамьях. На одном конце комнаты обращался к присутствующим с речью мужчина средних лет, с седеющими волосами и бородой, невысокий и некрасивый, но весь до такой степени проникнутый добротой, что она, казалось, светилась через его неказистую наружность, как свет, изливающийся сквозь грубые роговые стенки фонаря. Это был Ян Арентс, знаменитый проповедник, корзинщик по профессии, доказавший свою непоколебимую приверженность новой религии и одаренный способностью не смущаться среди всех ужасов самого страшного из преследований, которые христианам пришлось перенести со времен римских императоров. Он теперь проповедовал, и присутствовавшие составляли его паству.

«Я принес не мир, но меч», — был взятый им текст, и, без сомнения, он как нельзя больше подходил ко времени, и его можно было легко развить, так как в эту самую минуту на площади под окнами дома, где они собрались, охраняемые солдатами два члена его стада, еще две недели тому назад молившиеся в этой комнате, на глазах собравшейся городской черни претерпевали мученическую смерть на костре!

Арентс проповедовал терпение и стойкость. Он возвращался к событиям недавно прошедших дней и рассказывал своим слушателям, как сам подвергался сотне опасностей: как его травили, точно волка, как пытали, как он бежал из тюрьмы и от мечей солдат, подобно святому Павлу, и как остался в живых, чтобы поучать их в сегодняшний вечер. Он говорил,

что они не должны бояться, что они должны быть совершенно счастливы, спокойно принимая то, что Богу будет угодно послать им, в уверенности, что все идет к лучшему, что даже самое худшее приведет к лучшему. Что может быть самым худшим? Несколько часов мучений и смерть. А что следует за смертью? Пусть они помнят об этом. Вся жизнь только мрачная, скоропреходящая тень, не все ли равно, как и когда мы выйдем из этой тени на полный свет. Небо темно, но за тучами светит солнце. Надо смотреть вперед глазами веры. Быть может, страдания теперешнего поколения — часть всеобщего плана. Быть может, из земли, орошенной кровью, произрастет цветок свободы, чудной свободы, при которой все люди получат возможность поклоняться своему Создателю, сообразуясь только с предписаниями Библии и со своей совестью… В то время, как он говорил это, красноречиво, мягко, вдохновенно, сумерки сгустились и отблеск от пламени костров осветил окна, а до слуха собравшихся в комнате донесся гул толпы с площади. Проповедник с минуту помолчал, смотря вниз на ужасную сцену под окнами: с того места, где он стоял, можно было видеть все.

— Марк умер, — сказал он, — и другой наш возлюбленный брат, Андреас Янсен, умирает: палачи придвигают к нему связки хвороста. Вы думаете, что это жестокая, ужасная смерть, а я вам говорю, что нет. Я говорю, что мы свидетели святого, славного зрелища, мы видим переход души в вечное блаженство. Братья, помолимся за покидающего нас и за нас, оставшихся. Помолимся и за убивающих его, ибо не ведают они, что творят. Мы видим их страдания, но говорю вам, что их также видит и Господь Иисус Христос, также страдавший на кресте и бывший жертвой таких же людей, как они. Его голос ободряет их. Братья, давайте молиться.

По этому приглашению все члены собрания опустились на колени, молясь за отлетающую душу Андреаса Янсена. Снова Арентс взглянул в окно.

— Он умирает! — воскликнул он. — Солдат проткнул его из сострадания пикой, голова его поникла. О Господи, если будет на то воля Твоя, даруй нам знамение.

По комнате пронеслось какое-то странное дуновение — холодное дыхание коснулось лбов молящихся и подняло их волосы, принося с собой ощущение присутствия Андреаса Янсена, мученика. И вдруг на стене, противоположной окнам, на том самом месте, где обыкновенно стоял Андреас, появилось знамение — или то, что присутствующие признали знамением. Быть может, то было отражение огня с улицы, только на стене в потемневшей комнате явственно появилось изображение огненного креста.

Секунду оно оставалось видимым, затем исчезло, но в душу каждого из присутствующих оно внесло особое настроение: всем оно послужило наставлением, как жить и умереть. Крест исчез, и в комнате царило молчание.

— Братья, — раздался голос Арентса, говорившего в темноте, — вы видели. Через мрак и огонь идите за крестом и не бойтесь!

Собеседование кончилось, и внизу, на опустевшей площади, палачи убирали обгоревшие останки мучеников, чтобы бросить их с обычными грубыми шутками в темнеющие воды реки.

Участники собеседования по одному и по двое стали уходить через потайную дверь, ведшую в узкий проход. Взглянем на некоторых из них в то время, как они крадучись направляются по боковым улицам к одному дому на Брее-страат, уже знакомому нам: двое идут впереди, а один позади.

Двумя первыми были Дирк ван Гоорль и его сын Фой, в родстве которых не могло быть сомнения. Дирк был тем же Дирком, что и двадцать пять лет тому назад, — коренастый, сероглазый, бородатый мужчина, красивый по голландским понятиям, только несколько располневший и более задумчивый, чем прежде. Вся массивная фигура носила отпечаток его добродушного, несколько тяжеловесного характера. Сын его, Фой, очень походил на него, только волосы у него были соломенного цвета, а глаза не серые, а голубые. И хотя в настоящую минуту они смотрели грустно, но вообще это были веселые, ласковые глаза, так же, как и все его несколько детское лицо — лицо человека, склонного видеть в вещах лишь хорошую сторону.

В наружности Фоя не было ничего особенного, но на всякого, встречавшегося с ним в первый раз, он производил впечатление человека энергичного, честного и доброго. Он походил на моряка, вернувшегося из долгого плавания, во время которого он пришел к убеждению, что жить на этом свете приятно и что жить вообще стоит. Когда Фой шел теперь по улице своей слегка покачивающейся походкой моряка, ясно было, что даже ужасная сцена, только что происходившая на его глазах, не могла вполне изменить его веселого, жизнерадостного настроения.

Из всех слушателей Арентса ни один не принял так близко к сердцу увещевания проповедника об уповании и беззаботном отношении к будущему, как Фой ван Гоорль.

По своему характеру Фой не мог долго горевать. Dum spiro spero[91] — могло быть его девизом, если бы он знал латынь, и он не собирался горевать, хотя бы даже ему предстояло в будущем сожжение на костре. Эта веселость в такое тяжелое, грустное время была причиной того, что Фой

стал всеобщим любимцем.

Позади отца с сыном шла гораздо более замечательная личность — Фриц Мартин Роос, или Мартин Красный, названный так по цвету своих огненно-красных волос и бороды, спускавшейся ему на грудь. Ни у кого во всем Лейдене не было второй такой бороды, и уличные мальчишки, пользуясь добродушием Мартина, пробегая мимо него, спрашивали, правда ли, что аисты каждую весну вьют в ней гнезда. Этот человек, которому на вид можно было дать лет сорок, уже десять дет был верным другом Дирка ван Гоорля, в дом которого он поступил при обстоятельствах, о которых мы скажем в свое время.

Посмотрев на Мартина, вы бы не назвали его великаном. Между тем он был очень высокого роста, выше шести футов и трех дюймов. Его рост умалялся большим животом и привычкой горбиться, именно с целью скрыть свой высокий рост. По всем своим размерам Мартин был действительно замечателен, так что человек с обыкновенными руками, стоя перед ним, не мог бы обхватить его. Цвет лица его был нежен, как у молодой девушки. Лицо же него было почти плоское, как полная луна, нос пуговкой. От природы в его сложении не было ничего особенного, но вследствие некоторых событий в своей жизни, когда он был, как мы называем теперь, атлетом по профессии, он приобрел оригинальную манеру держать себя. Брови у него были нависшие, но из-под них смотрели большие круглые голубые глаза под толстыми белыми веками, совершенно лишенными ресниц. Однако когда обладатель этих глаз сердился, они начинали дико сверкать: они вспыхивали и горели, как фонари на носу лодки в темную ночь, и это производило тем большее впечатление, что вся его остальная фигура оставалась при этом совершенно безучастной.

Вдруг, в то время как эти три человека шли по улице, послышался шум бегущих людей. Тотчас же все трое скрылись за воротами одного из домов и притаились. Мартин стал прислушиваться:

— Их трое, — шепнул он, — впереди бежит женщина, и ее преследуют двое.

В эту минуту неподалеку распахнулась дверь, и показалась рука с факелом. Он осветил бледное лицо бежавшей женщины и преследовавших ее двух испанских солдат.

Рука с факелом скрылась, и дверь захлопнулась. В эти дни спокойные бюргеры избегали вмешиваться в уличные беспорядки, особенно если в них принимали участие испанские солдаты. Снова улица опустела, и слышался только звук бегущих ног.

Как раз в тот момент, когда женщина поравнялась с воротами, ее

нагнали.

— Пустите меня! — с рыданием молила она. — Пустите! Не довольно ли того, что вы убили мужа! За что вы преследуете меня!

— За то, что вы такая хорошенькая, моя милочка, — отвечал один из негодяев, — и такая богатая. Держи ее, друг. Господи, как она брыкается!

Фой сделал движение, будто собираясь броситься из-под ворот, но Мартин ладонью своей руки удержал его, по-видимому не делая ни малейшего усилия, но так крепко, что молодой человек не мог пошевелиться.

— Это мое дело, менеер, — проговорил он, — вы нашумели бы.

В темноте было слышно только его прерывистое дыхание. Двигаясь с замечательной осторожностью для такой туши, Мартин вышел из-за ворот. При свете летней звездной ночи оставшиеся в засаде могли видеть, как он, не замеченный и не услышанный солдатами, людьми высокого роста, подобно большинству испанцев, схватил их сзади за шиворот и столкнул головами. Об этом можно было судить по движению его широких плеч и бряцанию солдатских лат, когда они соприкоснулись. Но солдаты не издали ни одного звука. После того Мартин, по-видимому, схватил их поперек тела, и в следующую минуту оба солдата полетели головами вниз в канал, протекавший посередине улицы.

— Боже мой! Он убил их! — проговорил Дирк.

— И как ловко! Жалею только, что дело обошлось без меня, — сказал Фой.

Большая фигура Мартина обрисовалась в воротах.

— Фроу Янсен убежала, — сказал он, — на улице никого нет. Я думаю, и нам надо поспешить, пока нас никто не видел.

Несколько дней спустя тела этих испанцев были найдены с расплющенными лицами.

Это объяснили тем, что они, вероятно, напившись, затеяли между собой драку и, свалившись с моста, разбились о каменные быки. Все приняли это объяснение, как вполне согласное с репутацией этих людей. Не было произведено никакого дознания.

— Пришлось покончить с собаками, — сказал Мартин, как бы извиняясь, — прости меня, Иисус, я боялся, как бы они не узнали меня по бороде.

— Да, в тяжелые времена нам приходится жить, — со вздохом проговорил Дирк. — Фой, не говори ничего обо всем этом матери и Адриану.

Фой же подталкивал Мартина, шепча:

— Молодец! Молодец!

После этого приключения, не представлявшего собой, как то должен помнить читатель, ничего особенного в эти ужасные времена, когда ни жизнь человеческая, особенно протестантов, ни женская честь никогда не были в безопасности, все трое благополучно добрались до дому, никем не замеченные. Они вошли через заднюю дверь, ведшую в конюшню. Им отворила женщина и ввела их в маленькую освещенную комнату. Здесь женщина обернулась и поцеловала сперва Дирка, потом Фоя.

— Слава Богу, вы вернулись благополучно! — сказала она. — Каждый раз, как вы идете на собрание, я дрожу, пока не услышу ваших шагов за дверью.

— Какая из этого польза, матушка? — заметил Фой. — Оттого, что ты мучаешь себя, ничто не изменится.

— Это делается помимо моей воли, дорогой, — отвечала она — Знаешь, нельзя быть всегда молодым и беззаботным.

— Правда, жена, правда, — вмешался Дирк, — хотя желал бы я, чтобы это было возможно: легче было бы жить, — он взглянул на нее и вздохнул.

Лизбета ван Гоорль давно уже утратила красоту, которой блистала, когда мы впервые увидали ее, но все еще она была миловидной, представительной женщиной, почти такой же стройной, как в молодости. Серые глаза также сохранили свою глубину и огонь, только лицо постарело, больше от пережитого и забот, чем от лет. Тяжела была судьба любящей жены и матери в то время, когда Филипп правил в Испании[92], а Альба был его наместником в Нидерландах.

— Все кончено? — спросила Лизбета.

— Да, наши братья теперь святые, в раю. Радуйся.

— Это дурно, — отвечала она с рыданием, — но я не могу. О, если Бог справедлив и добр, зачем же он допускает, что его слуг так избивают? — добавила она с внезапной вспышкой негодования.

— Может быть, наши внуки будут в состоянии ответить на этот вопрос, — сказал Дирк.

— Бедная фроу Янсен, — перебила Лизбета, — еще так недавно замужем, такая молоденькая и хорошенькая! Что будет с ней?

Дирк и Фой переглянулись, а Мартин, оставшийся у двери, виновато скользнул в проход, будто он пытался оскорбить фроу Янсен.

— Завтра навестим ее, а теперь дай нам поесть, мне даже дурно от голода.

Через десять минут они сидели за ужином.

Читатель, может быть, еще помнит комнату — ту самую, где бывший

граф и капитан Монтальво произнес речь, очаровавшую его слушателей, вечером после того, как он был побежден в беге на льду. Та же люстра спускалась над столом, часть той же посуды, выкупленная Дирком, стояла на столе, но какая разница между сидевшими за столом теперь и тогда! Тетушки Клары давно не стало, а вместе с ней и многих из гостей: некоторые умерли естественной смертью, другие от руки палача, некоторые же бежали из своего отечества. Питер ван де Верф был еще жив, и хотя власти смотрели на него подозрительно, однако он занимал почетное и влиятельное положение в городе. Сегодня его за столом не было. Пища была обильная, но простая, однако, не по бедности, — дела искусного и трудолюбивого Дирка шли хорошо, и он стоял теперь во главе того медного дела, где прежде был учеником, — а потому, что вообще в те времена люди мало думали об изысканности пищи. Когда жизни грозит постоянная опасность, то все удовольствия и развлечения теряют свою ценность.

Прислуживали теперь за столом вместо прежних слуг и Греты давно исчезнувших неизвестно куда, Мартин и старая служанка: так как всегда можно было опасаться шпионства, даже самые богатые люди держали как можно меньше слуг. Одним словом — все удобства были сведены к минимуму.

— Где Адриан? — спросил Дирк.

— Не знаю, — отвечала Лизбета. — Я думала, он, может быть…

— Нет, — быстро возразил муж, — он не был там; он редко ходит с нами.

— Брат Адриан любит посмотреть на нижнюю сторону ложки, прежде чем облизать ее, — сказал Фой с полным ртом.

Замечание было загадочное, но родители, по-видимому, поняли, что хотел сказать Фой. По крайней мере, за его словами последовало тяжелое, натянутое молчание. Как раз в это время вошел Адриан, и так как мы не видели его уже двадцать четыре года, со времени его появления на свет на одном из бесчисленных островов Харлемского озера, то мы должны описать теперь его наружность.

Это был красивый молодой человек, но совершенно иного типа, чем его сводный брат Фой. Свой высокий рост и статную фигуру Адриан унаследовал от матери. Лицом же он так мало походил на нее, что никто бы не угадал в нем сына Лизбеты. Тип у него был чисто испанский, ни одной нидерландской черты не было в этом красавце-брюнете. Испанскими были темные бархатные глаза, близко расположенные по обе стороны чисто испанского тонкого носа с тонкими, широко раскрытыми ноздрями, испанским был холодный, несколько чувственный рот, скорее способный

саркастически усмехаться, чем улыбаться. При этом прямые черные волосы, гладкая оливковая кожа и равнодушный полускучающий вид, очень шедший Адриану, но показавшийся бы неестественным и натянутым в нидерландце его лет — все в нем указывало на испанца.

Адриан сел, не говоря ни слова, и никто не заговорил с ним, пока его отчим Дирк не сказал:

— Ты сегодня не был на работе, хотя мог быть нам очень полезен при отливке пушки.

— Нет, батюшка, — отвечал молодой человек ровным, мелодичным голосом. — Вы знаете, что еще достоверно не известно, кто заплатит за эту пушку. По крайней мере, мне не известно, потому что от меня все держат в тайне, и если заказчиком окажется побежденная сторона, то этого достаточно, чтобы повесить меня.

Дирк вспыхнул, но не ответил, а Фой заметил:

— Ты прав, Адриан, береги свою шкуру.

— Я считаю, что теперь гораздо более целесообразно изучать тех, в кого может стрелять пушка, чем пушку, которая предназначается для этого, — невозмутимо продолжал Адриан, не обращая внимания на замечание брата.

— Будем надеяться, что ты не принадлежишь к их числу, — снова перебил Фой.

— Где ты был сегодня вечером, сын мой? — поспешно спросила Лизбета, боясь ссоры.

— Вместе с толпой смотрел на то, что происходило на рыночной площади.

— Неужели на мучения нашего друга Янсена?

— Почему же нет? Это ужасно, это преступление, без сомнения, но наблюдающему жизнь следует изучать такие вещи. Ничто не привлекает так философа, как игра людских страстей. Волнение грубой толпы, тупое равнодушие стражи, горе сочувствующих, стоическое терпение жертв, воодушевленных религиозным порывом…

— И великолепные логические выводы философа, который стоит, подняв нос кверху, и смотрит, как его друга и брата по вере сжигают медленным огнем! — запальчиво перебил Фой.

— Тише! Тише! — вмешался Дирк, ударяя кулаком по столу с такой силой, что стаканы зазвенели. — О таких вещах не спорят. Адриан, тебе следовало бы быть с нами, даже если бы тебе грозила опасность, вместо того чтобы ходить на эту бойню! — добавил он многозначительно. — Но я никого не хочу подвергать опасности, и ты уже в таком возрасте, когда

можешь сам решать за себя. Прошу тебя только избавить нас от твоих рассуждений по поводу зрелища, которое мы находим ужасным, каким бы интересным оно ни казалось тебе.

Адриан пожал плечами и приказал Мартину подать себе еще мяса. Когда великан подошел к молодому человеку, он расширил свои тонкие ноздри и втянул воздух.

— Что это так от тебя пахнет, Мартин? — сказал он. — Впрочем, неудивительно, твоя куртка в крови. Ты бил свиней и забыл переодеться?

Круглые голубые глаза Мартина вспыхнули, но тотчас снова потускнели и померкли.

— Да, менеер, — отвечал он басом, — я бил свиней. Но и от вас пахнет дымом и кровью. Вы, вероятно, подходили к костру.

В эту минуту Дирк, чтобы положить конец разговору, встал и начал читать молитву. Затем он вышел из комнаты в сопровождении жены и Фоя, между тем как Адриан задумчиво и не спеша заканчивал свой обед.

Выйдя из столовой, Фой последовал за Мартином через двор в конюшню, а оттуда по лестнице в комнату наверху, где спал слуга. Комната имела странный вид: она была вся набита всевозможным хламом и рухлядью. Здесь были бобровые и волчьи меха, птичьи кожи, различное оружие, между прочим огромный меч старинного образца и простой работы, но сделанный из превосходной стали, обрывки сбруи и тому подобное.

Постели не было, так как Мартин не признавал ее и спал на шкурах, постеленных прямо на пол. В одеяле он также не нуждался: он был так закален, что за исключением самой холодной погоды довольствовался своей шерстяной курткой. Ему случалось спать в ней на дворе в такой мороз, что утром у него волосы на голове и борода оказывались в сосульках.

Мартин затворил дверь и зажег три фонаря, которые повесил на крючья на стене.

— Хотите пофехтовать? — спросил он Фоя.

Фой кивнул утвердительно, говоря:

— Мне хочется прогнать вкус всего этого, поэтому не щади меня. Нападай, пока я не разозлюсь, я тогда забуду… — Он снял с гвоздя кожаный шлем и надел на голову.

— Забудете?… Что? — спросил Мартин.

— Молитву, сожжение, фроу Янсен и рассуждения Адриана.

— Да, это самое худшее из всего, — великан нагнулся и продолжал шепотом, — не спускайте с него глаз, хеер Фой.

— Что ты хочешь сказать этим? — спросил Фой резко, вспыхнув.

— То, что говорю.

— Ты забываешь, что говоришь о моем брате, родном сыне моей матери. Я не хочу слышать ничего дурного об Адриане. Он смотрит на многое иначе, чем мы, но в душе он добр. Понимаешь?

— Он не сын вашего отца, менеер. Яблоко недалеко падает от яблони. Порода сказывается. Мне приходилось разводить лошадей, и я знаю.

Фой смотрел на него и колебался.

— Нет, — сказал Мартин, отвечая на вопрос, который прочел в его глазах, — я не имею ничего против него, но он на все смотрит не так, и к тому же он испанец…

— А ты не любишь испанцев, — перебил его Фой. — Ты несправедливая, упрямая свинья.

Мартин улыбнулся.

— Я не люблю испанцев, менеер, да и вы скоро перестанете любить их. Ну, долг платежом красен — и они не любят меня.

— Как это тебе удалось так тихо обделать это дело? — спросил Фой, вспомнив о недавнем происшествии. — Отчего ты не позволил мне помочь тебе?

— Вы бы нашумели, менеер, а зачем привлекать к себе внимание. Они, к тому же, были вооружены и могли ранить вас.

— Ты прав. А как ты это сделал? Мне не было видно.

— Я выучился этой штуке в Фрисландии — мне показали матросы. На шее у человека, здесь, позади, есть такое место, что если схватить за него, то человек сию секунду лишается чувств. Вот так, менеер… — он на секунду схватил молодого человека за шею, и тот почувствовал, что лишается сознания.

— Пусти! — прохрипел он, отбиваясь ногами.

— Я только хотел показать вам, — ответил Мартин, подняв веки. — Вот когда они лишились чувств, было уже не трудно столкнуть их головами так, чтобы они уже больше не приходили в себя. Если бы я не убил их, — прибавил он, — так… Ну, все равно они умерли, а мы с вами поужинали, и теперь я жду. Как мы станем фехтовать: на голландский или на испанский манер?

— Сначала по-голландски, а потом по-испански, — отвечал Фой.

— Хорошо, стало быть, обе понадобятся. Он снял со стены две рапиры, оправленные в старые рукоятки от мечей, чтобы защитить руки фехтующих.

Оба стали в позицию, и тут, при свете фонарей, Мартин предстал во

весь свой гигантский рост. Фой, тоже высокий и статный, крепко сложенный, как все его соотечественники, казался мальчиком перед своим противником.

Излишне было бы следить за их упражнениями, которые окончились так, как того можно было ожидать. Фой прыгал то в одну, то в другую сторону, то коля, то рубя, между тем как Мартин едва шевелил своей рапирой. Потом он вдруг парировал удар, и рапира вылетела из рук Фоя, падая позади него и поднимая пыль из его кожаного колета.

— Все равно, какая польза становиться в позицию против тебя, большой скотины, — сказал наконец Фой, — когда ты просто рубишь с плеча. Это не искусство.

— Нет, менеер, так бывает на деле. Если бы мы фехтовали на мечах, то я уже давно изрубил бы вас в куски. И для вас тут особого позора нет, и для меня нет особенной заслуги: мои руки длиннее и удар тяжелее — вот и все.

— Как-никак, я побежден, — сказал Фой, — ну, возьми рапиру и дай мне случай поправить положение.

Они начали фехтовать на легких рапирах, снабженных для безопасности на концах оловянными кружками, и тут счастье переменилось. Фой был проворен, как кошка, и имел глаз сокола, и два раза ему удалось тронуть Мартина.

— Убит, старик! — сказал он после второго раза.

— Верно, — отвечал Мартин, — только помните, что я-то убил вас прежде, так что вы только привидение и больше ничего. Хоть я и научился обращаться с этой вилкой, чтобы сделать вам удовольствие, но не намерен употреблять ее. Вот мое оружие!

Схватив большой меч, стоявший в углу, он стал вертеть им в воздухе.

Фой взял меч из рук Мартина и стал рассматривать. Это было длинное, прямое стальное лезвие, оправленное в простую рукоятку, и с одним словом, вырезанным на нем: «Молчание».

— Почему его зовут «Молчанием», Мартин?

— Думаю, потому, что он заставляет людей молчать.

— Откуда он у тебя? — спросил Фой шутливо. Он знал, что этот вопрос задевал за живое фриза[93].

Мартин сделался красен, как его борода.

— Мне кажется, он когда-то служил мечом Правосудия в небольшом городке Фрисландии. А как он попал ко мне, я забыл.

— И ты еще называешь себя хорошим христианином, — сказал Фой с упреком. — Я слышал, что этот меч должен был отсечь тебе голову, а ты как-то ухитрился стянуть его и удрать.

— Было что-то в этом роде, — пробормотал Мартин. — Только все это было так давно, что я уж позабыл. Я так редко бывал трезв в то время, — прости меня, Господи, — что не могу всего ясно припомнить. А теперь позвольте мне лечь спать.

— Старый ты лгун, — сказал Фой, покачивая головой, — ты убил этого несчастного слугу правосудия и удрал с его мечом. Ты сам знаешь, что дело было так, и теперь тебе стыдно признаться.

— Может быть, может быть, — уклончиво отвечал Мартин, — на свете случается так много вещей, что всего и не запомнишь. Мне хочется спать.

— Мартин, — сказал Фой, садясь на стул и снимая колет, — что ты делал, прежде чем записался в святые? Ты мне никогда не рассказывал всей своей истории. Ну расскажи, я не перескажу Адриану.

— Нечего и рассказывать…

— Ну, говори скорей.

— Если вам интересно знать, я сын крестьянина из Фрисландии.

— И англичанки из Ярмута, это я знаю.

— Да, — повторил Мартин, — англичанки из Ярмута. И мать моя была очень сильная женщина: она могла одна поднимать телегу, когда отец смазывал колеса. Это случалось иногда, большей же частью отец поддерживал телегу, пока она мазала колеса. Люди сходились смотреть на нее, когда она проделывала такую штуку. Когда я подрос, я поднимал телегу, а они оба мазали колеса. В конце концов они умерли от чумы, упокой, Господи, их души! Я получил ферму в наследство.

— Ну… и? — спросил Фой, пристально смотря на него.

— Ну, и поддался дурной привычке, — неохотно докончил Мартин.

— Стал пить? — допрашивал безжалостный Фой.

Мартин вздохнул и опустил свою большую голову. Совесть у него была чувствительная.

— Вот ты и начал выступать борцом, — продолжал его мучитель, — ты не можешь отречься от этого: взгляни на свой нос.

— Да, я был борцом. Господь еще не коснулся моего сердца в то время. И правду сказать, ничего в этом не было дурного, — добавил он. — Никто не побеждал меня, только один раз, когда я был выпивши, меня побил один брюсселец. Он переломил мне переносицу. Когда же я перестал пить… — он запнулся.

— Ты убил испанца-борца здесь, в Лейдене, — докончил Фой.

— Да, — согласился Мартин, — я убил его, это верно, но ведь славная была борьба, и он сам виноват. Этот испанец был молодец, да, видно, уж

суждено мне было покончить с ним. Я думаю, мне его смерть зачтется на небе.

— Расскажи-ка мне подробнее про это: я в то время был в Гааге и хорошенько не помню всего. Я, конечно, не сочувствую таким вещам, — шутник сложил руки и принял набожный вид, — но раз все это кончено, можно послушать рассказ о борьбе. Ведь ты не станешь хуже от того, что расскажешь.

Вдруг беспамятный Мартин обнаружил необыкновенную памятливость и в мельчайших подробностях рассказал об этой достопамятной борьбе.

— И вот, после того как он дал мне пинка в живот, — закончил он, — чего, как вы знаете, не имел права делать, я вышел из себя и изо всей силы набросился на него. Левой рукой ударив что есть мочи по его правой, которой он защищался…

— И что же потом? — спросил Фой, начиная возбуждаться, так как Мартин рассказывал действительно хорошо.

— Голова его ушла в плечи, и когда его подняли, оказалось, что у него сломана шея. Мне было жаль его, но помочь ему я не мог, видит Бог, не мог. Зачем он назвал меня «поганым фризским быком» и ударил в живот?

— Конечно, это он сделал напрасно. Но ведь тебя арестовали, Мартин?

— Да, во второй раз приговорили к смерти за убийство. Видите ли, опять всплыло это фрисландское дело, и здешние власти держали пари за испанца. Тут спас меня ваш отец. Он в этот год был бургомистром и выкупил меня, заплатив знатные деньги. Теперь вы знаете, почему старый Мартин будет служить ему, пока есть хоть капля крови в его жилах. А теперь, менеер Фой, я пойду спать, и дай мне Бог не видеть во сне этих собак-испанцев.

— Не бойся, — сказал Фой, уходя, — «отпускаю их» тебе. Господь через твою силу поразил тех, кто не постыдился оскорбить и ограбить молодую вдову, убив ее мужа. Можешь быть спокоен, ты сделал доброе дело. Я боюсь только одного: как бы нас не выследили. Впрочем, улица, кажется, была совершенно пуста.

— Совсем пуста, — с кивком подтвердил Мартин, — никто не видал меня, кроме солдат и фроу Янсен. Они не могут сказать — и она не скажет. Спокойной ночи, менеер!

X. Адриан отправляется на соколиную охоту

В доме на одной из боковых улиц Лейдена, неподалеку от тюрьмы, на другой день после сожжения Янсена и еще одного мученика, сидели за завтраком мужчина и женщина. Мы уже встречались с ними: то были не кто иные, как досточтимая Черная Мег и ее сожитель, прозванный Мясником. Время пощадило их физические силы, однако не способствовало украшению их наружности.

Черная Мег осталась почти такой, какой была, только волосы поседели и черты лица, будто обтянутого желтым пергаментом, еще больше обострились, между тем как глаза продолжали гореть прежним огнем. Мужчина, Гаг Симон, по прозвищу Мясник, от природы негодяй, а по профессии шпион и вор, — порождение века насилия и жестокости, — своей фигурой и лицом вполне оправдывал данное прозвище.

Толстое расплывшееся лицо с маленькими свиными глазками обрамляли редкие песочного цвета бакенбарды, поднимавшиеся от шеи до висков, где они исчезали, оставляя голову совершенно лысой.

Фигура была тяжелая, пузатая, на кривых, но крепких ногах.

Молодость прошла, унеся с собой всякий намек на благообразность, зато годы принесли им другое вознаграждение. Время было такое, когда шпионы и тому подобные негодяи процветали, так как помимо случайных доходов особым указанием доносчику выдавалась, как награда, известная доля проданного имущества еретиков. Конечно, мелкая сошка, вроде Мясника и его жены, не получала значительной доли шерсти остриженной овцы, так как тотчас по ее убиении являлись посредники всевозможных степеней, требовавшие удовлетворения, — начиная от судьи и кончая палачом, — а кроме того еще многие другие, никогда не показывавшие своего лица. Но все же, так как пытки и костры не прекращались, общий доход был порядочным. Сидя сегодня за завтраком, чета занялась подсчетом того, что они могли рассчитывать получить с имущества умершего Янсена, и Черная Мег вооружилась для этого куском мела, которым писала на столе. Наконец она провозгласила результат, оказавшийся удовлетворительным. Симон всплеснул руками от восторга.

— Горлинка моя, — сказал он, — тебе бы быть женой адвоката! Какая ты умница… Да, теперь близко, близко…

— Что близко, старый дурень? — спросила Мег своим низким, мужским голосом.

— Эта ферма с корчмой при ней, о которой я мечтал, ферма посреди богатых пастбищ, с леском позади, а в лесочке церковь. Ферма не велика, — мне много не надо, — всего акров сто. Как раз достаточно, чтобы держать штук тридцать-сорок коров, которых ты станешь доить, я же буду продавать на рынке сыр и масло…

— И резать приезжих, — перебила его Мег.

Симон возмутился.

— Нет, ты напрасно такого мнения обо мне. Жить трудно, и приходится с боем брать свое, но раз мне удастся достигнуть чего-нибудь, я намерен стать почтенным человеком и иметь свое место в Церкви, конечно католической. Я знаю, что ты из крестьянок и вкусы у тебя крестьянские, сам же я никогда не могу забыть, что мой дед был джентльменом, — Симон запыхтел и устремил взгляд в потолок.

— Вот как! — с насмешкой отвечала Мег. — А кто была твоя бабушка? Да деда-то своего знал ли ты? Захотел иметь ферму! Кажется, никогда не владеть тебе ничем, кроме старой Красной мельницы на болоте, где ты прячешь добычу! Место в деревенской церкви! Скорее получишь место на деревенской виселице. Не гляди на меня с угрозой, не бывать этому, старый лгунишка. Я знаю, на моей душе есть многое, но все же я не сожгла свою родную тетку как анабаптистку, чтобы получить после нее наследство — двадцать флоринов.

Симон побагровел от бешенства: история с теткой сильнее всего задевала его.

— Ах ты, гадина!… — начал было он.

Мег вскочила и схватилась за горлышко бутылки. Симон тотчас переменил тон.

— Ох, эти женщины, — заговорил он, отворачиваясь и вытирая свою лысину, — вечно бы им шутить. Слушай, кто-то стучит в дверь.

— Смотри, будь осторожен, отпирая, — сказала встревоженная Мег, — помни, у нас много врагов, а острие пики можно просунуть во всякую щель.

— Разве можно жить с мудрецом и оставаться дураком? Доверяй мне. — И Симон обнял жену за талию и, поднявшись на цыпочки, поцеловал Мег в знак примирения, зная, что она злопамятна. Потом он поспешил к двери, насколько ему позволяли его кривые ноги.

Произошел продолжительный разговор через замочную скважину, но в конце концов посетитель был принят. Он оказался парнем с нависшими

бровями и по наружности очень подходил к хозяину дома.

— Хорошо же с вашей стороны относиться так подозрительно к старому знакомому, особенно когда он пришел по делу, — заговорил он.

— Не сердись, милый Ханс, — прервал Симон, извиняясь. — Ты знаешь, мало ли тут бродит всякого люда в наши времена. Кто может знать, что за дверью не стоит один из этих отчаянных лютеран, который того и гляди пырнет чем-нибудь. Ну, какое дело?

— Ну да, лютеран! — с насмешкой передразнил Ханс. — Если у них есть крошка ума, они проколют твое жирное брюхо, и я приехал из Гааги по делу лютеран.

— Кто послал тебя? — спросила Мег.

— Испанец Рамиро, недавно появившийся там, травленый пес, знакомый с инквизицией. Он, кажется, знает всех, а его не знает никто. Деньги у него есть и, по-видимому, есть связи. Он говорит, что вы его старые знакомые.

— Рамиро! Рамиро! — задумчиво повторяла Мег. — В переводе значит *гребец*. Должно быть, выдуманное имя. Немало знакомых у нас на галерах. Быть может, он из них. Что ему надо и каковы условия?

Ханс перегнулся вперед и долго что-то говорил шепотом, между тем как муж и жена слушали его, изредка кивая головами.

— Маловато, — сказал Симон, когда Ханс кончил.

— Легкое и верное дело, друг: толстосум купец, жена его и дочь. Ведь убивать не надо, если только можно будет обойтись без этого, а если нельзя, то Святое Судилище прикроет нас. Благородному Рамиро нужно только письмо, которое, как он думает, молодая женщина носит при себе. Вероятно, оно касается священных дел Церкви. Если при этом найдутся какие-нибудь ценности, мы можем удержать их как задаток.

Симон колебался, но Мег заявила решительно:

— Хорошо, у этих купчих часто за корсетом бывают спрятаны дорогие вещи.

— Душа моя… — начал было Симон.

— Молчи, — яростно крикнула Мег, — я решила, и баста! Мы встретимся у Бойсхайзена в пять часов, около высокого дуба, и там все обсудим!

Симон уже не возражал более. Он обладал столь полезной в домашнем быту добродетелью — умением уступать…

*** * ***

В то же самое утро Адриан встал поздно. Разговоры за ужином, особенно же грубые насмешки Фоя рассердили его, а в тех случаях, когда Адриан сердился, он обыкновенно заваливался спать и спал, пока дурное расположение духа не рассеивалось.

Состоя только бухгалтером в заведении своего отца, — Дирку так и не удалось привлечь пасынка к более активному участию в литейном деле, так как молодой человек считал в душе подобное занятие ниже своего достоинства, — Адриану следовало бы быть на месте уже к девяти часам. Но это было невозможно, раз он встал около десяти, а пока позавтракал, пробило и все одиннадцать. Тут же он вспомнил, что следовало бы кончить сонет, последние строчки которого вертелись у него в голове. Адриан был немного поэт и, подобно многим поэтам, считал тишину необходимой для творчества. Разговоры и пение Фоя, тяжелая топотня Мартина по всему дому раздражали Адриана. И вот теперь, когда и мать ушла из дома, — на рынок, по ее словам, а вероятнее всего, исполняя какое-нибудь рискованное дело благотворительности, имевшее отношение к тем, кого она называла мучениками, — Адриан решился воспользоваться случаем и окончить свой сонет.

Это потребовало некоторого времени. Во-первых, как известно, всем поэтам музу следует вызывать, и она редко является раньше, чем поэт потратит много времени на размышления обо всем на свете. Затем, особенно в сонетах, рифма часто бывает капризна и не дается сразу. Предметом сонета была известная испанская красавица Изабелла д'Ованда. Она была женой дряхлого, но очень знатного испанца, годившегося ей в деды и посланного в Нидерланды королем Филиппом II по каким-то финансовым делам.

Этот гранд, оказавшийся добросовестным и дельным человеком, посетил в числе других городов и Лейден для определения имперских налогов и податей. Выполнение этой задачи заняло у него не много времени, так как бюргеры прямо и решительно объявили, что в силу древних привилегий они свободны от каких бы то ни было имперских податей и налогов, и благородному маркизу не удалось склонить их к перемене взглядов. Переговоры, однако, длились неделю, и в это время его жена, красавица Изабелла, ослепляла местных женщин своими туалетами, а мужчин — своей красотой. Романтический Адриан особенно увлекался

ею и поэтому начал писать стихи. Вообще рифма давалась ему довольно легко: хотя и встречались затруднения, однако он преодолевал их. Наконец сонет, высокопарное, довольно нелепое произведение, был окончен.

Тут наступило время обеда. Редко что возбуждает аппетит в такой степени, как поэтические упражнения, и Адриан принялся за еду. Во время обеда вернулась его мать, бледная и озабоченная, так как она ходила хлопотать о помещении в безопасное место обнищавшей вдовы замученного Янсена — трудная и опасная задача. Адриан по-своему любил мать, но по эгоистичности своего характера мало обращал внимания на ее заботы и расположение духа. И теперь, пользуясь случаем иметь слушательницу, он пожелал прочесть ей свой сонет, и не один раз, а несколько.

— Очень мило, очень мило, — проговорила Лизбета, (в озабоченном уме которой пустые слова сонета отдавались, как жужжание пчел в пустом улье), — хотя я и не понимаю, каким образом у тебя хватает духу писать в такое время сонеты молодым женщинам, которых ты не знаешь.

— Поэзия — великая утешительница, матушка, — наставительно заявил Адриан. — Она возвышает ум, отрывая его от мелочных повседневных забот.

— Мелочных повседневных забот! — повторила Лизбета с горечью и невольно воскликнула: — Ах, Адриан, неужели в тебе нет сердца, что ты можешь смотреть на сожжение святого и, вернувшись домой, философствовать о его мучениях? Неужели в тебе никогда не проснется чувство! Если б ты видел сегодня утром эту несчастную, всего три месяца назад бывшую счастливой невестой! — заливаясь слезами, Лизбета отвернулась и убежала из комнаты, вспомнив, что судьба фроу Янсен могла завтра стать и ее судьбой.

Это проявление волнения окончательно расстроило слабонервного Адриана, искренне любившего мать, слез которой он не мог выносить.

— Проклятая история, — думал он, — отчего нам нельзя уехать в какую-нибудь страну, где не было бы никакой религии, кроме разве поклонения Венере. Да, в такую страну, где в апельсиновых рощах журчат ручьи, а прекрасные женщины с гитарами в руках охотно слушают написанные для них сонеты, в страну…

В эту минуту отворилась дверь, и в ней появилось круглое багровое лицо Мартина.

— Хозяин приказал узнать, придете ли вы на работу, хеер Адриан? Если же не придете, то потрудитесь дать мне ключ от кассы, ему нужна книга чеков.

Адриан поднялся было со вздохом, чтобы идти, но передумал. После мечтаний о зеленых рощах и красивых дамах ему показалось невозможным вернуться в прозаическую, душную литейную.

— Передай, что я не могу прийти, — сказал он, вынимая ключ.

— Слушаю, — отвечал Мартин, — отчего не можете прийти?

— Потому что пишу.

— Что пишете? — допрашивал Мартин.

— Сонет.

— Что такое сонет? — наивно спросил Мартин.

— Невежда-клоун! — проворчал Адриан и вдруг, вдохновившись объявил: — Я покажу тебе, что такое сонет, я прочту тебе его. Войди и запри дверь.

Мартин повиновался и был награжден чтением сонета, из которого не понял ничего, кроме имени дамы — Изабеллы д'Ованда. Но Мартин не был лишен ехидства.

— Великолепно! — проговорил он. — Великолепно! Ну-ка прочтите еще раз, менеер.

Адриан с удовольствием исполнил его желание, помня рассказ о том, как песни Орфея очаровывали даже зверей…

— А, так это любовное письмо? — догадался наконец Мартин. — Письмо к черноглазой красавице-маркизе, которая, я видел, смотрела на вас?

— Нет, не совсем так, — отвечал Адриан, очень довольный, хотя и не мог припомнить, когда красавица-маркиза удостоила его благосклонного взгляда. — Пожалуй, можно назвать и так, идеализированное любовное послание, послание, в котором страстное и нежное поклонение окутано покрывалом стихов.

— Точно так… Вы хотите послать ей его?

— Как ты думаешь, она не обидится? — спросил Адриан.

— Обидится! — сказал Мартин. — Если обидится, то, значит, я не знаю женщин! — (Он и в самом деле не знал их). — Нет, ей будет очень приятно, она будет перечитывать ваше письмо, выучит его наизусть, положит себе под подушку и, думаю, пригласит вас к себе. Ну, мне пора, благодарю вас за чудное письмо в стихах, хеер Адриан.

— Правда, как обманчива бывает иногда наружность, — рассуждал Адриан, когда дверь затворилась. — Я всегда смотрел на Мартина, как на грубую скотину, а между тем в груди его при всем его невежестве тлеет священная искра. — И он решил, что при первом удобном случае прочтет Мартину еще несколько своих произведений.

Если бы только Адриан мог быть свидетелем сцены, происходившей в это время на заводе! Отдав ключ от кассы, Мартин отыскал Фоя и рассказал ему обо всем происшедшем. Мало того, коварный предатель передал ему черновик сонета, поднятый им с пола, и Фой, в кожаном фартуке, сидя на краю формы, прочел его.

— Я посоветовал ему послать его, — продолжал Мартин, — и, клянусь святым Петром, я думаю, он это сделает. И не будь я Красный Мартин, если после этого дон Диас не станет преследовать его с пистолетом в одной руке и стилетом в другой.

— Вероятно, будет так, — захлебываясь от смеха и болтая в воздухе ногами от удовольствия, подтвердил Фой. — Старика называют «ревнивой обезьяной». Он, вероятно, распечатывает все письма своей супруги.

Таким образом, поэтические старания сентиментального, возвышенно чувствовавшего Адриана вызвали только насмешку со стороны прозаического, практичного Фоя.

Между тем Адриан, почувствовав необходимость в свежем воздухе после поэтических упражнений, снял своего кречета с шеста — он был любитель соколиной охоты — и, взяв его на руку, отправился поискать дичи на болотах, за городом.

Не пройдя и половины улицы, он уже забыл и Изабеллу, и сонет. Это был странный характер, не исчерпывавшийся исключительно сентиментальностью — порождением праздности и тщеславия. В настоящее время его назвали бы фатом. Обладая способностью своего отца, Монтальво, красиво выражаться, он не унаследовал вместе с тем его юмора. Как упомянул Мартин, кровь отца преобладала в нем: он был испанец и по внешности, и по духу.

Например, внезапные необузданные вспышки страсти, которым он был подвержен, представляли чисто испанскую черту. В этом отношении в нем не было ни капли нидерландской флегматичности и терпения. И именно эта черта характера больше, чем его взгляды и стремления, делала его опасным, так как, несмотря на то что в сердце он часто имел хорошие намерения, последние сплошь и рядом уничтожались внезапными порывами ярости.

С самого своего рождения Адриан редко встречался с испанцами, и влияние, под которым он вырос, особенно со стороны матери, — существа, более всех на свете любимого им, — было антииспанское. А между тем, будь он идальго, выросшим при дворе в Эскориале[94], он не мог бы быть более чистым испанцем. Он вырос в республиканской атмосфере, а между тем в нем не было привязанности к свободе, воодушевлявшей

нидерландцев. Непреклонная независимость голландцев, их всегдашнее критическое отношение к королевской власти и издаваемым ею законам, их неслыханное притязание, что не одни только высокопоставленные лица, в жилах которых течет голубая кровь, но вообще все усердно работающие граждане имеют право на все, что есть хорошего на свете, — все это было несимпатично Адриану. С детства он был членом диссидентской Церкви — принадлежал к исповедникам новой религии. В душе же он отвергал эту веру с ее скромными проповедниками и пастырями, с ее простым богослужением, с ее длинными, серьезными молитвами, приносимыми Всемогущему в полумраке подвала или на сеновале коровника.

Подобно большинству политизированных нидерландцев, Адриан время от времени появлялся на католическом богослужении, и он не тяготился этими посещениями; пышность обрядов и церемоний, торжественность обедни среди облаков ладана, звук органа и чудное пение скрытого хора — все это будило отголосок в его груди, часто вызывало слезы на глазах. Само учение католической Церкви было ему симпатично, и он понимал, что оно приносит радость и успокоение. Здесь можно было найти прощение грехов, и не там, далеко на небе, но здесь, близко, на земле — прощение для всякого, кто преклонял голову и платил пеню. Это учение давало ему массу готовых доказательств, что после смерти, которой он боялся, его душа, как бы она ни была отягощена грехами, не попадет в когти сатаны. Не была ли это более практичная и удобная вера, чем вера этих громогласных, грубых лютеран, среди которых он жил, — людей, предпочитавших отбросить эту готовую броню и искать убежища за щитом, скованным из собственной веры и молитв, и ради этого подавлявших свои дурные наклонности и желания.

Таковы были тайные мысли Адриана, но до сих пор он никогда не действовал согласно им. Хотя ему хотелось этого, но он боялся разрыва со всеми окружающими. И как он ненавидел их всех! Ему стыдно было жить, ничего не делая, среди вечно занятого народа, поэтому он служил счетоводом у отчима: кое-как вел книги литейного завода и писал письма иногородним заказчикам, так как обладал способностью придавать округленную форму сырому материалу. Но эти занятия надоели ему, в нем жило присущее всем испанцам презрение и отвращение к торговле. Единственным занятием, достойным человека, в душе он признавал выгодную войну с врагами, которых можно грабить, — войну, подобную той, какую Кортес и Писарро[95] вели с несчастными индейцами Нового Света.

Адриан читал хроники о похождениях этих героев и горько сожалел,

что появился на свет слишком поздно, чтобы принимать в них участие. Рассказ об избиении тысячами туземных воинов и о несметных золотых сокровищах, которые делились между победителями, особенно этот дележ, воспламенял его воображение. Ему случалось видеть эти сокровища во сне — корзины, полные драгоценных камней, груды золота и толпы красивых рабынь, отданных Церковью во власть верному воину, которому поручено было обратить неверующих в христианство, хотя бы путем убийства и грабежа.

Как страстно он желал такого богатства и власти, которую оно принесло бы с собой. Теперь же он зависел от других, смотревших на него сверху вниз, как на ленивого мечтателя. Никогда не было у него в кармане ни гроша, и имел он за душой одни только долги, которых старался не считать. Достигнуть же богатства работой, честным ремеслом или торговлей, как многие из его соседей, это ему не приходило в голову. На это он смотрел как на унизительное дело, годное только для презренных голландцев, среди которых ему суждено было жить.

Такова в главных чертах характеристика Адриана, носившего фамилию ван Гоорль, суеверного мечтателя, пустого сибарита, скучающего автора стихов, изобретателя фальшивых выводов, слабохарактерного и страстного себялюбца. Лучшие чувства его, как, например, любовь к матери и еще другая привязанность, о которой будет сказано ниже, были не более как проявлением того же эгоизма — его собственного тщеславия и погони за удовольствиями. Его нельзя было назвать дурным человеком, в нем были и некоторые порядочные черты. Так, например, он был способен иметь хорошие намерения и горько раскаиваться в своих поступках, даже временами мог испытывать горячие порывы. Но вырасти в душе Адриана эти зародыши добрых задатков могли, только если бы крепкие стены защищали их от внешних искушений. Адриан никогда не был в состоянии устоять против соблазнов. От природы он был предназначен служить игрушкой других людей, а также своих собственных желаний.

Можно спросить: что он унаследовал от матери? Была ли в его слабом, неблагородном характере хотя бы одна ее чистая, благородная черта? Вряд ли. Может быть, из-за того, что его появление на свет вовсе не было желанным, она передала ему часть своего тела, но не дала ничего от того, чем могла распоряжаться сама, — от своей души? Кто знает! Одно достоверно, что от матери он не унаследовал ничего, кроме доли голландского упрямства в исполнении своих замыслов, что в соединении с его прочими свойствами делало его очень опасным — превращало в человека, которого приходилось бояться и от которого следовало бежать.

* * *

Адриан дошел до Белых ворот и, остановившись у городского рва, задумался. Подобно многим своим молодым соотечественникам-современникам, он имел военные наклонности и был убежден, что при случае мог бы сделаться выдающимся полководцем. Теперь он рисовал себе картину осады Лейдена большой армией, состоящей под его началом, и располагал ее так, чтобы вызвать скорейшее падение города. Не мог он знать тогда, что через несколько лет такой же задачей будет занят ум Вальдеса и других великих испанских полководцев.

Вдруг его мечты нарушились грубым голосом, крикнувшим:

— Проснись, испанец! — И какой-то твердый предмет — зеленое яблоко — чуть не сбил перья с его плоского берета. Адриан оглянулся с бранью и увидел двух парней лет пятнадцати, высунувших языки и строивших ему рожи из-за угла караулки. Лейденская молодежь не любила Адриана, и он знал это. Сочтя за лучшее не обращать внимания на оскорбление, он собирался идти дальше, но один из парней, ободренный безнаказанностью, вышел из-за угла и начал раскланиваться перед ним так, что его потертая шапка свалилась с головы в пыль. При этом он насмешливо говорил товарищу:

— Ханс, как ты смел потревожить благородного идальго? Разве ты не видишь, что благородный идальго идет прогуляться, отыскивая своего благородного батюшку, герцога Золотого Руна, которому несет в подарок ручную птичку?

Адриан услышал, и оскорбление подействовало на него, как удар бича на благородного коня. Ярость вскипела в нем как огненным фонтаном и, выхватив кинжал из-за пояса, он бросился на мальчишек, сбросив сокола в колпачке. Птица полетела за ним. В эту минуту Адриан способен был убить обоих оскорбителей, но, к счастью для себя, они вовремя успели скрыться в одной из узких улиц. Он остановился и, еще весь дрожа от бешенства, подманив к себе сокола, пошел по мосту.

— Заплатят они мне, — ворчал он про себя. — Не забуду я им этого!

Надо пояснить, что Адриан знал кое-что из истории своего рождения, но не все. Он знал, например, что фамилия его отца была Монтальво, что брак его матери по каким-то причинам был незаконным и отец таинственно

исчез из Нидерландов, отправившись, как ему сказали, искать смерти в чужие края. Больше ничего он не знал достоверно, так как все отвечали на его вопросы по этому поводу с удивительной сдержанностью. Два раза он, собравшись с духом, начинал расспрашивать мать, но каждый раз лицо ее принимало холодное выражение, и она отвечала почти одними и теми же словами:

— Сын мой, прошу тебя, не расспрашивай. Когда я умру, ты найдешь всю историю твоего рождения, записанную мною, но если ты будешь благоразумен, то не станешь читать ее.

Однажды он предложил тот же вопрос своему отчиму, Дирку ван Гоорлю, но Дирк смутился и ответил:

— Советую тебе довольствоваться тем, что ты живешь у друзей, которые заботятся о тебе. Помни, кто станет копать землю на кладбище, тот найдет кости.

— В самом деле? — высокомерно ответил Адриан. — Надеюсь, по крайней мере, что тут нет ничего такого, что касалось бы репутации моей матери?

При этих словах Дирк, к удивлению своего пасынка, побледнел и подступил к нему, будто намереваясь схватить за горло.

— Ты смеешь сомневаться в своей матери, этом ангеле, посланном с неба?… — начал было он, но тотчас замолчал и прибавил: — Ну, извини меня, мне следовало помнить, что ты-то ни в чем не виноват и что этот вопрос, естественно, тяготит тебя.

Пословица о кладбище и костях так сильно врезалась в память Адриана, что он уже не копался больше в земле, другими словами, перестал задавать вопросы и довольствовался убеждением, что хотя его отец, может быть, и поступил дурно с его матерью, но все же был древнего, благородного происхождения и древняя, благородная кровь течет, стало быть, и в его жилах. Все остальное забудется, хотя теперь ему довольно часто приходилось выносить оскорбления, вроде сегодняшнего, а когда все забудется, то кровь, драгоценная, голубая кровь испанского идальго все же останется его наследием.

XI. Адриан выручает красавицу из опасности

Весь долгий вечер Адриан бродил по тропинкам, перерезывавшим луга и болота, раздумывая о случившемся и представляя себя достигшим сана испанского гранда, а быть может даже — кто знает — сана рыцаря Золотого Руна, с правом не снимать шляпы в присутствии самого государя.

Не один вальдшнеп и другая дичь, охотиться за которыми он пришел, взлетали у него из-под ног. Но он был так поглощен своими мыслями, что птицы скрывались из виду прежде, чем он успевал снять колпачок с своего сокола. Наконец, когда он, миновав церковь Веддинфлита и идя по берегу Старого Флита, поравнялся с лесом Бойсхайзен, называемым так по развалинам находившегося среди него замка, он увидел цаплю, летевшую к своему гнезду, и спустил сокола. Сокол бросился за ней, цапля же, заметив преследователя, начала дразнить его, поднимаясь спиралью все выше и выше. Сокол также стал быстро подниматься более широкими кругами, пока не очутился гораздо выше нее. Тогда он бросился на цаплю, но промахнулся: цапля быстрым поворотом крыльев уклонилась от него и, прежде чем сокол опять успел прицелиться, исчезла за верхушками деревьев. Опять хищник поднялся и спустился так же неудачно, как в первый раз. В третий раз цапля взлетела широкими кругами, и в третий раз сокол бросился за ней и, наконец, вцепился в нее.

Адриан, следовавший за ними насколько мог быстро, перепрыгивая через попадавшиеся лужи или шлепая по ним, видел победу сокола и остановился в ожидании. С минуту сокол и цапля висели на высоте двухсот футов над самыми высокими деревьями леса, но затем цапля, представлявшая из себя трепещущую черную точку на небе, озаренном ярким закатом, начала спускаться, ища спасения в кустах. Сокол и цапля стремглав летели вниз головами — крылья уже не поддерживали их — и исчезли в лесу.

— Теперь моему соколу придет смерть в кустах! Какой я был дурак, что спустил его так близко к лесу, — думал Адриан, снова бросаясь вперед.

Скоро он очутился в лесу и, направляясь к тому месту, где, по его мнению, должны были упасть птицы, звал сокола и искал его глазами. Но здесь, в густом лесу, уже стояли сумерки, так что Адриану в конце концов пришлось отказаться от поисков и в отчаянии вернуться на дорогу в

Лейден. Однако, сделав несколько шагов, он вдруг наткнулся на сокола и цаплю. Цапля была мертва, а сокол так изранен, что, по-видимому, было невозможно спасти его. Как того и опасался Адриан, птицы, падая вниз, наткнулись на ветви деревьев. Адриан печально смотрел на сокола — он любил его и сам его выучил. Между ним и этой хищной птицей всегда существовала странная симпатия, и сокол был его всегдашним спутником, как у других людей собака. Даже теперь он с удовольствием заметил, что, несмотря на сломанные крылья и пробитую голову, сокол не выпустил когтей из спины цапли и не вытащил клюва из ее шеи.

Он погладил сокола по голове. Сокол, узнав его, выпустил цаплю из когтей и попытался было взлететь на руку хозяину, но не мог и упал на землю, смотря на Адриана блестящими глазами. Видя, что помочь ему нельзя, Адриан, весь содрогаясь от горя, ударил его палкой по голове и убил сразу.

— Прощай, друг, — проговорил он. — По крайней мере, хорошо умирать так, держа под собой убитого врага. — Подняв мертвого сокола, он нежно пригладил его растрепавшиеся перья и уложил в ягдташ.

В эту минуту, поднимаясь на ноги в тени большого дуба, у подножия которого упали птицы, Адриан услыхал со стороны дороги, отделенной от него небольшой зарослью кустарника, голоса: мужской, сердитый и угрожающий, и женский, громко звавший на помощь. В другое время Адриан поколебался бы и, быть может, просто ушел, потому что знал, как опасно было в те времена вмешиваться в ссоры бродяг. Но потеря сокола привела его в состояние нервного возбуждения, и он был готов принять участие в любом приключении. Поэтому Адриан без раздумий бросился вперед через кусты и увидал перед собой следующую сцену.

Перед ним расстилалась поросшая травой лесная дорога, посередине ее лежал на спине сброшенный с лошади толстый бюргер, карманы которого обшаривал какой-то человек, грозивший ему время от времени ножом, вероятно, чтобы заставить его лежать смирно. На крупе здорового фламандского коня, принадлежавшего бюргеру, сидела средних лет женщина, по-видимому, онемевшая от страха, между тем как в нескольких шагах от них другой негодяй и высокая костлявая женщина пыталась стащить с мула молодую девушку.

Действуя под впечатлением момента, Адриан закричал:

— Друзья, сюда! Воры здесь!

Женщина-грабительница бросилась бежать прочь, а мужчина обернулся, выхватив нож из-за пояса. Но, прежде чем он успел пустить его в дело, Адриан ударил его тяжелой палкой по плечу и заставил со стоном

выронить оружие. Палка снова поднялась и опустилась, на этот раз на голову. Шапка слетела, и при слабом свете сумерек показались одутловатое лицо, обрамленное от горла до висков песочного цвета бакенбардами, и лысая голова, по которым Адриан сразу узнал Гага Симона, или Мясника. К счастью для него, Мясник был слишком удивлен или ошеломлен полученным ударом, чтобы узнать нападавшего. Выронив ножи, вероятно, вообразив, что Адриан только первый из целой толпы, он уже не думал продолжать борьбу и, крикнув товарищу, чтобы тот следовал за ним, бросился бежать вслед за женщиной с быстротой почти невероятной для человека его сложения. Скоро все разбойники скрылись в чаще.

Адриан опустил палку и огляделся. Все произошло так быстро, и поражение неприятеля было таким полным, что он сомневался, не во сне ли все это видит. Несколько секунд тому назад он клал убитого сокола в сумку и вдруг превратился в храброго рыцаря, без оружия — кинжал он забыл вынуть — победившего двух здоровенных негодяев и их спутницу, вооруженных с головы до ног, и освободившего из их когтей красавицу, — девушка, без сомнения, должна быть красавицей, — и ее богатых родственников… Но вот девушка, которую стащили с седла, приподнялась на колени и подняла голову, причем капюшон ее плаща спустился назад.

Таким образом, при мягком бледном свете летнего вечера Адриан в первый раз увидел лицо Эльзы Брант, женщины, которой ему было суждено, во имя любви, принести столько горя.

Герой Адриан, победитель разбойников, смотрел на коленопреклоненную Эльзу и любовался ее красотой, а освобожденная Эльза, глядя на героя Адриана, решила, что он недурен, что его появление было как нельзя более кстати и что он послан самим Провидением.

Эльзе Брант, единственной дочери уже знакомого нам Хендрика Бранта, друга и родственника Дирка ван Гоорля, только что исполнилось девятнадцать лет. Глаза ее были карие, а вьющиеся волосы каштанового цвета. Бледный цвет ее лица указывал на нежное сложение, а маленький ротик по складу губ изобличал наклонность к насмешке, между тем как довольно большой подбородок заставлял предполагать твердость характера. Она была среднего роста, даже немного ниже, очень хорошо сложена и имела замечательно красивые руки. В Эльзе не было стройности испанских красавиц, но также не было грубой полноты, всегда считавшейся красотой в Нидерландах. Она несомненно могла считаться очень красивой женщиной, хотя сложно было решить, отчего больше зависела ее привлекательность: от ее физических качеств или от живости характера и печати одухотворенности, лежавшей на ее лице в спокойные

минуты и светившейся в ее глазах, когда она бывала задумчива. Во всяком случае ее красота произвела такое сильное впечатление на Адриана, что он, позабыв маркизу д'Ованда, вдохновлявшую его писать сонеты, сразу влюбился в Эльзу, частью восхищаясь ею самой, а частью потому, что так полагалось для освободителя.

Про Эльзу же нельзя сказать, чтобы она, несмотря на всю свою благодарность Адриану, сразу воспылала к нему нежным чувством. Она, без сомнения, рассмотрела, что он красив, и его ловкость и сила возбудили ее удивление, но случайно тень от его лица легла на траву возле того места, где она сидела. Эта тень была легкая, так как света было уже мало, но Эльзу поразила жестокость и мрачность этих красивых черт, и его вежливая улыбка, как ей казалось, превратилась в неприятную усмешку. Это была, без сомнения, просто случайная игра света, и со стороны Эльзы было ребячеством обращать на это внимание, но все же это бросилось ей в глаза и, более того, возбудило в ее легко колеблющемся женском уме, часто делающем самые нелогичные выводы из случайного совпадения, предубеждение против Адриана.

— О сеньор! — воскликнула Эльза, всплеснув руками. — Как мне благодарить вас?

Обращение было короткое и неоригинальное, но в нем заключались две вещи, которые Адриан заметил с удовольствием: первая, что оно было произнесено мягким, мелодичным голосом, а вторая, что девушка приняла его за испанца благородного происхождения.

— Не благодарите меня вовсе, сударыня, — отвечал он с самым низким поклоном. — Не особенный подвиг обратить в бегство двух разбойников и женщину, хотя у меня и не было другого оружия, кроме вот этой палки… — добавил он, может быть, желая обратить внимание молодой девушки на то обстоятельство, что нападавшие на нее были вооружены, а он, ее освободитель, безоружен.

— Может быть, такому храброму кавалеру, как вы, кажется вовсе не трудным сразу справиться с несколькими людьми, но когда этот негодяй с плоским лицом схватил меня своими огромными руками, я думала, что умру на месте. Я и всегда-то ужасная трусиха… нет, благодарю вас, сеньор, я могу уже стоять без помощи, а вот идет и хеер ван Брекховен, с которым я путешествую. Смотрите, он ранен! Вы ранены, друг мой?

— Нет!… Так, пустяки, — проговорил, еще задыхаясь от борьбы и волнения, хеер ван Брекховен, — этот негодяй, вставая, чтобы бежать, пырнул меня ножом в плечо. А найти ему ничего не удалось, я умею путешествовать: в шляпу ко мне ему, конечно, не пришло в голову

заглянуть.

— С какой целью они напали на нас? — спросила Эльза.

Хеер ван Брекховен задумчиво чесал затылок.

— Я думаю, бродяги намеревались ограбить нас, только странно, что они нас поджидали. Я слышал, как женщина сказала: «Вот они. Мясник, ищи письма на девчонке».

Лицо Эльзы при этих словах приняло серьезное выражение. Адриан видел, как она взглянула на мула, на котором ехала, и взялась за поводья.

— Позвольте узнать, кого мы должны благодарить? — обратился хеер Брекховен к Адриану.

— Я Адриан ван Гоорль, — отвечал Адриан с достоинством.

— Ван Гоорль? — повторил Брекховен. — Какое странное совпадение! Провидение устроило все как нельзя лучше. Послушай, жена, — обратился он к полной даме, продолжавшей сидеть на лошади и все еще бывшей не в состоянии говорить от испуга, — вот сын Дирка ван Гоорля, которому мы должны передать Эльзу.

— В самом деле! — воскликнула дама, несколько приходя в себя.

— Я по наружности приняла его за испанского дворянина, но, кто бы он ни был, мы, конечно, очень обязаны ему. И я еще больше была бы ему благодарна, если бы он мог указать нам выход из этого леса, где, вероятно, на каждом шагу разбойники, и проводить нас к нашим родственникам, лейденским Брекховенам.

— Сударыня, если вам будет угодно принять мои услуги, то я уверен, что вам уже не придется бояться разбойников. Могу я, со своей стороны, спросить имя молодой девицы.

— Конечно. Она Эльза Брант, единственная дочь Хендрика Бранта, знаменитого гаагского золотых дел мастера. Теперь, зная ее имя, вы, вероятно, уже знаете все остальное — она вам родственница. Помоги Эльзе сесть на мула, — обратилась она к мужу.

— Позвольте мне, — предложил Адриан и, подбежав к Эльзе, поднял ее и ловко посадил в седло. Затем, взяв мула под уздцы, он пошел по лесу, молясь в душе, чтобы Мясник и его товарищи не осмелились вторично напасть на них, пока они еще не вышли из чащи.

— Скажите, вы Фой? — спросила Эльза как бы колеблясь.

— Нет, — коротко отвечал Адриан, — я его брат.

— А! Этим объясняется все. Видите ли, я была очень удивлена, потому что видела Фоя, еще когда была совсем маленькая. Он был красивый белокурый мальчик с голубыми глазами и относился ко мне хорошо. Он один раз останавливался с отцом у нас в Гааге.

— Мне очень приятно слышать, что Фой был когда-то красив, — сказал Адриан. — Я помню только, что он был очень глуп, так как мне приходилось учить его. Во всяком случае, боюсь, что теперь вы не найдете его красивым, если только вы не поклонница людей, которых в ширину и в высоту можно мерить одной меркой.

— Ах, хеер Адриан, — отвечала Эльза, смеясь, — к несчастью, этим недостатком страдает большинство из нас, голландцев, в том числе и я сама… Очень немногие из нас высоки и стройны, как благородные испанцы. Я не хочу сказать этим, что желала бы походить на испанку, как бы красива она ни была, — прибавила Эльза, причем голос ее и выражение лица сделались жестче. — Но, — поспешно продолжала она, будто раскаиваясь, что проговорилась, — никто не скажет, что вы с Фоем братья.

— Мы сводные братья, — сказал Адриан, смотря перед собой. — Братья по матери, но прошу вас, называйте меня двоюродным братом.

— Нет, я не могу исполнить вашего желания, — весело отвечала она. — Мать Фоя не родственница мне. Мне кажется, я должна называть вас «мой принц», вы ведь явились, как сказочный принц.

Адриан воспользовался случаем, чтобы сказать нежным голосом, взглянув на Эльзу своими темными глазами:

— Приятное название. Я не желал бы ничего больше, как стать вашим принцем, теперь и всегда обязанным защищать вас от всякой опасности. — (Здесь мы должны пояснить, что, несмотря на напыщенность своих выражений, Адриан действительно думал то, что говорил, так как был убежден, что для молодого человека в его положении было весьма недурно стать мужем красивой наследницы одного из самых богатых людей во всех Нидерландах).

— О, хеер принц, — быстро перебила Эльза, которую несколько смущало воодушевление ее кавалера, — вы не так доканчиваете сказку. Разве вы не помните? Герой освободил даму и проводил ее… к отцу?

— У которого потом просил ее руки, — докончил Адриан, снова сопровождая свои слова нежным взглядом и улыбкой, вызванной убеждением в удачливости своего ответа.

Их взгляды встретились, и вдруг Адриан заметил, что в лице Эльзы произошла резкая перемена. Смеющееся, игривое выражение исчезло и сменилось суровостью и натянутостью, в глазах отражался страх.

— О, теперь я понимаю тень. Как это странно, — проговорила она совершенно изменившимся голосом.

— В чем дело? Что странно? — спросил Адриан.

— Странно: ваше лицо напомнило мне лицо человека, которого я

боялась… Нет, ничего: я глупа. Эти бродяги напугали меня. Поскорее бы выбраться из этого ужасного леса! Посмотрите, хеер Брекховен, вот уж и Лейден виден! Как красивы при вечернем освещении красные крыши, и какие большие церкви. Смотрите, вокруг стен ров с водой. Должно быть, Лейден очень сильная крепость. Мне думается, даже испанцы не взяли бы его. А хорошо бы в самом деле найти такой город, про который можно было бы сказать с уверенностью, что испанцам никогда не взять его, — закончила она с тяжелым вздохом.

— Если бы я был испанским генералом, командующим соответствующей армией, я быстро бы справился с Лейденом, — хвастливо заметил Адриан. — Не далее как сегодня я изучал его слабые места и составлял план атаки, который вряд ли мог бы оказаться неудачным, так как защитниками города была бы толпа необученных, плохо вооруженных бюргеров.

Снова в глазах Эльзы мелькнуло странное выражение.

— Если бы вы были испанским генералом? — медленно переспросила она. — Как вы можете шутить подобными вещами, вроде захвата города испанцами! Знаете ли вы, что это значит?… Я слышала, как они говорят об этом. — Она содрогнулась и продолжала: — Разве вы испанец, что рассуждаете так? — Не дожидаясь ответа, она заставила своего мула прибавить шагу, так что Адриан немного отстал.

Однако, когда путешественники въехали в городские ворота, Адриан снова был около Эльзы и болтал с ней, но, хотя она отвечала вежливо, чувствовалось, будто между ними выросла невидимая преграда. Эльза прочла его сокровенные мысли, будто угадала, что он думал, стоя на мосту и строя планы взятия Лейдена, причем в нем смутно шевелилось желание принять участие в разграблении города. Эльза не доверяла Адриану, несколько боясь его, и Адриан чувствовал это.

Через десять минут езды по тихому городу — в эти дни ужаса и шпионства люди старались как можно меньше выходить на улицу после заката, если их к тому не принуждала крайняя необходимость — путешественники прибыли к дому ван Гоорля на Брее-страат. Адриан попытался отворить ворота, но они оказались запертыми на засов. Уже и так выведенный из равновесия различными событиями дня, а особенно переменой в обращении Эльзы, он окончательно вышел из себя и стал стучать с совершенно излишней энергией. Наконец после долгого бряцания ключами и стучания засовом ворота отворились, и в них со свечой в руке показался Дирк, а за ним, будто готовый в любую минуту выступить на его защиту, гигант Мартин.

— Это ты, Адриан? — спросил Дирк голосом, в котором вместе с неудовольствием слышалось облегчение. — Отчего ты не прошел боковой калиткой?

— Потому что привел вам гостей, — отвечал Адриан, указывая на Эльзу и ее спутников. — Мне не пришло в голову, что вы могли пожелать, чтобы гости пробрались к вам тайком через задний ход, точно… точно служители нашей новой религии.

Стрела была пущена наудачу, но попала в цель. Дирк вздрогнул и проговорил шепотом:

— Молчи, сумасшедший! — Затем он прибавил громко: — Гостей, говоришь ты? Каких гостей?

— Это я, кузен Дирк, я, Эльза, дочь Хендрика Бранта, — отвечала Эльза, соскользнув со своего мула.

— Эльза Брант! — воскликнул Дирк. — Как ты попала сюда?

— Сейчас расскажу, — отвечала она, — нельзя разговаривать на улице, — она дотронулась пальчиком до губ. — Вот мои друзья, хеер ван Брекховен и его жена, проводившие меня из Гааги. Они отправятся к своим родным, здешним Брекховенам, если кто-нибудь укажет им дорогу.

Последовало знакомство и объяснения. Затем Брекховены отправились к своим родным под охраной Мартина, предварительно отнесшего по просьбе Эльзы седло, снятое с мула, в дом, между тем как Адриан повел расседланного мула на конюшню.

Поцеловав свою молоденькую родственницу, Дирк повел ее, захватив седло, в комнату, где жена его и Фой сидели за ужином вместе с пастором Арентсом, тем самым священником, который произносил проповедь накануне вечером. Лизбета, с беспокойством ожидавшая возвращения мужа, встала со своего места. Такое тогда было ужасное время, что стука у ворот в неурочный час было достаточно, чтобы напугать всех, особенно если в ту минуту дом случайно служил приютом пастору новой веры, что считалось преступлением, за которое полагалась смертная казнь. Стук этот мог возвещать не более как посещение соседа, но он мог также быть трубой смерти для всех живущих в доме, возвещая о прибытии членов инквизиции, которые несли с собой мученический венец. Поэтому Лизбета вздохнула с облегчением, когда появился ее муж в сопровождении молодой девушки.

— Жена, — обратился к ней Дирк, — это наша родственница Эльза Брант, приехавшая погостить к нам из Гааги, хотя я еще не знаю, по какому случаю. Ты помнишь Эльзу, маленькую Эльзу, с которой мы, бывало, играли так часто много лет тому назад?

— Конечно, помню, — отвечала Лизбета, обнимая и целуя девушку, и добавила: — Добро пожаловать, дитя мое, хотя, правду сказать, уже нельзя называть девочкой такую взрослую, милую девицу. А вот пастор Арентс, о котором вы, вероятно, уже слыхали, так как он друг вашего отца и всех нас.

— Да, слыхала, — сказала Эльза, приседая, на что Арентс отвечал поклоном, говоря серьезно:

— Приветствую тебя, дочь моя, во имя Господа нашего, приведшего тебя благополучно в сей дом, за что мы должны возблагодарить Его.

— Да, правда, хеер пастор, я должна сделать это… — она запнулась, встретившись взглядом с глазами Фоя, на открытом лице которого выражался такой восторг и изумление, что Эльза покраснела, заметив это. Но, овладев собой, она протянула руку, говоря: — Вы, без сомнения, мой двоюродный брат Фой. Я бы узнала вас везде по волосам и глазам.

— Очень рад, — отвечал он просто, польщенный тем, что такая красивая девушка помнит товарища своих игр, с которым не виделась уже одиннадцать лет, — но, — прибавил он, — я должен признаться, что не узнал бы вас.

— Почему? — спросила она. — Разве я так изменилась?

— Да, — прямо отвечал Фой, — вы были девочкой с красными руками, а теперь превратились в такую красавицу, какой я еще никогда не видал.

При этих словах все засмеялись, не исключая пастора, а Эльза, покраснев еще больше, проговорила:

— Я помню, что вы бывали не очень вежливы, но теперь вы научились льстить, и это хуже. Нет, пожалуйста, пощадите меня, — закончила она, заметив, что Фой намеревается вступить с ней в спор. Отвернувшись от него, она сняла плащ и села на стул, придвинутый для нее Дирком к столу, думая про себя, что было бы гораздо приятнее, если бы ее освободил от разбойников Фой вместо Адриана, несмотря на его изящные манеры.

Во время ужина Эльза стала рассказывать о своем приключении. В эту минуту вошел Адриан. Первое, бросившееся ему в глаза, было то, что Эльза и Фой сидели рядом, оживленно разговаривая, а второе — что для него не было поставлено прибора.

— Ты позволишь сесть мне, матушка? — спросил он громко, так как никто не видел, как он вошел.

— Конечно, почему ты спрашиваешь? — ласково отвечала Лизбета, замечая по тону Адриана, что он чем-то раздражен.

— Потому что для меня нет места. Без сомнения, пастор Арентс более почетный гость. Однако после того как человеку пришлось рисковать

жизнью в борьбе с вооруженными бродягами, и он не прочь был бы присесть к столу и съесть кусочек.

— Рисковать жизнью? — с удивлением спросила Лизбета. — Из того, что сейчас рассказала Эльза, я поняла, что негодяи убежали, как только ты ударил одного из них.

— Само собой разумеется, если ваша гостья сказала, что было так, то это правда. Я не обратил внимания. Во всяком случае, они убежали, а она освободилась. Конечно, о таком пустяке нечего и говорить.

— Адриан, садись на свое место, — предложил Фой, вставая, — и не хвастайся очень своей победой над двумя бродягами и старой бабой. Ведь, я думаю, ты не претендуешь, чтобы мы считали тебя героем за то, что ты не показал хвоста и не оставил Эльзу со спутниками в руках негодяев.

— Мне решительно все равно, что ты думаешь или не думаешь обо мне, — отвечал Адриан, садясь с обиженным видом.

— Что бы ни думал Фой, хеер Адриан, но я благодарю Бога, пославшего нам на помощь такого храброго человека, — поспешно вмешалась Эльза. — Я говорю это серьезно, мне становится дурно при одной мысли, что бы случилось, если бы вы не бросились на этих злодеев, как… как…

— Как Давид на филистимлян, — подсказал ей Фой.

— Плохо знаешь Библию, брат, — серьезно заметил Адриан, — филистимлян избил Самсон. Давид же победил великого Голиафа, хотя, правда, и он был филистимлянин.

— Да, как Самсон… то есть как Давид… на Голиафа, — продолжала Эльза, смутившись. — Ах, Фой, пожалуйста, не смейся, ты, вероятно, оставил бы меня в руках этого ужасного человека с плоским лицом и лысой головой, пытавшегося украсть письмо моего отца. Кстати, Дирк, я еще не отдала его вам. Отец крепко зашил его в седле и велел сказать вам, чтобы вы читали его по старому ключу.

— Человек с плоским лицом? — озабочено спросил Дирк, распарывая седло, чтобы достать письмо. — Опиши мне его подробнее. Почему ты думаешь, что он искал именно письмо?

Эльза описала наружность черноглазой старухи и ее спутников и повторила слова, которые слышал хеер Брекховен перед нападением.

— Это что-то похоже на шпиона Гага Симона, по прозвищу Мясник, и его жену, Черную Мег. Адриан, ты видел этих людей? Это были они?

С минуту Адриан размышлял, следует ли сказать правду, и по своим соображениям решил, что не следует. Надо сказать, что, между прочими более серьезными делами, Черная Мег была не прочь служить посредницей

в любовных делах. Короче говоря, она устраивала свидания, и Адриан пользовался ее услугами. Вот почему ему не хотелось выдавать ее.

— Как я мог узнать их? — ответил он наконец, — В лесу было темно, и я видал Гага Симона и его жену не более двух раз в жизни…

— Ну, говори правду, — перебил его Фой, — как бы ни было темно в лесу, ты достаточно хорошо знаешь старуху, я не раз видал… — он вдруг запнулся, будто досадуя, что эти слова сорвались у него с языка.

— Правда это, Адриан? — спросил Дирк среди наступившей тишины.

— Нет, отец, — ответил Адриан.

— Слышишь? — обратился Дирк к сыну. — Впредь будь осторожен со словами. Нельзя бездоказательно обвинять человека в том, что его видели в обществе самых отъявленных лейденских негодяев, в обществе женщины, руки которой обагрены кровью невинных жен и детей, твари, чуть не погубившей меня, как известно твоей матери.

Веселое, улыбающееся лицо Фоя сделалось вдруг серьезно.

— Мне досадно за свои слова, — сказал он, — но старая Мег, кроме шпионства, занимается еще кое-чем другим, и у Адриана были с ней дела, которые меня не касаются. Но раз я сказал, я не могу взять своих слов обратно. Решите сами, кому из нас можно верить…

— Нет, Фой, не ставь вопроса так, — вступился Арентс, — тут, без сомнения, ошибка. Я уже раньше говорил тебе, что ты слишком скор на язык.

— Да, и еще многое другое, — отвечал Фой, — и все это правда: я несчастный грешник. Согласен — я ошибся, и должен сознаться, что сказал это только для того, чтобы подразнить Адриана, — добавил он совершенно чистосердечно. — Я никогда не видел, чтобы он разговаривал с Черной Мег. Теперь вы довольны?

Тут Эльза, наблюдавшая за лицом Адриана в то время, как она слушала безыскусственное, но несколько небрежное объяснение Фоя, увидала, что теперь буря готова разразиться.

— Против меня, очевидно, заговор, — сказал Адриан, побледнев от бешенства. — Все сегодня сговорились против меня. Сначала уличные мальчишки подняли меня на смех. Потом мой сокол убился. Затем мне пришлось освободить эту девицу от бродяг. Но разве меня кто-нибудь поблагодарил за это? Никто и не подумал. Вернувшись домой, я увидал, что обо мне настолько забыли, что даже не поставили прибора за столом и, кроме того, еще подняли на смех оказанную мной услугу. Наконец, меня обвиняют во лжи, и кто же! Мой родной брат. Ну, не будь он им, он ответил бы мне с оружием в руках…

— Ах, Адриан, — перебил его Фой, — не глупи. Подумай, прежде чем скажешь что-нибудь, в чем можешь раскаяться.

— Это еще не все, — продолжал Адриан, не обращая внимания на его слова. — Кого я нахожу за этим столом? Достопочтенного хеера Арентса, служителя новой веры. Я протестую. Я сам принадлежу к этой вере, потому что воспитан в ней. Но всем известно, что присутствие такого лица в доме подвергает жизнь всех живущих в нем опасности. Отчим и Фой могут, если им угодно, рисковать собой, но они не имеют права подвергать опасности мать, а также меня, ее старшего сына.

Тут Дирк поднялся с места и, потрепав Адриана по плечу, сказал холодно, но сверкая глазами:

— Выслушай меня. Риск, которому я, мой сын Фой и моя жена — твоя мать — подвергаемся, мы берем на себя сознательно. Тебя это не касается — это наше дело. Но раз ты поднял вопрос, то я скажу тебе, что не имею права подвергать тебя опасности, если твоя вера недостаточно сильна, чтобы поддержать тебя. Видишь ли, ты не сын мне, ты для меня чужой. Но, несмотря на это, я растил и поддерживал тебя с самого дня твоего несчастного рождения. Ты делил с моим сыном все, что я давал вам, не оказывая предпочтения ни одному из вас, и после моей смерти также получил бы свою долю. Теперь же, после сказанного тобой, мне остается сообщить тебе, что мир велик и что, вместо того чтобы жить здесь на мой счет, ты сделаешь лучше, если постараешься пробиться собственными силами вдали от Лейдена.

— Вы бросаете мне в лицо ваши благодеяния и упрекаете меня моим рождением, — прервал его Адриан, не помня себя от бешенства.

— Будто я виноват в том, что в моих жилах не течет кровь голландского купца. Если это преступление, то во всяком случае оно совершено не мною, а матерью, которая согласилась…

— Адриан! Адриан! — закричал Фой, пытаясь остановить его, но обезумевший юноша продолжал:

— Которая согласилась быть подругой какого-то благородного испанца, — женой его, насколько мне известно, она никогда не была, — прежде чем стать женой лейденского ремесленника.

У Лизбеты вырвался в эту минуту такой отчаянный стон, что, несмотря на все свое бешенство, Адриан замолчал.

— Стыдно тебе говорить так о матери, родившей тебя, — проговорила мать.

— Да, стыдно тебе! — проговорил Дирк среди наступившей тишины. — Один раз я предупреждал тебя, но теперь уже не стану больше

разговаривать.

Он подошел к двери, отворил ее и позвал:

— Мартин, пойди сюда!

XII. Предупреждение

Среди тяжелого молчания, прерываемого лишь быстрым дыханием Адриана, дышавшего, как дикий зверь в клетке, послышались тяжелые шаги в коридоре, и Мартин, войдя в комнату, остановился, оглядываясь кругом своими большими голубыми глазами, похожими на глаза изумленного ребенка.

— Что прикажете? — спросил он наконец.

— Мартин Роос, — начал Дирк, знаком отклоняя вмешательство Арентса, приподнявшегося со своего места. — Возьми этого молодого человека, моего пасынка, хеера Адриана, и выведи его, если возможно без насилия, из моего дома. Впредь я запрещаю ему переступать его порог. Ступай, Адриан, завтра ты получишь свои вещи и столько денег, сколько тебе нужно будет, чтобы стать на ноги.

Не рассуждая и не выражая удивления, великан Мартин подступил к Адриану, вытянув руку, как бы намереваясь взять его за плечо.

— Что? — воскликнул Адриан, когда Мартин стал подходить к нему. — Вы вздумали натравить на меня своего бульдога? Так я покажу вам, как дворянин обходится с собаками!…

В его руке сверкнул обнаженный кинжал, и он бросился на фриза. Нападение было так быстро и неожиданно, что исход его, казалось, не вызывал сомнений. Эльза вскрикнула и закрыла глаза, боясь, что она увидит, как кинжал вонзится в горло Мартина. Фой подбежал к последнему. Однако в то же самое мгновение кинжал вылетел из рук Адриана: движением, которое из-за его быстроты невозможно было уловить, Мартин нанес такой удар по руке нападавшего, что тот выпустил оружие, которое, сверкая, пролетело через всю комнату и упало на колени Лизбете. Еще мгновение, и железная рука схватила Адриана за плечо, и он, несмотря на всю свою силу и отчаянное сопротивление, не мог вырваться.

— Перестаньте отбиваться, менеер Адриан, это совершенно бесполезно, — обратился Мартин к своему пленнику таким спокойным голосом, будто не произошло ничего особенного, и направился с ним к двери.

На пороге Мартин остановился и сказал, глядя через плечо:

— Менеер, кажется, хеер Адриан умер. Прикажете все-таки отнести его на улицу?

Все собрались вокруг Мартина. Действительно, казалось, что Адриан

умер, — по крайней мере, лицо его было бледно, как у покойника, а из угла рта текла тонкая струйка крови.

— Негодяй! — закричала Лизбета, ломая руки и с содроганием сбрасывая, будто змею, кинжал с колен. — Ты убил моего сына!

— Извините, мейнфроу, — спокойно возразил Мартин, — это неверно. Менеер приказал мне вывести хеера Адриана, и хеер Адриан хотел заколоть меня. Я с молодости привычен к таким вещам, — он недоверчиво покосился в сторону пастора Арентса, — и подтолкнул хеера Адриана под локоть, отчего кинжал вылетел у него из рук. Не сделай я этого, не остаться бы мне в живых, и тогда я не смог бы исполнить приказания моего господина. Вот я и взял хеера Адриана за плечо, как можно деликатнее, и понес его. А умер он от злости. Мне очень жаль его, но я не виноват.

— Ты прав, — сказала Лизбета, — а во всем виноват ты, Дирк, это ты убил моего сына. Как можно было обращать внимание на его слова! Он всегда был горяч, и кто же слушает человека, когда он сам себя не помнит!

— Как ты мог допустить такое обращение со своим братом, Фой? — вмешалась Эльза, вся дрожа от негодования. — С твоей стороны было трусостью стоять и смотреть, как этот рыжий задушил твоего брата. Ты ведь хорошо знал, что твои насмешки вывели из себя Адриана, и он сказал то, чего не думал. Так бывает иногда и со мной. Я никогда больше не стану говорить с тобой. Адриан сегодня спас меня от разбойников!

Она залилась слезами.

— Тише, тише! Теперь не время для упреков, — сказал пастор Арентс, проталкиваясь мимо испуганных мужчин и обезумевших женщин. — Вряд ли он умер. Дайте мне взглянуть на него: я кое-что смыслю в докторском искусстве.

Пастор опустился на колени возле бесчувственного Адриана и стал выслушивать его.

— Успокойтесь, фроу ван Гоорль, ваш сын жив, — сказал он через минуту, — сердце бьется. Друг Мартин нисколечко не повредил ему, дав ему почувствовать свою силу. Я думаю, что у него от возбуждения лопнул кровеносный сосуд, и оттого у него так сильно идет кровь. Мой совет — уложить его в постель и класть на голову холодные компрессы, пока не придет доктор. Возьми его, Мартин.

Таким образом, Мартин отнес Адриана не на улицу, а в постель. Фой же, радуясь предлогу избегнуть незаслуженных упреков Эльзы и тяжелого вида материнской печали, поспешил за доктором. Скоро он вернулся с ним и, к великому облегчению всех, ученый муж возвестил, что, несмотря на потерю крови, Адриан, вероятно, не умрет. Однако он советовал ему

пролежать в постели несколько недель и предписал тщательный уход вместе с полным покоем.

В то время как Лизбета с Эльзой хлопотали около Адриана, Дирк с Фоем — пастор Арентс ушел — сидели в комнате наверху, в той самой комнате с балконом, где много лет тому назад Дирк получил отказ от Лизбеты, между тем как Монтальво стоял спрятавшись за занавесью. Дирк был очень расстроен: когда вспышки его гнева успокаивались, он опять становился добрым человеком, и болезнь пасынка глубоко огорчала его. Теперь он оправдывался перед Фоем или, скорее, перед собственной совестью.

— Человек, осмелившийся так говорить о родной матери, недостоин жить в одной семье с ней, — говорил Дирк, — кроме того, ты слышал, что он сказал о пасторе. Говорю тебе, я боюсь этого Адриана.

— Если кровотечение сейчас не прекратится, то вам уже не придется больше выслушивать его, — мрачно заявил Фой. — Но если вам угодно знать мое мнение об этом деле, то мне кажется, что вы придали слишком большое значение пустякам. Адриан всегда останется Адрианом, он не из нашей семьи, и мы не должны судить его по нашей мерке. Вы себе не можете представить, чтобы я вышел из себя из-за того, что служанка забыла поставить прибор за столом, или чтобы я вздумал заколоть Мартина, или чтобы у меня мог лопнуть сосуд из-за того, что вы приказали вывести меня. Я и не подумал бы сопротивляться: разве может человек обыкновенной силы бороться с Мартином? Это значило бы то же, что рассуждать с инквизиторами. Но я — это я, а Адриан — это Адриан.

— Но что он говорил! Ты помнишь его слова?

— Да, если бы я сказал их, они имели бы большое значение, но, сказанные Адрианом, они не важнее, чем если бы были сказаны рассерженной женщиной. Он постоянно дуется, обижается и выходит из себя по каждому поводу, и тогда все, что он говорит, не имеет другой цели, кроме как сказать несколько громких фраз и выказать свое превосходство испанского дворянина над нами. Он в действительности не хотел уличать меня во лжи, отрицая, что я видел его с Черной Мег, ему хотелось только противоречить, а может быть, скрыть кое-что. Если вы желаете знать правду, то я скажу вам, что, по моему мнению, старая ведьма передавала его записки какой-нибудь молодой даме, а Гаг Симон снабжал его крысами для соколов.

— Все это, может быть, и так, но что ты скажешь о его словах относительно пастыря. Они возбуждают мое подозрение. Ты знаешь, в какое мы живем время, и если он пойдет такой дорогой, — помни, это у

него в крови, — то жизнь всех нас будет у него в руках. Отец некогда собирался сжечь меня. Я не желаю, чтобы сын исполнил его намерение.

— Я вырос с Адрианом и знаю, что он такое. Он тщеславен, и пускай себе, глядя на меня с вами, ежеминутно благодарит Бога, что не похож на нас. У него много пороков и недостатков: он ленив, считает унизительным для себя работать, как простой фламандский бюргер, и тому подобное, но сердце у него доброе. И скажи мне кто-нибудь посторонний, что Адриан способен стать предателем и довести собственную семью до эшафота, так я заставил бы этого человека проглотить свои слова. Что же касается его слов о первом замужестве матери, — Фой опустил голову, — то, конечно, это предмет, о котором я не имею права рассуждать, но, говоря между нами, он не виновен во всем этом, а положение его крайне неприятное, и, понятно, он сердится.

В эту минуту дверь отворилась и вошла Лизбета.

— Что Адриан? — спросил Дирк.

— Ему, слава Богу, лучше, хотя доктор пробудет с ним всю ночь. Он потерял много крови и, в лучшем случае, должен будет долго пролежать в постели. Главное, никто не должен противоречить ему или грубо обращаться с ним… — она многозначительно взглянула на мужа.

— Довольно, — с раздражением перебил ее Дирк, — Фой только что читал мне наставление о моем обращении с твоим сыном, и я не желаю выслушивать еще нотации от тебя. Я обошелся с ним, как он того заслуживал, и если ему угодно было взбеситься до того, что его стало рвать кровью, то это не моя вина. Тебе следовало бы воспитывать его построже.

— Адриан не такой человек, как другие, и его нельзя судить по общей мерке, — сказала Лизбета, почти повторяя слова Фоя.

— Это я уже слышал, хотя сам не могу согласиться с вами, так как у меня для измерения добра и зла существует одна мерка. Ну, пусть будет так. Без сомнения, на Адриана надо смотреть как на ангела-испанца, и не судить его, как судят нас, голландцев, делающих свое дело, платящих свои долга и не нападающих с ножом на безоружных.

— Ты прочел письмо Бранта? — спросила Лизбета, меняя тему разговора.

— Нет еще, я забыл о нем со всеми этими кинжалами, обмороками и бранью, — ответил он и, взяв письмо, разрезал шелк и сломал печать. — Это наш условный шрифт, сказала мне Эльза, — продолжал он, всматриваясь в строки, перемешанные с ничего не значащими изображениями. — Фой, принеси-ка ключ из моего письменного стола и примемся за дело, письмо не скоро разберешь.

Фой повиновался и тотчас же вернулся с Библией маленького формата. С помощью этой книжки и приложенного ключа отец с сыном мало-помалу разобрали длинное послание. Фой слово за словом записывал разобранное, и когда, наконец, около полуночи все письмо было восстановлено, Дирк прочел его жене и сыну.

Любезный двоюродный брат и старый друг!

Ты изумишься, увидав мою дорогую дочь Эльзу, которая привезет тебе это письмо зашитым в своем седле, где, я надеюсь, никто не станет искать его. Тебя удивит также, что я не предупредил о ее приезде. Я объясню все.

Тебе известно, что у нас костры не угасают и топор не знает отдыха. В Гааге господствует дьявол, не зная удержу. Хотя беда еще не обрушилась на меня, потому что доносчики куплены мною, однако каждую минуту меч висит у меня над головой, и в конце концов мне не уйти от него. Мое преступление не в том, что меня подозревают в принадлежности к новой вере. Ты можешь догадаться: они стремятся захватить мое состояние. Я поклялся, что оно не достанется ни одному испанцу, не для того я копил его. Они же ожесточенно гоняются за ним, и я окружен шпионами. Худший из них, и притом стоящий во главе их, — некто Рамиро, одноглазый испанец, недавно прибывший сюда, как говорят, агент инквизиции. Его манеры указывают в нем бывшего дворянина, и он, по-видимому, хорошо знает страну. Этот негодяй предложил за уступку двух третей моего состояния дать мне возможность бежать, и я ответил ему, что подумаю. Таким образом мне дана небольшая отсрочка, так как он хочет, чтобы мои деньги перешли в его карман, а не в карман казны. Но, с Божьей помощью, они не достанутся ни тому, ни другому.

Видишь ли, Дирк, мое сокровище хранится не дома: оно скрыто в месте, где не может оставаться.

Поэтому, если ты любишь меня и помнишь нашу прежнюю дружбу, то пришли ко мне своего сына Фоя и другого надежного человека — твоего слугу, фриза Мартина — на следующий день после получения этого письма. К ночи они должны быть в Гааге. Пусть отдохнут несколько часов и освежатся, но ни в коем случае не подходят к моему дому. Пусть Фой и слуга с полчаса после заката прохаживаются взад и вперед по правой стороне Широкой улицы в Гааге, пока их не толкнет нарочно девушка, которая придет в сопровождении слуги, и не скажет Фою на ухо: «Ты также из Лейдена, душка?» На это он должен ответить: «Да!» — и последовать за девушкой к месту, где ему покажут, что и как сделать. Главное, он не должен идти ни за какой женщиной, которая подошла бы к нему, но не

сказала бы этих слов. Девушка, которая заговорит с ним, невысокого роста, брюнетка, хорошенькая и пестро одетая, на правом плече у нее будет пестрый бант. Но пусть Фой не доверяется наружности и платью, пока девушка не скажет упомянутых слов.

Если Фой благополучно достигнет Англии или Лейдена с найденным богатством, то скрывай его, пока найдешь нужным. Я не желаю знать, где оно будет спрятано: плоть слаба, и под пыткой я мог бы выдать тайну.

Три месяца тому назад ты получил мое завещание вместе со списком моего имущества. Вскрой его теперь и увидишь, что я назначаю тебя душеприказчиком для выполнения тех назначений, которые там указаны. Эльза хворала, и всем известно, что ей предписана перемена воздуха. Поэтому ее поездка в Лейден не возбудит ничьего внимания, и я надеюсь, что даже Рамиро не придет в голову, чтобы я мог отправить письмо, подобное этому, таким ненадежным путем. Однако все же я делаю это с опаской, так как шпионам нет числа, но выбора у меня нет и я не могу медлить. Если письмо перехватят, все равно не смогут разобрать шифра, так как копии нашей книги не существует в Голландии. Но даже будь это письмо написано на чистейшем голландском или испанском языке, оно не откроет ни местонахождения моего состояния, ни его назначения. Наконец, если какой-нибудь испанец найдет это сокровище, оно исчезнет, а может быть, и он вместе с ним.

— Что он хочет сказать этими словами? — перебил Фой.

— Не знаю, — отвечал Дирк. — Брант не такой человек, чтобы бросать слова на ветер, мы, может быть, не так прочли это место.

Затем он продолжал:

Теперь я кончил письмо и посылаю его на волю судьбы. Только прошу тебя как честного человека и старого друга, сожги мое достояние, закопай, разбросай на все четыре стороны света прежде, чем позволишь испанцу коснуться хотя бы одной драгоценной вещи, хотя бы одной монеты.

Ты поймешь, почему я посылаю Эльзу, свою единственную дочь, к тебе. В Лейдене, у тебя, она будет в большей безопасности, чем здесь, в Гааге, где и ее могли бы забрать вместе со мной. Монахи и их приспешники не пощадят молодого существа, особенно если оно стоит между ними и деньгами. Она знает очень мало о моем отчаянном шаге, ей неизвестно даже содержание этого письма, и я не желаю вовлекать ее во все эти заботы. Я — погибший человек, и бедняжка любит меня. Скоро она услышит, что все кончено, и ей будет тяжело, но все же легче, чем в том

случае, если бы она знала все с самого начала. Завтра я прощусь с ней навсегда. Дай мне, Боже, силы перенести удар!

Ты опекун Эльзы. Прошу тебя… нет, должно быть, мои заботы сводят меня с ума, потому что иначе никому и в голову не пришло бы напоминать Дирку ван Гоорлю или его сыну о его обязанностях относительно умершего. Прощай же, друг и брат! Да хранит Бог тебя и твоих близких в ужасное время, которое ему угодно было послать нам, чтобы через нас, быть может, страна избавилась от власти монахов и тирании. Передай мой большой поклон твоей жене Лизбете и сыну Фою, которого я помню веселым малым и которого надеюсь увидеть через двое суток, хотя, быть может, судьба и не даст нам увидеться. Благословляю Фоя, особенно если он успешно выполнит поручение. Да дарует нам Всемогущий счастливую встречу на том свете, где мы скоро будем. Молитесь за меня! Прощай, прощай!

Хендрик Брант.

P. S. Прощу госпожу Лизбету наблюдать, чтобы Эльза одевалась в шерстяное платье в сырую и холодную погоду: у нее грудь несколько слаба. Это было последнее наставление жены, и передаю его вам. Что же касается ее замужества, если она останется в живых, то я предоставляю это на твое усмотрение, прося только, чтобы, насколько это возможно, ты не противоречил ее склонности. Когда я умру, поцелуй ее от меня и скажи ей, что я любил ее больше всех живых на земле и что я со дня на день буду ждать встречи с ней там, где скоро буду, так же, как встречи с тобой, Дирк, и с твоими близкими. В том случае, если это письмо не попадет к тебе в руки, я при первом удобном случае пошлю второе, написанное тем же шифром.

Окончив чтение письма, Дирк, складывая его, поник головой, не желая, чтобы его лицо могли видеть. Фой тоже отвернулся, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся у него на глазах, а Лизбета плакала, не стесняясь.

— Грустное письмо и грустные времена, — сказал наконец Дирк.

— Бедная Эльза, — проговорил Фой, но затем прибавил с проснувшейся надеждой: — Быть может, Брант ошибается, ему, может быть, удастся бежать.

Лизбета покачала головой, отвечая ему:

— Хендрик Брант не такой человек, чтобы писать подобные письма, если бы у него оставалась какая-нибудь надежда, и он не расстался бы с дочерью, если бы не знал, что конец близок.

— Почему же он не бежит? — спросил Фой.

— В ту минуту, как он задумал бы сделать это, инквизиция набросилась бы на него, как на мышь, пытающуюся убежать из своего угла, — отвечал отец. — Пока мышь сидит тихо, кот тоже сидит и мурлычет, но только она пошевелится…

Наступило молчание, в продолжение которого Дирк, достав из надежного места завещание Хендрика Бранта, полученное им месяца три тому назад, вслух прочел этот документ.

Завещание было не длинно. В силу его Дирк ван Гоорль и его наследники назначались также наследниками всего движимого и недвижимого имущества Бранта с условием: во первых — выделить дочери Бранта Эльзе такую часть, какая будет необходима, во-вторых, употребить остальное «на защиту отечества, достижение свободы веры и изгнание испанцев, как и когда Господь укажет, что, — прибавлялось в завещании, — Он наверное сделает».

К завещанию был присоединен перечень имущества. Сначала шел длинный список драгоценностей с точным их описанием. Первыми стояли три вещи:

Ожерелье крупного жемчуга, выменянное мной у императора Карла V, когда он пристрастился к сапфирам. Ожерелье в непроницаемом медном ящике.

Диадема и пояс, отделанные золотом, моей собственной работы — лучшая вещь, когда-либо сделанная мною. Три королевы желали приобрести их, но ни у одной не хватило средств.

Большой изумруд, полученный мной от отца, величайший из камней этой породы, с магическими знаками, вырезанными на обратной стороне. Хранится в золотом ящичке.

Затем следовал длинный список других драгоценных камней, слишком многочисленных, чтобы их перечислять, и меньшей стоимости, и, наконец:

Четыре сосуда с золотой монетой (точная стоимость мне не известна).

В заключение было приписано:

Таково значительное богатство, — самое большое во всех Нидерландах, — плод честной работы и бережливости, превращенный мною главным образом в драгоценные камни для более удобного спасения.

Я, Хендрик Брант, платящий за это богатство жизнью, возношу при этом молитву: «Да будет это богатство проклятием для всякого испанца, который попытается украсть его», — и думаю, Господь услышит меня. Аминь, аминь, аминь. Так говорю я, Хендрик Брант, стоящий у врат смерти.

Когда Дирк окончил чтение, Лизбета тяжело вздохнула:

— Да, наша родственница богаче многих владетельных особ, — сказала она. — С таким приданым к ней посватался бы не один принц.

— Да, состояние не малое, — согласился Дирк, — только какую тяжесть взвалил на нас Брант, оставляя по этому завещанию свое состояние не прямо законной наследнице, но мне и моим наследникам, как исполнителям его распоряжений. Испанцам известно о существовании этого сокровища, монахам оно также известно, и они не оставят ни одного камня на свете или в аду, не перевернув его, пока не найдут этих денег. По-моему, Хендрик поступил бы благоразумнее, приняв предложение негодяя Рамиро. Следовало бы дать ему три четверти своего состояния, а самому бежать в Англию. Но это не в его характере, он всегда отличался упрямством и готов был скорее десять раз умереть, чем обогатить ненавистных ему людей. Кроме того, он желает, чтобы большая часть его состояния послужила его родине в минуту нужды, и на нас возлагается, после его смерти, обязанность определить эту минуту. Я предвижу, что эти драгоценности и золото принесут горе и гибель нашей семье. Но обязанность возложена на нас, и мы должны нести ее. Фой, завтра на рассвете ты с Мартином отправишься в Гаагу, чтобы исполнить приказание Бранта.

— Почему сыну моему непременно нужно рисковать своей жизнью ради такого поручения? — воскликнула Лизбета.

— Потому что это моя обязанность, матушка, — весело ответил Фой, стараясь, впрочем, придать своему лицу грустное выражение.

Он был молод и предприимчив, а предстоящая поездка сулила ему много нового.

Дирк невольно улыбнулся и приказал позвать Мартина.

Через минуту Фой был на чердаке у Мартина и толчками будил спящего.

— Проснись, бык! Вставай!

Мартин сел на постели, при свете ночника его рыжие волосы горели, как огонь.

— Что случилось, хеер Фой? — спрашивал он, зевая. — Пришли нас взять за тех двух испанцев?

— Нет, соня. Тут дело идет о большом богатстве.

— На что мне богатство, — равнодушно отозвался Мартин.

— Тут замешаны испанцы.

— Ну, это немного лучше, — заявил Мартин, закрывая рот. — Расскажите же в чем дело, пока я застегну куртку.

Фой в две минуты передал ему что мог.

— Хорошая штука! — критически отозвался Мартин. — Насколько я знаю испанцев, мы не вернемся в Лейден, не пережив кое-чего. Не нравится мне только, что тут замешались женщины: как бы они нам не испортили всего.

Они с Фоем отправились в комнату верхнего этажа и здесь в торжественном молчании выслушали приказания Дирка.

— Вы слушаете?… Понимаете? — резко спросил Дирк.

— Кажется, да, менеер, — отвечал Мартин. — Послушайте! — и он слово в слово повторил сказанное Дирком. Когда он хотел, память у него оказывалась прекрасной. — Только позвольте задать вам несколько вопросов. Наследство надо перевезти сюда во что бы то ни стало?

— Во что бы то ни стало, — отвечал Дирк.

— А если нам не удастся увезти его, то его следует спрятать как можно лучше?

— Да.

— А если нам вздумают помешать, мы должны будем обороняться?

— Конечно.

— А если при этом мне придется убить кого-нибудь, то пастор или другие не назовут меня убийцей?

— Не думаю, — отвечал Дирк.

— А если что-нибудь приключится с молодым хеером, его кровь не падет на мою голову?

Лизбета застонала, затем встала и сказала:

— Зачем ты задаешь такие глупые вопросы, Мартин? Сын мой должен разделить опасность с тобой, и если с ним приключится беда, — что легко может случиться, — то мы хорошо будем знать, что она приключилась не по твоей вине. Ты не трус и не предатель.

— Думаю, что так, мейнфроу, но вот видите: здесь две обязанности. Первая — увезти деньги, а вторая — защитить хеера Фоя. Я хочу знать, которая важнее.

Ему ответил Дирк:

— Ты отправляешься выполнять завещание моего родственника Хендрика Бранта, и оно должно быть выполнено прежде всего.

— Отлично, — отвечал Мартин. — Вы все хорошо поняли, хеер Фой?

— Вполне, — подтвердил молодой человек, улыбаясь.

— Ну, теперь прилягте на часок-другой, быть может, завтрашней ночью не придется уснуть. На рассвете я разбужу вас. Надеюсь вернуться к вам, менеер и мейнфроу, через двое с половиной суток. Если я не вернусь через трое или через четверо суток, то советую вам навести справки. — После этого Мартин отправился обратно к себе на чердак.

Молодые люди спят хорошо, что бы ни случилось и что бы ни предстояло, и Мартину на рассвете пришлось три раза окликнуть Фоя, прежде чем он открыл глаза и, вспомнив все происшедшее, вскочил с постели.

— Спешить особенно некуда, — сказал Мартин. — Но все же лучше выбраться из Лейдена, пока на улицах еще не много народу.

В эту минуту в комнату вошла Лизбета, уже вполне одетая, — она совсем не ложилась в эту ночь, — неся в руке небольшой кожаный мешочек.

— Что Адриан? — спросил Фой, когда мать нагнулась, чтобы поцеловать его.

— Он спит, и доктор, который все еще при нем, говорит, что ему лучше, — отвечала Лизбета. — Вот, Фой, ты в первый раз уезжаешь из родного дома, и я принесла тебе подарок — мое благословение.

Она развязала мешочек и, вынув из него какую-то вещь, положила на стол, где эта вещь образовала блестящую кучку величиной не больше кулака Мартина. Фой взял ее и поднял, причем маленькая кучка необыкновенно вытянулась и в конце концов оказалась мужской одеждой.

— Стальная кольчуга! — воскликнул Мартин, одобрительно качая головой. — Хорошая вещь для тех, кому приходится иметь дело с испанцами.

— Да, — отвечала Лизбета, — Отец мой привез ее из одного своего путешествия на Восток. Я помню, он рассказывал, что купил ее на вес золота и серебра, и то только по особой милости к нему короля той страны. Он говорил, что кольчуга старинной работы и теперь такой сделать нельзя. Она триста лет переходила в одной семье от отца к сыну, и ни один из носивших ее не умер от ран: никакой кинжал или меч не в состоянии пронзить эту сталь. По крайней мере, таково предание. И странно — когда я лишилась всего своего состояния… — она вздохнула, — эта кольчуга сохранилась у меня, так как лежала в своем мешочке в старом дубовом сундуке и никто не обратил на нее внимания. Она единственное наследство тебе от деда, так как дом уже перешел к отцу.

Фой отблагодарил мать, только поцеловав ее и не говоря ни слова: он весь погрузился в рассматривание кольчуги, которую мог вполне оценить, сам будучи медником. Мартин же все повторял:

— Эта вещь дороже денег. Бог знал, что кольчуга понадобится, и не дал ее им в руки.

— Я никогда не видал ничего подобного! — вырвалось у Фоя. — Смотри, она переливается, как ртуть, и легче кожи. Видишь, она уже перенесла не один удар сабли и меча… — Держа кольчугу против света, он указал на звенья с черточками и пятнышками, возникшими, очевидно, от лезвия меча или конца копья, но ни одно из звеньев не было повреждено или сломано.

— Молю Бога, чтобы она оказалась такой же прочной и теперь, когда ты станешь носить ее, — сказала Лизбета. — Но все же, сын мой, помни всегда, что есть Один, Кто может охранить тебя как никакая самая совершенная кольчуга. — Сказав это, она вышла из комнаты.

Фой надел кольчугу на шерстяную фуфайку, и она оказалась ему впору, хотя сидела и не так безукоризненно, как впоследствии, когда он пополнел. Когда поверх кольчуги он надел полотняную сорочку и куртку на подкладке, то никто не догадался бы, что он одет в броню.

— Нехорошо только, Мартин, что я закутался в сталь, а у тебя нет ничего, — сказал он.

Мартин засмеялся.

— Вы считаете меня сумасшедшим, хеер Фой? — ответил он. — Или я на своем веку видел мало драк? Взгляните-ка, — и, расстегнув свою кожаную куртку, он показал, что внизу у него надета другая куртка из какого-то толстого, но мягкого материала.

— Буйволова кожа, — пояснил Мартин. — Дубленая по-нашему, по-фризски. Конечно, она не такая прочная, как ваша кольчуга, но выдержит не один удар и не одну стрелу. Прошлой ночью я было стал приготовлять такую куртку и для вас и почти кончил ее, но сталь лучше и прохладнее для того, кому она по карману. Теперь закусим и в путь, чтобы быть у ворот к девяти часам, когда они отпираются.

XIII. Подарок матери — хороший подарок

В этот день без пяти минут девять у Белых ворот собралась небольшая кучка людей в ожидании, когда отворят городские ворота. Толпа была разношерстная, но преобладали в ней крестьяне, возвращавшиеся к себе в деревню, ведя с собой мулов и ослов, нагруженных пустыми корзинами, и обменивавшиеся веселыми приветствиями со знакомыми, ожидавшими по другую сторону решетчатых ворот с корзинами, полными всякой зелени и другой провизии. Виднелось несколько монахов, сосредоточенных и мрачных, по-видимому отправлявшихся по своим темным делам. Отряд испанских солдат, шедших в соседний город, также ожидал открытия ворот. Сюда же подъехали и Фой с Мартином, ведшим за собой вьючного мула. Фой был одет в серую куртку торговца, но вооружен мечом и ехал на хорошем коне, под Мартином же был фламандский битюг, которого в наши дни не сочли бы годным ни для чего иного, как для плуга. Но какая иная, более деликатно сложенная лошадь могла выдержать подобную тяжесть? В толпе сновал зоркий человечек с песочными бакенбардами и флегматичным лицом, спрашивая у едущих, куда и зачем они отправляются и записывая в записную книжку их товары и багаж. Подойдя к Фою, он спросил коротко, хотя хорошо знал молодого человека:

— Имя?

— Фой ван Гоорль и Мартин, слуга моего отца. Едем в Гаагу с образцами медного товара к заказчикам нашей фирмы, — спокойно отвечал Фой.

— Ишь, какие ловкие! — ядовито усмехнулся досмотрщик. — Чем нагружен мул? Библиями, что ли?

— Нет, не такой драгоценностью, — отвечал Фой, — а только разобранным церковным подсвечником.

— Распакуйте и покажите, — сказал чиновник.

Фой вспыхнул от гнева и стиснул зубы. Мартин же, подтолкнув его в бок, быстро принялся исполнять приказание.

Дело было хлопотное, так как каждая часть подсвечника была обернута в жгут сена, а чиновник не оставил неразвязанной ни одной, после чего их опять пришлось упаковывать. Пока путешественники были заняты этой бесполезной работой, к воротам подъехали еще два путника: один высокий, костлявый, одетый в платье, покроем схожее с монашеским, и с шляпой, закрывавшей лицо, другой — в неряшливом военном костюме,

но вооруженный с головы до ног. Увидав молодого ван Гоорля и его слугу, высокий, смешно сидевший на лошади, вытянув ноги вперед, что-то шепнул своему спутнику, и они проехали через ворота без всяких вопросов со стороны досмотрщика.

Когда Фой и Мартин минут двадцать спустя также пустились в путь, этой пары уже не было видно.

— Вы узнали их? — спросил Мартин, когда они выехали из толпы.

— Нет. А кто это? — отвечал Фой.

— Папистская колдунья Черная Мег, переодетая мужчиной, и молодец, приехавший из Гааги вчера. Они отправляются с донесением, что Адриан помешал им и что им не удалось обыскать Брекховенов и Эльзу.

— Что все это значит, Мартин?

— Значит, что нас встретят там с распростертыми объятиями. Выходит, кто-нибудь догадался, что мы знаем о сокровище и что оно не так-то легко дастся в руки.

— Они нападут на нас дорогой?

— Не думаю. Но всегда лучше быть наготове, — отвечал Мартин пожимая плечами. — Они могут подстеречь нас на обратном пути. Наша жизнь не нужна им без денег, стало быть, им придется подождать.

Мартин оказался прав. Добравшись беспрепятственно до Гааги, они, отправившись прямо в дом купца, которому везли заказ, оставили у него лошадей и сами отдохнули. Из разговоров со своим хозяином они узнали, что в Гааге всем, кого подозревают в принадлежности к новой религии, приходится очень плохо: ежедневно происходят пытки, сожжения, убийства, в домах обывателей расквартированы солдаты, шпионы и правительственные агенты, безнаказанно позволяющие себе всякие бесчинства. Хендрик Брант был еще на свободе и продолжал свою торговлю, но шел слух, что он уже замечен и ему не долго жить.

Фой объявил, что они переночуют в Гааге, и после заката предложил Мартину прогуляться, чтобы посмотреть виды города.

— Будьте осторожны, менеер Фой, — сказал хозяин, — здесь бродит множество всяких темных людей, и мужчин, и женщин. Да, море полно всяких приманок, на которые легко попасть новичку.

— Мы будем настороже, — отвечал Фой с веселым видом юноши, который не прочь испытать какое-нибудь волнение. — Лейденскую рыбу не так-то легко поймать на гаагскую удочку.

— Будем надеяться, что так, — сказал хозяин, — но все же я прошу вас быть осторожным. Помните, где в случае надобности найти своих лошадей. Они накормлены, и я велю их не расседлывать. О вашем

прибытии сюда уже известно, и почему-то за моим домом наблюдают.

Фой кивнул головой и пошел к дверям впереди Мартина, который шел за ним, настороженно озираясь и придерживая свой огромный меч «Молчание», который насколько мог старался скрыть под своей курткой.

— Лучше было бы, если бы ты был поменьше ростом, — шепнул Фой через плечо Мартину, — а то все оглядываются на тебя и на твою красную бороду, горящую, как огонь в печке.

— Что делать, менеер, — отвечал Мартин, — у меня и так болит спина оттого, что я все сгибаюсь, а бороду такую мне дал сам Бог.

— Можно бы выкрасить ее, — сказал Фой. — Если бы она была черная, ты не напоминал бы так петуха на церковной колокольне.

— Ну, как-нибудь выкрашу, менеер. Такую бороду не скоро выкрасишь, мне кажется, было бы проще обрезать ее.

Тут он замолк, так как они вышли на Широкую улицу. Здесь было очень оживленное движение, но лица прохожих было трудно рассмотреть, так как месяц не светил и улица освещалась только фонарями, стоявшими на очень далеком расстоянии один от другого. Однако Фой успел заметить, что в толпе было много лиц подозрительных: уличных женщин, солдат местного гарнизона, полупьяных матросов из разных стран, и между ними мелькали монахи и другие шпионы. Не успели Фой с Мартином сделать несколько шагов, как кто-то сильно толкнул Фоя, приказывая ему в то же время убираться с дороги. Однако, несмотря на то что кровь вскипела в нем и рука инстинктивно схватилась за меч, Фой сдержался, поняв, что его желают вызвать на ссору. Тут к нему подошла пестро одетая женщина. У нее не было банта на плече, поэтому Фой только покачал головой и улыбнулся. Однако он заметил, что позже, во время прогулки, эта женщина следила за ним вместе с мужчиной, лица которого он не мог рассмотреть, так как тот закрылся темным плащом.

Три раза Фой и Мартин прошли таким образом по правой стороне улицы, пока молодому человеку это не надоело и он не начал думать, что план Бранта не удался.

Но когда они повернули в четвертый раз, его опасения рассеялись, так как он очутился лицом к лицу с невысокого роста женщиной, имевшей большой красный бант на плече и шедшей в сопровождении другой женщины, неуклюжей и одетой как крестьянка. Особа с красным бантом, будто споткнувшись, бросилась с притворным криком прямо в объятия Фоя, и он услыхал, как она шепнула:

— Вы из Лейдена, душечка?

— Да.

— Так ведите себя со мной, как я буду вести себя с вами, и следуйте за мной, куда я поведу. Сделайте сначала вид, что хотите отделаться от меня.



Не успела она договорить, как Фой почувствовал: Мартин

подталкивает его, а позади слуги тотчас послышались шаги пары, следившей за ними, в чем теперь, в конце улицы, где людей было не так много, уже не оставалось сомнения. Он начал играть свою роль как можно лучше. Нельзя сказать, чтобы он исполнял ее в совершенстве, но его неловкость придавала ему чистосердечный вид.

— Нет, нет, — говорил он, — почему мне платить за твой ужин? Убирайся-ка, моя милая, и дай мне с моим слугой осмотреть город.

— Позвольте мне быть вашим проводником, менеер, — просила девушка с красным бантом, складывая руки с мольбой и смотря в лицо Фоя. В эту минуту первая женщина, подходившая к нему, громко сказала его спутнице:

— Скажите, как наш Красный Бант старается! Напрасная надежда, моя милая, добиться ужина или хоть кружки пива от лейденского купца-святоши.

— Напрасно ты считаешь его таким скаредным, — отвечала Красный Бант через плечо, между тем как глазами показывала Фою, чтобы он отвечал.

Он старался, насколько мог, и в результате спустя десять минут тот, для кого это представляло интерес, мог видеть, как по Широкой улице шел белокурый молодой человек, нежно обняв за талию свою спутницу-брюнетку, а за ним шагал высокий слуга с огненной бородой и, стараясь подражать своему господину, обхватил своей лапищей шею спутницы Красного Банта. Как Мартин объяснил бедной женщине впоследствии, не его вина, что ей было неудобно идти, так как, если бы ему вздумалось держать ее за талию, то пришлось бы для этого взять под мышку.

Фой и его спутница весело болтали, но Мартин даже не пытался говорить, и только пробормотал сквозь зубы:

— Хорошо, что пастор Арентс не может видеть нас. Ему бы ни за что не понять: он на все смотрит с одной точки зрения.

Так, по крайней мере, Фой впоследствии рассказывал в Лейдене.

По знаку своей спутницы Фой повернул на боковую улицу, и ему казалось, что никто не следит за ними, как вдруг он услыхал позади себя насмешливый голос:

— Спокойной ночи, Красный Бант. Желаю тебе хорошо поужинать с твоим лейденским приказчиком.

— Скорее, — шепнула Красный Бант и повернула за угол, потом за другой, за третий.

Теперь они шли по узким улицам, грязным и вонючим, среди домов с остроконечными крышами, местами так свесившимися вперед, что,

казалось, они сходились наверху, оставляя только полоску звездного неба над головами прохожих. По-видимому, это было городское предместье, и ужасный запах исходил от многочисленных каналов с переброшенными через них сводчатыми мостами, каналов, где теперь, летом, вода стояла низко, неподвижно и загнивала.

Наконец Красный Бант остановилась и постучалась в потайную дверь, которую тотчас отпер человек, не имевший в руке никакого света.

— Входите, — сказал он шепотом, и все четверо вступили в узкий коридор. — Скорее, скорее! — повторял человек. — Я слышу шаги.

Фой слышал также звук шагов по переулку, и когда дверь затворилась, звук замер у дома. Держа друг друга за руки, все шли по узкому коридору и спустились по лестнице, где, наконец, увидели свет, падавший сквозь щели плохо притворявшейся двери. Она отворилась при их приближении и снова затворилась, как только они вошли.

Фой вздохнул с облегчением, так как его утомило это продолжительное бегство, и огляделся. Он увидел, что они находятся в обширном подвале без окон, хорошо меблированном дубовыми скамьями. У нижнего конца стола стоял человек средних лет, преждевременно поседевший, с лицом, носившим отпечаток постоянной заботы.

— Добро пожаловать, Фой ван Гоорль, — обратился этот человек приятным голосом к вошедшему. — Много лет мы не виделись, а все же я везде узнал бы тебя, хотя ты меня бы не узнал.

Фой смотрел на него, качая головой.

— Я так и думал, — продолжал хозяин, улыбаясь. — Я — Хендрик Брант, твой родственник, некогда бургомистр города Гааги и ее самый богатый гражданин, а теперь травленая крыса, которой приходится принимать гостей в потайном подвале. Скажи мне, благополучно ли доехала дочь моя Эльза до дома твоего отца и здорова ли она?

Фой рассказал ему все происшедшее.

— Я так и знал, — повторял Брант. — Рамиро знал о ее поездке и догадывался, что она может отвезти письмо. Кто из вас предатель? — заговорил он вдруг, сжав кулаки в припадке злобы и обращаясь к женщинам, игравшим роль Красного Банта и служанки. — Неужели вы, евшие мой хлеб, предали меня? Нет, не плачьте: я знаю, что этого не может быть. Но теперь у нас в городе сами стены имеют уши, и даже эти толстые своды не сохранят нашей тайны. Ну, мне все равно, лишь бы удалось спасти свое состояние от этих волков! Пусть они тогда схватят мое тело и терзают его. По крайней мере, дочь моя в безопасности на некоторое время, и теперь у меня осталось одно только желание: лишить их моего состояния.

Затем он обратился к пестро одетой девушке, сидевшей на скамье, закрыв лицо руками, и сказал:

— Расскажи все как было, Гретхен.

Девушка отняла руки от лица и рассказала обо всем

— Они следуют за нами по пятам, — сказал Брант, — но мы, друзья, перехитрим их. Теперь кушайте и пейте, пока есть время.

По окончании ужина Брант приказал женщинам уйти и позвать человека, стоявшего на страже, став на его место. Вошел седой старик с суровым лицом и принялся за еду и вино.

— Послушай, Фой, — заговорил Брант, — вот какой у меня план: с милю от города, при устье большого канала стоит несколько судов, нагруженных товарами и лесом. Честным людям, ничего не знающим об истинном грузе этих судов, приказано поджечь их, если на борту появятся чужие. Между этими судами одно — «Ласточка», маленькое, но чрезвычайно быстрое и легко управляемое. Оно нагружено солью, но, кроме того, на нем восемь бочонков с порохом, а в середине между бочками с порохом и солью стоят бочки, в которых скрыты сокровища. Если у тебя хватит храбрости на такое дело, то этот человек, Ханс, довезет тебя до «Ласточки», если же ты сомневаешься в себе, то скажи прямо, и я поеду сам. Ты должен ступить на борт и на заре, распустив большой парус, выйти в открытое море. Очень вероятно, что в устье канала или в другом месте вас будет поджидать враг. На этот случай я могу дать только один совет: бегите с «Ласточки», если окажется какая-нибудь возможность, спасайтесь на боте или вплавь, но, прежде чем оставить судно, зажгите фитили, приготовленные на корме и на носу, и предоставьте пороху сделать свое дело. Пусть мои сокровища развеет ветер или скроет вода… Можешь ты сделать это? Подумай хорошенько, прежде чем ответить.

— Разве мы не для того приехали из Лейдена, чтобы исполнять ваши приказания? — отвечал Фой, улыбаясь, и затем прибавил: — Но почему вы не уезжаете с нами? Здесь вам грозит опасность, и даже если бы нам удалось спасти богатство, то какая польза в деньгах без жизни?

— Конечно, для меня никакой, но разве ты не понимаешь? Я живу среди шпионов, за мной следят день и ночь. Очень вероятно, что, несмотря на всю мою осторожность, о моем присутствии здесь уже известно. Мало того, уже издан приказ схватить меня при первой попытке с моей стороны оставить город. Тогда немедленно будет произведен обыск, и окажется, что мое богатство исчезло. Вспомни, как оно велико, и ты поймешь, почему вороны так жаждут его. О моем состоянии говорят в Нидерландах, о нем донесли испанскому королю, и я знаю, что от него получен приказ о

конфискации. Но есть еще шайка, которая раньше собирается наложить на него свою лапу: Рамиро и его товарищи. И вот, благодаря борьбе воров между собою, я еще до сих пор жив. Но за каждым моим шагом следят. Хотя они и не верят, что я могу отослать свое богатство, а сам остаться, однако не вполне убеждены в этом.

— Вы думаете, они будут преследовать нас? — спросил Фой.

— Наверняка. Из Лейдена прибыли гонцы за два часа до вашего приезда в город, и будет чудом, если вам удастся уехать, не повстречавшись с шайкой разбойников. Не заблуждайся: дело, предстоящее тебе, не легкое.

— Вы говорите, менеер, что суденышко быстро на ходу? — спросил Мартин.

— Да, но, может быть, у других есть не менее быстроходное. Кроме того, может случиться, что вы найдете устье канала закрытым стражниками, присланными сюда неделю тому назад с приказанием обыскивать каждое судно, выходящее в открытое море. А может быть, вам и удастся проскользнуть мимо…

— Мы с хеером Фоем не боимся нескольких ударов, — сказал Мартин, — и готовы храбро встретить любую опасность, но все-таки это дело кажется мне очень рискованным и деньги ваши вряд ли удастся спасти. Вот я и спрашиваю: не лучше ли было бы взять сокровище с судна, где вы его спрятали, и скрыть его на суше или увезти?

Брант покачал головой.

— Я уже думал об этом, — сказал он, — как вообще обо всем, но сделать этого теперь нельзя. И теперь уже не время строить новые планы.

— Почему? — спросил Фой.

— Потому, что день и ночь эти люди наблюдают за судами, принадлежащими мне, хотя они и записаны на чужие имена. И не далее как сегодня вечером подписан приказ обыскать эти суда за час до зари. Сведения у меня верные — я дорого плачу за них.

— В таком случае, нечего больше говорить, — сказал Фой. — Мы постараемся добраться до «Ласточки» и увести ее, и если это нам удастся, то постараемся скрыть сокровища, а если не удастся, то взорвем судно, как вы приказываете, сами же будем стараться скрыться или… — он пожал плечами.

Мартин не сказал ничего и только покачал головой. Лоцман, сидевший за столом, тоже не проронил ни слова.

Хендрик Брант взглянул на них, и его бледное, похудевшее от забот лицо начало подергиваться.

— Прав ли я? — проговорил он вполголоса и наклонил голову, как бы

в молитве.

Когда он снова выпрямился, он, казалось, принял решение.

— Фой ван Гоорль, — сказал он, — выслушай меня и передай твоему отцу, а моему душеприказчику то, что я скажу, так как писать мне некогда. Ты, вероятно, удивляешься, почему я не предоставляю богатство на волю судьбы, не рискуя жизнью людей для его сохранения. Что-то в сердце толкает меня на иной путь. Может быть, это воображение, но я — человек, стоящий на краю могилы, и таким людям — я знаю это — иногда бывает дано прозреть будущее. Мне кажется, что тебе удастся спасти сокровище и что оно даст возможность погубить некоторых злых людей, и даже больше того. Но когда это будет — этого я не могу видеть. Однако я уверен, что тысячи и десятки тысяч людей будут жить, благословляя золото Хендрика Бранта, и поэтому я так стараюсь скрыть его от испанцев. Вот почему я прошу вас обоих рискнуть вашей жизнью сегодня ночью. Не ради богатства, потому что богатство тленно, но ради того, что может быть достигнуто с помощью этого богатства в будущем. Он замолк на минуту, а затем продолжал:

— Я надеюсь также, что будучи, как мне говорили, свободным, ты со временем полюбишь мою дорогую девочку, которую я поручаю попечению твоего отца и твоему. Так как время уходит и мы никогда больше не увидимся с тобой, то я прямо скажу, что такой союз был бы приятен мне, так как я слышал о тебе много хорошего и ты мне нравишься по характеру так же, как по наружности. Помни всегда, какими бы тучами ни было покрыто небо над тобой, что перед своей смертью Хендрик Брант имел откровение о тебе и любимой дочери, которую ты со временем полюбишь, как ее любят все, кто знает. Помни также, что ее привязанность нелегко приобрести и что ты женишься на ней не из-за богатства, так как, повторяю тебе, богатство принадлежит не ей, но нашему народу, на благо которого оно должно быть употреблено.

Фой слушал с удивлением, но не отвечал ничего, не зная, что сказать. Однако на пороге первого важного события в его жизни ему приятно было слышать эти слова, так как он уже и сам нашел, что у Эльзы красивые глаза.

Брант между тем обратился к Мартину, но тот, тряся своей рыжей бородой, отступил на шаг.

— Благодарю вас, менеер, — сказал он, — но я обойдусь без пророчеств: хорошие или дурные, они смущают человека. Однажды астролог предсказал мне, что я утону на двадцать пятом году. Я не утонул, но, Бог мой, сколько лишних миль я сделал, отыскивая мосты, благодаря

этому астрологу.

Брант улыбнулся.

— Относительно тебя, мой друг, я ничего не предвижу, кроме того, что твоя рука окажется всегда крепкой в битве, что ты всегда будешь любить своих хозяев и будешь употреблять свою силу на отмщение за замученных Божьих святых.

Мартин усердно кивал головой и сжимал рукоятку своего меча «Молчание», между тем как Брант продолжал:

— Из-за меня ты вступил в опасное дело, и если останешься жив, то получишь хорошую награду.

Он подошел к столу и, взяв лист бумаги, написал:

Хееру Дирку ван Гоорлю и его наследникам, моим душеприказчикам и хранителям моего состояния, которое они должны употребить, как укажет им Господь. Сим назначаю, чтобы за дело сегодняшний ночи Мартину по прозвищу Красный, слуге вышеупомянутого Дирка ван Гоорля, или его наследникам по его указанию, была выплачена сумма в пять тысяч флоринов, и эта сумма прежде всего должна быть взята из моего состояния, на какой бы предмет его ни предназначили мои душеприказчики.

Подписав документ и поставив число, он пригласил Ханса-лоцмана поставить и свою подпись в качестве свидетеля. После этого он передал бумагу Мартину, который поблагодарил его, поднеся руку ко лбу, говоря в то же время:

— В конце концов, драться не так уж и плохо! Пять тысяч флоринов! Никогда мне и во сне не снилось такое богатство.

— Ты еще не получил его, — заметил Фой. — И что ты сделаешь теперь с бумагой?

Мартин задумался:

— Положить в куртку?… Нет, — сказал он, — куртку можно снять и забыть. В сапоги?… Нет, там она истреплется, особенно если они намокнут. Зашить в фуфайку?… Нельзя по той же причине. А, догадался!…

Вытащив из ножен свой огромный меч, он начал ножом отвертывать один из маленьких серебряных винтиков, которыми рукоятка была привинчена к лезвию. Вынув винт, он дотронулся до пружинки, и одна четвертушка костяной ручки отскочила, обнаружив значительную пустоту внутри рукоятки, так как меч был сделан для двух обыкновенных человеческих рук и только Мартин мог держать его одной рукой.

— Зачем эта дыра? — спросил Фой.

— Копилка палача, — ответил Мартин, — благодаря которой человек, имеющий с ним дело, становится счастливым, конечно, если иметь чем заплатить. Я помню, он предлагал и мне, перед тем как я… — Мартин запнулся и, свернув бумагу, спрятал ее в углубление.

— Ты можешь лишиться своего меча, — высказал свое предположение Фой.

— Да, но только вместе с жизнью, и тогда заменю надежду на флорины золотым венцом, — ответил Мартин осклабившись. — А до тех пор я не намерен расставаться с «Молчанием».

Между тем Хендрик Брант разговаривал шепотом с молчаливым лоцманом, и тот, поднявшись, сказал:

— Не беспокойся обо мне, брат, я иду на риск и не желаю опередить тебя. Мою жену сожгли, одна из двух дочерей замужем за человеком, который сумеет защитить их обеих. Не беспокойся обо мне, у которого одно только желание — выхватить из-под носа у испанцев сокровище, чтобы со временем оно могло служить к их погибели!

Он снова погрузился в молчание. Молчали и остальные присутствовавшие.

— Пора отправляться — заговорил Брант. — Ханс, ты укажешь дорогу. Мне надо еще побыть здесь, прежде чем я пойду домой и покажусь на улице.

Лоцман кивнул головой.

— Готовы? — спросил он, обращаясь к Фою и Мартину. Затем, подойдя к двери, он свистнул, и в комнату вошла Красный Бант со своей спутницей. Он сказал им несколько слов и поцеловал каждую в лоб. Затем он подошел к Хендрику Бранту и, обняв его, поцеловал горячее, чем своих дочерей.

— Прощай, брат! — сказал он. — До свидания здесь или там — все равно. Не бойся, мы, может быть, переправим все в Англию или пошлем все к черту и отправим туда же искать богатства несколько испанцев. Теперь, друзья, пойдемте, и не отставайте от меня, а если кто захочет остановить нас, пристукните его. Когда мы дойдем до лодки, вы будете грести, а я сяду у руля. Дочери проводят нас до канала, под руку с каждым из вас.

Если что-нибудь случится со мной, каждая из них может направить вас к «Ласточке», а если ничего не случится, то мы высадим их на ближайшей верфи. Идемте! — И он пошел к выходу.

На пороге Фой оглянулся на Хендрика Бранта. Тот стоял у стола, и яркий свет, падавший на его седую голову, образовал вокруг нее как бы

венец. В эту минуту, закутанный в свой длинный черный плащ, с губами, шепчущими молитву, и руками, поднятыми, чтобы благословить уходящих, он походил не на обыкновенного смертного, но на какого-то святого, сошедшего на землю. Дверь закрылась, и Фой уже никогда не видел более Бранта, так как вскоре после этого агенты инквизиции схватили старика и он умер в их жестоких руках. Одним из обвинений, выдвинутых против него, было то, что более двадцати лет тому назад Черная Мег, сама явившаяся свидетельницей, видела, как он читал Библию. Однако инквизиции не удалось узнать, где спрятано сокровище. Правда, ради более легкой смерти он сделал своим мучителям длинное признание, заставившее их совершить далекое путешествие, но он сам не знал истины и поэтому действительно не мог сообщить ничего.

*** * ***

Когда Фой со своими спутниками вышел на темную улицу, он снова обнялся с Красным Бантом, а Мартин снова обхватил за шею ту из женщин, которая казалась служанкой, между тем как лоцман, будто платный проводник, показывал дорогу. Скоро позади них послышались шаги — за ними следили. Они сделали один-два поворота и очутились на берегу канала, где Ханс, спустившись вместе с дочерями с лесенки, пошел в лодку, стоявшую наготове. Мартин следовал за ними, а последним был Фой. В ту минуту, как он поставил ногу на первую ступень, из мрака вынырнула темная фигура, в воздухе сверкнул нож и ударил его между лопаток. Он покачнулся и со всего размаха полетел с лестницы.

Но Мартин все видел и слышал. Он размахнулся своим мечом. Убийца был далеко, однако конец меча коснулся его протянутой руки и из нее выпал сломанный нож, между тем как державший его отшатнулся с криком боли. Мартин схватил нож, затем вскочил в лодку и оттолкнул ее. На дне ее лежал Фой, упавший прямо в объятия Красного Банта, повалив и ее.

— Вы ранены, менеер? — спросил Мартин.

— Нет, — отвечал Фой. — Но боюсь, не ушиб ли я барышню.

— Подарок матери — хороший подарок, — проговорил Мартин, усаживая Фоя и его спутницу на скамью в лодке. — Вместо того чтобы нанести вам восьмидюймовую рану, нож сломался о кольчугу. Вот он. — Он бросил нож на колени Фою и взялся за весло.

Фой рассматривал нож при слабом свете и увидел, что на рукоятке замер палец — длинный, костлявый, с надетым на него золотым кольцом.

— Это может пригодиться, — подумал Фой, положив палец с кольцом в карман.

Все взялись за весла и стали грести, пока не подъехали к верфи.

— Ну, дочери, теперь прощайте, — сказал Ханс.

Красный Бант нагнулась и поцеловала Фоя.

— Прощайте, — повторил Фой, отвечая на поцелуй.

Она спрыгнула на берег. Больше они не встречались.

— Вы знаете, что нужно делать, — обратился Ханс к дочерям, — и через три дня вы будете в Англии, где, может быть, мы встретимся. Хотя на это не рассчитывайте. Но что бы ни случилось, живите честно, помните меня, пока мы встретимся здесь или там, а главное, помните мать и вашего благодетеля Хендрика Бранта. Прощайте!

— Прощайте! — отвечали дочери с рыданием, и лодка отчалила по темному каналу, оставив дочерей Ханса на верфи.

Впоследствии Фой узнал, что женщина, шедшая с Мартином, была замужем. Красный Бант позже вышла замуж за лондонского торговца сукном, и ее внук был лондонским лорд-мэром. Больше мы уже не встретимся с этими девушками в нашем рассказе.

XIV. Меч «Молчание» получает тайну на хранение

С полчаса они молча и без препятствий плыли по каналу. Затем лодка вступила в более широкий проток, по которому они приближались к морю, держась, насколько было возможно, в тени берега, потому что, хотя ночь и была безлунная, но на канале лежал слабый сероватый свет. Наконец Фой заметил, что их шлюпка начала задевать за бока выстроенных в ряд барок и речных лодок, нагруженных лесом и другими товарами. Лоцман Ханс направился к четвертой из барок и привязал к ее корме свою лодку. Взобравшись на борт, он пригласил своих спутников последовать за собой.

Когда они исполняли его приказание, Фой увидел, как впереди поднялись две темные фигуры и сверкнуло стальное лезвие. Ханс свистнул, опустив оружие, эти люди подошли к нему и вступили в разговор. Скоро Ханс обратился к Фою и Мартину:

— Нам придется подождать немного, ветер дует встречный, и было бы слишком опасно идти на веслах против него в открытое море мимо мелей. Он переменится еще до зари, если я что-нибудь понимаю в небе, и сильно подует с суши.

— Что говорили люди с судна? — спросил Фой.

— Что им уже четыре дня не дают пропуска и что назавтра ожидается обыск, и груз будут вынимать по одной вещи.

— Ну, надеюсь, к тому времени то, что они ищут, будет уже далеко. Покажите нам судно.

Ханс повел их под палубу, так как суденышко было крытое и по размерам и форме напоминало теперешние суда сельдяных промышленников, хотя несколько более легкой постройки. Засветив фонарь, он стал показывать груз. Сверху лежали мешки с солью. Сняв один или два из них, Ханс открыл днища пяти бочонков, помеченных буквой *Б*, нарисованной белой краской.

— Вот что они будут искать, — сказал Ханс.

— Сокровища? — спросил Фой.

Лоцман кивнул головой.

— Да, эти пять бочонков и ничего другого.

Под этими пятью он указал еще другие десять бочонков, наполненные лучшим порохом, и показал, как фитиль проходил в помещение с товаром,

на палубу и к рулю, где его любую минуту могли поджечь. Осмотрев, насколько позволяло освещение, канаты и паруса, Фой и его спутники сели в каюте, ожидая, пока ветер переменится, между тем как двое матросов поднимали якорь и ставили паруса. Прошел час, а ветер все еще продолжал дуть с моря, хотя уже не постоянно, но как бы нерешительными порывами, и, наконец, совершенно стих.

— Дай Бог, чтобы ветер поднялся поскорее, — сказал Мартин — обладатель того пальца, который у вас в кармане, наверное, давно приготовился гнаться за нами, и вот восток уже алеет.

Молчаливый, угрюмый Ханс подался вперед и смотрел на темную воду, приложив руку к уху.

— Я слышу их, — сказал он.

— Кого? — спросил Фой.

— Испанцев и ветер, — отвечал он. — Скорее поднимем грот-парус и выйдем на середину канала.

Все трое схватились за веревки: кольца и снасти затрещали, между тем как большой парус стал подниматься кверху по мачте. Наконец его установили, а вслед за ним и второй. Тогда с помощью обоих матросов «Ласточку» вывели в линию прочих судов на фарватер. Все это произвело шум и потребовало некоторого времени. На берегу появились люди и стали спрашивать, кто смеет без позволения сниматься с якоря. Когда с «Ласточки» не последовало ответа, раздался выстрел, и на сторожевом посту запылал огонь.

— Плохо дело, — сказал Ханс, — они дают сигнал правительственному кораблю у устья канала. Смелей, менеер, смелей… вот и ветер!

Он подбежал к рулю, рукоятка повернулась, и суденышко начало пролагать себе дорогу.

— Да, а вместе с ветром идут и испанцы, — заметил Мартин.

Фой стал вглядываться в серые сумерки, становившиеся с каждой минутой все светлее, так как уже занималась заря, и увидел не более чем в четверти мили длинную лодку, на всех парусах несущуюся к ним.

— Им пришлось плыть в темноте, вот отчего они так запоздали, — заметил Ханс через плечо.

— Как ни как, они здесь, и их немало, — сказал Фой, когда крик дюжины голосов с лодки возвестил им, что они открыты.

Но тут «Ласточка» полетела, глубоко бороздя носом воду.

— Далеко до моря? — спросил Фой.

— Около трех миль, — отвечал Ханс, — с таким ветром мы проскочим

их за четверть часа. Менеер, прикажите своему слуге зажечь огонь в кухне.

— Зачем? — спросил Фой. — Чтобы приготовить завтрак?

Лоцман пожал плечами и пробормотал:

— Да, если мы еще будем живы, чтобы съесть его.

Но Фой видел, что он смотрит на фитиль, и понял его мысль.

Прошло десять минут. Они миновали последний бакен и вышли в открытое море. Между тем стало уже совершенно светло, и находившиеся на «Ласточке» видели, что сигнальные огни были зажжены не напрасно. При устье канала, как раз где начиналась последняя мель, была построена земляная дамба, оставлявшая проход не более пятидесяти шагов шириной, и на одном краю ее стоял форт, вооруженный пушками. В небольшой бухточке под стенами форта стояла наготове открытая шлюпка с двенадцатью или пятнадцатью поспешно вооруженными солдатами.

— Что же теперь будет? — спросил Мартин. — Они запрут выход из канала.

Ханс стиснул зубы и не отвечал. Он только смотрел то на преследователей, то на заграждавших дорогу, и вдруг громко скомандовал:

— Вы двое под палубу! Они собираются стрелять с форта.

Сам он плашмя лег на палубу, не выпуская руля из поднятой руки. Фой и Мартин повиновались, сознавая, что на палубе они бесполезны. Только Фой одним глазом заглядывал через люк.

— Вот оно! — сказал он и пригнулся.

С форта показался дымок и вслед за тем свист снаряда, пролетевшего в воздухе, затем — снова дымок, и в парусе «Ласточки» появилась дыра. После этого нового выстрела не последовало, потому что люди не успели заложить новые заряды. Только несколько солдат, вооруженных арбалетами, начали стрелять по суденышку, пронесшемуся в нескольких футах мимо них.

Не обращая внимания на обстрел, Ханс снова встал на ноги, потому что лежащему человеку невозможно было бы выполнить такую работу, какая ему предстояла. Большая лодка, спущенная у форта, теперь была футах в двухстах от них, и «Ласточка», подхваченная сильным течением, неслась на нее с быстротой стрелы.

Фой и Мартин выползли из-под палубы и легли рядом с лоцманом, наблюдая за неприятельской лодкой, дошедшей до половины самого узкого места канала еще по ту сторону мели.

— Смотрите, — сказал Фой, — они бросают два якоря. Будет ли возможность пройти мимо них?

— Нет, — отвечал Ханс, — у самой мели вода слишком мелка, и они

знают это. Принесите горящую головню.

Фой сполз вниз и вернулся с огнем.

— Ну, теперь, хеер Фой, зажгите фитиль.

Фой широко раскрыл свои голубые глаза, и у него мороз прошел по коже, но, стиснув зубы, он повиновался. Мартин, взглянув на Ханса, проговорил:

— Жалко молодости!

Ханс кивнул головой и сказал:

— Не бойся: пока фитиль догорит до палубы, мы уже будем в безопасности. Ну, теперь держись крепче! Мне нельзя пойти мимо лодки, так я пройду сквозь нее. Мы, может быть, пойдем ко дну по ту сторону, хотя я уверен, что огонь достигнет пороха еще раньше. В таком случае вы можете спастись вплавь, я же пойду туда, куда пойдет «Ласточка».

— Посмотрю, когда придет время. Ох, этот проклятый астроном! — проворчал Мартин, оглядываясь на преследовавшую их лодку, которая находилась не дальше восьми или девяти сот ярдов.

Между тем офицер, командовавший лодкой, вооруженный мушкетом, кричал им, чтобы они спустили парус и сдались. Только тогда, когда между обеими лодками оставалось не больше пятидесяти ярдов, он, казалось, понял отчаянное намерение голландцев. В лодке послышались возгласы:

— Эти дьяволы хотят потопить нас! — и многие бросились поднимать якоря. Один только офицер стоял стойко, бешено крича.

Было уже поздно: сильный порыв ветра подхватил «Ласточку», и она неслась с быстротой сокола. Ханс стоял и слегка поворачивал руль, взвешивая все глазами. Фой наблюдал за лодкой, на которую они летели, а Мартин, лежа возле него, не сводил глаз с нитки.

Вдруг, когда до лодки оставалось всего шагов пять-десять, испанский офицер, перестав кричать, поднял мушкет и выстрелил. Мартину, поднявшему глаза, показалось, что лоцман покачнулся, но тот не издал ни звука. Он только придал какое-то особое положение рулю, налегая на него изо всех сил, и его спутникам показалось, будто «Ласточка» на минуту остановилась и нос ее поднялся над водой, затем вдруг послышался звук, будто что-то треснуло, перекрывший даже крик солдат в лодке: бушприт рухнул, и парус бился в воздухе, как огромный флаг.

Затем раздался треск: Фой на минуту зажмурился, держась обеими руками за борт, пока лодка не перестала дрожать. Когда он снова открыл глаза, то первое, что он увидел, было тело испанского офицера, перевесившееся через сломанный бушприт. Фой оглянулся. Лодка исчезла, и над водой виднелись три или четыре головы плывших людей. Что же

касается его спутников, то они казались невредимы, только их суденышко лишилось бушприта. Но теперь оно плавно, как лебедь, плыло по морю. Ханс взглянул на фитиль, который тлел уже близко к палубе, а Мартин стал топтать его, говоря:

— Если мы теперь пойдем ко дну, то пойдем на глубоком месте, стало быть, не стоит взлетать на воздух прежде, чем утонуть.

— Надо взглянуть, есть ли течь, — сказал Ханс.

Они спустились вниз: казалось, что «Ласточка» не получила никакого серьезного повреждения. Ее массивный дубовый нос врезался в легкие борта открытой испанской лодки и разрезал ее, как нож яйцо.

— Отличный был поворот, — сказал Фой Хансу, когда они повернули, — кажется, все сделано, как следует.

Ханс кивнул:

— Да, ловко прицелился, — проговорил он, — видимо, и следа не осталось.

В эту минуту «Ласточка» сильно качнулась, и тело испанца, тяжело всплеснув, упало в воду.

— Я рад, что лодка пошла ко дну, — сказал Фой, — а теперь давайте позавтракаем: я умираю с голода. А вам, друг Ханс, принести что-нибудь поесть?

— Нет, менеер, мне хочется спать.

Что-то в тоне лоцмана заставило Фоя взглянуть ему в лицо. Губы старика посинели. Фой посмотрел ему на руки: хотя они крепко держали руль, однако, тоже посинели, будто от холода, а на палубу капала кровь.

— Вы ранены? — спросил Фой. — Мартин, Ханс ранен.

— Да, — сказал лоцман. — Он целил в меня, а я целил в него, и, может быть, мы скоро обсудим с ним вместе, как все случилось. Не беспокойтесь — я ранен навылет и смертельно. Я не ждал ничего иного, поэтому и не жалуюсь. Слушайте меня, пока я еще в силах говорить. Сумеете вы добраться до Норвича, в Англию?

Мартин и Фой отрицательно покачали головой. Подобно большинству голландцев, они были хорошими моряками, но знали только берега собственной страны.

— В таком случае, и не пытайтесь: тут дуют ветры, которые отнесут вас в сторону, вы пойдете ко дну, и сокровища погибнут. Идите к Харлемскому озеру, друзья. На нашей «Ласточке» вы можете подойти близко к берегу, между тем как этому огромному дьяволу, — он указал на преследовавший их корабль, проходивший через мель, — придется остановиться вдали. Через узкий канал войдите в озеро. Вы знаете тетушку

Марту, по прозвищу Кобыла? Она будет ждать вас у входа в канал: она всегда там. Я на всякий случай дал ей знать, что мы можем зайти в озеро, и если вы поднимете белый флаг с красным крестом — он лежит в каюте — или, в сумерки, вывесите красный фонарь на правой стороне, она придет, чтобы провести вас, потому что хорошо знакома с «Ласточкой». Ей вы безбоязненно можете сообщить все: она поможет вам и будет хранить тайну, как мертвая. На озере вы можете потопить или взорвать, на суше — закопать сокровище, вообще сделать, что считаете нужным. Но именем Бога, к которому я отхожу, умоляю вас, не отдавайте его в руки Рамиро и его испанских крыс, которые гонятся за нами по пятам.

При этих словах Ханс упал на палубу. Фой подбежал, чтобы поддержать его, но он отвел его слабеющей рукой.

— Оставьте меня, — шепотом сказал он, — я хочу помолиться. Я поставил руль. Держите тот же курс.

Мартин взялся за руль, в то время как Фой остался около Ханса. Через десять минут последнего не стало.

Сильный ветер гнал их к Харлемскому озеру, испанский корабль шел за ними, но держался дальше в открытом море, избегая мелей. Через полчаса ветер, все более и более поворачивая к северу, превратился в ураган, и им пришлось бороться с ним, убрав паруса. Однако все обошлось благополучно: Фой смотрел за парусами, а Мартин стоял у руля. «Ласточка» была хорошим морским суденышком, и если плыла медленно, то и ее преследователь плыл не скорее, и между ними образовывался временами промежуток в милю. Наконец к вечеру они увидели развалины мызы, указывавшие вход в один из каналов в Харлемское озеро.

— Море бурно на мели, и сейчас отлив, — заметил Фой.

— А все же надо попытаться, менеер, может быть, и проскочим, — ответил Мартин и направил «Ласточку» к устью протока.

Здесь волны вставали как горы и заливали палубу, однако «Ласточке» удалось перебраться через три мели, и, наконец, она вступила в спокойные воды канала, где пошла хотя и тихо, но на парусе.

— Наконец-то мы ушли от них, — сказал Фой. — Им не войти сюда до прилива.

— Надо воспользоваться временем, — ответил Мартин. — Поднимите же белый флаг, и, пока возможно, закусим.

Пока они ели, солнце село и ветер так упал, что они едва делали по миле в час. Так как Марты или какого-либо другого лоцмана не было видно, они вывесили красный фонарь и медленно продвигались вперед, пока не достигли, наконец, выхода в море — обширной водной

поверхности, местами мелкой, местами глубокой и усеянной во всех направлениях островками. Ветер теперь дул встречный, и при наступившей полной темноте пришлось бросить якорь, рискуя иначе наткнуться на берег. Одно утешало пассажиров «Ласточки» — что их преследователь не мог видеть их.

Тут в первый раз их мужество несколько поколебалось, и они стояли молча у руля, не зная, что предпринять. Вдруг перед ними появилась белая фигура, будто поднявшись с палубы судна. Они не слышали звука весел или шагов, а между тем фигура стояла перед ними, вырисовываясь на темном небе.

— Кажется, друг Ханс ожил, — сказал Мартин с легкой дрожью в голосе: он ужасно боялся привидений.

— А я думаю, что нас выследил испанец, — сказал Фой, выхватывая нож.

Но тут послышался хриплый голос:

— Кому надо лоцмана в моих водах?

— А кто ты? — спросил Фой. — Говори скорее!

— Я лоцман, — отвечал голос, — а ваше судно по виду и сигналу, должно быть, «Ласточка» из Гааги. А почему это мне пришлось споткнуться на палубе о мертвое тело?

— Пойдем в каюту, и я расскажу тебе все, — сказал Фой.

— Хорошо, менеер.

Фой повел лоцмана в каюту, между тем как Мартин немного отстал.

«Мы нашли себе проводника, зачем нам теперь фонарь?» — подумал он и загасил все фонари, кроме одного, который взял в каюту.

Фой ждал его у двери, и они вошли вместе. Фонарь осветил странную фигуру, одетую в меховую одежду, такую широкую и бесформенную, что невозможно было сказать, мужчину или женщину она прикрывала. Фигура была без шапки, и на лоб ей спускалась прядь волнистых седых волос. Лицо с парой блуждающих серых глаз было изможденное, обветренное от постоянного пребывания на воздухе, все в шрамах, некрасивое, с высохшими губами и выступающими вперед зубами.

— Здравствуйте, сын Дирка ван Гоорля и Красный Мартин. Я — тетка Марта, прозванная испанцами Кобылой и Озерной Ведьмой.

— Я и без ваших слов узнал бы вас, матушка Марта, — сказал Фой, — хотя, правда, уже много лет не видел вас.

Марта грустно улыбнулась, отвечая ему:

— Да, много лет. Какое дело жирным лейденским бюргерам до бедной бродяги в спокойное время. Я не хочу укорять вас. Не следовало бы даже,

чтобы знали, что ты или твои родители имеют дело со мной. Ну, что вам от меня нужно? По сигналу я вижу, что у вас есть дело. И почему тело крестного брата Хендрика Бранта лежит там, у руля?

— Потому что, говоря прямо, у нас на борту богатство Хендрика Бранта, а что касается остального, то взгляните туда.

И Фой указал вдаль, где среди мрака в нескольких милях светилась точка, слишком низкая и красная, чтобы быть звездой, — фонарь, поднятый на мачту корабля.

Марта воскликнула:

— Испанцы гонятся за вами, и ветер не пускает их сюда. Времени терять нечего. Спустите лодку, и мы отведем «Ласточку» туда, где она на сегодняшнюю ночь будет в безопасности.

Через пять минут они все двигались на веслах в лодочке, в которой бежали из Гааги, к неизвестному им месту, в темноте, медленно ведя за собой на буксире «Ласточку». По пути Фой рассказал Марте все, касавшееся данного ему поручения и своего бегства из Гааги.

— Я и прежде слыхала об этих богатствах, — сказала Марта, — все Нидерланды знают о сокровище Хендрика Бранта. Покойный Ханс известил меня, что он может попасть сюда: он думал, что на меня можно положиться в таких делах, — усмехнулась она. — Ну, что же вы намереваетесь делать?

— Исполнить данное нам приказание, — сказал Фой. — Спрячем богатство, если окажется возможным, или уничтожим его.

— Лучше первое, чем второе, — прервала Марта. — Спрячьте сокровища, говорю вам, и уничтожьте испанцев. У тетки Марты есть план.

— Мы можем потопить судно, — предложил Фой, — или положить драгоценности в лодку и потопить ее.

— И никогда не найти ее в этом озере, — заметила Марта.

Все это время Марта так уверенно управляла лодкой, будто дело происходило среди белого дня. Лодка вышла из открытой воды и пробиралась между островками. Наконец гребцы почувствовали, что идущая позади «Ласточка» слегка задевает дном ил. Тогда Марта, отведя ее в сторону, бросила якорь, говоря, что здесь будет ее стоянка на ночь.

— Теперь, — сказала она, — несите золото и кладите в лодку. Если вы хотите спасти его, придется много поработать до зари.

Фой и Мартин пошли вниз, а Марта, свесившись над перилами лестницы, держала зажженный фонарь, светя им, так как они не решались подходить с огнем к пороху. Сняв мешки с солью, они скоро добрались до бочонков с буквой *Б* и, несмотря на всю свою силу, с трудом, при помощи

блока, спустили их в лодку. Наконец погрузка была окончена, место бочонков занято мешками с солью. Захватив два заранее приготовленных железных заступа, Фой с Мартином снова спустились в лодку, которой по-прежнему управляла Марта. Больше часа они пробирались между бесконечными островками, на темные берега которых Марта пристально смотрела, пока, наконец, она не приказала им положить весла, и они причалили.

Марта привязала лодку и скрылась в камышах, откуда скоро вернулась, говоря, что место найдено. Тогда началась трудная работа, состоящая в том, чтобы перекатить тяжелые бочонки шагов на тридцать по тропинкам, проложенным речными бобрами среди густых камышей.

Осторожно вырезав камыш в месте, указанном Мартой, Мартин и Фой принялись копать при свете звезд глубокую яму. Они работали усердно и все-таки, не будь почва такой болотистой и мягкой, не успели бы закончить дело до рассвета, так как яма должна была быть очень вместительной, чтобы вошли все бочонки.

Выкопав фута три почвы, они дошли до поверхности озера и продолжали работать в воде, выбрасывая заступами грязь. Наконец все пять бочонков были установлены рядышком в воде, закрыты землей, и место заложено торфом и покрыто камышом.

— Пойдемте, — сказала Марта. — Времени терять нельзя.

Они выпрямились и обтерли пот с лица.

— Кругом накидана земля: она может выдать нас, — сказал Мартин.

— Да, — согласилась Марта, — если кто-то увидит это место в течение десяти дней. Потом болотистая почва опять зарастет мхом и все скроется.

— Мы сделали все, что могли, — заметил Фой, ополаскивая запачкавшиеся сапоги, — а там будь что будет.

Они снова сели в лодку и поплыли прочь, но гребли гораздо медленнее: утомленный Фой чуть не засыпал над своим веслом.

Вдруг Марта дотронулась до его плеча. Он поднял голову и увидел неясно вырисовывавшиеся при слабом свете футах в двухстах мачты преследовавшего их корабля с одиноко горевшим на мачте фонарем.

Марта нагнулась и что-то повелительно шепнула.

— Это сумасшествие, — сказал Мартин.

— Делайте как я говорю, — прошипела она.

И они пустили лодку по ветру, пока она не подплыла к маленькому островку футах в тридцати от стоявшего на якоре корабля. На островке, на самом берегу, росла одинокая ива, свесившись ветвями к воде.

— Держитесь за ветви дерева, — проговорила Марта, — и подождите, пока я вернусь.

Фой и Мартин повиновались.

Марта встала. Они увидели, что она сняла свое меховое платье, и перед ними выросла высокая белая фигура, вооруженная ножом. Она взяла нож в зубы и тихо, как водяная птица, спустилась в воду. Прошло не больше минуты, и ее спутники заметили, что кто-то карабкается по якорному канату.

— Что она хочет сделать? — шепотом спросил Фой.

— Бог знает, — отвечал Мартин, — только если она не вернется, прощай, богатство хеера Бранта: она одна может найти место.

Они ждали, затаив дыхание, как вдруг до них донесся какой-то странный глухой звук, и фонарь на корабле исчез. Две минуты спустя над бортом показалась рука с ножом, и в следующую секунду, как большая рыба из сети, скользнула белая фигура.

— Отчаливайте и гребите, — запыхавшись проговорила она, и они повиновались.

Марта же снова оделась в свою меховую одежду.

— Что вы сделали? — спросил Фой.

— Одну вещь, — отвечала она со злобным смешком. — Заколола часового. Он принял меня за привидение и со страху не смог крикнуть. Я перерезала канат и, кажется, подожгла корабль. Смотрите!… Только гребите, гребите за угол острова.

Они изо всей силы налегли на весла, и когда оглянулись, то увидели из-за высокой стены камышей огненные языки, взбегавшие по снастям корабля, и до слуха их донеслись испуганные, сердитые голоса. Спустя десять минут они были на борту «Ласточки» и оттуда смотрели, как пылал испанский корабль приблизительно в миле от них. Здесь они подкрепились пищей и питьем, в которых сильно нуждались.

— Что теперь делать? — спросил Фой, когда они закончили.

— Пока ничего, — отвечала Марта, — только дайте мне перо и бумагу.

Занавесив маленькое окошко каюты, Марта присела к столу и медленно, но чрезвычайно искусно нарисовала план или, скорее, картину этой части Харлемского озера. На этом плане было изображено до двадцати островов в своей настоящей форме, и один из них был отмечен маленьким крестиком.

— Возьмите и спрячьте, — сказала Марта, окончив карту, — таким образом вы будете знать, где искать сокровища Хендрика Бранта. Имея этот план в руках, вам нетрудно будет разыскать сокровища: я рисую хорошо.

Помните, что вещи закопаны в тридцати шагах к югу от единственного места, где можно пристать к острову.

— Что мне делать с таким драгоценным рисунком? — беспомощно спросил Фой. — Я, право, боюсь носить такую вещь при себе.

— Дайте ее мне, менеер, — сказал Мартин, — пусть тайна сокровища лежит вместе с завещанием, исполнение которого зависит от находки этого сокровища.

Он отвинтил ручку меча «Молчание», сложил бумагу и, обернув ее тряпочкой, спрятал в пустую рукоятку.

— Теперь меч мой дороже, чем могут подумать многие, — сказал Мартин, привинчивая рукоятку. — Надеюсь, что тому, кому вздумается выведать тайну у моего меча, прежде придется познакомиться с его лезвием. Теперь движемся дальше!

— Послушайте, — сказала Марта, — решитесь ли вы вдвоем на смелое дело против испанцев? Корабль их сгорел, но их на нем было с полсотни, и у них два бота. На рассвете, заметив мачты вашего судна, они нападут на нас на своих ботах, надеясь найти сокровища. Нам надо поджечь фитили.

— Вероятно, испанцев осталось в живых немного, — высказал свое предположение Фой.

— Увидев, как «Ласточка» взлетит на воздух, подумают, что сокровище погибло вместе с ней, и перестанут беспокоиться о нем, — продолжала Марта. — Да, план хорош, но опасен. Обсудим его хорошенько.

*** * ***

Заря разлилась желтым светом по поверхности Харлемского озера. Со стороны продолжавшего гореть испанского корабля донесся звук гребущих весел, и трое наблюдателей с «Ласточки» увидели две шлюпки, полные вооруженных людей, направлявшиеся к ним. Когда шлюпка подошла футов на сто, Марта прошептала:

— Пора!

Фой с разных сторон поджег фитили и для пущей уверенности бросил зажженный огарок в кучу пропитанных маслом тряпок, уже приготовленных в трюме. После этого он, вместе со своими спутниками,

спустился с той стороны «Ласточки», где их не могли видеть испанцы, в мелкую воду, заросшую высоким тростником, и все направились к берегу. Здесь, пробежав шагов сто, они спрятались в зарослях болотного ивняка. Фой затем взобрался на одну из ив, откуда видны были «Ласточка» и испанский корабль. Испанцы уже приблизились к «Ласточке», и послышался голос командира шлюпки, приказавшего человеку, стоявшему у сломанной мачты, и всем находившимся на судне сдаться.

Но человек у мачты не отвечал, в чем, впрочем, не было ничего удивительного, так как то был убитый лоцман Ханс, тело которого Мартин привязал к мачте, чтобы обмануть испанцев. Испанцы выстрелили в лоцмана, который остался в прежнем положении, и начали взбираться на борт. Теперь все люди из первого бота были на «Ласточке», исключая двух — рулевого и командира, в котором по костюму и манере держаться Фой узнал одноглазого испанца Рамиро, хотя дальность расстояния мешала ему сказать это с уверенностью. Одно было очевидно: этот человек не намеревался взбираться на «Ласточку», так как он вдруг повернул свою шлюпку, и ветер, надув парус, быстро отнес ее прочь.

— Хитрый парень, — сказал Фой Мартину и Марте, стоявшим под деревом, — я, дурак, зажег промасленные тряпки, и он увидел дым из люка.

— А ему уже довольно было побывать сегодня на одном горящем корабле, и он предоставляет это удовольствие своим товарищам, — вставил Мартин.

— Второй бот подходит, — продолжал Фой, — и, вероятно, сейчас произойдет взрыв.

— Нет, еще рано, — сказал Мартин, — не прошло и шести минут с тех пор, как мы подожгли фитиль.

Наступило молчание, в продолжение которого все трое наблюдали с сильно бьющимися сердцами за происходящим. Послышался голос, возвещавший, что лоцман мертв, и ответ из шлюпки от испанца, в котором Фой справедливо признал Рамиро, предостерегавший против измены. Затем вдруг раздались крики: «Мина! Мина!» Испанцы, по-видимому, заметили один из фитилей.

— Они спешат в шлюпку, — сказал Фой, — а командир удирает. Господи, как орут!

В ту же секунду раздался страшный взрыв. Весь остров содрогнулся, дерево, на котором сидел Фой, закачалось, и он свалился с него. Что-то загрохотало, небо затмилось тучей обломков от судна, кусков людских тел, разлетавшейся соли, снастей, обрывков парусов, дождем посыпавшихся на

остров.

В пять секунд все было кончено, а трое пассажиров «Ласточки» невредимые стояли, держась друг за друга, поддеревом. Когда темный клуб дыма рассеялся, унесенный ветром к югу, Фой снова взобрался на дерево. Но теперь он уже увидел немного: «Ласточка» исчезла полностью, и на много футов кругом вода была черна, как чернила, от грязи, поднятой со дна крушением. Испанцы также исчезли все, кроме двух оставшихся в шлюпке, которая невредимо плыла на некотором расстоянии. Фой всматривался в сидевших в шлюпке. Рулевой заламывал руки, между тем как командир, вооружение которого сверкало теперь на солнце, ухватившись за мачту, как окаменелый смотрел туда, где за минуту до этого стояло судно с живыми людьми. Затем он как бы пришел в себя и, по-видимому, отдал приказание, после чего шлюпка стала быстро удаляться.

— Нам надо постараться догнать их, — сказала Марта.

— Нет, зачем, — возразил Фой, — довольно людей мы отправили на тот свет.

Он содрогнулся.

— Воля ваша, менеер, — проворчал Мартин, — но, по-моему, это неблагоразумно. Слишком уж хитер этот человек, чтобы оставлять его в живых: иначе он вместе с другими взобрался бы на судно.

— Нет, мне тошно, — отвечал Фой. — Этот пороховой запах отвратителен. Решайте с матушкой Мартой, а меня оставьте в покое.

Мартин обернулся было, собираясь что-то сказать Марте, но она исчезла. Бормоча про себя в своей бешеной ненависти и безумной радости от предстоящей блестящей мести, она с ножом в руках пошла искать, не осталось ли в живых кого-нибудь из ненавистных испанцев. Но взрывом были убиты все, даже те, которые уже в первую минуту искали спасения в воде. Наконец Мартин нашел ее, нагнувшуюся над трупом, настолько обезображенным, что в нем трудно было узнать человека, и увел прочь. Однако теперь было уже поздно пускаться в погоню за Рамиро. Уносимая сильным ветром, его шлюпка исчезла.

XV. Сеньор Рамиро

Если бы Фой ван Гоорль каким-нибудь чудом мог почувствовать то, что происходило в уме беглеца, быстро удалявшегося на своей шлюпке от места катастрофы, он стал бы горько сожалеть о своей неопытности и заблуждении, побудивших его не послушаться совета Мартина.

Взглянем на этого человека в шлюпке, грызущего себе руки в бешенстве и отчаянии.

Лицо его как будто нам знакомо, и манеры его еще указывают, что некогда он принадлежал к лучшему обществу, но все же в сеньоре Рамиро трудно признать когда-то изящного и красивого графа Хуана де Монтальво. Долгие годы, проведенные на галерах, способны изменить самого закаленного человека, а Монтальво, или, как его теперь зовут, Рамиро, пришлось, по несчастному стечению обстоятельств, отработать почти весь назначенный ему срок. Он освободился бы раньше, если бы не принял участие в бунте, который был раскрыт и усмирен. При этой отчаянной попытке вырваться на свободу он лишился глаза, выколотого ему офицером, которому он нанес удар кинжалом. Ни в чем не повинный офицер умер, а негодяй Рамиро выздоровел, хотя и лишился одного из своих красивых глаз.

Для человека, принадлежащего по происхождению к высшим слоям общества, каким бы негодяем он ни был, галеры, заменявшие в шестнадцатом веке каторжные работы, тяжелая школа. В большинстве случаев человек, попадавший туда безупречным, портился, а человек дурной окончательно погибал, согласно пословице: «Кто побывал в аду, от того всегда отдает смолой». Кто может представить себе весь ужас подобной жизни — цепи, постоянную тяжелую работу под бичом надзирателя, в обществе воров и отбросов человечества, — ужасное, однообразное существование!

Как бы то ни было, благодаря крепкому телосложению и известного рода мрачной философии Рамиро выдержал и, наконец, стал свободным человеком, правда, уже не первой молодости, но еще сильным и умным.

Жизнь снова открылась перед ним. Но какая жизнь!

Жена, сочтя его умершим или, быть может, желая, чтобы было так, вышла замуж за другого и уехала со вторым мужем в Новый Свет, взяв с собой детей, а все друзья Монтальво, еще оставшиеся в живых, отвернулись от него. Однако, несмотря на свое несчастье, он не стал хуже,

чем был прежде, и не потерял мужества и находчивости.

Граф Монтальво стал нищим бродягой, от которого все отворачивались с презрением. И вот граф Монтальво умер и был всенародно погребен в своем родовом поместье. Но довольно странно, что в то же время в другой части Испании появился сеньор Рамиро, который довольно успешно исполнял обязанности нотариуса и ходатая по делам. Так прошло несколько лет, пока наконец Рамиро, сколотившему себе порядочное состояние путем остроумного обмана, не пришла гениальная мысль, и он не отправился в Нидерланды.

В эти ужасные дни ради распространения религиозного преследования и совершения законного воровства доносчикам в награду выдавалась часть имущества еретиков. Рамиро пришла мысль в своем роде гениальная — организовать сбор подобных справок и, заинтересовав в успехе нескольких лиц и сделав их пайщиками, иметь возможность улавливать в свои сети большие состояния, чем то было бы возможно для одного человека, как бы деятелен и ловок он ни был. Он скоро, как и ожидал, нашел себе множество достойных товарищей, и предприятие стало набирать обороты. При помощи местных шпионов, вроде Черной Мег и Мясника, с которыми, забыв прежнюю обиду, Монтальво возобновил знакомство, дела пошли успешно, и участники стали получать довольно значительные дивиденды. Без риска складывались кругленькие суммы из состояния тех несчастных, которые погибали на костре, а еще большие собирались негласным путем с тех, кто желал избегнуть казни. Таких людей, высосав из них до последней капли все, что было возможно, или отпускали на свободу, или сжигали, смотря по тому, что было выгоднее.

Были и другие средства получать деньги — организовалась целая остроумная система грабежей и откупов на сбор податей и налогов.

Проработав так несколько лет, опытный делец после долгой нужды и бедности разбогател, но, побуждаемый естественным, хотя неблагоразумным честолюбием, вступил на опасный путь.

Богатство золотых дел мастера Хендрика Бранта было известно всем, и богатым мог сделаться тот, кому удалось бы добиться его конфискации. Рамиро задумал стать наследником Бранта, что было нетрудно, так как Брант был известный еретик и, следовательно, мог служить законной добычей всякому служителю истинной Церкви и короля. Однако дорогу к Бранту охраняли два грозных льва или, скорее, один лев и один призрак льва, так как одно препятствие было осязаемое, а другое — духовное.

Осязаемое препятствие состояло в том, что его величество король Филипп сам желал наследовать сотни тысяч золотых дел мастера и,

следовательно, мог рассердиться на вмешательство постороннего лица. Духовное препятствие заключалось в том, что Брант был родственником Лизбеты ван Гоорль, некогда известной под фамилией Лизбеты Монтальво, принесшей человеку, слывшему ее мужем, одни только несчастья. Очень часто в часы тяжелых дум под лучами тропического солнца сеньор Рамиро вспоминал о том страшном проклятии, которое призывала на него его невеста, — она молила, чтобы ему пришлось добывать себе пропитание тяжелым трудом, чтобы она и ее семья принесли ему заботы и несчастье и чтобы он кончил жизнь в горе. Оглядываясь назад, Монтальво видел, что проклятие принесло свои плоды: именно из-за Лизбеты и своего отношения к ней он получил последнее унижение и выдержал четырнадцать лет каторжного труда на галерах.

Теперь он снова был свободен, и дела его улучшились, но кто знает, не вступит ли проклятие опять в силу, раз ему снова придется иметь дело с Лизбетой ван Гоорль и ее родными?

Стоило ли состояние Бранта того, чтобы из-за его приобретения подвергать себя такому риску? Брант, правда, был только родственником мужа Лизбеты, но раз имеешь дело с одним членом семьи, никогда нельзя сказать наверное, что прочие ее члены не будут замешаны.

Решение Рамиро нетрудно угадать.

Огромное богатство было близко, между тем как гнев Небесного и земного владыки только возможен и отдален. Жадность пересилила осторожность и суеверие, Рамиро решился на это дело и энергично и ловко приступил к его выполнению.

Рамиро теперь, как и прежде, избегал резких мер. Он вовсе не хотел бесполезно ввести на костер или подвергнуть пытке почтенного хеера Бранта. Поэтому через своих посредников он сделал ему — как и сообщал Брант в своем письме — предложение, довольно великодушное по обстоятельствам: уступить ему, Рамиро, и его товарищам две трети своего состояния, за что Бранту разрешалось бежать вместе с остающейся одной третью. К досаде Рамиро, упрямый голландец отказался заплатить за свою свободу хотя бы один стивер. Он решительно заявил, что теперь, как всегда, жизнь его в Божьих руках, и если Богу угодно будет отнять ее, а его большое состояние отдать на разграбление ворам, то, видно, такова воля Его. Он же со своей стороны не пойдет ни на какую сделку.

Описание всего плана Рамиро, нападения шайки Рамиро, защиты Бранта, борьбы между членами компании и правительственными агентами, потребовало бы целой книги. Мы в общих чертах знаем об этом, а об остальном можем только догадываться.

За все это время Рамиро сделал только одну ошибку, причина которой крылась в том, что он называл «слабостью своего характера»: он посмотрел сквозь пальцы на бегство Эльзы. Быть может, его побудило к этому суеверие, быть может, жалость, быть может, клятва быть милосердным, данная в минуту крайней опасности, — как бы то ни было, он был доволен, что девушка не разделит судьбу отца. Он не думал, чтобы она могла захватить с собой какие-нибудь важные бумаги или драгоценности, однако на всякий случай велел обыскать ее дорогой.

Как мы видели, обыск не удался, и когда на следующий день к Рамиро явилась Черная Мег с донесением, что сын Дирка и его великан-слуга отправляются в Гаагу, то Рамиро окончательно убедился, что девушка привезла с собой какое-то важное письмо.

Между тем местонахождение сокровища Бранта было установлено. Предполагалось, что оно скрыто на одном из кораблей, хотя и не было известно, что в трюме этого судна кроме золота находится также и порох. Правительство предполагало провести осмотр судов перед выходом в море и захватить сокровище под видом контрабанды, так как по указу еретики не имели права увозить свое богатство на кораблях. План же Рамиро состоял в том, чтобы облегчить вывоз сокровища в открытое море, где он надеялся перехватить его и направить к более мирным берегам.

Когда Фой и его спутники двигались по каналу в лодке, Рамиро понял, что пришло время действовать, и велел большому кораблю сняться с якоря. Нападение на Фоя произошло без его приказания, поскольку он желал, чтобы лодка голландцев шла беспрепятственно и чтобы он мог следить за ней. Это было делом личной злобы Черной Мег, переодетой мужчиной. Не раз отзывы Фоя о Черной Мег возбуждали ее ярость, и теперь она пыталась уплатить ему по старому счету, за что в конце концов поплатилась пальцем, хорошим ножом и золотым кольцом, с которым были связаны воспоминания ее молодости.

Сначала все шло хорошо. С помощью самого смелого и искусного маневра, когда-либо виденного Рамиро в течение его долгой, полной опасностей жизни, маленькая «Ласточка» со своим экипажем из трех человек избежала выстрелов с форта, где ее ждали и откуда ее заметили, перерезала, как яичную скорлупу, большую казенную лодку, пустила ее ко дну вместе с экипажем опытных солдат, — причем многие из них потонули, — и убила офицера — личного врага Рамиро, а сама же ушла в открытое море. Теперь Рамиро был уверен, что «Ласточка» попадет в его руки. Он не сомневался, что она направится к берегам Англии и при сильном встречном ветре его большому, снабженному многочисленным

экипажем кораблю будет нетрудно перехватить ее.

Однако неудача — та неудача, которую он всегда испытывал, когда начинал вмешиваться в дела Лизбеты и ее близких, — снова начала преследовать его.

Вместо того, чтобы пытаться перейти Северное море, маленькая «Ласточка» держалась берега, где вследствие различных обстоятельств — ветра, глубины воды и строения обоих судов — она всегда могла идти скорее. Наконец лодка скрылась в канале, а что было дальше, нам уже известно. Нечего было обольщаться: он потерпел полное фиаско. Корабль, снаряжение которого поглотило такую значительную часть доходов почтенной компании, взлетел на воздух, а часовой был заколот каким-то белым дьяволом неизвестного пола — это ли не неудача!

И все это после того, как нагруженное золотом судно было выслежено, после того, как оно было почти у него, Рамиро, в руках… Одна эта мысль была невыносима! Оставалось только одно утешение: было уже поздно спасти других, когда он заметил дым, выходящий из люка, но, по крайней мере, он сам, травленая крыса, каким-то инстинктом почуял опасность и держался вдали, благодаря чему и остался в живых.

Что же сталось с другими — с его верными товарищами? Откровенно говоря, Рамиро мало заботился об участи, постигшей их.

Его гораздо больше занимал другой вопрос: где сокровище? Теперь, когда его мысли несколько прояснились после испытанного потрясения, ему стало ясно, что Фой ван Гоорль, Рыжий Мартин и белый дьявол, взобравшийся на его корабль, не погубили бы сокровище, если бы был другой выход, и тем более не погубили бы самих себя. Следствием этого было предположение, что они за ночь опустили богатство на дно озера или закопали его и подготовили западню, в которую он попался. Тайна в их руках, и если только они живы, то можно найти средство заставить их открыть место, где спрятан клад. Таким образом, еще оставалась надежда, и Рамиро, взвесив все, пришел к убеждению, что дела не так уж плохи.

Начать с того, что почти все участники предприятия погибли по воле Провидения, и он остался их единственным наследником.

Другими словами, сокровище, в случае находки, становилось его безраздельной собственностью. Далее, услыхав про все это происшествие, правительство, вероятно, сочтет богатство Бранта безвозвратно погибшим, и, таким образом, Рамиро избавится от соперника, доставлявшего ему много хлопот.

Что же следовало делать при подобных обстоятельствах? Сеньор Рамиро, плывя по озеру и дыша свежим утренним воздухом, весьма скоро

нашел ответ на этот вопрос.

Сокровища уже нет в Гааге — стало быть, и ему нечего делать в Гааге. Тайна местонахождения клада — в Лейдене, стало быть, и ему следует перебраться в Лейден. Почему же не сделать этого? Он прекрасно знал этот город. Жить в нем было хорошо. Конечно, его могли узнать, хотя это было маловероятно, так как граф Монтальво официально умер и был погребен. Время и жизнь изменили его. Кроме того, он мог призвать искусство на помощь природе. В Лейдене у него также были помощники — хотя бы Черная Мег, денег же у него было достаточно, ведь он был казначеем компании, так неожиданно взлетевшей на воздух сегодня утром.

Было только одно обстоятельство, говорящее против этого плана: в Лейдене жили Лизбета ван Гоорль и ее муж, а с ними молодой человек, о происхождении которого Рамиро догадывался. Место, где было скрыто сокровище, известно сыну Лизбеты, и узнать тайну можно только от него и его слуги Мартина.

Стало быть, снова придется идти против Лизбеты — Лизбеты, которой он боялся больше всего на свете.

Однажды она уже одержала над ним победу, и ее обличающий голос до сих пор звучал у него в ушах, а горящие глаза до сих пор жгли его душу… Некогда он боролся с ней из-за денег, но, получив их, извлек из этого мало пользы, и в конце концов восторжествовала все-таки она. Теперь, если он переселится в Лейден, ему снова придется бороться с ней из-за денег, и каков будет исход этой борьбы? Стоило ли рисковать?

Не повторится ли прежняя история? Если он коснется Лизбеты, не сокрушит ли она его? Но сокровище, могущественное сокровище могло дать ему столько благ, а главное, могло вернуть потерянное положение и сан, чего он желал больше всего на свете. Как бы низко ни пал Монтальво, он не мог забыть, что родился дворянином.

Он решился попытать счастья и отправился в Лейден. Если бы он стал обдумывать этот вопрос ночью или в сумрачную погоду, очень может быть, даже вероятно, его решение было бы иным. Но в это утро солнце светило ярко, ветер весело шелестел в камышах, болотные птицы пели, а с берега доносилось мычание коров.

При такой обстановке опасения и суеверия Рамиро рассеялись. Он овладел собой и знал, что все зависит от него самого, остальное — пустяки и плод воображения.

Позади него лежало сокрытое золото, перед ним — Лейден, где он мог найти ключ к сокровищу. А Бог? А представление о возмездии, в которое верит духовенство и прочие? Раздумывая, он начинал находить тут

недоразумение: ему, как всякому агенту инквизиции, было хорошо известно, что возмездие постигало именно тех, кто полагался на Бога, чему доказательством служили хотя бы тысячи пылавших костров. А если был такой закон, то почему Бог именно сегодня избрал его из многих, чтобы оставить в живых и сделать наследником богатства Хендрика Бранта? Рамиро решился: он поедет в Лейден и начнет борьбу.

*** * ***

Достигнув устья канала, сеньор Рамиро вышел из лодки. Сначала он думал было заколоть своего спутника, чтобы остаться единственным свидетелем катастрофы, но, рассудив, передумал, так как этот человек был предан ему и мог быть полезен. Итак, он приказал ему вернуться в Гаагу, чтобы сообщить о гибели его корабля и «Ласточки», на которой было сокровище, со всем ее экипажем.

Кроме того, он должен был сказать, что, насколько ему известно, капитан Рамиро тоже погиб, так как в лодке во время взрыва остался он один. Затем он обязан был отправиться в Лейден и привезти с собой некоторые бумаги и драгоценности, принадлежавшие Рамиро.

Этот план казался удачным. Никто не станет разыскивать сокровища. Никто, кроме него самого да, может быть, Черной Мег, не узнает, что Фой ван Гоорль и Мартин не были на борту «Ласточки» и спаслись, в чем, впрочем, он и сам не был вполне уверен. Что же касается его самого, то он мог скрываться или оказаться живым, смотря по тому, что окажется более выгодным. Если бы даже его посланец оказался предателем и рассказал истину, это не имело бы большого значения, так как этот человек не знал никаких подробностей, из которых кто-нибудь мог бы извлечь выгоду.

Итак, гребец уехал, между тем как Рамиро со своими воспоминаниями, рассуждениями и надеждами спокойно вошел через Болотные ворота в Лейден.

*** * ***

В этот же вечер, но уже после наступления темноты два других путника — Фой и Мартин — тоже вернулись в Лейден.

Пройдя никем не замеченными по пустынным улицам, они дошли до калитки дома на Брее-страат. Калитку отперла служанка, сказавшая Фою, что мать его в комнате Адриана и что Адриану гораздо лучше. Фой в сопровождении медленно шагавшего за ним Мартина отправился также в комнату брата, шагая через две ступеньки на третью. Ему хотелось поскорее рассказать обо всем пережитом!

Комната, в которую они вошли, представляла собой привлекательную картину, что бросилось в глаза даже Фою, несмотря на всю его торопливость. Она так запечатлелась в его уме, что он никогда не мог забыть ее подробностей. Комната была прелестно убрана, так как Адриан любил ковры, картины и тому подобные украшения. Сам он лежал теперь на богатой резной дубовой кровати, бледный от потери крови, но вследствие этого, может быть, еще более интересный. Возле постели сидела Эльза Брант, чрезвычайно миловидная при свете лампы, падавшем на ее светлые вьющиеся волосы и нежное лицо.

Она читала Адриану роман из жизни испанского рыцарства — любимое чтение романтичного молодого человека, и он, приподнявшись на локте, созерцал своими черными мечтательными глазами ее красоту.

Однако Фой в ту же минуту успел заметить, что Эльза вовсе не сознавала того внимания, которое ей оказывал красавец Адриан и что сама она в душе была далека от необычайных происшествий и ярких любовных сцен, описание которых читала своим приятным голоском. И он не ошибся: бедная девушка думала о своем отце.

На другом конце комнаты, в нише окна, стояли мать и отец, занятые серьезным разговором.

Видимо, они были не менее озабочены, чем молодежь, и Фою было нетрудно догадаться, что причина этого, главным образом, заключается в опасности, которой подвергался их сын. Хотя и помимо того забот у стариков было немало: жителям Нидерландов в то время приходилось из года в год переживать такие ужасы, которые мы едва в состоянии вообразить себе.

— Прошло уже шестьдесят часов, а их все нет, — сказала Лизбета.

— Мартин говорил, что мы не должны беспокоиться, пока не пройдет сто, — утешал жену Дирк.

В эту минуту Фой, выступив из темной двери, сказал своим звонким голосом:

— Шестьдесят часов, минута в минуту.

Лизбета с легким криком радости бросилась ему навстречу. Эльза выронила книгу и хотела сделать то же, но передумала и остановилась, между тем как Дирк, не трогаясь со своего места, выражал удовольствие, быстро потирая руки. Один Адриан не проявлял особенной радости, но не потому, что сердился на Фоя за происшедшее несколько дней тому назад: он не был злопамятным человеком и теперь даже был рад возвращению Фоя здоровым и невредимым, но ему было неприятно, что брат так шумно ворвался в его спальню и прервал приятное времяпрепровождение.

С самого отъезда Фоя Адриан был предметом забот, которые он принимал как должное. Даже его отчим пробормотал несколько слов сожаления по поводу случившегося и выразил надежду, что никто больше не будет вспоминать о происшедшем. Мать же была полна забот, а Эльза внимательна и очаровательна. Теперь — Адриан знал это — все изменится. Шумный, неотесанный, несдержанный Фой станет центром всеобщего внимания и заставит всех выслушивать бесконечные рассказы о своих скучных приключениях, между тем как Мартин, этот медведь, которому бы только колоды ворочать, будет стоять тут же, время от времени вставляя свое «да» или «нет». Конечно, придется покориться, но какая тоска!

Через минуту Фой крепко жал руку Адриану, громко говоря:

— Ну, как поживаешь, старина? Вид у тебя совсем хорош! Чего же ты валяешься в постели и допускаешь сиделок кормить тебя с ложечки?…

— Ради Бога, Фой, не ломай мне пальцы и перестань трясти меня, как крысу. Я знаю, ты это делаешь от души, только… — сказал Адриан, откидываясь на подушку, покашливая и придавая себе томный вид.

Обе женщины напали на Фоя за его грубость, напоминая, что он своей неосторожностью может убить брата, артерии которого очень слабы. Фою осталось только зажать себе уши и ждать, пока губы женщин перестанут двигаться.

— Прошу прощения, — сказал он, — я не трону его и не стану говорить громко при нем. Слышишь, Адриан?

— Ты не нарочно, — слабо проговорил Адриан.

— Брат Фой, — прервала Эльза, умоляюще сложив руки и глядя ему прямо в лицо своими большими карими глазами, — прости меня, но я не в состоянии ждать дольше. Скажи мне, видел ли ты или слышал что-нибудь об отце во время своей поездки в Гаагу?

— Да, я видел его, — просто отвечал Фой.

— Ну, каков он?… Как все вообще?…

— Он был здоров.

— Свободен?… И вне опасности?…

— Свободен, но не могу сказать, чтобы вне опасности. Ведь теперь все мы в опасности, — отвечал Фой прежним спокойным голосом.

— Слава Богу и за это, — сказала Эльза.

— Не за что благодарить Бога, — пробормотал Мартин, вошедший в комнату за Фоем и стоявший, словно великан на выставке.

Эльза отвернулась, а Фой, двинув локтями назад, изо всей силы толкнул Мартина под ложечку. Мартин отшатнулся на шаг, но понял предупреждение.

— Ну, сын, какие вести? — заговорил в первый раз Дирк.

— Новостей много, — отвечал Фой особенно веселым голосом, радуясь про себя своей находчивости. — Вот, посмотри!

Он вынул из кармана сломанный нож и длинный костлявый палец с кольцом.

— О, — застонал Адриан, — прошу тебя, убери эту ужасную вещь.

— Ах, извини, — отвечал Фой, пряча палец назад в карман. — Ведь ты это не о ноже? Нет? Да, матушка, чудесную вы мне дали кольчугу: этот нож переломился об нее, как морковь, а все же, когда пробудешь в такой одежде три дня, не снимая, хочется освободиться от нее.

— Я вижу, у Фоя есть о чем рассказать, — утомленным тоном проговорил Адриан, — и чем скорее он все сообщит, тем скорее ему можно будет умыться. Начинай же с самого начала.

Фой начал с самого начала, и его рассказ заинтересовал даже безучастного Адриана. Он, однако, смягчил некоторые подробности, а кое-что даже совсем выпустил ради Эльзы, хотя сделал это не особенно искусно, так как не был дипломатом, и живое воображение слушательницы быстро дополнило все недосказанное. Обо всем, что касалось его самого и будущности Эльзы, он вовсе умолчал. В коротких чертах он рассказал о бегстве из Гааги, о потоплении казенной лодки, о плавании по каналам Харлемского озера с мертвым лоцманом на палубе «Ласточки», о погоне испанского корабля и о сокрытии сокровища.

— Где вы закопали его? — спросил Адриан.

— Сам не имею ни малейшего понятия, — сказал Фой. — В этой части озера до трехсот островов, и я знаю только, что мы вырыли яму на одном из них. Впрочем, — добавил он в приливе откровенности, — мы нарисовали карту этого места, то есть…

Но тут он вскрикнул от боли, Мартин, стоявший сзади него и, как предвидел Адриан, вставлявший по временам свое «да» или «нет», снял свой меч «Молчание» и рассеянно играл им, подбрасывая его и ловя, когда он падал. Но тут он вдруг засмотрелся в сторону и не успел подхватить

свое оружие: тяжелая рукоятка упала прямо на ногу Фою и со звоном ударилась об пол.

— Ах ты, скотина! — взвыл Фой. — Ты раздробил мне палец. — Он на одной ноге заковылял к столу.

— Извините меня, менеер, — проговорил Мартин, — я сознаю, что был неосторожен, таков был и мой отец.

Адриан, вздрогнув от страшного шума, закрыл глаза и вздохнул.

— Ему дурно! — сердито сказала Лизбета. — Я знала, что так кончится весь ваш шум. Если вы не будете осторожнее, у него опять лопнет сосуд. Убирайтесь из комнаты. Можете досказать все внизу.

И она погнала их перед собой, как крестьянки гонят перед собой птицу.

— Мартин! — обратился Фой к слуге, когда они на минутку очутились одни, так как при первых признаках бури Дирк удалился. — Как это тебя угораздило уронить твой тяжелый меч прямо мне на ногу?

— А как это вас угораздило толкнуть меня локтем прямо в живот, менеер?

— Я сделал это, чтобы ты прикусил язык.

— А как зовут мой меч?

— «Молчание».

— Так вот, я уронил «Молчание» по той же причине. Надеюсь, вам не очень больно, но если бы даже и было больно, то делать нечего: без этого нельзя было обойтись.

Фой обернулся.

— Что ты хочешь сказать этим?

— Хочу сказать, что вы не имеете права говорить, куда девалась бумага, которую нам дала тетушка Марта.

— Почему? Я доверяю брату.

— Очень может быть, но в этом-то и беда. Нам доверена важная, опасная тайна. Не следует взваливать ее бремя на плечи других. Чего люди не знают, того они не могут и сказать, хеер Фой.

Фой продолжал смотреть на него во все глаза полувопросительно, полусердито, но Мартин ничего больше не говорил и только делал какие-то жесты, будто человек, с трудом, медленно вертящий колесо. Губы Фоя побледнели.

— Колесо? — шепотом спросил он.

Мартин кивнул головой и ответил также шепотом:

— Вы дали человеку в лодке бежать, а этот человек был Рамиро, испанский шпион, я в этом уверен. Если они ничего не будут знать, то не

могут сказать. А мы, хотя и знаем, не скажем, ведь мы скорее умрем, хеер Фой.

Фой задрожал и прислонился к стене.

— Что может выдать нас?

— Кто знает, хеер Фой. Женщина… мужчина под пыткой… — Он придал особенное выражение своему голосу: — Ревность… тщеславие… месть… Придерживайте свой язык и не доверяйте никому: ни отцу, ни матери, ни невесте, ни… — и снова в голосе Мартина зазвучала особенная нота, — ни брату.

— Ни тебе? — спросил Фой, взглянув на него.

— Не знаю… Нет, мне кажется, на меня вы можете положиться, хотя, конечно, нельзя знать, как человек может заговорить на колесе.

— Если все так, — вдруг горячо заговорил Фой, — то я уже и теперь сказал слишком много.

— Да, хеер Фой, слишком много. Мне гораздо раньше хотелось ударить вас по ноге своим «Молчанием», да не удавалось: хеер Адриан не сводил с меня глаз. Мне пришлось подождать, пока он закрыл глаза. А он сделал это, чтобы не пропустить ни одного вашего слова, притворяясь при этом, будто вовсе вас не слушает.

— Ты несправедлив к Адриану, Мартин, как всегда, и я сердит на тебя. Что же теперь делать?

— Теперь, хеер Фой, вам следует забыть наставления пастора Арентса и солгать, — весело отвечал Мартин. — Вы должны продолжать свой рассказ с того места, где остановились, и сказать, что нарисовали карту острова, на котором спрятали сокровища, но что я, дурак, умудрился уронить ее в то время, как мы поджигали фитили, так что она взлетела на воздух вместе с «Ласточкой». Я расскажу то же.

— Я должен сказать это и отцу с матерью?

— Да, и они поймут, почему вы говорите так. Госпожа Лизбета уже начинала беспокоиться, поэтому она выгнала нас из комнаты. Вы скажите, что сокровище зарыто, но тайна его местонахождения потеряна.

— Но даже если бы это действительно было так, как мы расскажем, то ведь тетушка Марта знает, где мы спрятали богатство, и они догадаются, что она знает.

— Вы так спешили рассказать о случившемся, что, кажется, забыли упомянуть о ее присутствии при закапывании бочонков. Вы только собирались назвать ее, как я уронил меч.

— Но ведь она взбиралась на испанский корабль и подожгла его, так что Рамиро и его товарищ, вероятно, видели ее.

— А я так думаю, что единственным, кто видел ее, был человек, которого она спровадила на тот свет, а он уже ничего не скажет. Вероятно, Рамиро думает, что это дело наших рук. Но если бы он даже видел Марту или если узнают, что тайна известна ей, то пусть попробуют от нее чего-нибудь добиться. О, кобылы умеют скакать, утки нырять, а змеи прятаться в траве. Если они сумеют заставить меч «Молчание» рассказать историю той крови, которую он пил, если они смогут призвать обратно на землю замученных святых, чтобы снова начать пытать их, только тогда, и не раньше, они узнают от колдуньи Харлемского озера тайну того места, где скрыто сокровище. Не бойтесь за нее, хеер Фой, могила — и та не так надежна.

— Почему ты не предостерег меня раньше?

— Потому что никак не думал, что вы такой сумасшедший, — невозмутимо ответил Мартин. — Я забыл, что вы молоды. Да, я забыл, что вы молоды и добры, слишком добры для времени, в которое мы живем. Вина моя. Пусть она падет на мою голову.

XVI. Маг

Фой закончил свой рассказ в гостиной уже гораздо более сдержанным и осторожным тоном. Когда он дошел до того места, как «Ласточка» взлетела на воздух вместе со всеми испанскими солдатами, Эльза всплеснула руками:

— Ужасно! Ужасно! Подумайте об этих несчастных, отошедших таким образом в вечность.

— Но подумайте также о том, зачем они попали на «Ласточку», — мрачно перебил Дирк и затем прибавил: — Да простит меня Господь, что я не могу печалиться о судьбе, постигшей этих испанских разбойников. Хорошо, Фой, прекрасно! Ну, продолжай.

— Кажется, все кончено, — кратко заключил Фой, — только два испанца уехали в лодке, и один из них, как говорит Мартин, главный шпион, Рамиро.

— Но там, в комнате Адриана, ты как будто сказал, что вы сделали карту острова, где зарыто золото. Где она? Я ее спрячу.

— Да, я знаю, что сказал это, — отвечал Фой, — но разве я не сказал также, — продолжал он недовольным тоном, — что Мартина угораздило уронить карту в каюте «Ласточки», когда мы зажигали фитиль, и она взлетела на воздух вместе с судном, и теперь не осталось никакого воспоминания о месте, где зарыто богатство.

— Марта знает каждый уголок побережья. Она, наверное, запомнила и это место.

— Нет, — отвечал Фой, — ее не было с нами, когда мы закапывали бочонки. Она наблюдала за испанским кораблем, а нам велела пристать к первому попавшемуся острову и выкопать яму. Мы так и сделали, предварительно нарисовав ту карту, которую Мартин уронил.

Всю эту грубую ложь Фой произнес с неподвижным лицом и голосом, не убедившим бы даже трехлетнего ребенка, сам же в душе восхищаясь своей необычайной находчивостью.

— Мартин, правда это? — подозрительно спросил Дирк.

— Совершенная правда, менеер. Удивительно, как хеер Фой все запомнил.

— Сын мой, — обратился Дирк к Фою, весь побледнев от сдерживаемого гнева. — Ты всегда был добрым парнем, а теперь показал себя и мужественным, но молю Бога, чтобы мне не пришлось сказать, что

язык у тебя лживый. Разве ты не понимаешь, что это неблаговидно. Спрятанное тобою богатство — величайшее во всех Нидерландах. Не скажут ли люди, что твоя забывчивость неудивительна, так как ты все вспомнишь, когда тебе понадобится.

Фой сделал шаг вперед, вспыхнув от негодования, но тяжелая рука Мартина, опустившаяся на его плечо, удержала его на месте как малого ребенка.

— Кажется, фроу Лизбета желает что-то сказать вам, хеер Фой, — вмешался он, глядя на Лизбету.

— Да, твоя правда, Мартин. Неужели, Дирк, ты думаешь, что в настоящее время только желание обогатиться кражей может заставить человека отступить от истины?

— Что ты хочешь сказать этим, жена? Фой говорит, что он и Мартин закопали сокровище, но не помнят, где его закопали, потеряв нарисованную ими карту. Что бы ни было в завещании, это богатство принадлежит нашей племяннице. Меня назначил ее опекуном Хендрик Брант, пока он жив. Я буду его душеприказчиком, когда он умрет. Стало быть, по закону это состояние принадлежит также мне. По какому же праву мой сын и слуга скрывают от меня истину, если они действительно скрывают ее? Говорите что знаете, прямо. Я простой человек, и не умею отгадывать загадок.

— В таком случае я скажу тебе, в чем дело, хотя только догадываюсь, и не говорила ни с Фоем, ни с Мартином. Пусть они поправят меня, если я ошибусь. Я умею читать по их лицам и так же, как ты, уверена, что они говорят неправду. Я думаю, что они не хотят сказать истину не потому, что собираются оставить сокровища для себя, а потому, что подобная тайна может довести тех, кто знает ее, до пытки и костра. Не так ли, сын мой?

— Именно так, матушка, — почти шепотом проговорил Фой. — Документ не потерян. Но не старайтесь узнать, где он скрыт. Если волки готовы растерзать вас на клочки, лишь бы добиться открытия тайны, то они не пощадят и Эльзу… даже Эльзу. А если будет следствие, предоставьте отвечать мне с Мартином. Мы выносливы. Батюшка, что бы ни случилось, будьте уверены, что мы оба никогда не сдадимся ворам.

Дирк подошел к сыну и поцеловал его в лоб.

— Прости меня, сын мой, — сказал он, — и прости также ты, Красный Мартин. Я сказал эти слова сгоряча, и мне в мои года пора бы было стать благоразумнее. Но говорю вам, я бы желал от всей души, чтобы эти ящики с драгоценностями, эти бочки с золотом взлетели на воздух вместе с «Ласточкой» и погибли бы на дне озера. Заметьте, что Рамиро спасся еще с одним человеком, и они очень хорошо знают, что сокровище не погибло

вместе с судном и что вы успели за ночь спрятать его. Эти испанские ищейки, жаждущие крови и золота, выследят вас. И хорошо еще, если нам всем не придется поплатиться жизнью за тайну местонахождения состояния Хендрика Бранта.

Он замолчал, и в комнате водворилась тяжелая, грустная тишина. Всем присутствующим почудилось в словах отца семейства пророчество.

Первым заговорил Мартин:

— Может быть, вы правы, менеер, — сказал он, — но извините меня, вы должны были подумать обо всем этом прежде, чем взять на себя такое обязательство. Вас не просили прямо послать хеера Фоя и меня в Гаагу за этим богатством, но вы сделали это добровольно, как сделал бы всякий честный человек. Ну, теперь дело сделано, и мы должны быть готовы ко всему. Но позвольте мне сказать, менеер, если вы, хозяйка и ювфроу Эльза благоразумны, то вы все, прежде, чем выйти из комнаты, поклянетесь на Библии, что никогда не произнесете слова «сокровище», всегда будете думать, что оно погибло безвозвратно в водах Харлемского озера. И никому ни слова об этом богатстве, мейнфроу, даже вашему сыну Адриану, который теперь лежит больной у себя наверху.

— Ты очень поумнел, Мартин, с тех пор, как перестал пить и драться, — сказал Дирк сухо, — а что касается меня, то я клянусь перед Богом…

— И я! И я! И я! И я! — отозвались остальные.

Мартин же, произнесший свою клятву последним, прибавил:

— Да, я клянусь, что никогда не стану говорить об этом, даже с моим молодым хозяином, хеером Адрианом, лежащим больным наверху.

*** * ***

Адриан поправился, хотя и не очень быстро. Он потерял много крови, но сосуд закрылся без дальнейших осложнений, так что оставалось только восстановить силы при полном покое и с помощью обильного питания.

Десять дней после возвращения Фоя и Мартина его продержали в постели, заботливо за ним ухаживая. Эльза проявляла свое участие, читая ему испанские романы, которыми он восхищался. Однако очень скоро он убедился, что восхищается самой Эльзой гораздо больше, чем книгой, которую она читала, и часто просил просто поговорить с ним. Пока разговор касался его самого, его мечтаний, планов и стремлений, она

довольно охотно выслушивала Адриана, но когда разговор переходил на нее и Адриан начинал говорить ей комплименты, намекая на свою любовь, она сейчас же прерывала его и искала спасения в дальнейшем чтении.

При всей своей красоте Адриан не привлекал Эльзу. В нем, на ее взгляд, было что-то неестественное. Кроме того, он был испанец — испанец по красоте, испанец по складу ума, а все испанцы были ей ненавистны. Глубоко в душе скрывалась еще одна причина ее отвращения к Адриану: он напоминал ей другого человека — испанского шпиона Рамиро. Она внимательно вглядывалась в этого Рамиро, хотя не часто встречалась с ним. Она знала его ужасную репутацию. Отец рассказал ей, что Рамиро старается поймать его в свои сети, день и ночь измышляя, как бы овладеть его состоянием.

На первый взгляд, между этими двумя людьми не было явного сходства. Как оно могло существовать между человеком пожилым, одноглазым, седым, носившим отпечаток своей прежней жизни и своего теперешнего неблагородного занятия, и юношей, изящным, красивым, легкомысленным, но, во всяком случае, не преступным? Но сходство несомненно существовало. В первый раз оно бросилось в глаза Эльзы, когда Адриан стал развивать ей свой план атаки Лейдена, и с этой минуты он стал ей антипатичен. Сходство проявлялось в интонации голоса и некоторой напыщенности манер. Эльза всегда замечала это в самые неожиданные минуты — вероятно, потому, что приучила себя искать это сходство, хотя и сознавая, что это смешная фантазия, ибо что общего могло быть между этими двумя людьми?

В последние дни Эльза вообще мало думала об Адриане или о ком-либо еще, кроме отца, у которого она была единственной дочерью и которого страстно любила. Она знала об ужасной опасности, грозившей ему, и догадывалась, что отец отослал ее из Гааги, чтобы спасти. И у нее было единственное желание, единственная молитва, чтобы ему удалось благополучно бежать, а ей можно было бы вернуться к нему. Один только раз она получила от него известие. Принесла его незнакомая Эльзе женщина, жена рыбака, которая вызвала ее и передала на словах: «Передай поклон и благословение моей дочери Эльзе и скажи ей, что пока меня еще не трогают. Фою ван Гоорлю скажи, что я слышал кое-что. Спасибо ему. Пусть он знает, что его труд не пропадет даром и он получит свою награду на этом или на том свете».

И только. Позже до Эльзы дошли слухи о том, что гибель стольких людей при взрыве «Ласточки» и потеря испанского судна, разрезанного пополам, произвела много шума среди испанцев. Но так как погибшие

принадлежали не к регулярным войскам, то ничего не было сделано для розыска виновных в их гибели, да кроме того никому не было известно, из кого состоял экипаж «Ласточки». Все предполагали, как и предвидел Рамиро, что груз ее затонул вместе с лодкой в Харлемском озере.

Скоро пришли еще вести, наполнившие сердце Эльзы надеждой. Говорили, что Хендрик Брант исчез и что, по всей вероятности, он бежал из Гааги. Больше о нем не было никаких слухов, в чем не было ничего удивительного. Ведь обреченный на смерть, он пошел по дороге других богатых еретиков, под молчаливыми сводами инквизиционной тюрьмы. Сеть сомкнулась над ним, и через нее опустился меч.

Эльза редко думала об Адриане, а если и вспоминала, то только с антипатией, зато Адриан думал о молодой девушке очень часто. Ее красота и обаяние подействовали на него, и скоро он был действительно влюблен. А то обстоятельство, что Адриан считал Эльзу самой богатой наследницей во всех Нидерландах, уж никак не могло охладить его пыл. Что могло быть для него более подходящим в его положении, чем женитьба на такой красивой и богатой девушке?

Таким образом, Адриан решил про себя, что он женится на Эльзе. Как всякий тщеславный человек, он не допускал мысли, чтобы она была против. Единственным, что несколько смущало его, был вопрос о том, как получить все ее состояние. Фой и Мартин закопали его где-то на острове в Харлемском озере, но продолжали утверждать (в этом он убедился после многократных расспросов), что план места, где зарыто сокровище, взлетел на воздух вместе с «Ласточкой». Адриан ни на минуту не верил в этот рассказ. Он был убежден, что от него скрывают истину, и, как лицо заинтересованное, был глубоко обижен скрытностью брата. Пока же пришлось покориться, но он решил высказать все, как только станет женихом Эльзы. Теперь надо было найти случай объясниться с ней, после чего он предполагал приняться за Фоя и Мартина.

Эльза обычно выходила под вечер на прогулку. Фой в это время также уходил из литейной и сопровождал ее, а Мартин, на всякий случай, шел позади. Скоро эти прогулки стали наслаждением для обоих. Эльза была довольна, что может вырваться из душной комнаты на свежий вечерний воздух, а еще больше радовалась смене напыщенной, натянутой нежности и преувеличенных комплиментов Адриана на веселые, прямолинейные разговоры Фоя.

Фою двоюродная сестра нравилась не меньше, чем его сводному брату, но его обращение с ней было совершенно иным. Он никогда не говорил любезностей, никогда не смотрел ей в глаза, вздыхая, разве только при

случае иногда несколько сильнее пожимал ее руку. Он держал себя с Эльзой как друг и близкий родственник, и предмет их разговора составляло чаще всего обсуждение возможности для ее отца избежать грозившей ему опасности и вообще всего, что касалось его.

Наконец Адриану было позволено выйти из комнаты, и случайно на долю Эльзы выпало помочь ему совершить его первое путешествие вниз. В голландских домах того времени и в том сословии, к которому принадлежала семья ван Гоорль, все женщины без различия своего положения должны были принимать участие в домашних работах. Обязанностью Эльзы было ухаживать за Адрианом, который при малейшем намеке на замену ее кем-нибудь другим волновался до такой степени, что Лизбета, помня приказания доктора, не решалась противоречить ему.

Эльза же с немалым удовольствием ждала освобождения, так как напыщенность и влюбленные вздохи молодого человека становились ей невтерпеж. Адриан же притворялся больным, чтобы пролежать в постели лишнюю неделю и постоянно находиться в обществе Эльзы. Но час настал, и Адриан думал, что пришла пора приподнять завесу, скрывавшую его чувства, и дать Эльзе заглянуть в его душу. Он приготовился к этому событию. Скука пребывания в заключении ему значительно помогла в составлении трогательной и искусной речи, в которой он, благородный кавалер, намеревался принести к ногам простой, но богатой и привлекательной девушки свою драгоценную персону и свое состояние.

Однако, когда настала решительная минута и Эльза подала Адриану руку, чтобы вывести его из комнаты, вдруг все красиво составленные фразы исчезли, и колени стали у него подгибаться от слабости, на этот раз не вымышленной. Эльза вовсе не выглядела девушкой, которой молодой человек готов сделать предложение. Она была слишком холодна и серьезна, не догадывалась о чем-либо необычайном, ожидавшем ее. Адриан чувствовал себя растерянным, однако решиться было необходимо.

Сделав отчаянное усилие, Адриан овладел собой и начал с одной из своих фраз, не самой удачной, но первой, пришедшей ему на память.

— Мои опустившиеся крылья готовы подняться на просторе, — начал он, — но хотя мое сердце рвется, как сердце дикого сокола, я должен сказать вам, прелестная Эльза, что в той золоченой клетке, — он указал на постель, — я…

— Боже мой! Хеер Адриан, — прервала его встревоженная Эльза, — что с вами? У вас голова закружилась?

— Она не понимает. Бедная девочка, где ей понять? — проговорил он вполголоса, в сторону, как на сцене, а затем продолжал вслух: — Да, моя

дорогая, обожаемая, у меня закружилась голова, закружилась голова от благодарности этим прелестным ручкам, от восхищения этими чудными глазами…

Тут Эльза, не в силах дольше сдерживаться, разразилась веселым смехом, но видя, что лицо ее поклонника становится снова таким, каким оно было в столовой, когда у него лопнул сосуд, пересилила себя и сказала:

— О, хеер Адриан, не тратьте всю эту поэзию на меня: я слишком глупа, чтобы оценить ее.

— Поэзию! — воскликнул он. — Я не стихи читаю вам.

— Что же это такое? — спросила она, но в следующую же минуту готова была откусить себе язык.

— Это… Это любовь! — И Адриан упал перед Эльзой на колени, и при этом, надо сказать правду, его лицо, побледневшее от болезни, и его большие, горящие юные глаза были очень красивы. — Эльза, я люблю вас, и если вы не ответите на эту любовь, вы разобьете мое сердце и я умру.

При обыкновенных обстоятельствах Эльза нашлась бы, как поступить, но боязнь взволновать Адриана осложняла положение. Сомневаться в искренности чувств молодого человека в эту минуту не было возможности: он весь трепетал, как лист. Однако надо было положить конец его ухаживанию. Эльза ласково протянула Адриану руку и подняла его, говоря:

— Встаньте, хеер Адриан.

Он повиновался и, взглянув ей в лицо, увидел, что оно спокойно и холодно, как зимний лед.

— Выслушайте меня, хеер Адриан, — начала она. — Вы очень добры ко мне, и, без сомнения, каждая девушка была бы польщена вашими словами. Но я должна сказать вам, что не расположена теперь отвечать на ухаживание.

— Потому что есть другой? — спросил он, снова впадая в театральный тон. — Скажите, пусть я услышу худшее, я вынесу…

— Напрасно вы это спрашиваете, — тем же спокойным голосом сказала Эльза, — потому что нет никого другого. Я еще никогда не думала о замужестве и не желаю думать о нем. А если бы и приходила мне подобная мысль, то я позабыла бы про нее теперь, когда я могу думать только о том, где мой дорогой отец и какая судьба ожидает его. Он — моя единственная любовь, хеер Адриан, — и ее кроткие карие глаза наполнились слезами.

— О, если бы я мог полететь и спасти его от всех опасностей, как спас однажды вас…

— Да, хорошо было бы, если бы это оказалось возможным для вас, —

сказала Эльза, невольно улыбнувшись двойному смыслу слов. — Но слышите, ваша матушка зовет нас. Я знаю, — прибавила она мягко, — что вы поймете и уважите мое душевное состояние и больше не станете беспокоить меня объяснениями в любви, иначе я рассержусь.

— Ваше желание для меня закон, — отвечал Адриан, — и пока эти тучи не сбегут с лазоревого небосклона вашей жизни, я буду нем, как месяц, стоящий посреди неба. Может быть, и вы также умолчите о нашем разговоре, — прибавил он нервно, — я вовсе не желал бы чтоб этот шут Фой имел право поднять нас на смех.

Эльза наклонила голову. Ей весьма не нравилось это «нас» и другие выражения Адриана, но прежде всего хотелось положить конец неприятному свиданию, и, взяв своего обожателя за руку, она повела его вниз.

Через три дня после этой смешной сцены, когда Адриан вышел из комнаты во второй раз, печальная весть дошла до Эльзы. Дирк услыхал ее в городе и вернулся домой чуть не плача. Эльза по его лицу догадалась обо всем.

— Он умер? — с трудом проговорила она.

Дирк кивнул головой, чувствуя, что не в состоянии произнести ни слова.

— Как? Где?

— В тюрьме, в Гааге.

— Откуда вы знаете?

— Я видел человека, помогавшего хоронить его.

Она подняла голову, будто собираясь спросить о дальнейших подробностях, но Дирк отвернулся, бормоча:

— Он умер… умер… не спрашивай больше.

Она поняла и не пыталась узнать ничего больше. После всех страданий он теперь был у Бога, которому служил, и возле жены, которой лишился. Бедная сирота, поддерживаемая Лизбетой, тихо вышла из комнаты и целую неделю не показывалась. Когда она снова появилась, то как будто ни в чем не изменилась, но долго после этого она не улыбалась и относилась совершенно безучастно ко всему происходившему вокруг.

Хотя все члены семьи понимали Эльзу и сочувствовали ей, Адриан скоро начал находить ее поведение смешным и скучным. Так велико было тщеславие молодого человека, что он был почти не в состоянии понять, как воспоминания об убитом отце могли так заполнить душу девушки, что в ней уже не оставалось места для нежного обожателя? Что такое, в конце концов, был этот отец? Вероятно, средних лет, вовсе не интересный

бюргер, замечательный одним только — огромным богатством, большая часть которого была накоплена его предками.

Живой богач еще представляет некоторый интерес, но кому, кроме наследников, есть дело до умершего? Кроме того, этот Брант был одним из ограниченных, фанатических последователей новой религии, столь антипатичной человеку умному и развитому. Правда, сам Адриан, по сложившимся обстоятельствам, принадлежал к этой общине, но он находил ее последователей скучными. Их учение о борьбе отдельной личности, о возможности собственными усилиями достигнуть личного спасения, не нравилось Адриану. К тому же эти усилия обыкновенно приводили на костер. Кроме того, пышность и могущество главной Церкви имели для него нечто обаятельное. Утешителен был также догмат о прощении, которое можно получить одной исповедью в своих грехах, и сознание великой силы, всегда готовой поддержать самого скромного из верующих.

Одним словом, умерший Хендрик не представлял собой ничего интересного, ничего такого, что могло бы оправдать столь глубокую печаль молодой девушки, что она вовсе перестала замечать человека, без сомнения, интересного и готового откликнуться по первому знаку на ее внимание.

После долгих размышлений, найдя подтверждение им во внимательном изучении современных романов, Адриан пришел к убеждению, что в поведении девушки есть что-то неестественное. Но что же сделать? Сам Адриан никак не мог придумать, и поэтому, по примеру многих других, решил обратиться за советом к человеку опытному — именно к Черной Мег, которая была не прочь за известное вознаграждение дать совет в сердечных делах.

Итак, ночью Адриан тайно отправился к Черной Мег. Он любил таинственность, да и опасно было бы идти на свидание среди белого дня. Сидя в полутемной комнате, он изложил колдунье свое дело, конечно, не сообщая имен, что впрочем, было бы и излишне. Ведь Адриан был давнишним клиентом Черной Мег, и никакая маска не в состоянии была скрыть его. Прежде чем он раскрыл рот, она уже знала имя возлюбленной Адриана и все обстоятельства, связанные с его делом.

Советчица, терпеливо выслушав Адриана, покачала головой. Она сама решительно не знает, как помочь, но предлагает посоветоваться с «магом», гораздо более сведущим, чем она. По счастливой случайности он находится сейчас в Лейдене и даже бывает у нее в доме. Она просила Адриана зайти к ней в то же время на следующий день.

По совершенно странному стечению обстоятельств «маг» поручил Мег

устроить ему свидание с этим молодым человеком.

Адриан пришел и получил ответ, что «маг», вопросив звезды и другие предметы гадания, так заинтересовался делом, что исключительно из любви к нему, а вовсе не руководствуясь какими-нибудь целями наживы, готов дать совет. Адриан был в восторге, и попросил, чтобы их познакомили. Вскоре в комнату вошел статный человек, закутанный в длинный плащ. Адриан поклонился, и вошедший, внимательно, очень внимательно приглядевшись к нему, с достоинством отвечал на поклон. Адриан откланялся и начал говорить, но мудрец перебил его.

— Объяснения излишни, молодой человек, — сказал он, — изучение дела открыло мне больше, чем вы можете сообщить мне. Имя ваше Адриан ван Гоорль, девица, любви которой вы добиваетесь, Эльза Брант, дочь Хендрика Бранта, еретика и известного золотых дел мастера, недавно казненного в Гааге. Она очень красива, но удивительно неотзывчива на любовь и не умеет ценит вас. Если я не ошибаюсь, здесь примешиваются еще некоторые особые и весьма важные обстоятельства. Девушка — богатая наследница, но ее состояние теперь исчезло и, как я имею повод предполагать, скрыто на одном из островов Харлемского озера. Она окружена влиянием враждебных вам сил, с которыми вам можно будет сладить, если вы доверитесь мне, потому что я (вы должны это знать) не принимаю откровенности наполовину. Задатка я не прошу. Когда состояние отыщется и девушка станет вашей счастливой женой, тогда вы заплатите мне за услугу, но не раньше.

— Изумительно, ученый сеньор, как верны ваши слова, — проговорил Адриан.

— Да, друг Адриан, но я еще не все досказал вам. Например… впрочем, теперь не время говорить. Принимаете вы мои условия?

— Какие условия, сеньор?

— Те, о которых я говорил и без которых чудо невозможно… Необходимо доверие, безусловное доверие.

Адриан несколько колебался. Можно ли обещать безусловное доверие совершенно незнакомому человеку при первом свидании?

— Я угадываю ваши мысли и уважаю их, — продолжал мудрец, в душе подумавший, не зашел ли он слишком далеко. — Спешки нет. Такие дела нельзя решать в один день.

Адриан согласился с этим, но сказал, что желал бы немедленно получить какое-нибудь практическое указание. Мудрец закрыл лицо руками и стал размышлять.

— Первое, что следует сделать, — заговорил он, — это заставить

девушку относиться к вам благосклонно, и этого лучше всего достичь (к подобному средству я не часто прибегаю), если дать девушке выпить любовный напиток, подходящий для этого случая. Если вы зайдете сюда завтра, то хозяйка этого дома — достойная женщина, хотя несколько суровая по внешности — передаст вам его.

— Это не яд? — подозрительно спросил Адриан.

— Какая глупость! Разве я торгую ядами? Напиток только приворожит сердце девушки к вам.

— Как же употреблять его?

— Дать выпить в воде или вине, которое она пьет, а потом стараться заговорить с ней как можно скорее. Итак, мы условились, — прибавил он мимоходом. — До свидания.

— Стало быть, задатка вы не требуете?

— Нет, пока все не свершится. Ах, если б вы знали, какое удовольствие для утомленного жизнью и много испытавшего человека помогать молодежи в достижении цели, способствовать бедной, тоскующей душе найти подругу, предназначенную небом, тогда вы не стали бы говорить о задатке! Кроме того (я буду с вами откровенен), в ту же минуту, как я вошел в эту комнату, я почувствовал в вас родственную натуру, способную под моим руководством совершить великие вещи, более великие, чем я могу сказать. Какое видение стоит перед моими глазами! Вы — муж красавицы Эльзы и обладатель ее большого состояния, а я возле вас — ваш руководитель со своим опытом и знаниями. Чего мы достигнем вдвоем! Это мечты, без сомнения, мечты, но как часто мои мечты бывали пророчеством! А лучше забудьте их, мы же с вами будем друзьями! — сказал он и протянул руку Адриану.

— С удовольствием, — отвечал Адриан, прикасаясь к холодным пальцам. — Много лет я ищу кого-нибудь, на кого мог бы положиться, кто бы понял меня, как вы понимаете меня. Я это чувствую.

— Да, да, я действительно понимаю вас, — сказал маг.

— И подумать, что я могу быть отцом такого дурака, — начал он рассуждать вслух после ухода Адриана, как делал часто, когда находился наедине с самим собой. — Впрочем, это мне на руку. В данном случае красивый самовлюбленный дурак может быть мне полезнее, чем молодой человек со здравым умом. Надо свести свои счеты. За наем конторы заплачено, и с первого числа я буду уже получать жалование от правительства как новый смотритель тюрьмы. Стало быть, могу заняться собиранием улик против почтенного наследника Бранта, Дирка ван Гоорля, его предприимчивого сына Фоя и этого негодяя, Красного Мартина. Раз они

попадут ко мне в тюрьму, то один из них непременно выдаст мне тайну богатств Бранта. Женщины, вероятно, ничего не знают, да я и не желаю иметь с ними дело. Ничто не разубедит меня, что… — Он содрогнулся, как при неприятном воспоминании. — Надо добыть неопровержимые улики. Последние казни и допросы вызвали такой шум, что правительство не допустит казни без приличного предлога… Даже Альба и Кровавое Судилище начинают опасаться. Кто, кроме Адриана, доставит важные улики? Но так как, видимо, он человек совестливый, то не стоит открыто допрашивать его. Прежде всего надо уличить старого друга Дирка в ереси, а молодому человеку и слуге предъявить обвинение в убийстве солдата и в пособничестве бегству еретиков с их состоянием. Убийство — тяжкое обвинение и не вызывает общественной симпатии, в отличие от ереси.

Он подошел к двери и позвал:

— Мег! Хозяйка!

Напрасно он трудился, так как, едва отворил дверь, почтенная хозяйка очутилась у него чуть не в объятиях.

— Что это?… Вы подслушивали? Какой стыд! Но женщины любопытны… — а про себя подумал: «Надо быть осторожнее. К счастью, я говорил негромко».

Он позвал Мег в комнату и, внимательно оглядевшись, занялся некоторыми приготовлениями.

XVII. Обручение

В сумерках следующего дня Адриан пришел, согласно обещанию, и был впущен в ту же комнату, где застал Черную Мег. Она передала ему маленький пузырек с совершенно прозрачной, как вода, жидкостью, что было вполне естественно, так как в пузырьке действительно была вода.

— И это питье в самом деле повлияет на ее сердце? — спросил Адриан, рассматривая пузырек.

— Это удивительное лекарство, — отвечала старуха, — кто выпьет его, сходит с ума от любви к давшему его. Оно составлено по рецепту самого мага из драгоценных трав, не имеющих никакого вкуса и растущих в африканских пустынях.

Адриан понял и стал шарить в кармане. Мег протянула руку, чтобы получить награду. Это была длинная, костлявая рука, на которой недоставало одного пальца. Мег увидела, что Адриан смотрит на руку и поспешила объяснить:

— Со мной случилось несчастье, — сказала она, — мясник резал свинью и отхватил мне палец.

— У вас было кольцо на этом пальце? — спросил Адриан.

— Было, — мрачно и сердито отвечала она.

— Как странно! — вырвалось у Адриана.

— Почему?

— Потому, что я видел палец, длинный женский палец с золотым кольцом на нем, как будто отрубленный от вашей руки. Вероятно, мясник спрятал его на память.

— Может быть, хеер Адриан, а где он теперь?

— Теперь он хранится, или, по крайней мере, хранился в банке со спиртом, привязанный ниткой к пробке.

Злое лицо Мег передернуло.

— Достаньте мне его, — хрипло сказала она. — Я много делала для вас, хеер Адриан, сделайте это для меня.

— На что он вам?

— Чтобы по-христиански похоронить его, — мрачно проговорила она. — Не годится и не на счастье, если человеческий палец сохраняется в банке, как какой-нибудь жук или ящерица. Достаньте его. Я не спрашиваю, у кого он. Иначе я больше не стану помогать вам в ваших любовных делах.

— Хотите получить вместе с тем и рукоятку кинжала? — колко

спросил он.

Она искоса взглянула на него своими черными глазами. Этот молодой человек знал слишком много.

— Мне нужен палец с кольцом, который мясник отрубил, свежуя свинью.

— Может быть, тетушка, вам и свинку хотелось бы получить? Не ошибаетесь ли вы? Вы, может быть, сами хотели перерезать ей горло, а она откусила вам палец.

— Если мне понадобится свинья, я стану искать ее в хлеву… Принесите мне банку, или…

Она не успела окончить, так как дверь отворилась и в комнату вошел маг.

— Вы ссоритесь? — укоризненно спросил он. — Из-за чего? Я догадываюсь, — он провел рукой по лбу. — Тут замешан палец — перст судьбы?… Нет, не то? А!… — Он схватил руку Мег и, как бы осененный новым вдохновением, добавил, — теперь понимаю. Принесите его, друг Адриан, мертвый палец приносит несчастье всякому, кроме его владельца. Сделайте это для меня.

— Хорошо, — отвечал Адриан.

— Моя сила увеличивается, — продолжал маг как бы про себя. — Я вижу эту честную руку и большой меч. Но пока еще не стоит говорить. Этого еще слишком мало. Оставьте нас, тетушка. Даю вам слово, ваш палец вернется. Да, вместе с золотым кольцом. А теперь, мой молодой друг, поговорим. Вы получили напиток? Говорю вам, что он окажется действенным, он заставит ожить мраморную Галатею. Пигмалиону, вероятно, был известен этот секрет[96]. Но расскажите мне что-нибудь о вашей жизни, о том, что вы думаете и делаете. Когда я дарю свою дружбу, я люблю жить жизнью моих друзей.

Поощряемый им, Адриан рассказал очень многое, сообщил столько подробностей, что сеньор Рамиро, кивая ему из-под надвинутого колпака, думал про себя: «Успеет ли шпион, спрятанный в потайном шкафу, несмотря на свою опытность, записать все, что он слышал?» Он старался не давать Адриану уклоняться в сторону и, время от времени вставляя свое замечание, искусно перевел разговор на дела веры.

— Вам нечего скрытничать со мной, — сказал он, — я знаю, как вы выросли, как не по своей вине покинули лоно истинной Церкви и принимаете участие в тайных сборищах еретиков. Вы сомневаетесь, что мне это известно? Дайте припомнить. Кажется, на прошлой неделе вы сидели в комнате с выбеленными стенами, выходящей на рыночную

площадь. Я вижу всех, бывших там. Некрасивый, низенький человек проповедует резким голосом. Его проповедь — сплошное кощунство. Корзины… корзины… Какое отношение могут иметь к нему корзины?

— Он, кажется, прежде делал их, — прервал Адриан, попавшись на удочку.

— Может быть, так, а может быть, я вижу их потому, что ему предстоит быть похороненным в корзине. Как бы то ни было, его судьба странным образом связана с корзинами. Вместе с вами тут и другие: человек средних лет с тупыми чертами лица. Не Дирк ли это ван Гоорль, ваш отчим? Еще довольно красивый молодой человек, вероятно, родственник. Я вижу его имя, но не могу ясно разобрать. Ф… Ф… о… и… по-французски значит *вера* (странное имя для еретика).

— Фой, — поправил Адриан.

— В самом деле!… Как это я не разобрал последнюю букву? Но в видениях подобные вещи случаются. Кроме того в комнате еще один человек высокого роста с рыжей бородой…

— Нет, вы ошибаетесь, — горячо возразил Адриан, — Мартина не было там, он оставался караулить дом.

— Вы уверены в этом? — с сомнением спросил маг. — Я смотрю, и мне кажется, вижу его.

Он пристально глядел на стену.

— Вообще он часто бывает на этих собраниях: не был только на прошлой неделе.

Нет необходимости дальше следить за разговором мага с Адрианом. Маг, вынув из-под плаща хрустальный шар, продолжал описывать свои видения, а молодой человек поправлял его, зная в точности все случившееся, пока сеньор Рамиро и его сообщник не нашли, что собрали неопровержимых улик по понятиям того времени достаточно, чтобы три раза сжечь Дирка, Фоя и Мартина, а если бы потребовалось, то и самого Адриана. После этого маг простился со своим новым другом.

На следующий вечер Адриан явился с пальцем в банке, на которую Мег бросилась как уж на лягушку, и снова начался интересный разговор. Адриана очень привлекала мистическая болтовня мага вперемежку с мудрыми наставлениями в сердечных и других житейских делах и льстивыми отзывами о его собственных качествах и дарованиях.

Несколько раз Адриан приходил к магу. Все это время Эльза была больна и не выходила из комнаты, а Адриан не имел случая дать ей выпить магического напитка, от которого ее сердце должно было воспылать любовью к нему.

Наконец, когда даже Рамиро начали надоедать продолжительные визиты молодого человека, счастье улыбнулось Адриану. Эльза появилась в один прекрасный день за столом, и Адриан ловко и незаметно для других успел вылить содержимое пузырька в стакан воды, который Эльза, к великой радости влюбленного, выпила до дна.

Но случая объясниться не представилось, так как Эльза, вероятно, подавленная нахлынувшим на нее чувством, ушла к себе в комнату, чтобы бороться с собой наедине. Так как следовать за ней туда и сделать ей сейчас же предложение оказалось невозможным, то Адриан, призвав на помощь все самообладание, на какое был способен, уселся в гостиной, ожидая ее возвращения. Он знал, что она никогда не выходит раньше пяти часов. Однако в этот вечер Эльза иначе распорядилась своим временем. Она обещала Лизбете навестить с ней нескольких соседок, а затем зайти за Фоем в контору и пройтись с ним за город.

И пока Адриан сидел в гостиной, погруженный в мечты, Лизбета вышла с Эльзой из дома через боковой подъезд.

Они уже побывали в двух или трех домах, и случайно оказались около старинной городской тюрьмы, называемой «Гевангенгооз». Эта тюрьма находилась у городских ворот. Она была встроена в стену и выходила на городской ров, окружавший ее со всех сторон водой. Перед массивной дверью, охраняемой двумя часовыми, на подъемном мосту и улице, ведущей к нему, собралась небольшая кучка людей в ожидании кого-то или чего-то. Лизбета взглянула на трехэтажное мрачное здание и содрогнулась: здесь допрашивали еретиков и здесь же многих из них казнили.

— Пойдемте скорее, — сказала она Эльзе, пробираясь через толпу. — Наверное, тут происходит что-нибудь ужасное.

— Не бойтесь, — ответила пожилая, добродушная на вид женщина, услышав ее слова, — мы только ждем, чтобы послушать, как новый смотритель тюрьмы выйдет и прочтет о своем назначении.

В ту же минуту дверь отворилась, и из нее вышел человек. Это был палач с мечом в одной руке и связкой ключей на подносе в другой. За ним в нарядной одежде следовал смотритель, сопровождаемый взводом солдат и служителями тюрьмы. Вынув из-под плаща свиток, он стал быстро, едва слышно читать его.

Это было назначение его смотрителем, подписанное самим Альбой. В нем перечислялись полномочия, весьма значительные, ответственность, весьма небольшая, и все прочее, кроме той суммы, которую он заплатил за место, так как подобные должности продавались совершенно открыто тому, кто предлагал больше. Подобная должность в любом из больших

нидерландских городов была местом весьма доходным для тех, кто не пренебрегал такими способами разбогатеть. И действительно, доходы были так велики, что жалованье на этой должности никогда не выплачивалось, и смотрителю предоставлялось существовать на суммы из карманов еретиков.

Закончив чтение, новый смотритель поднял глаза и окинул взглядом слушателей, быть может, чтобы увидеть, какое впечатление он произвел на них. Эльза, в первый раз увидевшая тут его лицо, схватила Лизбету за руку:

— Это Рамиро, — шепнула она, — шпион, следивший за отцом в Гааге.

Но ее спутница не отозвалась. Лизбета как будто окаменела, и, побледнев, бессмысленным взглядом смотрела в лицо человека, стоявшего напротив нее. Она тоже узнала его. Несмотря на печать прожитых лет, пережитых страстей, перенесенные страдания и злые мысли, несмотря на то, что он потерял один глаз, оброс бородой и страшно похудел, она узнала его: перед ней стоял ее бывший муж, Хуан де Монтальво. Как бы повинуясь гипнозу, он тоже посмотрел на нее. Узнав ее в толпе, он вздрогнул и побледнел, отвернулся и быстро пошел в ад «Гевангенгооза». Он явился оттуда, будто дьявол, сошедший в людской мир, чтобы выискать себе жертву и, как дьявол, снова скрылся. Так, по крайней мере, показалось Лизбете.

— Пойдем, пойдем, — проговорила она, увлекая за собой девушку и стараясь выбраться из толпы.

Эльза заговорила сдавленным голосом, часто переходившим в рыдание:

— Да, это он. Он затравил моего отца, ему нужно было его состояние, но отец поклялся, что умрет прежде, чем отдаст ему свое богатство, и он умер, умер в тюрьме инквизиции, а этот человек — его убийца.

Лизбета не отвечала: она не произнесла ни слова, пока они не остановились у маленькой двери. Здесь она заговорила сдержанным, неестественным тоном:

— Я зайду к фроу Янсен, ты слышала о ней. Это жена того человека, которого они сожгли. Она присылала сказать мне, что больна. Я не знаю, что с ней, но в городе ходит оспа. Я уже слышала о четырех случаях, и поэтому лучше, если ты не пойдешь со мной. Дай мне корзинку с вином и провизией. Мы уже дошли до конторы, где тебя ждет Фой. Не вспоминай Рамиро. Что сделано, того не воротишь. Пойди, погуляй с Фоем и забудь на это время о Рамиро.

Эльза нашла Фоя у дверей конторы, где он уже ждал ее, и они вместе

вышли из городских ворот в луга, раскинувшиеся за городом. Сначала оба говорили мало, так как у каждого были мысли, которые не хотелось высказывать. Однако, отойдя подальше от города, Эльза не могла больше сдерживаться. Страх, пробужденный в ней Рамиро, доводил ее почти до истерики. Она заговорила, слова лились, как вода, прорвавшая плотину. Эльза рассказала о том, что видела Рамиро, и еще обо всем, что с этим связано, что она пережила за это время и как она перенесла смерть любимого отца.

Наконец Эльза замолчала и, остановившись на берегу реки, ломая руки, заплакала. До сих пор Фой ничего не говорил. Его находчивость и веселость оставили его, и он даже не знал, что сказать. Он обнял девушку за талию и, привлекая к себе, поцеловал ее в губы и глаза. Она не сопротивлялась, а опустив голову ему на плечо, тихо рыдала. Наконец она подняла лицо и спросила очень просто:

— Чего ты хочешь, Фой?

— Чего? — переспросил он. — Хочу стать твоим мужем.

— Время ли теперь выходить замуж или жениться? — спросила она снова, как будто рассуждая про себя.

— Не знаю, — ответил он, — но мне кажется, что только так и нужно поступить. В наши дни вдвоем все же легче жить, чем одному.

Она несколько отступила и, грустно покачав головой, начала было:

— Отец мой…

— Да, — прервал он ее, просияв, — благодарю, что ты упомянула о нем. Он тоже хотел нашего союза. И теперь, когда его уже нет, думаю, ты исполнишь его желание.

— Не поздно ли теперь спрашивать об этом, — проговорила она, не смотря на Фоя и приглаживая своей маленькой белой ручкой растрепавшиеся волосы. — Но что ты хочешь сказать этим?

Восстановив в памяти подробности, Фой повторил сказанное ему Хендриком Брантом перед тем, как они с Мартином отправились на опасное дело на Харлемское озере, и закончил:

— Ты видишь, он желал этого.

— Его желания всегда были моими желаниями, и я… я тоже желаю этого…

— Бесценные вещи нелегко приобрести, — сказал Фой, вспомнив слова Бранта, между тем как в душу его закралось опасение.

— Это он намекал на сокровище? — сказала она, и улыбка осветила ее лицо.

— Это сокровище — твое сердце.

— Правда, эта вещь, не имеющая цены, но, мне кажется, неподдельная.

— Но и лучший металл может треснуть от долгого употребления.

— Мое сердце выдержит до смерти.

— Большего я не прошу. Когда я умру, можешь отдать его кому захочешь, я снова найду его там, где нет ни женитьбы, ни замужества.

— Не много от него досталось бы другому… Но вглядись внимательно и в свое золото, как бы его чеканка не изменилась. Ведь золото плавится в горне, и каждая новая королева чеканит свою монету.

— Довольно, — нетерпеливо перебил ее Фой. — Зачем ты говоришь о таких вещах, да еще загадками, сбивающими меня.

— Потому… потому, что мы еще не женаты, бесценные же вещи — повторяю не свои слова — нелегко достаются. Полную любовь и согласие нельзя приобрести несколькими нежными словами и поцелуями: они приобретаются путем испытаний…

— Немало их еще выпадет на нашу долю, — весело отвечал он. — А в начале пути очень приятно поцеловаться.

После этого Эльза уже не стала возражать.

Наконец, когда уже спустились сумерки, они, счастливые в душе, пошли обратно в город рука об руку. Они не выражали своих чувств, потому что голландцы вообще народ сдержанный. Кроме того, они соединили руки как бы у смертного одра Хендрика Бранта, гаагского мученика, кровь которого взывала к небу о мести. Это чувство сдерживало проявление юношеской страсти. Но даже, если бы они забыли свое горе, осталось бы другое чувство, которое сковало бы их — чувство страха.

«Вдвоем легче жить», — сказал Фой. И Эльза не оспаривала этого. Но она чувствовала, что в этом деле была и другая сторона. Если, поженившись, молодые люди могут поддерживать и любить друг друга, то не должны ли они и страдать друг за друга? При появлении же ребенка беспокойство удваивалось, а заботы увеличивались. Этот вопрос, важный при каждом браке, был еще более понятен, когда дело касалось Фоя и Эльзы — ибо речь шла о богатых еретиках, живших в постоянном страхе перед арестом или костром. Осознав это особенно остро после того, как она увидела Рамиро, Эльза не могла полностью отдаться своему счастью, а лишь робкими глотками пила из чаши радости. На жизнерадостности Фоя отразились те же опасения и тайная душевная тревога.

*** * ***

Расставшись с Эльзой, Лизбета вошла в комнату фроу Янсен. Это была бедная каморка, так как после казни мужа его палачи отобрали все имущество у несчастной вдовы, и она существовала теперь исключительно на подаяния своих единоверцев. Лизбета застала ее в постели, около которой сидела старуха, утверждавшая, что, по ее мнению, У больной горячка. Лизбета наклонилась над постелью и поцеловала больную, но отшатнулась, заметив что железы у нее на шее опухли и вздулись, а лицо горело и налилось кровью. Однако фроу Янсен узнала посетительницу и сказала:

— Что со мной, фроу ван Гоорль, не оспа ли? Скажите мне, а то доктор, пожалуй, скроет.

— Я боюсь, не хуже ли, — отвечала мягко Лизбета, — это чума.

Бедная женщина хрипло засмеялась.

— О, я надеялась на это! — сказала она. — Я рада. Теперь я умру и пойду к нему. Жалко только, что раньше не подхватила ее. Я бы занесла ее к нему в тюрьму, и они не сделали бы над ним того, что сделали теперь, — продолжала она как бы в бреду, но затем, снова придя себя, обратилась к Лизбете: — Бегите отсюда, фроу ван Гоорль, вы можете заразиться.

— Если я могу заразиться, то боюсь, что уже заразилась, потому что поцеловала вас, — отвечала Лизбета, — но я не боюсь такой болезни, хотя, быть может, если б мне удалось заразиться, я бы избавилась от многих неприятностей. Однако я должна думать о других и поэтому уйду. — Она опустилась на колени, чтобы помолиться, и затем, отдав корзину с вином и провизией старухе, ушла.

На следующее утро Лизбета услышала, что фроу Янсен умерла.

Лизбета знала, что подвергалась большой опасности, так как нет болезни более заразной, чем чума. Поэтому, вернувшись домой, она решила немедленно сжечь свое платье и всю остальную одежду, а самой очиститься дымом трав. А затем она перестала думать о чуме, так как ум ее был занят другими мыслями.

Монтальво вернулся в Лейден! Этот злой дух ее жизни (из мрака прошлого, с галер) стал по роковой случайности также и злым духом жизни Эльзы. Лизбета была мужественная женщина. Она встречалась в своей жизни со многими опасностями, но, увидев Рамиро, она похолодела от ужаса. Лизбета знала, что ей не избавиться от этого страха, пока он или она

живы. Она поняла, что Монтальво привлекло сюда проклятое богатство Хендрика Бранта, ибо Эльза сказала ей, что в течение года человек в Гааге, по имени Рамиро, прилагал много усилий, чтобы завладеть этим богатством. Ему не удалось этого сделать. Он потерпел полное поражение благодаря храбрости и находчивости ее сына и слуги. Теперь он перебрался в Лейден, чтобы узнать тайну захоронения сокровищ. Это было ясно. Она отлично знала этого человека. Недаром она жила с ним! В справедливости ее догадок она была уверена. Рамиро, без сомнения, добился места смотрителя «Гевангенгооза», купив эту должность, чтобы быть рядом с теми, кого намеревался выследить.

Еле передвигая ногами и ничего не видя, Лизбета добрела до дома. Ее единственной мыслью было, поскорее все рассказать Дирку, но она прикоснулась к чумной, и значит, сначала надо обеззаразить себя. Она пошла к себе в комнату, развела огонь в очаге и сожгла все платье. Потом она окурила себе волосы и тело, посыпав на угли ароматические травы, которые в те времена использовались как защита от заразных болезней и находились в каждом доме, и, переодевшись, пошла к мужу. Лизбет застала его в его комнате у конторки за чтением какой-то бумаги, которую при ее появлении он быстро спрятал в ящик.

— Что это, Дирк? — спросила она с внезапно проснувшимся подозрением.

Он сделал вид, что не слышит, и она повторила вопрос.

— Если ты уж очень хочешь знать, то скажу: это мое завещание, — прямо ответил он.

— Почему ты стал читать свое завещание? — спросила она, начиная дрожать. Ее нервы были напряжены, и этот незначительный случай показался ей ужасным предзнаменованием.

— Без особых причин, — спокойно ответил Дирк, — но всем нам суждено рано или поздно умереть. От этого не уйдешь. А теперь это случается гораздо чаще. Так лучше уж, чтобы все было в порядке. Раз разговор коснулся этого, выслушай меня.

— В чем же дело?

— Дело касается моего завещания. Видишь ли, Хендрик Брант дал мне урок. Я не такой богач, как он, но во многих странах считался бы богатым человеком, так как работал усердно, и теперь главная часть моего состояния вложена в деньги. Но деньги не здесь и даже не в этой стране. Ты знаешь моих партнеров, Мунта и Броуна в Норвиче, в Англии, которым мы отправляем наши товары для английского рынка. Они честные люди, а Мунт мне обязан всем, даже жизнью. Так вот, деньги у них, они

благополучно дошли до них. Вот квитанция о получении и извещение, что капитал помещен за хорошие проценты под залог больших имений в Норфолке, где я или мои наследники всегда можем получить его. Копия этого свидетельства, на случай его утраты, внесена в их английские книги. Здесь у меня осталось немного. Дом и контора заложены. Дело дает достаточно дохода для жизни, и с процентами, получаемыми из Англии, мы везде можем прожить без нужды. Но что с тобой, Лизбета? Какой у тебя странный вид!

— О Боже! — вырвалось у Лизбеты. — Хуан де Монтальво здесь. Он назначен надзирателем тюрьмы. Я видела его сегодня вечером. Я не ошиблась, хотя он лишился одного глаза и очень изменился.

От удивления Дирка разинул рот, и его цветущее лицо побледнело.

— Хуан де Монтальво? — переспросил он. — Я слышал, что он давно умер.

— Ты ошибаешься. Дьявол никогда не умирает. Он разыскивает наследство Бранта и знает, что тайна известна нам. Ты теперь догадаешься об остальном. Только сейчас я вспомнила, что слышала, будто у Симона, прозванного Мясником, и Черной Мег, которую мы с тобой знаем, в последнее время жил какой-то странный испанец. Это, без сомнения, он. И теперь, Дирк, нас, может быть, уже сторожит смерть.

— Откуда ему знать о сокровище Бранта?

— Он — Рамиро, тот самый человек, который затравил Бранта, тот самый, который старался догнать «Ласточку» на Харлемском озере. Эльза была со мной сегодня вечером и тоже сразу узнала его.

Дирк, опершись головой на руку, задумался на минуту, потом сказал:

— Я очень рад, что отправил деньги Мунту и Броуну. Само небо внушило мне эту мысль. Что ты посоветуешь делать теперь?

— Мой совет — бежать из Лейдена всем нам еще сегодня ночью.

Он улыбнулся.

— Это невозможно… Как бежать? По новым законам нам нельзя выйти за город, но дня через два я смогу устроить все так, что мы сможем уехать, если ты желаешь.

— Сегодня, сегодня! — настаивала она. — Иначе кому-нибудь из нас придется остаться здесь навсегда.

— Говорю тебе, это невозможно. Разве я крыса какая, чтобы какой-то негодяй Монтальво мог выжить меня из моей норы? Я уже немолод и человек мирный, но чего доброго, пока еще живу здесь, проколю его мечом.

— Как хочешь, — сказала Лизбета, — но мне кажется, что меч пройдет сквозь мое сердце. — Она залилась слезами.

*** * ***

Невесело было в этот день за ужином. Дирк и Лизбета, сидя на противоположных концах стола, молчали. С одной стороны расположились Фой и Эльза, тоже молчавшие, хотя и по другой причине, напротив — Адриан, наблюдавший все время за Эльзой.

Он был уверен, что любовный напиток произвел свое действие, так как Эльза казалась сконфуженной и краснела и, что казалось ему весьма естественным, старалась избегать его взгляда, показывая при этом, будто занята Фоем, казавшимся Адриану еще глупее обыкновенного. Адриан решил при первой возможности выяснить все, а в настоящую минуту тяжелое молчание, господствовавшее за столом, раздражало его. Чтобы что-нибудь сказать, он спросил мать:

— Где вы были сегодня, матушка?

— Я? — спросила она, вздрогнув. — Была у фроу Янсен, которая очень больна…

— Что с ней?

Лизбета, мысли которой были далеко, с трудом могла ответить.

— Что с ней?… У нее чума.

— Чума! — вскричал Адриан, вскакивая. — Неужели вы ходили к женщине, у которой чума?

— Да, — ответила она, улыбаясь. — Но не бойся, я сожгла свое платье и окуривалась.

Адриан испугался. Он еще не забыл о своей недавней болезни, кроме того, хотя он не был трусом, он особенно терпеть не мог заразных болезней.

— Это ужасно, — сказал он, — ужасно! Дай Бог нам, то есть вам, избежать заразы. В доме у нас такая темнота. Я пройдусь по саду.

Он ушел, забыв в эту минуту о своей любви к Эльзе и о любовном напитке.

XVIII. Фоя посещает видение

Ни разу с тех пор, как Лизбета много лет тому назад купила спасение любимого ей человека, пообещав стать женой его соперника, не спала она так дурно, ^ как в эту ночь. Монтальво был жив. Он был здесь, погубить тех, кого она любила. Рамиро имел для этого в своих руках все средства и признанную правительством власть. Лизбета хорошо знала, что, если предвиделась нажива, этот человек не отступит ни перед чем, пока не овладеет ей. Оставалось надеяться только на одно. Он был жесток, но не стремился мучить людей ради их страданий, а прибегал к этому как к крайнему средству. Лизбета была уверена, что если бы он мог без проблем получить деньги, которых добивался, он оставил бы всех в покое. Почему бы ему их не получить? Зачем подвергать всех опасности из-за бремени наследства?

Лизбета была не в состоянии вынести муки сомнений и страха и, разбудив спокойно спавшего мужа, поделилась с ним своими мыслями.

— Конечно, так легче всего поступить, — ответил Дирк с улыбкой, — я вижу, что даже лучшие из женщин не могут быть вполне честны, если дело коснется их личного интереса. Неужели ты хочешь, чтобы мы купили свое счастье ценой состояния Бранта, и, обманув доверие покойного, призвали на себя его проклятие.

— Жизнь людей дороже золота, и Эльза, наверное, согласится, — мрачно ответила Лизбета, — сокровище уже запятнано кровью, кровью самого Бранта и лоцмана Ханса.

— Да, и уж если на то пошло, то кровью многих испанцев, пытавшихся похитить его. Некоторые из них утонули в устье реки и чуть ли не два десятка взлетели на воздух вместе с «Ласточкой», так что потери не только на нашей стороне. Слушай, Лизбета! Мой двоюродный брат Хендрик Брант был уверен, что в конце концов его богатство окажет какую-нибудь услугу нашему народу или стране. Об этом он написал в своем завещании и то же самое повторил Фою. Я скорее умру, чем передам сокровище в руки испанцев. К тому же я не могу этого сделать, так как тайна никогда не была сообщена мне.

— Ее знают Фой и Мартин.

— Лизбета, — серьезно заговорил Дирк, — именем твоей любви ко мне умоляю не настаивать на том, чтобы они выдали ее, даже ради спасения моей и твоей собственной жизни. Если мы должны умереть, то

умрем с честью. Ты обещаешь?

— Обещаю, — ответила она запекшимися губами, — но с одним условием, что ты бежишь со всеми нами из Лейдена сегодня ночью.

— Хорошо, — сказал Дирк, — долг платежом красен. Ты дала обещание, и я дам обещание, согласен, хотя уж и староват я, чтобы искать себе новый дом в Англии. Но сегодня ночью бежать невозможно. Мне надо еще кое-что устроить. Завтра утром уходит корабль, и мы сможем догнать его у устья реки после того, как он пройдет мимо досмотрщиков. Капитан корабля мой друг. Согласна?

— Мне бы хотелось устроить все это еще сегодня, — сказала Лизбета. — Пока мы в Лейдене с этим человеком, мы не можем ручаться ни за один час.

— И никогда мы не можем ни за что ручаться. Все в руках Божьих, и поэтому мы должны жить, как солдаты, ожидающие часа выступления, и радоваться, когда раздастся приказ.

— Я знаю, — ответила она. — Но трудно нам будет расстаться. Он отвернулся на минуту, но затем ответил твердым голосом:

— Да, но хорошо будет снова встретиться, чтобы никогда больше не разлучаться.

*** * ***

Ранним утром Дирк позвал Фоя и Мартина в комнату жены. Адриана он по некоторым соображениям не пригласил и сказал, что ему жаль будить его, так как он крепко спит. Эльзу он также до поры до времени не хотел тревожить. В нескольких словах он передал суть дела, сказав, что Рамиро — это тот самый человек, который потерпел из-за них неудачу на Харлемском озере. Он находится в Лейдене, обстоятельство, впрочем, уже известное Фою через Эльзу, он не кто иной, как граф Хуан де Монтальво, обманувший Лизбету, заставив ее угрозами выйти за себя замуж, и он отец Адриана. Все это время Лизбета сидела в резном дубовом кресле, слушая с окаменевшим лицом рассказ об обмане, жертвой которого она стала. Она не сделала ни одного движения, и только слегка шевелила пальцами, пока Фой, угадывая ее душевное состояние, не подошел к ней вдруг и не поцеловал. По щеке ее скатилось несколько слезинок. С минуту она держала руку на голове Фоя, как бы благословляя его, а затем снова стала

прежней Лизбетой: серьезной, холодной, следившей за всем происходящим.

После того Дирк сообщил об опасениях Лизбеты и о предположении, что существует заговор с целью выпытать у них их тайну.

— К счастью, — сказал он, обращаясь к Фою, — ни я, ни Адриан, ни Эльза не знаем тайны. Она известна только тебе и Мартину, да, может быть, еще одной, которая далеко и не попадется к ним в руки. Мы этого не знаем и не хотим знать и, что бы не случилось с нами, твердо надеемся, что ни один из вас не выдаст тайны, если даже от этого будет зависеть наша и ваша жизнь. Мы считаем, что обязаны выполнить завещание покойного во что бы то ни стало и не имеем права обмануть его доверия ради спасения собственной жизни. Не так ли?

— Так, — хрипло ответила Лизбета.

— Не бойтесь, — сказал Фой, — мы скорее умрем, чем выдадим тайну.

— Постараемся умереть прежде, чем выдадим тайну, — своим густым басом пробормотал Мартин, — но плоть немощна, и кто знает…

— Я не сомневаюсь в тебе, честный старик, — с улыбкой сказал Дирк, — ведь тебе в ту минуту не придется думать об отце и матери.

— Пустяки говорите, хозяин, — ответил Мартин, — потому что, повторяю вам, плоть немощна, а вид колеса для меня всегда ненавистен. Но ведь мне также завещано кругленькое состояние из этого богатства и, может быть, эта мысль поддержит меня. Живому или мертвому, мне неприятно было бы думать, что мои деньги станет тратить испанец.

В то время как Мартин говорил, Фой подумал о том, как странно все происходящее вокруг него. Вот здесь было четверо людей, из которых двое знали тайну, а двое других, не знавших, умоляли знавших не сообщать им ничего, что могло бы спасти их от ужасной судьбы. Тут в первый раз он своим молодым, неопытным умом понял, как высоко могут стоять мужчины и женщины и какое спокойное величие живет в человеческом сердце, способном ради исполнения завещания решиться обречь и тело и душу на ужаснейшие страдания. Сцена этого утра так врезалась в его память, что он никогда ее не забыл. Мать его в чепце и сером платье, сидящая с холодным и решительным лицом в дубовом кресле, отец, с которым он в этот день говорил в последний раз, хотя не знал этого, стоящий позади матери, положив руку на ее плечо и разговаривающий с ним спокойным тоном, Мартин, также стоящий несколько позади со своей рыжей бородой, ярко освещенной солнцем, и маленькими серыми глазами, блестящими как всегда, когда он сердился, и сам он, Фой, наклонившийся

вперед, весь охваченный волнением, любовью и страхом.

Да, он никогда не забыл этой сцены, и в этом нет ничего удивительного, так как все происходившее так глубоко потрясло его, так ясно он осознал, что эта сцена только прелюдия к ужасным событиям, что на минуту его трезвый ум был потрясен, и он увидел перед собой видение. Мартин, огромный, похожий на терпеливого вола, превратился в кровавого мстителя. Фой видел, как он высоко взмахивал мечом, и слышал его громкий крик. Он видел, как люди падали вокруг, а земля обагрялась кровью. Фой видел также отца и мать, но они были уже не людьми, а святыми; их окружал ореол святости, а рядом с ними стоял Хендрик Брант и что-то говорил Фою на ухо. А он сам стоял возле Мартина, принимая деятельное участие в его кровавом мщении.

Затем все исчезло, и на него нашло мирное настроение, сознание исполненного долга, удовлетворенной чести и полученной награды. Игра воображения кончилась, и его мысль была ясной.

Фой с трудом перевел дух, содрогнулся и всплеснул руками.

— Что ты видел?! — спросила Лизбета, наблюдавшая за его лицом.

— Странные вещи, матушка, — отвечал Фой. — Видел, что мы с Мартином участвуем в битве, тебя и отца окружает слава, и для нас всех наступает мир.

— Это хорошее предзнаменование, — сказала она. — Борись сам и предоставь нам бороться. После многих испытаний мы вступим в царствие Божие, где всех нас ждет успокоение. Это хорошее предзнаменование. Отец твой был прав, а я не права. Теперь я уже не боюсь. Я довольна.

Никто из присутствующих не удивился и не нашел в этих словах ничего необычайного. Для них рука приближающегося рокового часа отдернула завесу далекого, и они все поняли, что таким образом луч из-за облаков упал в их сердца. Они с благодарностью приняли его.

— Я, кажется, все сказал, — заговорил Дирк своим спокойным голосом. — Нет, еще не все…

И он сообщил свой план бегства.

Фой и Мартин слушали и соглашались с ним, но бегство казалось им чем-то очень далеким и призрачным. Они не верили в возможность выполнения плана. Они были убеждены, что здесь, в Лейдене, их ждет испытание их веры и что здесь каждый понесет свой крест.

Когда все было взвешено и каждый знал твердо, что ему делать, Фой спросил, следует ли посвящать в план и Адриана. На это отец его поспешно заметил, что чем меньше будет разговоров, тем лучше, и поэтому предложил сообщить Адриану все только вечером, предоставив ему

решить, поедет ли он с ними или останется в Лейдене.

— Так он сегодня весь день просидит дома и проводит нас на корабль, — пробормотал Мартин, но вслух не сказал ничего.

Ему казалось почему-то, что не стоит делать из этого вопроса, так как знал, что выскажи он сомнение, Лизбета и Фой, вполне доверяющие Адриану, рассердятся.

— Батюшка и матушка, — начал Фой, — пока мы здесь все вместе, я желал бы сказать вам одну вещь.

— Что такое? — спросила Дирк.

— Вчера мы обменялись обещанием с Эльзой Брант и просим вашего согласия и благословения.

— Я с радостью даю их вам, сын мой, и мне приятно слышать эту новость. Приведи Эльзу сюда, — ответил Дирк.

Фой поспешил исполнить желание отца и не заметил, что Лизбета ничего не говорит. Она полюбила Эльзу (кто мог ее не любить), но… они таким образом приближались еще на шаг к проклятому сокровищу, которое копилось из поколения в поколение, чтобы погубить людей. Если Фой станет женихом Эльзы, богатство будет его наследством так же, как ее, и принесет ему такое же горе, как ей. Кроме того, люди могут сказать, что он женился из-за денег.

— Тебе это не по душе? — спросил Дирк, взглянув на нее.

— Да, мне кажется, что теперь уж мы никак не выберемся из Лейдена. Молю только Бога, чтобы Адриан ничего не узнал.

— Почему?

— Он без памяти влюблен в Эльзу. Разве ты не заметил этого? И ты знаешь его характер…

— Адриан, Адриан, все Адриан! — нетерпеливо воскликнул Дирк. — Эльза вполне подходящая партия для нашего сына. Богатство ее, спрятанное где-то в болоте, вовсе не ее, так как большая часть его завещана мне для употребления на известное дело, у нас же деньги в Англии в полной безопасности. Вот они идут, прими ласковый вид, они сочтут за плохое предзнаменование, если ты не улыбнешься.

Фой вошел в комнату, ведя за руку Эльзу, красивее которой в эту минуту трудно было бы найти. Они рассказали, как все произошло, и опустились на колени перед Дирком, чтобы он благословил их по старинному обычаю. Впоследствии им было приятно воспоминание, что все произошло именно так. После этого они обратились к Лизбете, и она также подняла руки, чтобы благословить их, но, готовясь прикоснуться к их головам, не могла, несмотря на все свои усилия, сдержать грустного

восклицания:

— О, дети, вы, конечно, любите друг друга, но время ли теперь жениться и выходить замуж?

— То же самое говорила и я, теми же самыми словами! — воскликнула Эльза, вскакивая с колен и бледнея.

Фой сделал недовольное лицо, но, овладев собой, улыбнулся и сказал:

— И я отвечу теми же словами: вдвоем жить легче, и к тому же это только обручение, а не венчание.

— Да, правда, обручение — одно, а венчание — другое, — пробормотал Мартин, думая, как всегда, вслух. Эльза услышала слова Мартина, хотя они были произнесены очень тихо.

— Мать твоя расстроена, — вмешался Дирк, — ты сам знаешь почему, и не тревожь ее больше. Принимайся за дело, отправляйся с Мартином в контору и сделай там все, как я тебе сказал, а я, повидавшись с капитаном, поступлю так, как прикажет мне Господь. До свидания, сын мой… и дочь, — добавил он с улыбкой, обращаясь к Эльзе.

Они пошли к двери, но Лизбета позвала Мартина.

— Мартин, возьми с собой оружие, когда пойдете в контору, а молодой хозяин пусть наденет кольчугу под колет.

Мартин кивнул головой и вышел.

*** * ***

Адриан проснулся в этот день в дурном расположении духа.

Он, правда, успел дать выпить Эльзе любовный напиток, но до сих пор не пожал еще плоды своих хлопот. Адриан ужасно боялся, что волшебное питье не принесет никакой пользы. Сойдя вниз, он узнал, что Фой и Мартин уже ушли в контору, а отчим отправился неизвестно куда. Это было ему на руку, так как предоставляло свободное поле деятельности. Однако оказалось, что мать и Эльза или уже позавтракали наверху, или вовсе не завтракали и что он не увидится с матерью. Но особенно огорчало его отсутствие Эльзы. Кроме того, в доме вдруг стало как-то неуютно; вся прислуга почему-то на ногах, переносит без всякой видимой цели разные вещи с места на место, будто потеряла голову. Раза два мимо Адриана прошла Эльза, но она также несла вещи, и ей некогда было разговаривать.

Наконец Адриану надоело ждать, и он отправился в контору,

намереваясь приняться за книги, которые, правду говоря, он несколько запустил. Но и тут царила такая же суета. Вместо того, чтобы заниматься своим обычным делом, Мартин ходил взад и вперед, отбирая медные вещи, которые укладывались в письменные корзины, и, кроме того, Адриан заметил (он был наблюдательным молодым человеком), что на Мартине было не его ежедневное рабочее платье. С чего, — спрашивал себя Адриан, — было Мартину в летний день прийти в контору в своей броне из дубленой буйволовой кожи, опоясанным своим мечом «Молчание»? Зачем Фою понадобились книги, которые он просматривал с одним из конторщиков? Изучал он их, что ли? В таком случае — на здоровье, так как привести их в надлежащий вид оказалось бы далеко не по силам Адриану. Нельзя сказать, что они велись неверно, но часто приходилось выкидывать кое-что, потому что иначе баланс не сходился. В конце концов, он был даже рад происходящему. Разве пойдут на ум человеку, занятому своими любовными надеждами и опасениями, разные арифметические выкладки? Потолкавшись в конторе, Адриан вернулся домой обедать.

Обед, вопреки обычаю, запоздал, и это раздосадовало молодого человека; К тому же ни мать, ни отец не стали обедать. Наконец вышла Эльза, бледная и утомленная, и молодые люди приступили к еде, или, по крайней мере, делали вид, что обедают, так как у обоих, казалось, не было никакого аппетита. Адриан опять не смог воспользоваться отсутствием остальных для разговора с девушкой, так как в комнате постоянно была служанка, а Эльза сидела на своем месте, на другом конце стола.

Наконец служанка ушла, а через несколько секунд поднялась и Эльза. Адриан потерял терпение. Он не мог дольше выносить неизвестность, он должен был объясниться.

— Эльза, — начал он раздраженным голосом, — сегодня у нас в доме все вверх дном, будто мы собираемся уезжать из Лейдена.

Эльза взглянула на него искоса. Она уже, вероятно, знала причину этого беспорядка.

— Очень жаль, хеер Адриан, — сказала она, — но вашей матушке сегодня нездоровится.

— В самом деле? Надо надеяться, что она не заразилась чумой от этой Янсен. Но это не объяснение тому, что все бегают с полными руками, как муравьи в разоренном муравейнике, ведь теперь не такое время года, когда женщины переворачивают все вверх дном и выбрасывают занавеси на улицу под предлогом, что производят чистку. Наконец вас оставили на минуту в покое, поговорим же.

Эльза встревожилась.

— Ваша матушка ждет меня, хеер Адриан, — сказала она, направляясь к двери.

— Пусть она отдохнет. Сон — лучшее лекарство.

Эльза сделав вид, что не слышит его, пошла к двери, но Адриан, забыв всякое достоинство, быстро преградил ей дорогу.

— Я сказала вам, что мне некогда. Позвольте мне пройти.

Адриан не трогался.

— Я не пропущу вас, пока не переговорю с вами, — сказал он.

Уйти не было возможности. Эльза вернулась и спросила холодным тоном:

— Что вам угодно? Прошу вас, говорите покороче.

Адриан откашлялся, думая про себя, что Эльза удивительно умеет сдерживать себя, несмотря на действие любовного напитка. Никто не подумал бы, что она приняла волшебное снадобье. Однако следовало на что-нибудь решиться, он зашел далеко, чтобы отступать.

— Эльза, — сказал он смело, хотя в душе трусил сильнее всякого зайца. — Эльза! — Он в мольбе сложил руки и поднял глаза к потолку. — Я люблю вас, и пришло время сказать вам это.

— Кажется, оно пришло уже несколько дней тому назад, хеер Адриан. Я думала, что вы уже успели забыть все это, — отвечала она насмешливо.

— Забыть! — со вздохом повторил он. — Как я могу забыть это, когда вы у меня всегда на глазах.

— Не знаю, но мне бы хотелось забыть это безумство.

— Безумство? Она называет это безумством! — воскликнул Адриан. — Она называет безумством это вечное обожание моего сердца, истекающего кровью.

— Вы знаете меня ровно пять недель, хеер Адриан.

— Я желал бы знать вас пятьдесят лет.

Эльза вздохнула. Подобная перспектива вовсе не казалась ей заманчивой.

— Ну, преодолейте вашу девическую застенчивость, — заговорил он вдруг порывисто, — вы уже довольно сделали уступок приличиям, теперь отбросьте в сторону жеманство, бросьте оружие и сдайтесь. Ни один час вашей борьбы, клянусь вам, не был так сладок, как будет сладка эта минута уступки, потому что, помните, дорогая, что я — кажущийся победитель, а в сущности — побежденный. Я отказываюсь…

Он не закончил, потому что Эльза уже могла совладать с собой, но совершенно в ином смысле, чем он надеялся и ожидал.

— Вы с ума сошли, хеер Адриан, — спросила она, — что

осмеливайтесь заставлять меня выслушать такие высокопарные пошлости, после того как я вам сказала, что не желаю слушать их? Я понимаю, что вы добиваетесь моей любви. Но раз и навсегда говорю вам, что не могу ответить тем же.

Это был удар, и Адриан не сразу нашелся, что ответить на такое прямое заявление. Его самомнение покинуло его, и он только беспомощно повторил:

— Не можете ответить тем же? Или вы отдали вашу любовь другому?

— Да, — ответила Эльза твердо. Она не на шутку рассердилась.

— В самом деле? Кому же? В прошлый раз вы горевали об умершем отце. Может быть, теперь ваше расположение приобрел этот великолепный гигант Мартин, или… нет, это было бы слишком нелепо… — и он захохотал в своем ревнивом бешенстве, — или этот шут, мой почтенный братец Фой?

— Да, — спокойно отвечала она. — Фой!

— Фой! Силы небесные! Желтоголовый увалень, невежда Фой — мой соперник! И после того говорят, что у женщин есть душа! Соблаговолите мне ответить на один вопрос. Скажите мне, когда возникло это странное и чудовищное чувство? Когда вы объявили себя побежденной непревзойденными качествами Фоя?

— Вчера вечером, если вам угодно знать это, — отвечала она так же спокойно и бесстрастно, как прежде.

Адриана осенило вдохновение. Он на минуту приложил руку ко лбу и громко, резко сказал:

— А, вот что! Это приворотное зелье подействовало в обратном направлении. Бедная Эльза, вы заколдованы. Вы не знаете правды. Я влил вам напиток в воду, а Фой, предатель Фой, пожал плод! Дорогая моя, сбросьте с себя обманчивое очарование! Вы любите меня, а не похитителя сердец Фоя.

— Что вы говорите? Вы влили мне напиток? Вы посмели отравить мое питье своим языческим зельем? Прочь с дороги! Пропустите меня и никогда не смейте говорить со мной! Будьте благодарны, если я ничего не скажу брату о вашей низости.

Что случилось после этого, Адриан никогда не мог в точности припомнить. Он только смутно помнил, что отстранился, а дверь отворилась с такой силой, что он ударился о стену, и мимо него промелькнуло видение — женщина со сверкающими глазами и гневно сжатыми губами — и больше ничего.

С минуту он стоял уничтоженный: удар попал в цель. В сердце его,

казалось, не осталось ни надежды, ни чувства. Но затем его бешеный характер (всегда бывший его несчастьем) проснулся вместе с оскорбленным тщеславием, ненавистью, ревностью и прочими ослепляющими страстями. Это не могло быть правдой, этому должно быть объяснение. Адриан находил его в том, что Фой, по счастливой случайности или по своей хитрости, сделал Эльзе предложение сразу после того, как она выпила любовный напиток. Адриан, подобно многим своим современникам, был крайне суеверен и легковерен. Ему и в голову не приходило с сомнением отнестись к волшебному средству, хотя в душе он теперь и сознавал, что сделал большую глупость, сказав Эльзе в первом порыве ярости, что прибегнул к подобному средству, чтобы приобрести ее расположение, вместо того, чтобы предоставить своим личным достоинствам подействовать не нее.

Что делать? Ошибка была совершена, яд проглочен, но ведь и для яда существует противоядие. Чего он медлит? Следует как можно скорее посоветоваться со своим другом-магом.

Через десять минут Адриан уже был у дома Черной Мег.

XIX. Борьба на башне литейного завода

Дверь отворил Симон, лысый, толстый негодяй, живший с Черной Мег. На расспросы Адриана он ответил, пристально глядя ему в лицо своими свиными глазами, что не может точно сказать, дома его жена или нет.

— Она, кажется, вместе с магом была занята вызыванием духов, но они могли выйти незамеченными, потому что у них есть дар, великий дар, — заключил он, вводя Адриана в комнату, где он бывал не раз.

Комната была неуютная, и Адриану почему-то всегда казалось, что в ней постоянно находился кто-то, кого он не мог видеть, слышался какой-то странный, необъяснимый шум, будто из-под пола и из стен слышался скрип и вздохи. Но подобные вещи всегда могли происходить в доме, где живет один из величайших современных магов. Тем не менее Адриан был доволен, когда дверь отворилась и вошла Черная Мег, хотя многие предпочли бы ее обществу общество приведения.

— Почему вы беспокоите меня в такой час? — резко спросила она.

— Почему? — повторил Адриан, и ярость снова поднялась в нем при этой грубости. — Ваше проклятое лекарство подействовало совершенно наоборот, вот что. От этого вышла польза другому, понимаешь, старая ведьма! И я думаю, он хочет увезти ее, вот что значит вся эта суета. Как это я раньше не догадался! Где маг? Я хочу видеть мага. Он должен дать мне противоядие, другое лекарство.

— Вам, кажется, оно самому нужно, — сухо ответила Черная Мег. — Не знаю, можно ли будет видеть мага, теперь не приемный час, да его, кажется, и дома нет. По крайней мере, он так велел говорить всем.

— Мне необходимо видеть его, — настаивал Адриан.

— Может быть, и удастся, — сказала Мег, многозначительно дотронувшись до его кармана.

Несмотря на свое волнение, Адриан понял намек.

— Ты жаждешь золота? — спросил он фразой из прочитанного недавно романа, подавая горсть серебряных монет — все свои капиталы в данную минуту.

Мег приняла деньги, фыркнув, но, вероятно, сообразив, что кое-что все же лучше, чем ничего, и вышла. Послышался какой-то таинственный шум, шепот, звук отпираемых и запираемых дверей, затем водворилась полнейшая, неприятная тишина. Адриан сидел, глядя в стену, так как

единственное окно в комнате находилось так высоко над его головой, что в него нельзя было смотреть, и оно скорее походило на отдушину. Так он просидел с минуту, кусая концы своих усов и проклиная свою судьбу, как вдруг почувствовал чью-то руку у себя на плече.

— Какого черта? — вскричал он, резко обернувшись и очутившись лицом к лицу с магом, величественно задрапированным в плащ.

— Черт? Какое нехорошее слово в устах молодого человека, — укоризненно заметил мудрец.

— Может быть, — отвечал Адриан. — Только какой… я хотел сказать, каким образом вы вошли? Я не слыхал, чтобы дверь отворилась.

— Каким образом вошел? Я сам не знаю. Двери? На что мне двери?

— Не знаю, — отвечал Адриан коротко, — но люди вообще находят, что они необходимы.

— Довольно говорить о вещах материальных, — серьезно перебил его маг, — ваш дух взывал к моему, и я здесь, вот все, что вам надо.

— Я предполагал, что вас позвала Черная Мег, — заметил Адриан, в котором после неудачи с любовным напитком проснулась недоверчивость.

— Можете предполагать, что вам угодно, мой молодой друг, но теперь потрудитесь объяснить, что вам требуется. Мне некогда. Впрочем, я и так все знаю. Вы дали девушке питье и не исполнили моего совета тут же сделать ей предложение. Другой подсмотрел и извлек для себя пользу под влиянием магического напитка. Пока она еще находилась под влиянием очарования, он сделал предложение, и оно было принято… Да, ваш брат Фой. Беспечный и недогадливый человек, чего же вы еще ожидали?

— Во всяком случае ожидал не этого, — отвечал Адриан в бешенстве. — А теперь, если вы обладаете такой силой, как уверяете, скажите мне, что делать.

Под капюшоном сверкнул единственный глаз мага.

— Друг, вы невежливы, даже грубы. Но я понимаю и прощаю. Подумаем сообща. Расскажите мне все, что было.

Адриан подробно описал все происшедшее, и рассказ, по-видимому, глубоко тронул мага, по крайней мере, он отвернулся, закрыв лицо руками, а плечи его задрожали от сильного чувства.

— Дело очень серьезное, — сказал он торжественно, когда, наконец, Адриан закончил. — Теперь остается сделать только одно. Вашему коварному сопернику (сколько лукавства и обмана скрывается за его простоватой наружностью) кто-то дал хороший совет, не знаю, кто именно, хотя подозреваю, что это один знакомый Черной Мег — Арентс…

— А!… — вырвалось у Адриана.

— Я вижу, вы знаете этого человека. Да, конечно, мы ведь говорили с вами о нем на днях. Он и в правду волк в овечьей шкуре, скрывающий дьявольские наущения под личиной благочестия. Я уже один раз вывел его на чистую воду. Разве может тьма устоять против света? А с помощью тех, кто помогает мне, выведу вторично. Теперь выслушайте мои вопросы и ответьте на них ясно, медленно, без утайки. Если вы хотите, чтобы молодая девушка стала вашей, хитрого соперника надо удалить из Лейдена, по крайней мере на время, пока сила волшебства не пройдет.

— Вы хотите… — начал было Адриан и запнулся.

— Нет, я не хочу причинить ему никакого зла. Я думаю только, что ему следует скрыться на время, что он и поспешит сделать, узнав, что его колдовство и прочие преступления известны. Отвечайте же поскорее, у меня есть другие дела, кроме любовных забот дур… упрямой головы. Во-первых, правда ли то, что вы говорили мне об участии Дирка ван Гоорля, вашего отчима и других домашних, например, Рыжего Мартина и вашего брата Фоя в богослужении; которое совершал ваш враг, колдун Арентс?

— Правда, — отвечал Адриан, — но я не вижу, какое это имеет отношение к делу.

— Молчите! — закричал маг, и вслед за тем Адриан услышал какой-то странный скрип, как будто из стены. Маг стоял погруженный в задумчивость, пока скрип не прекратился. Тогда он опять заговорил: — Правда ли то, что вы сообщили об участии вышеназванных Фоя и Мартина в сокрытии сокровища умершего еретика Хендрика Бранта и об убийстве, совершенном ими во время плавания по Харлемскому озеру?

— Конечно, правда, — отвечал Адриан, — только…

— Молчите! — снова крикнул маг. — Иначе, клянусь своим повелителем Зороастром[97], я все брошу.

Адриан притих, и снова последовала пауза.

— Вы предполагаете, — продолжал маг, — что вышеупомянутые Фой и Дирк ван Гоорль вместе с Мартином намериваются увезти эту неповинную ни в чем и несчастную девушку, богатую наследницу Эльзу Брант, имея в виду преступные цели.

— Я никогда не говорил вам этого, — возразил Адриан, — но думаю, что это так, ведь в доме идет укладка вещей.

— Вы никогда не говорили мне? Разве вы не понимаете, что и надобности нет говорить мне все?

— Так, именем вашего повелителя Зороастра, зачем же вы спрашиваете? — в отчаянии воскликнул Адриан.

— Сейчас узнаете, — отвечал маг, думая о чем-то.

Опять Адриан услышал шорох, будто скреблись голодные крысы,

— Я, кажется, дольше не стану вас задерживать, — сказал, вдруг, встревожившись, Адриан, так как все происходившее показалось ему очень странным, и встал.

Маг не отвечал, только начал свистеть, что уже было совсем недостойно мудреца.

— Позвольте проститься, — сказал Адриан, стоявший спиной к двери, — у меня дела.

— И у меня тоже, — сказал маг, продолжая свистеть.

Тут вдруг в одной из боковых стен образовался провал и в отверстии показался человек в одежде монаха, а за ним Симон, Черная Мег и еще какой-то зловещего вида человек.

— Все записали? — спросил спокойным голосом маг.

Монах поклонился, и, вынув несколько исписанных листов, положил их на стол вместе с чернильницей и пером.

— Хорошо. А теперь, мой молодой друг, потрудитесь подписаться.

— Подписаться? Под чем? — в изумлении проговорил Адриан.

— Объясните ему, — сказал маг. — Он прав: человек должен знать, что подписывает.

Монах заговорил тихим, деловым тоном:

— Это показание Адриана по фамилии ван Гоорль, записанное с его собственных слов, в котором, между прочим, он указывает на принадлежность к ереси его отчима Дирка ван Гоорля, его сводного брата Фоя ван Гоорля и их слуги фриза Рыжего Мартина, на убийство ими королевских подданных и на намерение бежать из королевских владений. Прочесть бумагу? Это займет довольно много времени.

— Если свидетель пожелает, прочтите, — сказал маг.

— Какое значение имеет этот документ? — спросил хриплым голосом Адриан.

— Он должен убедить вашего соперника Фоя ван Гоорля, что для его здоровья было бы полезно, чтобы он на некоторое время уехал из Лейдена, — с усмешкой отвечал наставник Адриана, между тем как мясник и Черная Мег захихикали. Один только монах молчал, как олицетворение мрачной, караулящей свою жертву судьбы.

— Я не подпишу, — заявил Адриан. — Меня обманули! Это предательство! — Он бросился к двери.

Рамиро сделал знак, и в следующую минуту толстые пальцы мясника крепко стиснули шею Адриана. Несмотря на то, что юноша боролся и отбивался, человек зловещего вида подошел к нему и слегка уколол его в

горло большим ножом.

Рамиро же заговорил ласково и спокойно:

— Молодой мой друг, где же то доверие ко мне, которое вы обещали иметь, и почему вы отказываетесь подписать эту безобидную бумажку, когда я вам советую это?

— Потому что я не хочу быть предателем отчима и брата, — с трудом проговорил Адриан. — Я понимаю, для чего вам нужна моя подпись. — Он взглянул на монаха.

— Вы не хотите предать их? — насмешливо спросил Рамиро. — Вы, глупец, уже пятьдесят раз предали их, а, кроме того (только вы кажется, не помните этого), предали и себя. Смотрите, мне все равно, подпишите вы бумагу или нет. Я очень скоро могу, мой дорогой ученик, получить от вас подтверждение вашего показания.

— Я вижу, что поступил как безумец, поверив вам и вашему ложному искусству, — мрачно сказал Адриан, — но не такой я глупец, чтобы свидетельствовать в суде против своих родных. Я, говоря все это, никогда не думал, что могу повредить им.

— Вы вообще не задумывались, можете повредить или нет, — поправил его Рамиро, — у вас была другая цель — приобрести расположение молодой девушки, которую вы ради этого даже решились опоить приворотным напитком.

— Любовь ослепила меня, — сказал Адриан.

Рамиро положил ему руку на плечо и слегка потряс его:

— А вам не приходило в голову, глупый щенок, что есть и другие вещи, которые могут ослепить, например, раскаленное железо?

— Что вы хотите сказать этим? — проговорил Адриан.

— Думаю, что пытка удивительно убедительная вещь. Она заставляет говорить самого молчаливого человека и петь самого серьезного. Выбирайте же. Подписываете или в застенок?

— Какое право вы имеете допрашивать меня? — спросил Адриан, стараясь скрыть свой страх под смелыми словами.

— Такое, что я, говорящий с вами, начальник тюрьмы этого города, лицо, имеющее известную власть.

Адриан побледнел, но не сказал ничего.

— Вы, кажется, заснули, молодой друг? — сказал Рамиро. — Эй, Симон, ущипни-ка ему руку. Нет, не правую, она может понадобиться ему для подписи, а другую.

С противной усмешкой мясник, оставив горло Адриана, схватил его за левую кисть и медленно и спокойно начал выкручивать ее. Адриан

застонал.

— Что, больно? — спросил Рамиро. — Ну, мне некогда. Сломай ему руку.

Адриан уступил, он не в силах был перенести пытки, его воображение было слишком живо.

— Я подпишу, — прошептал он, и пот выступил на его бледном лице.

— Вы это делаете добровольно? — спросил его мучитель и прибавил: — Ну-ка, Симон, еще слегка поверни, а если ему сделается дурно, так вы, фроу Маргарита, пощекочите его кончиком ножа.

— Да, да, добровольно, — простонал Адриан.

— Хорошо. Вот перо. Подписывайте.

Адриан подписал.

— Хвалю вас за откровенность, ученичок, — заметил Рамиро, посыпав подпись песком и спрятав бумагу в карман. — Сегодня вы научились самому мудрому, чему может научить вас жизнь, а именно, тому, что наши капризы должны подчиняться неминуемому. Мои солдаты, надеюсь, успели сделать то, что им приказано. Вы, стало быть, можете идти. Если мне понадобится, я знаю, где вас найти. Но, если хотите принять мой дружеский совет, придержите язык, не говорите обо всем случившемся сегодня. Если вы сами не скажете, никто не будет знать, что вы предоставили нам некоторые полезные сведения, потому что в «Гевангенгоозе» имена свидетелей не сообщаются обвиняемым, иначе могут выйти неприятности с родными и знакомыми. Всего доброго! Мясник, потрудитесь отворить дверь.

Секунду спустя Адриан очутился на улице, куда был вышвырнут пинком тяжелого сапога. Его первым желанием было пуститься бежать, и он бежал с полмили, не останавливаясь, пока, наконец, не встал, запыхавшись, на пустынной улице, где, прислонясь к колесу распряженной телеги, попытался собраться с мыслями. Думать! Как он мог думать? У него в голове все кружилось: бешенство, стыд, отчаяние, отвергнутая страсть — все кипело в нем, как в котле. Над ним посмеялись, он потерял любимую девушку, позорно выдал своих родных инквизиции. Их станут пытать и сожгут. Да, может быть, даже сожгут мать и Эльзу, потому что эти дьяволы не останавливаются ни перед возрастом, ни перед полом, а кровь всех падет на его голову. Правда, он подписал показания под угрозой, но кто поверит этому, ведь все записанное слово в слово было сказано им. В первый раз Адриан увидел себя таким, каков он есть. Покров тщеславия и эгоизма приподнялся над его душой, и он понял, что подумают другие, когда услышат о случившемся. Ему в голову пришла мысль о

самоубийстве. До воды было недалеко, а кинжал под рукой… Но нет, у него не хватит сил, это было слишком ужасно. И притом, как он мог осмелиться переступить порог другого мира не подготовленным, запятнанным такими грехами? Не может ли он попытаться спасти и себя, и тех, кого бездумно предал? Он оглянулся, в трехстах шагах от него возвышалась труба завода. Может быть, еще не поздно, может быть, ему еще удастся предупредить Фоя и Мартина об ожидающей их участи.

Действуя под влиянием минуты, Адриан рванулся вперед и побежал, как заяц. Достигнув завода, он увидел, что рабочие уже ушли и главные ворота были заперты. Он бросился к боковой двери, она оказалась отпертой, и в конторе двигались люди. Слава Богу! Там были Фой и Мартин. Весь бледный, с полуоткрытым ртом и неподвижными глазами, Адриан вбежал к ним, скорее похожий на привидение, чем на живого человека.

Мартин и Фой испугались, увидев его.

«Неужели это Адриан, — подумали они, — или выходец с того света?»

— Бегите! — задыхаясь проговорил он. — Спрячьтесь! За вами идут солдаты инквизиции!

Но тут другая мысль поразила его, и он пробормотал:

— Отец и мать! Я должен предупредить их!

Прежде чем они успели ответить, он исчез, еще раз крикнув на прощание:

— Бегите! Бегите!

Фой стоял, как каменный, пока Мартин не ударил его по плечу и не сказал грубо:

— Ну, нечего стоять так! Он или помешался, или знает что-нибудь. Меч и кинжал при вас? Тогда скорей!

Они через дверь, которую Мартин запер за собой, вышли на двор, Фой первый дошел до калитки и выглянул через нее. Потом он преспокойно задвинул болт и запер замок на ключ.

— Вы с ума спятили, что запираете нас на ключ? — спросил Мартин.

— Вовсе нет, — возразил Фой, возвращаясь к нему, — бежать поздно, солдаты уже идут по улице.

Мартин подбежал к калитке и выглянул через решетку. Действительно, по улице шла целая рота человек в пятьдесят, направляясь прямо к конторе, вероятно, предполагая, что она укреплена.

— Остается одно — защищаться, — весело сказал Мартин, бросая ключ в чан под колодцем и накачивая в него воду.

— Что могут сделать два человека против пятидесяти? — спросил

Фой, сняв свою шапку на стальной подкладке и почесав затылок.

— Не так много, но при удаче кое-что. А так как, кроме кошки, никто не умеет лазить по стенам, а калитка заперта болтом, то мне думается, что для нас безразлично, умереть ли здесь, обороняясь, или под пыткой в тюрьме.

— Я думаю так же, — согласился Фой, приободрясь. — Как бы насолить им посильнее, прежде чем они уложат нас?

Мартин огляделся вокруг, раздумывая. Посредине двора возвышалась постройка вроде голубятни или палатки, которые устраиваются иногда на рынках. В действительности это была постройка, где отливались свинцовые ядра различного калибра. Изготовление их входило в число литейных производств, и оттуда их после отливки спускали для охлаждения в неглубокий резервуар с водой, находившийся внизу.

— Вот здесь можно продержаться, — сказал Мартин, — ведь на стенах висят арбалеты.

Фой кивнул головой, и они вбежали в башенку, но, очевидно, их заметили, так как в ту же минуту, когда они ступили на лестницу, офицер, командовавший отрядом, крикнул им, что приказывает сдаться во имя короля. Они не отвечали, и, когда они входили в дверь, пуля из арбалета ударилась о деревянную обшивку башенки.

Башня стояла на дубовых столбах, и в круглую комнату над ними, имевшую до двадцати футов в диаметре, вела широкая наружная лестница в пятьдесят ступенек. Лестница оканчивалась небольшой площадкой футов шести в поперечнике, откуда дверь вела в помещение, где отливались пули. Фой и Мартин вошли туда.

— Ну и что делать? Запереть дверь? — спросил Фой.

— Я не вижу пользы в этом, — отвечал Мартин, — они постараются ее разбить, а то еще, чего доброго, подожгут. Нет, лучше снимем ее с петель и положим на высокие болты так, чтобы им пришлось взобраться на нее, когда они вздумают нас взять.

— Блестящая мысль, — сказал Фой, и они сняли с петель узкую дубовую дверь и положили ее поперек порога на несколько металлических форм, подперев другими формами. Площадку же они усыпали мелкой дробью так, чтобы люди впопыхах спотыкались и падали. Кроме того, они сделали еще одно приспособление, и это была уже выдумка Фоя. На одном конце комнаты стояли ванны, в которых плавился свинец, а в печи под ними были заложены дрова для работы на следующий день. Фой поджег их и открыл тягу, чтобы дрова разгорелись скорее и лежащие в ваннах свинцовые слитки поскорее расплавились.

— Пусть они подойдут снизу, — сказал он, показывая на отверстие, через которое расплавленный металл выливался в резервуар с водой, — и расплавленный свинец окажется кстати.

Мартин кивал, посмеиваясь. Он снял со стены арбалет — в те времена каждое жилище или склад товаров по возможности приспосабливались для защиты, поэтому было обычным делом везде держать большие запасы оружия — и подошел к узкому окошечку, откуда была видна улица.

— Я так и думал, — сказал он. — Они не смогут отпереть калитку, а острые прутья над ней не понравятся им. Видимо, они пошли за кузнецом, чтобы выбить болты. Подождем.

Фой начал беспокоиться, перспектива быть убитым превосходящими силами ему не нравилась. Он думал об Эльзе, о родителях, с которыми никогда больше не увидится, думал о смерти и обо всем, что может ждать его в том неведомом мире, где он скоро должен очутиться. Он осмотрел свой арбалет, попробовал тетиву и положил запас стрел на пол возле себя. Сняв пику со стены, он попробовал ее рукоятку и конец, потом раздул огонь под ваннами так, что плавившаяся масса заклокотала.

— Не надо ли еще что-нибудь сделать? — спросил он.

— Мы можем еще помолиться, — сказал Мартин, — в последний раз. — И великан опустился на колени, а Фой последовал его примеру.

— Читай молитву! — сказал Фой. — Я не могу ни о чем думать.

Мартин начал читать молитву, которую, может быть, стоит привести:

«Господи, — начал он, — отпусти мне мои грехи, которым нет числа или которые мне теперь некогда счесть, а особенно тот мой грех, что я отсек голову палачу его собственным мечом, хотя мы и не бились с ним, и убил испанца в поединке. Благодарю Тебя, Боже мой, что Ты допустил нас умереть в бою, а не быть замученными или сожженными в тюрьме, и прошу Тебя допустить нас убить как можно больше испанцев, чтобы они помнили нас долгие годы. Господи, защити моих дорогих хозяина и хозяйку, и пусть они узнают, что мы кончили свою жизнь так, что они похвалили бы нас, а пастор Арентс пусть лучше не знает, он, пожалуй, подумает, что нам лучше было бы сдаться. Аминь».

Фой после этого прочел краткую сердечную молитву.

Между тем испанцы отыскали кузнеца, который начал работать над калиткой, что было хорошо видно через верхнюю решетку.

— Почему ты не стреляешь? — спросил Фой. — В него можно попасть. Стреляй.

— Потому, что он бедный голландец, которого они силой принудили идти с ними. Подождем, пока они сломают калитку. Когда придет время,

постоим за себя, хеер Фой. Видите, как все смотрят на нас, они ждут, что мы будем отчаянно защищаться.

Фой взглянул вниз, куда указывал Мартин. Двор литейного завода был окружен высокими домами с остроконечными крышами, и у всех окон, на всех балконах собрались горожане. Уже распространился слух, что инквизиция выслала солдат, чтобы схватить молодого ван Гоорля и Рыжего Мартина, и что они уже ломают калитку завода. Зрители, среди которых были и рабочие с завода, наблюдали за происходящим, рассчитывая, что Рыжего Мартина и Фоя ван Гоорля не так легко взять.

Стук у калитки продолжался, но она была крепка и не поддавалась.

— Мартин, — сказал вдруг Фой, — я боюсь… Мне нехорошо… Я знаю, что буду тебе плохой поддержкой в трудную минуту.

— Вот теперь я уверен, что вы храбрый малый, — отвечал Мартин с коротким смехом, — иначе вы никогда бы не признались, что боитесь. Конечно, вам страшно, и мне тоже страшно. Это от ожидания, но при первом ударе все это пройдет. Слушайте, как только они начнут подниматься по лестнице, встаньте позади меня. Мне нужна будет вся комната, чтобы размахнуться мечом, а стоя рядом мы только помешаем друг другу. С пикой вы можете стоять позади меня и принимать каждого, кто сунется вперед.

— Ты думаешь защитить меня своей тушей, — сказал Фой. — Ну, ты здесь начальник, я же сделаю что смогу. — Обняв великана обеими руками за талию, он ласково потрепал его.

— Смотрите, калитка валится! — закричал Мартин. — Ну, стреляйте вы первый. — Он отстранился.

В эту минуту дубовая дверь повалилась, и солдаты ворвались во двор. Силы вдруг вернулись к Фою, он почувствовал себя крепким, как скала. Подняв арбалет, он пустил стрелу. Тетива зазвенела, стрела со свистом разрезала воздух, и первый солдат, пораженный в грудь, подпрыгнув, упал. Фой отошел в сторону, чтобы натянуть тетиву.

— Хороший выстрел, — сказал Мартин, становясь на его место под одобрительные крики зрителей. Фой снова выстрелил, но промахнулся. Следующий выстрел Мартина ранил солдата в руку и пригвоздил его к сломанной калитке. После этого стрелять уже нельзя было, так как испанцы подошли к башне.

— Отойдите к двери и помните, что я сказал вам, — приказал Мартин. — Прочь стрелы, холодная сталь сделает остальное.

Они оба стояли у открытых дверей. Мартин, сняв со стены шлем, надел его на голову и подвязал под подбородком обрывком веревки, так как

шлем был слишком мал для него. В руке он держал меч «Молчание», высоко подняв его для удара. Фой стоял за ним, держа длинную пику обеими руками. Из собравшейся внизу толпы солдат доносился неясный гул, затем один голос прокричал команду, и на лестнице послышались шаги.

— Они идут, — сказал Мартин, повернувшись так, что Фой увидел его лицо. Оно было ужасно. Большая рыжая борода, казалось, горела, бледно-голубые глаза вращались и сверкали, как голубоватая сталь «Молчания», мелькавшая в руках великана. В эту минуту Фой вспомнил свое видение. Вот оно уже сбывалось — мирный, терпеливый Мартин превратился в мстителя.

Один солдат достиг верхней ступени лестницы, наступил на разбросанную дробь и упал с шумом и проклятием. Но за ним следовали другие. Четверо показавшихся из-за угла смело бросились вперед. Первый из них попал в щель от выломанной двери и вытянулся во всю длину. Мартин не обратил на него внимания, но Фой, прежде чем солдат успел вскочить, проколол его пикой так, что тот и умер на двери. Следующего ударил Мартин, и Фой увидел, как солдат вдруг сделался маленьким и раздвоился, но стоявший за ним так быстро выдвинулся вперед, что Мартин, не успев размахнуться, принял его концом меча, а в следующую минуту уже стряхивал с лезвия мертвое тело.

После этого Фой потерял счет времени. Мартин рубил мечом, а когда случалось, колол и пикой, и наконец, потеряв больше людей, чем предполагали, испанцы больше уже не отважились наступать. Двое из них лежали мертвыми в дверях, другие скатились или были стащены вниз по лестнице, а между тем зрители при каждом новом убитом или раненном громкими криками выражали свою радость.

— Пока что мы не ударили в грязь лицом, — сказал Мартин спокойно, — но, если они опять полезут, мы должны быть хладнокровнее и не тратить зря свою силу. Если бы я не так горячился, я бы уже уложил одного.

Однако испанцы, по-видимому, не намеревались повторять приступ — они достаточно хорошо познакомились с узкой лестницей и рыжим человеком, ожидавшим их с мечом при повороте на площадку. Позиция для нападающих была невыгодна, так как они не могли стрелять из арбалетов или луков, а должны были идти на убой, словно бараны. Будучи людьми осторожными, любящими жизнь, они собрали внизу совет.

XX. В «Гевангенгоозе»

Резервуар под башней закрывался каменной крышкой, когда в нем не было надобности. На ней солдаты устроили костер из дерева и щепок, которые были сложены в углу двора, и стали пытаться поджечь его. Мартин лег на пол и посмотрел на них через щели, затем подал знак Фою и что-то шепнул ему. Фой подошел к медным ваннам и зачерпнул из них два ведра расплавленного свинца. Мартин снова взглянул вниз и, выждав, когда большинство солдат собралось под башней, быстрым движением открыл люк, и расплавленная жидкость хлынула на стоявших внизу и поднявших головы вверх солдат. Двое упали, чтобы никогда больше не встать, между тем как другие разбежались с криком, срывая с себя горящую одежду.

После этого испанцы предприняли новую попытку. Они обложили горючим материалом дубовые столбы, которые загорелись, и комната вверху наполнилась дымом.

— Теперь нам приходится выбирать, — быть изжаренными, как жаркое в печке, или сойти вниз, чтобы нас зарезали как свиней.

— Что касается меня, я намереваюсь умереть здесь, — сказал Фой.

— И я также, хеер Фой. Однако послушайте. Мы не можем сойти вниз, потому что они поджидают нас. А не попытаться ли нам спрыгнуть вниз через люк, пробиться через огонь, а там, став спиной к спине отбиваться?

Полминуты спустя из пылающего костра появились два человека с обнаженными мечами. Им удалось довольно благополучно выбраться из огня и оказаться на свободном пространстве недалеко от калитки, где они заняли позицию спиною к спине, вытирая слезящиеся глаза. Через несколько секунд на них набросилась толпа солдат, как свора собак на раненых медведей, а из толпы зрителей неслись крики одобрения, сожаления и страха. Борьба была ожесточенной. Как только одни из нападавших падали, другие тотчас занимали места своих товарищей. Защищавшиеся тоже падали и снова поднимались. Последний раз встал только один гигант Мартин. Он медленно приподнялся, отряхиваясь от солдат, вцепившихся в него, встал, загородив собой тело своего товарища, и еще раз страшный меч завертелся в воздухе, поражая всех, кто его касался. Солдаты отступили, но один из них, подкравшись сзади, вдруг набросил плащ на голову. Все было кончено, с трудом враги одолели его, свалили и связали, а смотревшая толпа застонала и заплакала от горя.

* * *

Из конторы Адриан кинулся в дом на Брее-страат.

— Что случилось?! — воскликнула мать, когда он вбежал в комнату, где были они с Эльзой.

— Они идут за ним, — запыхавшись проговорил он. — Где он? Пусть мой отчим… бежит скорее.

Лизбета пошатнулась и упала на стул.

— Откуда ты знаешь?

При этом вопросе голова у Адриана закружилась и сердце остановилось. Он опять солгал.

— Я случайно подслушал, — сказал он. — Солдаты сейчас напали на Фоя и Мартина в литейной, и я слышал, что они хотят идти сюда за отчимом.

Эльза громко заплакала, а затем бросилась на Адриана, как тигрица:

— Отчего вы не остались с ними?

— Потому что мой долг быть рядом с отцом и матерью, — ответил он с оттенком своей прежней напыщенности.

— Дирка нет дома, — прервала его Лизбета тихим голосом, слышать который было страшно, — и не знаю, где он. Иди, отыщи его. Скорее! Скорее!

Адриан был рад уйти с глаз женщин. Он искал Дирка во многих местах, но безуспешно, как вдруг гул голосов и двигавшаяся по улице толпа людей привлекли его внимание. Он подбежал, и вот что он увидел.

По широкой улице, ведущей к городской тюрьме, двигался отряд испанских солдат, в центре его две фигуры, которые Адриан сразу узнал. Это были его брат Фой и Красный Мартин. Несмотря на то, что буйволовая куртка Мартина была изрублена и изорвана и что шлема на нем уже не было, он сам, по-видимому, не получил серьезных повреждений, так как испанский офицер держал острие собственного меча Мартина «Молчание» у его шеи, угрожая заколоть его при первой попытке к бегству. Фой же находился в ином положении. Сначала Адриан подумал, что Фой умер, так как его несли на носилках, кровь текла у него из головы и ног, а колет был весь в клочках от ударов сабель и штыков. И, действительно, не будь на нем кольчуги, его уже давно не было бы в живых. Но Фой не умер. Адриан увидел, как он слегка повернул голову и приподнял руку.

За этой группой двигалась запряженная серой лошадью телега с

телами убитых испанцев — сколько их было, Адриан не мог сосчитать. А за телегой тянулся длинный ряд испанских солдат, многие из которых были серьезно ранены и тащились с помощью товарищей, а некоторых, подобно Фою, несли на носилках и дверях. Неудивительно, что Мартин выступал так важно, если за ним следовала такая процессия, а вокруг шумела и теснилась толпа лейденских граждан. Раздавались крики:

— Браво, Мартин! Молодец, Фой ван Гоорль! Мы гордимся вами!

Кто-то из середины толпы крикнул:

— Освободить их! Убить собак инквизиции! В клочки испанцев!

В воздухе просвистел камень, за ним еще и еще, но по команде солдаты повернулись к толпе, и толпа отступила, так как у нее не было предводителя. Так продолжалось до самых ворот «Гевангенгооза».

— Не дадим убить их! — снова закричал голос из толпы. — Освободим! — И толпа с ревом бросилась на солдат.

Но было уже поздно, солдаты сомкнулись вокруг арестованных и с оружием в руках пробились к воротам тюрьмы. Однако при этом они понесли значительные потери: раненые и поддерживавшие их были отрезаны и вмиг перебиты все до одного. После этого случая испанцы хотя и продолжали владеть крепостью и стенами Лейдена, в действительности лишились своей власти безвозвратно. С этого часа Лейден стал свободен. Таков был результат борьбы Фоя и Мартина против завоевателей.

Массивные дубовые ворота «Гевангенгооза» затворились за пленниками, замок щелкнул, и болты были задвинуты, но перед воротами продолжала бушевать разъяренная толпа.

Процессия вступила на подъемный мост над узким рукавом городского рва, оканчивавшийся проходом, ведущим на небольшой, обнесенный стенами двор, посреди которого возвышался трехэтажный дом, выстроенный в обыкновенном голландском стиле, но с узкими окнами, снабженными решетками. Входная дверь была увешена оружием, направо вела в зал суда, где допрашивали арестованных, а налево — в большое помещение со сводами и без окон, похожее на большой подвал. Это был застенок. Коридор выходил во двор, в глубине которого находилась тюрьма. Во втором дворе процессию ожидали Ра-миро и маленький человек с красным лицом и свиными глазками, одетый в грязную куртку. Это был областной инквизитор, имевший полномочия от Кровавого Судилища на основании различных указов и законов пытать и казнить еретиков.

Офицер, командовавший отрядом, выступил вперед, чтобы доложить о выполнении возложенного на него поручения.

— Что это за шум? — спросил инквизитор испуганным писклявым

голосом. — Бунт в городе?

— А где же остальные? — перебил Рамиро, окинув взглядом поредевшие ряды.

— Погибли, — отвечал офицер, — некоторых убил рыжий великан и его спутник, а других — толпа.

Рамиро начал браниться, посыпались проклятия. Он понимал, что, если весть о случившемся дойдет до Альбы и Кровавого Судилища, он потеряет всякое доверие в их глазах.

— Трус! — кричал он, тряся кулаком перед лицом офицера. — Как можно было ухитриться потерять столько солдат при аресте двух еретиков?

— Не моя вина, — довольно грубо отвечал офицер, возмущенный резкостью смотрителя, — виноваты толпа и меч этого великана, косивший нас как траву.

Он подал Рамиро меч «Молчание».

— Меч по нему, — пробормотал Монтальво, — другому и не поднять его. Повесьте его в коридоре, он может понадобиться как вещественное доказательство. — А про себя он подумал: — Опять неудача, она преследует меня каждый раз, как в дело замешана Лизбета ван Хаут.

По его приказанию арестованных повели вверх по узкой лестнице.

На первую площадку выходила крепкая дубовая дверь, которая вела в большое полутемное помещение. Посреди этого помещения был проход, а по обеим сторонам его находились клетки из крепких дубовых брусьев шагов девяти или десяти в поперечнике, слабо освещенные высоко проделанными окошечками за железными решетками. Казалось, клетки предназначались для диких зверей, но на самом деле служили помещением для людей, провинившихся перед Церковью. Те, кому пришлось видеть в Гааге существующую и поныне тюрьму инквизиции, могут представить себе весь ужас картины, представшей перед глазами вошедших.

В одно из таких страшных помещений солдаты втолкнули Мартина, а раненого Фоя грубо бросили на кучу грязной соломы, лежащей в углу. Затем, заперев дверь засовами и замком, ушли.

Как только глаза Мартина привыкли к полумраку, он стал осматриваться. Тюрьма была построена на некоторой высоте, тем не менее она поражала воображение больше, чем любое подземелье, предназначенное для подобной же цели. По счастливой случайности, однако, в одном углу этой клетки оказался большой кувшин с водой.

«Авось, не отравленная», — подумал Мартин и, стал жадно пить, так как от огня и возбуждения битвы у него, казалось, все пересохло внутри.

Утолив, наконец, жажду, он подошел к лежавшему в беспамятстве

Фою и понемногу начал вливать ему в рот воду, которую тот глотал механически. Мартин осмотрел его ранения и увидел, что причиной его беспамятства является рана с правой стороны головы, которая, наверное, стала бы смертельной, если бы на Фое не было шапки со стальной подкладкой, но в этом случае оказалась не опасной, и нанесенный удар причинил только сильный ушиб и сотрясение.

Вторая глубокая рана была на левом бедре. Из нее шла кровь, но артерия не была задета. На руках и ногах были еще раны, и под кольчугой на теле оказалось много синяков от мечей и кинжалов, но ни одно повреждение не было смертельным.

Мартин очень осторожно обмыл раны, но перевязать их оказалось нечем, так как на нем и на Фое было фланелевое белье, а фланель не годится для перевязки.

— Вам нужно полотно? — послышался женский голос из соседней камеры. — Подождите, я дам вам свою рубашку.

— Как же я могу взять вашу одежду для перевязки, мейнфроу? — отвечал Мартин.

— Возьмите и не беспокойтесь, — отвечала незнакомка тихим, приятным голосом. — Мне она уже не нужна, меня сегодня казнят.

— Казнят сегодня? — повторил Мартин.

— Да, — ответил голос, — во дворе или подземелье, на площади они не посмеют, побоятся народа. Мне отрубят голову. Не счастливица ли я? Только отрубят голову!

— Боже, где же ты? — вырвалось у Мартина.

— Не печальтесь обо мне, — продолжал голос. — Я очень рада. Нас было трое: отец, сестра и я, и мне хочется встретиться с ними. Да и лучше умереть, чем снова перенести все, что я перенесла. Вот вам полотно. Рубашка, кажется, в крови, но все же пригодится вам, если вы разорвете ее на полосы.

В промежуток между дубовыми брусьями просунулась нежная, дрожащая рука, держащая сорочку.

При слабом свете Мартин увидал, что кисть ее была порезана и вспухла. Он заметил это и поклялся отомстить испанцам и монахам за эту слабую ручку, что смог блестяще выполнить впоследствии. Взяв сорочку, Мартин на минуту остановился, раздумывая, следует ли предпринимать что-нибудь и не лучше ли дать Фою умереть.

— О чем вы раздумываете? — спросил голос из-за решетки.

— Я думаю, что, может быть, для моего господина было бы лучше умереть, и я дурак, что останавливаю кровь.

— Нет, нет, — возразил голос, — вы должны сделать все, что от вас зависит, а остальное предоставить Богу. Богу угодно, чтобы я умерла, и в том нет большой беды, ведь я только слабая девушка, а, может быть, Богу будет угодно, чтобы этот молодой человек остался в живых и служил своему отечеству и вере. Перевяжите его раны, добрый человек!

— Может быть, вы правы, — отвечал Мартин. — Кто знает? Для каждого замка найдется подходящий ключ, если только суметь найти его.

Он наклонился над Фоем и начал перевязывать раны полотняными бинтами, смоченными в воде, а потом снова одел его, даже натянул кольчугу.

— А вы сами не ранены? — спросил голос.

— Слегка, сущие пустяки. Несколько царапин и ушибов. Кожаная куртка сослужила добрую службу.

— Расскажите мне, с кем вы сражались? — спросила девушка.

Пока Фой лежал в беспамятстве, Мартин, чтобы скоротать время, рассказал о нападении на литейную башню, о борьбе с испанцами и о последней обороне во дворе.

— Какая страшная оборона, двое против стольких солдат, — сказал голос, и в нем послышалось восхищение.

— Да, — согласился Мартин, — горячая была битва, самая горячая, какую я помню. Что до меня, то я не горюю. Они хорошо заплатили за мое грешное тело. Я еще не сказал вам, что народ напал на них, когда они вели нас сюда, и в клочки растерзал раненых. Да, хорошую цену они заплатили за фризского мужика и лейденского бюргера.

— Прости, Господи, их души! — проговорила незнакомка.

— Это как Ему будет угодно, — сказал Мартин, — и меня не касается. Я имел дело только с их телами и…

В эту минуту Фой застонал, сел и попросил пить. Мартин подал ему кувшин.

— Где я? — спросил Фой. Мартин объяснил ему.

— Кажется, плохи дела, старина, — сказал Фой слабым голосом, — но раз мы пережили это, то я думаю, мы переживем и остальное.

— В голосе его прозвучала свойственная ему жизнерадостность.

— Да, менеер, — раздался голосок из-за решетчатой перегородки, — и я тоже думаю, что вы переживете все остальное, и я молюсь, чтобы это было так.

— Кто это? — спросил Фой вяло.

— Тоже узница, — отвечал Мартин.

— Узница, которая скоро освободится, — снова раздался голос в

темноте, так как к тому временем совершенно стемнело.

Фой снова заснул или впал в беспамятство, и на долгое время воцарилась полная тишина. Но вдруг раздался стук засовов у входной двери, и среди мрака показалось мерцание фонаря. В узком проходе послышались шаги нескольких человек, и один из них, отворив дверь клетки, наполнил кружку водой из кожаного меха и бросил, как собакам, несколько кусков черного хлеба и трески. Посмотрев на заключенных, сторож что-то пробормотал и пошел прочь, не подозревая, как он был близок к смерти, настолько Мартин был взбешен. Однако он не тронул сторожа.

Затем отворилась дверь соседней клетки и мужской голос сказал:

— Выходите!… Пора!…

— Да, пора, и я готова, — отвечал тонкий голосок. — Прощайте, друзья. Господь с вами!

— Прощайте, мейнфроу, — отозвался Мартин, — желаю вам скорее быть у Бога. — Затем, как бы спохватившись, он прибавил. — Как ваше имя? Мне бы хотелось знать его.

— Мария, — ответила она, и, запев гимн, пошла на смерть.

Ни Мартин, ни Фой никогда не увидали ее лица, не узнали, кто была бедная девушка, одна из бесчисленного количества жертв ужаснейшей тирании, когда-либо виданной миром, одна из шестидесяти тысяч убитых Альбой. Несколько лет спустя, когда Фой был уже свободным человеком в свободной стране, он построил церковь — Мария-кирк.

Длинная ночь протекала в тишине, прерываемой только стонами и молитвами узников в клетках или гимнами, которые пели выводимые во двор. Наконец заключенные увидели свет, пробивающийся сквозь решетчатые окна, и поняли, что наступило утро. При первых проблесках его Мартин проснулся и почувствовал себя бодрым, его здоровая натура позволила ему заснуть. Фой тоже проснулся, и хотя все тело у него ныло, он подкрепился, так как был голоден. Проглотив куски хлеба и трески, они запивали все водой, после чего Мартин перевязал раны Фоя, наложив на них пластырь из хлебного мякиша, и, как мог, полечил свои ушибы.

Было около десяти часов, когда двери снова открылись и вошедшие солдаты приказали заключенным следовать за ними.

— Один из нас не может идти, — сказал Мартин, — ну, да я это устрою. — Он поднял Фоя, как ребенка, на руки и пошел за тюремщиком вниз, в зал суда.

Здесь за столом сидели Рамиро и краснолицый инквизитор с тоненьким голосом.

— Силы небесные с нами, — сказал инквизитор. — Какой волосатый великан! Мне даже быть с ним в одной комнате неприятно. Прошу вас, сеньор Рамиро, прикажите своим солдатам зорко следить за ним и заколоть при первом движении.

— Не бойтесь, сеньор, — отвечал Рамиро, — негодяй обезоружен.

— Надеюсь… Однако приступим к делу. В чем обвиняются эти люди? Ах да, опять ересь, как и в последнем случае, по свидетельству… Ну, да это все равно… Дело считается доказанным, и этого, конечно, достаточно. А еще что? А, вот что! Бежали из Гааги с состоянием еретика, убили нескольких солдат из стражи его величества, пустили других на воздух на Харлемском озере, а вчера, как нам лично известно, совершили целый ряд убийств, сопротивляясь законному аресту. Арестованные, имеете вы что-нибудь возразить?

— Очень многое, — отвечал Фой.

— В данном случае не беспокойте себя, а меня не заставляйте терять время, так как ничем нельзя оправдать вашего безбожного, возмутительного, преступного поведения. Друг смотритель, передаю их в ваши руки, и да сжалится Господь над их душами. Если у вас есть под рукой священник, чтобы исповедать их, если они хотят исповедаться, окажите им эту милость, а все прочие дела предоставьте мне. Пытка? Конечно, к ней можно прибегнуть, если это может привести к чему-нибудь или очистить их души. Я же отправляюсь теперь в Харлем, потому что, скажу вам откровенно, сеньор Рамиро, не считаю такой город, как этот Лейден, безопасным для честного служителя закона. Тут слишком много всякого темного сброда, схизматиков и непокорных закону. Что? Обвинительный акт не готов? Ничего, я подпишусь на бланке, вы можете потом заполнить его. Вот так. Да простит вас Господь, еретики, да обретут ваши души покой, чего, к несчастью, не могу обещать вашим телам на некоторое время. Ах, друг смотритель, зачем вы заставили меня присутствовать при казни этой девушки сегодня ночью, ведь она не оставила после себя состояния, о котором стоило бы упоминать. Ее бледное лицо не выходит у меня из головы. О, эти еретики, как они заставляют страдать нас, верующих. Прощайте, друг смотритель! Я выйду через задние ворота. Кто знает, у главного входа может встретиться кто-нибудь из этого беспокойного люда. Протайте, и, если можете, смягчите правосудие милосердием.

Он вышел. Рамиро же, проводив его до ворот, вернулся. Сев на краю стола, он обнажил свою рапиру и положил на стол перед собой. Затем, приказав подать стул для Фоя, который не мог стоять на израненных ногах,

он велел страже отойти, но быть наготове.

— Кроме него, ни одного сановника, — обратился он почти веселым голосом к Мартину и Фою. — Вы, вероятно, ожидали совсем иного! Ни доминиканца[98] в капюшоне, ни писцов для записи показаний, никакой торжественности. Один только краснолицый судейский крючок, который трясется от боязни, как бы его не захватила недовольная толпа, чего я лично очень бы желал. Чего же ждать от него, когда он, насколько я знаю, всего лишь обанкротившийся портной из Антверпена? Однако нам приходится считаться с ним, так как его подпись на смертельном приговоре так же действительна, как подпись папы или его величества короля Филиппа, или, в таких делах, самого Альбы. И вот ваш приговор подписан. Вас как бы уже нет в живых!

— Как не было бы и вас, если бы я не был настолько неблагоразумен, чтобы не послушаться совета Мартина и выпустить вас из Харлемского озера, — отвечал Фой.

— Совершенно верно, мой молодой друг. Только с моим ангелом-. хранителем вам не удалось справиться, и вы не послушались прекрасного совета. А теперь я хочу поговорить с вами именно о Харлемском озере.

Фой и Мартин переглянулись, ясно понимая, зачем они здесь, а Рамиро, искоса наблюдая за ними, продолжал тихим голосом:

— Оставим это и перейдем к делу. Вы спрятали сокровище и знаете, где оно. Мне же надо позаботиться, на что жить в старости. Я не жестокий человек и не желаю мучить или убивать кого-либо, кроме того, откровенно говоря, я чувствую уважение к вам обоим за ту ловкость, с какой вы увезли сокровище на вашей «Ласточке», и взорвали ее, причем вы, молодой господин, сделали только одну маленькую ошибочку, которую сознаете, — он, улыбаясь, поклонился Фою. — Ваша вчерашняя оборона также блестящий подвиг, и я даже занес ее подробности в свой личный дневник, на память.

Тут пришлось поклониться Фою, между тем как даже на невозмутимом, суровом лице Мартина мелькнула улыбка.

— Естественно, — продолжал Рамиро, — что я желаю спасти таких людей. Я желал бы отпустить вас отсюда на свободу, не тронув… — Он остановился.

— Как же это может быть, после того как смертный приговор нам подписан? — спросил Фой.

— Это вовсе не трудно. Мой друг портной, то есть инквизитор, несмотря на свои мягкие речи, жестокий человек. Он спешил и подписался под чистым бланком. А это большая неосторожность. Судья может осудить

или оправдать, и этот случай не исключение. Что может мне помешать заполнить бланк предписанием о вашем освобождении?

— Что же мы должны сделать для этого? — спросил Фой.

— Даю вам слово дворянина, если вы расскажете мне то, что меня интересует, я за неделю устрою все свои дела, и тотчас после моего возвращения вы будете свободны.

— Конечно, нельзя не поверить такому слову, которому сеньор Рамиро, извините, граф Хуан де Монтальво, мог научиться на галерах! — не помня себя, воскликнул Фой.

Рамиро весь побагровел.

— Если бы я был другим человеком, вас за эти слова ожидала бы такая смерть, перед которой содрогнулся бы и мужественный человек. Но вы молоды и неопытны, поэтому я извиняю вас. Пора заканчивать этот торг. Что вы предпочтете: жизнь и свободу или возможность — при теперешних обстоятельствах невероятную — когда-то, кому-то, отыскать спрятанное сокровище?

Тут в первый раз заговорил Мартин, медленно и почтительно:

— Менеер, мы не можем сказать вам, где спрятано сокровище, потому что не знаем этого. Откровенно говоря, никто, кроме меня, никогда и не знал этого. Я взял вещи и опустил их в узкий проток между островами, который зарисовал на клочке бумаги.

— Отлично, мой друг, а где же эта бумага?

— Вот в том-то и беда. Зажигая фитили на «Ласточке», я впопыхах уронил бумажку, и она отправилась туда же, куда отправились ваши почтенные товарищи, бывшие на судне. Однако я думаю, что если бы вам угодно было взять меня проводником, я мог бы показать вашему сиятельству то место. Мне не хочется умирать, поэтому я был бы счастлив, если бы вы приняли мое предложение.

— Прекрасно, чистосердечнейший человек, — отвечал Рамиро с усмешкой. — Ты рисуешь мне необыкновенно заманчивую перспективу в полночь отправиться в Харлемское озеро — это все равно, что пустить тарантула к бабочке! Менеер ван Гоорль, что вы могли бы сказать?

— Только то, что все рассказанное Мартином — правда. Я не знаю, где деньги, не видел, как их опускали и как потерялась бумага.

— В самом деле? Я боюсь, как бы мне не пришлось освежить вам память, но прежде я еще кое-что скажу вам. Не приходило ли вам в голову, что от вашего ответа может зависеть другая жизнь? Имеет ли право человек обрекать своего отца на смерть?

Фой слушал, но как ни был ужасен намек, молодой человек,

почувствовал облегчение, потому что ожидал услышать слова «вашу мать» или «Эльзу Брант».

— Вот мое первое предупреждение — думаю, недурное, — но у меня имеется еще одно, более убедительное сообщение для молодого человека и наследника в будущем. Третьего дня вы обручились с Эльзой Брант. Не удивляйтесь, люди в моем положении многое слышат, и не пугайтесь. Девицу не приведут сюда — она слишком драгоценна.

— Будьте добры объясните мне ваши слова, — сказал Фой.

— С удовольствием. Молодая девушка — богатая наследница, не правда ли? И удастся ли мне или не удастся узнать факты от вас, без сомнения, рано или поздно она выяснит местонахождение своего богатства. Конечно, муж разделит ее состояние. Я теперь человек свободный и могу быть представлен ювфроу Эльзе… Вы видите, мой друг, что есть и другие способы убивать собак, кроме как вешать их.

Сердце у Фоя упало при словах этого негодяя, этого дьявола, обманувшего его мать и бывшего отцом Адриана. Мысль сделать богатую наследницу своей женой была достойна его дьявольской изобретательности. И что могло помешать ему выполнить свой план? Эльза, конечно, возмутится, но в руках приспешников Альбы в эти дни были средства, с помощью которых они могли преодолеть несогласие молодой девушки, или, по крайней мере, заставить сделать выбор между смертью и унижением. Расторжение браков с тем, чтобы заставить еретичку выйти за человека, домогающегося ее состояния, было делом обычным. Справедливости в стране не стало. Люди были пешками и рабами своих притеснителей. Им оставалось только уповать на Бога. Фой думал: «Стоит ли подвергаться мучению, рисковать смертью или браком против воли только из-за золота?» Он думал, что понял человека, сидящего перед ним, и что с ним можно вступить в торг. Он не был фанатиком, ужасы не доставляли ему удовольствия: ему не было дела до душ его жертв. Он обманул Лизбету из-за денег и, вероятно, согласится отступиться за деньги. Почему не поменяться? Но тотчас же в уме Фоя пронеслось, что он клялся отцу в том, что ничто на свете не заставит его открыть тайну. А разве не клялся он в том же Хендрику Бранту, пожертвовавшему жизнью ради того, чтобы его сокровище не попало в руки испанцам, в надежде, что со временем оно какими-нибудь путями послужит на благо его отечеству? Нет! Как ни велико было искушение, он обязан сдержать данное обещание и заплатить ужасную цену. Итак, Фой снова ответил:

— Напрасно вы искушаете меня. Я не знаю, где деньги.

— Прекрасно, хеер Фой ван Гоорль, теперь исход для нас ясен, но все

же я попытаюсь защитить вас от самих себя, — я еще некоторое время не стану заполнять бланк. — Затем он позвал:

— Сержант, попросите мастера Баптиста приступить к делу.

XXI. Мартин трусит

Сержант вышел из комнаты и скоро вернулся в сопровождении «мастера», высокого малого подозрительного вида, одетого в затасканное черное платье с широкими заскорузлыми руками и коротко остриженными для проворности ногтями.

— Здравствуйте, профессор, — сказал Рамиро, — вот вам два субъекта. Начните с большого. Время от времени докладывайте об успехах и, если он пожелает открыть рот, немедленно позовите меня.

— Какой способ, ваше превосходительство, предпочтительнее?

— Представляю это вам. Разве я занимаюсь вашим поганым ремеслом? Мне все равно, лишь бы добиться результата.

— Не нравится мне этот молодец, — проворчал мастер, кусая ногти. — Слышал я об этой бешеной скотине, он на все способен.

— Так возьми с собой стражу. Один голый негодяй немного сделает против девяти вооруженных. Да захватите и молодого человека, пусть он посмотрит, как все это будет происходить, может быть, тогда он переменит свой взгляд. Только не трогайте его, не сказав мне. Я пока останусь здесь.

— Не нравится мне этот малый, — повторил «профессор», — от одного его вида у меня мороз продирает по коже. Какие у него злые глаза. Я бы лучше начал с молодого.

— Ступайте и делайте, что я вам приказываю, — сказал Рамиро, свирепо смотря на него. — Стража, помогите палачу Баптисту.

— Ведите их, — приказал палач.

— Зачем употреблять силу, господин, — проговорил Мартин, — покажите дорогу, и мы сами пойдем. — Нагнувшись, он поднял Фоя со стула.

Процессия двинулась. Впереди шел Баптист с четырьмя солдатами, потом Мартин с Фоем и, наконец, еще четверо солдат. Они вышли из комнаты суда под свод коридора. Мартин, медленно шагая, осмотрелся и увидел, что на стене между прочим оружием висел меч «Молчание». Большие ворота были заперты замками и засовами, но у калитки стоял часовой, обязанностью которого было впускать и выпускать людей, входивших и выходивших по делам. Под предлогом, что ему надо поменять руку, Мартин внимательно, насколько позволяло время, рассмотрел калитку и заметил, что хотя она казалась задвинутой железными засовами вверху и внизу, в действительности не была заперта, так как петли, в которые

входили концы засовов, были пусты. Вероятно, часовой не считал нужным пользоваться большим ключом, висевшим у него за поясом, пока стоял тут.

Сержант, сопровождавший узников, отворил низкую дверь, отодвинув засов. По-видимому, это помещение когда-нибудь служило тюрьмой, это подтверждал и засов снаружи. Через несколько минут Мартин и Фой были заперты в застенке «Гевангенгооза». Это было подвальное помещение со сводами, освещенное лампами (дневной свет не проникал туда) и зловещим огнем, разведенным на полу. Обстановку помещения легко себе представить. Интересующиеся подобными вещами могут удовлетворить свое любопытство, осмотрев средневековые тюрьмы в Гааге и других местах. Нет необходимости описывать эти ужасы, о которых нам в настоящее время даже неприятно рассказывать. Они были хорошо известны поколению, жившему всего три столетия назад.

Мартин опустил Фоя на какое-то пугающее приспособление, имевшее сходство со стулом, и огляделся вокруг. Среди различных предметов, стоявших у стен, один, по-видимому, особенно заинтересовал его. Это было ужасное орудие, но Мартин видел в нем только крепкую стальную полосу, которой удобно размозжить чью-нибудь голову.

— Разденьте-ка этого карлика, — обратился «профессор» к солдатам, — пока я приготовлю ему постельку.

Солдаты начали стаскивать платье с Мартина, но не насмехались над ним и не оскорбляли его, помня его вчерашние подвиги и чувствуя почтение к силе и выносливости этого огромного тела, находившегося в их руках.

— Он готов, — сказал сержант.

Палач потер руки.

— Ну-ка, пойдем, молодчик, — сказал он.

Нервы Мартина не выдержали, он задрожал.

— Скажите! Ему стало холодно в этой духоте, надо согреть его.

— Кто бы мог подумать, что такой большой человек, который так храбро сражался, может оказаться таким трусом? — сказал сержант своим товарищам. — С ним, думаю, будет не труднее справиться, чем с рейнским лососем.

Мартин услышал эти слова, и его так затрясло от страха, что даже пот выступил у него по всему телу.

Фой смотрел на него, приоткрыв рот. Он не верил своим глазам. Почему это Мартин, если ему так страшно, делает ему таинственные знаки глазами, прикрыв их растопыренными пальцами руки? Совершенно так же блестели его глаза накануне, когда солдаты пытались взобраться на

лестницу. Фой не мог разгадать загадку, но с этой минуты не спускал глаз с Мартина.

— Слышите, что нам говорит эта дамочка, хеер Баптист? — сказал сержант. — Она обещает, голосом Мартина, сказать все, что знает.

— В таком случае, мне нечего беспокоиться. Побудьте с ним. Я пойду и доложу смотрителю, как мне приказано. Не одевайте его полностью, довольно того, что на нем останется… осторожность не помешает.

Баптист пошел к двери и, проходя мимо Мартина, ударил его рукой по лицу, говоря:

— Вот тебе, трус!

Фой заметил, что при этом его товарищ вспотел еще сильнее и отшатнулся к стене.

Но, Боже мой! Что случилось? Дверь застенка отворилась, и вдруг со словами: «Ко мне, Фой», — Мартин сделал движение, которое Фой едва успел уловить. Что-то пролетело в воздухе и упало на голову палача, вышедшего в коридор. Солдаты побежали к двери, но огромная железная полоса, брошенная им в лицо, уложила двоих из них на месте. Еще минута — и рука обхватила Фоя, а в следующее мгновение Мартин стоял расставив ноги на теле мертвого «профессора» Баптиста.

Они были за дверями, но двери эти не были заперты, так как с другой стороны шесть человек напирали на них изо всей силы. Мартин спустил Фоя на землю.

— Возьмите кинжал и займитесь часовым, — поспешно проговорил он.

В одно мгновение Фой выхватил кинжал из-за пояса убитого и обернулся. Часовой бежал к ним с поднятым мечом. Фой забыл, что он ранен. В эту минуту он опять крепко стоял на ногах. Он согнулся и прыгнул на часового, как дикая кошка, как человек, вырвавшийся из когтей пытки. Борьбы не последовало. Искусство, которому Мартин с таким терпением учил Фоя, пригодилось ему в эту минуту. Меч пролетел над головой Фоя, но его длинный кинжал уже пронзил горло стражника. Взглянув на него, Фой убедился, что ему уже нечего бояться, и обернулся.

— Помогите, если можете, — с трудом проговорил Мартин, голым плечом налегая изо всей силы на один из засовов калитки и стараясь затолкать его в задвижку.

Боже! Какая это была борьба. Голубые глаза Мартина, казалось, готовы были вылезти из орбит, он раскрыл рот, и мускулы его выступали узлами. Фой поспешил к нему и изо всех сил пытался помочь. Он мало мог сделать, с трудом держась на одной ноге, так как раны на другой снова открылись,

однако и этого оказалось достаточно, засов медленно-медленно вошел в скобу. Тяжелая дверь трещала под напором солдат изнутри. Мартин, не будучи в состоянии говорить, только смотрел на засов, который Фой левой рукой все дальше и дальше вгонял в скобу. Засов заржавел от долгого бездействия и поддавался с трудом.

— Еще! — задыхаясь проговорил Фой.

Мартин сделал такое усилие, что со стороны было страшно смотреть, и кровь закапала у него из ноздрей, но дверь поддалась еще, и засов с шумом вошел в каменную скобу.

Мартин отступил и сильно покачнулся, будто готовясь упасть. Затем, придя в себя, он бросился к мечу «Молчание», висевшему на стене, и перевязью обмотал правую руку выше кисти. После этого направился к двери комнаты суда.

— Куда ты? — закричал Фой.

— Проститься с ним, — отвечал Мартин.

— Ты с ума сошел. Бежим, если можно. Дверь может открыться. Слышишь, как они кричат?

— И правда, может быть, лучше бежать, — с сомнением в голосе согласился Мартин. — Садитесь мне на плечи.

Несколько секунд спустя двое часовых, стоявших у ворот тюрьмы, с изумлением увидели, как на них с криком бросился высокий рыжий человек, почти голый, размахивающий огромным мечом и несший на спине другого человека. Они пришли в такой ужас, что, не ожидая нападения и думая, что это дьявол, разбежались в разные стороны. А тем временем человек с ношей прошел мимо них по маленькому подъемному мосту на улицу, начинавшуюся от городских ворот.

Придя в себя, солдаты бросились было в погоню, но кто-то из прохожих крикнул:

— Это Мартин, Красный Мартин и Фой ван Гоорль вырвались из тюрьмы.

И сейчас же в солдат полетели камни.

Помня судьбу, постигшую их товарищей накануне, солдаты вернулись под защиту тюремных сводов.

Когда, наконец, Рамиро, которому надоело ждать, вышел из задней комнаты при зале суда, где что-то писал, он увидел палача и привратника, лежащих мертвыми у калитки, и услыхал крики стражи из застенка, но часовые у моста объявили, что не видели никого.

Сначала им поверили и бросились обыскивать всю тюрьму от колокольной башни до самого глубокого подземелья, искали даже в воде

рва, но когда правда открылась, часовым пришлось плохо, а еще хуже досталось стражникам, из рук которых Мартин ускользнул, как угорь из рук рыбной торговки. Рамиро не помнил себя от негодования и начал думать, что, в конце концов, напрасно вернулся в Лейден.

Однако у него в руках оставалась еще одна карта. В тюрьме сидел еще один узник. По сравнению с берлогой, куда были заключены Мартин и Фой, это помещение казалось даже хорошим. Комната на нижнем этаже предназначалась для знатных политических заключенных или взятых в плен на поле битвы офицеров, за которых ожидали выкупа. Здесь было настоящее окно, хотя и заделанное двойной решеткой, выходившее на двор и тюремную кухню, стояла кое-какая мебель, и все было более или менее чисто. Заключенный в этой комнате был не кто иной, как Дирк ван Гоорль, захваченный в ту минуту, когда он возвращался домой после приготовлений к побегу своей семьи.

Утром того же самого дня Дирка также допрашивал краснолицый суетливый экс-портной. И он также был приговорен к смерти по решению смотрителя. После этого Дирка отвели обратно в занимаемую им комнату и заперли.

Через несколько часов в комнату вошел человек в сопровождении солдат и принес Дирку пищу и питье. Это был один из поваров, по счастью, словоохотливый малый.

— Друг, что случилось в тюрьме? — спросил его Дирк. — Отчего люди бегают по двору и кричат в коридоре? Не приехал ли принц Оранский в тюрьму, чтобы освободить нас? — Он грустно улыбнулся.

— Есть и такие, что освобождаются, не дожидаясь принца Оранского. Колдуны они… Колдуны, и ничего больше.

Интерес Дирка был возбужден. Опустив руку в карман, он вынул золотой, который подал повару.

— Друг, — сказал он, — ты готовишь мне пищу и ходишь за мной. Я захватил с собой несколько таких кружочков, и, если ты будешь добр ко мне, они перейдут из моего кармана в твой. Понимаешь?

Повар кивнул головой, взял золотой и поблагодарил.

— Расскажи мне, пока станешь убирать комнату, об этом побеге. Заключенного интересуют и пустяки.

— Вот как было дело, менеер. Насколько я слышал, вчера в одной конторе захватили двух молодцов, должно быть, еретиков, с которыми пришлось много повозиться при аресте. Я не знаю, как их зовут, я здесь чужой, но видел, как их привезли. Один был молодой и, кажется, ранен в ногу и шею, а другой — рыжий бородатый великан. Их допрашивали

сегодня утром, а потом отправили с десятью стражниками к «мастеру», понимаете?

Дирк кивнул. Этого «мастера» хорошо знали в Лейдене.

— И что же дальше? — спросил он.

— Дальше-то? Мать Пресвятая Богородица! Они убежали. Великан, весь голый, унес на плечах молодого. Да, они убили «мастера» железной полосой и выскочили из тюрьмы, как спелый горох из шелухи.

— Это невозможно, — сказал Дирк.

— Может быть, вам это лучше известно, чем мне, может быть, тоже невозможно, что они заперли испанских петухов снаружи, закололи привратника и проскользнули мимо часовых на мосту? Может быть, все это невероятно, однако все это случилось, и если не верите мне, то спросите сами у часовых, почему они бросились бежать, когда увидели, что этот огромный голый человек идет на них, рыжий, как солнце, и размахивает своим огромным мечом. Ну, теперь пойдет разборка, и всем нам достанется от смотрителя. Уже многие поплатились своими спинами.

— А разве их не поймали за стенами тюрьмы?

— Поймали? Поймаешь их, когда сотни людей собрались вокруг них на улице. Теперь их и след, должно быть, простыл, и в Лейдене поминай как звали. Однако мне пора идти, но если вам что-нибудь понадобится, пока вы здесь, скажите мне, и я постараюсь достать вам, ведь вы такой щедрый.

Когда дверная задвижка задвинулась за поваром, Дирк всплеснул руками и чуть не захохотал громко от радости. Мартин и Фой свободны, и если они снова не попадутся, тайна сокровища останется тайной. Оно никогда не достанется Монтальво, в этом Дирк был уверен. А что касается его собственной судьбы, она мало тревожила его, особенно после того, как инквизитор сказал, что такого влиятельного человека, как он, не станут «допрашивать». Это расположение было, впрочем, вызвано не милосердием, а осторожностью, так как инквизитору было известно, что Лейден, подобно другим голландским городам, находится накануне восстания, и он опасался, что народ мог выйти из повиновения, если бы одного из самых богатых и уважаемых бюргеров стали мучить за его веру.

*** * ***

Увидев, как народ разорвал в клочья раненых испанских солдат и их носильщиков и как тяжелая дверь тюрьмы затворилась за Мартином и Фоем, Адриан отправился домой, чтобы сообщить печальную весть. Народ еще долго не расходился, и если бы не то, что подъемный мост над рвом не был поднят и никакой возможности перебраться через него не существовало, весьма вероятно, было бы произведено нападение на тюрьму. Однако теперь, когда к тому же пошел дождь, толпа начала расходиться, рассуждая, захочет ли герцог Альба в эти дни ежедневных побоищ мстить за несколько убитых солдат.

Когда Адриан вошел в верхнюю комнату, чтобы сообщить принесенные им вести, он нашел в комнате одну только мать. Она сидела неподвижно на стуле, сложив руки на коленях и устремив в окошко неподвижный взгляд.

— Я не мог найти отца, — сказал Адриан, — но Фой и Мартин взяты после отчаянного сопротивления, причем Фой ранен. Они в тюрьме…

— Я знаю все, — прервала его Лизбета холодным, глухим голосом. — Муж тоже взят. Кто-то предал их. Да воздаст ему Господь! Оставь меня одну, Адриан.

Адриан повернулся и поплелся к себе в комнату. Упреки совести и стыда так тяжело лежали у него на сердце, что ему казалось, он не выдержит. При всей своей слабости и злобе, он никогда не намеривался сделать то, что произошло. Теперь по его вине брат Фой и человек, бывший его благодетелем и более всего на свете любимый его матерью, обречены на смерть, ужаснее которой нельзя себе представить. Предатель провел эту ночь дома среди окружавшего его благополучия и предметов роскоши хуже, чем его жертвы в тюрьме. Три раза Адриан был готов покончить с собой, один раз даже укрепил рукоятку меча в полу и наставил его острие себе на грудь, но при первом уколе отшатнулся.

Лучше было бы для него, может быть, если бы он преодолел свою трусость. По крайней мере, он избавился бы от многих страданий и унижений, ожидавших его впереди.

*** * ***

Как только Адриан вышел, Лизбета встала, оделась и отправилась к своему родственнику ван де Верфу, теперь почтенному гражданину

средних лет, избранному бургомистром Лейдена.

— Вы слышали? — спросила она.

— К несчастью, слышал, — отвечал он. — Это ужасно. Правда, что богатство Хендрика Бранта на дне Харлемского озера?

Она кивнула головой и ответила:

— Думаю, что так.

— Не могли ли бы они, открыв тайну, спасти себе жизнь?

— Может быть, Фой и Мартин и могли бы это сделать, Дирк же ничего не знает, он отказался слушать об этом. Но Фой и Мартин поклялись скорее умереть, чем открыть тайну.

— Почему?

— Потому что они дали такое обещание Хендрику Бранту, желавшему, чтобы его золото, скрытое от испанцев, могло бы сослужить службу его отечеству в будущем. Они их убедил в необходимости этого.

— В таком случае, дай Бог, чтобы его желание исполнилось, — со вздохом сказал ван де Верф, — иначе было бы слишком тяжело думать, что еще и другие жизни будут загублены из-за груды золота.

— Я знаю это, и я пришла к вам, чтобы спасти их.

— Каким образом?

— Каким образом? — с воодушевлением ответила она. — Поднять город, напасть на тюрьму и освободить их… Выгнать испанцев из Лейдена…

— И навлечь на себя судьбу Монса[99]. Вы бы хотели, чтобы город был отдан на разграбление солдатам Нуаркарма и дона Фадрике?[100]

— Мне все равно, я желаю спасти мужа и сына! — в отчаянии проговорила она.

— Так может говорить женщина, но не патриотка. Лучше пусть умрут три человека, чем будет разорен целый город.

— Странно мне слышать от вас этот довод еврея Каиафы[101].

— Нет, Лизбета, не сердитесь на меня. Что я могу сказать? Правда, испанского войска в Лейдене немного, но новые силы отправлены из Харлема и других мест после вчерашних волнений при аресте Фоя и Мартина. Через двое суток они будут здесь. Город не снабжен запасами на случай осады, горожане не привыкли владеть оружием, и пороху мало. Кроме того, в городском совете нет согласия. Перебить испанских солдат мы еще можем, но напасть на «Гевангенгооз», значило бы открыто поднять восстание и привлечь сюда армию дона Фредерика.

— Что же? Все равно рано или поздно дойдет до этого.

— Пусть же это случится позднее, когда мы будем готовы отразить нападение. Не упрекайте меня, мне тяжелы были бы ваши упреки, так как я день и ночь работаю, готовя все к роковому часу. Я люблю вашего мужа и сына, сердце мое обливается кровью при виде вашего горя и постигшей их ужасной судьбы, но пока я не могу сделать ничего… ничего. Вы должны нести свой крест так же, как они свой, а я свой. Мы все должны идти во мраке, пока Господь не прикажет заняться заре, — заре свободы и возмездия.

Лизбета не ответила. Она встала и вышла из дома, не чувствуя под ногами земли, а ван де Верф, опустившись на стул, горько плакал и молился о ниспослании помощи и света.

XXII. Встреча и разлука

Лизбета не сомкнула глаз в эту ночь. Если бы даже горе позволило ей уснуть, то не позволило бы этого ее состояние. Она вся горела, в висках у нее стучало. Сначала она мало обращала на это внимание, но при первом свете холодного осеннего утра подошла к зеркалу и стала рассматривать себя. На шее у нее оказалась опухоль величиной с орех. Лизбета догадалась, что заразилась чумой от фроу Янсен и засмеялась коротким, сухим смехом. Ей казалось, что раз все любимые ею обречены на смерть, то лучше всего умереть и самой. Эльза еще не вставала, обессиленная горем, и Лизбета, запершись у себя в комнате, не впускала к себе никого, кроме одной женщины, выздоровевшей некоторое время назад от чумы, но и ей она не сказала ничего о своей болезни.

Около одиннадцати часов утра женщина вбежала к ней в комнату, крича:

— Они убежали!… Убежали!…

— Кто? — в напряженном ожидании спросила Лизбета, вскочив со стула.

— Ваш сын Фой и Красный Мартин.

Она рассказала, как голый великан с обнаженным мечом в руке и Фоем на спине выбежал с ревом из тюрьмы и под защитой толпы, пробежав через город, направился к Харлемскому озеру.

Глаза Лизбеты засветились гордостью при этом известии.

— Верный, преданный слуга, ты спас моего сына, но мужа тебе не спасти, — проговорила она.

Прошел еще час, и служанка вошла снова, неся письмо.

— Кто принес его? — спросила Лизбета.

— Солдат-испанец.

Лизбета разрезала шелковый шнурок и прочла письмо. Оно было без подписи, и в нем значилось:

Человек, пользующийся влиянием, шлет свой привет фроу ван Гоорль. Если фроу ван Гоорль желает спасти жизнь самого дорогого ей человека, ее просят, надев вуаль, последовать за подателем сего письма. Ей нечего бояться за свою безопасность, это письмо служит ей гарантией.

Лизбета подумала с минуту. Может быть, это западня, даже очень

вероятно, что это ловушка, чтобы захватить и ее. Но не все ли ей равно? Она предпочитала умереть с мужем, чем жить без него, и, кроме того, зачем ей избегать смерти, когда чума уже у нее в крови? Но было еще что-то, что пугало ее больше смерти. Она догадывалась, кто написал это письмо. После многих лет она узнала почерк, несмотря на видимое стремление изменить его. Хватит ли у нее сил встретиться с ним? Надо найти эти силы… ради Дирка!

Если она откажется и Дирк умрет, не будет ли она упрекать себя, если останется сама в живых, что не сделала всего, что было в ее власти?

— Дай мне плащ и вуаль, — приказала она служанке, — и скажи солдату, что я иду.

У дверей ее встретил солдат, почтительно отдавший ей честь говоря:

— Мейнфроу, следуйте за мной, но на некотором расстоянии.

Солдат провел Лизбету переулками к заднему входу тюрьмы, двери которой таинственно отворились перед ними и снова затворились, причем Лизбета невольно спросила себя, придется ли ей когда-нибудь снова переступить порог этой калитки. Во дворе ее встретил другой человек — она не обратила внимания на него — и, сказав ей: «Пожалуйста, сударыня», — провел по мрачным коридорам в маленькую комнату, где стояли стол и два стула. Дверь отворилась, и Лизбета почувствовала, как у нее внутри что-то оборвалось и заныло, будто она выпила яд. Перед ней стоял совершенно такой же, как прежде, хотя отмеченный временем и жизненными невзгодами человек, бывший некогда ее мужем, — Хуан де Монтальво. Однако Лизбета сдержала свое чувство, и лицо ее осталось бледным и неподвижно-суровым. Даже не взглянув на него, она уже знала, что он боится ее больше, чем она его. В глазах этой женщины отражался такой ужас, что сердце Монтальво содрогнулось. Он вспомнил сцену его сватовства, и снова зазвучали в его ушах ужасные слова, сказанные ею. Какое странное совпадение обстоятельств; и теперь опять, как тогда, целью переговоров была жизнь Дирка ван Гоорля. В прежние дни она купила эту жизнь, отдав себя, свое состояние, и, что хуже всего для женщины, навлекши на себя презрение своего бывшего жениха. Какую цену ей придется уплатить теперь? К счастью, многого от нее уже нельзя требовать! Он же в душе боялся этого торга с Лизбетой ван Гоорль из-за жизни Дирка ван Гоорля. В первый раз этот торг довел его до четырнадцати лет каторжных работ на галерах. Чем кончится второй?

В ответ перед глазами Монтальво будто приоткрылась черная бездна, в безграничную глубину которой летел несчастный, представлявший собой по сравнению с пролетаемым пространством одну крошечную, незаметную

точку. Точка перевернулась, и Монтальво узнал в ней самого себя.

Этот кошмар на мгновение предстал перед ним и тотчас же исчез. В следующую минуту Монтальво уже спокойно и вежливо раскланивался перед своей посетительницей, предлагая ей сесть.

— Очень любезно с вашей стороны, фроу ван Гоорль, что вы так быстро отозвались на мое приглашение, — начал он.

— Может быть, вам, граф де Монтальво, угодно будет как можно короче сообщить мне, зачем вы вызвали меня? — спросила Лизбета.

— Конечно, я сам желаю этого. Позвольте прежде всего успокоить вас. В прошлом у нас обоих есть общие воспоминания, неприятные и приятные. — Он положил руку на сердце и вздохнул. — Но это уже умершее, прошедшее, поэтому мы не будем касаться его.

Лизбета молчала, только вокруг ее рта залегла несколько более суровая складка.

— Теперь еще одно слово, и я перейду к главному предмету нашего свидания. Позвольте мне поздравить вас с доблестным поступком вашего отважного сына. Конечно, его храбрость и ловкость вместе с поддержкой, оказанной ему Красным Мартином, причинили мне много неприятностей и внесли осложнения в исполнение задуманного мною плана, но я старый солдат и должен признаться, что их вчерашняя оборона и сегодняшнее бегство из… из не совсем приятной обстановки взволновали во мне кровь и заставили мое сердце забиться сильнее.

— Я слышала… Не трудитесь повторять, — сказала Лизбета, — иного я не ожидала от них и благодарю Бога, что Ему угодно было продлить их жизнь, чтобы в будущем они могли страшно отомстить за любимого отца и хозяина.

Монтальво кашлянул и отвернулся, желая прогнать снова ставший перед его глазами кошмар маленького человечка, летящего в пропасть.

— Да, они бежали, и я рад за них, какое бы убийство они ни замышляли в будущем. Да, несмотря на все их преступления и убийства в прошлом, я рад, что они ушли, хотя я обязан был удержать их, пока мог, и если они попадутся, я снова должен буду сделать то же самое, но я не стану дольше останавливаться на этом. Вам, вероятно, известно, что есть один господин, который не был так же счастлив, как они.

— Мой муж?

— Да, ваш почтенный супруг, к счастью для моей репутации как смотрителя одной из тюрем его величества, занимает помещение здесь наверху.

— И что же дальше? — спросила Лизбета.

— Не пугайтесь, мейнфроу, страх ужасно подрывает здоровье. Итак, возвращаюсь к предмету нашего разговора… — Тут он вдруг переменил тон. — Однако прежде мне необходимо объяснить вам, Лизбета, положение вещей.

— Какое положение вещей?

— Прежде всего то, что касается сокровища.

— Какого сокровища?

— Не теряйте времени, пытаясь обмануть меня. Говорю о несметном богатстве, оставшемся после Хендрика Бранта и скрытом бежавшими Фоем и Мартином, — он застонал и заскрежетал зубами, — где-то в Харлемском озере.

— Какое отношение имеет к нашему разговору сокровище?

— Я требую его — вот и все.

— Так вам лучше всего стараться отыскать его.

— Я так и предполагаю, и начну искать его… в сердце Дирка ван Гоорля, — произнес он медленно, комкая своими длинными пальцами носовой платок, будто он был живым существом, которое можно замучить на смерть.

Лизбета не моргнула, она ожидала этого.

— Немного вы найдете в этом источнике, — сказала она. — Никто ничего не знает теперь о наследстве Бранта. Насколько я могла понять, Мартин спрятал его и потерял бумагу. Таким образом, сокровище будет лежать на дне озера, пока оно не высохнет.

— Знаете, я уже слышал эту басню от самого Мартина и должен сказать, что не совсем верю ей.

— Что же делать, если вы не верите? Вы должны помнить, что я всегда говорила правду, насколько она была мне известна.

— Совершенно верно, но другие не так добросовестны. Взгляните сюда…

Он вынул из кармана бумагу и показал ей. То был смертельный приговор Дирка, подписанный инквизитором.

Лизбета машинально прочла его.

— Заметьте, — продолжал Монтальво, — что род казни предоставляется «на усмотрение нашего любезного» и так далее, то есть на мое. Теперь потрудитесь выглянуть в это окно. Что вы видите перед собой? Кухню? Совершенно верно, приятный вид для такой прекрасной хозяйки, как вы. Посмотрите несколько выше. Что вы видите? Маленькое оконце за решеткой. Представьте себе, что из-за этой решетки человек, все более и более голодный, смотрит на то, что происходит в кухне, на то, как туда

приносят припасы и через некоторое время выносят вкусные кушанья, между тем как он все больше и больше худеет и слабеет от голода. Как вам кажется, приятно положение этого человека?

— Вы дьявол! — воскликнула Лизбета, отшатнувшись от окна.

— Я никогда не считал себя им, но если вы хотите иметь точное определение, то я — трудолюбивый работник, испытавший много неудач и вынужденный иногда прибегать к решительным средствам, чтобы обеспечить себя на старость. Уверяю вас, что я не желаю уморить кого бы то ни было голодом, я желаю только найти сокровище Хендрика Бранта, и если ваш супруг не захочет помочь мне в этом, то я должен заставить его — вот и все. Дней через шесть или девять после того, как я примусь за него, я уверен, он заговорит. Нет ничего проще, чем заставить упитанного бюргера, привыкшего к изобилию во всем, открыть рот, как абсолютно лишить его пищи, которую он может только видеть и обонять. Муки Тантала?[102] Подобные вещи прекрасно применимы к настоящим обстоятельствам.

Гордость Лизбеты была сломлена. В отчаянии несчастная бросилась к ногам своего мучителя, умоляя его о жизни мужа, заклиная его именем Бога и даже сына его Адриана. До того довел ее ужас, что она решилась молить этого человека именем сына, рождение которого было позором для нее.

Он попросил ее встать.

— Я желаю спасти вашего мужа, — сказал он. — Даю вам слово, что, если он только скажет мне то, что мне надо, я спасу его и даже, хотя риск и велик, постараюсь способствовать его бегству. Теперь я попрошу вас пройти наверх и объяснить ему мои миролюбивые намерения.

Подумав минуту, он прибавил.

— Вы сейчас упомянули имя Адриана. Это, вероятно, тот самый молодой человек, подпись которого стоит под этим документом? — Он подал Лизбете бумагу. — Прочтите его спокойно: спешить некуда. Добрый Дирк еще не умирает с голоду. Мне сейчас сообщили, что он прекрасно позавтракал, и будем надеяться, не в последний раз.

Лизбета взяла исписанные листы и взглянула на них. Вдруг она поняла, в чем дело, и поспешно пробежала листы до конца последней страницы, где стояла подпись. Увидев ее, она бросила сверток на пол, будто из него выползла змея и ужалила ее.

— Вам, кажется, тяжело видеть эту подпись, — с участием заговорил Монтальво, — и я не удивляюсь этому. Мне самому приходилось испытывать подобные разочарования, и я знаю, как они оскорбляют

благородный характер. Я показал вам этот документ из великодушия, желая предостеречь вас от этого молодого человека, которого, как я мог понять, вы считаете моим сыном. Человек, способный выдать брата, может сделать шаг дальше и предать свою мать, поэтому советую вам не выпускать молодого человека из виду. Не могу не высказать вам также, что на вас в данном случае ложится большая вина. Как можно проклинать ребенка еще до его рождения? Ведь вы понимаете, о чем я говорю? Проклятие обратилось местью против вас самой. Этот случай может служить предупреждением от увлечения минутной страстью.

Лизбета уже не слушала его; она думала напряженно, как никогда до сих пор. В эту минуту, как бы по вдохновению, ей пришли на память слова умершей фроу Янсен: «Я жалею, что раньше не захватила чуму, тогда я отнесла бы ее в тюрьму, и они не смогли бы ничего сделать с мужем». Дирк в тюрьме и обречен на голодную смерть, потому что, вопреки убеждению Монтальво, он ничего не знал, а следовательно, и не мог ничего сказать. Она заражена чумой: симптомы хорошо знакомы ей, ее яд жжет ей жилы, хотя она еще в силах думать, говорить и ходить.

Лизбета не считала преступлением заразить мужа чумой. Лучше ему умереть от чумы в пять дней, а может быть, и быстрее, чем умирать с голоду целых двенадцать дней и, может быть, еще при этом подвергаться мучениям пытки. Лизбета быстро решилась и сказала хриплым голосом:

— Что вы хотите, чтобы я сделала?

— Я желаю, чтобы вы убедили вашего мужа перестать упорствовать и сообщить тайну нахождения наследства Бранта. В таком случае я обещаю немедленно после того, как удостоверюсь в справедливости его слов, освободить его. А пока с ним будут обращаться хорошо.

— А если он не захочет или не сможет?

— Я сказал вам, что будет в таком случае, и чтобы показать, что не шучу, я сейчас же подпишу приговор. Если вы не согласитесь на выполнение моего поручения или, если ваше вмешательство окажется безуспешным, я в вашем присутствии передам это распоряжение офицеру, и через десять дней вы узнаете о том, что приговор приведен в исполнение.

— Я пойду, — сказала она, — но мы должны увидеться наедине.

— Это правилами не допускается, — отвечал Монтальво, — но если я буду убежден, что при вас нет оружия, то я сделаю исключение.

Написав приговор и засыпав песком из песочницы (Монтальво во всем любил аккуратность), он сам, с соблюдением всевозможной вежливости проводил Лизбету в тюрьму к ее мужу и, впустив ее туда, обратился к Дирку мягким тоном:

— Друг ван Гоорль, привожу вам гостью, — запер дверь и сам остался ожидать за дверью.

Не станем описывать то, что произошло в тюрьме. Сообщила ли Лизбета мужу о своем ужасном, но вместе с тем спасительном намерении, рассказала ли ему о предательстве Адриана, о чем они говорили между собой на прощание и как молились вместе в последний раз, — все это обойдем молчанием, предоставив читателю дополнить все подробности своим воображением.

Монтальво, потеряв терпение, отпер дверь и увидел, что Лизбета и ее муж стоят рядом посреди комнаты на коленях, подобно изваяниям на каком-нибудь древнем мраморном памятнике. Услышав шум, они поднялись. Дирк обнял жену последним долгим объятием и затем, выпустив ее, положил одну руку ей на голову, благословляя ее, а другой указал на дверь. Так невыразимо трогательно было это немое прощание, что не только насмешка, но даже вопрос замер на губах Монтальво. Он не мог выговорить ни слова здесь.

— Пойдемте, — проговорил он наконец. И Лизбета вышла.

В дверях она обернулась и увидела, что муж ее все еще стоит посреди комнаты и из глаз его катятся слезы, но на лице сияет неземная улыбка, а одна рука поднята к небу. В таком положении он стоял, пока она ушла.

Монтальво и Лизбета вернулись в маленькую комнату.

— Я опасаюсь, на основании виденного, — заговорил Монтальво, — что ваши старания не увенчались успехом.

— Да, не увенчались, — отвечала она голосом умирающей. — Тайна сокровища, о которой вы допытываетесь, не известна ему, стало быть, он не может открыть ее вам.

— Очень сожалею, что не могу поверить вам, — сказал Монтальво, — стало быть… — Он протянул руку к колокольчику, стоявшему на столе.

— Остановитесь! — вскричала Лизбета. — Остановитесь ради самого себя. Неужели вы действительно решились на это ужасное бесполезное преступление? Подумайте, что, здесь или там, вам придется отвечать, за него, подумайте, что я, женщина, обесчещенная вами, выступлю свидетельницей перед престолом Всевышнего против вашей обнаженной, содрогающейся души. Подумайте о том, как этот добрый, никому не сделавший зла человек, которого вы собираетесь убить, будет говорить Христу: «Вот он, мой безжалостный убийца»…

— Молчите! — загремел Монтальво, отскакивая к стене, будто стараясь избежать удара меча. — Молчи, злая колдунья-вещунья. Поздно, говорю тебе, поздно. Руки мои слишком часто обагрялись кровью, на моем

сердце слишком много грехов, в уме слишком много воспоминаний. Не все ли равно? Одним преступлением больше… Пойми же, мне нужны деньги, деньги, чтобы иметь возможность доставлять себе наслаждения, чтобы счастливо прожить свои последние годы и умереть спокойно. Довольно я страдал и работал. Я, теперешний нищий, хочу иметь богатство и отдых. Имей ты двадцать мужей, я капля за каплей вытянул бы их жизнь, чтобы добыть золото, которого жажду.

Пока он говорил под впечатлением страсти, прорвавшей оболочку обычной хитрости и сдержанности, его лицо изменилось. Лизбета, зорко наблюдавшая за выражением его лица, поняла, что всякая надежда потеряна. Перед ней было совершенно такое же лицо, как двадцать шесть лет тому назад, когда она сидела рядом с этим человеком во время бега. Точно так же глаза его, казалось, готовы были выкатиться из орбит, те же клыки сверкали из-под приподнятой губы, и над ней усы, теперь седые, поднялись к скулам. Он был как оборотень, имеющий способность при некоторых магических словах и знаках сбрасывать свою человеческую оболочку и превращаться в зверя. Лицо Монтальво превратилось в лицо хищника-волка, но на этот раз на лице волка, которое Лизбете суждено было увидеть снова, был написан страх.

Припадок прошел, и Монтальво опустился на стул, с трудом переводя дыхание. Лизбета же, несмотря на весь свой смертельный страх, содрогнулась при виде этой открывшейся души, преследуемой дьяволом.

— У меня есть еще одна просьба, — сказала она, — раз муж мой должен умереть, разрешите мне умереть вместе с ним. Неужели вы мне откажите в этом, переполнив чашу ваших преступлений и заставив отойти последнего ангела Божьего милосердия?

— Откажу, — отвечал он. — Неужели я буду терпеть присутствие здесь женщины с таким дурным глазом, чтобы на мою голову обрушились все беды, которые вы мне сулите? Говорю вам, что я боюсь вас. Много лет тому назад ради вас я дал Пресвятой Деве обет, что никогда не подниму руки на женщину. Я свято исполнил свою клятву, и надеюсь, это зачтется мне. И теперь я исполняю свой обет, иначе и вам, и Эльзе не избежать пыток. Уходите и унесите с собой ваше проклятие, — он схватил колокольчик и позвонил.

В комнату вошел солдат, отдал честь и ждал приказания.

— Передай этот приказ офицеру, которому поручен надзор за еретиком Дирком ван Гоорлем. Здесь указан род его казни. Приказания строго выполнять и доносить мне каждое утро о состоянии заключенного. Стой, проводи сеньору из тюрьмы.

Солдат снова отдал честь и направился к двери. Лизбета последовала за ним. Она не сказала больше ни слова, но, проходя мимо Монтальво, взглянула на него, и он осознал, что и в будущем ее проклятье останется на нем.

Лизбета чувствовала, что чума вступает в свои права: голова и кости во всем теле страшно болели, между тем как несчастное сердце истекало кровью от горя. Однако сознание еще оставалось ясным и ноги еще могли двигаться. Дойдя до дома, Лизбета прошла наверх, в гостиную, и послала служанку за Адрианом.

В комнате она застала Эльзу, которая бросилась к ней навстречу, крича:

— Это правда?… Правда?…

— Да, правда, что Фой и Мартин бежали.

— О, Господь милосерден! — с плачем сказала девушка.

— А муж мой в тюрьме и приговорен к смерти.

— О! — воскликнула девушка. — Какая я эгоистка!

— Вполне естественно. Женщина прежде всего вспомнит о любимом человеке. Не подходи ко мне, у меня, кажется, чума.

— Я не боюсь ее, — отвечала Эльза. — Разве я не говорила, что я болела ею еще когда была девочкой, в Гааге.

— Ну, хоть одна хорошая весть среди всех тяжелых. Не говори ничего! Вот идет Адриан, мне надо сказать ему несколько слов. Нет, не уходи. Будет лучше, если ты узнаешь всю правду.

Адриан вошел в комнату, и наблюдательная Эльза заметила, что он очень изменился и казался совсем больным.

— Вы посылали за мной, матушка? — начал он, пытаясь сохранить свою обычную манеру говорить свысока, но, взглянув в лицо матери, замолчал.

— Я была в тюрьме, Адриан, — сказала Лизбета, — и у меня есть что сказать тебе. Как ты, может быть, уже слышал, твой брат Фой и наш слуга Мартин бежали неизвестно куда. Они бежали от мучений худших, чем смерть, из застенка, убив негодяя-палача и заколов часового. Мартин унес раненого Фоя на спине.

— Я рад этому, — взволнованным голосом сказал Адриан.

— Молчи, лицемер! — крикнула на него мать, и он понял, что настала для него минута расплаты. — Мой муж, твой отчим, не бежал. Он в тюрьме и приговорен к голодной смерти.

— Боже мой! — воскликнула Эльза, а Адриан застонал.

— По счастливой или несчастной случайности, мне пришлось видеть

бумагу, в которой мой муж, твой брат Фой и Мартин осуждаются на смерть по обвинению в ереси и убийстве королевских слуг, — заговорила Лизбета ледяным голосом, — а внизу стоит засвидетельствованная законными свидетелями твоя подпись… Адриан ван Гоорль.

У Эльзы вытянулось лицо. Она смотрела на Адриана, как парализованная, между тем как он, схватившись за спинку стула, опирался на нее, покачиваясь взад и вперед.

— Что ты можешь сказать на это? — спросила Лизбета.

Для него, будь он более бесчестен, оставался один выход: отречься от своей подписи. Но это даже не пришло ему в голову. Он пустился в несвязные, путанные объяснения, так как гордость даже в эту ужасную минуту не позволяла ему открыть всю правду в присутствии Эльзы. Ледяное молчание матери приводило его в отчаяние, и он говорил, сам уже не зная что, и, наконец, совсем замолчал.

— Из твоих слов я поняла, что ты подписал эту бумагу в доме Симона в присутствии некого Рамиро, смотрителя городской тюрьмы, который показал документ мне, — сказала Лизбета, подняв опущенную голову.

— Да, матушка, я, действительно, подписал что-то, но…

— Я не желаю слышать ничего больше, — прервала Лизбета. — руководила тобой ревность или досада, природная злость или страх — все равно, ты подписал такой документ, который порядочный человек не подписал бы, даже если бы его растерзали на куски. Ты же дал свое показание по доброй воле, я читала это, и приложил как доказательство отрубленный палец женщины Мег, который украл из комнаты Фоя. Ты убийца своего благодетеля и сердца своей матери, ты желал быть убийцей брата и Красного Мартина. Когда ты родился, сумасшедшая Марта, приютившая меня, советовала убить тебя, предсказывая, что ты принесешь много горя мне и всей моей семье. Я отказалась, и ты погубил нас всех, а главное — погубил свою собственную душу. Я не проклинаю тебя, но предаю тебя в руки Господа, пусть Он поступит с тобой, как Ему будет угодно. Вот деньги, — она подошла к бюро, вынула из него тяжелый кошель с золотом, приготовленный на случай бегства, и сунула его в карман куртки Адриана, обтерев пальцы платком после прикосновения к нему. — Уходи отсюда и никогда больше не показывайся мне на глаза. Я родила тебя, ты плоть от плоти моей, но перед всем миром я отрекаюсь от тебя. Я не знаю тебя больше! Уходи, убийца!

Адриан упал на колени. Он ползал у ног матери, пытаясь поцеловать край ее платья, а Эльза истерически рыдала. Лизбета же оттолкнула его ногой, говоря:

— Уходи, иначе я позову слуг и велю выбросить тебя на улицу!

Адриан поднялся и шатаясь выбрался из комнаты, из дома и, наконец, из города.

Когда он ушел, Лизбета взяла перо и написала крупными буквами следующее объявление:

Объявление к сведению всех лейденских граждан.

Адриан, названный ван Гоорлем, по письменному доносу которого его отчим Дирк ван Гоорль его сводный брат Фой ван Гоорль и слуга Красный Мартин приговорены в тюрьме к пытке, голодной смерти и обезглавливанию, не имеет более права жить в этом доме.

Лизбета ван Гоорль.

Лизбета позвала слугу и приказала ему прибить это объявление над входной дверью, где каждый прохожий мог прочесть его.

— Сделано, — сказала она. — Перестань плакать, Эльза, и уложи меня в постель, откуда я, Бог даст, уже не встану.

*** * ***

Два дня спустя после описанных событий в Лейден приехал измученный и израненный человек — беглец, лицо которого носило отпечаток ужаса.

— Какие вести? — спрашивала толпа на площади, узнав его.

— Мехелен, Мехелен… — задыхаясь проговорил он. — Я из Мехелена.

— Что же случилось с Мехеленом? — спросил, выступая вперед, Питер ван де Верф.

— Дон Фредерик взял его. Испанцы перебили всех от мала до велика: мужчин, женщин, детей. Я убежал, но целую милю я слышал крики тех, кого убивали… Дайте мне вина.

Ему дали вина, и медленно, отрывистыми фразами он передал об одном из ужаснейших преступлений против Бога и себе подобных, когда-либо совершенных злыми людьми во имя Христа. Оно крупными буквами занесено на страницы истории, и нам не нужно передавать здесь его подробности.

Когда все стало известно, толпа лейденцев гневно загудела, послышались крики, требующие мщения. Горожане схватились за оружие, у кого какое было: бюргер — за меч, рыбак — за острогу, крестьянин — за пику. Тут же нашлись предводители, и раздались крики:

— К «Гевангенгоозу»!… Освободим заключенных!…

Толпы народа окружили ненавистное место. Подъемный мост был поднят. Навели новый. Из-за стен в толпу раздалось несколько выстрелов, но затем оборона прекратилась. Толпа взломала массивные ворота и бросилась в тюремные камеры освобождать еще живых заключенных.

Испанцев и Рамиро в тюрьме не оказалось, они исчезли неизвестно куда. Кто-то крикнул:

— Где Дирк ван Гоорль? Ищите его!…

Все бросились к камере, выходящей во двор, крича:

— Ван Гоорль, мы здесь!

Взломали дверь и нашли его лежащим на соломенном матраце со сложенными руками и обращенным кверху лицом: его поразила не рука человека, а чумной яд.

Голодный и без ухода, он умер очень быстро.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЖАТВА

XXIII. Отец и сын

Выйдя из дома матери на Брее-страат, Адриан пошел наугад. Он чувствовал себя таким несчастным, что был даже не в состоянии подумать о том, что ему делать и куда идти.

Он очутился у подножия большого холма, известного до нынешнего времени под именем «бурга», странного места с остатками круглой стены на вершине, как говорят, построенной римлянами. Он взобрался на холм и лег под одним из дубов, выросших там на выступе стены. Закрыв лицо руками, он пытался собраться с мыслями.

Но о чем мог он думать? Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо матери, такое ужасное в своем неестественно гневном спокойствии, что он смутно удивлялся, как мог он, отвергнутый сын, вынести этот взгляд Медузы, поразивший его душу. Зачем он остался в живых? Зачем он еще не умер, если на боку у него есть шпага? Может быть, чтобы доказать, что он не виновен в этом ужасном преступлении? Он не виновен в нем. Ему и в голову не приходило отдать Дирка ван Гоорля, Фоя и Мартина в руки инквизиции. Он только сказал о них человеку, которого считал астрологом и магом, умеющим приготовлять напитки для привораживания женщин. Не его вина, если этот человек оказался членом Кровавого Судилища. Но зачем он говорил так много? Зачем подписал эту бумагу? Лучше бы он дал себя убить. Он подписал и, как ни оправдывайся, он уже никогда не посмеет взглянуть в лицо честному человеку, а тем более женщине, если правда известна ей. Стало быть, он остался в живых не потому, что был невиновен (в его собственных глазах его правота была весьма сомнительна), и не потому, что испугался смерти. Правда, он всегда боялся смерти, но у молодого и впечатлительного человека бывают минуты, когда смерть кажется меньшим из зол. В таком состоянии он находился прошлой ночью, когда наставил было острие меча себе в грудь, но испугался прикосновения этого острия. Теперь это настроение

миновало.

Он остался в живых, думая отомстить, добиться возмездия. Он убьет этого пса Рамиро, замагнетизировавшего его своими чарами и дружеской речью, запугавшего его угрозой смерти до того, что он, как растерявшаяся девочка, подписью обесчестил себя, он, всегда гордившийся своей испанской кровью, кровью рыцарей. Да, он убьет этого коварного пса, не остановившегося перед тем, чтобы, выпытав от него все, что было нужно, выдать его позор той, от кого его следовало скрывать тщательнее всего. Теперь Фой, если они когда-нибудь встретятся, плюнет ему в лицо. Фой честен и ненавидит всякую скрытность, он не может представить себе, до какого унижения нервы могут довести человека! А Мартин, всегда не доверявший ему и не любивший его? Он, если представится случай, с наслаждением разорвет его на клочки, как ястреб куропатку. А хуже всего то, как отнесется к нему Дирк ван Гоорль, человек, принявший его в свою семью, воспитавший его как родного, хотя он был сыном его соперника! Вот он сидит теперь в тюрьме: щеки его с каждым днем западают все больше и больше, тело все больше и больше худеет, пока, наконец, не превратится в живой скелет. Он сидит, глядя на кушанья, которые проносят мимо, и среди мучений долгой ужасной агонии возносит молитвы к небу, прося воздать Адриану за все зло, причиненное им! Адриан не мог дольше выносить этих мыслей, лишился чувств и обрел то спокойствие, которое в наши дни испытывают люди, готовящиеся к ножу хирурга, спокойствие, от которого они часто просыпаются для более острых страданий.

Придя в себя, Адриан заметил, что ему холодно: наступил осенний вечер, и в воздухе чувствовался морозец. Голод также давал о себе знать. Адриан вспомнил, что и Дирк ван Гоорль теперь, вероятно, голоден. Он решил пойти в город поесть и потом обдумать, что ему делать.

Адриан отправился в лучшую городскую гостиницу и, сев к столу под деревьями перед домом, велел слугам подать кушанья и пива. Бессознательно он принял свой обычный насмешливо-высокомерный тон испанского идальго, но тотчас же, несмотря на свое расстройство, с негодованием заметил, что слуга не поклонился ему, а только приказал принести требуемое из дома и, обернувшись спиной к Адриану, заговорил с одним из посетителей.

Скоро Адриан заметил, что он служит предметом обсуждения. Разговаривавшие косились на него и указывали пальцами.

Мало-помалу к двум собеседникам присоединилось еще несколько человек, и они начали рассуждать о чем-то, по-видимому, сильно интересовавшем всех. Собрались также дюжина мальчишек и несколько

женщин, и все начали коситься и указывать на него. Адриану стало неловко. Он начал сердиться, но, надвинув шляпу на глаза и скрестив руки на груди, сделал вид, что ничего не замечает. Слуга принес ему ужин, но так грубо сунул ему кушанье и пиво, что оно расплескалось по столу.

— Осторожнее! Ну-ка, вытри! — приказал Адриан.

— Сам вытри! — ответил слуга, дерзко поворачиваясь на каблуках.

Первым движением Адриана было встать, но он был голоден и решил прежде поужинать. Он взял кружку и стал жадно пить, как вдруг что-то упало на дно кружки, так что пиво снова расплескалось и залило его платье. Он поставил кружку и, схватившись за меч, спросил, кто смел помешал ему пить. Из толпы не раздалось ни шуток, ни насмешек. Она казалась слишком серьезно настроенной, но голос из задних рядов крикнул:

— Это тебе за Дирка ван Гоорля. Ему пища скоро понадобится.

Адриан понял. Все знали о его позоре, всему Лейдену было известно случившееся с ним. Слова замерли у него на губах, и рука выпустила меч. Как ему было поступить? Сделать вид, что он относится с презрением к происшедшему? Он попробовал, было, приказать подать себе новую порцию, но слова не шли у него с языка. Толпа заметила его колебание и, сделав из этого вывод о его виновности, разразилась криками и бранью.

— Предатель!… Испанский шпион!… Убийца!… — раздалось со всех сторон. — Кто донес на нашего Дирка?… Кто предал брата на пытку?…

Затем раздались еще более резкие ноты:

— Убить его!… Повесить вниз головой!… Побить камнями!… Вырвать у него язык!… — и так далее.

Из толпы к нему протянулась длинная женская костлявая рука, и пронзительный голос закричал:

— Дай-ка нам подарочек, красавчик!

Адриан почувствовал, как у него вырвали клок волос. Это было уже слишком! Он должен был подняться и дать себя убить, но вдруг его охватил страх перед этими грубыми руками. Очутиться повешенным за ноги? Нет, он не мог покориться этому! Он выхватил меч и приготовился бежать.

— Держи его! — раздалось из толпы.

Он же рванулся вперед, налетев на мальчика, старавшегося задержать его, расставив руки.

Вид крови и крик раненого мальчика решили вопрос, и толпа ринулась на Адриана, но он был проворен и, прежде чем чья-либо рука успела схватить его, уже бежал по улице, преследуемый градом камней и грязи. Толпа бежала за ним, и началась самая отчаянная травля человека, когда-

либо виданная Лейденом.

Адриан поворачивал с одной улицы на другую, сворачивал за один угол, за другой, а позади плотной массой бежали его преследователи. Несколько женщин протянули через улицу веревку, чтобы остановить его, но он перепрыгнул через веревку, как олень. Четыре человека пытались задержать его, забежав вперед, он вырвался и побежал по Брее-страат. Здесь, на двери дома своей матери, он увидел бумагу и догадался, что там было написано. Толпа, однако, настигала его, к ней присоединялись все новые и новые лица. Теперь ему оставалось одно спасение. Рейн был близко, в этом месте он был широк и моста не было. Может быть, его преследователи не решатся последовать за ним в воду! Адриан бросился в реку и поплыл. За ним вдогонку полетели камни и палки, но к счастью для Адриана, ночь стала быстро спускаться, и он скоро исчез с глаз толпы. До него долетели крики стоявших на берегу, возвещавшие, что он утонул.

Однако Адриан не утонул. Он с трудом выбрался через илистую грязь на противоположный берег и, спрятавшись между старыми лодками и наваленным лесом, ждал, пока придет в себя. Но долго он не мог оставаться здесь: стало слишком холодно. Он потащился дальше в совершенной темноте.

*** * ***

Полчаса спустя, когда Симон-мясник и его супруга Черная Мег уселись, отдыхая от дневных трудов, за ужин, в дверь их дома постучали. Они выронили ножи и испуганно переглянулись.

— Кто это может быть? — проговорила Мег.

Симон покачал круглой головой.

— Я никого не жду, — сказал он, — и не люблю непрошеных гостей. В городе скверный дух!

— Ступай, посмотри! — приказала Мег.

— Ступай сама… — он добавил эпитет, способный взбесить самую кроткую женщину.

Мег отвечала ругательством и запустила металлическую тарелку в лицо мужу, но прежде, чем ссора успела разгореться, снова у двери раздался стук колотушки и на этот раз все сильнее и сильнее. Черная Мег пошла отпирать, а Симон спрятался за занавеску. Обменявшись шепотом

несколькими словами с посетителем, Черная Мег пригласила его войти в комнату, ту самую роковую комнату, где Адриан подписал свой донос. Теперь, при свете, Мег узнала его.

— Симон, иди сюда: это наш графчик! — закричала она. Симон вышел, и почтенная парочка, подперши бока руками, разразилась хохотом!

— Это наш дон… наш дон… — задыхаясь повторил Симон.

Смех их, видевших Адриана высокомерным, в богатом платье, был вполне естественен при виде этого несчастного, стоящего, прижавшись к стене, с волосами, слипшимися от грязи, разбитым виском, из которого сочилась кровь, в изорванном платье, пропитанном грязью и водой, в одном сапоге. С минуту беглец сносил их насмешки, но затем, обнажив меч, вдруг, не говоря ни слова, бросился на скотоподобного Симона. Тот побежал вокруг стола.

— Перестаньте смеяться, — закричал Адриан, — или познакомитесь с этим! Я теперь на все готов.

— Это замечательно! — отвечал Симон, уже не смеясь, так как видел, что шутить дальше рискованно. — Что вам угодно, хеер Адриан?

— Угодно, чтобы вы дали мне кров и пищу, пока мне вздумается остаться здесь. Не бойтесь, у меня есть деньги, чтобы заплатить.

— Вы опасный гость, — вмешалась Мег.

— Знаю, — отвечал Адриан, — только, если я буду на улице, я буду еще опаснее. Не я один замешан в доносе, и если меня захватят, то доберутся и до вас. Понимаете?

Мег кивнула. Она прекрасно понимала. Лейден становился опасным местопребыванием для людей, занимавшихся ее ремеслом.

— Постараемся устроиться, менеер, — сказала она. — Пройдите наверх, в комнату мага, и переоденьтесь в его платье: оно будет вам впору, вы почти одинакового роста.

У Адриана дыхание сперло в горле.

— Он здесь? — спросил он.

— Нет, но комната остается за ним.

— Он заходит к вам?

— Думаю, что будет заходить, раз оставил комнату за собой. Вам нужно видеть его?

— Очень нужно!… Но вы не говорите ему. Мое дело может подождать, пока мы встретимся. Высушите мое платье как можно скорее. Я не люблю носить чужое.

Четверть часа спустя Адриан, обсохший и переодетый, уже не похожий на беглеца, за которым гонится толпа, вернулся в гостиную.

Когда он вошел, одетый в платье Рамиро, Мег толкнула мужа и шепнула:

— Правда, похожи?

— Как два дьявола в аду, — ответил Симон критически и прибавил: — Ужин готов, менеер, садитесь и кушайте.

Адриан поел с аппетитом: мясо и вино были хороши, а он был голоден. Ему доставило грустное удовольствие сознание, что он может еще наслаждаться чем-нибудь, хотя бы едой и питьем.

Поужинав, он описал хозяевам случившееся, или то, что считал нужным передать, и затем отправился спать, спрашивая себя, не убьют ли его хозяева во время сна, чтобы завладеть кошельком с деньгами. Он даже надеялся на это и крепко проспал целых двенадцать часов.

Следующий день, до самого вечера, Адриан просидел в доме шпионов, отдыхая и раздумывая о своем падении. Черная Мег сообщила о происходившем в городе. От нее Адриан узнал, что мать его заболела чумой и что приговор о голодной смерти застал бездыханное тело Дирка ван Гоорля. Он узнал также подробности бегства Фоя и Мартина, бывшие предметом всеобщего разговора в городе. В глазах народа беглецы стали героями, и кто-то даже сочинил на этот сюжет песенку, которую распевали на улицах. Два стиха ее относились к Адриану, и Черная Мег повторила их ему со скрытым злорадством. Да, брат его превратился в народного героя, а он, Адриан, стоявший бесконечно выше его, стал предметом всеобщего презрения. И во всём этом был виноват Рамиро.

Адриан ждал Рамиро. Рано или поздно Рамиро заглянет в этот дом, и тогда… Адриан вынул свою рапиру, отпарировал, и, наконец, прошипев угрозу, воткнул ее в пол, воображая, что горло Рамиро находится между острием оружия и досками. Конечно, в поединке, который неминуемо состоится между ними, Рамиро, наверняка искусно владеющий оружием, может взять верх и тогда рапира проколет горло Адриана. Но что из этого? Ему все равно. Он решил свести счеты с Рамиро, а там пусть пойдет к дьяволу он сам или Рамиро, или оба вместе.

Под вечер второго дня Адриан услышал крики на улице, и вошедший Симон рассказал, что прибыл человек с плохими вестями из Мехелена. Пока он еще не знал подробностей и отправился разузнать их.

Прошло несколько часов, и снова раздались крики, на этот раз более отчетливые. Черная Мег пришла с вестями об избиении жителей Мехелена и о восстании лейденцев, направившихся к городской тюрьме. Затем она снова убежала: где вода замутилась, там Черная Мег ловила рабу.

Прошел еще час. Снова кто-то вошел, отворив входную дверь ключом,

а потом осторожно запер.

«Симон или Мег», — подумал Адриан, но на всякий случай из предосторожности спрятался за занавеску.

Дверь комнаты отворилась, и вошел Рамиро. Для Адриана настал удобный момент. Маг казался расстроенным. Он сел на стул и вытер лоб шелковым платком, а потом, потрясая кулаком в воздухе, начал проклинать всех и вся, главное же — лейденских граждан. После этого он снова погрузился в молчание и сидел, неопределенно смотря в пространство и крутя свои седые усы.

Теперь настала минута, которой Адриан мог воспользоваться. Ему следовало выйти из-за занавески и проколоть Рамиро прежде, чем тот успеет подняться со стула. План был довольно привлекательный, и Адриан привел бы его в исполнение, если бы его не остановило воображение, подсказавшее, что убитый таким образом Рамиро никогда не узнает, за что он убит, а Адриан непременно хотел, чтобы тот узнал это. Ему мало было просто отомстить Рамиро, он должен знать, за что Адриан мстит ему. Кроме того, надо отдать справедливость Адриану, он предпочитал открытый поединок удару из-за угла. Люди благородные бьются, а убийцы нападают сзади.

Выбрав удобный момент, Адриан вышел из-за занавески и стал между Рамиро и дверью, которую запер на задвижку, чтобы никто не прервал их свидания. Услышав шум, Рамиро вздрогнул и поднял глаза. В этот момент он понял свое положение. Его загорелое лицо побледнело, так как он знал, что опасность велика, но он смело взглянул ей в лицо, как дворянин, видевший много разных опасностей на своем веку.

— Хеер Адриан ван Гоорль, — сказал он, — я рад видеть своего ученика и друга, но позвольте вас спросить, зачем вы в этой тесной комнате так угрожающе размахиваете обнаженной рапирой?

— Негодяй, ты знаешь, зачем! — отвечал Адриан. — Ты предал меня и моих родных, опозорил меня… В награду я убью тебя.

— Вижу, опять это дело ван Гоорля, — сказал Рамиро. — Ни на полчаса мне нет от него покоя. Ну, прежде чем вы приступите к выполнению вашего намерения, вам, может быть, интересно будет узнать, что ваш почтенный батюшка, попостившись несколько дней, теперь, вероятно, находится на свободе, так как чернь взяла приступом «Гевангенгооз». Однако, я не могу скрыть, что он сильно страдает от чумы, которую ваша матушка со свойственной ей находчивостью передала ему, считая подобный конец для него более приятным, чем тот, который был назначен ему законом.

Рамиро говорил медленно, все время стараясь встать так, чтобы свет из окна падал на его противника, между тем как он сам оставался в тени, что, как он знал по опыту, очень удобно при поединке.

Адриан не отвечал, но поднял меч.

— Одну минуту, молодой человек, — продолжал Рамиро, в свою очередь обнажая оружие и становясь в позицию. — Вы серьезно хотите драться?

— Да, — отвечал Адриан.



— Какой же вы глупец после этого, — заявил Рамиро. — Почему вы в ваши годы ищите смерти? Ведь у вас против меня столько же шансов, сколько у крысы против терьера. Смотрите! — Он коварно направил свой меч прямо в сердце своего противника, но Адриан был настороже и

парировал удар.

— Я знал, что вы сделаете это, — сказал Рамиро, — я бы не промахнулся, но все ангелы знают, что я не желаю ранить вас. — Про себя же он подумал: — Молодец опаснее, чем я предполагал. Теперь надо думать о жизни. Старая ошибка — слишком высоко метил.

Но тут Адриан бросился на него, как тигр, и в следующие минуты в комнате не было слышно ничего, кроме звона стали и учащенного дыхания сражающихся.

Сначала удача была на стороне Адриана, он нападал ожесточенно, и его более пожилому противнику приходилось только обороняться. Отразив удар Рамиро, Адриан слегка ранил его в левую руку. Царапина, видно, разгорячила Рамиро, он перестал обороняться и начал нападать. Искусство и сила пришли ему на помощь. Адриану пришлось медленно отступать перед ним до тех пор, пока можно было двигаться в тесной комнате, и вдруг, споткнувшись или потеряв равновесие, он кубарем полетел к противоположной стене. С гортанным криком торжества Рамиро бросился к нему, намереваясь покончить с ним, пока Адриан еще не успел стать в позицию, но задел ногой за стул, опрокинутый во время борьбы, и во всю длину растянулся на полу.

Теперь настала очередь Адриана воспользоваться минутой. В одно мгновение он очутился возле Рамиро и приставил острие рапиры к его горлу. Однако он не заколол его сразу, не из сожаления, а из желания перед смертью помучить своего врага. Подобно своим соплеменникам Адриан мог быть мстительным и кровожадным, когда в нем просыпалась жажда мести. Рамиро быстро оценил положение. Физически он был беспомощен, потому что Адриан одной ногой наступил ему на грудь, а другой — на рукоятку его меча и не отнимал острия от его горла. Приходилось пустить в ход хитрость.

— Готовьтесь умереть! — сказал Адриан.

— Еще рано, — ответил Рамиро.

— Как это? — с изумлением спросил Адриан.

— Потрудитесь немного приподнять острие, оно колет меня. Благодарю вас. Теперь я вам объясню, почему я так говорю. Дело в том, что не принято, чтобы сын заколол отца как первую попавшуюся свинью…

— Сын?… Отца?… — спросил Адриан. — Разве?…

— Да, мы имеем счастье состоять в таких священных отношениях друг к другу.

— Вы лжете! — закричал Адриан.

— Дайте мне встать и взяться за меч, тогда вы поплатитесь за это

слово. Никто еще не говорил графу Хуану де Монтальво, что он лжет, оставаясь после этого в живых…

— Докажите это, — сказал Адриан.

— В моем настоящем положении, до которого меня довела несчастная случайность, а не неумение, я не могу доказать ничего. Но если вы сомневаетесь, спросите у своей матери или у наших хозяев или загляните в церковные книги Грооте-кирк, не найдете ли вы там под числом, которое я сообщу вам, записи о браке Хуана де Монтальво и Лизбеты ван Хаут, от какового брака и родился сын Адриан. Я докажу вам это. Не будь я вашим отцом, разве спастись бы вам из рук инквизиции и разве не проткнул бы я вас дважды за последние пять минут? Вы, правда, хорошо деретесь, но все же вам далеко до меня.

— Даже если вы отец мне, почему бы мне не убить вас, после того как вы угрозой заставили меня сделать, что хотели? Вы опозорили меня, из-за вас за мной гнались по улице, как за бешеной собакой, из-за вас мать отреклась от меня! — Адриан смотрел так свирепо и так низко опустил меч, что Рамиро почти потерял надежду.

— На все это могут найтись объяснения в душе человека религиозного, — сказал он, — но я приведу вам один довод, касающийся вашей личной выгоды. Если вы убьете меня, то проклятие, постигающее отцеубийцу, будет над вами и в здешней, и в будущей жизни…

— На мне уже тяготеет более тяжелое проклятие, — начал было Адриан, но в голосе его послышались колебания. Рамиро, искусно умевший играть людскими сердцами, затронул настоящую струну, и суеверие Адриана отозвалось.

— Будь благоразумен, сын мой, — снова начал Рамиро, — и останови свою руку, прежде чем совершишь дело, которому ужаснется сам ад. Ты думаешь, что я враг тебе, но ты ошибаешься. Все это время я старался делать тебе добро, но как я могу объяснить тебе все, лежа, словно теленок под ножом мясника? Отложи в сторону мой меч и свой и дай мне сесть, тогда я сообщу тебе план, который послужит на пользу нам обоим. Ведь что такое жизнь для меня, знавшего столько горя? Всевидящий Боже, прими мою душу и, молю Тебя, прости этому юноше его ужасное преступление, он не в полном разуме и впоследствии раскается в своем поступке.

Рамиро выпустил из рук меч, уже ненужный ему. Придвинув его к себе концом своего оружия, Адриан нагнулся и поднял его.

— Встаньте, — сказал он, снимая ногу. — Я могу убить вас после, если захочу.

Если бы он мог заглянуть в сердце своего отца, с трудом поднимавшегося на ноги, он не стал бы откладывать своей мести.

«Здорово же ты напугал меня, мой друг, — подумал Рамиро, — но теперь опасность миновала, и если я не отплачу тебе, то твое имя не Адриан».

Встав и отряхнувшись, Рамиро уселся на стул и заговорил очень серьезно. Во-первых, он с самой убедительной чистосердечностью доказал, что, заставляя Адриана действовать в своих целях, он не подозревал, что Адриан его сын. Конечно, доводы не выдерживали критики, но для Рамиро главным было выиграть время, а Адриан слушал. Рамиро рассказал, что только после того, как мать Адриана случайно, а вовсе не по его желанию увидела документ, который содержал обвинение против ее мужа, он узнал, что Адриан ван Гоорль ее сын, а кроме того, и его, Рамиро, собственный. Однако, — поспешил он прибавить, — все это теперь уже старая история и не имеет никакого значения в настоящем. Из-за волнения черни, заставившей его покинуть пост в крепости, он находится временно в затруднительных обстоятельствах, а Адриан опозорен. Вот почему он хочет сделать Адриану одно предложение. Почему бы им не объединиться, почему бы естественной связи, существующей между ними и чуть было не прерванной мечом, — о чем оба они должны сожалеть, — не перейти в действительно нежную привязанность? Он, отец, имеет положение, большой опыт, друзей и виды на огромное состояние, которым, конечно, не может вечно пользоваться. На стороне же сына молодость, красота, приятные изысканные манеры, образование светского человека, ум и честолюбие, которые поведут его далеко, а в ближайшем будущем доставят ему возможность приобрести расположение некоторой молодой особы.

— Но она ненавидит меня, — сказал Адриан.

— Вот и видно, что ты еще неопытен, — со смехом сказал Рамиро. — Как легко юность приходит в восторг и впадает в уныние! Сколько я знаю счастливых браков, начавшихся подобной ненавистью? Дело это устроится, даю слово. Если ты хочешь жениться на Эльзе Брант, я помогу тебе, если не хочешь, никто тебя не заставляет.

Адриан задумался, и так как в нем была практическая жилка, то спросил:

— Вы говорили об огромном богатстве, на которое имеете виды. Что это за богатство?

— Я скажу тебе, — шепотом начал родитель, осторожно осматриваясь. — Я намереваюсь отыскать огромное сокровище Хендрика Бранта. С его поисков и начались все постигшие меня теперь неприятности. Видишь, как

я был откровенен с тобой? Ведь если ты женишься на Эльзе, все это богатство по закону будет твоим, и я могу из него получить столько, сколько тебе будет угодно дать мне. В нашем гербе стоит девиз: «Вверься Богу и мне». Поэтому я предоставляю решение твоей чести — чувству, которое никогда не ослабевало в роде Монтальво. Не все ли равно, кто законный владелец состояния, раз оно находится в семье.

— Конечно, все равно, — мельком ответил Адриан, — я не коммерсант.

— Ну и прекрасно! — продолжал Рамиро. — Но мы заговорились, и если мне суждено жить, то есть дела, которыми я должен заняться. Ты слышал все, что я хотел сказать. Меч в твоих руках, я тоже в твоих руках и отпущен только под честное слово. Прошу же тебя, реши скорее. Только, если ты намереваешься прибегнуть к оружию, то позволь мне указать тебе, куда целиться, я не желаю бесцельных мучений.

Он встал и поклонился вежливо и с достоинством. Адриан взглянул на него и заколебался.

— Я не доверяю вам, — сказал он, — вы уже раз обманули меня и, думаю, обманете во второй раз. Я не особенно высокого мнения о людях, которые переодетыми и под чужим именем устраивают западни, чтобы добыть свидетельство. Но я в трудном положении, я одинок, и у меня нет друзей. Я хочу жениться на Эльзе и вернуть себе положение, которое занимал в обществе. Кроме того, вы сами понимаете, я не могу перерезать хладнокровно горло родному отцу, — Адриан бросил один из мечей.

— Я не ожидал другого решения от такого благородного человека, сын мой Адриан! — заметил Рамиро, поднимая свой меч и вкладывая его в ножны. — Но теперь, прежде чем мы заключим окончательный союз, я должен предложить тебе два условия.

— Какие же? — спросил Адриан.

— Во-первых, чтобы между нами существовали такие дружеские отношения, какие должны существовать между сыном и отцом, отношения, не допускающие никакой тайны. Второе условие может показаться тебе несколько тяжелым. Несмотря на то, что судьба вела меня по тернистому пути, и неизвестно, что еще готовит мне в будущем, была одна вещь, которую я всегда хранил свято и в чистоте и которая, в свою очередь, не раз в тяжелую минуту награждала меня за мою приверженность, — моя вера. Я — католик и желал бы, чтобы сын мой тоже был католиком. Эти ужасные заблуждения, поверь мне, так же опасны для души, как теперь они опасны для тела. Могу ли я надеяться, что ты, воспитанный, но не рожденный в ереси, согласишься учиться правилам истинной веры?

— Конечно, можете! — почти с увлечением воскликнул Адриан. — Надоели мне эти собрания, пение псалмов и постоянное опасение попасть на костер. С тех пор как помню себя, я всегда желал быть католиком.

— Твои слова делают меня счастливым человеком, — сказал Рамиро. — Позволь мне отпереть дверь, я слышу, наши хозяева возвращаются. Почтенный Симон и фроу Мег, прошу вас принять участие в счастливом событии, этот молодой человек — мой сын, и в знак моей отеческой любви я обнимаю и целую его в вашем присутствии.

Черная Мег, с изумлением смотревшая на Рамиро из-за плеча Адриана, вдруг увидела, что его единственный глаз вдруг закрылся. Неужели дон Рамиро сделал ей знак?

XXIV. Марта произносит проповедь и открывает тайну

Через два дня после своего примирения с отцом Адриан был принят в лоно католической церкви. Приготовления были кратки; они состояли из трех свиданий с монахом, которого приводили ночью. Наставник нашел в своем ученике такую готовность к восприятию его учения и такие способности, что по просьбе Рамиро, которого собственные соображения заставляли желать, чтобы сын как можно скорее присоединился к католичеству, монах объявил излишним продолжать период испытания. Поэтому в сумерки третьего дня (при тогдашнем настроении общества они не решались показываться днем) Адриана отвели в церковь Грооте-кирк, где он исповедался в своих грехах аббату, отцу Доминику, что оказалось простой формальностью, так как список грехов, приготовленный Адрианом, был выслушан очень быстро. Ко всем его прегрешениям аббат отнесся весьма легко, а впоследствии Адриан узнал, что с церковной точки зрения подобные преступления считались скорее даже подвигами. Серьезно было понято только его отречение от еретических заблуждений, и, получив удовлетворительные ответы в этом отношении, исповедник дал раскаявшемуся грешнику полное отпущение.

Затем был совершен обряд крещения со всеми формальностями, какие были возможны при данных обстоятельствах. При церемонии присутствовали несколько священников. Воспреемниками были его отец и Симон, получивший хорошую плату за труд. Во время совершения обряда произошло неожиданное событие. С самого начала на площади перед церковью слышался топот ног и раздавались голоса толпы, теперь же эта толпа начала стучать в двери и бросать камни в оконные витражи, разбивая чудные древние стекла. Вдруг в церковь вбежал один из прислужников и шепнул аббату что-то на ухо, отчего тот побледнел и поспешил закончить обряд.

— Что случилось? — спросил Рамиро.

— К несчастью, сын мой, эти собаки-еретики увидели, как вы или наш новообретенный брат, не знаю точно, кто из вас, вошли в это священное место, и теперь окружили церковь, требуя вашей крови, — отвечал монах.

— Так надо бежать! — сказал Рамиро.

— Сеньор, это невозможно, — вмешался дьячок, — все выходы

охраняются ими. Слышите?…

В эту минуту раздался сильный стук в дубовую дверь.

— Не может ли ваше преподобие обратиться к ним с внушением? — спросил Рамиро. — Иначе… — Он пожал плечами.

— Будем молиться, — сказал один из монахов дрожащим голосом.

— Конечно!… Только лучше бы прежде уйти. Вероятно в церкви найдутся потайные помещения, если же мы останемся здесь, нас перережут.

Тогда дьячок, весь дрожа, побелевшими губами прошептал:

— Идите за мной все. Постойте. Потушите огни.

Все свечи были погашены, и, взявшись за руки, они в темноте пошли за дьячком. Они пробирались по пустой церкви, где их шаги гулко раздавались среди тишины, составлявшей резкий контраст с шумом голосов снаружи и стуком в дверь. Один из монахов, толстый аббат Доминик, отстал от прочих и пробирался вперед, протягивая руку в пространство и взывая к остальным. Дьячок, было, отозвался, но Рамиро сердито приказал ему молчать, прибавив:

— Ты хочешь, чтобы всех нас растерзали из-за монаха?

Они продолжали идти, и крики Доминика все слабели в отдалении и, наконец, совершенно стихли, заглушённые ревом, раздавшимся снаружи.

— Здесь, — сказал дьячок, ощупав пол руками. При слабом свете луны, проникшем в эту минуту через окно на хорах, Адриан увидал перед собой дыру в полу.

— Спускайтесь, там есть ступени, — сказал проводник. — Я задвину камень.

Один за другим они спустились по шести или семи узким ступеням в темное помещение.

— Где мы? — спросил один из монахов, когда дьячок, задвинув камень, присоединился ко всем.

— В фамильном склепе графов ван Валькенберг, которого, ваше преподобие, похоронили три дня тому назад. К счастью, каменщики еще не заделали вход. Если вашему сиятельству душно, — обратился он к Адриану, — станьте на гроб почтенного графа и вам будет легче дышать.

Адриан задыхался. Он воспользовался советом и увидел, что над самой его головой находилась какая-то каменная резьба с мелкими отверстиями, вероятно, доски мраморной гробницы, находившейся в церкви над полом. Через эти отверстия был виден лунный свет, дрожавший на полу хоров. В то время как Адриан смотрел в одно из этих отверстий, он услышал рядом с собой голос монаха:

— Слышите?… Двери выломаны. Помоги нам, святой Панкратий. — И монах, опустившись на колени, начал усердно молиться.

Уступив ударам, большие двери с треском растворились, и толпа ворвалась в храм. Она хлынула с ревом и гулом, как поток, прорвавший плотину, с факелами, фонарями на шестах, топорами, секирами и мечами в руках, и дошла до дубового иконостаса чудной резной работы, перед которым, возвышаясь на шестьдесят футов над полом церкви, стояло распятие с фигурами Пресвятой Девы и святого Иоанна по сторонам. Здесь вдруг с детства знакомые каждому величие и тишина святого места с его нишами, в которых отдавалось эхо, с его освещенными луной витражами, негаснущими лампадами, мерцавшими здесь и там, подобно огням рыбачьих лодок, мерцающим среди темных вод, казалось, охватило толпу. Как при священном голосе, раздавшемся среди темноты с неба, разбушевавшиеся волны и ветер утихли, так теперь при виде священных изображений Христа, стоящего с поднятыми руками над алтарем, распятого в терновом венце на кресте, молящегося до кровавого пота в саду Гефсиманском, восседающего за Тайной вечерей и произносящего заповедь: «Возлюбите друг друга, как Аз возлюбил вас», — возбужденная толпа вдруг стихла.

— Их нет здесь. Уйдем! — раздался голос.

— Нет, они здесь, — возразил другой женский голос, в котором слышались жажда мести. — Я следила за ними до самых дверей, я видела убийцу — испанца Рамиро, шпиона Симона, предателя Адриана и монахов, наших мучителей.

— Пусть их накажет Господь, — сказал первый голос, показавшийся знакомым Адриану. — Мы сделали достаточно, разойдемся по домам.

Раздался ропот.

— Пастор прав. Слушайтесь пастора Арентса.

Более спокойная часть толпы собиралась разойтись, как вдруг с противоположного конца церкви раздался крик:

— Вот один из них. Ловите его!

Через минуту окруженный людьми с факелами появился аббат Доминик. Глаза его вылезли из орбит, а разорванная ряса волочилась по полу. Измученный и испуганный, он бросился к подножию фигуры святого и молил о пощаде, пока десяток рук снова не поставили его на ноги.

— Выпустите его, — сказал пастор Арентс. — Мы боремся против церкви, а не против ее служителей.

— Выслушайте сначала меня, — раздался тот же женский голос, и все взгляды обратились к кафедре, где появилась седая костлявая старуха со

сверкающими глазами, желтыми зубами и лицом, вытянутым, как у лошади, а по обеим сторонам ее стояли две женщины с факелами в руках.

— Это Кобыла! — раздались возгласы. — Марта с озера. Продолжай, Марта. На какую тему будет твоя проповедь?

— Кто проливает кровь человеческую, кровь того также прольется, — ответила она звучным, торжественным голосом, и тотчас же вокруг водворилось полное молчание. — Вы называете меня «Кобылой», — продолжала она. — А знаете ли вы, почему мне дали это прозвище? Они назвали меня так, вытянув мне губы вперед и изуродовав клещами мое красивое лицо. А знаете ли, что они принудили меня сделать? Они заставили меня нести моего мужа на спине на костер, говоря, что кобыла для того и создана, чтобы на ней ездили. И знаете, кто сказал это? Этот самый монах, который теперь стоит перед вами.

Когда она произнесла эти слова, крик ярости огласил своды церкви. Марта подняла руки, и снова водворилась тишина.

— Это сказал он, святой отец Доминик. Пусть он опровергнет мои слова. Что? Он не узнает меня? Может быть, время, горе, горячие клещи изменили лицо фроу Марты ван Мейден, которую называли Лилией Брюсселя. Взгляните на него теперь! Он вспомнил Лилию Брюсселя. Он вспомнил ее мужа и ее сына, которых он сжег. Да будет Бог судьею между нами. Сделайте с этим дьяволом, что Бог укажет вам!… Где же другие? Где Рамиро, смотритель «Гевангенгооза», много лет тому назад потопивший бы меня подо льдом, если бы фроу ван Гоорль не купила мою жизнь? Где он, приговоривший ее мужа Дирка ван Гоорля к голодной смерти? Сделайте с ним, что Бог укажет вам!… А третий, полуиспанец, предатель Адриан, носивший фамилию ван Гоорля, которого привели сегодня сюда, чтобы принять католическую веру, и который подписал донос, послуживший обвинением Дирку ван Гоорлю и приведший в тюрьму его брата Фоя, спасенного Красным Мартином. Сделайте с ним, что Бог укажет вам!… А четвертый, Симон-шпион, руки которого уже много лет обагряются кровью невинных? Симон мясник… шпион…

— Довольно, довольно, — ревела толпа. — Веревку, веревку! Повесить его на распятии!

— Друзья мои! — закричал Арентс. — Отпустите его. «Аз воздам», — говорит Господь.

— Пусть так, а мы ему прежде дадим задаточек! — раздался голос,

— Молодец, Ян!… Куда взобрался!

Все подняли головы и увидели в шестидесяти футах над своими головами на одной из перекладин креста человека, сидящего со связкой

веревок за плечами и свечой, привязанной ко лбу.

— Упадет, — сказал кто-то.

— Ну да. Это Ян-кровельщик, он может висеть в воздухе, как муха.

— Держите конец, — раздался голос, и сверху спустилась веревка.

— Пощадите! — молил несчастный монах, когда палачи схватили его.

— А ты пощадил хеера Янсена несколько месяцев тому назад?

— Я радел о спасении его души, — оправдывался доминиканец.

— А теперь мы порадеем о твоей душе. Твоим же средством полечим тебя.

— Пощадите!… Я вам укажу, где остальные.

— Где же? — спросил один человек, выступая вперед и отстраняя товарищей.

— Спрятались в церкви… в церкви…

— Мы знаем это, собака-предатель! Ну, спасайте его душу! *Лошадь для того, чтобы на ней ездили*, — говорил ты. — А ангел должен уметь летать, — говорим мы. Ну, взвивайся!

Так кончил свою жизнь аббат Доминик в руках мстившей ему толпы, свирепой и кровожадной. Читатель не должен думать, что все ужасы этих дней шли исключительно от инквизиции и испанцев. Приверженцы новой церкви тоже совершали вещи, от которых нас бросает в дрожь. В извинение им можно сказать лишь, что они, по сравнению со своими притеснителями, были как отдельные деревья по сравнению с лесной чащей, и что преследования, которым они подвергались, и страдания, которые испытывали, доводили их до сумасшествия. Если бы наших отцов, мужей и братьев сжигали на кострах, мучили в подземельях инквизиции или избивали тысячами при разорении городов, если бы наших жен и дочерей позорили, наши дома грабили и сжигали, а права попирали, то нечему было бы удивляться, что мы сделались бы жестокими, если бы дело коснулось нас. Думаем, что благодаря Богу цивилизованное человечество никогда больше не подвергнется подобному испытанию.

На перекладине креста висел в воздухе мертвый монах, как возмутившийся матрос, вздернутый на мачте корабля, который он собирался предать. Но его смерть не успокоила ярости торжествующей толпы.

— Где другие? — кричала она. — Найдите других.

И люди бегали с факелами и фонарями по большой церкви. Они побывали на хорах, обшарили ризницу, все часовни и, не найдя ничего, снова крича и жестикулируя, собрались в притворе.

— Приведите собак! — закричал голос. — Они чутьем найдут.

Привели собак. Они с лаем бегали взад и вперед, но, сбитые с толку множеством людей, не зная, чего искать, ничего не нашли. Кто-то сорвал образ со стены, и в следующую минуту с криками «долой идолов!» началось разрушение.

Фанатики устремились к алтарям и хранилищам церковной утвари. Вся резьба была отбита и разрублена топорами и молотками, занавесы, закрывавшие шкафы, были оторваны, в священные чаши было влито вино, приготовленное для таинства, и богохульники пили его с грубым хохотом. Они сложили в церкви костер и разжигали его священными изображениями, обломками резьбы и дубовых скамеек, а в этот костер стали бросать золотую и серебряную утварь. Они пришли сюда не грабить, а мстить, и плясали вокруг костра, а со всех сторон раздавался треск падающих статуй и звон разбиваемых стекол.

Мерцающий зловещий свет костра проник через решетчатую плиту гробницы, и Адриан увидел лица своих товарищей по заключению. Что это была за картина! Весь склеп был заставлен полуистлевшими гробами, из которых кое-где выглядывали белеющие кости, только гроб, на котором он стоял, был еще под покровом из яркого бархата. А кругом эти лица! Монахи в полном облачении прижались к углам, сидя на полу, бормоча неизвестно что побелевшими губами, дьячок лишился чувств, Симон обхватил гроб, как утопающий обхватывает доску, а среди них стоял спокойный, насмешливо улыбающийся Ра-миро с обнаженной шпагой в руке.

— Мы погибли, — завопил один из монахов, потеряв всякое самообладание, — они убьют нас, как убили святого аббата.

— Нет, не погибли, — заметил Рамиро. — Мы в безопасности, но если ты посмеешь еще раз открыть свою пасть, то сделаешь это в последний раз. — Подняв клинок, он пригрозил им и прибавил: — Молчите! Кто пикнет, тому конец!

Сколько времени продолжалось их заключение — час, два, три — никто из заключенных не знал, но, наконец, буйство в церкви закончилось. Церковь со всеми ее богатствами и украшениями была опустошена, но, к счастью, пламя не достигло крыши, и стены не загорелись.

Мало-помалу иконоборцы устали; казалось, что и ломать больше нечего, и в дыму стало тяжело дышать. По два и по три человека они стали выходить из поруганного храма, и снова в нем водворилась торжественная тишина. Тонкие струйки дыма поднимались над тлевшим костром, по временам с треском обрушивался кусок надломленной лепной работы, и холодный осенний ветер врывался в выбитые окна. Дело было совершено,

месть измученной толпы наложила свою печать на древнее здание, где молились ее предки в течение нескольких поколений, и снова тишина наполнила здание, и кроткие лунные тучи залили опустевшую святыню.

Один за другим, как приведения, вылезали беглецы из склепа, прокрадывались к маленькой двери церкви и с бесконечными предосторожностями выходили на улицу, где исчезали во тьме, прикладывая руку к сердцу, чтобы ощутить, бьется ли оно еще.

Проходя мимо распятия, Адриан взглянул наверх, где над повергнутой статуей Пресвятой Девы виднелся кроткий лик Спасителя. Там же, неподалеку, виднелось другое мертвое лицо, казавшееся необыкновенно маленьким и жалким на этой высоте. Это было искаженное ужасом лицо аббата Доминика, еще недавно возбуждавшего зависть, благоденствующего церковного сановника, который всего несколько часов тому назад привлек его в лоно святой церкви. Никакое привидение не могло бы напугать Адриана больше, чем этот мертвец, но он стиснул зубы и шатаясь побрел дальше, вполне доверяясь Рамиро и следуя за слабым блеском его шпаги.

Прежде чем занялся рассвет, Рамиро увел его из Лейдена.

*** * ***

Вечером этого же дня женщина, закутанная в грубый фризовый плащ, постучалась у дверей дома на Брее-страат и спросила фроу ван Гоорль.

— Госпожа лежит при смерти, у нее чума, — ответила служанка. — Уходи скорей из зараженного дома, кто бы ты ни была.

— Я не боюсь чумы, — сказала посетительница. — А фроу Эльза еще не легла спать? Скажите ей, что Марта по прозвищу Кобыла желает ее видеть.

Минуту спустя Эльза, бледная, утомленная, но такая же прелестная, как всегда, вошла в комнату, поспешно спрашивая:

— Что нового?… Он жив?… Как его здоровье?…

— Он жив, ювфроу Эльза, но не здоров: рана на бедре загноилась и он не может ни ходить, ни даже стоять. Не бойтесь, время и перевязки вылечат его, а лежит он в безопасном месте.

Эльза схватила руку Марты и хотела поцеловать.

— Не дотрагивайся до нее: на ней кровь, — сказала Марта, отдергивая руку.

— Кровь? Чья кровь? — спросила Эльза, отшатнувшись.

— Чья кровь?… — с глухим смехом спросила Марта. — Кровь многих испанцев. Где, вы думаете, Кобыла скачет по ночам? Спросите у испанцев, бороздящих Харлемское озеро. А теперь со мной Красный Мартин, и мы ходим вместе, захватывая добычу, где она попадается.

— Довольно! — сказала Эльза. — Изо дня в день одно и то же — только смерть. Я знаю, несчастье омрачило ваш рассудок, но… чтобы женщина решилась убивать!

— Женщина! Я не женщина: женщина умерла во мне со смертью мужа и сына. Говорю вам, я не женщина — я меч Божий, которому суждено самому погибнуть от меча. Вот я и убиваю, и буду убивать, пока меня саму не убьют. Посмотрите, кто висит в церкви на распятии, — толстый аббат Доминик. Это я заставила вздернуть его сегодня. Завтра вы услышите, как я превратилась в пастора и произнесла проповедь. И Рамиро, и Адриану, и Симону-шпиону — всем досталось бы то же, но я не могла найти их. Их час еще не настал. Но идолы свергнуты, образа сожжены, золото, серебро и драгоценные камни — все брошено в кучу мусора, храм очищен и окурен для того, чтобы Господь мог обитать в нем.

— Очищен кровью убитых священников и окурен дымом святотатства, — прервала ее Эльза. — О! Как вы можете делать такие ужасные вещи, не боясь!

— Бояться! — повторила Марта. — Те, кто побывал в аду, уже не боятся ничего. Я ищу смерти и, когда наступит день судный, я скажу Господу: «Что я сделала? Кровь моего мужа и сына еще курится на земле, взывая к Тебе о мести».

Говоря так, она подняла кверху почерневшие руки и потрясла ими. Затем она продолжала:

— Они убили вашего отца. Почему вы не убиваете их тоже? Вы малы, слабы и робки и не можете днем использовать нож, как я, но есть яд. Я могу приготовлять из болотных трав совершенно прозрачную, как воду, и смертельную, как рука смерти, отраву. Хотите, я принесу вам ее? Вы пугаетесь подобных вещей? И я когда-то была так же красива, так же любила и была так же любима, как вы, и делаю я это в память о своей любви. Нет, вам нечего браться за такие дела, довольно для них и меня. Я — меч, но и вы тоже, хотя и не осознаете этого. Вы, такая нежная и кроткая, тоже меч-мститель. Я по-своему, вы по-своему, мы обе платим полной мерой тем, кому суждено умереть. Каждая вещь из сокровищ Хендрика Бранта — вашего наследства — обагрена кровью. Говорю вам, все убийства, лежащие на мне, лишь песчинки по сравнению с теми,

которые будут совершенны из-за ваших сокровищ. Я вижу, что пугаю вас. Но не бойтесь, ведь с вами говорит сумасшедшая Марта, и сегодня в церкви мне привиделось такое, чего я не видела уже много лет.

— Скажите мне еще что-нибудь о Фое и Мартине, — просила Эльза, не помнившая себя от страха.

На это Марта ответила уже спокойным голосом.

— Они довольно благополучно добрались до меня пять дней тому назад. Мартин принес Фоя на себе. Я увидела издали голого человека с обнаженным мечом и сразу узнала его по бороде. Слушая его рассказ, я хохотала, как никогда в жизни.

— Повторите мне их рассказ.

Марта рассказала что знала, и Эльза слушала ее, сложив руки, как в молитве.

— Молодцы… молодцы! — проговорила она. — Мартин выбил дверь, а Фой, слабый и раненый, убил часового. Слыхал ли кто-нибудь подобное?

— Люди становятся отчаянными храбрецами, когда умудряются избежать пытки, — мрачно отвечала Марта. — Ну, теперь, когда испанцев выгнали отсюда, Фой вернется домой, как только силы позволят ему, пока же он не может подняться и Красный Мартин ухаживает за ним. Однако долго ему нельзя оставаться там, я слышала, что испанцы готовятся к осаде Харлема, и тогда нам будет уже не безопасно оставаться на островах, да я и сама уйду помогать харлемцам.

— А Фой и Мартин вернутся?

— Думаю, если их не захватят.

— Захватят? — Эльза схватилась за сердце.

— Времена опасные, ювфроу Эльза. Может ли кто-нибудь, кто дышит утром, сказать, будет ли он дышать вечером? Времена тяжелые, и владыка теперь — смерть. Сокровище Хендрика Бранта не позабыто, не забыли и о тех, кому известно, где оно. Рамиро выскользнул из моих рук сегодня и, наверное, ищет сокровище где-нибудь далеко от Лейдена.

— Сокровище? О, это трижды проклятое сокровище! — воскликнула Эльза, вздрогнув, как от дуновения ледяного ветра. — Когда мы избавимся от него?

— Не избавитесь, пока не настанет время. Отец ваш беспокоился не о том, чтобы сохранить наследство для вас. Известно ли вам, где скрыто сокровище? — ее голос понизился до шепота.

Эльза покачала головой, говоря:

— Я не знаю, где оно спрятано, и не желаю знать.

— Будет лучше, если вы узнаете, ведь нас троих, которым известна

тайна, могут убить. Я не укажу вам места, но скажу, где найти ключ к тайне.

Эльза вопросительно взглянула на нее, и Марта, наклонясь, шепнула ей на ухо:

— Он в рукоятке меча «Молчание». Если Красного Мартина захватят или убьют, разыщите его меч и отверните рукоятку. Понимаете?

Эльза кивнула и ответила:

— А если Мартин лишится меча?

Марта пожала плечами.

— Тогда, если и меня убьют, прощай сокровище. На все Божья воля. Во всяком случае, вы наследница по закону и должны знать, где искать сокровище, которое может сослужить со временем хорошую службу и вам, и вашему отечеству. Я не даю вам план, а только указываю, где найти его. А сейчас мне пора в путь, надо добраться к озеру до рассвета. Что передать вашему жениху, ювфроу?

— Я напишу ему несколько слов, если вы можете подождать. Пока перекусите.

— Хорошо, пишите, а я пока поем. Любовь — для молодежи, а пища — для стариков, а за то и другое — благодарение Богу.

XXV. Красная мельница

После недельного пребывания на Красной мельнице все наскучило Адриану. В девяти или десяти голландских милях к северо-западу от Харлема находится местность, называемая Фельзен, лежащая на песчаных дюнах к югу от канала, известного теперь под именем Северного морского канала. В то время, к которому относится наш рассказ, канал представлял собой большую осушительную канаву, а Фельзен был малонаселенным селением. Несколько лет тому назад здесь прошла испанская армия, убивая, сжигая, опустошая все на своем пути, так что осталось очень мало жителей, которые едва содержали в порядке ветряные мельницы и осушительные каналы. Голландия — земля, отвоеванная у болот и моря, и если воду постоянно не откачивать, а каналы не прочищать, то земля весьма быстро снова превращается в болото, и хорошо еще, если океан, прорвавшись через слабую преграду, выстроенную рукой человека, не образует здесь обширной соленой лагуны.

В былые времена Красная мельница служила насосной станцией, откачивавшей, когда ее огромные крылья работали, воду с плодородных лугов в большую канаву, соединенную системой шлюзов с Северным морем. Во времена нашего рассказа возвышенные берега канала еще существовали, но луга уже снова превратились в болото, среди которого на небольшом земляном пригорке поднималась узкая и высокая ветряная мельница, деревянная, на каменном фундаменте, которую было далеко видно со всех сторон среди пустынных окрестностей. Поблизости не было других строений, никакой скотины не паслось у подножия мельницы. Она стояло мертвой среди мертвого ландшафта. Налево от нее начинался ряд бесплодных песчаных дюн, поросших редкой травой, торчащей, как щетина на спине дикого кабана, а за дюнами ревел, стонал и плакал океан, когда ветер и непогода вздымали его воды. Дюны были отделены широким илистым каналом, откуда во время половодья густая болотная вода разливалась по равнине. Против мельницы, не более чем в пятидесяти шагах, проходил широкий канал, заключенный в высокие берега и выливавший день за днем миллионы галлонов[103] своей воды в море. Насыпные берега, однако, начинали ослабевать, на них виднелись пространства, где, казалось, прошел гигантский плуг, выворотив бурую землю среди зеленой поверхности; в других местах вода, во время зимних наводнений ища себе выхода, перерезала мягкую насыпь, однако, не

настолько разрушив ее, чтобы она не могла исполнять своего назначения.

Слева и сзади тянулись опять болота, только на горизонте виднелись башни Харлема да местами, на больших расстояниях, церковные шпили. Болота же служили пристанищем всякой местной птице, а летом всю ночь напролет в них квакали лягушки.

В такое-то убежище Симон и Черная Мег отвели Рамиро и его сына Адриана в ту памятную ночь, когда аббат Доминик был повешен после того, как Адриан получил от него отпущение грехов и крещение. Он ничего не спрашивал, он был слишком потрясен нравственно и физически, и жизнь для него была в эти дни ужасающей фантасмагорией, полной мрака, из которого появлялись мистические фигуры с обагренными кровью руками и раздавались голоса, обрекающие его на погибель.

В обширном нижнем этаже мельницы беглецы нашли несколько кое-как меблированных комнат. Мельницу, насколько Адриан мог понять, использовали для жилья контрабандисты, или воры, или вообще какие-нибудь темные личности, с которыми Симон и Черная Мег состояли в союзе и которые знали, что здесь рука закона не настигнет их, хотя надо сказать, что в правлении Альбы в Нидерландах закона не существовало, и бояться его приходилось только людям богатым или тем, кто осмеливался молиться Богу по-своему.

— Зачем мы пришли сюда, отец? — несмело спросил Адриан.

Рамиро пожал плечами, оглядывая все кругом своим единственным глазом, и ответил:

— Нас привели сюда наши проводники и друзья. Симон и его жена уверяют меня, что только здесь мы в безопасности, и, клянусь святым Панкратием, после того, что мы видели в церкви, я склонен верить этому. Каким жалким казался отец Доминик, когда он висел, как черный паук, на своей веревке! У меня мороз продирает по коже, когда я вспомню о нем.

— А долго мы проживем здесь?

— Пока дон Фадрике не возьмет Харлем и толстые голландцы, те, по крайней мере, которые останутся в живых, не станут лизать наши сапоги, умоляя о пощаде. — Он заскрежетал зубами и прибавил: — Ты играешь в карты? Прекрасно. Сыграем партию. Вот карты, игра развлечет нас. Ставь сто гульденов.

Они начали играть, и Адриан выиграл, после чего отец, к его удивлению, стал платить ему.

— Зачем это? — спросил он.

— Порядочные люди всегда должны платить карточные долги.

— А если нечем?

— В таком случае следует вести аккуратный счет и выплатить при первой возможности. Помни, что все можно забыть, но проигрыш в карты — долг чести. Никто не может обвинить меня в том, что я остался ему должен хотя бы один гульден из проигранных денег, что же до других долгов, то боюсь, их за мной наберется порядочно.

Когда игра кончилась, в этот вечер, Адриан оказался в выигрыше около четырехсот флоринов. На следующий день его выигрыш дошел до тысячи, на которые отец выдал ему форменную расписку, но на третий вечер счастье изменило или, может быть, Рамиро играл внимательнее, но только Адриан проиграл две тысячи гульденов.

Он заплатил их, вернув отцу его расписку и отдав все золото из кошелька, данного ему матерью, так что теперь у него не осталось ни гроша.

Дальнейший ход событий можно угадать. При каждой игре ставки увеличивались, так как, не будучи в состоянии заплатить, Адриан относился равнодушно к тому, сколько он проиграет. Кроме того, его слегка волновало обращение с такими крупными суммами. Через неделю он проиграл королевское состояние. Тогда, встав из-за стола, отец предложил ему подписать обязательство, пригласив женщину, появившуюся неизвестно откуда для домашних работ на мельнице, подписаться в качестве свидетельницы.

— К чему эта комедия? — спросил Адриан. — Чтобы заплатить по этому обязательству, не хватило бы даже наследства Бранта.

Отец насторожил уши.

— В самом деле?… А я так думаю, что хватило бы. К чему?… Кто знает!… Ты можешь со временем разбогатеть, недаром великий император говорил: «Фортуна — женщина, сберегающая свою милость для молодых». А тогда, как честный человек, вероятно, ты пожелаешь заплатить свой старый карточный долг.

— Конечно, пожелал бы заплатить, если бы мог, — зевая отвечал Адриан, — но теперь, кажется, и говорить об этом не стоит.

Он встал и вышел на свежий воздух.

Отец задумчиво смотрел ему вслед.

«Надо пользоваться обстоятельствами, — рассуждал он, — у милого сынка, кажется, не осталось ни гроша за душой, и хотя бы ему и надоело жить здесь, он не может убежать. Он должен мне столько, сколько мне никогда и во сне не снилось, стало быть, если бы ему удалось стать мужем Эльзы Брант и законным наследником ее состояния, то какие бы ни возникли между ними неприятности, я получу свою часть совершенно

чистым, порядочным путем. Если же, с другой стороны, окажется необходимым мне самому жениться на Эльзе, от чего Боже избави, то, по крайней мере, никто в убытке не останется, и Адриан даже будет в выигрыше, взяв несколько ценных уроков у одного из самых искусных игроков Испании. Теперь же нам необходимо оживить это скучное место присутствием самой красавицы. Наши почтенные друзья должны вернуться скоро со своей ношей, по крайней мере, надеюсь, что будет так, иначе в нашем деле возникнут большие осложнения. Надо припомнить, все ли предусмотрено, в таком деле малейший промах… Он католик, следовательно, может заключить законный брак без предварительного оглашения; хорошо, что я вспомнил этот пункт закона. Я достану священника, скромного человека, который не станет вслушиваться, если девице вздумается ответить «нет», и совершит то, чего от него требует его обязанность. Да, кажется, все предосторожности приняты. Я тщательно посеял семя. Провидению остается взрастить его. Пора тебе, Хуан, преуспеть в чем-нибудь и успокоиться, довольно ты поработал, и годы дают себя знать, да, даже очень дают себя знать!»

И Монтальво уселся у огня, чтобы дремотой скоротать свою скуку.

Когда Адриан затворил за собой дверь, ноябрьский день подходил к концу, и через желтые снеговые облака время от времени прорывался луч заходящего солнца, падая на длинные, как руки скелета, крылья мельницы, в которых с завыванием свистел ветер. Адриан предполагал пройтись, но ему показалось слишком сыро на лугу и, перебравшись через канал по наложенным от одной насыпи до другой доскам, он пошел по песчаным дюнам. Даже летом, когда воздух был тих, все цвело и жаворонки заливались в воздухе, эти холмы со своими изборожденными ветром скатами из бледного песка, резкими очертаниями, небольшими каменными утесами и вершинами, поросшими жесткой травой, производили фантастическое впечатление. Теперь же, под мрачным зимним небом, нельзя было представить себе более пустынного, более унылого места: нигде не было видно следа человека, и за исключением одинокого кулика, заунывный голос которого доносился до слуха Адриана с моря, все животные и птицы попрятались неизвестно куда. Только голос природы слышался во всем величии: свистел и завывал ветер, и океан шумел глухо и непрестанно.

Адриан дошел до высшей точки дюн, откуда открылся вдруг вид на скрытое до тех пор море, необозримое пространство аспидного цвета с поднимающимися на нем холмами и уходящими вглубь долинами, всюду изборожденное белыми пенистыми валами. При подобном состоянии души

— на душе у Адриана все еще было неспокойно — другой, может быть, почувствовал бы некоторое успокоение в этом зрелище, так как созерцание явлений природы во всем их величии невольно берет верх над чувствами и заставляет умолкать мятежные волнения нашего сердца. По крайней мере, так бывает с теми, кто умеет читать наставления, начертанные на лице природы, и умеет слышать то, что она изо дня в день говорит нам, но такое восприятие дано только людям, которые обладают ключом к пониманию природы или жаждут приобрести его.

Адриан же чувствовал, что однообразие окрестных песчаных холмов, величественный океан с бушующим над ним ветром и, главное, расстилающаяся повсюду пустыня только еще больше раздражают его нервы, и без того напряженные.

Зачем отец привел его в это отвратительное болото, примыкающее к бесконечному морю? Чтобы спасти свою и его жизнь от разъяренной черни? Это он еще понимал, но, кроме того, здесь таилось и еще что-то, какой-то непонятный для него заговор, выполнить который отправился негодяй Симон и его достойная подруга. А пока ему приходилось сидеть тут, играя в карты с этим Рамиро, посланным судьбою ему в отцы. Кстати, почему это он оказался таким любителем карточной игры? И что значат все эти глупости с расписками? Да, приходится сидеть тут, не забывая ни на минуту своего позора, лица своей матери, когда она оттолкнула его и выгнала из дома, тоскуя о той, которую он надеялся приобрести и потерял навеки, и постоянно видя перед собой привидение Дирка ван Гоорля!

Адриан содрогнулся, волосы у него встали дыбом, губы затряслись. Для него, при его расшатанных нервах, привидение человека, которого он предал, не было игрой воображения. Просыпаясь ночью, он видел его у своей постели, обезображенного чумой и истощенного голодом, и поэтому даже боялся спать один, особенно на этой старой мельнице, где все скрипело, где бегали крысы и каждая доска, казалось, рассказывала о крови и смерти. Боже! В эту минуту ему показалось, что этот самый голос доносится до него с моря. Нет, это, вероятно, кулик, но, во всяком случае, пора идти «домой», так приходится называть это место, где даже нет священника, у которого можно было бы исповедаться и найти поддержку.

Слава Богу! Ветер несколько улегся, но зато пошел густой снег и началась метель, так что Адриан с трудом мог разглядеть тропинку. Каково было бы умирать здесь, замерзая на этих песчаных холмах и чувствуя, что рядом находится дух ван Гоорля, который не спускает с тебя ввалившихся, голодных глаз. Пот выступил на лбу Адриана при этой мысли, и он пустился бежать к берегу большого канала, который, как он знал, должен

был вывести его к мельнице. Тропинка поросла травой и идти было нелегко, так как наступила уже полная темнота и мокрые хлопья, летевшие прямо в лицо, покрыли дорожку скользким, белым налетом. Плотно завернувшись в плащ, Адриан пробирался вперед, пока ему не показалось, что мельница уже недалеко, и он остановился, пытаясь оглядеться.

В это самое мгновение снег на минуту перестал, и при слабом свете сумерек Адриан мог увидеть, что сделал хорошо, остановившись. Как раз против того места, где он стоял, в нескольких шагах от него, нижняя часть насыпи сползла, смытая с каменного основания постоянным, медленным течением воды. Если бы он сделал еще шаг дальше, он бы неминуемо полетел в грязь, откуда, еще неизвестно, удалось ли бы ему выбраться. Как бы то ни было, он в полумраке взобрался на каменное основание, еще державшееся на деревянных сваях, обнаженных, но пока еще не снесенных постоянно поднимающим их течением. Дорога была не из особенно приятных, так как направо расстилалось грязное болото, а налево, доходя почти до уровня насыпи, протекал темный, вздувшийся от дождей канал, изливавший свои воды в море.

«В следующий разлив и этого не останется, — подумал Адриан. — Тогда болото превратится в озеро, и плохо придется тому, кто очутится в это время обитателем Красной мельницы».

Он вышел на твердую землю, где шагах в пятистах на сумрачном небе вырисовывался призрачный силуэт мельницы с ее гигантскими крыльями. Адриан пошел к ней по тропинке, проложенной по небольшой насыпи, и очень изумился, услышав плеск весел в канале и мужской голос, говоривший:

— Слава святым! Доехали! Высаживайтесь скорее!

Адриан, которого все пережитое сделало осторожным, остановился в тени высокого берега канала и увидел, как из лодки поднялись три фигуры, или скорее две, так как двое вышедших на берег тащили или вели третьего между собой.

— Постой, пока я расплачусь, — раздался голос, показавшийся Адриану знакомым.

Затем послышался звон монеты, вперемежку с проклятиями в адрес погоды и расстояния. Снова раздался плеск весел, лодка отчалила, и в этот момент послышался испуганный нежный голос:

— Друзья, у вас есть жены и дочери, неужели вы оставите меня в руках этих негодяев? Ради Бога, сжальтесь надо мной.

— Позор!… И такая красивая девушка, — проворчал другой хриплый бас. Но рулевой крикнул:

— Знай свое дело, марш, Ян! Мы сделали то, на что подрядились, и получили деньги, а свои любовные дела пусть они уже устраивают сами. Прощайте! Ну, живо отчаливай!

Лодка повернула и исчезла в темноте.

На минуту сердце у Адриана замерло. Бросившись вперед, он увидел перед собой Симона-мясника и Черную Мег, а между ними какую-то фигуру, закутанную в шаль.

— Что это? — спросил он.

— Вам бы, кажется, следовало знать, хеер Адриан, — отвечала Мег, хихикая, — ведь мы этот тючок привезли из Лейдена, не щадя расходов, для вашего удовольствия.

Из «тючка» поднялась голова, и слабый свет упал на бледное, испуганное личико Эльзы Брант.

— Да воздаст вам Бог за это злое дело, Адриан, названный ван Гоорлем! — произнес слабый голос.

— За какое дело? — проговорил он. — Я ничего не понимаю, Эльза Брант, ничего не знаю!

— Не знаете, а между тем все сделано от вашего имени и вы ждете меня здесь. Меня схватили, когда я вышла пройтись, и эти чудовища притащили сюда. Неужели в вас нет сердца и вы не боитесь суда, что можете говорить такое?

— Освободите ее, — приказал Адриан, бросаясь на мясника, в руке которого так же, как в руке Мег, сверкнул нож.

— Отстаньте со своими глупостями и отойдите, хеер Адриан. Если вам нужно что-нибудь сказать, скажите своему отцу, графу. Пропустите, мы устали и озябли!

Взяв Эльзу под руки, они прошли мимо Адриана, которому пришлось отстраниться, так как он был без оружия.

И какую пользу могло бы принести его вмешательство теперь, когда лодка уехала и они были одни среди полнейшего безлюдья, в местности, где не было другого приюта, кроме этой полуразвалившейся мельницы? Адриан поник головой и побрел за Симоном и его женой по тропинке. Теперь он, наконец, понял, зачем они все это время жили на Красной мельнице.

Симон отворил дверь и вошел, но Эльза пошатнулась на пороге. Она даже попыталась оказать некоторое сопротивление, но негодяй толкнул ее так, что она споткнулась и упала лицом вниз. Этого Адриан не мог уже вынести. Рванувшись вперед, он ударил мясника изо всей силы кулаком в лицо, и в следующую минуту оба покатились на пол, борясь из-за ножа,

который Симон не выпускал из руки.

Всю свою жизнь Эльза не могла забыть этой сцены. Позади нее открытая дверь, в которую, ударяя ей в лицо, летели снежные хлопья, впереди — большая круглая комната в нижнем этаже мельницы, освещенная только огнем торфа, пылавшего в очаге, и роговым фонарем, спускавшимся с потолка с балками из темного массивного дуба. И в этой неуютной, почти лишенной всякой мебели комнате, перед очагом, на грубом деревянном стуле, сидел и дремал Рамиро, испанская ищейка, затравивший ее отца, ненавистный Эльзе больше всего на свете, другие же двое — Адриан и шпион — катались по полу, а между ними сверкал нож.

Такова была картина, представшая перед глазами Эльзы.

Рамиро проснулся от шума, и на лице его отразился испуг, будто от виденного им страшного сна. Но в следующую минуту он понял, что происходит.

— Кто еще поднимет руку, того я проткну насквозь! — заявил он холодным ровным голосом, вынимая шпагу. — Встаньте, сумасшедшие, и говорите, в чем дело.

— Этот негодяй сейчас сбил с ног Эльзу Брант! — запыхавшись, заявил Адриан. — И я учу его за это.

— Он врет! — шипел Симон. — Я ее только подтолкнул вперед, и вы сами сделали бы так же, если б вам пришлось целые сутки возиться с такой дикой кошкой. С ней было труднее справиться, чем с любым мужчиной…

— Понимаю, — прервал Рамиро, совершенно овладев собою, — девичье жеманство, вот и все, а со стороны молодого человека горячность влюбленного. И тебе, почтеннейший Симон, вероятно, в былые дни приходилось испытывать то же. — Он взглянул на Черную Мег. — Не обижайтесь: молодежь всегда останется молодежью.

— И молодежи можно всегда всадить нож между ребер, если она вовремя не одумается… — проворчал Симон, выплевывая кусок сломанного зуба.

— Сеньор, зачем меня привезли сюда, вопреки всяким законам и справедливости? — перебила Симона Эльза.

— Законам? Кажется, таковых уже не существует в Нидерландах. Справедливость? В войне и любви все дозволено — согласитесь, мейнфроу. А что касается причины, то, думаю, надо спросить Адриана, он знает больше, чем я.

— Он говорит, что не знает ничего, сеньор.

— Ах, он плут! Неужели он утверждает это! Ну, его не переспоришь. Я, не рассуждая, принимаю его слова на веру и советую вам сделать то же.

Не трудитесь давать объяснения, мы все понимаем, — обратился он к Адриану, а затем приказал вошедшей служанке: — Отведи ювфроу в лучшую комнату, какая есть. Да смотрите все, чтоб с ней обращались хорошо, иначе, случись что, заплатите мне своей кровью до последней капли. Смотрите же!

Женщины — Мег и другая — кивнули головами и пригласили Эльзу следовать за собой. Она с минуту постояла в нерешимости, смотря на Рамиро и Адриана, затем, грустно опустив голову, повернулась и, не говоря ни слова, пошла по дубовой лестнице, начинавшейся возле очага.

— Отец, — начал Адриан, когда они остались одни, — ведь я должен так называть вас…

— Нет ни малейшей надобности, — перебил его Рамиро, — не все случившееся нуждается в ярком дневном освещении… Ну, что ты хотел сказать?

— Что значит все это?

— Я и сам бы желал бы растолковать это. Тебе не кажется, что без малейших усилий с твоей стороны — ты выглядишь удивительно ненаходчивым — твои любовные дела принимают счастливый оборот.

— Я здесь не при чем. Умываю руки.

— Все равно. Могут найтись люди, которые подумают, что сразу твои руки не отмоешь. Выслушай меня, глупый, — он оставил насмешливый тон. — Ты влюблен в эту куклу, и я велел привезти ее сюда, чтобы женить тебя на ней.

— А я отказываюсь жениться на ней против ее воли.

— Как тебе угодно. Но кто-нибудь да женится на ней, ты или я.

— Вы? — вырвалось у Адриана.

— Совершенно верно. Откровенно говоря, подобная перспектива вовсе не улыбается мне. В мои годы прошедшего достаточно. Но надо думать о материальных выгодах, и если ты отказываешься, то я могу заменить тебя. Понимаешь, что руководит мною?

— Что?

— Таким образом я получаю право на наследство Хендрика Бранта. Конечно, мы бы могли оружием или другим путем захватить это богатство, но не лучше ли было бы приобрести его для нашей семьи законным путем, получив на то разрешение высшей власти? Теперь страна неспокойна, но не всегда будет так: кто-нибудь же должен будет уступить, и снова водворится порядок. Тогда может возникнуть вопрос о наследстве — ведь богатые всегда бывают предметом зависти. Если бы наследница была замужем за католиком или верноподданным короля, то кто может оспаривать права,

освященные законами божескими и человеческими? Подумай об этом хорошенько. Выбирай, кем желаешь видеть Эльзу — мачехой или женой?

Охваченный бессильным бешенством, мучимый совестью, Адриан начал раздумывать. Всю ночь он проворочался на своем соломенном матраце, где шныряли крысы, между тем как на дворе завывала метель. Если он не женится на Эльзе, на ней женится его отец, и не могло быть вопроса, какой из двух исходов будет для нее лучшим. Эльза — жена этого злого, циничного, истрепанного искателя приключений с таким ужасным прошлым? Этого нельзя допустить! В таком случае ее жизнь была бы адом, с ним же — может быть, после некоторого периода бурь и сомнений — она будет счастлива, ведь он молод, красив и любит ее! Вот в том-то и главное. Адриан любил Эльзу настолько, насколько была способна его натура, и мысль, что она может достаться другому, была для него ужасна. Если бы этим человеком был Фой — его сводный брат — было бы тяжело, но что им будет Рамиро, этого Адриан не мог вынести.

Эльза не вышла к завтраку на следующее утро. Отец же и сын опять сошлись.

— Ты бледен, Адриан, — сказал Рамиро. — Погода, вероятно, не давала тебе спать ночью, и я не спал, хотя в твои годы был бы способен спать и при шуме битвы. Ну что же? Поразмыслил ли ты о нашем разговоре? Мне неприятно приставать к тебе с этими семейными делами, но время не терпит, надо решить что-нибудь.

Адриан смотрел в окно на непрерывно падающий снег. Наконец, он обернулся и сказал:

— Да, лучше уж пусть я женюсь на ней, хотя думаю, что подобное преступление не останется без возмездия.

— Какой ты предусмотрительный молодой человек! — отвечал отец. — При всем твоем разгильдяйстве я замечаю в тебе задатки здравого смысла. Что же касается возмездия, то, собственно говоря, тебе нельзя не позавидовать…

— Замолчите! — гневно перебил его Адриан. — Вы забываете, что при подобных сделках бывают две стороны: я должен получить ее согласие, а просить его не стану.

— Не станешь? В таком случае я попрошу его и сумею получить. Ну, теперь слушай. Мы заключили договор, и ты потрудишься сдержать его или взять на себя все последствия, каковы бы они ни были. Я подведу эту девицу к алтарю, то есть, к этому столу, и ты обвенчаешься с нею, после чего можешь поступать как тебе будет угодно. Можешь жить со своей женой или раскланяться с ней и удалиться — мне все равно, лишь бы вы

были женаты. Мне надоели эти разговоры, прошу тебя оставить меня в покое.

Адриан посмотрел на него, хотел что-то сказать, но передумал и вышел из дому.

«Наконец убрался!» — подумал отец, и призвав Симона, вступил с ним в продолжительный разговор.

— Понял? — спросил он наконец.

— Понял, — мрачно ответил Симон. — Я должен разыскать монаха, ожидающего в указанном месте, и вечером привести его сюда. Нелегкое это дело для христианской души в такую погоду!

— А что за это получишь? Помни, что получишь!

— Все это отлично; да хоть бы задаточек дали…

— Получишь! Такому работнику не жалко и дать, — согласился Рамиро и, вынув из кармана кошелек, данный Лизбетой Адриану, с усмешкой (действительно, в этом была комическая сторона), отсчитал Симону порядочную сумму.

Симон посмотрел на деньги и, решив, что вряд ли удастся сегодня выклянчить еще что-нибудь, спрятал их в карман, затем, закутавшись в толстый фризовый плащ, он отворил дверь и исчез в метели.

XXVI. Жених и невеста

Весь день снег шел, не переставая ни на один час. Наступила ночь, и большие мягкие хлопья падали на землю тихо, как пух, так как ветер прекратился. Адриан встречался с отцом только за едой, предпочитая проводить остальной день во дворе, на снегу или под старым навесом позади мельницы, чем оставаться в обществе этого ужасного человека, вечно насмехающегося над ним и принуждающего его совершить великое преступление.

За завтраком на следующий день Рамиро осведомился у Черной Мег, отдохнула ли ювфроу Эльза от своего путешествия настолько, чтобы позавтракать вместе ними. Мег отвечала, что Эльза положительно отказывается выходить из своей комнаты и говорить что-либо, кроме самого необходимого.

— В таком случае мне надо самому переговорить с ней, — сказал Рамиро. — Пойдите и скажите ювфроу, что я шлю ей свой привет и сам поднимусь к ней еще до обеда.

Мег отправилась выполнить поручение, а Адриан взглянул на отца подозрительно.

— Успокойся, мой друг, — обратился к нему отец, — хотя мы и увидимся наедине, но тебе нет причины ревновать. Помни, что пока я только запасная стрела в колчане, запасной актер, выучивший на всякий случай свою роль, но могущий оказаться полезным.

Каждое слово Рамиро коробило Адриана, но он не отвечал, он уже понял, что ему никогда не справиться с отцом в красноречии.

Эльза выслушала послание, как выслушивала все остальное, молча. Три дня тому назад, когда было объявлено, что Лизбета ван Гоорль вне опасности после той страшной болезни, которая за это время несколько раз грозила ей смертью, Эльза Брант, все это время не отходившая от ее постели, решилась выйти прогуляться. Город в этот вечер положительно душил ее, и, чувствуя, что ей необходим чистый деревенский воздух, она вышла за городские ворота и пошла вдоль городского рва, не замечая, что за ней следят. Когда начало смеркаться, она остановилась на минуту, глядя в сторону Харлемского озера, мысленно переносясь к любимому человеку, которого надеялась увидеть дня через два или три.

Но тут вдруг кто-то накрыл ей голову, и она очутилась в темноте. Эльза очнулась в лодке, где рядом с ней, карауля ее, поместились двое

негодяев, в которых она узнала напавших на нее в день ее приезда в Лейден.

— По какому праву вы схватили меня и куда вы меня везете? — спросила она.

— Нам заплатили за это, и мы везем вас к Адриану ван Гоорлю, — был ответ.

Эльза все поняла и замолчала.

Таким образом, ее привезли в пустынный разбойничий притон, где ее ждал Адриан, встретивший ее, как она была убеждена, ложью. Теперь, без сомнения, настал конец. Ее, любившую всей душой его брата, насильно обвенчают с человеком, которого она ненавидела и презирала, обвенчают с пустым, ничтожным предателем, который не остановился из-за ревности, жажды мести или жадности перед выдачей своего благодетеля, мужа своей матери, в руки инквизиции.

Что ей делать? Бежать с третьего этажа мельницы, стоявшей среди занесенного снегом болота, вдали от всякого жилья, из-под надзора двух женщин, не спускавших с нее своих свирепых глаз было невозможно. Нет, оставалось только одно бегство: в объятия смерти. Но и это исполнить было трудно — у нее не было оружия, а женщины день и ночь караулили ее; пока одна наблюдала за ней, другая спала. Да и умирать Эльзе не хотелось при ее красоте, молодости и любви к жизни. К тому же с детства она была приучена смотреть на самоубийство как на грех. Она решила положиться на Бога и, как ни казалось это невозможным, бороться до конца. Решившись, она ради сохранения сил стала принимать пищу и пить вино, которые ей приносили, но отказывалась выходить из комнаты и говорить что-либо, кроме самого необходимого, зорко наблюдая за всем происходившим.

На второе утро ее пребывания на мельнице ей передали поручение Рамиро, на которое она ничего не ответила, и в назначенное время Рамиро явился и с поклоном остановился в дверях.

— Вы позволите войти, ювфроу? — спросил он.

И Эльза, поняв, что наступила решительная минута, приготовилась принять его.

— Вы здесь хозяин, — ответила она голосом холодным, как падавший на дворе снег. — К чему же еще насмешки?

Он приказал женщине уйти, и когда он остался наедине с Эльзой, отвечал:

— Ничего подобного мне и в голову не приходило, мейнфроу, дело слишком серьезное, чтобы говорить пустые фразы.

Еще раз поклонившись, он сел на стул возле очага, где горел огонь. Тогда Эльза встала, ей казалось, что стоя она будет чувствовать себя сильнее.

— Потрудитесь объяснить, в чем дело, сеньор Рамиро. Меня привезли сюда, чтобы допрашивать, еретичка ли я?

— Да, отчасти. Вы еретичка перед богом любви и приговорены судом быть… не сожженной на костре, но… предстать перед алтарем…

— Ничего не понимаю.

— Я объясню вам. Мой сын Адриан, в общем, порядочный молодой человек. Ведь вам известно, что Адриан, мой сын, имел несчастье или, скажем, счастье, серьезно полюбить вас, между тем как вы обнаружили такой недостаток вкуса или, может быть, наоборот, что отдали свое расположение другому. При таких обстоятельствах Адриан, малый неглупый и находчивый, прибегнул к старинному средству для исполнения своего желания. Он здесь, и вы здесь, а сегодня вечером, думаю, прибудет сюда и священник. Я не стану вдаваться в подробности того, как все закончится, это частное дело, в которое я не имею права вмешиваться, и только могу, как отец и доброжелатель, поздравить…

Эльза сделала нетерпеливое движение головой, будто желая остановить этот поток слов.

— Что заставляет вас так хлопотать о ненавистном для бедной девушки браке? — спросила она. — Какая вам может быть из этого выгода?

— Я замечаю, что передо мной деловая женщина, — весело ответил Рамиро, — одаренная весьма редким качеством, — здравым смыслом. Я буду откровенен. Ваш покойный батюшка имел огромное состояние, которое теперь перешло к вам как его единственной дочери и наследнице. По закону, который я сам считаю несправедливым, это состояние перейдет к мужу, которого вы выберете. Стало быть, как только вы станете женой Адриана, оно перейдет к нему. Я отец Адриана, и обстоятельства сложились так, что он очень много должен мне, следовательно, как он сам убедился, этот союз принесет выгоду нам обоим. Но деловые подробности скучны, поэтому я не стану дольше останавливаться на них.

— Богатство, о котором вы говорите, сеньор Рамиро, исчезло.

— Исчезло, но я имею основание надеяться, что оно будет отыскано.

— В таком случае, здесь главную роль играют деньги?

— Что меня касается лично? Да. За чувства Адриана я не могу отвечать. Кто знает тайну чужого сердца!

— Стало быть, если бы отыскались деньги или указание, как найти их, не было бы надобности в женитьбе?

— Что касается меня, никакой.

— А если деньги не отыщутся и я откажусь выйти за хеера Адриана или он откажется жениться на мне, что тогда?

— Это трудная задача. Но я вижу и ее решение, или, по крайней мере, половины ее. В таком случае, брак все-таки состоится, но с другим женихом.

— С каким женихом? Кто же он?

— Ваш покорнейший слуга и обожатель.

Эльза содрогнулась и отступила на шаг.

— Ах, мне не следовало так низко кланяться, вы увидели мои седые волосы, а молодость не любит седины.

Негодование Эльзы росло, и она ответила:

— Не ваша седина заставила меня отшатнуться, седина для многих почетный венец, но…

— Но что касается меня, то вы думаете иначе. Будьте милы и не высказывайте мне ваших соображений. Когда действительность так ужасна, какая нужда еще ухудшать ее беспощадными словами?

Несколько минут продолжалось молчание, которое Рамиро, смотревший в окно, прервал замечанием, что «снег идет необыкновенно густо для этого времени года», затем снова наступила пауза. Наконец

Рамиро заговорил:

— Насколько я понял, ювфроу Эльза, вы намекнули, что мы можем этот вопрос решить положительно. Местонахождение сокровища в точности неизвестно. Вы упомянули об указании, а могли бы вы достать подобное указание?

— А если смогу, что тогда?

— Тогда после небольшого путешествия в интересную, но мало известную часть Голландии вы можете вернуться к своим друзьям так же, как уехали от них, то есть незамужней.

Эльза боролась с собой, и как она ни старалась скрыть это, следы борьбы отразились у нее на лице.

— Вы поклянетесь в этом? — шепотом спросила она.

— Конечно.

— Поклянетесь ли вы, что, если вы получите его, вы не станете принуждать меня выйти за хеера Адриана или за вас, что вы отпустите меня?

— Клянусь перед Богом.

— Зная, что Бог отомстит вам, если вы нарушите клятву, вы все-таки клянетесь?

— Клянусь. К чему эти излишние повторения?

— В таком случае… — Она нагнулась к нему и продолжала хриплым шепотом. — Веря, что вы, даже вы, не решитесь нарушить такую клятву, потому что и вам, даже вам, должна быть страшна смерть и возмездие — вечная мука, я даю вам указание: оно спрятано в мече «Молчание».

— Что это за меч «Молчание»?

— Большой меч Красного Мартина.

Рамиро ударил себя по колену.

— И подумать только, что целый день этот меч висел на стене «Гевангенгооза»! Позвольте попросить у вас более подробного объяснения. Где меч?

— Где и Красный Мартин. Больше я ничего не знаю. Я могу вам сказать одно: план места, где скрыто сокровище, в мече.

— Или был там. Я верю вам, но чтобы овладеть тайной, скрытой в мече человека, вырвавшегося из застенка «Гевангенгооза», надо быть Геркулесом. Сначала надо отыскать Рыжего Мартина, затем овладеть его мечом, что, думаю, будет стоить жизни не одному человеку. Очень благодарен за ваше указание, но опасаюсь, что без брака мы все же не обойдемся.

— Вы же поклялись! — в отчаянии воскликнула Эльза. — Вы поклялись перед Богом.

— Совершенно верно, и приходится предоставить на усмотрение высшей Власти, о которой вы упоминаете, дальнейший образ действий. Она, вероятно, Сама позаботится о Своих делах, мне же надо подумать о своих. Надеюсь, что сегодня около семи часов вечера священник прибудет и жених будет готов.

Эльза не выдержала.

— Дьявол! — закричала она. — Ради спасения своей чести я изменила завещанию отца, выдала тайну, за которую Мартин готов был умереть под пыткой, и обрекла его на травлю. Господи, прости меня и помоги мне!

— Без сомнения, первая часть вашей мольбы будет услышана, потому что искушение для вас было, действительно, немалое. Я, как человек более опытный, только перехитрил вас, вот и все, предоставляю вам самой устраиваться с Богом. До свидания, до вечера!

Он с поклоном вышел из комнаты. Эльза же в отчаянии, сгорая от стыда, бросилась на постель и горько зарыдала. Около полудня она встала, услышав на лестнице шаги женщины, приносившей ей еду, и, чтобы скрыть заплаканное лицо, стала смотреть в решетчатое окно. Вид из него открывался унылый, ветер и снег прекратились и сменились дождем. После

ухода прислужницы Эльза умылась и, несмотря на полное отсутствие аппетита, стала есть, зная, что это необходимо для сохранения сил. Прошел еще час, и у дверей снова послышался стук. Эльза содрогнулась, думая, что вернулся Рамиро, чтобы мучить ее. Она почувствовала некоторое облегчение, когда увидала, что это был Адриан. Один взгляд на его расстроенное лицо и один звук его нетвердых шагов пробудили в ней надежду. Ее женский инстинкт подсказал ей, что теперь она уже имеет дело не с беспощадным, ужасным Рамиро, смотревшим на нее как на пешку в игре, которую ему необходимо выиграть, а с молодым человеком, любящим ее и поэтому находящимся в ее руках, кроме того, пристыженным и растерянным, на совесть которого она, стало быть, могла воздействовать. Встав, она подошла к нему, и хотя она была небольшого роста, а Адриан высок, ей показалось, будто она на голову выше его.

— Что вам угодно? — спросила она.

В прежние дни Адриан ответил бы каким-нибудь изысканным комплиментом или громкой фразой, вычитанной в романах, да, правду сказать, он даже и обдумывал нечто подобное, когда, как полуголодная собака, отыскивающая себе пристанище, бродил вокруг мельницы. Но теперь ему было не до риторики и галантности.

— Отец мой пожелал, — неуверенно начал он, — то есть я хочу сказать, что я пришел к вам поговорить о нашем браке.

Вдруг нежные черты Эльзы приняли ледяное выражение, а глаза, по крайней мере, так показалось Адриану, засверкали.

— О браке?… — сказала она странным голосом. — Сколько в вас должно быть низости, что вы решаетесь произнести это слово. Называйте задуманное вами как хотите, но не произносите священного слова «брак».

— Я тут ни в чем не виноват, — ответил он сумрачно, видимо, задетый ее словами. — Вы знаете, Эльза, что я и прежде предлагал вам стать моей женой с соблюдением всей святости брака…

— Да, — прервала она его, — и потому что я не хотела слушать вас, потому что вы не нравились мне, потому что вы не могли приобрести меня, как мужчина приобретает девушку, вы устроили западню и увезли меня сюда, надеясь грубой силой получить то, на что я не хотела согласиться добровольно. Во всех Нидерландах, кажется, не найдется такого презренного человека, как Адриан, получивший фамилию ван Гоорль, незаконный сын Рамиро-галерника.

— Я уже говорил вам, что это неправда, — сердито возразил он. — Я не замешан в вашем похищении. Я ничего не знал о нем, пока не увидел вас здесь.

Она засмеялась горьким смехом.

— Не трудитесь оправдываться, если бы вы даже поклялись перед лицом самого Бога, я бы не поверила вам. Вспомните, что вы предали брата и благодетеля, и после того можете догадаться, как я отношусь к вашим словам.

Адриан глубоко вздохнул, и этот вздох пробудил в душе Эльзы некоторую надежду.

— Я уверена, что вы не решитесь на такое злое дело. Кровь Дирка ван Гоорля на вас. Неужели вы хотите еще иметь и мою смерть на своей душе? Говорю вам правду, клянусь Создателем, что, прежде чем я действительно стану вашей женой, я умру, а, может быть, не станет вас, или нас обоих. Понимаете?

— Понимаю, но…

— Но что? К чему это преступление? Ради спасения вашей души откажитесь принять в нем участие.

— Если я откажусь, отец женится на вас.

Эта была стрела, пущенная наудачу, но она попала в цель, потому что вдруг силы и красноречие, казалось, покинули Эльзу. Она подбежала к Адриану, сложив руки умоляющим жестом, и бросилась на колени.

— Помогите мне бежать, — молила она, — и я буду благословлять вас всю свою жизнь.

— Невозможно, — отвечал он. — Как бежать из этого места, где за нами следят? Говорю вам, это невозможно.

— В таком случае, — и в глазах Эльзы вспыхнул дикий огонь, — убейте его и освободите меня. Он дьявол. Он ваш злой гений. Вы сделали бы богоугодное дело. Убейте его и освободите меня.

— Я бы не прочь, — отвечал Адриан, — и чуть было уже однажды не сделал этого, но, не погубив свою душу, я не могу убить отца. Это ужаснейшее из преступлений. На исповеди…

— В таком случае, — прервала его она, — если уж необходимо проделать этот гнусный фарс, то клянитесь, что вы пощадите меня.

— Трудно предъявлять такое требование человеку, любящему вас больше всего на свете, — отвечал он, отворачиваясь.

— Вспомните, — продолжала она, и снова в ее взгляде вспыхнул недобрый огонек, — что вам недолго удастся любить живую женщину и, может быть, нам обоим придется предстать для решения этого дела перед престолом Всевышнего. Дайте мне клятву.

Он колебался.

Она же думала, что он теперь ответит? Что, если: «Нет, лучше, в таком

случае, я уступлю вас Рамиро».

К счастью, однако, подобная мысль не пришла Адриану в голову.

— Поклянитесь, — умоляла его Эльза. — Поклянитесь!

Она ухватилась рукой за полу его плаща и обратила к нему свое бледное лицо.

— Приношу эту жертву как искупление своих грехов, — ответил Адриан. — Я отпущу вас на все четыре стороны.

Эльза вздохнула с облегчением. Она не доверяла обещаниям Адриана, но видела, по крайней мере, возможность выиграть время.

— Я так и думала, что не напрасно обращусь…

— К такому забавному ослу, — докончил насмешливый голос из-за двери, которая, как теперь только заметила Эльза, неслышно приотворилась.

— Любезный мой сын и будущая дочь, как мне благодарить вас за развлечение, которым вы оживили один из самых скучных вечеров, которые мне приходилось переживать? Не принимай такого угрожающего вида, мой мальчик, вспомни, что ты сейчас говорил этой молодой девице о преступлении против отца. Какие трогательные планы для будущего! Душа Дианы и самопожертвование… о нет, кажется, между всеми героями древности не подберешь подходящего сравнения. А теперь, до свидания, я иду встретить человека, которого вы оба ожидаете с таким нетерпением.

Он ушел и, минуту спустя, не говоря ни слова (что можно было сказать в его положении?) Адриан стал спускаться по лестнице вслед за отцом, чувствуя себя еще более несчастным и униженным, чем полчаса тому назад.

Прошло еще два часа. Эльза сидела у себя в комнате под надзором Черной Мег, следившей за ней, как кошка следит за мышью в мышеловке. Адриан нашел убежище в помещении, где спал, на верхнем этаже. Это была неуютная, пустая комната, где прежде хранились жернова и другие мельничные принадлежности, теперь же гнездились пауки и крысы, за которыми постоянно гонялась худая черная кошка. Под потолком проходили жерди, концы которых уходили в темноту, а из дырявой крыши постоянно падала каплями вода с монотонным, непрерывным стуком колотушки, ударяющейся о доску.

В жилой комнате нижнего этажа находился один Рамиро. Фонарь не был зажжен, и только отблеск огня, горевшего в очаге, освещал фигуру сидящего в задумчивости старика. Наконец до его тонкого слуха донесся звук с улицы. Приказав прислужнице зажечь лампу, он встал и отворил дверь. Через завесу нескончаемого дождя мелькал свет фонаря. Еще

минута, и человек, несший его, — Симон, — появился в сопровождении двух других людей.

— Вот он, — сказал Симон, кивая на стоявшую позади него фигуру, с толстого фризового плаща которой вода стекала потоками. — А вот другой, лодочник.

— Хорошо, — отвечал Рамиро. — Прикажи ему и прочим подождать под навесом, вынеси им водки, они нам могут понадобиться.

Послышались переговоры и ругательства, после чего лодочник, ворча, ушел.

— Войдите, отец Фома, — обратился Рамиро к прибывшему. — Пожалуйте, и прошу вашего благословения.

Не отвечая, монах откинул назад капюшон плаща, и показалось грубое, злое, красное лицо с воспаленными от невоздержания глазами.

— Извольте, сеньор Рамиро, или как вас там теперь именуют, хотя, собственно говоря, вы бы стоили проклятия за то, что заставляете священное лицо ехать ради какого-то вашего дьявольского замысла по такой погоде. Сейчас разве только собаке впору быть на дворе. Будет наводнение, вода уже вышла из берегов канала и все больше прибывает от тающего снега. Говорю вам, будет такой потоп, какого мы не видели много лет.

— Тем больше причин, святой отец, поскорее окончить наше небольшое дельце. Но, вероятно, вы пожелаете прежде выпить глоток чего-нибудь?

Отец Фома кивнул, и Рамиро, налив водки в кружечку, подал ему. Монах осушил ее одним глотком.

— Еще! — сказал он. — Не бойтесь. Всему свое время. Вот, прекрасно. Ну, в чем дело?

Рамиро отвел его в сторону, и они несколько минут разговаривали наедине.

— Отлично, — заявил наконец монах, — рискну исполнить ваше желание. В настоящее время на такие вещи смотрят довольно легко, когда дело касается еретиков. Но прежде деньги на стол: я не принимаю ни бумаг, ни обещаний.

— Ах вы, духовные отцы, — со слабой усмешкой проговорил Рамиро, — сколько нам, светским, приходится учиться у вас и в духовных, и в житейских вещах.

Со вздохом он вынул кошель и отсчитал требуемую сумму, затем прибавил:

— С вашего позволения мы прежде просмотрим бумаги. Они при вас?

— Вот они, — отвечал монах, вынимая несколько документов из кармана. — Но ведь они еще не обвенчаны. Знаете, ведь, прежде чем церемония совершится, мало ли что может произойти.

— Совершенно верно. Мало ли что может случиться, или прежде, или после, но, мне кажется, в данном случае вы можете засвидетельствовать акт до совершения церемонии. Вам может вдруг понадобиться уехать, и таким образом вы избавитесь от лишней задержки. Потрудитесь написать свидетельство.

Отец Фома колебался. Между тем Рамиро, тихонько побрякивая золотыми, проговорил:

— Ведь было бы досадно, отец, если бы вы совершили такое трудное путешествие задаром.

— Что вы еще задумали? — проворчал монах. — Ну, в конце концов, все это простая формальность. Назовите мне имена.

Рамиро назвал имена, и отец Фома записал их, прибавив несколько слов и свою подпись.

— Готово! Для всех, кроме одного папы, достаточно.

— Простая формальность, — сказал Рамиро, — конечно, но свет придает такое значение этой формальности, и поэтому, я думаю, надо будет, чтобы эту бумажку нам подписали свидетели. Я не могу, так как я здесь лицо заинтересованное, пусть будет кто-нибудь посторонний.

Позвав Симона и служанку, Рамиро приказал им подписаться под документом.

— Бумага подписана вперед, и деньги вперед, — продолжал он, вручая монеты монаху, — а теперь еще стаканчик за здоровье жениха и невесты, тоже вперед. Вы ведь тоже не откажетесь, уважаемый Симон и любезная Абигайль… Ночь такая холодная!

— А водка крепкая, — заплетающимся языком проговорил монах, испытывая действие третьей порции чистого спирта. — Однако, к делу! Мне надо выбраться отсюда еще до наводнения.

— Совершенно верно. Будьте добры, господа, пригласите моего сына и ювфроу. Лучше прежде ювфроу, вы все трое можете быть провожатыми. Невесте иногда вдруг случается заупрямиться, понимаете? О сеньоре Адриане не беспокойтесь. Я хочу дать ему кое-какие советы и поэтому сам схожу за ним.

Минуту спустя отец и сын стояли лицом к лицу. Адриан потрясал кулаком и неистово бранил холодного, невозмутимого Рамиро.

— Дурак ты, — сказал Рамиро, когда Адриан замолчал. — И подумать только, что такой осел, годный только, чтобы его колотили да заставляли

носить чужие тяжести, способный только оглашать воздух своим ослиным криком и брыкаться, мог родиться у меня! И не криви физиономию — ты в моих руках, как ты там ни ненавидишь меня. Ты телом и духом мой раб — больше ничего. Ты потерял единственный шанс, который имел, когда захватил меня в Лейдене. Теперь ты уже не смеешь обнажить оружия против меня, любезнейший Адриан, боясь за свою душу, а если б и посмел, то я продырявил бы тебя.

— Нет, — отвечал Адриан.

— Подумай минуту. Если ты не женишься на ней, не пройдет и получаса, как я стану ее мужем, и тогда… — Он нагнулся к Адриану и шепотом докончил фразу.

— Дьявол! — проговорил Адриан и пошел к двери.

— Что? Передумал? Флюгер! Это преимущество всех утонченных натур. Но ты ведь без колета, и позволь посоветовать тебе пригладить волосы. Ну, идем. Ступай ты вперед, так будет лучше.

Когда они спустились в комнату нижнего этажа, невеста была уже там, ее с двух сторон поддерживали Черная Мег и другая женщина. Эльза была бледна, как смерть, и вся дрожала, но несмотря на это смело смотрела в глаза присутствовавшим.

— Итак, приступим, — бормотал полупьяный монах. — Мы имеем согласие обеих сторон.

— Я не согласна! — закричала Эльза. — Меня затащили сюда силой. Призываю всех в свидетели, что все, что происходит здесь, делается против моей воли. Призываю Бога на помощь!

Священник обратился к Рамиро:

— Как же обвенчать их после такого заявления? Если б она молчала, это еще было бы возможно.

— Я уже подумал о подобном затруднении, — отвечал Рамиро и сделал знак Симону и Черной Мег, которые, пройдя сзади, завязали платком рот Эльзе так, что она не могла уже говорить и только в состоянии была дышать через нос.

Она попробовала было сопротивляться, но затем смирилась и обратила умоляющий взор на Адриана, который выступил вперед и собирался что-то сказать.

— Ты помнишь, между чем должен выбирать? — тихо спросил его отец, и он отступил.

— Мне кажется, что мы можем считать ответ жениха или, по крайней мере, его молчание за согласие, — сказал монах.

— Можете, — ответил Рамиро.

После этого началось венчание. Эльзу потащили к столу. Три раза она бросалась на землю, и три раза поднимали ее, но, наконец, утомленные тяжестью ее тела, ей не препятствовали оставаться на коленях. Она так и осталась в этой позе, как осужденная, молящаяся на эшафоте. Это была сцена грубого насилия, каждая подробность которой запечатлелась в памяти Адриана. Круглая комната с каменными стенами, наполовину освещенная лампой и огнем массивного дубового очага, наполовину остававшаяся в темноте, невеста, скорее похожая на покойницу, с повязкой на бледном, измученном лице, краснолицый монах, бормочущий отвислыми губами молитвы, читая их по книге и стоя чуть не спиной к невесте, чтобы не видеть ее сопротивления, две ужасные старухи, плосколицый Симон, ухмыляющийся около очага и, наконец, Рамиро, следящий циничным, насмешливым, торжествующим, но вместе с тем несколько тревожным взглядом своего единственного глаза за ним, Адрианом. Такова была картина. Кроме того, еще одно обстоятельство обратило на себя внимание Адриана и еще сильнее встревожило его, звук, который, как он думал в эту минуту, был слышен ему одному, отдаваясь в его голове, тихое, протяжное завывание, похожее на завывание ветра, но постепенно переходящее в рев.

Церемония окончилась. Монаху удалось надеть кольцо на палец Эльзе, и до тех пор, пока брак не будет расторгнут законным судом, она должна считаться женой Адриана. Платок сняли, руки отпустили, физически она стала свободна, но, как она сама сознавала, в эти дни и на этой земле, где господствовало насилие, она была скована более крепкой цепью, нежели стальной, даже изготовленной самым искусным мастером.

— Поздравляю, сеньора, — обратился к ней отец Фома. — Вам было нехорошо во время церемонии, но таинство…

— Перестань насмехаться, богохульник! — крикнула за него Эльза. — Да поразит Божья месть прежде всего тебя.

Сдернув кольцо с пальца, она бросила его так, что оно покатилось по дубовому столу. После этого, отвернувшись с жестом отчаяния, она бросилась к себе в комнату.

Красное лицо отца Фомы побледнело, и желтые зубы застучали.

— Проклятье девушки, да еще в час ее венчания, не пройдет даром! — пробормотал он, крестясь. — Несчастье неминуемо, а может быть, и смерть… да, смерть, клянусь святым Фомой. И это ты заставил меня сделать такое дело, ты, галерник, каторжник!

— Я предупреждал вас, отец, еще в Гааге, — отвечал Рамиро, — рано или поздно такие вещи, — он указал на бутыль с водкой, — действуют на

нервы. Хлеб и вода в течение сорока дней — вот, что я вам советую, отец Фома…

Он не успел закончить своих слов, как дверь с шумом растворилась, и в комнату вбежали оба лодочника с выражением ужаса на лицах.

— Скорей, скорей! — кричали они.

— Что случилось? — завопил монах.

— Большой канал вышел из берегов. Слышите? Вода идет сюда, мельницу снесет.

Праведный Боже, это было верно! В открытую дверь доносился рев воды, тот самый шум, который Адриан слышал перед этим, и сквозь мрак виднелись пенистые гребни огромных водяных масс, стремившихся через все увеличивающуюся промоину в плотине канала на затопленную уже низменную равнину.

Отец Фома бросился к двери с отчаянным криком:

— Лодку! Лодку!

Рамиро стоял минуту, раздумывая, затем приказал:

— Приведите ювфроу. Не ты, Адриан, она скорее умрет, чем пойдет за тобой, а вы, Симон и Мег. Живее!

Симон и Мег ушли.

— Возьмите этого господина и посадите в лодку, — приказал Рамиро лодочникам, указывая на Адриана. — Держите его, если он вздумает бежать. Я сейчас приду с ювфроу. Ступайте, нельзя терять ни минуты.

Лодочники утащили Адриана, несмотря на его сопротивление.

Рамиро остался один. Времени, как он справедливо заметил, нельзя было терять, и снова он на несколько секунд глубоко задумался. Лицо его то краснело, то бледнело, наконец он принял решение: «Я неохотно делаю это, нарушая, таким образом, свой обет: но случая нельзя упустить. Она обвенчана, но впоследствии могла бы оказаться для нас большой помехой и довести нас даже до суда и галер, так как за ее богатством гонятся еще другие, — рассуждал он, весь дрожа, — заодно отделаемся от шпионов и от их свидетельств!…»

С созревшей решимостью Рамиро выскочил за дверь, запер ее снаружи железным засовом и со всех ног пустился бежать к лодке.

Верхняя дорожка уже на три фута была покрыта водой, так что он едва мог пробираться по ней. Вот, наконец, и лодка. Он вскочил в нее, и в эту минуту лодку понесла вперед на своем гребне гигантская волна. Вся плотина подалась сразу, и, переполненная дождями, снегом и притоком со стороны стекающих вод, огромная масса воды опустошающим потоком хлынула в равнину.

— Где Эльза? — закричал Адриан.

— Не знаю, я не мог найти ее, — отвечал Рамиро, — Гребите изо всех сил, мы можем съездить за ней завтра… прихватим тогда и монаха.

Наконец холодное зимнее солнце поднялось над водяной пустыней, представлявшей теперь довольно спокойную на вид поверхность. Рамиро на вчерашней лодке направлялся сквозь утренний туман к тому месту, где должна была стоять Красная мельница.

Ее уже не было, а над водой возвышались только остатки красного кирпичного фундамента. Деревянная часть была снесена первой же налетевшей волной.

— Это что такое? — спросил один из гребцов, указывая на темный предмет, плывший среди обломков дерева и пучков камыша, прибитых водой к фундаменту.

Лодка направилась к этому предмету. Он оказался телом отца Фомы, вероятно, оступившегося, направляясь к лодке, и попавшего в глубокую воду.

— Гм! Проклятие девушки! — пробормотал Рамиро. — Заметьте, друзья, как иногда совпадение случайных обстоятельств может повести к суеверию. Постойте-ка! — Обхватив мертвеца одной рукой, он другой обшарил его карманы и с улыбкой удовольствия ощупал в одном из них кошелек с тем самым золотом, которое он отсчитал монаху накануне вечером.

— О Эльза, Эльза! — горевал Адриан.

— Успокойся, сын мой, — обратился к нему Рамиро, когда лодка повернула назад, предоставив отцу Фоме покачиваться на легкой ряби водной поверхности, — ты лишился жены, характер которой, впрочем, сулил тебе мало счастья в будущем, но зато у меня сохранился документ о вашем браке, составленный вполне по форме и подписанный свидетелями, и ты — наследник Эльзы.

Он не прибавил, что он, в свою очередь, считает себя наследником сына. Но Адриан подумал об этом и даже при всем своем волнении не мог не спросить себя, долго ли еще ему, ближайшему родственнику Рамиро, украшать собою этот мир?

— Вероятно, пока от меня еще можно ждать какой-нибудь прибыли, — решил он.

XXVII. Что Эльза увидала при лунном свете

Читатель помнит, что за несколько недель до насильственного бракосочетания Эльзы на Красной мельнице Мартин, бежавший с Фоем из тюрьмы, отнес его в убежище тетки Марты на Харлемском озере. Здесь Фой проболел довольно долго, и одно время его жизнь даже находилась в опасности от ран на ноге, грозивших ему гангреной, но в конце концов молодые силы, крепкое сложение и лечение Марты помогли ему оправиться. Как только силы позволили, он уехал в Лейден, где мог показаться совершенно безопасно, так как испанцев оттуда выгнали.

Как усиленно билось его сердце, когда он, еще несколько бледный и не вполне окрепший после перенесенной болезни, подходил к знакомому дому на Брее-страат, где жили его мать и невеста. Он готовился увидеться с ними, зная, что Лизбета уже вне опасности, а Эльза ухаживает за ней.

Лизбету, превратившуюся от горя и болезни в старуху, он, действительно, нашел, но Эльзы не было. Она исчезла. Накануне вечером она вышла подышать воздухом и не вернулась. Никто не мог сказать, что с ней стало. По всему городу только и толку было, что об этом исчезновении, а мать его была близка к помешательству, опасаясь самого худшего.

Пытались искать в разных направлениях, но нигде не могли найти ни малейшего следа. Кто-то видел, как Эльза вышла за городские ворота, но затем она исчезла. Некоторое время Фой ничего не мог сообразить, но мало-помалу он успокоился и начал размышлять. Достав из кармана письмо, принесенное ему Мартой в вечер сожжения церкви, он стал перечитывать его, надеясь найти в нем какое-нибудь указание на то, что что-то могло произойти и Эльзе понадобилось совершить небольшое путешествие по своим личным делам. Письмо было очень важное. Эльза высказала свою радость по поводу его спасения, сообщала о событиях в городе, о смерти его отца в тюрьме и заканчивала так:

Дорогой Фой, мой жених, я не могу прийти к тебе, потому что должна ходить за твоей матерью; я думаю, что ты сам пожелал бы этого точно так же, как я считаю это своим долгом. Надеюсь, однако, что скоро и ты будешь с нами. Но кто в состоянии поручиться в наше ужасное время, что может случиться? Поэтому, Фой, что бы ни постигло нас, прошу тебя помнить, что

и в жизни, и в смерти я твоя, твоя, мертвая или живая. Умри ты, а я останься живой, или умри я, а ты останься жив, — я навеки буду верной тебе, что бы ни случилось. Теперь прощай, до свидания в скором будущем или тогда, когда все земное перестанет существовать для нас с тобой. Да пребудут с тобой благословение Божие и моя любовь. Когда ты не будешь спать ночью или встанешь утром, вспоминай обо мне и молись так же, как это делает твоя невеста Эльза. Марта ждет. Прощай, дорогой, ненаглядный!

Здесь не было ни малейшего намека на какое-либо путешествие. Стало быть, если Эльзе пришлось куда-нибудь отправиться, то только вопреки ее желанию.

— Что ты думаешь, Мартин? — спросил Фой, глядя на него озабоченными, ввалившимися глазами.

— Рамиро… Адриан… украли, — ответил Мартин.

— Почему ты так думаешь?

— Видели третьего дня, что Симон бродил за городом, а на реке стояла какая-то подозрительная лодка. Ювфроу вышла за город, об остальном можно догадаться.

— Зачем она могла понадобиться им? — хриплым голосом спросил Фой.

— Кто знает? — сказал Мартин пожимая плечами. — По-моему, может быть две причины. Предполагают, что состояние Бранта, когда оно будет найдено, перейдет к ней, вот поэтому-то она и могла понадобиться вору Рамиро. Адриан же влюблен в нее, и естественно, ему хотелось заполучить ее. Знаем мы эту парочку и всего можем ждать от нее.

— Убью их обоих, попадись они мне в руки, — заявил Фой, скрежеща зубами.

— И я, само собой разумеется, только прежде надо поймать их и отыскать ее, что одно и то же.

— Как это сделать, Мартин?

— Не знаю.

— Подумай.

— И так стараюсь, хеер Фой, а вы-то не думаете. Вы говорите слишком много, помолчите.

— Ну что же, придумал что-нибудь? — спросил Фой через полминуты.

— Нет пользы раздумывать, хеер Фой. Придется бросить все это и отправиться к Марте. Никто, кроме нее, не в состоянии выследить их. Здесь нам ничего не узнать.

Они вернулись на остров Харлемского озера и рассказали Марте свою

грустную повесть.

— Поживите здесь денек-другой, и не теряйте терпения, — сказала она. — Я отправляюсь на поиски.

— Мы здесь ни за что не останемся, мы идем с вами, — заявил Фой.

— Как хотите, но дело предстоит трудное. Мартин, приготовь-ка эту большую лодку.

*** * ***

Прошло две ночи. Было около часа пополудни третьего дня, дня венчания Эльзы. Снег перестал, и его сменил постоянный частый дождь. На северном краю Харлемского озера, спрятанная в камышах, частично, скрываясь от непогоды, а частично — от испанцев, стояла большая лодка, в которой находились Фой и Мартин. Марты с ними не было, она отправилась в корчму, находившуюся на некотором удалении, чтобы попытаться собрать какие удастся сведения. Сотни крестьян в этих местах знали и любили ее, хотя многие и не признались бы в этом открыто, и от них-то Марта надеялась узнать что-либо о месте пребывания Эльзы, если только ее не увезли прямо во Фландрию или даже в Испанию.

Целых два дня она потратила на розыски, но пока без всякого успеха. Фой и Мартин сидели в лодке, мрачно переглядываясь, и на Фоя было прямо-таки жалко смотреть.

— О чем вы думаете, хеер Фой? — спросил Мартин.

— Думаю, что, если бы мы и нашли ее сейчас, было бы уже поздно. То, что они хотели сделать — убить ее или выдать замуж, — они уже исполнили.

— Успеем погоревать об этом, когда найдем ее, — проговорил Мартин, не зная, что сказать, кроме этого, и прибавил: — Слышите?… Кто-то идет.

Фой раздвинул камыши и выглянул.

— Верно, — сказал он, — идет Марта и с ней еще кто-то.

Мартин выпустил рукоятку меча «Молчание». В эти дни рука и оружие не должны были находиться далеко друг от друга. Через минуту Марта и ее спутник вошли в лодку.

— Кто это? — спросил Фой.

— Мой знакомый, Март Ян.

— Узнали что-нибудь?

— Да, Март Ян кое-что знает.

— Говори скорее! — с нетерпением обратился Фой к пришедшему.

— Мне не станут мстить? — спросил Март Ян, недурной малый, хотя и попавший в плохую компанию, и подозрительно взглянул на Фоя и Мартина.

— Ведь я же тебе обещала, — сказала Марта, — а разве случалось Кобыле нарушать слово?

Март Ян рассказал все, что ему было известно: как он находился в числе гребцов, отвозивших две ночи тому назад Эльзу или молодую особу, похожую на нее по описанию, на Красную мельницу, недалеко от Фельзена, и как ее охраняли мужчина и женщина, которые не могли быть ни кем иными, как Симоном и Мег. Он рассказал о ее мольбе во имя их жен и дочерей, обращенной к лодочникам, причем, слушая его, Фой плакал от страха и бешенства, и даже Марта заскрежетала зубами. Тогда Мартин столкнул лодку с мели и направил ее к глубокой воде.

— Это все? — спросил Фой.

— Все, менеер. Больше я ничего не знаю, но могу объяснить вам, где это место.

— Проводи нас! — заявил Фой.

Лодочник начал отнекиваться, ссылаясь на дурную погоду, на болезнь ожидающей его жены и тому подобное. Он даже пытался было выскочить из лодки, но Мартин поймал его и, бросив обратно в лодку, сказал:

— Ты мог один раз съездить на мельницу, отвозя девушку, про которую знал, что ее увезли насильно, можешь и вторично съездить, чтобы освободить ее. Сиди смирно и управляй рулем, а не то я брошу тебя на съедение рыбам.

После этого Март Ян выказал полную готовность направить лодку к Красной мельнице, до которой можно было, по его словам, добраться к сумеркам.

Все послеполуденное время они плыли то под парусом, то на веслах, пока в сумерки, еще прежде чем показалась мельница, не началось наводнение, такое наводнение, какого десять лет не было в этих местах, и волны не начали их бросать из стороны в сторону. Но Март Ян хорошо умел держать курс, он обладал инстинктом предков, которые добывали себе пропитание в бурных волнах, и поэтому лодка шла, не сбиваясь, к намеченной цели.

Один раз Фою показалось, что он слышит голос, взывающий о помощи, но призыв не повторился, и они двинулись дальше. Наконец небо прояснилось, и месяц осветил такую водную поверхность, какую только

разве Ною пришлось видеть из ковчега, только по этой поверхности плавали вещи, которые вряд ли пришлось видеть Ною: стога сена, мертвый и тонущий скот, домашнюю утварь и даже гроб, вымытый из какого-нибудь кладбища, а вдалеке мелькали бесплодные вершины дюн.

— Мельница должна быть недалеко, — сказал Март Ян, — повернем.

Они повернули и стали грести усталыми руками, так как ветер вдруг стих.

*** * ***

Теперь вернемся немного назад. Из комнаты, где совершилось венчание, Эльза побежала к себе наверх и заперла дверь. Через несколько минут она услышала стук и голоса Симона и Мег, просившие ее отворить. Она не отозвалась, стук прекратился, и тут Эльза в первый раз услышала гул и рев прибывающей воды. Время шло будто в каком-то кошмаре, пока вдруг не раздался треск ломающегося дерева. Эльза заметила, что вся мельница стала оседать. Она уступила напору волн в тех местах, которые были наиболее слабыми. Верхняя узкая часть ее рухнула, и красная крыша повисла, как пригнутое ветром к земле дерево. Эльза в ужасе бросилась к двери, ища лестницу. Но вода уже поднималась по ступенькам, путь был отрезан. В комнате была еще лестница, которая вела на бывший чердак, теперь лежавший под острым углом. Эльза взобралась на эту лестницу, так как вода лилась из двери и деваться было некуда. Под самой крышей оказался люк. Эльза вползла в него и очутилась как раз в месте крепления гигантских мельничных крыльев. Ветер задул фонарь, который она успела захватить с собой. Эльза схватилась за стержень, к которому были прикреплены лопасти крыла. Тут она заметила, что деревянная крыша, опираясь на кирпичный фундамент, качается во все стороны, как лодка на бушующем море. Вода подходила к ней. Эльза чувствовала это по всплескам волн, хотя не видела воду, и ноги ее были еще сухими.

Сколько времени прошло, Эльза не могла определить, но, наконец, тучи немного разошлись, выглянул месяц, и при его свете она увидела нечто ужасное. Вся окрестность была покрыта водой: до крыши она не доходила всего несколько футов и все еще продолжала подниматься. Эльза заметила, что на крыше изнутри были маленькие выступы вроде ступенек, которые вели к слуховому окну. Кое-как она добралась до этого окна.

Отсюда можно было что-то рассмотреть. Совсем рядом, но все же отделенные пятнадцатью футами волнующейся желтой воды, виднелись остатки каменного фундамента, за которые хватались два человека, Симон и Мег. Они тоже увидели Эльзу и стали звать на помощь, но Эльза не могла помочь им. Без сомнения, это был сон, потому что ничего подобного не могло случиться наяву.

Вода все больше и больше заливала фундамент, пространство, на котором держались два существа, становилось все меньше и меньше. Скоро оно сделалось слишком тесным для обоих. Они начали ссориться, браниться, и их разъяренные зверские лица почти соприкасались между собой, между тем как сами они, скорчившись, стояли на четвереньках. Вода еще поднялась, они продолжали стоять в том же положении, и Симон головой толкнул Мег. Но Мег была еще сильна, она ответила на толчок толчком, и в следующую минуту, как кошка, вспрыгнула Симону на спину, придавив его. Он пытался стряхнуть ее, но не мог, не решаясь разжать с трудом удерживающие его руки. Он повернул свое плоское ужасное лицо и укусил жену за ногу. Мег громко вскрикнула от боли, и этот крик услышал Фой. Затем она выхватила нож из-за пазухи (Эльза видела, как он сверкнул при лунном свете) и стала наносить удары.

Эльза закрыла глаза. Когда она снова открыла их, женщина была одна на узком карнизе, распластавшись, как лягушка. Так она лежала с минуту, как вдруг карниз стал опускаться и исчез, затем он снова вынырнул, а Мег продолжала держаться за него, вся мокрая, подвывая от ужаса. Карниз снова скрылся под водой, на этот раз глубже, и когда всплыл опять, то на нем уже никого не было — нет, впрочем, было одно существо, полудикая черная кошка, бродившая по мельнице. Черная Мег же исчезла без следа.

Дождь сменился морозом, стало страшно холодно. Если бы на Эльзе не было надето теплое зимнее платье, обшитое мехом, совершенно сухое, она, наверное, поплатилась бы здоровьем. Девушка совершенно ослабела и лишилась сознания. Ей показалось, что все — ее насильственное замужество, наводнение, смерть Симона и Мег — было не более чем сон, кошмар, проснувшись от которого, она окажется лежащей в своей теплой постели на Брее-страат. Да, это не что иное как кошмар, иначе как могла снова повториться та ужасная борьба, которой Эльза была свидетельницей, а между тем Эльза снова увидела Симона, кусающего ногу своей жены, только его плоское лицо сменилось кошачьей головой, горящие глаза которой устремились на нее. А Мег продолжала наносить ему удары между лопаток, и вдруг она начала расти, принимая гигантские размеры, лицо ее поднялось из воды и подплыло к ней на расстояние фута. Эльза

чувствовала, что неминуемо упадет, но попыталась прежде закричать о помощи, так закричать, чтобы мертвые услышали ее. Но не лучше ли удержаться от крика? Крик может вернуть Рамиро. Лучше молча присоединиться к уже умершим. Но что такое говорит голос, голос Мег, только очень изменившийся? Он ободряет ее, говорит, что слышанный ею звук вовсе не происходит от удара ножа, а от весел. Вероятно, это Рамиро приехал в лодке, чтобы схватить ее. Нет, она не отдастся в руки ему или Адриану, она лучше бросится в воду, вверив себя Богу. Раз, два, три, и все кончено…

Вдруг Эльза увидала, что на нее падает свет и почувствовала, что кто-то целует ее в лоб и губы. Она в ужасе подумала, что это Адриан, и наполовину открыла глаза. Но как странно: ее целовал вовсе не Адриан, а Фой. Без сомнения, это все еще продолжение сна, и так как во сне или наяву Фой имел полное право целовать ее, то она и не противилась. Затем ей показалось, что она слышит знакомый голос Красного Мартина, который спрашивал у кого-то, за сколько времени можно добраться до Харлема при попутном ветре, на что другой голос отвечал: «За три четверти часа».

Как странно, почему Мартин сказал «Харлем», а не «Лейден»?… После этого другой, также знакомый голос сказал:

— Она приходит в себя.

Кто-то влил ей в горло вина, и Эльза, уже не в состоянии дольше переносить неизвестность, совсем открыла глаза. Тут она увидала перед собой Фоя, живого Фоя.

Она глубоко вздохнула и снова начала терять сознание от радости и слабости, но Фой обнял ее и прижал к груди. Тогда она вспомнила все.

— О Фой, Фой! — воскликнула она. — Ты не должен целовать меня.

— Почему? — спросил он.

— Потому что… потому что… я замужем.

Его счастливое лицо вдруг омрачилось.

— Замужем? — с усилием проговорил он. — За кем?

— За твоим братом Адрианом.

Он растерянно посмотрел на нее и медленно спросил:

— Ты убежала из Лейдена, чтобы обвенчаться с ним?

— Как ты смеешь задавать мне такой вопрос? — вскричала Эльза, вся вспыхнув.

— Может быть, ты постараешься, в таком случае, объяснить все.

— Тут нечего объяснять. Я думала, ты все знаешь. Они увезли меня силой в ночь перед наводнением и силой обвенчали.

— Подожди же, друг Адриан, попадешься ты мне! — скрежеща

зубами проговорил Фой.

— Надо быть справедливым, — продолжала Эльза, — он, кажется, вовсе не так уж желал жениться на мне, но другого выхода не было, так как иначе меня обвенчали бы с Рамиро…

— И он, этот добрый, мягкосердечный человек, пожертвовал собой, — насмешливо перебил ее Фой.

— Да, — ответила Эльза.

— А где же твой пожертвовавший собой… Не могу выговорить, кто?

— Не знаю. Предполагаю, что они с Рамиро спаслись в лодке, а может быть, он утонул.

— В таком случае, ты стала вдовой раньше, чем того ожидала, — сказал Фой более веселым тоном, подвигаясь к Эльзе.

Но Эльза немного отодвинулась, и Фой с ужасом заметил, что как ни ненавистен ей свершившийся брак, она все-таки признает его.

— Не знаю, — отвечала она. — Думаю, что мы со временем что-нибудь услышим о нем, и тогда, если он окажется в живых, я стану хлопотать, чтобы освободиться от него. А пока, мне кажется, я его законная жена, хотя никогда больше не увижу его. Куда мы едем?

— В Харлем. Испанцы стягиваются вокруг города, и мы не можем даже пытаться пробиться через их линию. Позади нас испанские лодки. Скушай что-нибудь и выпей глоток вина, и потом расскажи нам все, что случилось.

— Один вопрос, Фой. Как вы нашли меня?

— Мы дважды слышали женский крик: один раз далеко, другой раз ближе и, подплыв на звук, увидели что-то, повисшее на опрокинувшейся мельнице футах в трех или четырех над водой. Мы знали, что тебя отвезли на мельницу, нам сказал этот человек. Ты узнаешь его? Но мы долго не могли найти мельницы впотьмах и при разливе.

Немного подкрепившись, Эльза рассказала свою историю слушателям, собравшимся под парусом, в то время как Март Ян управлял рулем. Когда она закончила, Мартин сказал что-то шепотом Фою, и, как бы в едином порыве, все четверо опустились на колени и возблагодарили Бога за то, что молодая беззащитная девушка была избавлена ее друзьями и ее нареченным женихом от той ужасной опасности, которой она подвергалась. Окончив простую, но сердечную благодарственную молитву, они встали, и Эльза не воспротивилась, когда Фой взял ее руку.

— Скажи, милая, правда, что ты считаешь действительным этот насильственный брак? — спросил он.

— Выслушай меня, прежде чем ответить, — вмешалась Марта. — Это

вовсе не брак, так как никого нельзя обвенчать без его согласия, а ты не давала своего согласия.

— Это не брак, — повторил за Мартой Мартин, — а если он считается браком, то меч мой рассечет его.

— Это вовсе не брак, — сказал Фой, — потому что, хотя мы и не стояли с тобой пред алтарем, но сердца наши соединены, стало быть, ты не можешь стать женой другого.

— Милый, — ответила Эльза, — и я так же убеждена, что это не брак, но священник произнес слова венчания надо мной и надел мне на палец кольцо. И теперь перед законом, если еще закон есть в Нидерландах, я жена Адриана. Стало быть, прежде чем я могу стать твоей женой, все случившееся должно быть предано гласности и я должна обратиться к закону, чтобы он освободил меня.

— А если закон не может или не захочет этого сделать, что тогда, Эльза?

— Тогда, мой милый, наша совесть будет чиста, и мы станем сами себе законом. Пока же придется подождать. Ты доволен теперь, Фой?

— Нет, — мрачно возразил Фой, — возмутительно, чтобы подобный дьявольский замысел мог разлучить нас, хотя бы на один только час. Однако в этом, как и во всем остальном, я послушаюсь тебя, милая.

— Перестаньте говорить о женитьбе и замужестве, — раздался резкий голос Марты. — Сейчас важно другое. Взгляни туда, девушка. Что ты видишь? — Она указала на берег. — Призраки амаликитян, тысячами идущие на избиение нас и наших братьев, сынов Божьих[104]. Взгляни назад. Что ты видишь? Корабли тиранов стремятся окружить город сынов Божьих. Наступит день смерти и опустошения, и, прежде чем солнце зайдет, тысячи людей пройдут через врата смерти, а между этими тысячами, может быть, будем и мы. Поднимем же знамя свободы, обнажив оружие на защиту правды, опояшемся мечом справедливости и возьмем себе в защиту щит надежды. Сражайтесь за свободу страны, родившей вас, за память Христа, умершего за вас, за веру, в которой вы выросли. Бейтесь, и только тогда, когда битва будет выиграна, но не раньше, думайте о мире и любви. Не смотрите на меня с таким испугом, дети. Я, сумасшедшая скиталица, говорю вам, что нечего бояться. Кто защитил тебя в тюрьме, Фой ван Гоорль? Какая рука сохранила твою жизнь и честь, когда ты очутилась среди дьяволов в Красной мельнице, Эльза Брант? Вы это хорошо знаете, и я, Марта, говорю вам, что эта самая рука будет защищать вас до конца. Да, я знаю это. Тысячи и десятки тысяч будут падать вокруг вас, но вы переживете и голод, и болезни, стрелы будут пролетать мимо

вас, и меч злодея не коснется вас. Я — другое дело. Мой час приближается, и я рада этому, вам же, Фой и Эльза, я предсказываю много лет земных радостей.

Так говорила Марта, и слушателям ее казалось, что ее возбужденное, обезображенное лицо светилось вдохновением, и никому из них, знавших ее историю и веривших в то, что пророческий дух может проявляться в избранниках, не показалось странным открывшееся перед ней видение будущего. Слова Марты успокоили ее слушателей, и на некоторое время они забыли об опасности.

А опасность между тем была большая. По роковому стечению обстоятельств наши друзья избежали одной опасности, чтобы встретиться с другой, еще большей, так как десятого декабря 1572 года они попали как раз в кольцо испанской армии, стягивавшееся вокруг обреченного на гибель города Харлема. Спасение было невозможно: никто не был способен прорваться сквозь эту цепь судов и солдат. Единственным убежищем являлся город, где им пришлось остаться до конца осады, одной из самых ужасных в истории Голландии. У них оставалось одно утешение, что они встретят смерть вместе и что с ними есть два любивших их человека: Марта, «бич испанцев», и Мартин, свободный фриз, богатырь, как бы дарованный им Богом щит.

Бывшие жених и невеста улыбнулись друг другу и смело поплыли к воротам Харлема, которые скоро должны были затвориться.

XXVIII. Возмездие

Прошло семь месяцев, семь самых ужасных месяцев, которые когда-либо приходилось переживать людям. Все это время в снег, в мороз, в зимние туманы, при Ь ледяных весенних ветрах, и теперь, в самый разгар летней жары, Харлем был осажден тридцатитысячной испанской армией, состоявшей большей частью из опытных старых солдат под началом дона Фредерика, сына Альбы, и других полководцев. С этим дисциплинированным войском приходилось бороться маленькому четырехтысячному гарнизону Харлема, состоявшему из голландцев, немцев, небольшого числа англичан и шотландцев, и двадцати тысячам жителей города — мужчинам, женщинам и детям. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц между этими двумя неравными силами шла борьба, сопровождавшаяся с обеих сторон не только проявлениями геройства, но также и жестокостью, которую мы в наше время назвали бы чудовищной. В эту эпоху военнопленные не могли ждать пощады, и тот мог считать себя счастливым, кому не приходилось умирать медленной смертью повешенным за ноги на глазах своих сограждан.

Стычек происходило множество, люди гибли массово, из одних только горожан умерло двенадцать тысяч, так что окрестности Харлема превратились в одно огромное кладбище и даже рыба в озере была отравлена трупами. Приступы, вылазки, засады, военные хитрости, отчаянные морские сражения, попытки штурма, взрывы мин и контрмин, при которых гибли тысячи, — все это сделалось обычными событиями дня.

К этому присоединились еще и другие ужасы: мороз при нехватке топлива, различные болезни, всегда развивающиеся во время осады, и самое худшее из бедствий — голод. Неделю за неделей, по мере того как затягивалась осада, запасы пищи уменьшались и, наконец, совсем истощились. Трава, выросшая на улице, остатки кожи на кожевенных заводах, все отбросы, кошки и крысы — все было съедено. На высокой башне собора уже много дней развивался черный флаг, который должен был известить принца Оранского в Лейдене, что в Харлеме царствует мрачное отчаяние. Были сделаны героические попытки прийти извне на помощь осажденным, но Баттенбург был разбит и умер, отступили и властительные князья Клотингена и Карлоо, потерявшие до шестисот человек. Надежды не оставалось!

Начали строить отчаянные планы: оставить детей, женщин и больных

в городе, а всем способным носить оружие попытаться пробиться через ряды осаждающих. Надеялись, что испанцы сжалятся над безоружными, как будто чувство жалости было доступно этим людям, которые впоследствии подтаскивали раненых и больных к дверям госпиталей и здесь хладнокровно их убивали и вообще совершали повсюду такие зверства, описывать которые перо отказывается. Однако, повествует старинная хроника, «женщины поняли это и, собравшись вместе, подняли такой ужасный крик, что каменное сердце должно было дрогнуть, и невозможным оказалось бросить их».

Затем созрел другой план: окружив женщин и всех беспомощных горожан вооруженными людьми, выйти из города и биться с врагом, пока не падет последний человек. Услышав это и опасаясь того, что могли сделать доведенные до отчаяния люди, испанцы согласились на переговоры и сообщили жителям Харлема, что те останутся безнаказанными, если заплатят двести сорок тысяч флоринов. Не имея ни пищи, ни надежды, несчастные, защищавшиеся до тех пор, пока их четырехтысячный гарнизон не сократился до девятисот человек, сдались.

*** * ***

В половине первого рокового дня 12 июля ворота распахнулись, и испанцы, оставшиеся в живых, с доном Фердинандом во главе, под барабанный бой, с развевающимися знаменами, с обнаженным, отточенным для убийства оружием в руках, вступили в город Харлем. В глубокой нише между двумя кирпичными колоннами собора стояли четверо знакомых нам людей. Война и голод оставили их в живых, хотя они разделяли общую участь всех жителей. Фой и Мартин принимали участие в каждом сражении, как бы опасно оно ни было, ни на минуту не покидая друг друга, и испанцы близко познакомились с тяжестью меча «Молчание» и руки рубившего их рыжебородого великана.

Марта тоже не бездействовала. Во время осады она состояла адъютантом при вдове Хасселер, командующей тремястами женщинами, сражавшимися день и ночь бок о бок с их братьями и мужьями. И Эльза, несмотря на свое нежное сложение и робкий характер, не позволявшие ей принимать участие в сражениях, нашла применение своим силам: она рыла мины и помогала класть стены, так что ее нежные руки загрубели и

потрескались.

Как все они изменились! Фой, у которого всегда было по юношески цветущее лицо, теперь имел внешность человека средних лет, высокий Мартин напоминал гигантский скелет, на котором висело платье, или скорее, лохмотья и вытертая буйволовая куртка, а его голубые глаза светились из глубоких впадин над огромными, выдающимися скулами, Эльза сделалась совсем маленькой, как ребенок. Ее кроткое личико утратило красоту и возбуждало жалость, и вся округлость ее фигуры исчезла: она стала походить на исхудалого мальчика. Из всех четверых Марта, переодетая мужчиной, изменилась меньше всего. Лишь ее волосы совершенно поседели, и лицо стало совсем лошадиным, так как желтые зубы еще больше выпирали изо рта, лишенного губ, а худые, высохшие руки стали походить на руки египетской мумии.

Мартин опирался на свой большой меч и вздыхал.

— Проклятые трусы, — бормотал он, — почему они не выпустили нас, чтобы мы погибли, сражаясь? Только безумные глупцы могут отдаться на произвол испанцев.

— О, Фой! — воскликнула Эльза, порывисто обнимая своего бывшего жениха. — Ты ведь не отдашь меня им? Если уж к тому пойдет, ты убьешь меня, не правда ли? Иначе мне придется самой убить себя, а я трусиха, Фой, я боюсь сделать это.

— Хорошо, — сказал он неестественно хриплым голосом. — Но, Господи, если ты есть, сжалься над нею… сжалься…

— Не богохульствуй, не сомневайся! — прервала Фоя Марта. — Разве не произошло все, как я сказала тебе прошлой зимой в лодке? Разве ты не состоял под покровительством и не найдешь его до конца? Только не богохульствуй и не сомневайся.

Ниша, где они находились, не была видна проходившим с большой площади, но в тот момент, когда Марта говорила, человек восемь-десять испанцев вышли из-за угла и заметили группу скрывавшихся в притворе.

— Тут смазливенькая девушка, — сказал командовавший отрядом сержант, — вытащите-ка, ее, молодцы.

Несколько человек выступили вперед, намереваясь исполнить его приказание, но тут Фой вне себя бросился на говорившего, и через минуту его меч на фут вышел из горла испанца, пронзив его насквозь. За ним с негромким криком последовал Мартин, держа в руке меч «Молчание», за Мартином — Марта со своим большим ножом. Через несколько минут все было кончено, пять человек лежали на земле: трое убитых и двое тяжело раненых.

— Еще прибавим к счету, — проговорила Марта, нагибаясь над ранеными, между тем как их товарищи спешили скрыться за углом.

Наступила минута тишины. Яркое летнее солнце светило на лица и вооружение убитых испанцев, на обнаженный меч Фоя, склонившегося над Эльзой, которая прижалась в углу ниши, закрыв лицо руками, на ужасные голубые глаза Мартина, сверкавшие яростью. Затем снова послышались шаги, и появился отряд испанцев, предводительствуемый Рамиро и Адрианом.

— Вот они, капитан, — сказал один из убежавших солдат. — Прикажите пристрелить их?

Рамиро взглянул сначала как бы мельком, но затем пристально. Наконец-то они попались ему! Уже давно он узнал, что Фой и Рыжий Мартин спасли Эльзу на Красной мельнице, и теперь, после долгих поисков, птички попались в его сети.

— Нет, зачем! — отвечал он. — Таких отчаянных людей должен судить особый суд.

— Куда же мы можем посадить их? — недовольно спросил сержант.

— Я заметил, что в доме, где мы поселились с сыном, прекрасный погреб, пока их можно посадить туда, всех, кроме дамы, о которой уж позаботится сам сеньор Адриан, ведь она является его женой.

Солдаты не стесняясь захохотали.

— Я повторяю, это жена, которую он искал уже много месяцев, — продолжал Рамиро, — и с ней надо обращаться почтительно. Понимаете?

Солдаты, по-видимому, поняли — по крайней мере, все молчали. Они уже успели заметить, что их начальник не любит возражений.

— Ну вы, сдавайте оружие! — обратился Рамиро к Фою и Мартину.

Мартин подумал с минуту, видимо, рассуждая, не лучше ли будет броситься на испанцев и умереть, сражаясь. И в эту минуту ему, как он говорил впоследствии, пришла на память старинная народная пословица: «Не считай игру проигранной, пока не выиграешь», и, истолковав ее так, что только мертвый никогда не может надеяться выиграть, он отдал меч.

— Давайте его сюда, — сказал Рамиро. — Это замечательный меч, и он мне понравился.

Солдаты передали ему меч, и он повесил его себе через плечо. Фой смотрел то на свой меч, то на стоящую на коленях Эльзу. Вдруг ему пришла в голову мысль, и он взглянул в лицо Адриану, своему брату, с которым виделся в последний раз, когда тот прибежал в контору предупредить его и Мартина. Он знал, что Адриан с отцом сражаются в рядах испанцев, но им ни разу не пришлось встретиться. Даже тут, в эту критическую минуту, Фоя

не оставляла мысль, как могло случиться, что Адриан при всей своей низости потрудился предостеречь их, и тем самым дать возможность организовать защиту литейной башни.

Фой взглянул на брата. Адриан был в мундире испанского офицера, в латах поверх стеганой куртки и в стальном шлеме, украшенном истрепанными перьями. Лицо его изменилось: в его красивых чертах не было и тени прежней надменности, он похудел и выглядел запуганным, как животное, дрессированное при помощью голода и хлыста. Фою показалось, что сквозь печать позора и падения на лице брата проскальзывает что-то хорошее, подобно солнечному лучу, пробивающемуся из-за черных туч. Может быть, Адриан, в конце концов, не так уж плох, может быть, он действительно такой, каким его всегда считал Фой — пустой, взбалмошный, бесхарактерный, рожденный, чтобы быть всегда игрушкой, а считающий себя главой, но ни в коем случае не злой. Кто знает?

Но и в худшем случае, не лучше ли Эльзе стать женой Адриана, чем погибнуть, и погибнуть от руки любящего ее человека?

Эта мысль мелькнула в уме Фоя, как молния, пронзившая тучи, и он бросил свой меч солдату, который подхватил его. В эту минуту его взгляд встретился со взглядом Адриана, и ему показалось, что он читает в этом взгляде благодарность и обещание.

Всех забрали. Расталкивая толпу пинками и ударами, солдаты повели их по улицам павшего города в здание, не совсем разрушенное ядрами, стоявшее на некотором отдалении и от стен, являющихся грудой развалин, и от городских ворот, где происходили такие ужасные сцены, в дом, принадлежавший прежде одному из зажиточных граждан Харлема. Здесь Фоя и Эльзу разлучили. Она уцепилась за него, но ее оторвали и потащили на верхний этаж, тогда как его, Мартина и Марту заперли в темном погребе.

Через некоторое время дверь погреба приоткрылась; чья-то рука просунула воду и пищу, хорошую пищу, какой они не ели уже много месяцев: мясо, хлеб, сухие селедки — еды было так много, что они не могли съесть всего за один раз.

— Может быть, еда отравлена? — спросил Фой, жадно нюхая принесенное.

— Кому выгодно травить нас? — возразил Мартин. — Поедим сегодня, а завтра можно умереть.

Как голодные животные, принялись они за еду, а затем, несмотря на все свои несчастья, уснули крепким сном.

Через десять часов, показавшихся им минутами, дверь снова

отворилась, и вошел Адриан с фонарем в руке.

— Фой, Мартин, вставайте и пойдемте со мной, если хотите остаться в живых.

Они мгновенно проснулись.

— Идти за тобой, за тобой? — проговорил Фой, запинаясь.

— Да, — спокойно ответил Адриан. — Конечно, может случиться, что вам и не удастся убежать, но если вы останетесь здесь, что ожидает вас? Рамиро, мой отец, скоро вернется, и тогда…

— Надо сойти с ума, чтобы довериться вам! — прервал его Мартин, и презрение, слышавшееся в его голосе, больно отозвалось в сердце Адриана.

— Я знал, что ты подумаешь так, — сказал он покорно, — но что же остается делать? Я могу вывести вас из города. У меня уже приготовлена лодка для вашего бегства. Я рискую собственной жизнью, что же я могу сделать еще? Почему вы колеблетесь?

— Потому что не доверяю тебе, — возразил Фой. — И кроме того, я не уйду без Эльзы.

— Я предвидел это, — отвечал Адриан. — Эльза здесь. Эльза, подойди сюда, покажись.

Эльза спустилась по лестнице в погреб. Выглядела она лучше, так как поела и отдохнула, и в ее глазах светилась надежда. Необыкновенная радость переполнила сердце Фоя. Почему она так смотрит? Она же подбежав к нему, обняла и поцеловала его, а Адриан только сдержанно отвернулся.

— Фой, — поспешно заговорила она, — он, в конце концов, честный человек, только очень несчастный. Надо скорее бежать, прежде чем вернется дьявол. Теперь он на совете офицеров, обсуждающих, кто должен быть казнен, но он скоро вернется, и тогда…

Оставив всякие колебания, заключенные двинулись в путь.

Они вышли из дома, и никто не остановил их. Сторож ушел, чтобы принять участие в грабеже, у ворот разрушенной стены стоял часовой, но он или не обратил внимание на проходящих, или был пьян, или подкуплен. Адриан назвал пароль, и солдат, кивнув головой, пропустил его со спутниками.

Через несколько минут они дошли до берега Харлемского озера, где в камышах стояла лодка.

— Садитесь и уезжайте, — сказал Адриан.

Они вошли в лодку и взялись за весла, тогда как Марта начала отталкивать ее от берега.

— Адриан, что будет с вами? — спросила Эльза.

— Зачем вам беспокоиться об этом? — спросил он с горькой усмешкой. — Я иду на смерть, и моя кровь будет платой за вашу свободу. Я ваш должник.

— Нет! — воскликнула она. — Поедемте с нами.

— Да, — поддержал ее Фой, хотя снова почувствовал приступ ревности, — поедем с нами, брат.

— Ты от души приглашаешь меня? — спросил Адриан нерешительно. — Подумайте, я могу выдать вас.

— Если так, то почему вы не сделали этого теперь? — спросил Мартин. И, вытянув свою огромную костлявую руку, схватил Адриана за ворот и перетащил его в лодку.

Лодка отчалила.

— Куда мы едем? — спросил Мартин.

— Предполагаю, что в Лейден, — сказал Фой, — если только можно будет добраться без паруса и оружия, что кажется весьма маловероятным…

— Кое-какое оружие я положил в лодку, — прервал его Адриан, вынимая из трюма тяжелую секиру, пару испанских мечей, нож, небольшой топор, арбалет и несколько железных полос.

— Недурно, — сказал Мартин, гребя левой рукой, а правой размахивая большой секирой. — А все же жаль моего «Молчания», который проклятый Рамиро отнял у меня и повесил себе на шею. И что он нашел в нем? Он слишком велик для такого карлика.

— Не знаю, — сказал Адриан, — но в последний раз, когда я видел его, он возился с отверткой над рукояткой. Он давно говорил об этом мече. Во время осады он предлагал большую награду тому, кто убьет тебя и принесет ему меч.

— Возился над рукояткой с отверткой? — переспросил Мартин. — Ах, Бог мой, я и забыл… Карта-то, карта! Какой-нибудь негодяй сказал ему, что карта того места, где скрыто сокровище, спрятана в рукоятке. Вот почему ему понадобился мой меч.

— Кто же мог сказать ему это? — спросил Фой. — Тайна была известна только мне да Марте, а мы не такие люди, чтобы проговориться. Как?… Выдать тайну сокровища Хендрика Бранта, из-за которого он умер и хранить которую мы поклялись?… Да этого и подумать никто не смеет!

Марта слышала и взглянула на Эльзу, и под ее вопросительным взглядом бедная девушка вся вспыхнула, хотя, к счастью, никто при плохом освещении не мог заметить ее румянца. Она чувствовала, что должна говорить, чтобы снять подозрение с других.

— Мне следовало сказать это раньше, — тихо прибавила она, — но я

забыла, то есть я хочу сказать, что мне было ужасно стыдно… Я выдала тайну меча «Молчание».

— Ты? Откуда ты узнала ее? — спросил Фой.

— Тетушка Марта сказала мне в тот вечер, когда был сожжен собор в Лейдене, а вы бежали.

Мартин проворчал:

— Женщина доверилась женщине, да еще в такие годы… Какое сумасшествие!…

— Сам ты сумасшедший, тупоголовый фриз, — сердито перебила его Марта, — где тебе учить тех, кто умнее тебя! Я сказала ювфроу, думая, что всех нас может не стать, и будет лучше, если она будет знать, где найти ключ к тайне.

— Женское рассуждение, — невозмутимо отозвался Мартин, — и оказалось оно никуда не годным, потому что, если бы нас не стало, ювфроу вряд ли бы пришлось добыть мой меч. А каким образом ювфроу сказала это Рамиро?

— Я сказала потому, что струсила, — рыдая отвечала Эльза. — Ты знаешь, Фой, я всегда была трусихой и всегда ею останусь. Я выдала тайну, чтобы спасти себя.

— От чего? — нерешительно спросил Фой.

— От замужества.

Адриан, видимо, страдал, и Фой, видя это, не мог устоять против искушения задеть его острее.

— От замужества? Насколько я понял, может быть, Адриан разъяснит мое недоумение, церемония была все-таки совершена.

— Да, — слабым голосом ответила Эльза, — была. Я пыталась откупиться от Рамиро, рассказав ему тайну, что служит вам доказательством моего ужаса при одной мысли о подобном замужестве. — Адриан глубоко вздохнул, а Мартин как будто поперхнулся. — Мне так досадно, — смущенно продолжала Эльза. — Я не хочу обижать Адриана, особенно после того как он был так добр к нам.

— Оставь в стороне Адриана с его добротой и досказывай, как все было, — сказал Фой.

— Рассказ короток. Рамиро поклялся перед Богом, что, если ядам ему ключ к тайне, он отпустил меня, а потом… когда я попалась в ловушку и опозорила себя, он сказал, что этого недостаточно и что меня все-таки обвенчают.

Тут Фой и Мартин вместе расхохотались.

— Чего же ты ждала от него, глупая девочка? — спросил Фой.

— О Мартин, простишь ли ты меня? — спросила Эльза. — Я тотчас же поняла, какую постыдную вещь совершила, и увидела, что Рамиро станет теперь преследовать вас. Вот почему я все боялась сказать вам. Прошу вас, верьте мне. Я сказала только потому, что от страха и стыда потеряла голову. Простите вы меня?

— Ювфроу, — ответил фриз, усмехаясь своей флегматичной улыбкой, — если бы вы предложили Рамиро мою голову на блюде, чтобы подкупить его, я не только простил бы вас, но сказал бы, что вы поступили хорошо. Вы — девушка, и вам пришлось защитить себя. Кто станет осуждать вас?…

— Я! — воскликнула Марта. — Меня Рамиро мог бы разорвать на куски раскаленными щипцами, прежде чем я сказала бы ему.

— Совершенно верно, — возразил ей Мартин, желавший поквитаться с ней, — только я сомневаюсь, чтобы Рамиро пытался убедить вас выйти замуж за него. Ну, не сердитесь, по пословице: «У тупоголового фриза что на уме, то на языке».

Не найдя, что ответить, Марта снова обратилась к Эльзе:

— Отец ваш умер из-за этого сокровища, — сказала она, — и Дирк ван Гоорль тоже, и жених ваш, и его слуга попали в тюрьму, и я кое-что сделала для сохранения этого богатства, а вы при первом щипке выдали тайну. Правду говорит Мартин, что я сошла с ума, доверившись вам.

— Как жестоко с вашей стороны говорить так! — плача возразила Эльза, слушая горькие упреки Марты. — Но вы забываете, что никого из вас не принуждали выходить замуж… Ах, Боже мой, зачем я говорю это!… Я хотела сказать, что не принуждали стать женой одного человека, когда… — ее взгляд упал на Фоя, и она решилась договорить, надеясь, что он примет ее сторону, — когда вы очень любили другого…

— Конечно, нет, — сказал Фой, — тебе нечего объяснять дальше.

— Напротив, еще очень много, — продолжала Марта, — меня не проведешь сладкими словами. Но что теперь делать? Мы приложили все наши старания, чтобы спасти сокровище, неужели же придется лишиться его?

— Как можно? — переспросил Мартин очень серьезно. — Вспомните, что уважаемый Хендрик Брант говорил нам в тот вечер в Гааге. Он надеялся, что тысячи и десятки тысяч людей благословят то золото, которое он доверил нам.

— Я помню его завещание, — подтвердил Фой, думая об отце и о часах, проведенных им самим и Мартином в тюрьме. Затем, взглянув на Марту, он кротко прибавил: — Тетушка Марта, хотя вас называют сумасшедшей, но вы самая умная из нас. Посоветуйте, что делать?

Марта подумав с минуту ответила:

— Несомненно, узнав о нашем бегстве, Рамиро поспешит взять лодку и отправиться на место, где спрятано сокровище, он же понимает, что иначе мы опередим его. На рассвете, или часом позже, он будет здесь. — Она остановилась.

— Вы думаете, что мы должны успеть на остров раньше него?

Марта кивнула утвердительно.

— Да, если получится, но без стычки не обойтись.

— Наверное, — согласился Мартин. — Что же, я не прочь еще раз сразиться с Рамиро. Этот негодяй завладел моим мечом. Я хочу вернуть его…

— Опять польется кровь, — прервала его Эльза. — Я надеялась, что мы на этот раз спокойно отправимся в Лейден, где находится принц. Я до смерти боюсь крови, Фой. Мне кажется, я не вынесу и умру…

— Слышите, что она говорит? — спросил Фой.

— Слышим, — отвечала Марта, — но нечего обращать внимания на ее слова. Она много перенесла и слаба духом. Я же, хотя и предвижу, что смерть ждет меня, говорю: «Поедем туда, и не надо бояться».

— Я не боюсь, — заявил Фой. — Но ни за какие сокровища на свете я не допущу, чтобы Эльза подверглась опасности, если она сама не хочет этого. Пусть она сама решает.

— Как ты добр ко мне! — проговорила Эльза и, подумав минуту, прибавила: — Фой, обещаешь ты мне одну вещь?

— После того как Рамиро давал тебе клятвенное обещание, я удивляюсь, что ты еще можешь о чем-то просить, — ответил Фой, стараясь казаться веселым.

— Обещаешь ли ты мне, — продолжала она, не обращая внимания на его шутку, — что если я соглашусь отправиться на поиски сокровища и если мы останемся после этого живы, ты увезешь меня из этой страны, где проливается столько крови, где столько убийств и мучений. Увезешь в какую-нибудь землю, где народ живет спокойно и не вынужден постоянно видеть убийства. Обещай мне это, Фой!

— Обещаю, — сказал Фой. Ему и самому стали невыносимы все эти повторяющиеся изо дня в день ужасы.

И кто из выдержавших осаду Харлема мог относиться к этому иначе!

До сих пор у руля сидел Фой. Теперь его сменила Марта, она с минуту всматривалась в звезды, ярко блестевшие, когда месяц скрывался за облаком, затем молча сделала несколько поворотов.

— Я опять голоден, — сказал Мартин, — мне кажется, я теперь

неделю смогу есть без перерыва.

Адриан, усердно налегавший на весла, поднял голову и ответил:

— В трюме есть вино и еда, я захватил с собой. Может быть, Эльза накормит вас?

Эльза, сидевшая без работы, отыскала провизию и принесла гребцам, которые поели с аппетитом, не отрываясь от дела. После нескольких месяцев голодания вкусная еда и хорошее вино доставляют неописуемое наслаждение.

Когда, наконец, голод был утолен, Адриан прервал молчание, обращаясь к Фою:

— Брат, поскольку мы не знаем, что нас ждет впереди, я, отверженный и презираемый вами, желал бы кое-что сказать тебе, если ты только пожелаешь выслушать меня.

— Говори, — отвечал Фой.

Адриан начал с самого начала и рассказал все, что случилось с ним: как им овладело суеверие, тщеславие и любовь, как шпион записал все сказанное им в порыве безумной откровенности, как угрозами заставили его подписать бумагу, имевшую такие роковые последствия. Он рассказал, как за ним гналась толпа по улицам Лейдена, точно за бешеной собакой, после того как мать выгнала его из дома, как он искал убежища в вертепе Симона, дрался с Рамиро и был побежден ловким напоминанием, что он готовился пролить кровь отца. Он рассказал о том, как был принят в лоно римско-католической церкви, об ужасной сцене при посвящении и бегстве на Красную мельницу. Он рассказал также о похищении Эльзы, в котором, несмотря на свою любовь к ней, он не был виновен, и о том, как он был принужден жениться на ней, чтобы спасти ее от Рамиро, хотя сам хорошо знал, что подобный брак ничего не означает; как во время наводнения отец увез его с мельницы, предоставив, о чем Адриан узнал позже, Эльзу ее судьбе, так как уже не ожидал от нее больше никакой выгоды. Наконец, упавшим голосом он сообщил о своей жизни во время осады, похожей на жизнь какого-то отщепенца, о том, как он был произведен в офицеры, когда ряды испанцев начали редеть, и как по утонченной злобе Рамиро был вынужден распоряжаться казнями и избиением пленных голландцев.

И вот ему улыбнулась удача. Рамиро, думая, что теперь он уже никак не сможет пойти против него, оставил его с Эльзой, а сам отправился по делам и кстати похлопотать, чтобы ему досталась часть награбленного имущества. С пленниками он намеревался покончить завтра. Адриан, пользуясь своей властью, освободил заключенных и приготовил для них лодку. Вот все, что он хотел сказать, и к сказанному желал только добавить,

что отказывается от всяких прав на свою названную жену и просит у всех прощения.

Фой дослушал до конца, затем, выпустив на минуту весло, обнял Адриана и проговорил своим обычным веселым голосом:

— Вот я и оказался прав! Ты знаешь, Адриан, я всегда стоял за тебя, несмотря на твой характер и странности. Я никогда не считал тебя негодяем, но и не думал, что ты такой осел!

Пристыженный и разбитый Адриан не нашел, что ответить на подобную характеристику. Он только сильнее налег на весло и вздохнул, а по его красивому бледному лицу покатились слезы стыда и раскаяния.

— Ну, перестань, старина, — принялся утешать его Фой. — Благодаря тебе произошло много дурного, но теперь, тоже благодаря тебе, все, надеюсь, пойдет хорошо. Мы квиты и забудем все остальное.

Бедняга Адриан взглянул на Фоя и Эльзу, сидящих рядом.

— Да, брат, для тебя с Эльзой все, может быть, пойдет хорошо, но не для меня. Я продал себя дьяволу… и не получил условленной платы.

После этого все некоторое время молчали, чувствуя, что положение слишком трагично, чтобы его обсуждать. Заблуждения, даже злые намерения Адриана сглаживались его полной неудачей и искупались постигшим его возмездием.

*** * ***

Сероватый свет летнего утра занимался над поверхностью большого озера. Позади солнечные лучи преломлялись на золотой короне башни собора, возвышавшейся над Харлемом, павшим городом, и его патриотами, ожидавшими смерти от меча убийц. Сидевшие в лодке взглянули и содрогнулись. Не будь Адриана, они находились бы теперь в плену, а что это значило, было всем хорошо известно. Если бы у них оставалось еще какое-нибудь сомнение, оно бы рассеялось при виде водной поверхности, усеянной остовами полусожженных кораблей побежденного флота Вильгельма Молчаливого, напоминавшими о последних отчаянных усилиях освободить погибавший город. Временами их весла касались чего-то мягкого — тел утонувших и убитых людей, иногда в полном вооружении.

Наконец лодка выбралась с этого морского кладбища, и Эльза могла

смотреть вокруг без содрогания. Потянулись острова, поросшие роскошными летними травами, зеленевшими и цветущими так, как будто никакой испанец не топтал их ногами в течение долгих зимних месяцев осады и мора. Сотни этих островков появились со всех сторон, но Марта направляла лодку по лабиринту, как по прямой дороге. Когда солнце взошло, она поднялась в лодке, и, прикрыв глаза рукой, стала всматриваться вдаль.

— Вот это место, — сказала она, указывая на маленький островок, весь заросший болотной травой. От него в виде длинного языка шириной более чем шесть футов вдавалось в илистое болото, населенное куликами и водяными куропатками с красноносым потомством, нечто, похожее на природную плотину.

Мартин тоже встал. Он оглянулся назад и сказал:

— На горизонте виднеется парус. Это Рамиро.

— Без сомнения, — спокойно ответила Марта. — У нас еще полчаса работы впереди. Гребите сильнее, отталкивайтесь веслом от дна. Мы обогнем остров и пристанем на другом краю болота. Они вряд ли увидят нас там. А я знаю место, где мы можем быстро проскользнуть.

XXIX. Адриан возвращается домой

Лодка причалила к острову, и все, кроме Эльзы, которая осталась в лодке на страже, перебрались на берег через грязь, под которой оказалось каменистое дно. По тропинкам, проложенным выдрами, через густые камыши они добрались до середины острова. На месте, указанном Мартой, росли густые камыши, где устроила себе гнездо дикая утка с только что вылупившимися утятами. При виде людей мать слетела с него с отчаянными криками.

Под гнездом должно было находиться сокровище.

— Это место никто не трогал, — сказал Фой, и, несмотря на поспешность, с которой необходимо было действовать, он осторожно поднял гнездо с птенцами и отнес в сторону, чтобы старая утка могла найти его. Он любил всех животных и старался не причинять им вреда.

— Нам нечем копать, — заявил Мартин, — нет даже камня.

Марта молча пошла к росшему вблизи ивняку и, срезав самые толстые из стволов, вернулась к товарищам. С помощью этих заостренных кольев и топоров все принялись усердно копать, пока кол Фоя не ударился о дно бочонка.

— Сокровище здесь! Поднатужьтесь, друзья!

Все принялись работать еще энергичнее, и вскоре три из пяти зарытых бочонков были выкопаны из грязи.

— Давайте сначала спрячем эти, — сказал Мартин, — помогите мне, хеер Фой.

С величайшим усилием докатили один за другим бочонки до лодки и с помощью Эльзы подняли их на борт. Подкатывая третий бочонок, они увидели, что Эльза, вся бледная, всматривается во что-то поверх перистых метелок камыша.

— Что там такое, дорогая? — спросил Фой.

— Парус… парус, который гнался за нами!…

Они оставили бочонок и стали вглядываться поверх островка. Действительно, на расстоянии не более девятисот футов держал курс на лодку белый парус. Мартин откатил бочонок в сторону.

— Я надеялся, что они не найдут, — проговорил он, — но Марта рисует карты очень хорошо, потому что она еще до замужества рисовала картины.

— Что теперь делать? — спросила Эльза.

— Не знаю, — отвечал Мартин, и в эту минуту подбежала Марта, тоже заметившая лодку. — Если мы попытаемся убежать, они догонят нас, — продолжал он, — веслам не выдержать против паруса.

— Неужели мы опять попадем к ним в руки! — воскликнула Эльза.

— Бог даст, нет, — успокоила ее Марта. — Послушай, Мартин… — Она стала что-то шептать ему на ухо.

— Хорошо, — отвечал он, — если это возможно, но надо ловить момент. Времени терять нельзя. А вы, ювфроу, пойдете с нами, вы поможете нам перекатить последние две бочонка.

Они побежали к яме, из которой Фой и Адриан с великими усилиями только что вынули последний бочонок. Они понимали, что каждая минута дорога.

— Хеер Адриан, — сказал Мартин, — у вас арбалет и железные полосы, вы стреляете лучше нас обоих, помогите мне защитить тропинку.

Адриан понял, что Мартин сказал это не потому, что считал его хорошим стрелком, а потому, что не доверял ему и не желал терять его из виду. Однако он ответил:

— Конечно, насколько смогу.

— Прекрасно, — сказал Мартин, — вы же, хеер Фой и ювфроу Эльза, уложите остальные бочонки в лодку. Пусть потом ювфроу спрячется в камышах и будет наблюдать за лодкой, а вы вернетесь помогать нам. Ювфроу, если парус обогнет остров, дайте нам знать.

Мартин и Адриан направились к концу косы и присели в высокой траве, а Фой и Эльза, отчаянно напрягая силы, покатили бочонки к лодке и погрузили их, замаскировав сверху камышом, чтобы не привлекать внимания испанцев.

Парусная лодка приблизилась. На руле сидел Рамиро, держа на коленях развернутую бумагу, на которую он постоянно поглядывал. На перевязи у него висел меч «Молчание».

«Через полчаса, — раздумывал про себя Мартин, не желавший и теперь делится своими мыслями с Адрианом, — или мой меч вернется ко мне, или меня уже не будет в живых. Их одиннадцать, все здоровые молодцы, а нас всего трое, да две женщины…»

Как раз в эту минуту в окружающей тишине раздался голос Рамиро:

— Спустить парус!… Место здесь, — вот шесть островков и напротив них остров в форме селедки, а вот и коса, обозначенная словами «остановка». Хорошо нарисовано, надо отдать справедливость…

Следующие замечания заглушил скрип блока при спуске паруса.

— Здесь мель, сеньор, — доложил один из испанцев, измеряя глубину

багром.

— Хорошо, — ответил Рамиро, выбрасывая якорь, — перейдем на берег вброд.

В это мгновение солдат, державший багор, вдруг упал в воду вниз головой, пораженный в сердце стрелой, пущенной из арбалета Адрианом.

— Ага, они поспели сюда раньше нас! — сказал Рамиро. — Ну, причаливай.

Другая стрела просвистела в воздухе и вонзилась в мачту, никому не причинив вреда. После этого выстрелы прекратились. Впопыхах Адриан сломал механизм арбалета, слишком сильно натянув его. Испанцы во главе с Рамиро спустились в воду, направляясь к берегу, как вдруг из густого камыша поднялась гигантская фигура Красного Мартина в буйволовой куртке, размахивающего большой секирой над головой, а позади него показались Фой и Адриан.

— Клянусь святыми! — воскликнул Рамиро. — Мой флюгер-сынок здесь и на этот раз сражается против нас! Ну, флюгерок, последний раз ты повертишься по ветру. — Он направился прямо к косе и скомандовал: — На берег!

Но ни один из солдат не отважился подойти, боясь секиры Мартина. Люди стояли в воде в нерешительности. Они были храбрые солдаты, но, зная о подвигах и силе гиганта-фриза, не отваживались подступиться к нему, хотя он и был изнурен голодом. Кроме того (в этом не было никакого сомнения), занимаемая им позиция была гораздо выгоднее.

— Не помочь ли вам выбраться на землю, друзья? — насмешливо предложил Мартин. — Нечего вам оглядываться направо и налево, здесь везде очень глубоко.

— Арбалет! Пристрелить его из арбалета! — раздались голоса, но подобного оружия в лодке не оказалось. Испанцы, собравшиеся наскоро и не предполагавшие встретиться с Красным Мартином, захватили с собой только мечи да ножи.

Рамиро остановился на минуту, он видел, что штурм этой косы, даже если он возможен, будет стоить многих жизней, и вдруг приказал:

— Назад! На борт!

Люди повиновались.

— Поднять якорь! На весла! — раздалась дальнейшая команда.

— Хитер! — заметил Фой. — Он знает, что наша лодка должна быть где-нибудь здесь, и намерен отыскать ее.

Мартин кивнул, и в первый раз на лице его отразился испуг. Затем, как только лодка испанцев начала огибать остров, трое мужчин направились к

своей лодке и сели в нее, оставив Марту на косе, на тот случай, если испанцы вздумают вернуться и снова попытаются высадиться.

Едва они успели войти в лодку, как показался Рамиро со своими людьми, и громкие крики возвестили, что беглецы открыты. Испанцы подошли на несколько саженей и бросили якорь, не решаясь плыть по илистому месту на своем тяжелом судне, на котором потом трудно было бы повернуть назад. Не имея при себе оружия для стрельбы и зная своих противников, они не решались на открытое нападение. Положение было нелепое и могло затянуться. Наконец Рамиро поднялся и обратился к голландцам:

— Господа и ювфроу (я, кажется, вижу среди вас мою маленькую пленницу с Красной мельницы), посоветуемся об одном деле. Мы с вами, кажется, совершили поездку сюда с одной и той же целью. Не так ли? Мы хотели бы приобрести кое-какие вещи, которые для мертвых не имеют значения. Как вам известно, я не люблю насилия и не желаю преждевременной смерти ни одному из вас. Но речь идет о деньгах, ради приобретения которых я перенес много неприятностей и опасностей. И, скажу откровенно, я овладею этим сокровищем, вы же, вероятно, будете рады, если вам удастся убраться невредимыми. Я предлагаю вам следующее: пусть один из нас под надежной охраной переберется на вашу лодку и посмотрит, не спрятано ли что-нибудь под этими камышами. Если лодка окажется пустой, мы отойдем на некоторое расстояние и пропустим вас. То же самое мы сделаем, если в лодке есть груз и вы его выбросите в воду.

— Это все ваши условия? — спросил Фой.

— Еще не все, почтенный хеер ван Гоорль. Среди вас я вижу молодого человека, которого вы, вероятно, увезли против его воли, моего возлюбленного сына Адриана. В его собственных интересах, так как он едва ли будет желанным гостем в Лейдене, я предлагаю высадить этого молодого человека на берег в таком месте, где мы бы видели его. Что вы ответите?

— Можете убираться за ним в пекло! — отвечал Мартин, а Фой прибавил:

— Какого другого ответа вы можете ждать от людей, вырвавшихся из ваших когтей в Харлеме?

В этот момент Марта, также пробравшаяся к ним через камыш, схватила секиру и куда-то исчезла.

— Грубый ответ грубых людей, ожесточенных ходом политических событий, в которых я не виноват, хотя и замешан в них волей судьбы, —

отвечал Рамиро. — Но я еще раз предлагаю вам взвесить все. У вас, вероятно, нет запаса провизии, у нас же ее вдоволь. Скоро наступит темнота, и мы воспользуемся ей. Кроме того, я надеюсь получить подкрепление. Следовательно, в выжидательной игре все карты у меня в руках, а ваш пленник Адриан может засвидетельствовать вам, что в карты я играю недурно.

Футах в восьми от катера, в густой заросли кустов, в эту минуту вынырнула подышать воздухом выдра — большая седоголовая выдра. Один из испанцев увидел расходившиеся по воде круги и, подняв камень из балласта, бросил в животное. Выдра исчезла.

— Мы давно гоняемся друг за другом, но еще ни разу не померялись с вами силами, от чего вы, такой храбрый человек, вероятно, не отказались бы, — скромно начал Мартин. — Не угодно ли вам, сеньор Рамиро, выйти на берег и, не обращая внимания на мое низкое происхождение, померяться со мной? Преимущество будет на вашей стороне. У вас есть оружие, а у меня ничего, кроме старой буйволовой куртки, у вас мой большой меч, а я без оружия в руках. Несмотря на это, я рискую и даже предлагаю поставить на ставку сокровище Хендрика Бранта.

Услышав вызов, испанцы, в том числе и сам Рамиро, разразились хохотом. Мысль, что кто-нибудь добровольно отдастся в лапы гиганта-фриза, одно имя которого наводило страх на тысячи осаждавших Харлем, показалось им крайне забавной.

Но вдруг хохот прекратился, и все с изумлением посмотрели на воду, как собаки-крысоловки, глядящие на землю, под которой чуют мышей. Потом раздались крики, люди перегнулись через борта и начали колоть кого-то в воде своими мечами. Оттуда же среди криков и шума постоянно слышался мерный стук, похожий на стук тяжелого молотка о толстую дверь.

— Пресвятая Богородица! — закричал кто-то в катере. — Дно пробивают!…

Некоторые попытались поспешно заделывать брешь, другие продолжали еще с большим ожесточением наносить удары по поверхности воды.

На тихой воде показались пузыри, они полосой протянулись от катера к лодке. Вдруг футах в шести от лодки из воды выросла странная и страшная фигура голой, похожей на скелет женщины. Она была покрыта тиной и травой, вся истекала кровью от ран на спине и боках, но все еще крепко держала секиру в руках.

Женщина поднялась, тяжело дыша и по временам издавая стоны от

боли, но продолжала грозить своим оружием пораженным ужасом испанцам.

— Я отплатила тебе, Рамиро! Ступай ко дну или выходи на землю сражаться с Мартином.

— Молодец, Марта! — заревел Мартин, втаскивая умирающую в лодку. Судно испанцев начало наполняться водой и погружаться.

— Для нас одно спасение! — закричал Рамиро. — В воду и на них! Здесь неглубоко.

Прыгнув в воду, доходившую ему до шеи, он двинулся вброд.

— Отчаливайте! — крикнул Фой, и все налегли на весла. Но золото было тяжелым, и лодка глубоко врезалась в ил. Не было никакой возможности сдвинуть ее. Мартин с каким-то крепким фризским ругательством перескочил через нос и, напрягая всю свою силу, старался стащить лодку с места, но она не двигалась. Испанцы подходили. Вода была им уже только по пояс и их мечи сверкали на солнце.

— Рубите их! — приказал Рамиро. — Ну же!

Лодка вся дрожала, но не трогалась.

— Слишком тяжел груз, — проговорила Марта и, собрав последние силы, поднялась и бросилась прямо на шею ближайшему испанцу. Она обхватила его костлявыми руками, и они пошли ко дну. Через секунду они показались на поверхности, затем снова скрылись, и сквозь поднявшуюся тину можно было разглядеть, как они боролись на дне озера, пока оба не утонули.

Облегченная лодка двинулась с места и с помощью Мартина пошла вперед по вязкому илу. Он еще раз рванул ее, и она вышла на чистую воду.

— Влезай скорей! — кричал Фой, направляя свою пику в одного из испанцев.

— Нет, не удастся ему! — закричал Рамиро, бросаясь к Мартину с дьявольской злостью.

Мартин на секунду остановился, потом нагнулся, и меч противника скользнул по его кожаной куртке, не причинив ему вреда. Затем он вдруг протянул руку, схватил Рамиро поперек тела и играючи бросил его в лодку, где тот растянулся на бочонках с сокровищами.

Мартин ухватился за нос уходившей от него лодки с криком:

— Гребите, хеер Фой, гребите!

Фой изо всех сил греб, пока последний из испанцев не остался футов на десять сзади. Даже Эльза схватила железную полосу и ударила ею по рукам солдата, пытавшегося задержать лодку, и заставила его выпустить борт. Об этом подвиге она с гордостью рассказывала потом всю жизнь.

После того все помогли Мартину взобраться на лодку.

— Теперь, испанские собаки, можете докапываться до сокровища Бранта и питаться утиными яйцами, пока дон Фадрике не пошлет за вами.

Островок скрылся среди других островков. Не было видно ни одного живого существа, кроме обитавших на островках животных и птиц, и не было слышно ни звука, кроме их голосов да шума ветра и воды. Беглецы были одни и в безопасности, а вдали перед ними вырисовывались на фоне неба церковные башни Лейдена, куда они направляли свой путь.

— Ювфроу, — заговорил Мартин, — в трюме есть еще бутылка вина, недурно бы промочить горло.

Эльза, сидевшая у руля, встала и нашла вино и чарку из рога. Наполнив чарку, она подала ее прежде Фою.

— За твое здоровье! — сказал Фой. — И в память тетушки Марты, которая спала нас всех. Она умерла, как того желала, унося с собой испанца, и память о ней будет жить вечно.

— Аминь, — проговорил Мартин.

Но тут он решил оставить свои весла, — он греб сразу двумя, тогда как у Фоя и Адриана было по одному, — и нагнулся к Рамиро, лежавшему без чувств на бочонках с драгоценностями и деньгами, чтобы снять с него свой меч «Молчание».

— Он здорово треснулся головой и пролежит еще некоторое время спокойно, — заметил он, — но когда придет в себя, все-таки может наделать нам немало хлопот, — такие кошки живучи. Ну, сеньор Рамиро, не говорил ли я вам, что не пройдет и получаса, как я или верну свой меч, или сам отправлюсь туда, где он уже не будет мне нужен!

Он нажал пружину у рукоятки и осмотрел углубление.

— Дарственная запись в целости, — сказал он. — Недаром я так рассвирепел, стараясь отнять свой меч.

— Неудивительно, особенно когда ты увидел его на Рамиро, — заметил Фой, бросая взгляд на Адриана, который продолжал грести и теперь, когда все успокоилось, имел несчастный, убитый вид. Вероятно он думал о приеме, ожидавшем его в Лейдене.

С минуту все гребли в молчании. Все, пережитое за последние сутки, и предыдущие сутки, и предыдущие месяцы во время войны и осады, подорвало их силы. Даже теперь, избежав опасности и имея в своих руках сокровище, захватив в плен негодяя, причинившего им столько зла и горя, и приближаясь к дому, где они надеялись найти надежный приют, они не могли прийти в себя. Когда столько людей погибло вокруг, когда приходилось так рисковать, им казалось почти невероятным, что они живы

и добрались невредимыми до пристани, где им можно будет жить, не разлучаясь, еще много лет.

Фою все еще казалось невероятным, что горячо любимая им девушка, которая чуть было не погибла ради него, сидела с ним рядом, целая и невредимая, готовая стать его женой, когда он того пожелает. Несбыточным и слишком прекрасным казалось и то, что его брат, этот заносчивый, порывистый, слабохарактерный мечтатель Адриан, рожденный, чтобы быть игрушкой других и нести бремя их преступлений, вырвался из опутавших его сетей и, раскаявшись в своих грехах и заблуждениях, доказал, что он мужчина и больше не раб своих страстей и себялюбия. Фою, всегда любившему брата и знавшему его лучше, чем кто-либо, было тяжело думать, что Адриан мог быть в душе таким, каким казался, судя по его поступкам.

Эльза тоже думала о своем и молчала, как вдруг она увидала, что Адриан выпустил весло и, раскинув руки, уткнулся в спину сидевшего перед ним Мартина, а на его месте появилось ненавистное лицо Рамиро с выражением такой злобы, которая в состоянии исказить только лицо сатаны, когда он видит, что душа грешника ускользает от него.

Рамиро пришел в себя и сидел, так как ноги у него были спутаны перевязью меча. В руке у него блестел тонкий убийственный стилет.

— Вот тебе! — сказал он с коротким смехом. — Вот тебе, флюгер! — и два раза повернул стилет в ране.

Но Мартин уже бросился на него, и через пять секунд Рамиро лежал связанный на дне лодки.

— Прикончить его? — спросил Мартин Фоя, нагнувшегося с Эльзой над Адрианом.

— Нет, — мрачно ответил Фой, — пусть его судят в Лейдене. Какую глупость мы сделали, что не обыскали его!

Рамиро еще более побледнел.

— Удача на вашей стороне, — сказал он хриплым голосом, — одолели, благодаря собаке-сыну, предавшему меня. Надеюсь, он еще помучается, прежде чем умрет… Это мне наказание за то, что я нарушил клятву, данную Пресвятой Деве, и поднял руку на женщину. — Он содрогаясь, взглянул на Эльзу и продолжал: — Удача на вашей стороне. Прикончите же меня сразу. Я вовсе не желаю являться в таком виде перед вашими соплеменниками.

— Завяжи ему рот, — приказал Фой Мартину, — чтобы он не отравлял нашего слуха.

Мартин повиновался весьма охотно. Он повалил Рамиро на бочонки с

богатством, обладать которым он так стремился и ради которого принял столько грехов на душу. Рамиро понимал, что теперь он совершает свое последнее путешествие навстречу смерти и всего, что ожидает его по ту сторону рокового порога жизни.

Они проплывали мимо островка, где много лет тому назад был поворот пути большого санного бега, во время которого Рамиро вез в своих санях лейденскую красавицу Лизбету ван Хаут. Рамиро представил ее такой, какой она была в тот день, и ощущал, что бег, который ему не удалось выиграть, был предзнаменованием его гибели. Вот теперь голландец снова победил его на этом самом месте, и этому голландцу — сыну Лизбеты от другого отца — помог его родной сын, лежащий теперь на пороге смерти рядом с тем, кто дал ему жизнь… Его отведут теперь к Лизбете. Он знал, что она будет судить его, — женщина, которой он нанес столько зла и которую даже тогда, когда она была в его власти, он боялся больше всего на свете… После того как он в последний раз встретит ее взгляд, наступит конец. Какой это будет конец для одного из участников осады Харлема, для человека, погубившего Дирка ван Гоорля, для отца, всадившего кинжал в спину сына за то, что этот сын вернулся на сторону родных и избавил их от ужасной смерти?… И почему снова перед его глазами встало видение, то самое видение, которое явилось ему в ту минуту, когда после многих лет он встретился с Лизбетой в «Гевангенгоозе», — видение жалкого маленького человечка, падающего в бесконечное пространство, в пропасть, из глубины которой навстречу ему поднимаются две огромные ужасные руки, чтобы схватить его?…

*** * ***

Рамиро был суеверен. Кроме того, его ум, значительная начитанность в молодые годы и наблюдательность — все привело его к убеждению, что смерть — стена, в которой много дверей, и что по ту сторону этой стены мы можем двигаться, прозябать или спать, но каждый из нас должен пройти через назначенный ему выход прямо в уготованное место.

Если так, то куда он попадет и кто встретит его за вратами смерти?…

Так плыл Рамиро в этот ясный летний вечер по пенящимся волнам, среди цветущих лугов, и в душе его росли муки ада, какие только может придумать воображение.

За несколько часов, проведенных в лодке до прибытия в Лейден, Рамиро, по мнению Эльзы, постарел на двадцать лет.

Маленькая лодка была сильно нагружена, и дул встречный ветер, так что только к вечеру они добрались до шлюза, где их окликнули часовые.

Фой встал и сказал:

— Едут Фой ван Гоорль, Красный Мартин, Эльза Брант, а также раненый и пленный. Мы бежали из Харлема, а едем мы в дом Лизбеты ван Гоорль на Брее-страат.

Их пропустили. На набережной, у конца шлюза, люди, встречавшие их, благодарили Бога за их освобождение и расспрашивали, какие вести они привезли.

— Пойдемте к дому на Брее-страат, — сказал Фой, — и я расскажу вам все с балкона.

Передвигаясь в лодке из канала в канал, они добрались до пристани у дома ван Гоорлей и через маленькую дверку, выходившую на канал, вошли в дом.

Лизбета ван Гоорль оправилась от болезни, но постарела и никогда уже не улыбалась после пережитого. Она сидела в кресле в большой гостиной своего дома на Брее-страат, той самой комнате, где девушкой она прокляла Монтальво и откуда менее года тому назад прогнала с глаз долой его сына, предателя Адриана. Возле нее стоял стол с серебряным колокольчиком и два медных подсвечника с еще не зажженными свечами. Она позвонила, и вошла та самая служанка, которая вместе с Эльзой ухаживала за ней во время болезни.

— Что это за шум на улице? — спросила Лизбета. — Я слышу гул голосов. Вероятно, новые вести из Харлема?

— К несчастью, да, — ответила служанка. — Один беглец говорит, что испанцам надоело резать людей, и вот они связывают несчастных пленных и бросают их в море.

Лизбета тяжело вздохнула.

— Фой там, — проговорила она, — и Эльза Брант, и Мартин, и еще много друзей. Господи, когда же всему этому конец?

Она опустила голову на грудь, но вскоре, выпрямившись, приказала:

— Зажги свечи, здесь так темно, а в темноте я вижу тени всех умерших.

Зажженные свечи замигали в большой комнате, как две звезды.



— Кто это идет по лестнице? — спросила Лизбета. — Как будто несут что-то тяжелое. Отвори входную дверь и впусти того, кого Богу угодно послать нам.

Служанка распахнула входную дверь, и в нее вошли люди, которые

несли раненого, за ними Фой, Эльза, и возвышающийся надо всеми Мартин, который толкал перед собой еще какого-то человека. Лизбета встала со своего кресла взглянуть, что происходит.

— Я вижу сон, или и впрямь ангел Господний вывел тебя, моего Фоя, из ада в Харлеме? — проговорила она.

— Да, это мы, матушка, — ответил Фой.

— Кого же вы привезли с собой? — спросила она, указывая на покрытого плащом раненого.

— Адриана, матушка… Он умирает.

— Так прикажи его унести отсюда, Фой. Я не хочу видеть его ни живого, ни умирающего, ни мертвого… — Тут ее взгляд упал на Мартина и человека, которого тот держал. — Мартин, — начала она, — кто это?…

Мартин услышал и вместо ответа повернул своего пленника так, что слабый свет из балконной двери упал прямо на его лицо.

— Что это? — воскликнула Лизбета. — Хуан де Монтальво и его сын Адриан здесь… в этой комнате… — Она прервала начатую фразу и обратилась к Фою: — Расскажи мне все по порядку.

В нескольких словах Фой сообщил ей все, что было необходимо, и закончил свой рассказ словами:

— Матушка, сжалься над Адрианом! С самого начала у него не было злого умысла, он спас всех нас и сам теперь умирает, его заколол этот человек.

— Приподнимите его, — приказала Лизбета.

Ее приказание исполнили, и Адриан, не произнесший ни слова с той минуты, как нож пронзил его, проговорил едва слышным голосом:

— Матушка, возьми свои слова обратно и прости меня… перед смертью…

Заледеневшее от горя сердце Лизбеты оттаяло. Она наклонилась к сыну и сказала так, чтобы все могли слышать:

— Приветствую тебя в родном доме, Адриан. Ты прежде заблуждался, но ты загладил свою вину, и я горжусь, что могу назвать тебя своим сыном. Хотя ты и отрекся от веры, в которой родился, я призываю на тебя благословение Господне. Да наградит тебя Бог, мой Адриан.

Она поцеловала холодеющие губы Адриана, Фой и Эльза тоже поцеловали его на прощание. Его отнесли в его собственную комнату, и на лице у него была спокойная улыбка. Через несколько часов смерть положила конец его страданиям.

Когда Адриана унесли, на несколько минут водворилась полная тишина. Затем Мартин напомнил о себе, начав, не ожидая ничьего

приказания, двигаться по длинной комнате, полунеся, полуволоча пленника Рамиро. Гигант-фриз казался какой-то огромной шагающей машиной, которую ничто не могло остановить. Пленник упирался каблуками и откидывался назад, но Мартин даже не замечал его сопротивления. Он продолжал идти, пока не остановился напротив дубового кресла, где сидела седая женщина с холодным лицом, освещенным светом двух свечей. Она взглянула и содрогнулась, потом спросила:

— Мартин, зачем ты привел сюда этого человека?

— На ваш суд, Лизбета ван Гоорль, — отвечал он.

— Кто поставил меня судьей над ним?

— Мой хозяин Дирк ван Гоорль, ваш сын Адриан и Хендрик Брант. Их кровь делает вас судьей над ним.

— Я не стану судить его, пусть его судит народ.

В эту минуту со двора донесся гул голосов.

— Хорошо, пусть его судит народ, — согласился Мартин, направляясь к балкону, как вдруг отчаянным усилием Рамиро вырвался из его рук и, бросившись к Лизбете, припал к ее ногам.

— Что вам надо? — спросила она, отодвигая кресло так, чтобы Рамиро не касался ее.

— Пощадите! — задыхаясь молил он.

— Пощадить? Смотрите, дочь и сын, о пощаде просит человек, которой сам никому не давал ее. Молите о пощаде Бога и народ, Хуан де Монтальво!

— Пощадите, пощадите! — твердил он.

— Девять месяцев тому назад я так же молила именем Христа пощадить ни в чем не повинного человека, и что вы отвечали мне, Хуан де Монтальво?

— Вы были моей женой, — старался он умилостивить ее, — неужели это не имеет для вас значения, вы же женщина!

— Вы были моим мужем, имело ли это значение для вас, если вы мужчина? Вот мое последнее слово. Отведи его, Мартин, к тем, кто имеет дело с убийцами.

Монтальво взглянул на Лизбету. Этот взгляд она видела дважды. Первый раз — когда он проигрывал бега, другой — когда Лизбета молила его о жизни мужа. Перед ней был не человек. Такое выражение могло быть только у зверя или дьявола. Глаза его остановились, седые усы поднялись кверху, скулы выступили углом.

— Ночь за ночью мы проводили в одной комнате, и я мог бы убить вас, но я вас пощадил, — поспешно проговорил Монтальво.

— Меня пощадил Господь, Хуан де Монтальво, ради того, чтобы мы дожили до этого часа. Пусть Он пощадит и вас теперь, если на то будет Его воля. Я не судья вам. Судит Он и народ.

Лизбета при этих словах встала.

— Стойте! — закричал он, скрежеща зубами.

— Нет! Я иду принять последний вздох убитого вами моего и вашего сына.

Он встал на колени, и его глаза в последний раз встретились с глазами Лизбеты.

— Помните ли вы, — спросила Лизбета спокойным голосом, — те слова, которые я вам сказала много лет тому назад, в день, когда вы купили меня ценою жизни Дирка? Я думаю, что эти слова исходили не от меня…

Она прошла мимо него в широко открытую дверь.

*** * ***

Красный Мартин стоял на балконе, крепко держа Рамиро. Внизу кишела густая толпа. Наступила полная темнота, и только кое-где пылали факелы или теплился фонарь, освещая бледные лица, так как лунный свет, ярко падавший на Мартина, едва достигал улиц. Все увидели, как высокий, худой, длинноволосый фриз вышел со своей ношей на балкон, и раздался такой крик, что сотряслись крыши Лейдена. Мартин поднял руку, и воцарилось глубокое молчание, среди которого дыхание толпы поднималось вздохами, как трепет ветра.

— Граждане Лейдена, — заговорил фриз громким басом, раскатившимся по всей улице, — я хочу сказать вам несколько слов. Знаете вы этого человека?

Снизу раздалось громкое: «Да!»

— Он испанец, — продолжал Мартин, — благородный граф Хуан де Монтальво, много лет тому назад принудивший одну из гражданок Лейдена, Лизбету ван Хаут, ради того, чтобы завладеть ее состоянием, выйти за него замуж, когда он уже был женат, купив ее ценой жизни ее жениха Дирка ван Гоорля.

— Мы знаем это! — раздалось в ответ.

— Впоследствии он за это пошел на галеры. Когда он вернулся, кровожадный Альба сделал его смотрителем здешней тюрьмы, где он

уморил вашего согражданина и бывшего бургомистра Дирка ван Гоорля. Потом он силой увез Эльзу Брант, дочь Хендрика Бранта, убитого инквизиторами в Гааге. Я со своим хозяином Фоем ван Гоорлем освободил ее. Затем он состоял капитаном в испанской армии при осаде Харлема, который пал три дня тому назад и жителей которого там умерщвляют сегодня, связывая их по двое и бросая в озеро.

— Убить его! Бросай его вниз! — раздалось из толпы. — Выдай его нам, Красный Мартин!

Снова фриз поднял руку, и наступила внезапная глубокая тишина.

— У этого человека был сын. Моя хозяйка, Лизбета ван Гоорль, к своему горю и позору, была его матерью. Этот сын, раскаявшись, спас нас от гибели в Харлеме, и только благодаря ему Фой ван Гоорль, Эльза Брант и я сегодня живы. Этот человек и его испанцы догнали нас на Харлемском озере, где мы победили их с помощью Марты-Кобылы, той самой Марты, которую испанцы некогда заставили нести своего мужа на спине на костер. Мы победили испанцев, но она умерла. Ее закололи в воде, как на охоте закалывают выдру. Сына своего, хеера Адриана, этот человек убил ударом ножа сзади, и он уже умер или умирает здесь в доме. Мой хозяин и я привели этого человека, теперь называющегося Рамиро, на суд женщины, мужа и сына которой убил он. Но она не пожелала судить его. Она сказала: «Выведите его к народу. Пусть народ судит его». Так судите же его теперь!…

И размахнувшись, напрягая всю свою гигантскую силу, Мартин перебросил сопротивляющегося Рамиро через перила балкона, держа его на весу над головами толпы.

Поднялись крики, раздался рев ярости и ненависти. Все потянулись к Рамиро, как собаки тянутся к волку, сидящему на стене.

— Отдай его нам! Отдай нам! — раздавалось со всех сторон. Мартин громко захохотал.

— Так возьмите же его, возьмите и судите, как знаете.

Одним взмахом бросил он завертевшееся в его руках тело в самый центр толпы на улице.

Толпа сомкнулась, как вода смыкается над лодкой, идущей ко дну в водовороте. С минуту раздавались крики, свист, возгласы, затем все стали расходиться, обмениваясь короткими, отрывистыми фразами. А на каменной мостовой лежало что-то ужасное, бесформенное, что-то некогда бывшее человеком.

Так граждане Лейдена судили и казнили благородного испанца, графа Хуана де Монтальво.

XXX. Две сцены. Сцена первая

Прошло несколько месяцев, и при Алкмаре, небольшом городке на севере страны, проявившем себя героически, счастье испанцев отвернулось от них[105]. Полные стыда и ярости войска Филиппа и Вальдеса направились к Лейдену, и с ноября 1573 года до конца марта 1574 года город находился в осаде. Затем войска были отозваны для борьбы с Людвигом Нассауским[106], и осада была снята до тех пор, пока храбрый Людвиг и брат его Генрих с четырьмя тысячами солдат не были разбиты Альбой в роковой битве на Моокской долине. Теперь победоносные испанцы снова угрожали Лейдену.

По большой, совершенно пустой комнате ратуши этого города в начале мая ходил взад и вперед, бормоча что-то про себя, человек средних лет. Он был невысок и худощав, с карими глазами, русой бородой и седеющими волосами над высоким лбом, изборожденным морщинами от напряженных размышлений. Это был Вильгельм Оранский по прозвищу Молчаливый, один из величайших и благороднейших людей, когда-либо живших на свете, человек, призванный Богом для освобождения Голландии и навеки сокрушивший иго религиозного фанатизма, тяготевшее над тевтонской расой.

В это майское утро он был глубоко озабочен. В прошлом месяце двое его братьев пали от меча испанцев, и теперь эти испанцы, с которыми он боролся в продолжение многих тяжелых лет, шли на Лейден.

— Деньги! — бормотал Вильгельм про себя. — Дайте мне денег, и я спасу город. На деньги можно выстроить корабли, можно выставить больше людей, купить пороху. Деньги, деньги, деньги… а у меня нет ни дуката! Все ушло, до последнего гроша, даже драгоценности матери и посуда с моего стола. Ничего не осталось, и кредита нет.

В эту минуту вошел один из секретарей.

— Вы везде побывали, граф? — спросил принц.

— Везде, ваше высочество.

— И результат?

— Бургомистр ван де Верф обещает сделать все от него зависящее, и на него можно положиться. Но денег мало, они все ушли из страны, и вновь их негде достать.

— Знаю, — со вздохом проговорил Оранский, — не испечешь хлеба из крошек, валяющихся под столом. Расклеены ли призывы, предлагающие

всем добрым гражданам жертвовать и давать взаймы все, что они могут в этот час нужды?

— Расклеены, ваше высочество.

— Благодарю вас, граф. Можете идти, больше нечего делать. Сегодня ночью поедем верхом в Дельфт.

— Ваше высочество, — заговорил секретарь, — во двор пришли два человека, желающие видеть вас.

— Это известные люди?

— Да, ваше высочество, всем известные. Один — Фой ван Гоорль, выдержавший осаду Харлема и бежавший потом оттуда. Он сын почтенного бюргера Дирка ван Гоорля, которого уморили в тюрьме. Другой — великан-фриз, прозванный Красным Мартином, слуга ван Гоорля, о подвигах которого ваше высочество уже, вероятно, слышали. Они вдвоем защищались в литейной башне против сорока или пятидесяти испанцев и положили их изрядное количество.

Принц кивнул головой.

— Знаю. Красный Мартин — Голиаф и молодец. Что им нужно?

— Точно не знаю, — сказал секретарь с улыбкой, — но они привезли с собой рыбную тележку. Фриз вез ее, впрягшись в дышло, как лошадь, а хеер ван Гоорль подталкивал сзади. Они говорят, что в тележке боевые запасы для службы отечеству.

— Почему они не отвезли их бургомистру или кому-нибудь из властей?

— Не знаю, ваше высочество. Они объявили, что передадут то, что привезли, только вашему высочеству.

— Уверены вы в этих людях, граф? Вы знаете, — прибавил он, улыбаясь, — мне приходится быть осторожным.

— Вполне уверен. Их многие здесь знают.

— В таком случае пришлите их. Может быть, они могут что-нибудь сообщить.

— Ваше высочество, они желают ввезти и тележку.

— Пусть ввезут, если она пройдет в дверь, — отвечал принц со вздохом, так как его мысли были далеки от почтенных граждан с их тележкой.

Большие двойные двери растворились, и появился Красный Мартин, не такой, каким он был после осады Харлема, но каким был всегда, аккуратно одетый и с бородой еще длиннее и рыжее, чем прежде. В эту минуту он был занят странным делом. Через его грудь проходила широкая лошадиная подпруга, прикрепленная к оглоблям, с ее помощью он вез

тележку, покрытую старым парусом. Груз, должно быть, был тяжел, так как, несмотря на всю силу Мартина и помощь Фоя, тоже не слабого, толкавшего тележку сзади, они с трудом перекатили ее колеса через маленький порог при входе в комнату.

Фой затворил двери, затем тележку вывезли на середину комнаты. Здесь Фой остановился и поклонился. Картина была до того странная и необъяснимая, что принц, забыв на минуту свои заботы, рассмеялся:

— Вам смешно, ваше высочество? — спросил Фой немного запальчиво, вспыхнув до корней своих белокурых волос. — Но когда вы выслушаете нашу историю, я уверен, вы перестанете смеяться.

— Менеер Фой ван Гоорль, — сказал принц серьезно и вежливо, — будьте уверены, что я смеялся не над такими храбрыми людьми, как вы и ваш слуга Мартин-фриз, не над людьми, которые могли выдержать натиск испанцев в литейной башне, которые вырвались из Харлема и сумели захватить одного из дьяволов армии дона Фредерика. Мне показался смешным ваш экипаж, а не вы. — Он слегка поклонился сначала одному, потом другому.

— Может быть, его высочество считает, что человек, исполняющий работу осла, и сам должен быть ослом! — проговорил Мартин, и принц снова засмеялся шутке.

— Ваше высочество, я на минуту прошу вашего внимания, и не по пустякам, — заговорил Фой. — Ваше высочество, может быть, слышали о неком Хендрике Бранте, умершем в тюрьме инквизиции?

— Вы говорите о золотых дел мастере и банкире, которого считали богатейшим человеком во всех Нидерландах?

— Да, ваше высочество, о том, чье богатство исчезло.

— Да, помню, исчезло… Говорили, впрочем, что кто-то из наших соотечественников бежал с этим богатством… — Он снова вопросительно взглянул на парус, покрывавший тележку.

— Вам передали это совершенно верно, ваше высочество, — продолжал Фой. — Красный Мартин, я и лоцман, убитый впоследствии, увезли богатство Хендрика Бранта с помощью женщины, жившей на островах, тетушки Марты, прозванной Кобылой, и спрятали его на Харлемском озере, где и нашли его после нашего бегства из Харлема. Если вам будет угодно узнать как, я расскажу вам потом. Это длинная история. Эльза Брант была также с нами…

— Она единственная дочь Хендрика Бранта, стало быть, наследница всего состояния? — перебил принц.

— Да, ваше высочество, и моя невеста…

— Я слышал об этой девице и поздравляю вас… Она в Лейдене?

— Нет ваше высочество. Все ужасы, пережитые ею во время осады Харлема, и многое другое, случившееся с ней лично, подорвали ее физические и нравственные силы, поэтому, когда испанцы грозили в первый раз осадой нашему городу, я отправил ее и матушку в Норвич, где они могут спать спокойно.

— Вы поступили очень предусмотрительно, хеер ван Гоорль, — со вздохом ответил принц, — но сами вы, по-видимому, остались?

— Да, мы с Мартином подумали, что долг обязывает нас дождаться конца войны. Когда Лейден освободится от испанцев, тогда и мы поедем в Англию, но не раньше.

— Когда Лейден освободится от испанцев… — Принц снова вздохнул и прибавил: — Оба вы, молодые люди, заслуживаете моего уважения, однако я опасаюсь, что при подобном положении дел ювфроу, в конце концов, не будет почивать совершенно беззаботно в Норвиче.

— Каждый из нас должен нести свою долю бремени, — грустно ответил Фой. — Я буду сражаться, она не будет спать.

— Я представляю, что иначе и не может рассуждать человек, в свое время и сражавшийся, и не спавший… Будем надеяться, что скоро наступит время, когда вам обоим можно будет отдохнуть вместе… Но заканчивайте свой рассказ.

— Конец близок. Сегодня утром мы прочли ваше обращение на улицах, и из него узнали то, о чем слышали и прежде, что вы сильно нуждаетесь в деньгах для морской войны и защиты Лейдена. Услышав, что вы еще в городе, и считая ваше обращение явным приказом, которого мы ждали, мы привезли вам богатство Хендрика Бранта. Оно в этой тележке.

Принц поднес руку ко лбу и отступил на шаг.

— Вы не шутите, Фой ван Гоорль? — спросил он.

— Нисколько, уверяю вас.

— Но постойте, вы не можете распоряжаться этим богатством, оно принадлежит Эльзе Брант.

— Нет, ваше высочество, я по закону могу распоряжаться им, так как отец мой был назначен Брантом его наследником и душеприказчиком, а я унаследовал его права. Кроме того, хотя известная доля назначена Эльзе, она желает (ее письменное, засвидетельствованное заявление при мне), чтобы все деньги до последнего дуката пошли на нужды отечества по моему усмотрению. Отец ее, Хендрик Брант, всегда был хотел, чтобы его состояние пошло на пользу родине. Вот копия завещания, в котором он выражает волю, чтобы мы употребили его деньги «на защиту нашей

страны, на борьбу за свободу веры и на уничтожение испанцев, каким образом и когда — вам укажет Господь». Передавая мне это завещание, он сказал: «Я уверен, что тысячи и десятки тысяч моих соотечественников будут жить, благословляя золото Хендрика Бранта». Находясь в убеждении, что Бог, надоумив его, в свое время укажет и нам Свою волю, мы ради сохранения сокровищ были готовы идти на смерть и пытку. Теперь, как предрек Брант, наступило время, теперь мы понимаем, зачем мы, я и этот человек, остались в живых. Мы представляем вам все сокровище в целости, до последнего флорина, не взяв и суммы, завещанной из этого богатства Мартину.

— Вы шутите! Вы шутите! — повторял принц.

По знаку Фоя Мартин подошел к тележке и снял покрывало. Под ним оказались пять покрытых грязью бочонков с меткой *Б* на каждом из них. Тут же наготове лежали молоток и долото. Положив оглобли тележки на стол, Мартин влез в тележку и несколькими сильными ударами молотка выбил дно первого попавшегося под руку бочонка. Под дном показалась шерсть, Мартин снял ее, опасаясь в душе, как бы не произошло какой-нибудь ошибки, и затем, не имея терпения дольше ждать, высыпал содержимое бочонка на пол.

В бочонке находились драгоценные камни, в которые Брант, предвидя смутное время, постепенно превращал свое крупное недвижимое имущество. Теперь они сверкающим ручьем, переливаясь красными, зелеными, белыми и голубыми огнями, полились из заржавевших от сырости ящичков, где хранились, кроме драгоценных жемчугов, заключенных в плотно закупоренной медной шкатулке, и со звоном рассыпались по полу.

— Кажется, драгоценных камней всего один бочонок, — сказал спокойно Фой, — в других, более тяжелых, золотые монеты. Вот, ваше высочество, опись, сверившись с которой, вы можете убедиться, что мы ничего не утаили.

Но Вильгельм Оранский не слушал его, он смотрел на драгоценности и говорил про себя:

— Корабельный флот, войско, запасы, средства для подкупа сильных и приобретения помощи, свобода, богатство, счастье для Нидерландов, вырванных из когтей испанцев! Благодарю Тебя, Господи, направившего сердца людей к спасению нашего народа от грозной опасности…

В приливе радости и облегчения великий принц закрыл лицо руками и заплакал.

*** * ***

Итак, в ту минуту, когда Лейден был при последнем издыхании, богатство Хендрика Бранта пошло на уплату жалования солдатам и на постройку флота, который благодаря благоприятному ветру получил в надлежащее время возможность двинуться по затопленным лугам к стенам Лейдена, вынудил испанцев снять осаду и тем самым подписал смертный приговор испанскому владычеству в Голландии. Недаром, стало быть, пролилась кровь предусмотрительного Бранта и Дирка ван Гоорля, недаром перенесла Эльза на Красной мельнице ужаснейший страх, какой только в состоянии перенести женщина, не напрасно Фой и Мартин оборонялись в литейной башне, в тюрьме и во время осады, не напрасно тетка Марта, бич испанцев, нашла себе могилу в водах Харлемского озера!

Вероятно, из этого рассказа можно было бы сделать и другие выводы, применимые к нашей жизни, но предоставим читателю самому поразмыслить о них.

Вторая сцена

Лейден был наконец освобожден. Фой и Мартин появились на его обезлюдевших от голода улицах, пробравшись через разрушенные плотины на спасших город кораблях, с криками радости на устах и руками, обагренными кровью врагов. Испанцы, оставшиеся в живых, бежали из своих затопленных фортов и траншей.

Место действия переносится из залитой кровью, разоренной, но торжествующей Голландии в спокойный город Норвич, в уютный домик с высокой крышей, недалеко от собора, где почти год назад поселились Лизбета ван Гоорль и Эльза Брант. Они благополучно прибыли в Норвич осенью 1573 года перед самым началом первой осады Лейдена, и прожили здесь двенадцать долгих месяцев, полных страха и тревог.

Слухи о происходившем в Нидерландах по временам доходили до них, даже два раза приходили письма от самого Фоя, но последнее пришло уже много недель тому назад, перед тем как железное кольцо осады сомкнулось вокруг Лейдена. В это время Фоя и Мартина, как сообщало письмо, не было в городе, они находились с принцем Вильгельмом Оранским в Дельфте, занятые снаряжением флота, который строился и вооружался для освобождения города.

После этого долгое время не было никаких известий, и никто не мог сказать, что случилось, хотя прошел ужасный слух, что Лейден взят, разграблен, сожжен, а все его жители перебиты.

Лизбета и Эльза жили ни в чем не нуждаясь, так как фирма Мунт и Броун, с которой Дирк вел дела, оказалась честной, и состояние, вверенное ей, когда подступали тяжелые времена, было выгодно помещено в дело и приносило хороший доход. Но что могли значить удобства жизни для бедных сердец, знавших только один страх!

Однажды вечером обе женщины сидели в гостиной нижнего этажа, точнее, сидела лишь Лизбета, а Эльза стояла возле нее на коленях, положив голову на ручку кресла, и плакала.

— О, это слишком жестоко… невыносимо! — с рыданием говорила она. — Как вы, матушка, можете быть такой спокойной, когда Фоя, может быть, уже нет в живых?

— Если сын мой умер, Эльза, то такова воля Божья, и я спокойна, потому что покоряюсь теперь так же, как много лет тому назад, Его воле, а не потому, что я не страдаю. Мать так же может чувствовать, как и невеста.

— Зачем я рассталась с ним! — жаловалась Эльза.

— Ты сама просилась уехать, дитя мое. Что касается меня, то я бы осталась в Лейдене, чтобы пережить там и хорошее, и дурное.

— Правда, во мне нет мужества, но и он хотел этого.

— Раз он так хотел, значит, все к лучшему, будем терпеливо ждать исхода. Пойдем ужинать.

Они сели ужинать вдвоем, но стол был накрыт на четверых, как будто ожидались гости. Однако приглашенных не должно было быть, просто такова была фантазия Эльзы.

— Фой и Мартин могут приехать и рассердятся, если им покажется, что мы вовсе не ждали их, — говорила она.

И в последние три или четыре месяца на стол всегда ставилось четыре прибора, чему Лизбета не препятствовала, и в ее душе жила надежда, что Фой может неожиданно вернуться.

*** * ***

В этот самый вечер Фой вернулся, а вместе с ним вернулся и Красный Мартин, перепоясанный мечом «Молчание».

— Послушай! — вдруг сказала Лизбета. — Я слышу шаги сына на лестнице. Должно быть, слух матери более чуток, чем слух невесты.

Но Эльза уже не слушала ее. Эльзу уже держал в своих объятиях Фой, прежний Фой, только несколько возмужавший и с большим шрамом на лбу.

— Да, — как бы про себя проговорила Лизбета со слабой улыбкой на бледном, но все еще красивом лице, — первый поцелуй сына невесте!

Через какое-то время (кто бы наблюдал за временем в эту ночь, когда столько надо было выслушать и рассказать), все стали на колени: Лизбета впереди, за ней рука об руку Фой и Эльза, а за ними Мартин, как бы охраняющий их, и Лизбета прочла вечернюю благодарственную молитву.

«Всемогущий Боже! — начала она мягким, звучным голосом. — Твоя десница взяла у меня через мой грех мужа, но вернула мне сына будущего мужа этой девушки, и теперь для нас, как и для нашего отечества за морем, из мрака отчаяния восходит заря мира. Да будет над нами вовеки Твоя воля, и когда наш час придет, да поддержит нас рука Твоя. За все горькое и сладкое, за зло и добро, за прошедшее и настоящее мы, Твои слуги, прославляем Тебя, Господа наших отцов творящего над нами Свою волю,

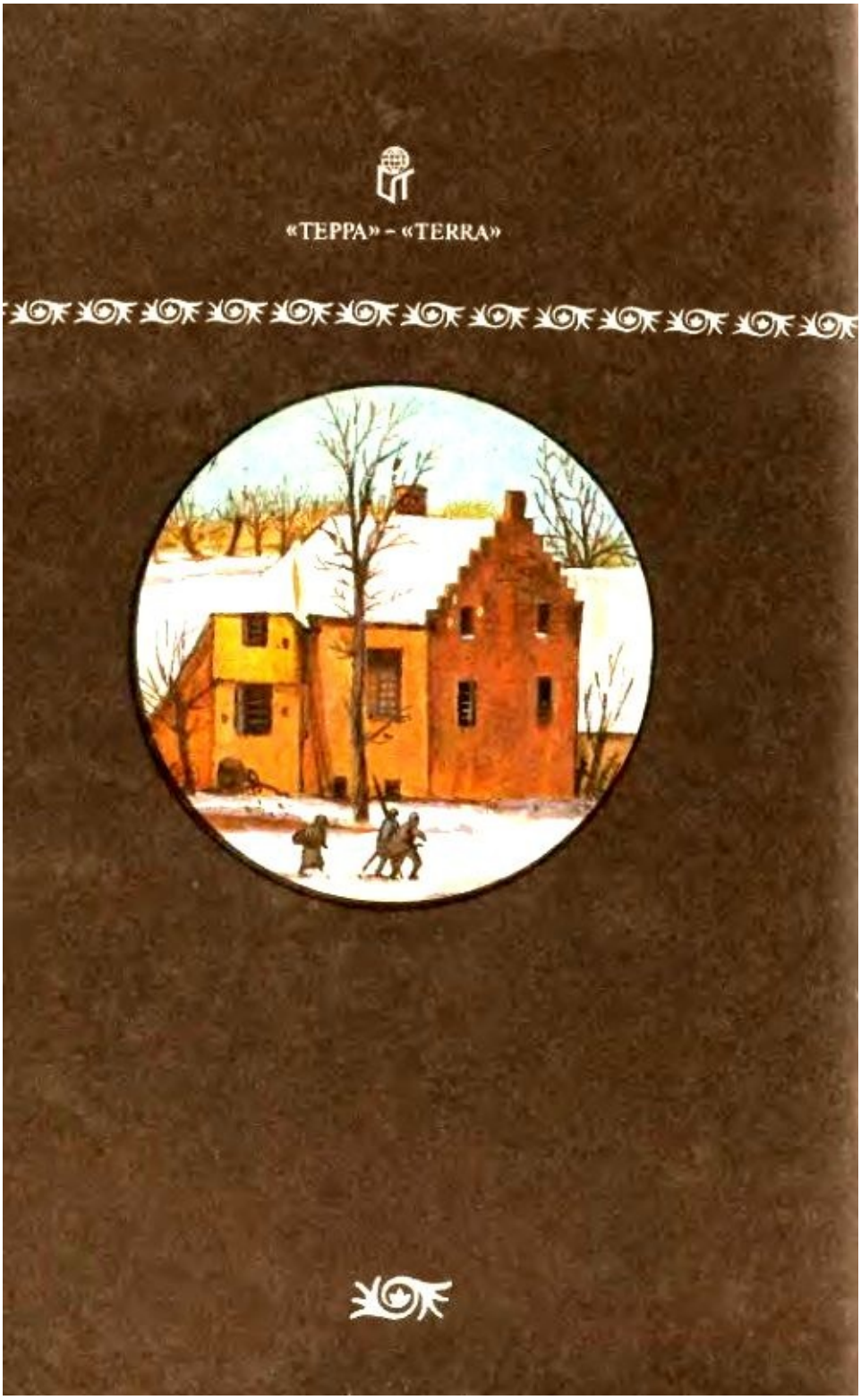
памятуя то, что мы забыли, и провидя то, чего еще нет. Благодарим и прославляем Тебя, Господа живых и мертвых, сохранившего нас в продолжение многих ужасных дней до этого радостного часа. Аминь».

Все повторили за ней: «Благодарим и прославляем Тебя, Господь живых и мертвых. Аминь».

*** * ***

По окончании молитвы все поднялись с колен, и теперь, когда разлуки и страха уже не существовало, молодые люди прижались друг к другу с любовью и надеждой, свойственными их прекрасной юности.

Лизбета же сидела молча в своем новом доме, вдали от той земли, где она родилась, и ее изболевшееся сердце перенеслось к мыслям об ушедших.



notes

[1] Генрих VIII — король Англии в 1509-1547 годах.

[2] Эдуард I — король Англии в 1272-1307 годах.

[3] Георг I — король Англии в 1714-1727 годах.

[4] Вильгельм Рыжий — король Англии в 1087-1100 годах.

[5]…во времена саксов. — Германские племена англов, саксов и ютов завоевали Британию в V веке нашей эры и создали там семь государств: два королевства англов на севере, одно королевство англов и саксов в центральной части страны, три государства саксов на юге и одно государство ютов на юго-востоке.

[6] Кромуэл Томас, граф Эссекс (1485-1540), — английский политический деятель, занимавший в 1533-1540 годах высшие государственные должности — канцлера казначейства, государственного секретаря, генерального викария короля по церковным делам. В 1540 году было обвинен в измене и казнен.

[7]…если бы король не поссорился с папой. — Поводом для реформации церкви в Англии послужил конфликт между Генрихом VIII и папой римским Климентом VII, вызванный отказом папы разрешить развод короля с Екатериной Арагонской.

[8] «Право виселицы». — В средние века короли, крупные феодалы (светские и духовные) имели право судить своих подданных и даже казнить их.

[9] Рака — металлический ящик, гроб.

[10] Тонзура — выбритая макушка у католических священников и монахов, отличительный признак духовных лиц.

[11] Акр — старинная английская земельная мера, около 0,5 га.

[12] Присяга закону о престолонаследии. — В 1534 году, после развода Генриха VIII с Екатериной Арагонской, был издан закон, лишающий права на престол детей Генриха VIII от первого брака.

[13] Картезианцы — монахи, принадлежащие к одному из католических орденов (картезианскому); католические ордена вообще и картезианский в частности представляли собой монашеские организации, которые активно поддерживали папство в его борьбе со всякими отклонениями от католического вероучения.

[14] Тауэр Хилл — старинная крепость в Лондоне, превращенная в начале XVII века в тюрьму. Здесь содержались важнейшие государственные преступники.

[15] Тайберн — место в Лондоне, где производились казни.

[16] Испанский император. — Имеется в виду испанский король и император так называемой Священной Римской империи германской нации

— Карл V, ярый противник Генриха VIII и союзник папы римского.

[17] Ярд — английская мера длины, равная 91 см.

[18] Твид — река в Шотландии.

[19] Брат-мирянин — светское лицо, находящееся на службе в монастыре.

[20] Йомены — средние и зажиточные крестьяне в Англии в XIV-XVIII веках.

[21]…из-за брачного вопроса. — См. сноску 7 («если бы король не поссорился с папой»).

[22] Бенедиктинцы — монахи старейшего из католических монашеских орденов.

[23] Святая земля. — Имеется в виду Палестина.

[24] Мушмула — плод кустарникового дерева из семейства розовых. Употребляется в пищу в сыром и соленом виде, используется для приготовления пастилы и вина.

[25] Фут — английская мера длины, равная 30,5 см.

[26]…светская власть нашего королевства обладает правом развода. — В те времена запись актов гражданского состояния, то есть регистрация рождений, браков, разводов и смертей, находилась в руках духовенства. После разрыва с папой Генрих VIII присвоил право записи актов гражданского состояния себе, но католики долгое время отказались признать за светскими властями это право.

[27]…находящийся… на жалованье у Испании. — Испания была главным оплотом католицизма, важнейшей опорой папы римского. Екатерина Арагонская была испанкой, родной теткой испанского короля Карла V. Развод Генриха VIII с ней обострил англо-испанские отношения, и испанское правительство плело заговоры и интриги против Генриха VIII.

[28] Рукоположенный аббат. — При посвящении в духовное звание совершался обряд рукоположения, во время которого представитель высшего духовенства возлагал руки на голову посвящаемого.

[29] Шериф — должностное лицо, осуществлявшее в графстве административные и судебные функции.

[30] Крануэл Тауэрс значит «Башни Крануэла».

[31] Велиал — то же, что и сатана — олицетворение зла.

[32]…Екатерина Испанская, отвергнута в угоду какой-то девке, занявшей ее место. — После развода Генрих VIII женился на бывшей фрейлине своей первой жены — Анне Болейн.

[33] Кимболтон — замок в Англии, куда была сослана после развода (в 1533 г.) Екатерина Арагонская и где она умерла в 1536 году. Католики

утверждали, что она была отравлена.

[34] Фишер Джон (1459-1535) — английский католический епископ, выступавший против развода Генриха VIII и против реформации церкви. Король заточил его в тюрьму, а папа демонстративно произвел его в кардиналы. В ответ Генрих VIII казнил Фишера.

[35] Мор Томас (1478-1535) — выдающийся английский ученый и политический деятель, один из основоположников утопического социализма. В 1529-1532 годах был первым министром (лордом-канцлером) Генриха VIII. Будучи противником реформации, вышел в отставку. За отказ принести присягу англиканской церкви был обезглавлен.

[36]…в парламенте будет поставлен вопрос об уничтожении малых монастырей и присвоении их богатств. — В 1536 году по решению парламента было закрыто 376 малых монастырей, а в 1539 году — все остальные. Большую часть захваченных земель и ценностей король продал придворным и спекулянтам.

[37] Инквизиция — судебно-полицейское учреждение католической церкви, созданное в XIII веке для борьбы с так называемыми еретиками; применяла к своим жертвам жесточайшие пытки, сжигала их на кострах. Сильнее всего инквизиция свирепствовала в Испании.

[38] Вестминстер — часть Лондона, в которой расположены парламент и другие правительственные учреждения.

[39] Красная шапка — головной убор кардинала.

[40] Епископ Кентерберийский — сначала глава католической церкви в Англии, а после реформации — высший (после короля) сановник англиканской церкви. Его резиденцией является город Кентербери в юго-восточной Англии.

[41] Тиара — трехглавая корона папы римского.

[42] Плантагенеты — династия английских королей, представители которой правили Англией с 1154 по 1399 год.

[43] Анне Болейн отрубили… голову. — В 1536 году вторая жена Генриха VIII, Анна Болейн, была казнена по обвинению в измене королю. На следующий день после казни Генрих VIII женился на ее фрейлине — Джен Сеймур.

[44] Епархия — обширная область, управляемая епископом.

[45] Епитимья — церковное наказание (поклоны, пост, длительные молитвы и т. п.).

[46] Бабка Меггс переиначивает на свой лад латинское pax vobiscum («мир вам»).

[47] Принцесса Мария. — Имеется в виду дочь Генриха VIII и

Екатерины Арагонской, Мария Тюдор, ярая католичка, лишенная прав на престол после развода родителей.

[48] Приор — настоятель небольшого католического монастыря, подчиненный аббату.

[49]…до того времени, как ересь вошла в моду… — Католики рассматривали реформацию церкви как ересь.

[50]…грамота, разрешающая приводить в исполнение приговоры. — Духовные власти имели право судить виновных в преступлениях против религии, но приводили в исполнение приговоры не они, а светские власти. Только в исключительных случаях светские власти выдавали духовным властям специальные грамоты на право приводить в исполнение приговоры.

[51] Вельзевул — то же, что и дьявол.

[52]…как жена Пентефрия вцепилась в Иосифа Прекрасного. — Библейский миф рассказывает, что жена придворного египетского фараона Пентефрия воспылала страстью к находившемуся в рабстве у ее мужа юноше Иосифу Прекрасному, но тот отверг ее домогательства.

[53] Новый Иерусалим — в христианской мифологии одно из названий рая.

[54] Уолси Томас (1475-1530) — английский политический деятель, кардинал. Был лордом-канцлером при Генрихе VIII, протестовал против его развода и был уволен в отставку.

[55] Нобль — старинная английская монета.

[56] Флодден — селение в Северной Англии, близ которого в 1513 году английские войска одержали победу над шотландцами.

[57]…о короле Гарри… Гарри — уменьшительное от Генрих.

[58]…на престол сядет девочка. — В то время у Генриха VIII были две дочери: от брака с Екатериной Арагонской — Мария (род. в 1516 г.) и от брака с Анной Болейн — Елизавета (род. в 1533 г.).

[59]…держусь я на волоске… — Кромуэл уже предчувствовал свою близкую опалу; в 1540 году он был казнен.

[60]…нынешняя королева, в противоположность покойной Анне, сочувствует церковникам. — Речь идет об Анне Болейн и Джен Сеймур — второй и третьей женах Генриха VIII.

[61]…на Болотах спокойно. — Имеются в виду болотистые районы в графствах Кембриджшир и Линкольншир, где часто скрывались мятежники.

[62]…сера мне нипочем. — По средневековому поверью, сера, как и другие воспламеняющиеся материалы, считалась обязательной

принадлежностью ада, чертей и ведьм.

[63] В средние века Нидерландами называлась область в низовьях рек Мааса, Шельды и Рейна, вдоль побережья Северного моря. К середине XVI в. Нидерланды, находившиеся под властью династии Габсбургов, состояли из семнадцати провинций: Фландрии, Брабанта, Геннегау, Артуа, Намюра, Люксембурга, Лимбурга, Турне, Мехелена, Французской Фландрии, Голландии, Зеландии, Утрехта, Фрисландии, Гельдерна, Гронингена, Оверэйсселя. Карл V Габсбург — германский император (1519-1555), испанский король (1516-1556). В 1556 г. отрекся от престола.

[64] Мартин Лютер (1483-1546) — видный деятель реформации, направленной против католицизма (сторонников реформации называли протестантами или реформатами). Выступивший в 1517 г. в Германии против католицизма, Лютер вскоре приобрел приверженцев (лютеран), в Нидерландах, но широкого распространения здесь его учение не получило. После 1540 г. лютеранство в Нидерландах практически исчезло, уступив место другому протестантскому течению — кальвинизму, названному так по имени его основоположника Жана Кальвина (1509-1564). Однако боровшиеся с протестантами католики зачастую называли всех реформатов лютеранами.

[65] Фроу — госпожа (*голл.*).

[66] Миля — около 1609 м.

[67] Дюйм — около 2,5 см.

[68] В описываемое время Нидерландами правила наместница Карла V, его сестра Мария Венгерская, при которой имелись три совета с совещательными правами, важнейшим из которых был Государственный совет, где заседали знатнейшие вельможи страны.

[69] Флорин — крупная золотая монета.

[70] Ювфроу — обращение, соответствующее русскому «барышня».

[71] Анабаптисты — члены некоторых религиозных сект, в число основных положений учения которых входило требование крещения не в младенчестве, а в зрелом возрасте.

[72] Идальго — здесь: дворянин.

[73] Менеер — мой господин (*голл.*).

[74] Хеер — господин (*голл.*).

[75] Хаггард, видимо, заблуждается, называя своего героя лютеранином — к тому времени нидерландцы были в основном кальвинистами (см. сноску 2).

[76] «Человеческое есть» и т.д. (*лат.*).

[77] Крона — золотая монета.

[78] Стивер — мелкая разменная монета.

[79] Лазарь — персонаж библейской мифологии, чье имя стало символом нищеты.

[80] Черт побери! (*исп.*)

[81] Вильгельм, принц Оранский, прозванный Молчаливым (1533-1584) — один из виднейших вождей Нидерландской революции, богатейший нидерландский вельможа, сыгравший большую роль в объединении антииспанских сил. В 1572 г. избран правителем (штатгальтером) отколовшихся от испанской короны северных нидерландских провинций, ставших впоследствии нынешней Голландией. Был убит в 1584 г. католиком Жераром.

[82] Мейнфроу — моя госпожа (*голл.*).

[83] Первое письмо апостола Павла к коринфянам — одно из четырнадцати посланий апостола Павла, которые включены в Новый Завет.

[84] Скорее всего, речь идет об императорском указе 25 сентября 1550 г., прозванного в народе «кровавым». Этим указом запрещалось читать, хранить и распространять все писания и учения реформаторов церкви. Ослушавшимся грозила смертная казнь с конфискацией имущества.

[85] Иоанн Лейденский — Иоанн Бокельсон, портной из Лейдена, вместе с булочником Яном Маттисом основавший в феврале 1534 г. в городе Мюнстере (Северо-Западная Германия) анабаптистскую коммуну. Город был объявлен Новым Иерусалимом, деньги заменены натуральным обменом, излишки изымались в пользу нуждающихся, практиковались общие трапезы. Город был осажден войсками германских князей. После гибели Маттиса Иоанн Лейденский объявил себя королем Нового Иерусалима. В июне 1535 г. после четырнадцатимесячной осады Мюнстерская коммуна пала. Ее члены, оставшиеся в живых, в том числе и Иоанн Лейденский, были после жестоких пыток казнены.

[86] Т. е. приказ подписала Мария Венгерская.

[87] Субалтерн-офицер — младший офицер в составе какого-либо воинского подразделения.

[88] Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба (1507-1582) — один из виднейших испанских военачальников XVI в., чье наместничество в Нидерландах (1567-1573) стало одной из самых мрачных страниц в истории страны.

[89] Эгмонт и Горн — знатные нидерландские вельможи, военачальники, члены Государственного совета, казненные Альбой в 1568 г. за участие в оппозиции к королю.

[90] В 1567 г. Альба учредил в Нидерландах Совет по делам о

беспорядках, призванный бороться с еретиками. Совет стал более известен под названием Кровавого Судилища. Каждый день Судилище подписывало смертные приговоры десяткам и сотням людей, зачастую на основании лишь доносов. Казни сопровождались конфискацией имущества.

[91] Пока живу, надеюсь (*лат.*).

[92] Филипп II — король Испании (1556-1598), сын Карла V. Его правление было отмечено жестоким подавлением народных восстаний, уничтожением старинных местных привилегий, свирепыми преследованиями еретиков, разгулом инквизиции.

[93] Фриз — житель нидерландской провинции Фрисландии.

[94] Эскориал — дворец-монастырь неподалеку от Мадрида, резиденция испанских королей.

[95] Фернандо Кортес — завоеватель ацтекской империи. Франсиско Писарро — покоритель империи инков.

[96] Пигмалион, царь Кипра, знаменитый скульптор, влюбившийся в статую изваянной им девушки Галатеи. По его просьбе богиня Афродита оживила статую, и Пигмалион женился на ней (*греч. мифол.*).

[97] Зороастр (Заратуштра) — пророк, живший в азиатских степях восточнее реки Волги предположительно между 1500 и 1200 гг. до н. э. Его учение легло в основу религии зороастризма, самой древней из мировых религий, полученных пророком от Бога. Средневековая молва приписывала ему многие религиозно-философские положения, не связанные с его учением. Многие средневековые алхимики, астрологи считали себя его последователями, не будучи знакомыми с текстами его писаний (первый европейский перевод *Авесты*, священной книги зороастризма, увидел свет только в 1771 г.).

[98] Доминиканцы — один из нищенствующих монашеских орденов католической церкви, основанный в XIII в. В течение долгого времени в руках доминиканцев находилась инквизиция.

[99] Монс — столица провинции Геннегау, осажденный в 1572 г. Альбой и 24 мая 1572 г. павший.

[100] Нуаркарм — знатный нидерландский дворянин, принимавший активное участие в военных действиях против кальвинистов. Дон Фадрике де Толедо — сын герцога Альбы, участвовавший в военной кампании 1572-1573 гг.

[101] Каиафа — иудейский первосвященник, заявивший на совете, Решавшем судьбу Иисуса Христа: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».

[102] Тантал — сын бога Зевса, царь горы Сипила в Малой Азии,

который, желая узнать, всеведущи ли боги, убил своего сына Пелопса и накормил их его мясом. Боги жестоко наказали Тантала: стоя в подземном царстве по пояс в воде, он не мог напиться, так как вода отступала перед ним. Над ним висели ветки с плодами, но они отодвигались, когда он протягивал к ним руку (*греч. мифол.*).

[103] Галлон — около 4,54 л.

[104] Амаликитяне — согласно Библии, могущественный народ, населявший некогда местность между Египтом и Палестиной и враждовавший с израильским народом.

[105] Город Алкмар был осажден испанцами с августа по октябрь 1573 г. Осада была снята после того, как нидерландцы открыли плотины, заставив испанцев отступить перед угрозой потопления. В Голландии говорили: «От Алкмара пошла победа».

[106] Людвиг Нассауский (1538-1574) — брат и ближайший соратник Вильгельма Оранского, один из наиболее ревностно настроенных дворян-протестантов, погибший вместе с братом Генрихом во время кампании 1574 г.